
Д. С.
МЕРЕЖКОВСКИЙ



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“



Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ



4

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“
1990

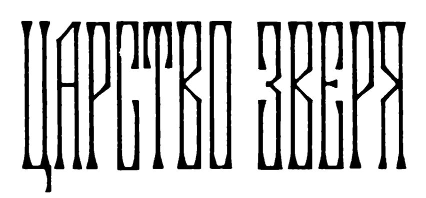
84Р
М 52

Составление
и
общая редакция
О. Н. Михайлова

Коллажи художника
Анатолия Брусиловского

М $\frac{4702010000-2237}{080(02)-90}$ 2237—90





ТРИЛОГИЯ

III

14 ДЕКАБРЯ

КНИГА ПЕРВАЯ

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Любить землю — грех, надо любить небесное. А я не могу,— больше всего на свете люблю Черемушки. Пока в них жила — и не знала, что так люблю. А вот уехала — и залюбила, затосковала до смерти...

— Вы землю вашу как живую любите, Марья Павловна?

— Ну, конечно, живая! Выбегу, бывало, в рощу — молодые березки — тоненькие, как восковые свечечки, кожица у них такая мягкая, теплая, солнцем нагретая, совсем как живая. Обниму, прижмусь щекою и ласкаюсь, целую: миленькая, родненькая, сестричка моя!

В голубоватом свете зимних сумерек, едва пробивавшемся сквозь обледенелое оконце кибитки, князь Валериан Михайлович Голицын, вглядываясь в милое лицо девушки, думал: «Сама, как та березка весенняя».

Марья Павловна Толычева с виду была обыкновенная уездная барышня из тех, о которых сказано:

Разделены ее досуги
Между роялем и канвой.

Одета по модной картинке из «Телеграфа»: меховой палантин добротного бабушкина гродетура темно-зеленого, клетчатый капор с розовыми лентами; густая черная коса заплетена в виде корзиночки, с висячими вдоль щек легкими гроздьями локонов; старинные гранатовые серьги в ушах, верно, тоже подарок бабушкин. Хорошо воспитана по-французски. А у самой лицо, как у деревенской девушки, которая сидит на завалинке в желтом, с красными горошинами, платочке, смеется с парнями и грызет семечки.

Может быть, никого еще не любит, но благоуханьем любви окружена, как цветущая сирень свежестью росною.

И все это чувствуют: станционные смотрители, шлагбаумные инвалиды, распаренные чаем купцы толстобрюхие, ямщики красножие,— все, глядя на Марью Павловну, думают: «Ах, хороша девка!»

По дороге из Василькова в Петербург Голицын остановился в Москве, чтобы повидаться с членом Тайного Общества, Иваном Ивановичем Пущиным. Пущин, служивший в Уголовном Департаменте Московского Надворного Суда, жил у тетки, старосветской барыни, в захолустном особняке, в приходе Пятницы Божедомской, на Старой Конюшенной. Здесь, тоже проездом в Петербург, остановилась дальняя родственница Пущиных, серпуховская помещица Нина Львовна Толычева с девятнадцатилетнею дочкою, Марией Павловной. Голицын согласился сопровождать их, по просьбе Пущина.

Тогда только что начал ходить из Москвы в Петербург почтовый дилижанс — низкий, длинный возок, обтянутый кожей, с двумя оконцами, сзади и спереди. Лежать в нем было невозможно: четыре человека, разделенные перегородкой, сидели друг к другу спиной и смотрели — двое вперед, двое назад — по дороге; а так как прежняя зимняя кибитка означала лежанье, то ямщики прозвали это новое изобретение «нележанцами». Голицын, с обеими дамами и состоявшей при них горничной девкою Палашкою, отправился в таком нележанце.

Госпожа Толычева, родом из семьи зажиточной, привыкла ездить не иначе, как по дворянскому обычаю, на своих, на долгих, с молельнею, кухнею, с обозом домашней клади и дворовой челяди. Почтовых дилижансов боялась как неслыханного новшества и рада была надежному спутнику.

Тотчас рассказала ему всю свою историю. Воспитывалась в Смольном. Почти прямо из института вышла замуж и без малого двадцать пять лет прожила с мужем, как у печки погрелась. Павел Павлович Толычев служил в армии; за Итальянский поход произведен Суворовым в подпоручики; в Двенадцатом году ранен; вышел в отставку с чином подполковника. Был большого ума человек и даже сочинитель — в «Сионском Вестнике» статья его напечатана; с господином Лабзиным[1] был в дружбе, а когда его за вольные мысли сослали, едва не добрались и до Павла Павловича. Терпел гонения, потому что любил правду, злых людей обличал, лихоимцев-чиновников и

[1] Лабзин, Александр Федорович (1766—1825) — мыслитель-мистик, переводчик, издатель журнала «Сионский вестник». (*Здесь и далее прим. ред.*)

тиранов-помещиков. Самому архиерею доказывал, что не должно быть крепостного состояния — ни господ, ни рабов. Собственных крестьян своих пожелал отпустить на волю, но начальство не позволило. Фармазоном объявили, безбожником и возмутителем. Губернатор хотел в острог посадить. От многих огорчений Павел Павлович заболел и скоропостижно умер. Нина Львовна осталась одна-одинешенька с малолетнею дочкою. Трех детей при муже схоронила; Маринька — последняя. Дела по имению расстроились; видя доброту покойного барина и не понимая благородных чувств, мужики — отродье хамово — избаловались так, что никакого с ними сладу нет; половина в бегах, половина — пьяницы; ни оброка, ни подушных не платят. Сама ничего в хозяйстве не смыслит; знакомые дамы прозвали ее белоручкою за то, что не бивала людей: боится-де замарать свою ладонь о холопьи щеки. А управляющий — плут. Имение в Опекунском Совете заложено — долг 25.000, а процентов нечем платить,— продадут с молотка, и ступай по миру.

Но Сам Господь над ними, сиротами, сжалился — послал доброго человека. Приехал к родным из Петербурга в Серпухов статский советник Порфирий Никодимыч Аквилонов — в Департаменте Внешней Торговли служит,— на балу в уездном клубе увидел Мариньку и так пленился, что через несколько дней предложение сделал. Человек немолодой, лет за пятьдесят, но почтенный, благонамеренный, на прекрасном счету у начальства и большой капитал, говорят, имеет. А в Мариньке души не чает. «Если, говорит, согласьем осчастливите, ничего не пожалею для счастья вашей дочери: выйду в отставку, хозяйством займусь в Черемушках и дела ваши поправлю». Маринька не отказала, но просила подумать. И Нина Львовна не неволит дочери: сама понимает, дело молодое — любви хочется, союза сердечного. А Порфирий Никодимыч ей не пара — в отцы годится. Так-то год прошел, все думала и, наконец, письмо получили от господина Аквилонова: почтительнейше просит участь его решить и, ежели есть надежда, хоть малая, в Петербург пожаловать для свидания личного; да и самой Нине Львовне должно прибыть без отлагательства по делам имения, так как уплата взносов просрочена, могут наложить запрещение и объявить торги.

Есть у них еще надежда на троюродную бабушку, Наталью Кирилловну Ржевскую. Старуха богата, да скупа и привередлива: как заладила, чтоб имение продали и к ней на житье в Петербург переехали, так и стоит на своем. «А то, говорит, ломаного гроша от меня не получите». А Маринька об этом слышать не хочет. «Лучше, говорит,

выйду за Аквилонова, а не уеду из Черемушек. Здесь родилась, здесь и умру».

Кончив рассказ, Нина Львовна заплакала: как ни хвалила жениха, а жаль было дочери.

Голицын сидел в своем отделении ночью с Палашкою, а днем с Ниной Львовной. Но на второй день разболелась у нее голова, и, чтоб ей отдохнуть полулежа, Палашку усадили к ямщику на козла, а Марья Павловна пересела к Голицыну.

Нележанец полз черепахою. Санный путь еще не стал как следует; снегу было мало, полозья визжали по голым камням; возок встряхивало. За перегородкой слышно было сонное дыхание Нины Львовны. Колокольчик звенел усыпительно. В замерзшем оконце густел голубоватый свет вечерних сумерек, похожий на свет, который бывает во сне. И обоим казалось, что снится им сон незапамятно-давний, много раз виденный.

— А мне все кажется, Марья Павловна, что мы уже с вами когда-то виделись. Только вот не могу вспомнить, когда,— сказал Голицын, продолжая вглядываться в милое лицо девушки.

— А ведь и мне...— начала она и не кончила.

— Ну что?

— Нет, ничего. Глупости,— отвернулась, покраснела. Вообще легко краснела, внезапно и густо, во всю щеку, как маленькая девочка, и тогда становилась еще милее. Наклонившись к оконцу, провела по ледяным узорам тоненьким розовым пальчиком.

Вглядывалась в Голицына украдкою, пристально, и лицо его странно менялось в глазах ее, как будто двоилось: то сухое, жесткое, желчное, с недоброй морщинкой около губ, вечно-насмешливой, с пронзительно-умным и тяжелым взором из-под слепо поблескивавших стекол очков — она их вообще не любила: только старики да ученые немцы, казалось ей, носят очки — чуждое, почти страшное; а то вдруг — простое, детское, милое и такое жалкое, что сердце у нее сжималось, как будто чуяло, что этому человеку грозит беда, опасность смертельная. Но все это темно и смутно, как сквозь вещий сон.

— Я ведь вас боюсь немножко,— проговорила, все так же вглядываясь в него, украдкой, пристально.— Кто вас знает, может быть, и вы такой же насмешник, как Иван Иванович?

— Пущин предобрый; его бояться нечего. Да и меня тоже.

— Вы тоже добрый?

— А вы как думаете, Маринька... Марья Павловна?

— Ничего. Меня все зовут Маринькой. Я сама не люблю Марьи Павловны,— заглянула ему прямо в глаза и улыбнулась: он — тоже. Смотрели друг на друга, улыбаясь молча, и оба чувствовали, что эта улыбка сближает их неудержимо растущею близостью, жуткой и радостной, как будто после долгой-долгой разлуки вспомина и, узнавали друг друга.

Вдруг опять отвернулась, покраснела, потупилась. Но сквозь длинные ресницы опущенных глаз он успел поймать стыдливо блеснувшую ласку,— может быть, не к нему, а все равно к кому,— ко всем: так солнечный луч равно ласкает все, на что ни упадет.

— Уж вы меня извините, князь,— проговорила, все еще не поднимая глаз.— Я ужасно дикая. Все одна да одна в своих Черемушках, вот и одичала. С людьми говорить разучилась. Всего боюсь.

— Не стоит людей бояться, Маринька: бояться людей, значит их баловать.

— Да я не людей боюсь, а сама не знаю чего. В Черемушках я не боялась, всегда была храбрая, а как оттуда уехала — такое вдруг все чужое, страшное. Когда была маленькой, няня, бывало, уложит, перекрестит, задернет на кроватке занавеску и говорит: «Спи, говорит, дитятко, спи с Богом! У кота ли воркота, колыбелька хороша. Да гла́зок не открывай, из-под занавески не выглядывай, а то возьмет Хо — вон оно под кроваткой лежит». А потом я часто думала, что не только под кроваткой, а везде — Хо. Вся жизнь — Хо...

— А вы от него отчурайтесь, оно вас и не тронет.

— Да как отчураться?

— Будто не знаете?

— Не знаю... Нет, право, не знаю,— медленно, как бы в раздумье, покачала она головой, и длинные локоны вдоль щек, как легкие гроздья, тоже качнулись. Возок на замерзшем ухабе подпрыгнул, лица их нечаянно сблизились, и нежный локон коснулся щеки его, как будто обжег поцелуем.

— А вы знаете? Ну так скажите.

— Нельзя сказать.

— Почему нельзя?

— Потому что каждый сам должен знать. И вы когда-нибудь узнаете.

— Когда же?

— Когда полюбите.

— Ах, вот что, любовь? — опять покачала головой сомнительно.— А как же говорят, нынче и любви-то настоящей нет, а одна измена да коварство?

— Кто говорит?
— Все.

Le plus charmant amour
Est celui qui commence et finit en un jour.[1]

Это мне Пущин намедни сказал. И тетенька тоже: «Ах, говорит, Маринька, ты еще не знаешь, какая это птица любовь: как прилетит, так и улетит». И бабенька...

— Сколько их у вас, тетенек да бабенек!

— Ох, много, страсть!

— И вы им всем верите?

— Ну, конечно!

У нее была привычка повторять эти два слова: «Ну, конечно!», и она делала это так мило, что он ждал, когда она их скажет.

— Как же не верить? Надо верить старшим. Сама-то ведь глупенькая, так вот умным людям и верю. Я вся из чужих слов, как одеяльце из лоскутков пестреньких.

— А под одеяльцем кто-то прячется? — улыбнулся он.

— А вот узнайте кто,— прищурилась она, глядя на него исподлобья и тоже улыбаясь лукаво-дразнящей улыбкой. И опять блеснул тот солнечный луч, который ласкает все, на что ни упадет.

Помолчала, вздохнула, и лицо омрачилось мыслью недетскою.

— Так-то, князь. Любовь улетит, а Хо останется: оно ведь без крыльев, как червяк, ползучее, или вот как большой, большой паук, ужасный, отвратительный...

Оба замолчали и опять почувствовали, что молчание сближает их неудержимо растущею близостью.

— Ну, хорошо,— сказал Голицын,— пусть бабеньки да тетеньки как им угодно. А вы-то сами хотите, чтоб любовь улетела?

— Ну, конечно, нет! Я люблю любить крепко — не умею любить немножко. Надо, чтоб епанча не спадала с одного плеча, а держалась на обоих твердо.

— Так, Маринька, так! — посмотрел на нее Голицын, как будто, наконец, вспомнил, узнал: «Так вот ты кто!»

— Какая вы хорошая! — проговорил уже другим, тихим голосом.

— Ну, вот, нашли хорошую! Вы меня еще не знаете. Спросите-ка маменьку: она вам скажет, какая я несносная девчонка, злая, упрямая.

— Послушайте, Маринька, можно с вами говорить просто?

---

[1] Самая прекрасная любовь —
Та, которая начинается и кончается в один день (*франц.*).

— Ну, конечно. Я сама люблю — просто. Этих церемоний терпеть не могу!

— Так вот что, Марья Павловна,— начал он и вдруг остановился; так же, как давеча Маринька, отвернулся, покраснел и потупился. Она посмотрела на него с любопытством.

— Не выходите замуж за господина Аквилонова,— проговорил он с внезапною решимостью.

— Это еще что? Почему?

— Потому что вы его не любите.

— Как не люблю? Жених — значит, люблю.

— Нет, не любите. Он для вас — Хо.

— Какие глупости! Человек прекрасный, почтенный, благонамеренный. Может составить счастье всякой девушки. Это все говорят — и маменька, и тетенька, и бабенька...

— А все-таки не выходите.

— Да вам-то что? Какой чудак! И как вы смеете? Мне бы рассердиться надо, а я не умею, дура...

— Ну, простите. Не буду. Не сердитесь, хорошая моя, милая, милая девушка...

Он вдруг замолчал. Взглянул на нее украдкою. Опять, как давеча, наклонилась к замерзшему оконцу и дышала на него, приложив ладони ко рту; потом начала что-то выводить пальчиком на кружке оттаявшем.

— В. Видите, В? Ведь имя вашей невесты с В?

— Какой невесты?

— Вот тебе на! Хорош жених — невесту забыл! Ай-ай-ай, разве так можно? И чего вы от меня таитесь? Я же знаю, мне Пущин сказывал: у вас в Петербурге — невеста красавица; имя — с В... Василиса, что ли? Валериан да Василиса. Вот как ладно,— с одной буквы оба имени! — рассмеялась она звонко, как будто весело, а глаза были грустные.

— Почему с В? Ах, да,— «Вольность»,— догадался Голицын и вспомнил:

Мы ждем, в томленьи упованья,
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты сладкого свиданья.

— А знаете, князь, ведь это, может быть, и не так? — вдруг перестала смеяться и посмотрела на него строго, почти сурово.

— Что не так?

— Да, вот, насчет любви. Не любовь спасет от Хо.

— А что?

— Не знаю, не умею сказать. Есть такие стишки — покойный папенька их очень любил:

В смиреньи сердца надо верить
И терпеливо ждать конца,—

сказала тихо, но в этой тишине была такая сила, что Голицын посмотрел на нее с удивлением: только что была дитя, и вот — женщина.

В эту минуту возок, съезжая с косогора, наклонился набок и едва не опрокинулся. Маринька в испуге вскрикнула и, схватившись за ручку сиденья, положила нечаянно руку на руку Голицына. Он крепко сжал ее и наклонился близко к самому лицу ее. Она чуть-чуть откинулась, хотела отнять руку, но он не пустил.

— Marie,— послышался невнятный голос Нины Львовны за перегородкою.

Маринька прислушалась, но не ответила. И оба притаились в темноте, как дети, которые шалят.

— А у вас над бровью мушка,— прошептал он смеющимся шепотом.

— Не мушка, а родинка,— ответила она таким же веселым шепотом.— Когда я была маленькой, дети дразнили меня: «У Мариньки родинка — Маринька уродинка!»

Он склонился к ней еще ближе, и она еще дальше откинулась.

— Родная, родная, милая! — прошептал он так тихо, что она могла бы не слышать, если б не хотела.

— Marie, où es tu donc, mon enfant [1],— позвала Нина Львовна уже внятным, проснувшимся голосом.

— Здесь, маменька! Я сейчас... А вот и станция!

Возок остановился. Красные огни и черные тени в оконце забегали. Маринька встала.

— Не уходите,— шепнул Голицын.

— Нельзя. Маменька будет сердиться.

Он все еще держал ее за руку. Вдруг поднес руку к губам и поцеловал куда никто не целует — в ладонь, теплую, свежую, нежную, как чашечка цветка, солнцем нагретая.

На ночь пересела к нему, по обыкновению, Палашка, а днем — опять Маринька. Госпожа Толычева перестала церемониться и позволяла дочери сидеть с ним сколько угодно.

Но потому ли, что Нина Львовна не спала и могла их слышать, или потому, что Маринька сама вдруг замкнулась, насторожилась после вчерашнего,— разговор был неловок и незначителен. Она рассказывала о своем житье в Черемушках. В рассказе все было просто и буднично,

---

[1] Мари, где же ты, дитя мое (*франц.*).

но стариной незапамятной веяло от него, как милою сказкою.

В конце липовой аллеи с грачиными гнездами, на самом обрыве, над тихою речкою Каширкою — дедушкина беседка с полустертою на фронтоне надписью: «Найтить здесь спокойство». В этой беседке Маринька читала «Удольфские таинства» госпожи Радклиф и «Страданья Ортенберговой фамилии» господина Коцебу. Вообще любила читать «ужасное и чувствительное». А зимою, в сумерки, когда в полутемной гостиной голубой свет луны сквозь обледенелые окна смешивался с красным светом лампадки из маменькиной спальни, кузина Адель пела под клавикорды старинные песенки, такие глупые, такие нежные:

Звук унылый фортепьяно,
Выражай тоску мою.

Или еще:

Уж пробил час, и нам расстаться,
Быть может, должно навсегда!
Ах, льзя ль не плакать, не терзаться?
Бог весть, увидимся ль когда.

И Маринька, слушая, плакала.

Верила в гаданья, приметы вещие, которым научила ее старая няня Петровна: если увидит нитку на полу или круг на песке от лейки — ни за что не переступит. Знала, что, когда топится печь и летят искры,— будут гости; а когда петух поет в необычное время,— надобно снять его с насести и пощупать ноги: теплые — к вестям, холодные — к покойнику.

Была хозяйка куда лучше маменьки. У них, в Серпухове, дешево все: мясо — пять копеек фунт, пара цыплят — пятьдесят, огурцы — сорок за четверик. Умела их солить как никто во всем уезде. И рукодельница была искусная. Раз начесали шерсти из овечьих душек — что у овец на груди и под шеей,— вымыли и привезли. А Пелагея у них славно прядет — вышла мягкая, чудесная шерсть, но белая вся, а узор без теней вышивать нельзя. Что же бы вы думали? Сама выкрасила и очень недурно; прекрасный коврик вышила.

— Вы это нарочно, Маринька? — рассмеялся, наконец, Голицын, не выдержал.

— Что нарочно?

— Я вам о любви, а вы об огурцах соленых и о душках!

Ничего не ответила, только закусила губку, приложила к ней пальчик и кивнула головой в сторону маменьки, как будто у них была уже общая тайна.

И о чем бы ни говорили,— в каждом слове было иное

значение, тайное, важное. Иногда вдруг умолкали, улыбаясь друг другу с удивлением радостным, как будто после долгой разлуки наступило свидание блаженное. И оба чувствовали опять, как вчера, что, хотят не хотят, а сближаются неудержимо растущею близостью. Все еще боялась его, не верила; но, когда сквозь длинные ресницы опущенных глаз ловил он стыдливо блеснувшую ласку, ему казалось, что ласка эта уже не для всех, как вчера, а для него одного.

«Что я делаю? Зачем смущаю бедную девушку?» — иногда опоминался он, а потом опять все забывал, опьяненный благоуханием любви, которым окружена была милая девушка, как цветущая сирень свежестью росною.

«Вот бы вам, Голицын, жениться на Мариньке»,— вспоминал слова Пущина; принял их тогда за шутку.— «Мы голову несем на плаху, а вы о женитьбе, Пущин!» — «Ну, что ж, и на плаху идти веселее женатому: все-таки поплачет кто-нибудь. Нет, право, женились бы, избавили бы девушку от старого плута и выжиги, господина Аквилонова».

Самому ему противно было думать, что Маринька выйдет замуж за Аквилонова. Когда в паутине бьется мотылек, хочется спасти его от паука. Но как это сделать? В Петербурге будет ему не до Мариньки: там заговор, восстание, низвержение тирана, освобождение отечества. А может быть, судьбы царств и народов не более весят на весах Божьих, чем судьба одной души человеческой?

Что же такое встреча их — случай или судьба? Если только случай, то почему это узнаванье, вспоминанье вещее, как в сновидении незапамятном? А если судьба, то почему он так уверен или хочет быть уверен, что мог бы полюбить ее, но никогда не полюбит, что в этом сне любви несбыточном, последней радости жизни, он с жизнью навеки прощается? Как тот путешественник, который, спасаясь в пустыне от зверя, кинулся в колодец, повис на суку, рвет ягоды с куста малины и ест, забыв о гибели.

Глядя на лицо ее, такое живое, вспоминал другое лицо, мертвое; в темном свете дневных свечей, в подвенечном белом платье, в гробу, вся тонкая, острая, стройная, стремительная, как стрела летящая,— шестнадцатилетняя девочка, Софья Нарышкина.

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла.
О, друг, я все земное совершила:
Я на земле любила и жила.
Нашла ли их, сбылись ли ожиданья?
Без страха верь: обмана сердцу нет;

Сбылося все: я в стороне свиданья
И знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет.
Друг! На земле великое не тщетно:
Будь тверд, а здесь тебе не изменят...

Не изменит она — не изменит и он. Та первая любовь — последняя. И если бы даже полюбил он Мариньку, не изменил бы Софье. Обе — вместе, земная и небесная. Как в последнем пределе земля и небо — одно, как Софья с Маринькой.

На третьи сутки утром возок подъезжал к Петербургу. Когда миновали последнюю станцию, Пулково, потянуло со взморья теплом; замерзшее оконце оттаяло, заплакало, и сквозь слезы забелела равнина, унылая, снежная, с болотными кочками, как будто могилами исполинского кладбища. А на самом краю белой равнины — черные точки — дома Петербурга.

— Ну, прощайте, князь,— сказала Маринька.— Сейчас приедем. Я к жениху, а вы к невесте... Вспоминать обо мне будете?

Он молча поцеловал руку ее, опять, как давеча, в ладонь, теплую, свежую, нежную, как чашечка цветка, солнцем нагретая.

— Придете к нам в Петербурге? — спросила она шепотом.

— Приду.

— А если невеста не пустит?

— Никакой у меня невесты нет.

— Правда?

— Правда.

— Честное слово?

— Честное слово. А у вас, Маринька, нет жениха?

— Не знаю. Может быть, и нет.

И опять улыбнулись друг другу, молча,— узнали, вспомнили. «Я мог бы тебя полюбить»,— сказал глубокий взор его. «И я могла бы»,— ответила она таким же взором.

— Marie, что же ты? Собираться пора. Палашка, где подорожная? Куда опять запропастила? Ах, девка несносная! — послышался ворчливый голос маменьки.

Потянулись длинные заборы, огороды, лачуги, лавки, постоялые дворы. Наконец, возок остановился у низенького домика с желтыми стенами, забрызганными еще летнею грязью, с полосатыми будками по обоим концам шлагбаума.

Дверца возка открылась, и заглянуло в нее усатое лицо инвалида. Караульный офицер прописал подорожные, скомандовал часовому: «Подвысь!» Шлагбаум поднялся, и нележанец въехал в Петербург.

ГЛАВА ВТОРАЯ

С 27 ноября, когда узнали о кончине императора Александра I, в Петербурге наступила тишина необычайная. Все умолкло и замерло, как бы затаило дыхание. Театры были закрыты; музыке запрещено играть на разводах; дамы оделись в траур; в церквах служили панихиды, трезвон колоколов унылый с утра до вечера носился над городом.

Россия присягнула Константину I. Указы подписывались именем его; на монетном дворе чеканились рубли с его изображением; в церквах возглашалось ему многолетие. Со дня на день ждали его самого, но он не приезжал, и по городу ходили слухи. Одни говорили, что отрекся от престола, другие — что согласился, а правда была неизвестна.

Для успокоения столицы объявили, что государыня-мать получила письмо, в коем его величество обещал вскоре прибыть; потом, что великий князь Михаил Павлович к нему навстречу выехал. Но оба известия оказались ложными.

Курьеры скакали из Петербурга в Варшаву, из Варшавы в Петербург; братья обменивались письмами, но толку не было.

— Пора бы кончить эти любезности,— ворчали сановники.

— Когда же, наконец, мы узнаем, кто у нас государь? — выходила из терпения императрица Мария Федоровна.

— На троне лежит у нас гроб,— шептались верноподданные в тихом ужасе.

На другой день после присяги в окнах магазинов на Невском выставлены были портреты нового императора. Прохожие толпились перед окнами. На портрете он был дурен, а в действительности — еще хуже. Курнос, как Павел I; большие мутно-голубые глаза навыкате; насупленные брови, торчащие густыми пучками белобрысых волос; такие же волосы на переносице; в минуты гнева вздымались они, щетинились; руки длинные, ниже колен, как обезьяньи лапы: казалось, мог ходить на четвереньках. И весь был похож на обезьяну, огромную, человекоподобную. Вспоминали, как жаловалась бабушка, императрица Екатерина Великая, на бесчинное и бесчестное поведение внучка: «Везде, даже и по улицам, обращается с такой непристойностью, что я того и смотрю, что его где ни есть прибьют. Не понимаю, откудова в нем вселился такой подлый санкюлотизм, пред всеми унижающий».

Письма свои к учителю, французу Лагарпу, подписывал: «L'âne Constantin» [1]. Но был не глуп, а только нарочно «валял дурака», чтоб оставили его в покое, не лезли с короною. «Деспотический вихрь»,— называли его приближенные. Однажды на смотру лошадь его испугалась, шарахнулась. Выхватив палаш, он избил ее так, что она едва не издохла. Лошадью будет Россия, а Константин — бешеным всадником. Надеялись, впрочем, что не захочет царствовать, по «отвращению природному».

— Меня задушат, как задушили отца,— говаривал.— Знаю вас, канальи, знаю! — злобно усмехался.— Теперь кричите «ура», а если потащат меня на лобное место и спросят: «любо ли?», вы так же закричите: «любо! любо!».

Рассказывали, что когда прочел манифест о вступлении своем на престол, с ним сделалось дурно, велел пустить себе кровь.

— Что они, дурачье, вербовать, что ли, вздумали в цари! — кричал в бешенстве.— Не пойду! Сами кашу заварили, сами и расхлебывайте!

Когда в Петербурге узнали об этом, все возмутились.

— Нельзя играть законным наследием престола, как частною собственностью,— говорили одни.

— Почему нельзя? — возражали другие.— В России все можно. Мы трусы. Погрози нам только гауптвахтою — и смиримся.

— Кому бараны достанутся? — держали заклад шутники.

— Какие бараны?

— Мы. Разве нас не гонят от одной присяги к другой, как стадо баранов?

Решали, кто лучше — Константин или Николай?

Император Павел I назначил пятимесячного младенца Николая шефом лейб-гвардии конного полка в чине генерал-лейтенанта. Мальчик, прежде чем научился ходить, бил в барабан и махал игрушечной сабелькой. А когда подрос, вскакивал с постели по ночам, чтобы постоять с ружьем. Никогда ничего не хотел знать, кроме солдатиков. Воспитатель великих князей, дядька Ламсдорф, бил мальчиков по голове ружейным шомполом так, что они почти лишались чувств. «Бог ему судья за бедное образование, нами полученное»,— говаривал впоследствии сам Николай.

Никогда не готовился быть наследником; лет до двадцати не имел никаких служебных занятий, и все его знакомство с светом было в дворцовых передних и в сек-

[1] Осел Константин (*франц.*).

ретарской комнате. «Бешен, как Павел, и злопамятен, как Александр». Правда, умен; но ума-то его и боялись пуще всего: чем умнее, тем злее.

В совершенстве усвоил прусский военный устав и вообще был немец. Предсказывали, что со вступлением его на престол немцы наводнят Россию, которая и без того уже кажется «почти завоеванной».

Константин — зверь, а Николай — машина. Что лучше, машина или зверь?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В зале Государственного Совета, в Зимнем дворце, между генерал-адъютантскою комнатою и временными покоями великого князя Николая Павловича, в восемь часов утра все еще было темно, как ночью. Высокие окна, выходившие на двор, зияли чернотой непроницаемой. Черно-желтый туман, казалось, проникал, как дым удушливо-едкий, сквозь окна и стены. Восковые свечи в тяжелых канделябрах, на длинном, крытом зеленым сукном столе, тускло горевшие, освещали только середину залы, а углы тонули во мраке; и там два больших портрета, висевших друг против друга, Екатерины II и Александра I, выступали таинственно-призрачно, как будто Внучек и Бабушка переглядывались, перемигивались с одной и той же улыбкой лукаво-насмешливой.

Старые сановники, в пудре, в шелковых чулках и башмаках, в мундирах, шитых золотом, блуждали как дряхлые тени, сходились, шептались, шушукались. А в самом темном углу сидели молча, не двигаясь, как три изваяния безжизненные, три вставшие из гроба покойника,— семидесятилетний министр внутренних дел Ланской, восьмидесятилетний министр просвещения Шишков и генерал Аракчеев, казавшийся вечным, без возраста. После убийства Настасьи Минкиной в первый раз появился он во дворце.

«Смерть девки отняла у него способность заниматься делами, а кончина государя возвратила ему оную»,— говорили о нем.

Все уже знали, что из Варшавы прибыл курьер окончательный с отказом цесаревича, и сегодня должен быть подписан манифест о восшествии на престол императора Николая I. С минуты на минуту ждали князя Александра Николаевича Голицына с манифестом, переписанным набело. Когда открывалась дверь, оглядывались,— не он ли?

Высокого роста, благообразный, милый и важный старик, с полуседыми волосами, зачесанными на верх плеши-

вой головы, с продолговатым, тонким и бледным лицом, с двумя болезненными морщинами около рта — в них меланхолия и чувствительность,— весь тихий, тишайший, осенний, вечерний,— Николай Михайлович Карамзин, стоя у камина, грелся. Все эти дни был болен. «Нервы мои в сильном трепетании. Слабею как младенец от всего»,— жаловался. Поражен был смертью государя, как смертью друга, брата любимого; и еще больше — равнодушием всех к этой смерти. «Все думают только о себе, а о России — никто». Все оскорбляло его, мучило, ранило; хотелось плакать без всякой причины. Чувствовал себя старою «Бедною Лизою».

Николай поручил ему составить манифест о своем восшествии на престол. Составил, но не угодил. «Да благоденствует Россия мирною свободою гражданскою и спокойствием сердец невинных»,— эти слова не понравились; велели переделать. Переделал — опять не понравилось. Манифест поручили Сперанскому.

Карамзин огорчился, но продолжал бывать во дворце, говорил о причинах общего неудовольствия и о мерах, какие надо принять для блага отечества.

Никто не слушал его, и он замолчал, отошел. «Кончена, кончена жизнь! Умирать пора»,— плакал и смеялся над старою Бедною Лизою.

Стоя теперь у камина, поглядывал издали на все с грустью задумчивой. «Гляжу на все, как на бегущую тень»,— говаривал.

Рядом шептались два старичка-сановника.

— Надеюсь, мы вас не лишимся? — спрашивал один.

— Бог знает, что с нами будет! — пожимал плечами другой.— Намедни, за ужином, Петр Петрович шампанским угащивал: «Выпьем, говорит, неизвестно, будем ли завтра живы».

— Все грустить изволите, ваше превосходительство? — сказал, подойдя к Карамзину, обер-камергер Алексей Львович Нарышкин, весь залитый золотом и бриллиантами, с лицом величаво-приветливым и незначительным, с жеманно-любезной улыбкой старых вельмож екатерининских. Весельчак, забавник, шутивший даже тогда, когда другим было не до шуток.

— Не я один, а вся Россия...— начал было Карамзин.

— Ну, Россию лучше оставим,— усмехнулся Нарышкин тонкою усмешкою.— Давеча, во время панихиды, на Дворцовой площади расшалились извозчики. Послали унять: стыдно-де смеяться, когда все плачут о покойнике. «А чего, говорят, о нем плакать? Пора и честь знать, вишь сколько процарствовал!» Вот вам и Россия!

Бледное лицо Карамзина вспыхнуло.

— Смею думать, ваше превосходительство, что в России найдутся люди, которые заплатят долг благодарности...

— Ну, полно, мой милый, кто нынче долги платит? Что до меня, я только на одре смерти скажу: C'est la première dette, que je paye à la nature [1],— рассмеялся Нарышкин.

— Разве так дела делают? Все бумаги перепутали! У вас, сударь, нет царя в голове! — кричал злой карлик с калмыцкой рожицей, министр юстиции Лобанов-Ростовский, на исполняющего должность государственного секретаря, старую седую крысу, Оленина.

— Что это он говорит: нет царя? — не понял князь Лопухин, председатель Государственного Совета и Комитета Министров, кавалер Большого Мальтийского Креста, старик высокий, стройный и представительный, набеленный, нарумяненный, с вставною челюстью и улыбкой сатира. Он страдал глухотой, а в последние дни, от расстройства мыслей, глухота усилилась.

— Говорит, что нет царя в голове у Оленина,— прокричал ему Нарышкин на ухо.— А вы думали что?

— Я думал, нет царя в России.

— Да, пожалуй, и в России,— опять усмехнулся Нарышкин своей тонкой усмешкой.— И ведь вот что, господа, удивительно: уже почти месяц, как мы без царя, а все идет так же ладно или так же неладно, как прежде.

— Все вздор делают! В мячик играют! — продолжал кричать Лобанов.

— Какой мячик? — опять не понял Лопухин.

— Ну, об этом нельзя кричать на ухо,— отмахнулся Нарышкин и шепнул Карамзину.— А вы о мячике слышали?

— Нет, не слыхал.

— «Pendant quinze jours on joue la couronne de Russie au ballon, en se la renvoyant mutuellement, [2]— это Лаферонне, французский посол, намедни пошутить изволил. Шуточка отменная, только едва ли войдет в Историю Государства Российского!

Лопухин подставил ухо и, должно быть, услышав имя Лаферонне, понял в чем дело, тоже рассмеялся, обнажая ровные, белые зубы искусственной челюсти, и тленом пахнуло изо рта его, как от покойника.

---

[1] Это первый долг, который я плачу природе (*франц.*).

[2] Пятнадцать дней играют Российской короной, перебрасывая ее как мячик один другому (*франц.*).

— Ну, как ваши рюматизмы, Николай Михайлович? — проговорил приятно-сиповатым голосом старик лет шестидесяти в довольно поношенном фраке с двумя звездами, с венчиком седых завитков вокруг лысого черепа, с лицом белизны удивительной, почти как молоко, с голубыми глазами, вращавшимися медленно, подернутыми влажностью,— «глаза умирающего теленка»,— сказал о них кто-то. Это был Михаил Михайлович Сперанский.— А меня геморроиды замучили,— прибавил, не дождавшись ответа, и вынув из табакерки щепотку лаферма двумя длинными тонкими пальцами руки изящнейшей, засунул табак в нос, утерся шелковым красным платком сомнительной чистоты,— на тонкое белье был скупенек,— и проговорил с самодовольной улыбкой: — Эх, был бы я молодец, если бы табаку не нюхал!

— Ну, что, ваше превосходительство, готов манифест? — спросил Карамзин, нарочно давая понять, что не сердится и не завидует.

Сперанский обратил на него свои медленные глаза с едва уловимой усмешкой на тонких губах:

— Ох, уж не говорите! Этот манифест мне вот где! — указал себе на шею.— Как объяснить необъяснимое, растолковать народу эти сделки домашние? Николай отрекается для Константина, а Константин — для Николая. Ни в кузов, ни из кузова.

— Так что же было делать?

— Не открывать завещания, каши не заваривать.

— Презреть волю покойного?

— Мертвые воли не имеют.

— Жестокие слова, ваше превосходительство!

— Лучше слова, чем дела жестокие. Нельзя играть законным наследием престола, как частною собственностью. Если покойный государь хоть сколько-нибудь любил свое отечество, которое в двенадцатом году дало ему такие неоспоримые доказательства своей преданности, то как мог он подвергнуть Россию... Ну, да что говорить! Последние десять лет превосходят все, что мы когда-либо о железном веке слышали... А впрочем, может быть, «все к лучшему», как ваше превосходительство говорить изволите.

Карамзин молчал. Слезы обиды за друга, за брата любимого кипели в душе его, и он с трудом их удерживал. Облокотившись о мрамор камина, опустил голову и закрыл глаза рукою.

— Нездоровится, ваше превосходительство? — спросил Сперанский.

— Да, голова болит. Должно быть, от нервов. Нервы мои в сильном трепетаньи...

— Это нынче у всех. От погоды,— заметил Сперанский.— А знаете, отличное средство для утверждения нервов: вместо чаю — холодный отвар миллефолия с горькой ромашкой.

— Миллефолий, миллефолий...— повторил Карамзин с улыбкой болезненной; что-то было в этом слове приторно-сладкое, тошное и томное, что застревало в горле комком непроглоченным. И казалось ему, что сам Сперанский с его лицом белизны удивительной, почти как молоко, с бледно-голубыми глазами, подернутыми влажностью, «глазами умирающего теленка»,— весь как миллефолий. Сделал над собой усилие, проглотил комок и отнял руки от глаз.

— Да, все к лучшему, ваше превосходительство, хотя и не в смысле здешнего света,— улыбнулся тихою улыбкою.— Есть Бог — будем спокойны.

— Ваша правда, Николай Михайлович, будем спокойны,— улыбнулся и Сперанский.— Я всегда говорил: Dei providentia et hominum confusione Ruthenia ducitur.

— Как? Как вы сказали?

— Божеским Промыслом и человеческою глупостью Россия водится.

Карамзин опять закрыл глаза рукою. Ему хотелось плакать и смеяться вместе.

«Хороши мы оба,— думал он,— в такую минуту, когда решаются судьбы отечества, российский законодатель ничего не находит, кроме смеха, а российский историк — ничего, кроме слез. Кончена, кончена жизнь! Пора умирать, старая Бедная Лиза!»

Открылась дверь в генерал-адъютантскую, и опять все оглянулись. С большим портфелем в руках, семеня ножками, маленький, толстенький, кругленький, как шарик, вкатился в комнату князь Александр Николаевич Голицын.

— Ну что, готов манифест? — обступили его все.

— Какой манифест? — притворился он непонимающим.

— Э, полноте, ваше сиятельство, весь город знает!

— Ради Бога, господа, секрет государственный!

— Да уж ладно, не выдадим. Только скажите: готов?

— Готов. Сейчас к подписи.

— Ну, слава Богу! — вздохнули все с облегчением. И в темном углу зашевелились три тени дряхлые. Аракчеев медленно перекрестился.

А на противоположном конце залы открылась другая дверь из коридора во временные покои великого князя Николая Павловича, и генерал-адъютант Бенкендорф, позвякивая шпорами, скользя по паркету, как по льду, выбе-

жал, весь легкий, летящий, порхающий; казалось, что на руках и ногах его — крылышки, как у бога Меркурия. Гладкий, чистый, вымытый, выбритый, блестящий, как новой чеканки монета. Молодой среди старых, живой среди мертвых. И, глядя на него, все поняли, что старое кончено, начинается новое.

Рассветало. Вставал первый день нового царствования — страшный, темный, ночной день. Черные окна серели — серели и лица трупною серостью. Казалось, вот-вот рассыплются, как пыль, разлетятся, как дым, тени дряхлые,— и ничего от них не останется.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«Лейб-гвардии дворянской роты штабс-капитан Романов Третий,— чмок!» — так шутя подписывался под дружескими записками и военными приказами великий князь Николай Павлович в юности и так же иногда приговаривал, глядя в зеркало, когда оставался один в комнате.

В темное утро 13 декабря, сидя за бритвенным столиком, между двумя восковыми свечами, перед зеркалом, взглянул на себя и проговорил обычное приветствие.

— Штабс-капитан Романов Третий, всенижайшее почтенье вашему здоровью — чмок!

И хотел прибавить: «Молодчина!», но не прибавил — подумал: «Вон как похудел, побледнел. Бедный Никс! Бедный малый! Pauvre diable! Je deviens transparent!» [1]

Вообще был доволен своею наружностью. «Аполлон Бельведерский» — называли его дамы. Несмотря на двадцать семь лет, все еще худ худобой почти мальчишеской. Длинный, тонкий, гибкий, как ивовый прут. Узкое лицо, все в профиль. Черты необыкновенно правильные, как из мрамора высеченные, но неподвижные, застывшие. «Когда он входит в комнату, в градуснике ртуть опускается»,— сказал о нем кто-то. Жидкие, слабо вьющиеся, рыжевато-белокурые волосы; такие же бачки на впалых щеках; впалые, темные, большие глаза; загнутый, с горбинкой нос; быстро бегущий назад, точно срезанный, лоб; выдающаяся вперед нижняя челюсть. Такое выражение лица, как будто вечно не в духе: на что-то сердится, или болят зубы. «Аполлон, страдающий зубною болью»,— вспомнил шуточку императрицы Елизаветы Алексеевны, глядя на свое угрюмое лицо в зеркале; вспомнил также, что всю ночь болел зуб, мешал спать. Вот и теперь — потрогал пальцем — ноет; как бы флюс не сделался. Неужели взойдет

[1] Бедняга! Я становлюсь прозрачным! (*франц.*)

на престол с флюсом? Еще больше огорчился, разозлился.

— Дурак, сколько раз я тебе говорил, чтоб взбивать мыло как следует! — закричал на генерал-адъютанта Владимира Федоровича Адлерберга или попросту «Федорыча», который служил ему камердинером.— И вода простыла! Бритва тупая! — отодвинул чашку и отшвырнул бритву.

Федорыч засуетился молча. Черномазый, полный, мягкий, как вата, казался увальнем, но был расторопен и ловок.

— Ну, что, как Сашка спал? — спросил Николай, немного успокоившись.

— Государь наследник почивать отменно изволили,— ответил Адлерберг.— А с утра все плачут об Аничкином доме и о лошадках.

— О каких лошадках?

— О деревянных: забыли в Аничкином.

«Нет, не о лошадках, а об отце несчастном. Должно быть, беду предчувствует»,— подумал Николай.

— Где сегодня обедать изволите, ваше высочество? — спросил Адлерберг.

— В Аничкином, Федорыч, в последний раз в Аничкином! — вздохнул Николай.

Вспомнил, как мечтал «поступить в партикулярную жизнь» и предаться в уединении семейным радостям. «Если кто-нибудь спросит тебя, в каком уголке мира обитает истинное счастье, то сделай одолженье, пошли его в Аничкин рай»,— говаривал своему другу Бенкендорфу с тем видом чувствительным, который получил в наследство от матери, императрицы Марии Федоровны.

После кончины брата Александра переехал из Аничкина в Зимний дворец и жил здесь в строгом заключении, как под арестом, считая «неприличным показываться публике». Устроил себе кабинет-спальню в библиотеке бывшей половины короля Прусского, комнате, ближайшей к зале Государственного Совета, с которым соединялась она темным коридором.

Расположился, как на бивуаке. Комната была без углов, круглая. Узкая походная кровать неуютно поставлена рядом со стеклянным книжным шкапом; кожаный матрац набит сеном; к такому спартанскому ложу приучила его бабушка. На полу — открытый чемодан с бельем и платьем неразобранным. Единственный предмет роскоши — большое трюмо из красного дерева. У зеркала, на полочках — щетки, гребенки и склянка духов — «Parfum de la Cour» [1]; тут же, на особой подставке — ружья, пистолеты, сабли, шпаги и корнет-а-пистон.

---

[1] Аромат Двора (*франц.*).

Кончив бриться, скинул старенькую шинель, служившую вместо халата, надел генеральский мундир измайловского полка, темно-зеленый, с красным подбоем и золотым шитьем из дубовых листиков.

Стоя перед зеркалом, одевался долго, медленно, тщательно, как молодая красавица на первый бал. Осматривался, оправляя каждую складку; с помощью Адлерберга затягивался, застегивался на все крючочки, петлички, пуговки. В мундире сделался еще длиннее, стройнее, тоньше, с выпяченною грудью, с талией в рюмочку, как молоденький прусский капрал — хоть сейчас на Потсдамский развод.

Кончив одевание, Федорыч вышел из комнаты, а Николай опустился на колени перед образом. Поспешно крестился мелкими крестиками и клал поклоны, стукая лбом. Прочитав положенные молитвы, хотел еще прибавить что-нибудь от себя на предстоящий трудный день. Но ничего не придумал — своих слов не было. Верил в Бога, но когда думал о Нем, представлялась черная дыра, «где строго и жучковато», как император Павел I говаривал о дисциплине в русской армии. Сколько ни молись, ни зови,— никто из дыры не откликнется.

Встал и сел в кресло. Чувствовал себя больным и разбитым. Плохо спал ночь; скверный сон приснился: будто бы вырос большой кривой зуб. Бабушка сказала, что надо вырвать. А он боится, плачет, убегает, прячется. А дядька Ламсдорф с большущею розгою ловит его,— вот-вот поймает и высечет. И — вдруг Ламсдорф уже не Ламсдорф, а брат Константин. Убегая от него, кидается бедный Никс к старой няне, англичанке мисс Лайон, и просит, чтоб она его высекла; знает, что розог все равно не миновать, а она не так больно сечет. И вдруг — няня уже не няня, а кто? Забыл. Помнил только, что сон кончался прескверно.

«А ведь сон в руку»,— подумал. Недаром всегда боялся брата Константина, как будто предчувствовал, что он беды наделает; недаром тот издевался над ним еще во чреве матернем. «Никогда я такого брюха не видывал, тут место для четверых!» — шутил сынок над матушкой, когда она была Николаем беременна. И потом всю жизнь издевался. По имени Николая Угодника называл его «Мирликийским царевичем» [1]. «Ни за что,— говорил,— не буду царствовать, потому что боюсь революции. А ты, царевич Мирликийский, разве не боишься? Ведь революция — та же гроза». И напоминал ему, как в детстве, во время грозы, он прятал под подушку голову. «Я трус и знаю, что трус, а ты

---

[1] Святитель Николай был архиепископом Мирликийским.

храбришься, но хуже моего трусишь». Вот и теперь сам толкнул его на престол и сам же над ним издевается: «Посмотрим, как-то ты из этой глупой истории выпутаешься, император-выскочка, un empereur parvenu!»

Николай писал ему любезные письма, называл своим благодетелем, умолял, унижался: «Припадая к стопам твоим, дорогой Константин, умоляю, сжалься над несчастным!» И в то же время думал с зубовным скрежетом: «О, подлый шут! О, санкюлот проклятый! Что он со мною делает! За это убить мало!»

Каждое утро, после молитвы, имел обыкновение играть военную зорю на корнет-а-пистоне. Считал себя музыкантом; любил сочинять военные марши. На Потсдамских маневрах мастерски трубил сигналы, пока рота его высочества, Прусского наследного принца, производила учение на площади.

Взял корнет-а-пистон, приставил к губам, надул щеки, но извлек только слабый, жалобный звук и тотчас отложил в сторону. Нет, полно, теперь уж не до музыки. Тяжело вздохнул и опять стало жалко себя: «Pauvre diable! Бедный малый! Бедный Никс!»

— Федорыч, чаю!

— Сию минуту, ваше высочество!

Утром пил чай со сливками и сдобными булками. Но на этот раз без всего: аппетита не было.

Бенкендорф доложил о Голицыне.

— С манифестом?

— Так точно, ваше высочество.

— Проси.

Вошел Голицын с Лопухиным и Сперанским.

— Готов?

— Готов, государь.

Голицын подал ему манифест, переписанный набело.

— Прошу садиться, господа,— сказал Николай и стал читать вслух.

— «Объявляем всем верным нашим подданным. В сокрушении сердца, смиряясь перед неисповедимыми судьбами Всевышнего...»

Не глядя на Сперанского, чувствовал на себе пристальный взгляд его. Всегда становилось ему неловко под этим взглядом, слишком ясным и проницательным.

Считал Сперанского якобинцем отъявленным. Недаром покойный император сослал его и едва не казнил как государственного изменника. «Пальца ему в рот не клади»,— думал о нем Николай, и, как бы ни был тот подобострастно-почтителен, все казалось ему, что он смеется над ним, как над маленьким мальчиком. Однажды кто-то при

нем назвал Сперанского «великим философом»; Николай промолчал, только усмехнулся язвительно. Философию ненавидел больше всего на свете. А все-таки чувствовал, что нельзя кричать на него, как в манеже на своих офицеров покрикивал: «Господа офицеры, займитесь службой, а не философией. Я философов терпеть не могу! Я всех философов в чахотку вгоню!»

— «Кончиною в Бозе почившего государя императора Александра Павловича, любезнейшего брата нашего,— продолжал читать,— мы лишились отца и государя, двадцать пять лет России и нам благотворившего. Когда известие о сем плачевном событии, в двадцать седьмой день ноября месяца, до нас достигло, в самый первый час скорби и рыданий, мы, укрепляясь духом для исполнения долга священного и следуя движению сердца, принесли присягу верности старейшему брату нашему, государю цесаревичу и великому князю Константину Павловичу, яко законному, по праву первородства, наследнику престола Всероссийского...»

Далее «объяснялось необъяснимое»: тайное завещание покойного императора, отречение Константина в пользу Николая, отречение Николая в пользу Константина — все эти «домашние сделки», «игра законным наследием престола как частною собственностью».

— «Мы видели отречение его высочества, при жизни государя императора учиненное и согласием его величества утвержденное; но не желали и не имели права сие отречение, в свое время всенародно не объявленное и в закон не обращенное, признавать навсегда невозвратным. Сим желали мы утвердить уважение наше к первому коренному отечественному закону о неколебимости в порядке наследия престола. И вследствие того, пребывая верными присяге, нами данной, мы настояли, чтобы и все государство последовало нашему примеру; и сие учинили мы не в пререкание действительности воли, изъявленной его высочеством, и еще менее в преслушание воли покойного государя императора, общего нашего отца и благодетеля, воли, для нас всегда священной, но дабы оградить коренной закон о порядке наследия престола от всякого прикосновения, дабы отклонить самую тень сомнения в чистоте намерений наших...»

— Невразумительно. О порядке наследия весьма невнятно и невразумительно,— сказал Николай и почувствовал, что на воре шапка горит.

— Изменить прикажете, ваше величество?

Легко сказать: изменить — надо знать к а к. А этого-то он и не знал.

— Нет, пусть уж так,— махнул рукой и надулся.

— «С сердцем, исполненным благоговения и покорности к неисповедимым судьбам Промысла, нас ведущего, вступая на прародительский наш престол, повелеваем присягу в верности подданства учинить нам и нашему наследнику, его императорскому высочеству великому князю Александру Николаевичу, любезнейшему сыну нашему; время вступления нашего на престол считать с девятнадцатого ноября тысяча восемьсот двадцать пятого года. Наконец, мы призываем всех наших верных подданных соединить с нами теплые мольбы их ко Всевышнему, да ниспошлет нам силы к понесению бремени, святым Промыслом Его на нас возложенного...»

— Не «возложенного», а «возложенному»,— поправил Николай.

Сперанский молча взял карандаш.

— Постойте, как же правильней?

— Родительный падеж, ваше величество: «возложенного» — «бремени возложенного».

— Ах, да, родительный... Ну, так и поправлять нечего,— покраснел Николай. Никогда не был тверд в русской грамоте. И опять почудилось ему, что Сперанский смеется над ним, как над маленьким мальчиком.

— «Да укрепит благие намерения наши: жить единственно для любезного отечества, следовать примеру оплакиваемого нами государя; да будет царствование наше токмо продолжением царствования его, и да исполнится все, чего для блага России желал тот, коего священная память будет питать в нас и ревность, и надежду стяжать благословение Божие и любовь народов наших».

Манифест ему нравился. Но он и виду не подал; дочитав до конца, еще больше надулся.

Взял перо, чтобы подписать, и отложил: подумал, что надо бы вспомнить о Боге в такую минуту. Закрыл глаза, перекрестился; но, как всегда, при мысли о Боге, оказалась только черная дыра, где «строго и жучковато»; сколько ни молись, ни зови,— никто из дыры не откликнется. Подписал, уже ни о чем не думая. Только спросил:

— Тринадцатое?

— Так точно, государь,— ответил Сперанский.

«А завтра понедельник»,— вспомнил Николай и поморщился. Подписал двенадцатым.

— Счастие имею поздравить ваше императорское величество с восшествием на престол или, вернее, сошествием,— потянулся к нему Лопухин и поцеловал его в плечико.

— Почему сошествием? — удивился Николай.

— А потому, что фамилия вашего императорского величества так высоко поднялась в общем мнении публики,

что члены оной как бы уже не восходят, а скорей, нисходят на престол,— осклабился Лопухин с любезностью, обнажая белые ровные зубы искусственной челюсти, и тленьем пахнуло изо рта его, как от покойника.

— Ангел-то, ангел наш с небес взирает! — всхлипнул Голицын и тоже поцеловал Николая в плечико.

— Не с чем меня поздравлять, господа,— обо мне сожалеть должно,— проговорил Николай угрюмо и вдруг с почти нескрываемым вызовом обернулся к Сперанскому, который сидел молча, потупившись.— Ну, а вы, Михайло Михайлыч, что скажете?

— «Да будет царствование наше токмо продолжением царствования его», никогда я себе этих слов не прощу, ваше величество,— поднял на него Сперанский медленные глаза свои.

— Это не ваши слова, а мои. И чем они плохи?

— Не того ждет Россия от вашего величества.

— А чего же?

— Нового Петра.

Лесть была грубая и тонкая вместе. «Il y a beaucoup de praporchique en lui et un peu de Pierre le Grand» [1],— сказал однажды Сперанский о великом князе Николае Павловиче и мог бы то же сказать об императоре.

Вдруг наклонился, поймал руку его, хотел поцеловать; но тот поспешно отдернул ее, обнял его и поцеловал в лысину.

— Ну, полно, ваше превосходительство, льстить изволите,— усмехнулся недоверчиво, а сердце все-таки сладко дрогнуло: «второй Петр» был его мечтою давнею.

Помолчал и прибавил:

— Я никогда не думал вступать на престол. Меня воспитывали как будущего бригадного. Но надеюсь быть достойным своего звания; надеюсь также, что как я исполнил свой долг, так и все оный предо мною выполнят. Когда же приобрету необходимые сведения, то поставлю каждого на свое место. Философия не мое дело. Пусть господа философы как себе хотят, а для меня — жить значит служить; и если бы все служили как следует, то всюду был бы порядок и спокойствие. Вот, господа, вся моя философия!

Взглянул на Сперанского. Тот молчал, зажмурив глаза и наклонив голову, как будто слушал музыку.

— А за сим,— продолжал Николай, возвышая голос,— не допускаю и мысли, чтобы во всем, касающемся дел вверенной мне Богом империи, кто-либо из подданных осмелился уклониться от указанного мною пути.

---

[1] В нем много от прапорщика и мало от Петра Великого (*франц.*).

Говорил коротко, отрывисто, как будто с кем-то спорил или на кого-то сердился; входил во вкус — покрикивал, как молодой петушок, который хорохорится, но еще не умеет кричать как следует.

— И если я буду хоть на один час императором, то покажу, что был того достоин,— кончил и встал.

— Государственный Совет, ваше сиятельство,— обр тился к Лопухину,— извольте собрать сегодня к восьм часам вечера для объявления манифеста и учинения присяги. И прошу вас, господа, чтоб никто не знал... Сегодня прошу, а завтра буду приказывать,— опять не удержался, кончил окриком.

Лопухин, Голицын и Сперанский вышли из комнаты. В одну дверь вышли, а в другую вошел Бенкендорф.

Бедный остзейский дворянин, будущий великий сыщик, шеф жандармов, начальник III Отделения, генерал-адъютант Александр Христофорович Бенкендорф, имел наружность приятную, даже благородную, только лицо слегка помятое,— видно было, человек пожил; улыбка неподвижно-любезная, взор обманчиво-добрый, как у людей равнодушно-уклончивых. Не глуп, не зол, но рассеян и легок на все. «Скользите, смертные,— не напирайте. Glissez, mortels, n'appuyez pas»,— говаривал.

Когда он вошел, в лице Николая сразу, без всякого перехода, одно выражение заменилось другим — угрюмо-надутое — умиленно-чувствительным. Вообще, выражения лица его менялись мгновенно, внезапно до странности, как будто снимались и надевались маски. «Множество масок, но нет лица»,— сказал о нем кто-то.

Схватил Бенкендорфа обеими руками за руки и уставился в лицо его молча.

— Подписать изволили, ваше величество?

— Подписал,— тяжело вздохнул Николай и поднял глаза к небу.— Я долг свой исполнил: наш ангел должен быть мною доволен. Все будет в порядке кончено, или я жив не останусь. Воля Божья и приговор братний надо мною совершаются. Я, может быть, иду на гибель, но нельзя иначе. Жертвую собою для брата; счастлив, если, как подданный, исполню волю его. Но что будет с Россией?..

Долго еще говорил. Привычку к болтовне слезливой получил тоже в наследство от матери.

Бенкендорф ждал с терпеливою скукою, когда он кончит.

— Ну что, как в городе? — проговорил Николай уже другим, деловым голосом, утирая платком сухие глаза и опять так же мгновенно, как давеча, одна маска упала, другая наделась.

— Все тихо, ваше величество. Но, может быть, тишина перед бурей.

— А все-таки бури ждешь?

— Жду, государь. Число недовольных слишком велико. Революция в умах уже существует.

— А с Ростовцевым-то, кажется, я вчерась оплошал,— вдруг вспомнил Николай.— Так и не узнал имен. Никогда себе не прощу. Узнать бы имена да арестовать...

— Ни-ни, ваше величество, никаких арестов! А то вся шайка разбежится. Да и первый день царствования омрачать не следует.

— А если начнут действовать?

— Пусть, тогда и аресты никого не удивят. Потихоньку, полегоньку, с осторожностью. Ожесточать людей не надо. Ненавистников у вас и без того довольно.

— Зато друг один! — воскликнул Николай и крепко пожал ему руку.

Подошел к столу, отпер ящик и вынул пакет с надписью: «О самонужнейшем. Его Императорскому Величеству в собственные руки». Это был привезенный накануне Фредериксом из Таганрога донос генерала Дибича.

— На, прочти. Тут еще целый заговор.

— Во второй армии? Тайное Общество подполковника Пестеля? — спросил Бенкендорф, не раскрывая пакета.

— А ты уже знаешь? — удивился, почти испугался Николай: «Вот он какой! На аршин под землей видит!»

— Знаю, ваше величество. Еще в двадцать первом году имел счастье представить о сем донесении покойному государю императору.

— Ну, и что ж?

— Изволили оставить без внимания. Четыре года пролежала записка в столе.

— Хорошенькое наследство оставил нам покойник,— усмехнулся Николай злобно.

— Никому о сем деле говорить не изволили, ваше величество? — посмотрел на него Бенкендорф проницательно.

— Никому,— солгал Николай: стыдно было признаться, что и тут «сглупил» — сообщил о доносе Милорадовичу.

— Ну, слава Богу. Главное, чтоб не узнал Милорадович,— как будто угадал Бенкендорф мысль Николая.— Я тогда же осмелился доложить его величеству, что дела сего нельзя поручать Милорадовичу.

— Почему?

— Потому что он сам окружен злодеями.

— Милорадович? И он с ними? — побледнел Николай.

— С ними ли, нет ли, а только он, может быть, хуже всех заговорщиков. Страшно подумать, ваше величество,— судьба отечества в руках этого паяца бездушного! Я о нем такое слышал намедни, что ушам не поверил.

— Что же?

— Увольте, государь. Повторять гнусно.

— Нет, говори.

— Когда двадцать седьмого ноября, по открытии завещания покойного государя императора, Милорадович с неслыханной дерзостью воспротивился вступлению на престол вашего величества, кто-то ему говорит: «Вы, говорит, очень смело действуете, граф». А он: «Когда, говорит, шестьдесят тысяч штыков имеешь в кармане, можно быть смелым!» — засмеялся и похлопал себя по карману.

— Мерзавец! — прошептал Николай, еще больше бледнея.

— А давеча мне самому говорит,— продолжал Бенкендорф,— «Сомневаюсь, говорит, в успехе присяги. Гвардия не любит его», то есть вашего императорского величества. «О каком, говорю, успехе вы говорите? И при чем тут гвардия? Какой голос она может иметь?» — «Совершенно, говорит, справедливо: им не следует иметь голоса, но это обратилось у них уже в привычку, вторую натуру».

— Мерзавец! — опять прошептал Николай.

— «Воля, говорит, покойного государя, изустно произнесенная, была бы священна для гвардии; но объявление, по смерти его, духовного завещания непременно будет сочтено подлогом».

— Подлогом? — вздрогнул Николай, и лицо его вспыхнуло, как от пощечины.— Что ж это, что ж это значит? Самозванец я, что ли?

— Граф Милорадович, ваше величество,— доложил Адлерберг, тихонько приотворяя дверь и просовывая голову.

«Не принимать!» — хотел было крикнуть Николай, но не успел: дверь открылась настежь и молодцеватой походкой, позвякивая шпорами, вошел петербургский военный генерал-губернатор, граф Милорадович.

Выходя из комнаты, Бенкендорф столкнулся с ним в дверях и, низко поклонившись, уступил ему дорогу с особенной любезностью.

Сподвижник Суворова, герой Двенадцатого года, Милорадович, несмотря на шестой десяток, все еще сохранил осанку бравую, тот вид победительный, с каким, бывало, в огне сражений, под пушечными ядрами, раскуривал труб-

ку и поправлял складки на своем плаще амарантовом[1]. «Рыцарем Баярдом»[2] называли его одни, а другие — «хвастунишкой, фанфаронишкой». У него были крашеные волосы, большой крючковатый нос, пухлые губы и масляные глазки старого дамского угодника.

Взглянув на Милорадовича, Николай вдруг вспомнил конец своего сна о кривом зубе: когда, убегая от Ламсдорфа — Константина, бросился он к старой няне, англичанке мисс Лайон,— все-таки не так больно высечет,— то оказалось, что няня уже не няня, а Милорадович с большущею розгою, которой он и высек бедного Никса пребольно — еще больнее, чем Ламсдорф — Константин.

Милорадович вошел, поклонился, хотел что-то сказать, но взглянул на Николая и онемел — такая лютая ненависть была в искривленном лице его и глазах сверкающих. Но это промелькнуло, как молния, маска переменилась: глаза потухли, и лицо сделалось недвижным, точно каменным; один только мускул в щеке дрожал непрерывною дрожью.

— А я давно вас поджидаю, ваше сиятельство. Прошу садиться,— сказал он спокойно и вежливо.

Перемена была так внезапна, что Милорадович подумал, не померещилось ли ему то, другое лицо, искаженное.

— Ну что, как дела? Арестовали кого-нибудь? — спросил Николай.

— Никак нет, ваше высочество. Из лиц, поименованных в донесении генерала Дибича, никого нет в городе, все в отпуску. А насчет подполковника Пестеля приказ об аресте послан.

— Ну, а здесь, в Петербурге, спокойно?

— Спокойно. Порядок примерный по всем частям. Можно сказать, такого порядка никогда еще не бывало. Я почти уверен, что сообщников подобного злодеяния здесь вовсе нет.

— Почти уверены?

— Мнение мое известно вашему высочеству: для совершенной уверенности надлежало бы государю цесаревичу поспешить приездом в Петербург, прочесть духовную покойного государя в общем собрании Сената и, провозгласив ваше высочество государем императором, тут же первому приступить к присяге.

— Ну, а если этого не будет, тогда что? В успехе

---

[1] Малиновом (*франц.* amarante).

[2] Б а й я р д, Пьер дю Террайль (1476—1524) — выдающийся французский военачальник, прозванный «Рыцарем без страха и упрека».

присяги сомневаетесь? Гвардия не любит меня? И хотя им не следует иметь голоса, но это обратилось у них уже в привычку, вторую натуру? Так что ли? — посмотрел на него Николай пристально, и мускул в щеке задрожал сильнее.

«Должно быть, подлец Бенкендорф донес»,— подумал Милорадович, но не опустил глаз — начал вдруг сердиться.

— Извините, ваше высочество...

— Не высочество, а величество,— перебил Николай грозно.— Манифест уже подписан.

— Счастье имею поздравить, ваше величество,— поклонился Милорадович.— Но я все-таки должен исполнить свой долг. Я никогда не утаивал правды от вашего высочества... вашего величества, и теперь не утаю: да, нелегко заставить присягнуть посредством манифеста, изданного от того лица, которое желает воссесть на престол...

— Ага, договорились! Подлогом сочтут манифест, а меня самозванцем? Так что ли? — усмехнулся Николай, и опять что-то сверкнуло в лице его, как молния.

— Не понимаю, ваше величество...

— Не понимаете, граф? Собственных слов не понимаете?

— Не знаю, какой подлец передал слова мои в столь извращенном виде. И охота вашему высочеству слушать доносчиков,— побледнел Милорадович, и в старом «хвастунишке», «фанфаронишке» вдруг промелькнул старый солдат, сподвижник Суворова. Он глядел прямо в глаза Николаю с тем видом победительным, с которым, бывало, в огне сражений, под пушечными ядрами, раскуривал трубку и поправлял складки на своем плаще амарантовом.

Николай молча встал, подошел к столу, отпер ящик, тот самый, из которого давеча вынул донос Дибича, достал бумагу — это было письмо-донос Ростовцева — и вернулся к Милорадовичу.

— Известно ли вашему сиятельству, что и здесь, в Петербурге, существует заговор?

— Какой заговор? Никакого заговора нет и быть не может,— пожал плечами Милорадович.

— А это что? — сунул ему письмо Николай и, указывая на подчеркнутые строки, прочел:

— «Против вас должно таиться возмущение. Оно вспыхнет при новой присяге, и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России».

Милорадович взял письмо, перевернул, взглянул на подпись и отдал, не читая.

— Подпоручик Ростовцев. Знаю. Собрания «Полярной Звезды» у Рылеева...

Об этих собраниях доносила ему тайная полиция. «Все вздор! Оставьте этих мальчишек в покое читать друг другу свои дрянные стишонки»,— отмахивался он с беспечностью.

И теперь отмахнулся:

— Все вздор! Мальчишки, писачки, альманашники...

— Как вы, сударь, смеете! — закричал Николай и вскочил в бешенстве; все тело его, длинное, тонкое, гибкое, разогнулось, как согнутый ивовый прут.— Ничего вы не знаете! Ни за чем не смотрите! Вы мне за это головой ответите!

Милорадович тоже встал, весь трясясь от злобы; но, сдержав себя, проговорил с достоинством:

— Если я не имел счастья заслужить доверенность вашего высочества, извольте повелеть сдать должность...

— Молчать!

— Позвольте узнать, ваше высочество...

— Молчать!

Несмотря на бешенство, Николай все сознавал и, если бы хотел, мог овладеть собою, но не хотел: точно огненный напиток, разлился по жилам восторг бешенства, и он предавался ему с упоением.

— Вон! Вон! Вон! — кричал, сжимая кулаки, топая ногами и наступая на Милорадовича.

«Бросится сейчас и не ударит, а укусит, как помешанный»,— подумал тот с отвращением и начал пятиться к двери: как большой добрый пес, весь ощетинившись, с глухим рычанием, пятится перед маленьким злым насекомым — пауком или сороконожкою.

Допятившись до двери, быстро повернулся и хотел выбежать из комнаты. Но опять, как давеча, столкнулся в дверях с Бенкендорфом. Разминулись уже без всякой любезности.

Бенкендорф подбежал к Николаю и обнял его, делая вид, что поддерживает.

— Мерзавец! Мерзавец! Что он со мною делает! И он, и брат Константин, и все, все!..— упал к нему на грудь Николай, всхлипывая.

— Courage, sire, courage! [1] — повторял Бенкендорф.— Бог не оставит вас...

— Да, Бог... и тот, кого всю жизнь оплакивать будем, ангел наш на небеси,— поднял Николай глаза.— Я им дышу, им действую, пусть же он мне предводительствует! Да будет воля Божья, я на все готов. Умрем вместе, мой друг! Если мне суждено погибнуть, то у меня шпага

[1] Мужайтесь, ваше величество, мужайтесь! (*франц.*)

с темляком — вывеска благородного человека. Я умру с нею в руках и предстану на суд Божий с чистою совестью. Завтра, четырнадцатого, я — или государь, или мертв!

ГЛАВА ПЯТАЯ

13 декабря, утром, Голицын с Оболенским поехали к Рылееву.

Подъезжая к дому Российско-Американской Компании, у Синего моста, на Мойке, Голицын узнал еще издали окна в нижнем этаже, с чугунной выпуклой решеткой.

Знакомый казачок Филька отпер им дверь и пропустил их без доклада, как, должно быть, пропускал всех. В последние дни у Рылеева с утра до ночи толпились гости, приходили и уходили, уже без всякой осторожности. Тут было сборное место, как бы главный штаб заговорщиков.

В маленькой столовой все по-прежнему и по-иному: белые кисейные занавески на окнах потемнели от пыли и копоти; бальзамины и бархатцы в горшках позасохли; половички повытерлись; невощеный пол потускнел; канареечная клетка опустела; лампадки перед образами потухли. Дверь в гостиную и спальню, где ютилась в тесноте жена Рылеева с дочкою, была закрыта наглухо. Как будто от всего отлетело то веселенькое, невинное, именинное и новобрачное, что было здесь некогда.

Хозяина не было в комнате. Незнакомые Голицыну военные и штатские, сидя за столом у самовара, вели беседу вполголоса.

— Дома Рылеев? — спросил Оболенский, здороваясь.

— У себя в кабинете. Кажется, спит. Да ничего, войдите. Велел разбудить, когда приедете.

Оболенский постучался в дверь. Никто не ответил. Он отворил и вошел вместе с Голицыным в узенькую комнатку, где трудно было повернуться между большим кожаным диваном, письменным столом, книжным шкапом и сваленными пачками «Полярной Звезды», альманаха, издаваемого Александром Бестужевым и Рылеевым. Окна выходили на задний двор с грязно-желтой стеной соседнего дома.

Было жарко натоплено. Пахло лекарствами. На ночном столике у дивана стояло множество склянок с рецептами.

На диване спал Рылеев в старом халате, с шерстяным вязаным платком на шее, с лицом неподвижным, как у мертвого. Похудел, осунулся так, что Голицын едва узнал его. Простудился, когда две ночи ходил по улицам, бунтуя солдат; заболел жабою; поправлялся, но все еще был нездоров.

Голицын остановился у двери. Оболенский подошел к дивану. Половица скрипнула. Спящий открыл глаза и уставился на вошедших мутным взором, неузнающим, невидящим.

— Что это? Что это? — тихо вскрикнул, приподнялся и обеими руками, судорожно, как будто задыхаясь, начал срывать с шеи платок. Но от неловких движений узел затягивался.

— Погоди, дай развяжу,— наклонился к нему Оболенский, распутал узел и снял платок.

— Разбудили мы тебя, напугали, Рылеюшка бедненький,— сказал, присев на диван и гладя его рукой по голове с тихою лаской.— Дурной сон приснился?

— Да, опять эта гадость. Который раз уж снится!

— Да что такое?

— Не знаю, не помню... Что ж вы стоите, Голицын? Садитесь... Кажется, все насчет этой самой веревки...

— Какой веревки?

Рылеев ничего не ответил, только улыбался странной улыбкой: в ней был остаток бреда. И Оболенский тоже замолчал, вспомнил, как во время жабы ставили Рылееву мушку на шею и, делая перевязку, нечаянно задели за рану; Рылеев вскрикнул от боли, а Николай Бестужев рассмеялся: «Как тебе не стыдно кричать от таких пустяков! Забыл, к чему шею готовишь?»

— А у тебя опять лихорадка. Вон голова горячая. Не надо было сегодня выходить,— сказал Оболенский, положив ему руку на лоб.

— Не сегодня — так завтра. Ведь уж завтра-то выйду наверное,— опять улыбнулся Рылеев той же странной, сонной улыбкой.

— А завтра что?

— Э, черт! О пустяках говорим, а главного-то вы и не знаете,— начал он уже другим голосом: только теперь проснулся, как следует.— Окончательный курьер из Варшавы приехал с отречением Константина. Завтра в семь часов утра собирается Сенат, и в войсках будет присяга Николаю Павловичу.

Со дня на день ждали этой вести, а все-таки весть была неожиданной. Поняли: завтра восстание. Замолчали, задумались.

— Будем ли готовы? — сказал, наконец, Оболенский.

Рылеев пожал плечами.

— Да, глупый вопрос! Никогда не будем готовы. Ну, что ж, завтра так завтра. С Богом! — решил Оболенский и, опять помолчав, прибавил: — А что ж делать с Ростовцевым?

Ростовцев, хотя и не член Тайного Общества, но приятель многих членов, кое-что знал о делах заговорщиков. Свое свидание с великим князем Николаем Павловичем он изложил в рукописи под заглавием «Прекраснейший день моей жизни», которую отдал накануне Оболенскому и Рылееву, сказав: «Делайте со мною, что хотите,— я не мог поступить иначе».

— Мое мнение ты знаешь,— ответил Рылеев.

— Знаю. Но ведь убить подлеца, значит на себя донести. И стоит ли руки марать?

— Стоит,— произнес Рылеев тихо.— А вы, Голицын, что скажете?

— Скажу, что Ростовцев ставит свечку Богу и дьяволу: Николаю открывает заговор, а перед нами умывает руки. Но ведь в этом признании он мог открыть и утаить все, что угодно.

— Итак, вы думаете, что мы уже заявлены? — спросил Рылеев.

— Непременно, и будем взяты, если не сейчас, так после присяги,— ответил Голицын.

— Что же делать?

— Никому не говорить о доносе и действовать. Лучше быть взятыми на площади, нежели в постели. Уж если погибать, так пусть, по крайней мере, знают, за что мы погибли!

— А ты, Оболенский, как думаешь? — опять спросил Рылеев.

— Ну, конечно, так же.

Рылеев одной рукой взял руку Голицына, другой — Оболенского.

— Спасибо, друзья. Я знал, что вы это скажете. Итак, с Богом! Мы начнем. И пусть ничего сами не сделаем, зато научим других. Пусть погибнем — и самая гибель наша пробудит чувства уснувших сынов отечества!

Говорил, как всегда, книжно, непросто; но просты были глаза, на исхудалом лице огромные, темные и ясные, горевшие таким огнем, что становилось жутко; просто было лицо, на котором выражалось прежде слов все, что он чувствовал: «Так выступают изваяния на прозрачных стенках алебастровой вазы, когда внутри зажжен огонь»,— вспомнились Голицыну слова Мура о Байроне.

Вспомнились также стихи Рылеева:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа;
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

— Да, наконец-то мы можем сказать: завтра начнем,— продолжал Рылеев.— Как я ждал этой минуты, как радовался! И вот, наступила минута. Отчего же нет радости? Отчего душа моя прискорбна даже до смерти?

Облокотился на колени, положил голову на руки и ссутулился, сгорбился, как будто весь поник под навалившейся тяжестью. Слезы задрожали в голосе.

— Простите, друзья! Не надо об этом...

— Нет, надо, Рылеев. Говори все, легче будет,— сказал Оболенский.

— «Планщиком» назвал меня Пушкин. «Не поэт, а планщик». Да, планщик и есть,— усмехнулся Рылеев.— Умозритель свободы, а не делатель. Планы черчу, а не строю.

— Не вы одни, Рылеев, мы все такие же,— возразил Голицын.

— Да, все. Намедни, ночью, когда ходил по улицам, где-то в глухом переулочке, между казармами, собралась кучка солдат, слушают; о новой присяге все понимают: «Грудью, говорят, встанем за царя Константина, не выдадим!» Ну, я и разошелся, заговорил о конституции, о вольности, о правах человечества. А за спиной, слышу, смеется солдатик пьяненький да ласково так, будто жалеючи: «Эх, барин, барин, хороший барин, да бестолковый! Кажись, и по-русски говорит, а ничего не поймешь!» Только всего и сказал, а я вдруг понял. Да, в России — нерусские, своим — чужие, безродные, бездомные, пришельцы, скитальцы, изгнанники вечные. Даже не смеем сказать, что восстаем за вольность,— говорим: за царя Константина. Лжем. А когда узнает правду народ, то нас же проклянет, предаст палачам на распятие. Верьте, друзья, я никогда не надеялся, что дело наше может состояться иначе, как нашею собственною гибелью. Но все-таки думал, что увидим страну обетованную, хоть издали. Нет, не увидим. Не увидят свободной России наши глаза, ни глаза наших внуков и правнуков! Погибнем бесславно, бесследно, бессмысленно. Разобьем голову об стену, а из темницы не вырвемся. Кости наши сгниют, а надежды наши не сбудутся... О, тяжко, братья, тяжко, сверх сил!

Не кончил и закрыл лицо руками.

Оболенский опять подсел к нему и начал гладить его по голове с тихою лаской. Как всегда в минуты нежности, называл его «Коньком» — от «Коня», Кондратий.

— Устал ты, измучился, Конек мой бедненький!

— Устал, Оболенский, ох, как устал! Вот, говорят, другая жизнь. А с меня и этой довольно. Так устал, что, кажется, мало смерти, мало вечности, чтобы отдохнуть...

— А знаете, о чем я все думаю? — продолжал, помолчав.— Что это значит: да идет чаша сия мимо Меня. Как мог Он это сказать? Для того и пришел, чтобы чашу испить,— и вот не захотел, ослабел, ужаснулся. Это Он-то, Он — Бог! Совсем как человек... А что, Голицын, есть Бог? Только просто скажите — есть?

— Есть, Рылеев,— ответил Голицын и улыбнулся.

— Да, вот как просто сказали,— улыбнулся и Рылеев.— Ну, не знаю, может, и есть. А только вам-то на что? Ведь вы свободы хотите?

— А разве нет свободы с Богом?

— Нет. С Богом — рабство.

— Было рабство, а будет свобода.

— Будет ли? И когда еще будет? А сейчас... Нет, холодно, Голицын, холодно!

— Что холодно, Рылеев?

— Да вот ваш Бог, ваше небо. Кто любит небо, не любит земли.

— А разве нельзя вместе?

— Научите как?

— Он уже научил: да будет воля Твоя на земле, как на небе. Тут уже вместе.

— Планщик!

— Ну, что ж, пусть. За этот «план» умереть стоит!

Рылеев ничего не ответил, закрыл глаза, опустил голову, и слезы потекли по лицу его, такие тихие, что он сам их не чувствовал.

Оболенский наклонился к нему и обнимал, целовал, как больного ребенка, с тихою лаською:

— Ничего, ничего, Конек! Небось, все будет ладно. Христос с тобой!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Князь Евгений Петрович Оболенский, поручик лейбгвардии Финляндского полка, старший адъютант командующего гвардейской пехотой, генерал-адъютанта Бистрома, был одним из главных учредителей Северного Тайного Общества.

В Москве, под Новинским, в приходе Покрова, в старинном, как бы деревенском, помещичьем доме, с флигелями и службами, среди густого, дремучего сада, жила семья Оболенских, без вельможных затей, просто и весело. Старый князь Петр Николаевич, рано овдовев, вел в миру иноческую жизнь, в посте и молитве. По наружности казался печальным и суровым. Но недаром маленькие внучки любили его без памяти и за легкие, как пух,

седые волосы прозвали «Одуванчиком»: таким он и был — весь легкий, светлый и нежный — с детьми сам как дитя.

Князь Евгений был первенец от второго брака князя Петра Николаевича Оболенского на Анне Евгеньевне Кашкиной, дочери генерал-аншефа, Тульского наместника при императрице Екатерине II. После смерти княгини Анны родная сестра ее Александра Евгеньевна, фрейлина императрицы Марии Федоровны, заменила детям покойную мать.

Когда молодой Оболенский поступил в гвардейский Павловский полк и переехал на житье в Петербург, тетка его, Анна Гавриловна Кашкина, поручила ему, как старшему, надзор за своим единственным сыном Сережею, совсем еще молоденьким мальчиком, шалуном и повесою, служившим в том же полку. Язычок у Сережи был острый, как бритва. Однажды пошутил он над полковым товарищем, поручиком Свиньиным, и тот вызвал его на дуэль. Оболенский, узнав об этом, поехал к обиженному и объявил, что дуэли не бывать, Сергей — мальчишка, на которого сердиться не сто́ит, а уж если Свиньин хочет непременно драться, то пусть дерется с ним, с Оболенским. Свиньин принял вызов, дрался и был убит.

Человек добрый, неспособный мухи обидеть — нравом весь в отца, в Одуванчика,— князь Евгений был так потрясен этим убийством, что заболел; но виноватым себя не считал и никаких угрызений совести не чувствовал: думал, что убийство на дуэли — не преступление, а несчастие; к тому же, дрался не за себя, а за брата, единственного сына матери, почти ребенка, которого нельзя было спасти иначе. Мысли эти так успокоили его, что, когда он выздоровел и вернулся к прежней рассеянной жизни, то забыл обо всем. Но вспомнил. Опять забыл, опять вспомнил — и так много раз, пока, наконец, не почувствовал, что никогда не забудет, и чем дальше, тем воспоминание живее, острее, невыносимее. И хуже всего было то, что он сам не понимал, что с ним; продолжал считать себя невиновным, а между тем мучился так, что бывали минуты, когда ему казалось, что он сойдет с ума или наложит на себя руки.

В одну из таких минут начал молиться, почти бессознательно, повторяя слова детских молитв — «Отче наш», «Богородицу» — и стало легче. С тех пор часто молился и мало-помалу оживал, как человек полузадохшийся, который начинает дышать.

Наконец, понял, что ему становится легче только тогда, когда он перестает себя извинять, принимает всю тяжесть вины и считает себя самым обыкновенным убийцею, ни-

сколько не лучше, а, может быть, хуже тех, что режут людей на больших дорогах; понял, что нельзя оправдать, а можно только искупить вину. Но еще не знал как. Думал бросить все и уйти в монастырь, но чувствовал, что этого мало: легче уйти, чем остаться в миру. Надо было деваться куда-нибудь, и он поступил сначала в ложу Каменщиков [1], а оттуда — в Северное Тайное Общество. И скоро почувствовал, что здесь найдет то, чего искал,— свой искупительный подвиг.

Внутренне изменился до неузнаваемости, а наружно оставался тем же блестящим гвардейским поручиком с довольно приятным, но обыкновенным лицом, здоровым, гладким, белым и румяным, круглым, безусым и безбородым; моложе своих лет — ему было двадцать девять.

По приезде Голицына из Василькова Оболенский часто видался с ним и с жадностью слушал рассказы его о Южном Обществе, о Славянах, о Сергее Муравьеве и его «Катехизисе». Главную мысль Муравьева о свободе с Богом он сразу понял.

Утром 13 декабря от Рылеева Оболенский с Голицыным пошли к Трубецкому.

На Английскую набережную, где жил Трубецкой, можно было пройти от Синего моста прямо по Вознесенскому. Но после душной рылеевской комнаты им захотелось подышать свежим воздухом, и, решив сделать крюк, пошли по набережной Мойки, к Поцелуеву мосту, чтобы, завернув направо за угол Морских казарм, выйти на Галерную.

В середине города было еще мало снега, но здесь — на пустынной Мойке — все уже бело, тихо, сонно и мягко. Между белым пуховиком земли и серым пологом неба желтенькие низенькие домики спали непробудным сном. И в этой уютной, как будто деревенской, тихости, серости, сонности казался невозможным завтрашний бунт, как в зимнем небе — молния.

Прохожих ни души: можно было говорить, как у себя в комнате.

— Трубецкой знает, что завтра? — спросил Голицын.

— Нет. Мы ему скажем.

— А правда, говорят, будто он охладел к Обществу?

— Может быть, и правда.

— Трусит, что ли?

— Не думаю. На Шевардинском редуте, под ядрами, четырнадцать часов простоял так спокойно, как будто играл в шахматы. Но храбрость солдата — не храбрость заговорщика. Под Люценом, когда французы из сорока

[1] То есть в масонскую ложу (*франц.* maçon — каменщик).

орудий громили нашу гвардию, Трубецкой вздумал пошутить над поручиком фон Боком; подошел к нему сзади и бросил ком земли, а тот свалился без чувств. Так и сам он, может быть, завтра свалится. Для такого дела, как наше, нет человека менее пригодного. Нерешителен и вежлив — вежлив до сумасшествия. Себя и других готов погубить, только бы не сделать какого невежества. И революции хочет вежливой — революции на розовой воде. Это одно; а другое — слишком благополучен: молод, богат, знатен, женат на прелестной женщине. Евангельский юноша, который отошел с печалью от Господа, потому что у него было большое имение...

— В такую минуту отойти — подлость! — воскликнул Голицын.

Оболенский посмотрел на него немного исподлобья, пристальным взором умных и добрых глаз, слегка прищуренных, как будто улыбающихся, а на самом деле, без всякой улыбки, серьезных, даже печальных.

— Нет, тут не подлость.

— А что же?

— Да вот, пожалуй, то самое, о чем говорил давеча Рылеев: не делатели, а умозрители. «Планщики», теорики, лунатики. Ходим по крыше, по самому краю, а назови любого по имени,— упадет и разобьется оземь. Все наше восстание — Мария без Марфы [1], душа без тела. И не мы одни,— все русские люди такие же: чудесные люди в мыслях, а в деле — квашни, размазни, точно без костей мягкие. Должно быть, от рабства. Слишком долго были рабами.

— Послушайте, Оболенский, а ведь дело плохо. Завтра восстание, а диктатор наш думает, как бы изменить повежливей. И зачем такого выбрали? Чего смотрел Рылеев?

— Ну, где же Рылееву? Ведь он совсем людей не знает. И себя-то самого не знает. Видели, как мучается, а отчего — не знает.

— А вы знаете?

— Кажется, знаю.

— Отчего же?

— От крови,— произнес Оболенский тихо, слегка изменившимся голосом.

— От какой крови?

— Кровь надо пролить, убить,— продолжал он еще тише.— Все обдумал, решил, расчел, как по пальцам. Пом-

---

[1] Речь идет о сестрах Марии и Марфе, которых посетил Христос. Марфа заботилась об угощении, а Мария слушала Христа (Евангелие от Луки, X, 38—42).

ните Пестелев счет, сколько будет жертв? Тогда Рылеев не захотел, ужаснулся, а теперь сам считает: одного государя убить мало,— надо всех членов царской фамилии. Убийство одного не только не будет полезно, но, напротив, пагубно для цели Общества: разделит умы, составит партии, взволнует приверженцев царского дома и породит войну междоусобную. С истреблением же всех — все поневоле примирятся, и новое правление установится. Да, обдумал, решил, расчел, как по пальцам, а что-то мешает. И сам не знает что́, оттого и мучается.

— А вы и это знаете?

— Знаю,— ответил Оболенский и замолчал. Голицын — тоже, и обоим стало вдруг неловко, как будто стыдно смотреть друг другу в глаза. Какая-то тяжесть навалилась на них, и чем дольше молчание, тем больше тяжесть.

Завернули с Мойки на Крюков канал. Здесь было еще пустыннее, глуше,— только снег хрустел под ногами. Видели, что никого нет, но казалось, что кто-то за ними идет и подслушивает.

— Я знаю, что нельзя убить,— проговорил, наконец, Оболенский так странно-внезапно, что Голицын посмотрел на него с удивлением.

— Почему нельзя? Грех?

— Не грех, а просто нельзя, невозможно.

— Как невозможно? Убивают же люди друг друга.

— Убивают в безумии, в беспамятстве, нечаянно, а нарочно, в полном рассудке, нельзя. Решить: убью — и убить,— этого человек не может.

— Ну, нет, может.

— Скажите пример.

— Да вот хоть война или смертная казнь.

— Это совсем другое. Казнит закон, а закон слеп, лица человека не видит — один закон для всех. И на войне тоже все убивают всех, а кто кого — неизвестно, лица не видно. А тут лицо, лицо — главное. Увидеть человека в лицо и убить — вот что невозможно. Не понимаете?

— Не понимаю,— вдруг почему-то рассердился Голицын. Вспомнил свое согласие с Пестелем — «всех до корня истребить»,— и оно показалось ему легким по сравнению с этою тяжестью, которая теперь навалилась на них.— Вы как-то странно говорите, Оболенский, как будто что-то знаете,— заглянул ему прямо в лицо и увидел, что он покраснел густо-густо, до ушей, до корня волос; так краснеют маленькие дети, когда готовы расплакаться.

— Да, знаю,— проговорил Оболенский с усилием и

вдруг начал бледнеть, бледнеть и побледнел, побелел как полотно.— А вы, может быть, не знаете, Голицын, что я человека убил,— прошептал почти беззвучным шепотом, и побелевшие губы улыбнулись так, что у Голицына сердце упало.

— Простите, Евгений Петрович, ради Бога! Вы меня не так поняли... Ну, какое же это убийство — на дуэли?

— Все равно, какое. Убил — и знаю.

Опять оба замолчали, и тяжесть навалилась еще невыносимее.

— А у меня Трубецкой все из головы не выходит. Ведь этот, пожалуй, хуже Ростовцева,— хотел было Голицын переменить разговор, сбросить тяжесть, но вышло неестественно, и он сам это почувствовал. Опять рассердился. Жалел Оболенского, но чем сильнее жалел, тем больше сердился.

— А знаете что, Оболенский,— заговорил сухо, почти грубо,— волков бояться, в лес не ходить: если нельзя убивать, так и бунтовать не надо.

— Нет, надо,— возразил Оболенский опять так же тихо, как давеча; по мере того, как один горячился, другой утихал.

— Какой же бунт без крови? На розовой воде, по Трубецкому, что ли?

— Не бойтесь, Голицын, будет кровь. Нельзя убить нарочно, а ненарочных убийств всегда было сколько угодно, и у нас будут.

— А, вот что! Ну, кажется, я, наконец, начинаю понимать. Дураки убивать будут, а умные станут в сторонке, чтоб не запачкаться?

— Зачем вы так говорите? — взглянул на него Оболенский с укором.— Вы же знаете, что мы идем на муку крестную — вместе, все вместе. Больше этой муки нет на земле.

— Какая мука? Какая мука? Говорите прямо, надо убивать или не надо?

— Надо.

— И можно?

— Нет, нельзя.

— Нельзя и надо вместе?

— Да, вместе.

— Да ведь это значит рассудка лишиться? — остановился Голицын и затопал ногами в бешенстве.— Черт бы нас всех побрал! Что мы делаем! Что мы делаем! Рылеев мучается, Трубецкой изменяет, Ростовцев доносит, а мы с вами рассудка лишаемся. Квашни, размазни, точно без костей мягкие, русские люди, подлые, подлые! Святое дело в подлых руках!

— Ну, что ж, Голицын, какие есть,— улыбнулся Оболенский, и от этой улыбки лицо его вдруг изменилось, просветлело неузнаваемо.— А все-таки надо, все-таки надо начать. Пусть мягкие — окрепнем; пусть подлые — очистимся. И пусть ничего не сделаем — другие сделают. «Да будет один царь на земле и на небе — Иисус Христос»,— это вся Россия когда-нибудь скажет — и сделает. Господь не покинет России. Только бы с Ним, только бы с Ним — и такая будет революция, какой мир не видал!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«Диктатор» заговорщиков, князь Сергей Петрович Трубецкой, полковник лейб-гвардии Преображенского полка, жил в доме своего тестя, графа Лаваля, на Английской набережной, около Сената.

Полунищий француз-эмигрант, женившись на московской купеческой дочке, миллионщице, наследнице семнадцати тысяч душ и богатейших медных заводов на Урале, Лаваль вышел в люди, сделался русским графом, камергером, тайным советником, директором департамента в министерстве иностранных дел. На балах и раутах его собиралось все высшее общество, дипломатический корпус и царская фамилия. Одна из его дочерей, Зенаида, была замужем за графом Лебцельтерном, австрийским посланником, другая, Екатерина — за князем Трубецким.

На верхней лестничной площадке, выложенной древними мраморными плитами из дворца Нерона, встретил Голицына и Оболенского почтительно-ласково старичок-камердинер, седенький, в черном атласном фраке, в черных шелковых чулках и башмаках, похожий на старого дипломата, и через ряд великолепных, точно дворцовых, покоев провел их на половину князеву, в его кабинет. Это была огромная, заставленная книжными шкапами, комната, с окнами на Неву, очень светлая, но уютно затененная темными коврами, темной дубовой облицовкой стен и темнозеленою сафьянною мебелью.

Хозяин встретил гостей со своей обычной, тихой и ровной, не светскою любезностью.

— Мы к вам на минутку, князь,— начал Оболенский, не садясь, несмотря на приглашение хозяина.— Рылеев очень просит вас пожаловать...

— Ах, Боже мой! — схватился Трубецкой за голову.— Я так виноват перед ним! Верите ли, господа, каждый день собираюсь, и вот все эти штабные дела проклятые. Но непременно, непременно, на днях... завтра же...

— Не завтра, а сегодня, сейчас. Мы за вами приехали,

князь, и без вас не уедем,— произнес Оболенский с твердостью.

— Сейчас? Я, право, господа, не знаю... Да что ж вы стоите, садитесь. Ну, хоть на минутку. Не угодно ли позавтракать?

От завтрака отказались решительно, но должны были усесться в глубокие, колыбельно-мягкие кресла, у камина, уютно пылавшего в белесоватых полуденных сумерках. Заметив, что огонь может обеспокоить Голицына, Трубецкой подвинул экран так, чтобы ногам было тепло, а лицу не жарко, и только тогда уселся против них, спиною к свету — невольная уловка людей застенчивых.

— Дайте, господа, хоть с мыслями собраться.

Голицын оглянулся на дверь. Трубецкой встал, подошел к ней и запер на ключ.

— А та — на половину княгинину, там сейчас никого,— указал на другую дверь.

— Позвольте, господа, говорить откровенно.

— Откровенность лучше всего,— подтвердил Голицын, вглядываясь в Трубецкого пристально.

Одет по-домашнему, во фраке. Не очень молод — лет за тридцать. Высок, сутул, худ, со впалою грудью, как у чахоточных, рябоват, рыжеват, с растрепанными жидкими бачками, с оттопыренными ушами, длинным, узким лицом, большим загнутым носом, толстыми губами и двумя болезненными морщинками по углам рта. Немного похож на «жида», как дразнили его в детстве товарищи. Некрасив, но в больших серых глазах, детски-простых, печальных и добрых, такое благородство, что Голицын подумал: «Уж полно, не ошиблись ли мы с Оболенским?»

И вспомнились ему слова из сочиненной Трубецким конституции — «Устава Славяно-Русской Империи»: «Рабство отменяется, разделение между благородными и простолюдинами не принимается, поелику оно противно христианской вере, по которой все люди — братья, все рождены на благо и все просто люди, ибо все пред Богом слабы». Весь он был в этих словах: не Брут, не Робеспьер и Марат, а вельможный «либералист», добрый русский князь, идущий к простому народу со свободой, братством и равенством. «Дон Кишот революции».

— Мое положение в Обществе весьма тягостно. Я чувствую, что не имею духу действовать к погибели, но боюсь, что власти не имею уже остановить,— заговорил глухим, siповатым, но приятно-мягким голосом. «Слушаешь, точно рукой проводишь по бархату»,— казалось Голицыну.

— Им нужно одно мое имя. Рылеев распоряжается

всем, а я ничего не знаю. Не знаю даже, как попал в диктаторы...

Голицын чувствовал легкий запах чайной розы и все не понимал, откуда. Наконец, опустив глаза, увидел на ручке кресла, в котором сидел, маленький дамский кружевной платок. Взял и понюхал. Трубецкой взглянул на него и чуть-чуть покраснел, замолчал. Голицын, тоже молча, подал ему платок; он сунул его в боковой карман и продолжал говорить.

— У Рылеева решимость действовать почти без всякой надежды. Но судя по средствам и по намерениям, сие есть верх безумия, верх безумия — вот...

Имел привычку повторять последние слова, немного запинаясь, растягивая и пришепетывая; в этом косноязычии было что-то вельможно-расслабленное и детски-простодушное.

— Войск, кои могут быть употреблены для целей Общества, недостаточно. Никто из важных лиц в сем предприятии не участвует. Набрали пустой молодежи, которая только болтает. Но болтают в гостиных, а на площадях и улицах молчат. Смешно подумать, что три-четыре прапорщика, без весу, без имени, мыслят поколебать столетьями основанную империю... столетьями основанную империю — вот...

— Serge, вы здесь? — раздался молодой женский голос, и Голицын, оглянувшись, увидел на пороге незапертой двери, той, что вела на половину княгинину, незнакомую даму. Она хотела войти, но, заметив гостей, остановилась в нерешимости.

— Здравствуйте, князь,— узнала Оболенского и подошла к нему.— Извините, господа, кажется, я помешала?

— Позвольте, мой друг, представить вам князя Голицына,— сказал Трубецкой.

Целуя руку ее, Голицын почувствовал запах чайной розы. Вся в черном — в трауре по покойном императоре,— с черными гладкими начесами волос на висках, она сама напоминала желтоватою, ровною и свежею бледностью лица чайную розу. Caťache — от Cathérine — звали ее по-французски, а по-русски, немного смешно — «Каташею», но верно: маленькая, кругленькая, крепенькая, с быстрыми движениями, катающаяся, как точеный из слоновой кости шарик.

Все замолчали. Княгиня переглянулась с мужем, и по одному этому взгляду видно было, как они счастливы. Сами себя считали старою парочкой, а другим все еще казались «молодыми». Когда бывали вместе на людях, улыбались виноватой улыбкой, как будто стыдились своего счастья.

Улыбнулись и теперь, но в глазах у обоих была тревога вещая.

«Знает ли она, кто мы и зачем пришли? Если и не знает, то чувствует»,— подумал Голицын и почему-то вдруг вспомнил Мариньку.

После нескольких любезных слов княгиня простилась.

— Еще раз, господа, извините. Не забудьте, мой друг, у Белосельских, в четыре часа. Я за вами карету пришлю,— выходя, обернулась к мужу, и опять в глазах была тревога вещая.

— Ради Бога, господа, извините! Я, право, не знал... Мне сказали, что княгиня уехала,— пролепетал Трубецкой в смущении.

— Полно, князь,— остановил его Голицын.— Если бы даже княгиня знала все, невелика беда. Неприятие женщин в общество я всегда почитал несправедливостью. Чем они хуже нас? А такие, как ваша супруга...

— Да ведь вы ее не знаете?

— Довольно увидеть, чтобы узнать.

Трубецкой весь просиял, покраснел и улыбнулся опять, как давеча, виновато-счастливой улыбкой.

— Ну, и ладно, и будет об этом,— заключил Голицын.— Время, господа, уходить. Будем же кончать скорее. Итак, Трубецкой, вы полагаете, что дело наше сверх сил?

— Да, Голицын, надо иметь хоть каплю рассудка, чтобы видеть всю невозможность этого дела, всю невозможность — вот... Никто на него не решится, кроме тех, кои довели себя до политического сумасшествия...

— Вот именно, до сумасшествия,— поддакнул Голицын. Все время поддакивал, ловил его, «испытывал». А Оболенский, видимо страдая, молчал.

— Очень рад, господа, что вы меня поняли. Скажу прямо: я до последней минуты надеялся, что, оставаясь в сношении с членами Общества, как бы в виде начальника, я успею отвратить зло и сохранить хоть некоторый вид законности. Но ведь они сейчас Бог весть что затеяли: они хотят всех, хотят всех — вот...— прошептал Трубецкой испуганным шепотом, не смея выговорить страшных слов: «хотят истребить всех членов царской фамилии».

— А вы всех не хотите? Никого не хотите?

— Нет, не хочу, не могу, Голицын. Я не рожден убийцею...

— Так что же делать, князь? Вам бы должно отказаться от диктаторства, а, пожалуй, и совсем выйти из Общества? — посмотрел ему Голицын прямо в глаза с тихой усмешкой.

Трубецкой замолчал: должно быть, вдруг западню почувствовал.

— Ну, так как же, князь? А? Как честному человеку, вам надобно ответить прямо — да или нет, остаетесь с нами или уходите? — проговорил Голицын с вызовом уже не скрываемым.

— Я, право, не знаю. Я еще подумаю...

— Подумаете? Да вот беда, ваше сиятельство, думать-то некогда: мы ведь завтра начинаем...

— Завтра? Как завтра? — пролепетал Трубецкой, уставившись на Голицына взором непонимающим.

— Ах, да, ведь вы еще не знаете,— посмотрел на него Голицын из-под очков, усмехаясь злорадно и, как всегда в такие минуты, лицо его отяжелело, окаменело, сделалось похожим на маску.— Окончательный курьер уже прибыл из Варшавы с отречением Константина; завтра в семь часов утра по всем войскам присяга; мы собираемся на площади Сената и начинаем восстание...

— Восста... восста...— хотел Трубецкой выговорить и не мог; голос пресекся, глаза расширились, лицо побледнело, позеленело, вытянулось, толстые губы задрожали, и он вдруг сделался еще более похож на «жида».

«Ожидовел от страха»,— подумал Голицын с отвращением.

— Что же вы молчите, сударь? Извольте отвечать!

— Перестаньте, Голицын, не смейте! — вскочил Оболенский и подбежал к Трубецкому.— Как вам не стыдно! Разве не видите?

Трубецкой откинул голову на спинку кресла и закатил глаза. Оболенский расстегнул ему ворот рубашки.

— Воды! Воды!

Голицын отыскал графин, налил и подал стакан. Трубецкой хватался губами за края, и зубы стучали о стекло. Долго не мог справиться. Наконец, выпил, опять откинул голову и передохнул.

Оболенский, нагнувшись к нему, гладил его рукой по голове, как давеча Рылеева.

— Ну, ничего, ничего, Трубецкой! Не слушайте Голицына: он вас не знает. Ужо поговорим с Рылеевым и как-нибудь устроим. Все будет ладно, все будет ладно!

— Да я ничего, пустяки, пройдет. У меня сердце... Все эти дни не очень здоров, а давеча выпил кофе, так вот, должно быть, от этого. Ну, и сразу... Я не могу, когда так сразу... Извините, господа, ради Бога, извините...

Рыжеватые волосы прилипли к потному лбу, толстые губы все еще дрожали, улыбаясь, и в этой улыбке было что-то детски-простое, жалкое: Дон Кихот от бреда очнувшийся; лунатик, упавший с крыши и разбившийся.

Голицыну вдруг стало стыдно, как будто он обидел

ребенка. Отвернулся, чтобы не видеть. Боялся жалости: чувствовал, что, если только начнет жалеть, все простит, оправдает «изменника».

— Послушайте, князь,— начал, не глядя на Трубецкого.

— Послушайте, Голицын,— перебил Оболенский спокойно и твердо,— я имею поручение от Рылеева привезти к нему Трубецкого. И я это сделаю. А вы не мешайте, прошу вас, оставьте нас. Поезжайте к Рылееву и скажите ему, что будем сейчас.

— Я только хотел сказать...

— Ступайте же, Голицын, ступайте! Делайте, что вам говорят!

— Это что ж, приказание?

— Да, приказание.

— Слушаю-с,— неловко усмехнулся Голицын, сухо поклонился и вышел.

«Все умные люди — дураки ужасные»,— вспомнилось ему изречение. Умным дураком чувствовал себя в эту минуту.

«Да, Трубецкой *отошел с печалью*, как тот богач евангельский. Но чем он хуже меня, хуже нас всех? Кто знает, что будет с нами завтра? Не отойдем ли и мы с печалью?» — подумал Голицын.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Когда он вернулся к Рылееву, тот уже умылся, побрился, скинул халат, надел фрак, хотя и домашний, но щегольской, темно-коричневый, «пюсовый» [1], с модным из турецкой шали поджилетником и высоким белым галстухом. Выйдя в залу, он, в разговоре с гостями, как всегда оживился и с лихорадочным блеском в глазах, лихорадочным румянцем на щеках казался почти здоровым.

Утрешнего Рылеева Голицын не узнал — зато узнал давнишнего: лицо худое, скуластое, смуглое, немного цыганское; глаза под густыми черными бровями, огромные, ясно-темные; женственно-тонкие губы с прелестною улыбкою; вьющиеся волосы тщательно в колечки приглажены, на виски начесаны, а на затылке упрямый хохол мальчишеский. И весь он — легкий, как бы летящий, стремительный, подобно развеваемому ветром пламени.

Через час, вслед за Голицыным, приехал Оболенский с Трубецким. Рылеев увел их в кабинет, затворил дверь

[1] От франц. puce — блоха.

в залу, где собралось уже много народу, и прямо начал о восстании.

— Все мы полагаемся на вас, Трубецкой, в принятии мер в теперешних обстоятельствах, ибо случай такой, какого упускать нельзя.

— Неужели, Рылеев, вы думаете действовать?

— Действовать, непременно действовать! Сами обстоятельства призывают к начатию действий. Теперь или никогда! Случай единственный, и если мы ничего не сделаем, то заслужим во всей силе имя подлецов,— сказал Рылеев, глядя на него в упор.— А вы что думаете, князь?

— Думаю, что надобно прежде узнать, какой дух в войсках и какие средства Общество имеет.

— Какие бы ни были средства, отступать уже нельзя: слишком далеко зашли. Может быть, нам уже изменили, и все уже открыто. Вот извольте прочесть,— подал он письмо Ростовцева.

Трубецкой едва заглянул в него: не мог читать от волнения.

— Это что же, донос?

— Как видите. Ножны изломаны и сабель спрятать нельзя. Мы обречены на гибель.

— Да ведь не только сами погибнем, но и других погубим. А мы не имеем права никого губить, никого губить,— вот...— начал Трубецкой и подумал: «Теперь надо все сказать, объявить, что желаю отойти от Общества». С этим и ехал к Рылееву. Но язык не поворачивался: так невозможно было это сказать, как оскорбить, ударить по лицу человека невинного.

Звонок за звонком раздавался в передней.

— Что так много наезжает? — спросил Трубецкой.

— О курьере услышали,— ответил Рылеев и, помолчав, спросил: — Какую же силу, князь, вы полагаете достаточной?

— Несколько полков. По крайней мере, тысяч шесть человек, или хотя бы один старый гвардейский полк, потому что к младшим не пристанут.

— Так нечего и хлопотать: за два полка, Московский и лейб-гренадерский, я отвечаю наверное! — воскликнул Рылеев.

— Это только слова,— проговорил Оболенский.— Напрасно ты берешься отвечать так твердо: мы не можем поручиться ни за одного человека.

Рылеев взглянул на Оболенского и ничего не ответил, только пожал плечами и заговорил о плане восстания.

То легкое, летящее, стремительное, подобное развеваемому ветром пламени, что было в нем самом, переда-

валось и всем окружающим. Как будто он приказывал — и нельзя было противиться.

Трубецкой, слушая Рылеева, сам мало-помалу увлекся — так струна, смычком не задетая, отвечает рядом звенящей струне,— и начал развивать свой план.

— Мой план таков. Как скоро собраны будут полки для новой присяги и солдаты окажут сопротивление, то офицерам вывести их к ближнему полку, а когда тот пристанет,— к следующему,— и так далее. Когда же полки почти всей или большей части гвардии будут собраны вместе,— требовать прибытия государя цесаревича. Так будет соблюден весь вид законности и упорство полков сочтено верностью, но цель Общества уже потеряна. Если же известие к цесаревичу не будет послано, то идти к Сенату и требовать издания манифеста, в коем объявить, что назначаются выборные люди от всех сословий для утверждения, за кем остаться престолу и на каких основаниях. Между тем Сенат должен утвердить Временное Правление, пока не будет учреждена Великим Собором народных представителей новая конституция Российская. По объявлении же сего манифеста, войскам непременно выступить из города и расположиться близ оного лагерем, дабы сохранить и посреди самого бунта совершенную тишину и спокойствие, тишину и спокойствие — вот...

«Революция на розовой воде»,— вспомнилось Голицыну.

— Прекрасный план, Трубецкой,— сказал Рылеев.— Только боюсь, не долго ли будет от полка к полку ходить? И разве это непременно нужно?

— Непременно. Как же иначе?

— А так — прямо на площадь. Я полагаю, что довольно одной роте взбунтоваться, чтоб совершился переворот. Хоть пятьдесят человек придет, я становлюсь в ряды с ними! — воскликнул Рылеев, и глаза его загорелись таким огнем, что Трубецкому стало жутко. Он вдруг замолчал и почувствовал, что говорит совсем не то, что надо.

За дверью стоял гул голосов. Говорили все вместе, кричали, спорили. Слов не было слышно, но крик был такой, что казалось, вот-вот подерутся.

Вдруг с шумом распахнулась дверь, и в комнату вбежал лейб-гвардии московского полка штабс-капитан князь Щепин-Ростовский, весь красный, потный, растрепанный, взъерошенный, неистовый, похожий на пьяного или сумасшедшего.

— Ну и к черту вас всех, подлецы, трусы, изменники! — вопил он, потрясая кулаками.— Делайте, что знаете, а я...

— Чего вы, сударь, кричите? Мы не глухие,— остановил его Рылеев спокойно, и тот на мгновенье опешил.

— Послушайте, Рылеев, не могу я больше с ними! С этими филантропами ничего не поделаешь! Тут просто надобно резать, резать, да и только! А если не хотят, я первый пойду и на себя донесу...

— Да замолчите же, черт вас побери! — вскочил Рылеев и затопал ногами.— Взбесились вы, что ли? И чего лезете? Разве не видите, мы делом заняты. Ступайте, ступайте вон! — схватил он его за плечи и, хотя казался маленьким, слабеньким перед огромным Щепиным, так ловко повернул и вытолкал из комнаты, что Оболенский с Голицыным не успели опомниться, как все уже было кончено.

Рассмеялись. Но Трубецкому было не до смеху.

— Ну, вот, слышали? Это что же такое, Рылеев? А? — пролепетал он, бледнея.

— Ничего, Трубецкой, не беспокойтесь. Он только так говорит. Я его уйму. Он у меня в руках. Крикун, буян, а сердце доброе.

— Сердце доброе, а резать хочет,— продолжал Трубецкой.— И не он один, а все. Только о крови, об убийстве и думают. Нет, господа, я не могу... Бог видит душу мою: я не был никогда ни злодеем, ни извергом и произвольным убийцей быть не могу, не могу — вот...

«Я желаю отойти от Общества»,— хотел сказать и не сказал — опять язык не повернулся. Чем больше хотел, тем меньше мог.

— Ну, я пойду,— вдруг поднялся и подал руку Рылееву со странно-внезапной поспешностью.

— Куда вы? Постойте. Как же так? Ведь мы еще не решили...

— Да что же решать? Все равно не решим.

— А ведь, пожалуй, что так: не решим. А может, и решать не надо. Обстоятельства покажут... Ну, ладно, с Богом! Значит, до завтра? — положил ему руки на плечи и приблизил лицо к лицу его так, что он почувствовал его дыхание.— А вы, Трубецкой, на меня не сердитесь? Не сердитесь, голубчик, ради Бога! — улыбнулся детски-нежной улыбкой.— Уж виноват, сам знаю, что виноват! Распоряжался, не слушался, вольничал. Ну, да уж этого больше не будет, кончено. Завтра вы диктатор, а я рядовой, ваш раб верноподданный. Пикни только кто против вас,— своими руками убью! Ну, Христос с вами! — хотел его обнять, но тот отшатнулся и побледнел еще больше.— И обнять не хотите? Так, значит, сердитесь? — заглянул ему прямо в глаза Рылеев.

Трубецкой думал только о том, как бы уйти поскорей: боялся, чтобы опять дурно не сделалось. Вдруг обнял и поцеловал Рылеева. «Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» [1] — подумал и выбежал из комнаты.

Опомнился только на площадке лестницы. Почувствовал, что кто-то держит его за полу шинели. Оглянулся и увидел Оболенского. Он что-то говорил ему. Трубецкой долго не мог понять что; наконец понял:

— А все-таки будете завтра на площади?

Сделал над собой усилье.

— Да что ж, если две какие-нибудь роты придут, что может быть? Кажется, все тихо пройдет,— ответил почти спокойно.

— А все-таки будете? — не отставал Оболенский, держал его за полу. Но Трубецкой уже ничего не ответил, вырвался, выбежал на улицу, бросился в карету, крикнул кучеру: «Домой!», захлопнул дверцу и забился в угол, ни жив, ни мертв.

В карете пахло чайною розою — милым Каташиным запахом.

«Еще не знает! А ведь узнает когда-нибудь»,— подумал с новым ужасом.

«А все-таки будете завтра на площади?» — опять прозвучало в ушах.

Вскочил, потянулся к окну, хотел опустить стекло и крикнуть кучеру: «Назад, к Рылееву!» Но ослабел, изнемог, упал на подушки, как будто весь вдруг сделался мягким, жидким.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Голицын решил, едучи в Петербург, остановиться в гостинице Демута на Мойке, у Полицейского моста. К себе на квартиру, в дом Бауера, у Прачешного моста, не заезжал, потому что она стояла все лето неубранная, а единственный слуга его, старый камердинер, уехал на побывку в деревню; да и сыщиков боялся,— знал от Рылеева, что за ним следят. Но когда привез в почтовом дилижансе из Москвы обеих спутниц своих, госпожу Толычеву с дочерью, к Наталье Кирилловне Ржевской, сдал их ей с рук на руки и стал прощаться, чтобы ехать в гостиницу, старуха об этом и слышать не захотела.

— Что ты, батюшка, помилуй! Слыхано ли дело, из

---

[1] Вопрос Христа, обращенный к Иуде (Евангелие от Луки, XXII, 48). Сын Человеческий — Христос.

честного дома гостя в трактир отпускать! Мало тебе горниц, что ли? Весь дом пустехонек. Живи на здоровье. Да ведь ты же нам и свой человек.

Едва не с первых минут знакомства Наталья Кирилловна сосчиталась с ним свойством отдаленнейшим.

Голицын согласился тем охотнее, что ему казалось, что в доме ее он будет в большей безопасности, и еще потому, что не хотелось расставаться с Маринькой.

Дом Ржевской был на Фонтанке, у Аларчина моста. Место глухое. Кругом пустырь; только на окраине его виднелись низенькие домики. Иногда, по ночам, в темноте, с пустыря слышались вопли: «Караул! Грабят!» Испуганные люди вскакивали с постелей, отворяли форточки, высовывали головы и отвечали как можно внушительней: «Идем!» — но не шли, а снова забивались в теплые постели и с головой под одеяла прятались.

Окруженный старым садом, когда-то регулярным, но давно уже запущенным, дом похож был на загородный дворец вельмож екатерининских.

В больших сенях, с колоннами и мраморной лестницей, седые слуги дремали, вязали чулки или читали псалтырь вполголоса. В обширных залах штофные обои на стенах полиняли и выцвели. Хрустальные подвески на люстрах, прозрачно-темные, как дымчатые топазы, тускло мерцали, дрожа и звеня, когда кто-нибудь шел по комнате. Огромные голландские печи из голубых изразцов были жарко натоплены. Во всех покоях накурено смолкою и тишина мертвая.

Бабушкина комната — угольная. Стены боскетом расписаны. Здесь, как в лавке старьевщика, шифоньерки, этажерки, стеклянные шкапчики с фарфоровыми куколками, круглые столики с медной решеткой, пузатые комоды с китайской инкрустацией — все напоминало о веке ином. На окнах — низенькие ширмочки с малиновыми стеклами, кидавшими на все предметы и лица нежный отсвет розовый, похожий на вечный закат. У одного из окон — клетка и подставка с шестом для белого, с желтым хохолком, попугая, Потапа Потапыча.

Бабушка была маленькая, сухенькая старушка с очень бледным, точно восковым, лицом, как у покойника: казалось, пролежала сутки в гробу, встала и опять начала жить. Всегда в туалете — шелковом платье стального цвета, с рюшевым бароком около шеи, в белом тюлевом, с широким рюшем, чепце, в глянцевитых мелких фальшивых букольках — en grappes de raisin [1]; меховая каца-

[1] В виде виноградных гроздьев (*франц.*).

вейка на плечах: старушка вечно зябла. За полчаса перед тем, как ей выйти из спальни, особая немка-приживалка, жирная, как купеческая лошадь, садилась в кресло и нагревала место.

Бабушка в кресле сидела прямо, несмотря на множество подушечек, шерстяных, шелковых и бисерных. Рядом с нею, на столике, стояла коробочка с пудрою: старушка часто пудрилась и потом утиралась платочком или шкуркою из пузыря, домодельною. На круглой скамеечке, у ног ее, лежала, свернувшись, белая болонка Фиделька, презлая.

— Скажи, зачем ты так трясешь подносом? — спрашивала бабушка, когда поутру девка Марфушка подавала ей чай.

— Фиделька больно ноги кусает.

— Должно ли из-за этого трясти подносом? — удивлялась Наталья Кирилловна.

Была очень мнительна; при малейшем нездоровье ложилась в постель и привязывала к «пульсам» уксусные тряпочки. Не любила слышать о покойниках. Старая приживалка Захаровна прослышит, бывало, что кто-нибудь умер, придет к ней в спальню и шепнет на ухо.

— Молчи, что я знаю. Ты мне не говорила, слышишь! — строго скажет ей бабушка.

Однажды в мезонине, почти над самой старушкиной спальней, умерла другая приживалка,— в доме их было множество.

— Умерла,— шепнула Захаровна бабушке, указывая пальцем наверх.

— Ну, и молчи.

Вынесли покойницу украдкою, схоронили, а бабушка так и не помянула о ней, как будто никогда ее на свете не было.

Много видела на своем веку, а потому всего боялась и вздыхала о том, «как легко фортуна изменяется».

— Вся жизнь наша не что иное, как газардная [1] игра!

После двух легких ударов часто впадала в полубеспамятство; тогда целыми днями сидела молча, не двигаясь, и тусклым взором следила, как попугай качается на колышке, пронзительно выкрикивая: «Потап Потапыч Потапов!» А потом вдруг оживлялась и вспоминала молодость, когда была фрейлиной при дворе Екатерины. Сообщала таинственным шепотом, как о последней новости, что князь Платон Зубов, «ce charmant vaurien» [2], сумел убедить ее

---

[1] От франц. jeu de hasard — азартная игра.

[2] Этот очаровательный повеса (*франц.*).

величество в своем «приятном умоначертании». Вспоминала с умилением о любезности императрицы-матушки.

— Бывало, заметит, что солнце кого беспокоит,— тотчас к окну подойдет и шторку опустит собственными ручками. Но зато и спуску не давала продерзостным: обер-секретарю Тайной Экспедиции, Шешковскому, велено было взять из маскарада не в меру болтливую генеральшу Кожину, слегка на теле наказать и обратно туда же доставить со всякою благопристойностью.

Любила также рассказывать о господине Фонтенеле [1], с которым видалась в Париже еще до революции.

— Настоящий был философ: никогда не возвышал голоса, не сердился, не плакал и не смеялся. «Господин Фонтенель, говорю, вы никогда не смеялись?» — «Нет, говорит, я никогда не делал: «ха! ха! ха!» Никакого чувства не знал, никого не любил — люди ему только нравились. «Господин Фонтенель, говорю, вы меня уважаете?» — «Je vous trouve fort aimable, madame» [2].— «А если бы вам сказали, что я кого-нибудь убила, вы бы поверили?» — «Я бы подождал, сударыня»,— говорит, а сам усмехается. Крепкий был старичок, больше лет ста прожил. Умница. Нынче таких не сыскать!

А люди нового века, с их куцыми мыслями, куцыми фраками, не нравились бабушке.

— Все вы, как посмотрю я на вас, какие-то общипанные, как будто сейчас вышли из бани. Модники, мышиные жеребчики!

Не могла привыкнуть к новым широким панталонам навыпуск, которые заменили старинные, короткие штаны с чулками и башмаками.

— От санкюлотов пошла эта мода, от срамников, голоштанников, прости Господи! — ворчала она и вспоминала, как на одном московском балу хозяин подбежал к щеголю, который явился первый в длинных штанах: «Что ты, говорит, за шутку выдумал? Ведь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мачту лазить, а ты нарядился матросом!»

— С двенадцатого года Москва деженерировала, [3]— вздыхала Наталья Кирилловна, когда Нина Львовна рассказывала ей московские новости.— Поднял бы наших стариков, дал бы им взглянуть на Москву,— ахнули бы, на что она стала похожа. Ни сосьете [4], ни вельможества.

---

[1] Фонтенель, Бернар (1657—1757) — французский литератор и ученый.

[2] Я считаю вас очень приятной женщиной, сударыня (*франц.*).

[3] От франц. dejénerer — приходить в упадок.

[4] Общество (*франц.* socíeté).

Да, обмелела Москва! Так все идет, что час от часу хуже. И глаза уж не глядели бы, и не слушала бы про то, что делается!

Единственным гостем Натальи Кирилловны был старичок Фрындин, Фома Фомич, отставной бригадир времен суворовских. Малого роста, приятной наружности, с бледно-голубыми, как выцветшие незабудочки, детскими глазками, с детскою улыбочкою, с тихим и ласковым голосом. Одет всегда с чрезвычайной опрятностью: в длиннополом коричневом кафтане французского покроя, со стальными пуговицами, в брызжах и манжетах, при шпаге, в пудреной косичке с лентою. Должно быть, когда-то влюблен был в бабушку и до конца жизни остался ей верен. Всегда чрезмерно почтителен; только играя в мушку или ломбер и входя в азарт, позволял себе шуточки: скажет, бывало, «семь в сердцах», вместо «семь в червях».

— Ну, ну, перестань, батюшка, что за прибаутки,— ворчала старушка.

— И, матушка, Наталья Кирилловна, отчего и не побаловать себя; коротка-то ведь жизнь! — улыбался старичок своей тихой улыбкой.

Когда бабушке хотелось подремать, он читал ей «Утехи любословия», или «Плоды меланхолии, питательные для чувствительного сердца», а когда она скучала, старался ее позабавить какой-нибудь новостью.

— Вот, матушка, в «Северной Пчеле» пишут, будто китайцы учат обезьян щипать листья с чайных дерев, потому что-де лучше людей по сучьям лазают.

— Да ты все врешь? — сомневалась бабушка.— Этак я и чаю пить не стану, из обезьяньих-то лап!

— Ничего, матушка, в трех водах у них лапки моют чистехонько,— утешал ее старичок.

А иногда любил пофилософствовать:

— Не бывает удовольственных для человека времен, кои бы не растворялись горестями следующих в большей пропорции. Тихое же сердце к радостям всегда отверсто. Вот я и радуюсь. Желаний никаких, именно никаких, в сем мире уже не имею, и нет человека на свете меня счастливее,— говорил, принюхивая медленно щепотку табаку из золотой табакерки с портретом императора Павла I и надписью: «По Боге он один, я им и существую». И такая тишина была в его улыбке ясной, что можно было поверить тому, что он говорил.

Любил сравнивать прошлый век с нынешним:

— Предки наши с меньшим просвещением, но с большим удовольствием жили. Роскоши такой, как мы, не

имели, но и страха и беспокойства тоже. Удивительно, что не хотят люди спокойно жить и по стопам своих предков следовать. А что еще узрят внуки наши и правнуки, о том и подумать страшно!

После буйных сходок заговорщиков, где раздавались речи о мятеже, о крови, о России, в пожаре восстания пылающей, возвращался Голицын в тихий старый дом как в сновиденье, царство призраков. Сновиденье рассеется, призраки исчезнут — и жалеть их нечего: все разметать, разрушить в старом доме так, чтобы не осталось камня на камне,— для этого он и шел на восстанье. Не хотел жалеть, а все-таки жалел. Как будто проходили перед ним в последний раз и заглядывали в глаза его с тихою жалобою тихие тени прошлого.

Когда в тот день, 13-го декабря, вернувшись от Рылеева, вошел он в бабушкину комнату, старушка, по обыкновению, сидела в низеньких креслах, у столика с двумя восковыми свечами, и раскладывала гранпасьянс нескончаемый. Старичок Фрындин читал прошлогодние «Ведомости». Нина Львовна вязала шарф, а Маринька метила белье.

В комнате было жарко натоплено, накурено смолкою, так что Голицын немного задохся со свежего воздуха. Он наклонился поцеловать ручку у бабушки. Фиделька залаяла и едва не укусила его за ногу. Попугай, дремавший в клетке, зашевелился, приоткрыл один глаз, поглядел на него и пробормотал сердитым голосом:

— Потап Потапыч Потапов!

Все как всегда: уютно, тихо, сонно, недвижно, неизменно, как в вечности.

— Где опять пропадал? Что это, батюшка, на месте не посидишь, с утра до ночи по людям шляешься? — проворчала бабушка ласково.

— У дядюшки был, у князя Александра Николаевича. От вас поклон ему свез,— солгал Голицын, чтоб от расспросов отделаться.

— Да ты все врешь? Старик меня, чай, и не помнит.

— Помнит, бабушка. Кланяться велел и целовать ручку,— опять наклонился он, и Фиделька залаяла.

На минуту все замолчали, и стало еще тише, уютней, усыпительней.

— Marie, полно глаза слепить. При свечах метить нельзя,— сказала Нина Львовна.

Маринька сделала еще несколько стежков, закрепила нитку, откусила кончик и отложила работу.

— Поди-ка сюда, внучка,— позвала ее бабушка.— Что это ты нынче какая невеселая? Вот и личико бледное.

Аль нездорова? — поцеловала ее и по щеке погладила.— Хоть и бледна, а очень, очень при своем авантаже сегодня!

И обратившись к Нине Львовне, прибавила:

— Помилела-то как у нас Маринька. Женишка бы ей хорошего,— да не вашего старого хрыча Аквилонова. Брось-ка ты свои Черемушки, мать моя, переезжай ко мне на житье, не поскучай старухою — будешь довольна. И жениха найду настоящего.

Нина Львовна молча потупилась и проворнее зашевелила спицами.

— А когда же вы обещанье ваше исполните, Марья Павловна? — сказал Голицын. Он видел, что ей тяжело, и хотел ей помочь отделаться от бабушки.

— Какое обещанье, князь?

— Показать сувенирчики.

— Ах, да. Я с удовольствием, если бабушка позволит.

— Я бы тебе сама показала, батюшка, да что-то ноги ломит, встать не могу. Покажи ему, Маринька.

Старушка любила показывать гостям свои сувенирчики и хвастать ими, как ребенок.

Марья Павловна подошла с Голицыным к стеклянному шкапчику, отперла его и начала показывать старинные вещицы — табакерки, бонбоньерки, медальоны, камеи, коробочки для мушек и пудры, саксонского фарфора куколки и чашечки.

— А это что? — спросил Голицын, указывая на маленькую вещицу из слоновой кости и золота.

— Блошная ловушечка. Видите, трубочка со множеством дырочек, снизу — глухие, а вверху — открытые. Стволик, намазанный медом, ввертывается в трубочку; блошки попадают в дырочки, прилипают к меду и ловятся,— объяснила Маринька.— Бабушка сказывает, что эти ловушечки носились на груди у модниц на шелковой ленточке.

— Надо же такое выдумать,— рассмеялся Голицын.

Маринька посмотрела на него молча, с тихою строгостью, и он понял, что не надо смеяться: эти бедные памятки старого века ей милы и дороги. Она ведь и сама немного похожа на них; в ее собственной прелести — благоухание прошлого. Да, не надо смеяться над прошлым: мы посмеемся над нашими дедами, а наши внуки — над нами; каждому свой черед, и своя блошная ловушечка у каждого.

— Маринька, как бы с вами поговорить наедине? — быстро шепнул он ей на ухо.

— Приходите ужо в голубую диванную,— ответила она таким же быстрым шепотом, заперла шкапик и вернулась к бабушке. Голицын потихоньку вышел из комнаты.

Бабушкин гранпасьянс кончался. Все следили за ним с любопытством.

— Бубны-то, матушка, бубны к червям! — волновался Фома Фомич.

— Отстань, батюшка! Чего суешься без толку,— сердилась Наталья Кирилловна.

— Письмо и дорога! Письмо и дорога! — не унимался Фома Фомич, то садился, то вскакивал, заглядывая в карты через плечо старушки.

— И вовсе не дорога, а смерть и марьяж,— возражала Нина Львовна, тоже вся в волнении.

— Ожидаемого получение и фортуна неизменная! — выложив последнюю карту, объявила бабушка торжественно.

— Фома Фомич, будьте добреньким, помогите мне пяльцы перетянуть,— сказала Маринька.

— Что это тебе на ночь глядя вздумалось? — удивилась Нина Львовна.

— Да я хочу завтра с утра начать. А то нынче дни такие короткие; как сядешь за работу, так и стемнеет,— покраснела Маринька до самых ушей — лгать не умела — и, наклонившись к матери, обняла ее, чтобы спрятать лицо.— Позвольте, маменька, голубушка, миленькая!

— Ну, ладно, ступай.

Миновав несколько темных комнат, где только ночники да лампадки теплились, Маринька с Фомой Фомичом вошли в голубую диванную. Здесь, у окна, за пяльцами с начатой вышивкой — белым попугаем на зеленом поле, должно быть, портретом Потапа Потапыча,— сидел Голицын.

— Ах, это вы, князь,— притворно удивилась Маринька и опять покраснела.— Фома Фомич, ради Бога, извините за беспокойство! Князь поможет мне пяльцы перетянуть. Я и забыла, что он обещал мне давеча...

— Что за беспокойство, сударыня, помилуйте! Так вы уж тут побудьте с князем, а я пойду отдохну в креслицах, что-то дрема долит. Да сон-то у меня чуткий,— небось, если пройдет аль скличет кто, услышу и доложу немедленно. Tout à vos ordres, mademoiselle [1],— шаркнул ножкой старичок с любезностью.

Понял, в чем дело. Мариньку любил как родную, терпеть не мог Аквилонова, а Голицына считал таким женихом, что лучше не надо.

Когда Фома Фомич вышел, Маринька села за пяльцы и наклонилась, тщательно рассматривая вышивку. Голицын сел рядом. Оба молчали.

---

[1] Весь в вашем распоряжении, мадемуазель (*франц.*).

— Ну, что же, князь, говорите, я слушаю,— улыбнулась она невольно. Он — тоже. И опять, как тогда, в дилижансе, по пути из Москвы в Петербург, оба смотрели друг на друга, улыбаясь молча и чувствуя, что это молчание сближает их неудержимо растущею близостью. Как будто после долгой разлуки увиделись и вспоминали, узнавали друг друга с удивлением радостным.

— Помните, Маринька, вы мне намедни сказали, что, может быть, у вас нет жениха. Ну, так как же, есть или нет? — спросил Голицын.

— А вам на что? — опять наклонилась она к вышивке и потрогала пальчиком желтый хохолок Потапа Потапыча.

— Маринька, милая, ведь вы же знаете на что,— взял он ее за руку, и она не отняла руки, только еще ниже опустила голову, так что лицо ее почти закрыли висевшие вдоль щек длинные локоны. Знала, что в эту минуту судьба ее решается. Хотела скрыть волнение и не могла. Сердце билось так, что казалось, он услышит.

— Что с вами? Что с вами, Маринька? Отчего вы не хотите говорить со мной, как прежде? Отчего вы такая?

— Какая? Нет, я ничего... Нельзя же все шалить да ребячиться. Ведь уж не маленькая. Пора и за ум взяться. Жизнь не шутка.

«Жизнь — Хо».

В терпеньи сердца надо верить
И терпеливо ждать конца,—

вспомнилось Голицыну.

— Ну, что ж, не хотите говорить — и не надо. А только верьте, что бы ни случилось, Маринька, верьте, что есть у вас друг. Верите? Этому-то верите, да?

— Ну, конечно...— хотела она улыбнуться прежней улыбкой, но не могла.— Почти верю,— кончила уже с иною улыбкою, бледною, слабою.

— Почти? Разве можно верить почти? А впрочем, что же делать, значит, не заслужил,— горько усмехнулся он и отпустил ее руку.

Опять замолчали, и обоим стало тяжело; оба чувствовали, что говорят не то, что надо; слова разделяли, как будто после краткого свиданья наступала вновь разлука вечная.

— Это все, князь, что вы хотели сказать?

— Нет, не все. Еще самое главное: когда будете решать с господином Аквилоновым, то помните, что вы свободны: долг за имение уплачен, и теперь уж никто у вас

не отнимет Черемушек. Как хотите, так и решайте: вы свободны, Маринька.

Радость мгновенно блеснула в глазах ее и так же мгновенно потухла.

— Что вы говорите, князь? Долг заплачен? Кем?

— Все равно кем.

— Как все равно? Судьбу мою решают, а я не знаю кто...

— Ах, Боже мой, не в этом дело! Ну, если непременно хотите знать кто...— залепетал Голицын и вдруг покраснел, растерялся, как маленький мальчик.— Ну, Фома Фомич заплатил, вот кто...

— Фома Фомич? Откуда же он деньги взял? Ведь он еще беднее нашего.

— А, право, не знаю, откуда. Должно быть, у бабушки...

— У бабушки? Да ведь маменька еще сегодня утром говорила с бабушкой, просила хоть часть заплатить, и бабушка ей наотрез отказала. Зачем вы говорите неправду, князь? Что у вас на уме? — посмотрела на него Маринька долго, пристально.— Валерьян Михайлович, сейчас же, сейчас же говорите, кто заплатил, а если не скажете, я Бог знает что подумаю...

Он молчал, и она вдруг поняла. Побледнела и встала, не сводя с него глаз.

— Так это вы?.. Ну, спасибо, князь! Вы очень добры. Сжалились над бедною девушкою, облагодетельствовали... Но как же вы не подумали, что мы, хоть и бедные, а, может быть, не захотим принять вашего подарка... милостыни? Если бы у вас была хоть капля не дружбы, а уважения ко мне и к маменьке, вы бы этого не сделали. А впрочем, я сама виновата, сама позволила... глупая девчонка... глупая... глупая...

Закрыла лицо руками, опустилась на стул и заплакала. Худенькие плечики вздрагивали. Из-под сбившейся косынки обнажилась тоненькая шея и полудетская грудь; на этой груди, то подымавшейся, то опускавшейся от слез, выступали под смуглой кожей тонкие ключицы, тоже полудетские.

«Дурак! Дурак! Что я наделал!» — схватился Голицын за голову. Не знал, что для него в эту минуту важнее — освобождение России, восстание, революция или эта плачущая девочка.

Маринька встала и, не отнимая рук от лица, пошла к двери. Голицын бросился к ней.

— Маринька... Марья Павловна, постойте, постойте, не уходите, дайте сказать, выслушайте, ради Бога, выслушайте!

— Пустите! Пустите!

Но он не пускал, держал ее за руки.

— Ну, дайте же, дайте сказать! Не могу я так, Маринька! Ведь вот сейчас уйдете, и, может быть, никогда не увидимся...

Она остановилась, прислушалась.

— Только минутку... Я только хочу... Да сядьте же, сядьте,— умолял он, тащил ее за руку.

И она покорилась, пошла за ним, села на прежнее место.

— Дурак! Дурак! Все умные люди дураки ужасные, это обо мне сказано,— торопился он, сбивался и путался.— Ну и пусть дурак! Но если б я знал, что так выйдет... Неужели же вы меня таким подлецом считаете? Я хотел — просто... Вы сами намедни сказали, что можно — просто... Ведь вы не знаете, Маринька, в каких я сейчас обстоятельствах. Помните сказку: странник и верблюд в пустыне; верблюд взбесился, странник в колодец бросился, а там куст малины... Ах, не то, не то! Я все не то говорю. Я с ума схожу, Маринька... Не могу я вынести, что вы себя губите, потому что Аквилонов — гибель, хуже всякой гибели... Вы давеча сказали, что почти верите, что я ваш друг... Как это скучно, как страшно, что все в жизни — почти, ничего — совсем не бывает... Ах, не то, опять не то... Погодите, что я хотел?.. Да, если бы ваш друг, почти друг, шел на смерть, на поединок, из которого, может быть, жив не вернется, и пожелал вам сделать добро — заплатить этот проклятый долг за Черемушки, чтобы спасти вас от гибели,— неужели вы не приняли бы, отказали бы в последней воле умирающему?

Она перестала плакать, отняла руки от лица и, еще не понимая слов, вслушивалась в голос его, вглядывалась в лицо, простое, милое, детское и такое жалкое, что опять, как тогда, в первые минуты сближения, сердце ее сжималось от страха, как будто чуяло, что этому человеку грозит беда — и надо помочь ему, остеречь, спасти.

— Я так и знала! Я так и знала! — всплеснула она руками.— Говорите, сейчас же говорите! Что это значит? Какая смерть? Какой поединок?

— Не спрашивайте, Маринька. Я не могу сказать.

— Невеста?

— Какая невеста?

— Опять забыли? Невеста у вас...

— Никакой невесты нет. Ведь я же вам говорил...

— Говорили, что нет, а может быть, есть?

— Зачем вы мне не верите, Маринька? Разве не видите, что я говорю правду?

— Так что же, что? Да говорите же! Зачем вы меня мучаете? Что вы со мною делаете!

— Не могу сказать,— повторил Голицын.

От Фомы Фомича Маринька слышала, что «время теперь такое страшное» — император Константин Павлович отказался от престола, и войска должны присягнуть Николаю, а если не присягнут, то может быть бунт. «Уж не это ли?» — подумала с вещим ужасом.

— Я вам давеча неправду сказала, что почти верю вам. Не почти, а совсем. И что бы ни случилось, буду верить всегда. А только страшно, как страшно — знать и не знать! И что со мною будет, Господи!.. Валериан Михайлович, милый, а нельзя, чтоб этого не было?

— Нет, Маринька, нельзя.

— А когда?

— Не знаю. Скоро. Может быть, завтра.

— Завтра? Так значит, уйдете — и, может быть, никогда не увидимся?

Побледнела, наклонилась и положила ему руки на плечи. Он опустился на колени и руками обвил ее стан.

— Родная, родная, любимая, единственная!

Вдруг вспомнил Софью. Не изменяет ли небесной для земной? Но нет, измены не было. Любил в обеих — земной и небесной — одну Единственную.

— Уйдете — и никогда, никогда, никогда не увидимся! — повторяла она и плакала; но это уже были не прежние, горькие, а новые, сладкие слезы любви.

— Нет, Маринька, увидимся. А если увидимся, вы меня не покинете?

Она наклонилась к нему еще ниже, приблизила лицо к лицу его, так что он почувствовал ее дыхание. Они смотрели друг на друга, улыбаясь, молча, и опять вспоминали, узнавали друг друга, как сквозь вещий сон незапамятно-давний, много раз виденный. Улыбки сближались, сближались — и, наконец, слились в поцелуй.

— Родная! Родная! Родная! — повторял он, как будто в одном этом слове было все, что он чувствовал.— Перекрестите меня, Маринька. Я ведь и за вас, может быть, на смерть иду.

— Почему за меня?

— Потом узнаете.

— Тоже нельзя сказать?

— Да, нельзя. Перекрестите же.

— Ну, Христос с вами! Сохрани, помоги, спаси, Матерь Пречистая! — благословила она его теми же словами, как некогда Софья, и поцеловала уже с материнскою нежностью.

«Да, Матерь, Матерь Пречистая! — подумал он.— Родная мать-земля. Мать и Невеста вместе. На муку крестную, на смерть — за нее, за Россию, Матерь Пречистую!»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В ночь с 13 на 14 декабря в маленьких комнатках Рылеева в последний раз собрались заговорщики. Здесь, ночью, так же как днем, толпились они, приходили и уходили. Но уже не кричали, не спорили, как давеча; речи были тихи, лица торжественны: все чувствовали, что наступила минута решительная.

Пожилой человек, в потертом зеленом фраке, высоком белом галстухе и черепаховых очках, с лицом, как будто сухим и жестким, а на самом деле, восторженно-мечтательным, отставной чиновник канцелярии Московского генерал-губернатора, барон Владимир Иванович Штейнгель, один из старейших членов Северного Общества, читал невнятно и сбивчиво, по черновой измаранной:

— В манифесте от Сената объявляется:

«Уничтожение бывшего правления.

Учреждение Временного — до установления постоянного.

Свободное тиснение и уничтожение цензуры.

Свободное исповедание всех вер.

Равенство всех сословий перед законом.

Уничтожение крепостного состояния.

Гласность судов.

Введение присяжных.

Уничтожение постоянной армии».

— Ну, а как же мы все это сделаем? — спросил кто-то.

— Очень просто,— ответил Штейнгель.— Заставим Синод и Сенат объявить Верховную Думу Тайного Общества Временным Правительством, облеченным властью неограниченной; раздадим министерства, армии, корпуса и прочие начальства членам Общества и приступим к избранию народных представителей, кои долженствуют утвердить новый порядок правления по всему государству Российскому...

Каждый, кто входил в эти маленькие комнатки, сразу пьянел, точно крепкое вино бросалось ему в голову; дух захватывало от чувства могущества: что захотят, то и сделают; как решат, так и будет.

«Ничего не будет,— думал Голицын.— А, может быть, и будет? Безумцы, лунатики, планщики, а, может быть,

и пророки? Может быть, все это — не исполнение, а знаменье; зарница, а не молния? Но где была зарница, там будет и молния».

— Город Нижний-Новгород, под именем Славянск, будет новой столицей России,— объявил Штейнгель.

Голицын, прищурив глаза, смотрел, как восковые свечи тускло мерцают в облаках табачного дыма, и ему казалось, что он уже видит золотые маковки Славянска, Града Грядущего, Сиона русской вольности.

Инженерный подполковник Батенков, сутулый, костлявый, неповоротливый, медлительный, говорил с трудом, точно тяжелые камни ворочал; курил трубку с длинным бисерным чубуком и, усиленно затягиваясь, казалось, недостающие слова из нее высасывал. Герой Двенадцатого года, потерявший в сраженье под Монмирале команду с пушками «от чрезмерной храбрости», был мастером на рукоделье женское, любил вышивать по канве. И теперь тоже по канве вышивал — мечтал о своем участии во Временном Правительстве, вместе со Сперанским, генералом Ермоловым, архиепископом Филаретом и Пестелем.

Предлагал «обратить военные поселения Аракчеева в национальную гвардию — guarde nationale и передать Петропавловскую крепость мунисипалитету, поместив в оной городовой совет с городовою стражею».

— У нас в России ничего не стоит сделать революцию: только объявить Сенату да послать печатные указы, то присягнут без затруднения. Или взять немного войск да пройти с барабанным боем от полка к полку — и можно бы произвести славных дел множество!

— По крайней мере, о нас будет страничка в истории! — воскликнул драгунский штабс-капитан Александр Бестужев и, подняв глаза к небу, прибавил чувствительно:

— Боже мой, неужели отечество не усыновит нас?..

— Ну, уж это лучше оставьте,— проговорил Оболенский сухо и поморщился.

Лейб-гренадерский полковник Булатов, хорошенький, тоненький, беленький, похожий на фарфоровую куколку, с голубыми удивленными глазками, с удивленным и как будто немного полоумным личиком, слушал всех с одинаковым вниманием, словно хотел что-то понять и не мог.

— Одно только скажу вам, друзья мои: если я буду в действии, то и у нас явятся Бруты, а, может быть и превзойдут тех революционистов,— вдруг начал и не кончил, сконфузился.

— Какой же план восстания? — спросил Голицын.

— Наш план такой,— ответил Рылеев.— Говорить про-

тив присяги, кричать по полкам, что Константина принудили и что отказ по письму недостаточен, пусть манифестом объявит, а лучше сам приедет. Когда же полки возмутятся, вести их прямо на площадь.

— А много ли будет полков? — полюбопытствовал Батенков.

— А вот считайте: Измайловский весь, Финляндского батальон, московцев две роты, лейб-гренадер тоже две роты, морской экипаж весь, кавалерии часть, а также артиллерии.

— Не надо артиллерии, холодным оружием справимся! — опять выскочил Булатов.

— Успех несомнителен! Успех несомнителен! — закричали все.

— Ну, а что же мы будем делать на площади? — спросил Оболенский.

— Представим Сенату манифест о конституции, а потом прямо во дворец и арестуем царскую фамилию.

— Легко сказать: арестуем. Ну, а если убегут? Дворец велик и выходов в нем множество.

— Недурно бы достать план,— посоветовал Батенков.

— Царская фамилия не иголка: когда дело дойдет до ареста, не спрячется,— рассмеялся Бестужев.

— Да ведь мы и не думаем, чтобы одним занятием дворца успели кончить все,— продолжал Рылеев.— Но если государь бежит со своею фамилиею, довольно и этого: тогда вся гвардия пристанет к нам. Надобно нанесть первый удар, а там замешательство даст новый случай к действию. Помните, друзья, успех революции в одном слове: дерзай! — воскликнул он и, подобно развеваемому ветром пламени, весь трепетно-стремительный, легкий, летящий, сверкающий, так был хорош в эту минуту, как никогда.

— Вы, молодые люди, о русском солдате никакого понятия не имеете, а я его знаю вдоль и поперек,— заговорил штабс-капитан Якубович, худощавый, смуглолицый, похожий на цыгана, с черной повязкой на голове простреленной, «кавказский герой».— Кабаки разбить, вот с чего надо начать, а когда перепьются как следует,— солдаты в штыки, мужики в топоры,— пусть пограбят маленько; да красного петуха пустить, поджечь город с четырех концов: чтоб и праху немецкого не было, а потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви, да крестным ходом во дворец, захватить царя, огласить республику — и дело с концом!

— Любо! Любо! Вот это по-нашему! К черту всех филантропишек! — закричал, забушевал князь Щепин.— Скорее! Скорее! Утра ждать нечего! Сию же минуту, немедленно!

Вскочил — и все повскакали, как будто и вправду готовы были бежать, сами не зная, куда и зачем.

— Что вы, господа, помилуйте! Куда же теперь, ночью? До объявления присяги солдаты не двинутся. И разве не видите, Якубович шутит?

— Нет, не шучу. А впрочем, если вам угодно за шутку принять...— усмехнулся Якубович двусмысленно.

— Нет, друзья, подвизаясь к поступку великому, мы не должны употреблять средства низкие. Для чистого дела чистые руки нужны. Да не осквернится же святое пламя вольности! — заговорил опять Рылеев, и мало-помалу все приходили в себя, утихали, опоминались.

В уголку, у печки, за отдельным столиком, уставленным бутылками, сидели Кюхельбекер и Пущин.

Коллежский асессор Вильгельм Карлович Кюхельбекер, или попросту Кюхля, русский немец, издатель журнала «Мнемозина», молодой человек, белобрысый, пучеглазый, долговязый и неуклюжий, как тот большой вялый комар, который называется «караморой», по собственному признанию, «ничего не делал, как только писал стихи и мечтал о будущем усовершении рода человеческого»; не был даже членом Тайного Общества, зато участвовал в ином тайном обществе — Московских «любомудров», поклонников Шеллинга.

Надворный судья Иван Иванович Пущин, лицейский товарищ Пушкина, его старинный собутыльник, «ветреный мудрец», по слову поэта, имевший слабость к вину, картам и женщинам, покинул блестящую военную карьеру и поступил маленьким чиновником в уголовный департамент Московского Надворного Суда, чтобы доказать примером, что можно приносить пользу отечеству и в самой скромной должности, распространяя добрые чувства и понятия. «Маремьяна-старица» [1], «Мать-Софья-о-всех-сохнет» — эти лицейские прозвища очень подходили к доброте его, хлопотливой, неутомимой и равной ко всем. Какой-нибудь спор двух старых лавочниц у Иверской [2] о мотке ниток выслушивал он с таким терпением, как будто шла речь о деле государственной важности.

Кюхельбекер с Пущиным вели беседу о натурфилософии.

— Абсолют есть Божественный Нуль, в коем успокаиваются плюс и минус, идеальное и вещественное. Понимаете, Пущин?

---

[1] Маремьяна-старица за весь мир печалится.

[2] Иверская икона Божией Матери находилась в надвратной церкви Воскресенских (позднее Иверских) ворот Китай-города. Во время реконструкции Москвы церковь и ворота были снесены.

— Ничего не понимаю, Кюхля. Нельзя ли попроще?

— А попроще — так. Натура есть гиероглиф, начертанный Высочайшею Премудростию, отражение идеального в вещественном. Вещественное равно отвлеченному; вещественное есть то же отвлеченное, но только разрозненное и конечное. Понимаете?

Пущин глядел на него глазами слегка осовелыми — выпил лишнее — и слушал с таким же вниманием, как тех двух лавочниц у Иверской.

Отставной армейский поручик Каховский, с голодным, тощим лицом, тяжелым-тяжелым, точно каменным, с надменно оттопыренной нижней губой и глазами жалобными, как у больного ребенка или собаки, потерявшей хозяина, расхаживал из залы в кабинет, все по одной и той же линии, от печки к окну, туда и назад, туда и назад, однообразно-утомительно, как маятник.

— Будет вам шляться, Каховский! — окликнул его Пущин.

Но тот ничего не ответил, как будто не слышал, и продолжал ходить.

— Вещественное и отвлеченное одно и то же, только в двойственной форме. Идея сего совершенного единства и есть Абсолют. Искомое условие всех условий — Безуслов. Ну, теперь поняли? — заключил Кюхельбекер.

— Ничего не понял. И какой же ты, право, Кюхля, удивительный! В этакую минуту думаешь о чем! Ну, а завтра на площадь пойдешь?

Каховский вдруг остановился и прислушался.

— Пойду.

— И стрелять будешь?

— Буду.

— А как же твой абсолют?

— Мой абсолют совершенно с этим согласен. Брань вечная должна существовать между добром и злом. Познанье и добродетель — одно и то же. Познанье есть жизнь, и жизнь есть познанье. Чтобы хорошо действовать, надо хорошо мыслить! — воскликнул Кюхля и, неуклюжий, нелепый, уродливый, но весь просветлевший светом внутренним, был почти прекрасен в эту минуту.

— Ах, ты мой Абсолютик, Безусловик миленький! Цапля ты моя долговязая! — рассмеялся Пущин и полез к нему целоваться.

— Напрасно смеяться изволите,— вдруг вмешался Каховский.— Он говорит самое нужное. Все пустяки перед этим. Если стоит для чего-нибудь делать революцию, так вот только для этого. Чтобы можно было жить, мир должен быть оправдан весь! — наклонившись к Пущину,

поднял он перед самым лицом его указательный палец с видом угрожающим; потом выпрямился, круто повернулся на каблуках и опять зашагал, зашатался, как маятник.

Было поздно. Казачок Филька давно уже храпел, неестественно скорчившись на жесткой выпуклой крышке платяного ящика в прихожей, под вешалкой. Гости расходились. В кабинете Рылеева собралось несколько человек для последнего сговора.

— А ведь мы, господа, так и не решили главного,— сказал Якубович.

— Что же главное? — спросил Рылеев.

— Будто не знаете? Что делать с царем и с царской фамилией, вот главное,— посмотрел на него Якубович пристально.

Рылеев молчал, потупившись, но чувствовал, что все на него смотрят и ждут.

— Захватить и задержать их под стражею до съезда Великого Собора, который должен решить, кому царствовать и на каких условиях,— ответил он, наконец.

— Под стражею? — покачал головою Якубович сомнительно.— А кто устережет царя? Неужели вы думаете, что приставленные к нему часовые не оробеют от одного взгляда его? Нет, Рылеев, арестованье государя произвело бы неминуемую гибель нашу или гибель России — войну междоусобную.

— Ну, а вы-то сами, Якубович, как думаете? — вдруг заговорил все время молчавший Голицын. Давно уж злил его насмешливый вид Якубовича. «Дразнит, хвастает, а сам, должно быть, трусит!»

— Да я что ж? Я как все,— увильнул Якубович.

— Нет, отвечайте прямо. Вы задали вопрос, вы и отвечайте,— все больше злился Голицын.

— Извольте. Ну, вот, господа, если нет других средств, нас тут шесть человек...

Каховский, продолжая расхаживать, вошел в кабинет и, дойдя до окна, повернулся, чтобы идти назад, но вдруг опять остановился и прислушался.

— Нет, семь,— продолжал Якубович, взглянув на Каховского.— Метнемте жребий: кому достанется — должен убить царя или сам будет убит.

«А может быть, и не хвастает»,— подумал Голицын, и вспомнились ему слова Рылеева: «Якубовича я знаю за человека, презирающего жизнь свою и готового ею жертвовать во всяком случае».

— Ну, что ж, господа, согласны? — обвел Якубович всех глазами с усмешкой.

Все молчали.

— А вы думаете, что так легко рука может подняться на государя? — проговорил, наконец, Батенков.

— Нет, не думаю. Покуситься на жизнь государя не то, что на жизнь простого человека...

— На священную особу государя императора,— опять разозлился Голицын. Но Якубович не понял.

— Вот, вот, оно самое! — продолжал он.— Священная Особа, Помазанник Божий! Это у нас у всех в крови. Революционисты, безбожники, а все-таки русские люди, крещеные. Не подлецы же, не трусы — все умрем за благо отечества. Ну, а как до царя дойдет, рука не подымается, сердце откажет. В сердце-то царя убить трудней, чем на площади...

— Цыц! Молчать! — вдруг закричал Каховский так неожиданно, что все оглянулись на него с удивлением.

— Что с вами, Каховский? — удивился Якубович так, что даже не обиделся.— На кого вы кричите?

— На тебя, на тебя! Молчать! Не сметь говорить об этом! Смотри у меня! — погрозил он ему кулаком и хотел еще что-то прибавить, но только рукой махнул и проворчал себе под нос: — О, болтуны проклятые! — повернулся, и, как ни в чем не бывало, пошел назад все по тому же пути, из кабинета в залу. Опять зашагал, зашатался, как маятник, с лицом, как у сонного.

«Лунатик»,— подумал Голицын.

— Да что он, рехнулся, что ли? — вскочил Якубович в бешенстве.

Рылеев удержал его за руку.

— Оставьте его. Разве не видите, он сам не знает, что говорит.

В эту минуту Каховский опять вошел в кабинет. Якубович вгляделся в него и плюнул.

— Тьфу! Сумасшедший! Берегитесь, Рылеев, он вам беды наделает!

— Ошибаетесь, Якубович,— проговорил Голицын спокойно.— Каховский в полном рассудке. А сказал он то, что надо было сказать.

— Что надо? Что надо? Да говорите толком, черт бы вас побрал!

— Довольно говорили. Много скажешь — мало сделаешь.

— Да уж и вы, Голицын, не рехнулись ли?

— Послушайте, сударь, я не охотник до ссор. Но если вы непременно желаете...

— Да будет вам! Нашли время ссориться. Эх, господа, как вам не стыдно! — проговорил Рылеев с таким горьким упреком, что оба сразу опомнились.

— Ваша правда, Рылеев,— сказал Голицын.— Утро вечера мудренее. Завтрашний день нас всех рассудит. Ну, а теперь пора по домам!

Он встал, и все — за ним. Хозяин проводил гостей в прихожую. Здесь, по русскому обычаю, уже стоя в шинелях и шубах, опять разговорились. Храпевшего Фильку растолкали и выслали в кухню, чтоб не мешал.

Такое чувство было у всех, что после давешнего разговора о цареубийстве все снова смешалось и спуталось,— ничего не решили и никогда не решат.

— Принятые меры весьма неточны и неопределительны,— начал Батенков.

— Да ведь нельзя же делать репетицию,— заметил Бестужев.

— Войска выйдут на площадь, а потом — что удастся. Будем действовать по обстоятельствам,— заключил Рылеев.

— Теперь рассуждать нечего, наше дело слушаться приказов начальника,— подтвердил Бестужев.— А кстати, где же он сам, начальник-то наш? Что он все прячется?

— Трубецкой сегодня не очень здоров,— объяснил Рылеев.

— А завтра... все-таки будет завтра на площади?

Страх пробежал по лицам у всех.

— Что вы, Бестужев, помилуйте! — возмутился Рылеев так искренно, что все успокоились.

— Ну, господа, теперь Бог управит все остальное. С Богом! С Богом! — сказал Оболенский.

Якубович, Бестужев и Батенков вышли вместе. Голицын и Оболенский стояли в прихожей, прощаясь с Рылеевым.

Каховский, все еще ходивший по зале, увидев, наконец, что все расходятся, тоже вышел в прихожую и стал надевать шинель. Лицо у него было все такое же сонное — лицо «лунатика».

Рылеев подошел к нему.

— Что с тобой, Каховский? Нездоровится?

— Нет, здоров. Прощай.

Он пожал ему руку, повернулся и сделал шаг к дверям.

— Постой, мне надо тебе два слова сказать,— остановил его Рылеев.

Каховский поморщился.

— Ох, еще говорить! Зачем?

— Ну, можно и без слов.

Рылеев отвел его в сторону, вынул что-то из бокового кармана и потихоньку сунул ему в руку.

— Что это? — удивился Каховский и поднял руку. В ней был кинжал.

— Забыл? — спросил Рылеев.

— Нет, помню,— ответил Каховский.— Ну, что ж, спасибо за честь!

Это был знак, давно между ними условленный: получивший кинжал избирается Верховною Думою Тайного Общества в цареубийцы.

Рылеев положил ему руки на плечи и заговорил торжественно; видно было, что слова заранее обдуманы, сочинены, может быть, для потомства: «Будет и о нас страничка в истории», как давеча сказал Бестужев.

— Любезный друг, ты сир на сей земле. Я знаю твое самоотвержение. Ты можешь быть полезней, чем на площади: убей царя.

Рылеев хотел его обнять, но Каховский отстранился.

— Как же это сделать? — спросил он спокойно, как будто задумчиво.

— Надень офицерский мундир и рано поутру, до возмущения, ступай во дворец и там убей. Или на площади, когда выедет,— сказал Рылеев.

Что-то медленно-медленно открывалось в лице Каховского, как у человека, который хочет и не может проснуться; наконец, открылось. Сознание блеснуло в глазах, как будто только теперь он понял, с кем и о чем говорит. Лунатик проснулся.

— Ну, ладно,— проговорил, бледнея, но все так же спокойно-задумчиво.— Я — его, а ты — всех? Ты-то всех — решил?

— Зачем же всех? — прошептал Рылеев, тоже бледнея.

— Как зачем? Да ведь ты сам говорил: одного мало, надо всех?

Рылеев этого никогда не говорил, даже думать об этом боялся.

Он молчал. А Каховский все больше бледнел и как будто впивался в него горящим взором.

— Ну, что ж ты молчишь? Говори. Аль и сказать нельзя? Сказать нельзя, а сделать можно?

Вдруг лицо его исказилось, рот скривился в усмешку, надменно оттопыренная нижняя губа запрыгала.

— Ну, спасибо за честь! Лучше меня никого не нашлось, так и я пригодился? А вы-то все что же? Аль в крови не охота пачкаться? Ну, еще бы! Честные люди, благородные! А я — меня только свистни! Злодей обреченный! Отверженное лицо! Низкое орудие убийства! Кинжал в руках твоих!

— Что ты, что ты, Каховский! Никто не принуждает тебя. Ты же сам хотел...

— Да, сам! Как сам захочу, так и сделаю! Пожертвую

собой для отечества, но не для тебя, не для Общества. Ступенькой никому не лягу под ноги. О, низость, низость! Готовил меня быть кинжалом в руках твоих, потерял рассудок, склоняя меня. Думал, что очень тонок, а так был груб, что я не знаю, какой бы дурак не понял тебя! Наточил кинжал, но берегись — уколешься!

— Петя, голубчик, что ты говоришь! — сложил и протянул к нему руки Рылеев с мольбою.— Да разве мы не все вместе? Разве ты не с нами?

— Не с вами, не с вами! Никогда я не был и не буду с вами! Один! Один! Один!

Больше не мог говорить — задыхался. Весь дрожал, как в припадке. Лицо потемнело и сделалось страшным, как у одержимого.

— Вот тебе кинжал твой! И если ты еще когда-нибудь осмелишься,— я тебя!..— одной рукой занес кинжал над головой Рылеева, другой — схватил его за ворот. Оболенский и Голицын хотели кинуться на помощь к Рылееву. Но Каховский отбросил кинжал,— ударившись об пол, клинок зазвенел,— оттолкнул Рылеева с такою силою, что он едва не упал, и выбежал на лестницу.

Одно мгновение Рылеев стоял, ошеломленный. Потом выбежал за ним и, нагнувшись через перила лестницы, позвал его с мольбой отчаянной:

— Каховский! Каховский! Каховский!

Но ответа не было. Только где-то далеко, должно быть, из ворот на улицу, тяжелая калитка с гулом захлопнулась.

Рылеев постоял еще минуту, как будто ожидая чего-то; потом вернулся в прихожую.

Все трое молчали, потупившись и стараясь не смотреть друг другу в лицо.

— Сумасшедший! — произнес, наконец, Рылеев. — Правду говорит Якубович: беды еще наделает, погубит нас всех.

— Вздор! Никого не погубит, кроме себя,— возразил Оболенский.— Несчастный. Все мы несчастные, а он пуще всех. В такую минуту — один. Один за всех на муку идет — больше этой муки нет на земле... И за что ты его обидел, Рылеев?

— Я его обидел?

— Да, ты. Разве можно сказать человеку: убей?

— «Сказать нельзя, а сделать можно?» — повторил Рылеев слова Каховского с горькой усмешкой.

Оболенский вздрогнул и побледнел, покраснел, так же как давеча, в разговоре с Голицыным.

— Не знаю, можно ли сделать. Но лучше самому убить,

чем другому сказать: убей,— проговорил он тихо, со страшным усилием.

И опять все трое замолчали. Рылеев опустился на сундук под вешалкой, Филькино ложе, уперся локтями в колени и склонил голову на руки.

Оболенский присел рядом с ним и гладил его по голове, как больного ребенка, с тихою ласкою.

Молчание длилось долго.

Наконец Рылеев поднял голову. Так же как сегодня утром, он казался тяжелобольным: сразу побледнел, осунулся, как будто весь поник, потух: был огонь — стал пепел.

— Тяжко, братья, тяжко! Сверх сил! — простонал с глухим рыданием.

— А помнишь, Рылеев,— заговорил Оболенский, продолжая гладить его по голове все с тою же тихою лаской: — «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мире» [1].

— Какие слова! — удивился Рылеев.— Кто это сказал?

— Забыл? Ну, ничего, когда-нибудь вспомнишь. И еще, слушай: «Вы теперь имеете печаль, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» [2]. Так-то, Рылеюшка: будет скорбь, будет и радость, и радости нашей никто не отнимет у нас!

На глазах Рылеева блестели слезы, и он улыбался сквозь слезы. Встал и положил руку на плечо Голицына.

— Помните, Голицын, как вы однажды сказали мне: «Хоть вы и не верите в Бога, а помоги вам Бог»?

— Помню, Рылеев.

— Ну, вот и теперь скажите так,— начал Рылеев и не кончил, вдруг покраснел, застыдился.

Но Голицын понял, перекрестил его и сказал:

— Помоги вам Бог, Рылеев! Христос с вами! С нами со всеми Христос!

Рылеев обнял одной рукой Голицына, другой — Оболенского, привлек обоих к себе, и уста их слились в тройной поцелуй.

Сквозь страх, сквозь боль, сквозь муку крестную была великая радость, и они уже знали, что радости этой никто не отнимет у них.

---

[1] Евангелие от Иоанна, XVI, 21.
[2] Евангелие от Иоанна, XVI, 22.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«С Петра начинается революция в России, которая продолжается и до сего дня»,— вспомнил Голицын слова Пушкина, сказанные Пестелю, когда утром 14 декабря вышел на Сенатскую площадь и взглянул на памятник Петра.

Пасмурное утро, туманное, тихое, как будто задумалось, на что повернуть, на мороз или оттепель. Адмиралтейская игла воткнулась в низкое небо, как в белую вату. Мостки через Неву уходили в белую стену, и казалось, там, за Невою, нет ничего — только белая мгла, пустота — конец земли и неба, край света. И Медный Всадник на медном коне скакал в эту белую тьму кромешную.

Поглядывая на пустую площадь, Голицын ходил взад и вперед по набережной. Увидел издали Ивана Ивановича Пущина и подошел к нему.

— Кажется, в восемь? — спросил Голицын.

— Да, в восемь,— ответил Пущин.

— А уж скоро девять? И никого?

— Никого.

— Куда же все девались?

— Не знаю.

— А что Рылеев?

— Должно быть, спит. Любит долго спать.

— Ох, как бы нам не проспать Российской вольности!

Помолчали, походили, ожидая, не подойдет ли кто. Нет, никого.

— Ну, я пойду,— сказал Пущин.

— Куда вы? — спросил Голицын.

— Домой.

Пущин ушел, а Голицын продолжал расхаживать взад и вперед по набережной.

Баба в обмерзшем платье, с посиневшим лицом, полоскала белье в проруби. Старичок-фонарщик, опустив на блоке фонарь с деревянного столба, забрызганного еще летнею грязью, наливал конопляное масло в жестяную лампочку. Разносчик на ларе раскладывал мятные жамки, в виде рыбок, белых и розовых, леденцы, в виде петушков прозрачных, желтеньких и красненьких.

Мальчишка из мелочной лавочки, в грязном переднике, с пустой корзиной на голове, остановился у панели

и, грызя семечки, с любопытством разглядывал Голицына; может быть, знал по опыту, что если барин ждет, то будет и барышня. И Голицыну тоже казалось, что он ждет,—

Как ждет любовник молодой
Минуты сладкого свиданья.

Мальчишка надоел ему. Он перешел с набережной на Адмиралтейский бульвар и начал расхаживать по одной стороне, а по другой — господин в темных очках, в гороховой шинели: пройдет туда и поглядит, как будто спросит: «Ну, что ж, будет ли что?» — пройдет оттуда и как будто ответит: «Что-нибудь да будет, посмотрим!»

«Сыщик»,— подумал Голицын и, зайдя за угол, сел на скамью, притаился.

— Бывало, недалеки времена, копеечного калачика и на сегодня, и на завтра хватает, а тут вдруг с девятью копейками и к лотку не подходи,— торговалась старушка-салопница с бабой-калачницей и глазами искала сочувствия у Голицына. А над головой его, на голом суку, ворона, разевая черный клюв с чем-то красным, как кровь, каркала.

«Ничего не будет! Ничего не будет!» — подумал Голицын.

И вдруг ему сделалось скучно, тошно, холодно. Встал и, перейдя Адмиралтейскую площадь, вошел в кофейню Лореда, на углу Невского, рядом с домом Главного Штаба.

Здесь горели лампы — дневной свет едва проникал в подвальные окна; было жарко натоплено; пахло горячим хлебом и кофеем. Стук биллиардных шаров доносился из соседней комнаты.

Голицын присел к столику и велел подать себе чаю. Рядом двое молоденьких чиновников читали вслух манифест о восшествии на престол императора Николая I.

— «Объявляем всем верным нашим подданным... В сокрушении сердца, смиряясь пред неисповедимыми судьбами Всевышнего, мы принесли присягу на верность старейшему брату нашему, государю цесаревичу и великому князю Константину Павловичу, яко законному, по праву первородства, наследнику престола Всероссийского»...

Когда дело дошло до отречения Константина и второй присяги, читавший остановился.

— Понимаете? — спросил он громким шепотом, так что Голицын не мог не слышать.

— Понимаю,— ответил слушавший.— Сколько же будет присяг? Сегодня — одному, завтра — другому, а там, пожалуй, и третьему...

— «Призываем всех верных наших подданных соединить теплые мольбы их к Всевышнему, да укрепит благие намерения наши, следовать примеру оплакиваемого нами государя, да будет царствование наше токмо продолжением царствования его»... Понимаете?

— Понимаю: на колу мочала, начинай сначала!

«Тоже, верно, сыщики»,— подумал Голицын, отвернулся, взял со стола истрепанную книжку Благонамеренного и сделал вид, что читает.

Гремя саблею, вошел конногвардейский корнет и заказал продавщице-француженке фунт конфет, «лимонных, кисленьких».

Голицын узнал князя Александра Ивановича Одоевского, поздоровался и отвел его в сторону.

— Откуда ты?

— Из дворца. На карауле всю ночь простоял.

— Ну, что?

— Да ничего. Только что граф Милорадович у государя был с рапортом: из всех полков знамена возвращаются; все войска присягнули уже, да и весь город, можно сказать, потому что с утра нельзя пробиться к церквам. Граф такой веселый, точно именинник; приглашает всех на пирог к директору театров Майкову, а оттуда к Телешовой, танцовщице.

— И ты думаешь, Саша?..

— Ничего я не думаю. Уж если военный губернатор на пироге у балетной танцовщицы, значит, все благополучно в городе.

Француженка подала Одоевскому фунтик, перевязанный розовой ленточкой.

— Куда ты? — спросил Голицын.

— Домой.

— Зачем?

— На канапе лежать да конфетки сосать. Умнее ничего не придумаешь! — рассмеялся Одоевский, пожал ему руку и вышел.

А Голицын опять присел к столику. Устал, глаза отяжелели, веки слипались. «Как бы не заснуть»,— подумал.

Белая душная вата наполнила комнату. Где-то близко была Маринька, и он звал ее. Но вата заглушала голос. А над самым ухом его ворона, разевая черный клюв с чем-то красным, как кровь, каркала: «Ничего не будет! Ничего не будет!»

Проснулся от внезапного шума. Все повскакали, подбежали к окнам и смотрели на улицу. Но в низеньких,

почти в уровень с тротуаром, окнах мелькали только ноги бегущих людей.

— Куда они?

— Раздавили!

— Ограбили!

— Пожар!

— Бунт!

Голицын тоже вскочил и, едва не сбив кого-то с ног, как сумасшедший, кинулся на улицу.

— Бунт! Бунт! — услышал крики в бегущей толпе и побежал вместе с нею за угол Невского, по Адмиралтейской площади к Гороховой.

— Ах, беда, беда!

— Да что такое?

— Гвардия бунтует, не хочет присягать Николаю Павловичу!

— Кто с Николаем, тех колят и рубят, а кто с Константином, тащат с собой.

— А кто же государь, скажите на милость?

— Николай Павлович!

— Константин Павлович!

— Нет государя!

— Ах, беда, беда!

Добежав до Гороховой, Голицын услышал вдали барабанную дробь и глухой гул голосов, подобный гулу бури налетающей. Все ближе, ближе, ближе,— и вдруг земля загудела от тысяченогого топота, воздух потрясся от криков оглушающих:

— Ура! Ура! Ура, Константин!

Наклоняясь низко, точно падая, со штыками наперевес, с развевающимся знаменем, батальон лейб-гвардии Московского полка бежал стремительно, как в атаку или на штурм невидимой крепости.

— Ура! Ура! Ура! — кричали солдаты неистово, и рты были разинуты, глаза выпучены, шеи вытянуты, жилы напружены, с таким усильем, как будто этим криком подымали они какую-то тяжесть неимоверную. И грязно-желтые, низенькие домики Гороховой глядели на невиданное зрелище, как старые петербургские чиновники — на светопреставление.

Толпа бежала рядом с солдатами. Уличные мальчишки свистели, свиристели и прыгали, как маленькие чертики. А три больших черта, три штабс-капитана, неслись впереди батальона: Александр и Михаил Бестужевы подняли на концах обнаженных шпаг треугольные шляпы с перьями, а князь Щепин-Ростовский махал окровавленною саблею — только что зарубил трех человек до смерти.

Спотыкаясь и путаясь в полах шинели, держа в руке спавшие с носа очки, Голицын бежал и кричал вместе со всеми, восторженно-неистово:

— Ура, Константин!

ГЛАВА ВТОРАЯ

С Гороховой повернули налево, мимо дома Лобанова и забора Исакия, на Сенатскую площадь. Здесь, у памятника Петра, остановились и построились в боевую колонну, лицом к Адмиралтейству, тылом к Сенату. Выставили цепь стрелков-разведчиков. А внутри колонны поставили знамя и собрались члены Тайного Общества.

Тут, за стальною оградою штыков, было надежно, как в крепости, и уютно, тепло, теплотой дыханий человеческих надышано. От солдат пахло казармою — ржаным хлебом, тютюном и сермягою, а от «маменькина сынка» Одоевского — тонкими духами, пармскою фиалкою. И вещим казалось Голицыну это соединение двух запахов.

Члены Тайного Общества обнимались, целовались трижды, как будто христосуясь. Все лица вдруг изменились, сделались новыми. Узнавали и не узнавали друг друга, как будто на том свете увиделись. Говорили, спеша, перебивая друг друга, бессвязно, как в бреду или пьяные.

— Ну, что, Сашка, хорошо ведь, хорошо, а? — спрашивал Голицын Одоевского, который, не доехав из кофейни до дому, узнал о бунте и прибежал на площадь.

— Хорошо, Голицын, ужасно хорошо! Я и не думал, что так хорошо! — отвечал Одоевский и, поправляя спавшую с плеча шинель, выронил фунтик, перевязанный розовой ленточкой.

— Ага, лимонные, кисленькие! — рассмеялся Голицын.— Ну, что, будешь, подлец, на канапе лежать да конфетки сосать?

Смеялся, чтоб не заплакать от радости. «Женюсь на Мариньке, непременно женюсь!» — вдруг подумал и сам удивился: «Что это я? Ведь умру сейчас... Ну, все равно, если не умру, то женюсь!»

Подошел Пущин; и с ним тоже поцеловались трижды, похристосовались.

— Началось-таки, Пущин?

— Началось, Голицын.

— А помните, вы говорили, что раньше десяти лет и подумать нельзя?

— Да вот не подумавши, начали.

— И вышло неладно?

— Нет, ладно.

— Все будет ладно! Все будет ладно! — твердил Оболенский, тоже как в беспамятстве, но с такой светлой улыбкой, что, глядя на него, у всех становилось светло на душе.

А Вильгельм Кюхельбекер, неуклюжий, долговязый, похожий на подстреленную цаплю, рассказывал, как его по дороге на площадь извозчик из саней вывалил.

— Ушибся?

— Нет, прямо в снег, мягко. Как бы только пистолет не вымок.

— Да ты стрелять-то умеешь?

— Метил в ворону, а попал в корову!

— Что это, Кюхля, какие с тобой всегда приключения!

«Смеются тоже, чтоб не заплакать от радости»,— подумал Голицын.

Похоже было на игру исполинов: огромно, страшно, как смерть, и смешно, невинно, как детская шалость.

Забравшись за решетку памятника, Александр Бестужев склонился к подножью и проводил взад и вперед лезвием шпаги по гранитному выступу.

— Что ты делаешь? — крикнул ему Одоевский.

— Я о гранит скалы Петровой
Оружье вольности точу! —

ответил Бестужев стихами, торжественно.

— А ты, Голицын, чего морщишься? — заметил Одоевский.— Бестужев молодец: полк взбунтовал. А что поактерствовать любит, так ведь мы и все не без этого, а вот, все молодцы!

Князь Щепин, после давешнего бешенства, вдруг ослабел, отяжелел, присел на панельную тумбу и внимательно рассматривал свои руки в белых перчатках, запачканных кровью; хотел снять — не снимались, прилипли; разорвал, стащил, бросил и начал тереть руки снегом, чтобы смыть кровь.

— «Все будет ладно»,— повторил Одоевский слова Оболенского и указал Голицыну на Щепина: — И это тоже ладно?

— Да, и это. Нельзя без этого,— ответил Голицын и почему-то, заговорив об этом, взглянул на Каховского.

В нагольном тулупе, с красным кушаком, за который заткнуты были кинжал и два пистолета, Каховский стоял поодаль от всех, один, как всегда. Никто не подходил к нему, не заговаривал. Должно быть, почувствовав на себе взгляд Голицына, он тоже взглянул на него — и в голодном, тощем лице его, тяжелом-тяжелом, точно каменном, с надменно оттопыренною нижнею губою и жалоб-

ными глазами, как у больного ребенка или собаки, потерявшей хозяина, что-то дрогнуло, как будто хотело открыться и не могло. И тотчас опять отвернулся, угрюмо потупился. «Не с вами, не с вами, никогда я не был и не буду с вами!» — вспомнились Голицыну вчерашние слова Каховского и вдруг стало жаль его нестерпимою жалостью.

— А вот и Рылеюшка! Умаялся, бедненький? — подошел Голицын к Рылееву и обнял его с особенной нежностью. Чувствовал, что виноват перед ним: думал, что он проспит, а он все утро метался, как угорелый, по всем казармам и караулам, чтобы набрать войска, но ничего не набрал, вернулся с пустыми руками.

— Мало нас, Голицын, ох, как мало!

— Пусть мало, а все-таки надо, все-таки надо было начать! — напомнил ему Голицын его же слова.

— Да, все-таки надо! Хоть одну минутку, а были свободны! — воскликнул Рылеев.

— А где же Трубецкой? — вдруг спохватился.

— Черт его знает! Пропал, как сквозь землю провалился!

— Испугался, должно быть, и спрятался.

— Как же так, господа? Разве можно без диктатора? Что он с нами делает! — начал Рылеев и не кончил, только рукой махнул и побежал опять, как угорелый, метаться по городу, искать Трубецкого.

— Никаких распоряжений не сделали, согнали на площадь, как баранов, а сами спрятались,— проворчал Каховский.

И все притихли, как будто вдруг очнулись, опомнились; жуткий холодок пробежал у всех по сердцу.

Не знали, что делать; стояли и ждали. Собрались на площади около одиннадцати. На Адмиралтейской башне пробило двенадцать, час, а противника все еще не было, ни даже полиции, как будто все начальство вымерло.

Думали было захватить сенаторов, но оказалось, что уже в восемь утра они присягнули и уехали в Зимний дворец на молебствие.

Солдаты в одних мундирах зябли и грелись горячим сбитнем, переминались с ноги на ногу и колотили рука об руку. Стояли так спокойно, что прохожие думали, что это парад.

Голицын ходил вдоль фронта, прислушиваясь к разговорам солдат.

— Константин Павлович сам идет сюда из Варшавы!

— За четыре станции до Нарвы стоит с первою армиею и Польским корпусом, для истребления тех, кто будет присягать Николаю Павловичу!

— И прочие полки непременно откажутся!

— А если не будет сюда, пойдем за ним, на руках принесем!

— Ура, Константин! — этим криком все кончалось.

А когда их спрашивали: «Отчего не присягаете?» — отвечали: «По совести».

Между правым флангом каре и забором Исакия теснилась толпа. Голицын вошел в нее и здесь тоже прислушался.

В толпе были мужики, мастеровые, мещане, купцы, дворовые, чиновники и люди неизвестного звания, в странных платьях, напоминавшие ряженых: шинели господские с мужицкими шапками; полушубки с круглыми высокими шляпами; черные фраки с белыми полотенцами и красными шарфами вместо кушаков. У одного — все лицо в саже, как у трубочиста.

— Кумовьев, значит, много в полиции, так вот, чтоб не признали, рожу вымазал,— объяснили Голицыну.

— Рожа черна, а совесть бела. Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит,— подмигнул ему сам чернорожий, скаля белые зубы, как иегр.

У иных было оружие: старинные ржавые сабли, ножи, топоры, кирки и те железные ломы, которыми дворники скалывают лед на улицах, и даже простые дубинки, как, бывало, во дни пугачевщины. А те, кто с голыми руками пришел, разбирали поленницы дров у забора Исакия и выламывали камни из мостовой, вооружаясь кто поленом, кто булыжником.

— И видя такое неустроенное, варварское на все Российское простонародье самовластье и тяжкое притесненье, государь император Константин Павлович вознамерился уничтожить оное,— говорил мастеровой с испитым, злым и умным лицом, в засаленном картузе и полосатом тиковом халате, ремешком подпоясанном.

— По две шкуры с нас дерут, анафемы! — злобно шипел беззубый старичок-дворовый, в лакейской фризовой шинели со множеством воротников.

— Народу жить похужело, всему царству потяжелело! Томно так, что ой-ой-ой! — вздыхала баба с красным лицом и веником под мышкой, должно быть, прямо из бани. А лупоглазая девчонка, в длинной кацавейке мамкиной, разинув рот, жадно слушала, как будто все понимала.

— И видя оное притеснение лютое,— продолжал мастеровой,— государь Константин Павлович, пошли ему Господь здоровья, пожелал освободить Российскую чернь от благородных господ...

— Господа благородные — первейшие в свете подлецы! — послышались голоса в толпе.

— Отжили они свои красные дни! Вот он потребует их, варваров!

— Недолго им царствовать — не сегодня, так завтра будет с них кровь речками литься!

— Воля, ребята, воля! — крикнул кто-то, и вся толпа, как один человек, скинула шапки и перекрестилась.

— Сам сюда идет расправу творить, уж он у Пулкова!

— Нет, взяли за караул, заковали в цепь и увезли!

— Ах, ты сердечный, болезный наш!

— Ничего, братцы, небось, отобьем!

— Ура, Константин!

— Идут! Идут! — услышал Голицын и, оглянувшись, увидел, что со стороны Адмиралтейского бульвара, из-за забора Исакия, появилась конная гвардия. Всадники, в медных касках и панцирях, приближались гуськом, по три человека в ряд, осторожно-медленно, как будто крадучись.

— Ишь, как сонные мухи ползут. Не любо, чай, бедненьким! — смеялись в толпе.

А солдаты в мятежном каре, заряжая ружья, крестились:

— Ну, слава Богу, начинается!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Генерал-губернатор граф Милорадович подскакал к цепи стрелков, выставленных перед фронтом мятежников. В шитом золотом мундире, во всех орденах, в голубой Андреевской ленте, в треугольной шляпе с белыми перьями, он сидел молодцом на гарцующей лошади.

Попал прямо на площадь из уборной балетной танцовщицы Катеньки Телешовой. На помятом лице его с жидкими височками крашеных волос, пухлыми губками и масляными глазками было такое выражение, как будто он все это дело кругом пальца обернет.

— Стой! Назад поворачивай! — закричали ему солдаты, и стальное полукольцо штыков прямо на него уставилось.

«Русский Баярд, сподвижник Суворова, в тридцати боях не ранен,— и этих шалунов испугаюсь!» — подумал Милорадович.

— Полно, ребята, шалить! Пропусти! — крикнул и поднял лошадь в галоп на штыки с такою же лихостью, с какою, бывало, на полях сражений, под пушечными

ядрами, раскуривал трубку и поправлял складки на своем щегольском плаще амарантовом. «Бог мой, пуля на меня не вылита!» — вспомнил свою поговорку.

А простые глаза простых людей, как стальные штыки, прямо на него уставились: «Ах, ты шут гороховый, хвастунишка, фанфаронишка!»

— Куда вы, куда вы, граф! Убьют! — подбежал к нему Оболенский.

— Не убьют, небось! Не злодеи, не изверги, а шалуны, дурачки несчастные. Их пожалеть, вразумить надо,— ответил Милорадович, выпятив мягкие, пухлые губы чувствительно.

По угрюмой злобе на лицах солдат Оболенский видел, что еще минута — и примут на штыки «фанфаронишку».

— Смирна-а! Ружья к ноге! — скомандовал и схватил под уздцы лошадь Милорадовича.— Извольте отъехать, ваше сиятельство, и оставить в покое солдат!

Лошадь мотала головой, бесилась, пятилась. Узда острым краем ремня резала пальцы Оболенского; но, не чувствуя боли, он не выпускал ремня из рук.

Адъютант Милорадовича, молоденький поручик Башуцкий, с перекошенным от страха лицом, подбежал, запыхавшись, и остановился рядом с лошадью.

— Да скажите же ему хоть вы, господин поручик,— убьют! — крикнул ему Оболенский.

Но Башуцкий только махнул рукой с безнадежностью.

А Милорадович уже ничего не видел и не слышал. Пришпоренная лошадь рванулась вперед. Оболенский едва не упал и выпустил узду из рук. Цепь стрелков расступилась, и всадник подскакал к самому фронту мятежников.

— Ребята! — начал он видимо заранее приготовленную речь с самонадеянной развязностью старого отца-командира.— Вот эту самую шпагу, видите, с надписью: «Другу моему Милорадовичу» подарил мне в знак дружбы государь цесаревич Константин Павлович. Неужели же я изменю другу моему и вас обману, друзья?

Неловко, бочком протискиваясь сквозь шеренгу солдат, подошел Каховский и остановился в двух-трех шагах от Милорадовича. Левую руку положил на рукоять кинжала, заткнутого за красный кушак,— Оболенский заметил, что из двух пистолетов за кушаком остался только один,— а правую — неуклюже, неестественно, точно вывихнутую, засунул под распахнутый тулуп, за пазуху.

— Разве нет между вами старых служивых суворовских? Разве тут одни мальчишки да канальи-фрачники? — продолжал Милорадович, взглянув на Каховского.

А тот, как будто внимательно прислушиваясь, смотрел в лицо его прямо, недвижно, неотступно-пристально. И от этого взгляда вдруг страшно стало Оболенскому. Почти не сознавая, что делает, он выхватил ружье у стоявшего рядом солдата и начал колоть штыком в бок лошадь Милорадовича.

Каховский оглянулся, и Оболенскому почудилась в лице его усмешка едва уловимая.

Лошадь взвилась на дыбы. Знакомый звук послышался Милорадовичу, как будто выскочила пробка из бутылки шампанского. «Вот оно! — подумал он, но уже не успел прибавить: Бог мой, пуля на меня не вылита!»

В белом облачке дыма проплыла белая юбочка балетной танцовщицы; две розовые ножки торчали из юбочки, как две тычинки из чашки цветка опрокинутой. Выпятились пухлые губы старчески-младенчески, как, бывало, в последнем акте балета, когда он, хлопая в ладоши, покрикивал: «Фора, Телешова, фора!» Последний поцелуй воздушный послала ему Катенька — и опустилась черная занавесь.

Вдруг вскинул руки вверх и замотался, задергался, как пляшущий на нитке паяц. С головы свалилась шляпа, оголяя жидкие височки крашеных волос, и по голубому шелку Андреевской ленты заструилась струйка алая.

Оболенский чувствовал, как острое железо штыка вонзается во что-то живое, мягкое, хотел выдернуть и не мог — зацепилось. А когда облачко дыма рассеялось, увидел, что Милорадович, падая с лошади, наткнулся на штык, и острие вонзилось ему в спину, между ребрами.

Наконец, со страшным усильем, Оболенский выдернул штык.

«Какая гадость!» — подумал, так же как тогда, во время дуэли со Свиньиным, и лицо его болезненно сморщилось.

Ружейный залп грянул из каре, и «Ура, Константин!» прокатилось над площадью, радостное. Радовались, потому что чувствовали, что только теперь началось как следует: переступили кровь.

Каховский, возвращаясь в каре, так же как давеча, пробирался неловко, бочком. Лицо его было спокойно, как будто задумчиво. Когда послышались крики и выстрелы, он с удивлением поднял голову; но тотчас опять опустил, как будто еще глубже задумался.

«Да, этот ни перед чем не остановится. Если только подъедет государь, несдобровать ему»,— подумал Голицын.

— Представь себе, Комаровский, есть люди, которые, к несчастью, носят один с нами мундир и называют меня. .— начал государь, усмехаясь криво, одним углом рта, как человек, у которого сильно болят зубы, и кончил с усилием: — называют меня самозванцем!

«Самозванец» — в устах самодержца Российского — это слово так поразило генерала Комаровского, что он не сразу нашелся, что ответить.

— Мерзавцы! — проговорил, наконец, и, чувствуя, что этого мало, выругался по-русски, непристойным ругательством.

Государь, в одном мундире Измайловского полка, в голубой Андреевской ленте, как был одет к молебствию, сидел верхом на белой лошади, окруженный свитою генералов и флигель-адъютантов, впереди батальона лейб-гвардии Преображенского полка, построенного в колонну на Адмиралтейской площади, против Невского.

Тишина зимнего дня углублялась тем, что на занятых войсками площадях и улицах езда прекратилась. Близкие голоса раздавались, как в комнате, а издали, со стороны Сената, доносился протяжный гул, несмолкаемый, подобный гулу морского прибоя, с отдельными возгласами, как будто скрежетами подводных камней, уносимых волной отливающей: «Ура-ра-ра!» Вдруг затрещали ружейные выстрелы, гул голосов усилился, как будто приблизился, и опять: «Ура-ра-ра!»

Генерал Комаровский поглядывал на государя украдкой, искоса. Под низко надвинутою треугольною черною шляпою с черными перьями лицо Николая побледнело прозрачно-синеватою бледностью, и впалые, темные глаза расширились. «У страха глаза велики»,— подумал Комаровский внезапно-нечаянно.

— Слышишь эти крики и выстрелы? — обернулся к нему государь.— Я покажу им, что не трушу!

— Все удивляются мужеству вашего императорского величества; но вы обязаны хранить драгоценную жизнь вашу для блага отечества,— ответил Комаровский.

А государь почувствовал, что не надо было говорить о трусости. Все время фальшивил, как певец, спавший с голоса, или актер, не выучивший роли.

«Рыцарь без страха и упрека» — вот роль, которую надо было сыграть. Начал хорошо. «Может быть, сегодня вечером нас обоих не будет на свете, но мы умрем, исполнив наш долг»,— одеваясь поутру, сказал Бенкендорфу. И потом — командирам гвардейского корпуса: «Вы от-

вечаете мне головою за спокойствие столицы, а что до меня,— если буду императором, хоть на один час, то покажу, что был того достоин!»

Но когда услышал: «Бунт!»—вдруг сердце упало, потемнело в глазах, и все замелькало, закружилось, как в вихре.

Для чего-то кинулся на дворцовую гауптвахту — должно быть, думал, что вот-вот бунтовщики вломятся во дворец, и хотел поставить караулы у дверей; потом выбежал под главные ворота дворца и столкнулся с полковником Хвощинским, приехавшим прямо из казарм Московского полка, израненным, с повязкою на голове. Государь, увидев на повязке кровь, замахал руками, закричал: «Уберите, уберите! Спрячьте же!», чтобы видом крови не разжечь толпы, хотя никакой толпы еще не было.

Потом один, без свиты, очутился на Дворцовой площади, в столпившейся кучке прохожих; что-то говорил им, доказывал, читал и толковал манифест и просил убедительно: «Наденьте шапки, наденьте шапки — простудитесь!». А те кричали: «Ура!», становились на колени, хватали его за фалды мундира, за руки, за ноги: «Государь-батюшка, отец ты наш! Всех на клочья разорвем, не выдадим!» И краснорожий в лисьей шубе лез целоваться; изо рта его пахло водкою, луком и еще каким-то отвратительным запахом, точно сырой говядины. А в задних рядах бушевал пьяный; его унимали, били, но он успел-таки выкрикнуть:

— Ура, Константин!

Государь немного отдохнул, ободрился только тогда, когда увидел, что батальон лейб-гвардии Преображенского полка строится перед дворцом в колонну.

Собралась, наконец, свита; подали лошадь.

— Ребята! Московские шалят. Не перенимать у них и делать свое дело молодцами! Готовы ли вы идти за мной, куда велю? — закричал, проезжая по фронту, уже привычным, начальническим голосом.

— Рады стараться, ваше императорское величество! — ответили солдаты нетвердо, недружно, но слава Богу, что хоть так.

— Дивизион, вперед! Вполоборота, левым плечом, марш-марш! — скомандовал государь и повел их на Адмиралтейскую площадь.

Но, дойдя до Невского, остановился, не зная, что делать. Решил подождать посланного для разведок генерала Сухозанета, начальника гвардейской артиллерии.

Все это мелькнуло перед ним, как видение бреда, когда он закрыл глаза и забылся на миг: такие миги забвения находили на него, подобные обморокам.

Очнулся от голоса генерал-адъютанта Левашова, подскакавшего к нему после давешних криков и выстрелов на Сенатской площади.

— Ваше величество, граф Милорадович ранен.

— Жив?

— Рана тяжелая — едва ли выживет.

— Ну, что ж, сам виноват, свое получил,— пожал плечами государь, и тонкие губы его искривились такою усмешкою, что всем вдруг стало жутко.

«Да, это не Александр Павлович! Погодите, ужо задаст вам конституцию!» — подумал Комаровский.

— Ну, что, как, Иван Онуфрич? — обратился государь к подскакавшему генералу Сухозанету.

— Cela va mal, sire,[1] — начал тот.— Бунт разрастается; бунтовщики никаких увещаний не слушают; присягнувшие войска ненадежны, каждую минуту могут перейти на сторону мятежников, и тогда следует ожидать величайших ужасов. Извольте, ваше величество, послать за артиллерией,— кончил Сухозанет свое донесение.

— Да ведь сам говоришь, ненадежна?

— Что же делать, другого способа нет. Не обойтись без артиллерии...

Но государь уже не слушал. Чувствовал, что по спине его ползут мурашки, и нижняя челюсть прыгает. «От холода»,— утешал себя, но знал, что не только от холода. Вспомнилось, как в детстве, во время грозы, убегал в спальню, ложился в постель и прятал под подушку голову, а дядька Ламсдорф вытаскивал его за ухо: «За ушко да на солнышко». Жалел себя. Ну, за что они все на него? Что он им сделал? «Братниной воли жертва невинная! Pauvre diable! Бедный малый! Бедный Никс!»

Когда очнулся, то увидел, что с ним говорит уже не генерал Сухозанет, а генерал Воинов, начальник гвардейского корпуса.

— Ваше величество, в Измайловском полку беспокойство и нерешительность...

— Что вы говорите? Что вы говорите? Как вы смеете? — вдруг закричал на него государь так внезапно-неистово, что тот остолбенел и выпучил глаза от удивления.— Место ваше, сударь, не здесь, а там, где вверенные вам войска вышли из повиновения!

— Осмелюсь доложить, ваше величество...

— Молчать!

— Государь...

— Молчать!

---

[1] Плохо дело, ваше величество (*франц.*).

И каждый раз, как раскрывал он рот, раздавался этот крик неистовый.

Государь знал, что сердиться не за что, но не мог удержаться. Точно огненный напиток разлился по жилам, согревающий, укрепляющий. Ни подлых мурашек, ни дрожания челюсти. Опять — рыцарь без страха и упрека; самодержец, а не самозванец. Понял, что спасен, только бы рассердиться как следует.

Незнакомый штабс-капитан драгунского полка, высокого роста, с желто-смуглым лицом, черными глазами, черными усами и черной повязкой на лбу, подошел и уставился на него почтительно, но чересчур спокойно; что-то было в этом спокойствии, что уничтожало расстояние между государем и подданным.

— Что вам угодно? — невольно обернувшись к нему, спросил государь.

— Я был с ними, но оставил их и решился явиться с повинной головой к вашему величеству,— ответил офицер все так же спокойно.

— Как ваше имя?

— Якубович.

— Спасибо вам, вы ваш долг знаете,— подал ему руку государь, и Якубович пожал ее с тою усмешкою, которую дамы, в него влюбленные, называли «демонской».

— Ступайте же к ним, господин Якубовский...

— Якубович,— поправил тот внушительно.

— И скажите им от моего имени, что, если они сложат оружие, я их прощаю.

— Исполню, государь, но жив не вернусь.

— Ну, если боитесь...

— Вот доказательство, что я не из трусов. Мне честь моя дороже головы израненной! — снял Якубович шляпу и указал на свою повязанную голову. Потом вынул из ножен саблю, надел на нее белый платок — знак перемирия — и пошел на Сенатскую площадь к мятежникам.

— Молодец! — сказал кто-то из свиты.

Государь промолчал и нахмурился.

Долго не возвращался посланный. Наконец, вдали замелькал белый платок. Государь не вытерпел — подъехал к нему.

— Ну, что же, господин Якубовский?

— Якубович,— опять поправил тот еще внушительней.— Толпа буйная, государь. Ничего не слушает.

— Так чего ж они хотят?

— Позвольте, ваше величество, сказать на ухо.

— Берегитесь, рожа разбойничья,— шепнул государю Бенкендорф.

Но тот уже наклонился с лошади и подставил ухо.

«Вот теперь его можно убить»,— подумал Якубович. Не был трусом; если бы решил убить, не побоялся бы. Но не знал, зачем и за что убивать. Покойного Александра Павловича — за то, что чином обошел, а этого за что? К тому же цареубийца, казалось ему, должен быть весь в черном платье, на черном коне и непременно, чтобы парад и солнце, и музыка. А так просто убить, что за удовольствие?

— Просят, чтоб ваше величество сами подъехать изволили. С вами говорить хотят и больше ни с кем,— шепнул ему на ухо.

— Со мной? О чем?

— О конституции.

Лгал: никаких переговоров с бунтовщиками не вел. Когда подходил к ним, они закричали ему издали: «Подлец!» и прицелились. Он успел только шепнуть два слова Михаилу Бестужеву, повернулся и ушел.

— А ты как думаешь? — спросил государь Бенкендорфа, пересказав ему на ухо слова Якубовича.

— Картечи бы им надо, вот что я думаю, ваше величество! — воскликнул Бенкендорф с негодованием.

«Картечи или конституции?» — подумал государь, и бледное лицо его еще больше побледнело; опять мурашки по спине заползали, нижняя челюсть запрыгала.

Якубович взглянул на него и понял, что был прав, когда сказал давеча Михаилу Бестужеву:

— Держитесь,— трусят!

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Отсюда виднее, влезайте-ка,— пригласил Оболенский Голицына и помог ему вскарабкаться на груду гранитных глыб, сваленных для стройки Исакия у подножия памятника Петра I.

Голицын окинул глазами площадь.

От Сената до Адмиралтейства, от собора до набережной и далее, по всему пространству Невы до Васильевского острова, кишела толпа многотысячная — одинаково черные, малые, сжатые, как зерна паюсной икры, головы, головы, головы. Люди висели на деревьях бульвара, на фонарных столбах, на водосточных желобах; теснились на крышах домов, на фронтоне Сената, на галереях Адмиралтейской башни,— как в исполинском амфитеатре с восходящими рядами зрителей.

Иногда внизу, на площади, в однообразной зыби голов, завивались водовороты.

— Что это? — спросил Голицын, указывая на один из них.

— Шпиона, должно быть, поймали,— ответил Оболенский.

Голицын увидел человека, бегущего без шапки, в шитом золотом, флигель-адъютантском мундире с оторванной фалдой, в белых лосинах с кровавыми пятнами.

Иногда слышались выстрелы, и толпа шарахалась в сторону, но тотчас опять возвращалась на прежнее место: сильнее страха было любопытство жадное.

Войска, присягнувшие императору Николаю, окружали кольцом каре мятежников: прямо против них — преображенцы, слева — измайловцы, справа — конногвардейцы, и далее, по набережной, тылом к Неве — кавалергарды, финляндцы, конно-пионеры; на Галерной улице — павловцы, у Адмиралтейского канала — семеновцы.

Войска передвигались, а за ними — волны толпы; и во всем этом движении, кружении, как неподвижная ось в колесе вертящемся,— стальной четырехугольник штыков.

Долго смотрел Голицын на две ровные линии черных палочек и белых крестиков: палочки — султаны киверов, крестики — ремни от ранцев; а между двумя — третья, такая же ровная, но разнообразная линия человеческих лиц. И на них на всех — одна и та же мысль — тот вопрос и ответ, которые давеча слышал он: «Отчего не присягаете?» — «По совести».

Да, неколебимая крепость этого стального четырехугольника — святая крепость человеческой совести. На скалу Петрову опирается — и сам, как эта скала несокрушимая. В середине каре — члены Тайного Общества, военные и штатские, «люди гнусного вида во фраках», как потом доносили квартальные; тут же — полковое знамя с полинялыми ветхими складками золотисто-зеленого шелка, истрепанное, простреленное на полях Бородина, Кульма и Лейпцига — ныне святое знамя Российской вольности; столик, забрызганный чернилами, принесенный из Сенатской гауптвахты, с какими-то бумагами — может быть, манифестом недописанным,— с караваем хлеба и бутылкой вина — святая трапеза Российской вольности.

Промелькнуло бледное на бледном небе привидение солнца — и стальная щетина тонких изломанных игл бледно заискрилась на серой глыбе гранита, подножии Медного Всадника. Зазеленела темная бронза тускло-зеленою ржавчиною — и страшною жизнью ожил лик нечеловеческий.

«С Ним или против Него?» — подумал Голицын опять, как тогда, во время наводнения. Что значит это мановение

десницы, простертой над пучиной волн человеческих, как над пучиной потопа бушующей? Тогда укротил потоп — укротит ли и ныне? Или в пучину низвергнется бешеный конь вместе с бешеным Всадником?

Вернувшись в каре, Голицын узнал, что готовится атака конной гвардии; а Рылеев пропал, Трубецкой не являлся, и команды все еще нет.

— Надо выбрать другого диктатора,— говорили одни.

— Да некого. С маленькими эполетами и без имени, никто не решится,— возражали другие.

— Оболенский, вы старший, выручайте же!

— Нет, господа, увольте. Все что угодно, а этого я на себя не возьму.

— Как же быть? Смотрите, вот уже в атаку идут!

Два эскадрона конной гвардии вынеслись на рысях из-за дощатого забора Исакия и построились в колонну тылом к дому Лобанова.

Коллежский асессор Иван Иванович Пущин, в длиннополой шинели, в высокой черной шляпе, похаживал перед фасом каре и покуривал трубочку так же спокойно, как у себя в кабинете или в Михайловском, в домике Пушкина, под уютный шелест вязальных спиц Арины Родионовны.

— Ребята, будете моей команды слушать? — спросил он солдат.

— Рады стараться, ваше благородие!

Высвободив из рукава шинели правую руку в зеленой лайковой перчатке, он поднял ее вверх, как бы взмахнув невидимой саблей, и скомандовал:

— Смирна-а! Ружья к ноге! В каре против кавалерии стройся!

Один залп мог положить на месте всю конницу. Чтобы даром не перебить и не озлобить людей, Пущин велел стрелять лошадям в ноги или вверх через головы всадников.

Конница уже неслась с тяжелым топотом. Грянул залп, но пули просвистели над головами людей.

Когда пороховой дым рассеялся, увидели, что первая атака не удалась. Мешала теснота, выдававшийся угол забора — надо было его огибать,— а пуще всего гололедица. Неподкованные лошади скользили на все четыре ноги по обледенелым булыжникам и падали. Да и люди шли в атаку нехотя: понимали, что нельзя атаковать кавалерией на расстоянии двадцати шагов, когда ружейный огонь лошадям в морды.

— И чего, анафемы, лезете? — ругались московцы, помогая вставать упавшим всадникам.

— Полезешь, коли гонят. А вам, братцы, спасибо, что мимо стреляли, а то и живы быть не чаяли! — благодарили конногвардейцы.

— Переходи к нам, ребята!

— А вот, погоди, ужо как стемнеет, все перейдем.

— Назад, равняйсь! — скомандовал полковой командир, генерал Орлов, и начал строить взводы для второй атаки.

Но и вторая удалась не лучше первой. Так же плавно склонялись штыки и, натыкаясь на стальную щетину их, так же опрокидывались кони, увлекая всадников. А толпа из-за забора швыряла камнями, кирпичами, поленьями. Генерала Воинова едва не зашибли до смерти; герцога Евгения Виртембергского закидали снежками, как маленького мальчика.

Атака за атакой, как волна за волной, разбивалась о четырехугольник, неколебимый, недвижный, и, с каждым новым натиском, он как будто твердел, каменел. Опирался о скалу Петрову и сам был как эта скала несокрушимая.

Вдруг, под веселый гром военной музыки, послышалось издали: «Ура, Константин!» и три с половиною роты лейб-гвардии флотского экипажа, под командою лейтенанта Михаила Кюхельбекера и штабс-капитана Николая Бестужева, выбежали из Галерной улицы.

Обнимались, целовались с московцами:

— Голубчики, братцы, миленькие! Спасибо вам, не выдали!

— Соединились армии с флотами!

— Наша взяла и на море, и на суше!

— Слава Богу, вся Россия в поход пошла!

Экипаж построился в новое каре, справа от московцев, на мосту Адмиралтейского канала, лицом к Исакию.

И опять, уже с другой стороны, с Дворцовой площади:

— Ура, Константин!

По бульвару бежали отдельными кучками, в расстегнутых шинелях, в заваленных фуражках, в сумах с боевыми патронами, с ружьями наперевес, лейб-гренадеры.

Уже добежали до площади, перелезли через камни, сваленные на углу Адмиралтейского бульвара и набережной, но тут произошло смятенье.

Полковой командир Стюрлер, все время бежавший рядом с солдатами, убеждал, умолял их вернуться в казармы.

— Не выдавай, ребята, не слушай подлеца! — кричал полковой адъютант, поручик Панов, член Тайного Общества, тоже бежавший рядом.

— Вы за кого? — спросил Каховский, подбегая к Стюрлеру с пистолетом в руках.

— За Николая! — ответил тот.

Каховский выстрелил. Стюрлер схватился рукою за бок и побежал дальше. Двое солдат со штыками — за ним.

— Бей, коли немца проклятого!

Штыки вонзились в спину его, и он упал.

Лейб-гренадеры соединились с московцами. И опять объятия, поцелуи братские.

Третье каре построилось слева от первого, лицом к набережной, тылом к Исакию.

Теперь уже было на площади около трех тысяч войска и десятки тысяч народа, готовых на все по первому знаку начальника. А начальника все еще не было.

Погода изменилась. Задул ледяной восточный ветер. Мороз крепчал. Солдаты в одних мундирах по-прежнему зябли и переминались с ноги на ногу, колотили рука об руку.

— Чего мы стоим? — недоумевали.— Точно к мостовой примерзли. Ноги отекли, руки окоченели, а мы стоим.

— Ваше благородие, извольте в атаку вести,— говорил ефрейтор Любимов штабс-капитану Михаилу Бестужеву.

— В какую атаку? На что?

— На войска, на дворец, на крепость — куда воля ваша будет.

— Погодить надо, братец, команды дождаться.

— Эх, ваше благородие, годить — все дело губить!

— Да, что другое, а годить и стоять мы умеем,— усмехнулся Каховский язвительно.— Вся наша революция — стоячая!

— «Стоячая революция»,— повторил про себя Голицын с вещим ужасом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Да что такое происходит? Какого мы ждем неприятеля?

— Ничего не понимаю, убей меня Бог! Кавардак какой-то анафемский! — подслушал великий князь Михаил Павлович разговор двух генералов. Он тоже ничего не понимал.

Вызванный братом Николаем из городка Ненналя, где остановился по дороге в Варшаву, только что прискакал в Петербург, усталый, голодный, продрогший, и попал прямо на площадь, в революцию, по собственному выражению, «как кур во щи».

Когда, после неудачи конных атак, начальство поняло, что силой ничего не возьмешь и решило приступить к увещаниям, Михаил Павлович попросил у государя позволение поговорить с бунтовщиками. Николай сначала отказал, а потом, уныло махнув рукой, согласился:

— Делай, что знаешь!

Великий князь подъехал к фронту мятежников.

— Здорово, ребята! — крикнул зычно и весело, как на параде.

— Здравья желаем вашему императорскому высочеству! — ответили солдаты так же весело.

«Косолапый Мишка», «благодетельный бука, le bourru bienfaisant», Михаил Павлович наружность имел жесткую, а сердце мягкое. Однажды солдатик пьяненький, валявшийся на улице, отдал ему честь, не вставая, и он простил его: «Пьян, да умен». Так и теперь готов был простить бунтовщиков за это веселое: «Здравья желаем!»

— Что это с вами, ребята, делается? Что вы такое затеяли? — начал, как всегда, по-домашнему.— Государь цесаревич Константин Павлович от престола отрекся, я сам тому свидетель. Знаете, как я брата люблю. Именем его приказываю вам присягнуть законному...

— Нет такого закона, чтоб двум присягать,— поднялся гул голосов.

— Смирна-а! — скомандовал великий князь, но его уже не слушали.

— Мы ничего худого не делаем, а присягать Николаю не будем!

— Где Константин?

— Подай Константина!

— Пусть сам приедет, тогда поверим!

— Не упрямьтесь-ка лучше, ребята, а то худо будет,— попробовал вступиться кто-то из генералов.

— Поди к чертовой матери! Вам, генералам, изменникам, нужды нет всякий день присягать, а мы присягой не шутим! — закричали на него с такою злобою, что Михаил Павлович, наконец, понял, что происходит, слегка побледнел. И лошадь его тоже как будто поняла — дрогнула, попятилась.

В узеньком проулке между двумя каре — флотским экипажем и московцами — Вильгельм Карлович Кюхельбекер нелепо суетился, метался из стороны в сторону, держа в руках большой пистолет, тот самый, который упал в снег и вымок; то натягивал, то откидывал шинель, и, наконец, скинул совсем, остался в одном фраке, длинновязый, кривобокий, тонконогий, похожий на подстреленную цаплю.

— Voulez vous faire descendre Michel? [1] — произнес рядом с ним чей-то знакомый, но странно изменившийся голос, и вдруг почудилось ему, что все это уже когда-то было.

— Je le veux bien, mais où est-il donc? [2]

— А вон, видите, черный султан.

Щуря близорукие голубые глаза навыкате, такие же грустные и нежные, как, бывало, в беседах с лицейским товарищем Пушкиным «о Шиллере, о славе, о любви», он прицелился.

Вдруг почувствовал, что кто-то его трогает за локоть. Оглянулся и увидел двух солдат. Ничего не сказали, только один подмигнул, другой покачал головою. Но он понял: «Не надо! Ну его!»

— Погоди, ребята, маленько; скорее дело кончим,— произнес тот же знакомый голос, и опять все это уже когда-то было.

Кюхельбекер поднес пистолет к самому носу и рассматривал его, как будто с удивлением.

— А ведь, кажется, и вправду смок,— пробормотал сконфуженно.

— Эх, ты, чудак, Абсолют Абсолютович! Сам, видно, смок! — рассмеялся Пущин и потрепал его по плечу ласково. Голицын подошел и прислушался.

— Да ведь мы и все, господа, не очень сухи,— опять усмехнулся Каховский язвительно.

— А вы-то сами что же? Вы лучше нас всех стреляете,— проговорил Пущин.

— Довольно с меня! Уже двое на душе, а будет и третий,— ответил Каховский.

Голицын понял, что третий — Николай Павлович.

На конце Адмиралтейского бульвара и Сенатской площади, близ каре мятежников, остановилась большая восьмистекольная карета, на высоких рессорах, с раззолоченными козлами, вроде колымаг старинных. Из кареты вылезли два старичка с испуганными лицами, в церковных облачениях: митрополит Серафим — Петербургский, и Евгений — Киевский.

Какой-то генерал схватил обоих владык в дворцовой церкви, где готовились они служить молебствие по случаю восшествия на престол, усадил в карету с двумя иподиаконами [3] и привез на площадь.

Старички, стоя в толпе, перед цепью стрелков, и не зная, что делать, шептались беспомощно.

---

[1] Хотите застрелить Михаила? (*франц.*)

[2] Очень хочу, но где же он? (*франц.*)

[3] Лица, прислуживающие архиерею во время церковной службы.

— Не ходите, убьют! — кричали одни.

— Ступайте с Богом! Это ваше дело, духовное. Не басурмане, чай, а свои люди крещеные,— убеждали другие.

У митрополита Евгения, хватая за полы, чтоб удержать, оторвали палицу[1] и затерли его в толпе. А Серафим, оставшись один, потерялся так, что даже страха не чувствовал, остолбенел, не понимал, что с ним делается,— как будто летел с горы вниз головой; только крестился, шептал молитву, быстро мигая подслеповатыми глазками и озираясь во все стороны.

Вдруг увидел над собой удивленное, спокойное и доброе лицо молодого лейтенанта лейб-гвардии флотского экипажа, Михаила Карловича Кюхельбекера, Вильгельмова брата, такого же как тот, неуклюжего, длинноногого и пучеглазого.

— Что вам угодно, батюшка? — спросил Кюхельбекер вежливо, делая под козырек. Русский немец, лютеранин, не знал, как обращаться к митрополиту, и решил, что, если поп, так «батюшка»[2].

Серафим ничего не ответил, только пуще замигал, зашептал, закрестился.

Некогда светские барыни прозвали его за приятную наружность «серафимчиком». Теперь ему было уже за семьдесят. Одутловатое, старушечье лицо, узенькие щелки заплывших глаз, ротик сердечком, носик шишечкой, жиденькая бородка клинышком. Он весь трясся, и бородка тряслась. Кюхельбекеру стало жаль старика.

— Что вам угодно, батюшка? — повторил он еще вежливей.

— Мне бы туда, к воинам... Поговорить с воинами,— пролепетал, наконец, Серафим, боязливо указывая пухлою ручкою на каре мятежников.

— Уж не знаю, право,— пожал Кюхельбекер плечами в недоумении.— Тут пропускать не велено. А впрочем, погодите, батюшка, я сию минуту.

И побежал. А Серафим робко поднял глаза и взглянул на лица солдат. Думал,— не люди, а звери. Но увидел обыкновенные человеческие лица, вовсе не страшные.

Немного отдохнул и вдруг, с тою храбростью, которая иногда овладевает трусами, снял митру, отдал иподиакону, положил на голову крест и пошел вперед. Солдаты расступились, взяли ружья на молитву и начали креститься.

Он сделал еще несколько шагов и очутился перед

---

[1] Квадратный плат с изображением креста.

[2] Обращение к митрополиту — «ваше высокопреосвященство» или «владыка».

самым фронтом каре. Здесь тоже люди крестились, но, крестясь, кричали:

— Ура, Константин!

— Воины православные! — заговорил Серафим, и все умолкли, прислушались. Он говорил так невнятно, что только отдельные слова долетали до них.— Воины, утишь-теся... Умаливаю вас... Присягните... Константин Павлович трикраты отрекся... вот вам Бог свидетель...

— Ну, Бога-то лучше оставьте в покое, владыка,— произнес чей-то голос, такой тихий и твердый, что все оглянулись. Это говорил князь Валериан Михайлович Голицын.

— А ты что? Кто такой? Откуда взялся? Во Христа-то Господа веруешь ли? — залепетал Серафим и вдруг побледнел, затрясся уже не от страха, а от злобы.

— Верую,— ответил Голицын так же тихо и твердо.

— А ну-ка, ну-ка, целуй, если веруешь!

— Только не из ваших рук,— сказал Голицын и хотел взять у него крест.

Но Серафим отдернул его, уже в ином, нездешнем страхе, как будто только теперь увидел то, чего боялся,— в лице бунтовщика лицо самого дьявола.

— Ну что ж, давайте, не бойтесь, отдам. Он ваш до времени, ужо отымем! — произнес Голицын, и глаза его из-под очков сверкнули так грозно, что Серафим опять замигал, зашептал, закрестился и отдал крест.

Голицын взял его и поцеловал с благоговением.

— Дайте и мне,— сказал Каховский.

— И мне! И мне! — потянулись другие.

Крест обошел всех по очереди, а когда опять вернулся к Голицыну, он отдал его Серафиму.

— Ну, а теперь ступайте, владыка, и помните, что не по вашей воле свободу Российскую осенили вы крестным знаменьем.

И опять, как тогда, в начале восстания, закричал восторженно-неистово:

— Ура, Константин!

— Ура, Константин! — подхватили солдаты.

— Поди-ка на свое место, батька, знай свою церковь!

— Какой ты митрополит, когда двум присягал!

— Обманщик, изменник, дезертир Николаевский!

Штыки и шпаги скрестились над головой Серафима. Подбежали иподиаконы, подхватили его под руки и увели.

— А вот и пушки,— указал кто-то на подъезжавшую артиллерию.

— Ну что ж, все как следует,— усмехнулся Голицын.— За крестом — картечь, за Богом — Зверь!

— Я еще не уверен в артиллерии,— отвечал государь каждый раз, когда убеждали его послать за артиллерией

Не только в ней, но и в остальных войсках не был уверен. Семеновцы передавали бунтовщикам через народ о своем желании соединиться с ними; измайловцы на троекратное: «Здорово, ребята!» ответили государю молчаньем; а финляндцы, как встали на Исакиевском мосту, так и не двигались.

«Что если все они перейдут на сторону мятежников? — думал государь.— Тогда и артиллерия не поможет: пушки на меня самого обратятся».

— Bonjour, Карл Федорович. Посмотрите, что здесь происходит. Вот прекрасное начало царствования — престол, обагренный кровью! — сказал он подъехавшему генералу Толю, опять усмехаясь давешнею, как сквозь зубную боль, кривою усмешкою.

— Государь, одно только средство положить сему конец: расстрелять картечью эту сволочь! — ответил Толь.

Государь молча нахмурился; чувствовал, что надо что-то сказать, но не знал что. Опять забыл роль, боялся сфальшивить.

— Не нужно крови,— подсказал Бенкендорф.

— Да, крови,— вспомнил государь.— Не нужно крови. Неужели вы хотите, чтобы в первый день царствования я пролил кровь моих подданных?

Замолчал и надул губы ребячески. Опять стало жалко себя, захотелось плакать от жалости: «Pauvre diable! Бедный малый! Бедный Никс!»

Взяв Бенкендорфа под руку, Толь отъехал с ним в сторону и, указывая на государя глазами, спросил шепотом:

— Что с ним?

— А что? — притворился Бенкендорф непонимающим и посмотрел на солдатское, простоватое лицо Толя с лукавой придворной усмешкой.

— Да неужели этих каналий миловать? — удивился Толь.

— Ну, об этом не нам с вами судить. Царская милость неизреченна. Государь полагает прибегнуть к огню только в самом крайнем случае. Наш план — окружить и стеснить их так, чтобы принудить к сдаче без кровопролития.

Толь ничего не ответил. Боевой генерал, сподвижник Суворова, любимец Кутузова, знаток наполеоновой тактики, он понимал, что Бенкендорф говорит с тою невежественною легкостью, которая свойственна людям, никогда не нюхавшим пороха; что каре мятежников стоит твердо:

можно его расстрелять, раздавить, уничтожить, но сдвинуть нельзя; и что если бунт перекинется в чернь, то в тесноте, в толпе многотысячной, произойдет не бой, а свалка, и Бог знает, чем это кончится. В войсках, верных Николаю, было колебание, а среди начальников — то, что всегда бывает перед боем проигранным: все теряли голову, суетились, метались без толку, давали и принимали советы нелепые: подождать до утра, в той надежде, что к ночи мятежники сами разойдутся; или послать за пожарными трубами и облить каре водою, «направляя струю против глаз, что, при бывшем маленьком морозце, привело бы солдат в невозможность действовать».

Появилась, наконец, артиллерия: после долгих уговоров государь согласился послать за нею. С Гороховой выехали на больших рысях четыре орудия с пустыми передками, без зарядов, под командой полковника Нестеровского.

— Господин полковник, имеете ли вы картечи с собою? — спросил Толь.

— Никак нет, ваше превосходительство, не было приказано.

— Извольте же послать за ними немедленно, ибо в них скорая надобность будет,— приказал Толь.

Он знал, что делает: самовольным приказом спасал государя и, может быть, государство Российское.

От угла Невского к дому Лобанова, от дома Лобанова к забору Исакия и вдоль по забору, к тому последнему углу, который заслонял от фронта мятежников, государь двигался медленно-медленно, шаг за шагом, в течение долгих часов, казавшихся вечностью.

Остановившись у этого угла, почувствовал, что и дальше, за угол, туда, откуда пули посвистывают, влечет его сила неодолимая, затягивает, засасывает, как водоворот — щепку. Смотрел на гладкие, серые доски и не мог оторвать от них глаз: там, на страшном углу, эти страшные доски напоминали плаху, дыбу проклятую.

Он знал, что влечет его туда, за угол. «Я покажу им, что не трушу»,— вспоминал слова свои и слова Якубовича: «Хотят, чтобы ваше величество сами подъехать изволили». Почему других посылает, а сам не едет?

Пули из-за угла посвистывали, перелетая через головы: бунтовщики, должно быть, нарочно целили вверх.

Угол забора защищал государя от пуль, а все-таки казалось, что они свистят над самой головой.

— Что ты говоришь? — спросил он генерала Бенкендорфа, который, выехав за угол, что-то приказывал стоявшему впереди батальону преображенцев.

— Я говорю, ваше величество, чтоб дураки пулям не кланялись,— ответил тот и, не успев отвернуться, увидел, что государь наклонил голову.

На бледных щеках Николая проступили два розовых пятнышка. Пришпоренная лошадь вынесла всадника за угол. Он увидел мятежников, и они его увидели. Закричали: «Ура, Константин!» и сделали залп. Но опять, должно быть, целили вверх — щадили. Пули свистели над ним, как хлысты не бьющие, только грозящие, и в этом свисте был смех: «Штабс-капитан Романов, уж не трусишь ли?»

Опять пришпорил, лошадь взвилась на дыбы и вынесла бы всадника к самому фронту мятежников, если бы генерал-адъютант Васильчиков не схватил ее под уздцы.

— Извольте отъехать, ваше величество!

— Пусти! — закричал государь в бешенстве. Но тот держал крепко и не отпустил бы, если бы ему это стоило жизни: был верный раб.

Вдруг пальцы государя, державшие повод, ослабели, разжались. Васильчиков повернул лошадь, и она поскакала назад.

Государь почти не сознавал, что делает, но испытывал то же, что в детстве, во время грозы, когда прятал под подушку голову.

Доскакав до Дворцовой площади, опомнился. Надо было объяснить себе и другим, почему отъехал так внезапно от страшного места. Подозвав дворцового коменданта Башуцкого, спросил, исполнено ли приказание усилить караул во дворце двумя саперными ротами.

— Исполнено, ваше величество.

— Экипажи готовы? — спросил государь адъютанта Адлерберга.

— Так точно, ваше величество.

Велел приготовить загородные экипажи, чтобы, в крайнем случае, перевезти тайком под конвоем кавалергардов, обеих императриц и наследника в Царское.

— А что, императрица как? — продолжал государь.

— Очень беспокоиться изволят. Умоляют ваше величество ехать с ними,— ответил Адлерберг.

Государь понял: ехать с ними — бежать.

— А ты как думаешь? — взглянул на Адлерберга исподлобья, украдкою.

— Я думаю, что жизнь вашего императорского величества...

— Дурак! — крикнул государь и, повернув лошадь, опять поскакал на Сенатскую площадь.

На Адмиралтейской башне пробило три. Смеркалось. Шел снег. Белые мухи кружились в темнеющем воздухе.

Вдоль Адмиралтейского бульвара стояла рота пешей артиллерии с четырьмя орудиями и зарядные ящики с картечами.

Генерал Сухозанет подскакал к государю.

— Ваше высочество...— начал второпях докладывать. Государь посмотрел на него так, что он готов был сквозь землю провалиться. Но «бедный малый» вспомнил, как сам давеча скомандовал: «Рота его величества остается при мне». Где уж спрашивать с других, когда сам себя не чувствовал «величеством».

— Ваше императорское величество,— поправился Сухозанет,— сумерки близки, а темнота в этом положении опасна. Извольте повелеть очистить площадь пушками.

Государь ничего не ответил и вернулся на прежнее место, к забору Исакия. Опять — гладкие, серые доски и тот страшный угол — плаха, дыба проклятая; опять свист пуль — свист хлыстов, не бьющих, только грозящих и смеющихся.

Прежде было две толпы: одна на стороне царя, другая — на стороне мятежников; теперь обе слились в одну. Все больше темнело, и в темноте толпа напирала, теснила государеву лошадь.

— Народ ломит дуром. Извольте отъехать, ваше величество! — сказал кто-то из свиты.

— Сделайте одолженье, ребята, ступайте все по домам. Государь вас просит,— убеждал Бенкендорф.

— По мне стрелять будут, могут и в вас попасть,— сказал государь.

— Вишь, какой мякенькой стал! — послышались голоса в толпе.

— Теперь, как вам приспичило, то вы и лисите, а потом нашего же брата в бараний рог согнете!

— Не пойдем, умрем с ними!

Лица вдруг сделались злыми, и стоявшие без шапок начали их надевать.

— Шапки долой! — закричал государь, и опять, как давеча, восторг бешенства разлился по жилам огнем; опять понял, что спасен, только бы рассердиться как следует.

Вдруг из-за забора начали швырять камнями, кирпичами, поленьями.

— Подальше от забора, ваше величество! — крикнул генерал-адъютант Васильчиков.

Черноволосый, курносый мужик, в полушубке распахнутом, в красной рубахе, сидел верхом на заборе, там, на страшном углу, как палач на дыбе.

— Вот-ста наш Пугачев! — смеялся он, глядя прямо в лицо государя.— Ваше величество, чего за забор прячешься? Поди-ка сюда!

И вся толпа закричала, загоготала:

— Пугачев! Пугачев! Гришка Отрепьев! Самозванец! Анафема!

«А что, если камнем или поленом в висок убьют, как собаку?» — подумал государь с отвращением и вдруг вспомнил, как у того краснорожего, который давеча утром лез к нему целоваться, изо рта пахло сырою говядиною. Затошнило, засосало под ложечкой. Потемнело в глазах. Руки, ноги сделались как ватные. Боялся, что упадет с лошади.

— Ура, Константин! — раздался крик; в темноте огнями вспыхнули выстрелы, и грянул залп. Испуганная лошадь под государем шарахнулась.

— Ваше величество, нельзя терять ни минуты, ничего не поделаешь, нужна картечь,— сказал Толь.

Государь хотел ему ответить и не мог — язык отнялся. И как, бывало, молния сверкала в глаза, когда дядька Ламсдорф во время грозы из-под подушки вытаскивал голову его,— сверкнула мысль:

«Все пропало — конец!»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«Стоячая революция»,— вспоминал Голицын слова Каховского.

Стоят и ничего не делают. В одних мундирах зябнут по-прежнему и, чтобы согреться, переминаются с ноги на ногу, колотят рукой об руку. Ждут, сами не зная чего.

Более четырех часов прождали так, не сделав ни одного движенья, пока не собрали всех полков, чтобы их раздавить. Как будто зачарованы чарой недвижности. Пока стоят,— сила, крепость неколебимая, скала Петрова; но только что пробуют сдвинуться,— слабеют, изнемогают, шагу не могут ступить. Как в страшном сне: ногами двигают, хотят бежать — и стоят.

И противник тоже стоит. Как будто этим только и борются: кто кого перестоит.

«Неужели прав Каховский? — думал Голицын.— Неужели вся наша революция — стоячая?»

Победа сама дается в руки, а они не берут, как будто нарочно упускают случай за случаем, делают глупость за глупостью.

Когда Московский полк взбунтовался, ему надо было идти к другим полкам, чтобы присоединить их к себе; но он пошел на площадь, думая, что все уже там, и, только прибежав туда, увидел, что никого еще нет.

Когда флотский экипаж выступил, он мог взять с собой артиллерию: пушки против пушек решили бы участь восстания; мог взять — и не взял.

А лейб-гренадеры могли занять крепость, которая господствовала над дворцом и над городом; могли захватить дворец, где находились тогда Сенат, Совет, обе императрицы с наследником,— могли это сделать — и не сделали.

Но и после всех этих промахов силы мятежников были огромные: три тысячи войска и вдесятеро больше народа, готовых на все по мановению начальника.

— Дайте нам только оружие, мы вам вполчаса весь город перевернем! — говорили в толпе.

— Стрелять будут. Нечего вам на смерть лезть,— отгоняли толпу солдаты.

— Пусть стреляют! Умрем с вами! — отвечала толпа.

Решимость действовать была у народа, у войска, у младших чинов Общества, но не у старших: у них было одно желание — страдать, умереть, но не действовать.

— В поддавки играть умеете? — спросил Каховский Голицына.

— Какие поддавки? — удивился тот.

— А такая игра в шашки: кто больше поддал, тот и выиграл.

— Что это значит?

— Это значит, что в поддавки играем. Поддаем друг другу, мы им, а они нам. Глупим взапуски, кто кого переглупит.

— Нет, тут не глупость.

— А что же?

— Не знаю. Может быть, мы не только с ними боремся; может быть, и в нас самих... Нет, не знаю, не умею сказать...

— Не умеете? Эх, Голицын, и вы туда же!.. А впрочем, пожалуй, и так — не глупость а что-то другое. Видели, давеча шпиона поймали, адъютанта Бибикова смяли, оборвали, избили до полусмерти, а Михайло Кюхельбекер заступился, вывел из толпы, проводил за цепь застрельщиков с любезностью, да еще шинель с себя снял и надел на него, потеплее закутал — как бы не простудился, бедненький! Упражняемся в христианской добродетели: бьют по левой щеке, подставляем правую. Сами как порченые — и людей перепортили: вон стреляют вверх, щадят врага. Человеколюбивая революция, филантропический бунт! Душу спасаем. Крови боимся, без крови хотим. Но будет кровь — только напрасная и падет на нашу голову! Расстреляют, как дураков — так нам и надо! Холопы,

холопы вечные! Подлая страна, подлый народ! Никогда в России не будет революции!..

Вдруг замолчал, отвернулся, ухватился обеими руками за чугунные прутья решетки — разговор шел у памятника Петра — и начал биться о них головой.

— Ну, полно, Каховский! Дело еще не проиграно, успех возможен...

— Возможен? В том-то и подлость, что возможен, возможен успех! Но нельзя терять ни минуты — поздно будет. Ради Бога, помогите, Голицын, скажите им... что они делают! Что они делают!.. Да нет, и вы, и вы с ними! Вы все вместе, а я...

Губы его задрожали, лицо сморщилось, как у маленьких детей, готовых расплакаться. Он опустился на каменный выступ решетки, согнулся, уперся локтями в колени и стиснул голову руками с глухим рыданием:

— Один! Один! Один!

И, глядя на него, Голицын понял, что если есть между ними человек, готовый погубить душу свою за общее дело, то это — он, Каховский; понял также, что помочь ему, утешить его нельзя никакими словами. Молча наклонился, обнял его и поцеловал.

— Господа, ступайте скорее! Оболенский выбран диктатором; сейчас военный совет,— объявил Пущин так спокойно, как будто они были не на площади, а за чайным столом у Рылеева.

Оболенскому навязали диктаторство почти насильно. Старший адъютант гвардейской пехоты, один из трех членов Верховной Думы Тайного Общества, он больше, чем кто-либо, имел право быть диктатором. Но если никто не хотел начальствовать, то он — меньше всех. Долго отказывался, но, видя, что решительный отказ может погубить все дело,— наконец, согласился и решил собрать «военный совет».

Совет собирали и все не могли собрать. Шли и по дороге останавливались, как-будто о чем-то задумавшись, все в той же чаре недвижности.

— Почему мы стоим, Оболенский? Чего ждем? — спросил Голицын, подойдя к столу, в середине каре, под знаменем.

— А что же нам делать? — ответил Оболенский вяло и нехотя, как будто о другом думая.

— Как что? В атаку идти.

— Нет, воля ваша, Голицын, я в атаку не пойду. Все дело испортим: вынудим благоприятные полки к действию против себя. Только о том, ведь, и просят, чтобы подождали до ночи. «Продержитесь, говорят, до ночи, и

мы все, поодиночке, перейдем на вашу сторону». Да у нас и войска мало — силы слишком неравные.

— А народ? Весь народ с нами, дайте ему только оружие.

— Избави Бог! Дай им оружие — сами будем не рады: свалка пойдет, резня, грабеж; прольется кровь неповинная.

— «Должно избегать кровопролития всячески и следовать самыми законными средствами»,— напомнил кто-то слова Трубецкого, диктатора.

— Ну, а если расстреляют до ночи?— сказал Голицын.

— Не расстреляют: у них сейчас и зарядов нет,— возразил Оболенский все так же вяло и нехотя.

— Заряды подвезти недолго.

— Все равно, не посмеют: духу не хватит.

— А если хватит?

Оболенский ничего не ответил, и Голицын понял, что говорить бесполезно.

— Смотрите, смотрите,— закричал Михаил Бестужев,— батарею двинули!

Батальон лейб-гвардии Преображенского полка, стоявший впереди остальных полков, расступился на обе стороны: в пустое пространство выкатились три орудия и, снявшись с передков, обратились дулами прямо на мятежников.

Бестужев вскочил на стол, чтобы лучше видеть.

— А вот и заряды! Сейчас заряжать будут! — опять закричал он и соскочил со стола, размахивая саблей.— Вот когда надо в атаку идти и захватить орудия!

Орудия стояли менее чем в ста шагах, под прикрытием взвода кавалергардов, с командиром, подполковником Анненковым, членом Тайного Общества. Только добежать и захватить.

Все обернулись к Оболенскому, ожидая команды. Но он стоял все так же молча, не двигаясь, потупив глаза, как будто ничего не видел и не слышал.

Голицын схватил его за руку.

— Оболенский, что же вы?

— А что?

— Да разве не видите? Пушки под носом, сейчас стрелять будут.

— Не будут. Я же вам говорю: не посмеют.

Злость взяла Голицына.

— Сумасшедший! Сумасшедший! Что вы делаете!

— Успокойтесь, Голицын. Я знаю, что делаю. Пусть начинают, а мы — потом. Так надо.

— Почему надо? Да говорите же! Что вы мямлите, черт бы вас побрал! — закричал Голицын в бешенстве.

— Послушайте, Голицын,— проговорил Оболенский, все еще не поднимая глаз.— Сейчас вместе умрем. Не сердитесь же, голубчик, что не умею сказать. Я ведь и сам не знаю, а только так надо, иначе нельзя, если мы с Ним...

— С кем?

— Его забыли? — поднял глаза Оболенский с тихой улыбкой, а Голицын глаза опустил.

Внезапная боль, как острый нож, пронзила сердце его. Все та же боль, тот же вопрос, но уже обращенный к Другому: «С Ним или против Него?» Всю жизнь только и думал о том, чтобы в такую минуту, как эта, быть с Ним; и вот наступила минута, а он и забыл о Нем.

— Ничего, Голицын, все будет ладно, все будет ладно,— проговорил Оболенский.— Христос с вами! Христос с нами со всеми! Может быть, мы и не с Ним, да уж Он-то наверное с нами! А насчет атаки,— прибавил, помолчав,— небось, ужо пойдем в штыки, не струсим, еще посмотрим, чья возьмет!.. Ну, а теперь пора и на фронт: ведь, какой ни на есть, а все же диктатор! — рассмеялся он весело и побежал, махая саблей. И все — за ним.

Добежав до фронта, увидели скачущего со стороны батареи генерала Сухозанета. Подскакав к цепи стрелков, он крикнул им что-то, указывая туда, где стоял государь, и они пропустили его.

— Ребята! — заговорил Сухозанет, подъехав к самому фронту московцев.— Пушки перед вами. Но государь милостив, жалеет вас, и если вы сейчас положите оружие...

— Сухозанет, где же конституция? — закричали ему из каре.

— Я прислан с пощадою, а не для переговоров...

— Так убирайся к черту!

— И пришли кого-нибудь почище твоего!

— Коли его, ребята, бей!

— Не троньте подлеца, он пули не стоит!

— В последний раз говорю: положите ружья, а то палить будем!

— Пали! — закричали все с непристойным ругательством.

Сухозанет, дав шпоры лошади, повернул ее, поднял в галоп — толпа отшатнулась — он выскочил. По нем сделали залп, но он уже мчался назад, к батарее, только белые перья с шляпного султана посыпались.

И Голицын увидел с восторгом, что Оболенский тоже выстрелил.

Вдруг, на левом фланге батареи, появился всадник на белом коне — государь. Он подскакал к Сухозанету, наклонился к нему и сказал что-то на ухо.

Наступила тишина, и слышно было, как Сухозанет скомандовал:

— Батарея, орудья заряжай! С зарядом-жай!

— Ура, Константин! — закричали мятежники неистово.

В белесоватых сумерках затеплились, рядом с медными жерлами пушек, красные звездочки фитилей курящихся. Голицын смотрел прямо на них — прямо в глаза смерти,— и старые слова звучали для него по-новому:

«С нами Бог! С нами Бог! Нет, Каховский неправ: будет революция в России, да еще такая, какой мир не видал!»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«Ежели сейчас не положат оружия, велю стрелять»,— сказал государь, посылая Сухозанета к бунтовщикам.

— Ну, что, как? — спросил его, когда тот вернулся.

— Ваше величество, сумасбродные кричат: конституция! Картечи бы им надо,— повторил Сухозанет слова Бенкендорфа.

«Картечи или конституции?» — опять подумал государь, как давеча.

Сухозанет ждал приказаний. Но государь молчал, как будто забыл о нем.

— Орудия заряжены? — спросил, наконец, выговаривая слова медленно, с трудом.

— Так точно, ваше величество, но без боевых зарядов. Приказать изволите — картечами?

— Ну, да. Ступай,— ответил государь все так же трудно-медленно.— Стой, погоди,— вдруг остановил его.— Первый выстрел вверх.

— Слушаю-с, ваше величество.

Сухозанет отъехал к орудиям, и государь увидел, что их заряжают картечами.

Прежний страх исчез, и был новый, неведомый. Он уже за себя не боялся — понял, что ничего ему не сделают, пощадят до конца,— но боялся того, что сделает сам.

Увидел Бенкендорфа, подъехал к нему.

— Что же делать, что же делать, Бенкендорф? — зашептал ему на ухо.

— Как что? Стрелять немедленно, ваше величество! Сейчас в атаку пойдут, пушки отнимут...

— Не могу! Не могу! Как же ты не понимаешь, что не могу!

— Чувствительность сердца делает честь вашему вели-

честву, но теперь не до того! Надо решиться на что-нибудь: или пролить кровь некоторых, чтобы спасти все; или государством пожертвовать...

Государь слушал, не понимая.

— Не могу! Не могу! Не могу! — продолжал шептать, как в беспамятстве. И что-то было в этом шепоте такое новое, странное, что Бенкендорф испугался.

— Успокойтесь, ради Бога, успокойтесь, ваше величество! Извольте только скомандовать — я все беру на себя.

— Ну, ладно, ступай. Сейчас...— махнул рукой государь и отъехал в сторону.

Закрыл на мгновение глаза — и так ясно-отчетливо, как будто сейчас перед глазами, увидел маленькое голенькое Сашино тело. Это было давно, лет пять назад, в грозовую душную ночь, в Петергофском дворце, в голубой Сашиной спальне. Зубки прорезáлись у мальчика; он по ночам не спал, плакал, метался в жару, а в эту ночь уснул спокойно. Alexandrine подвела мужа к Сашиной кроватке и тихонько раздвинула полог. Мальчик спал, разметавшись; скинул одеяльце, лежал голенький — все розовое тельце в ямочках — и улыбался во сне. «Regarde, regarde le donc! Oh, qu'il est joli, le petit ange!» [1] — шептала Alexandrine с улыбкой. И штабс-капитан Романов тоже улыбался.

«Что это я? Брежу? С ума схожу?» — опомнился. Открыл глаза и увидел генерала Сухозанета, который уже в третий раз докладывал:

— Орудья заряжены, ваше величество.

Государь молча кивнул головой, и тот опять, не получив приказаний, отъехал к батарее, в недоуменье.

«Господи, спаси! Господи, помоги!» — попробовал государь молиться, но не мог.

— Пальба орудьями по порядку! Правый фланг, начинай! Первое! — вдруг закричал с таким чувством, с каким боязливый убийца заносит нож не для того, чтоб ударить, а чтобы только попробовать.

— Начинай! Первое! Первое! Первое! — прокатилась команда от начальника к начальнику.

— Первое! — повторил младший — ротный командир Бакунин.

— Отставь! — крикнул государь. Не смог ударить — нож выпал из рук.

И через несколько секунд опять:

---

[1] Посмотри, посмотри же на него! О, как он прелестен, наш ангелочек! (*франц.*)

— Начинай! Первое!

И опять:

— Отставь!

И в третий раз:

— Начинай! Первое!

Как будто исполинский маятник качался от безумья к безумью, от ужаса к ужасу.

Вдруг вспомнил, что первый выстрел — вверх, через головы. Попробовать в последний раз — не испугаются ли, не разбегутся ли?

— Первое! Первое! — опять прокатилась команда.

— Первое! Пли! — крикнул Бакунин.

Но фейерверкер замялся — не наложил пальника на трубку.

— Что ты, сукин сын, команды не слушаешь? — подскочил к нему Бакунин.

— Ваше благородье, свои,— тихо ответил тот и взглянул на государя. Глаза их встретились, и как будто расстоянье между ними исчезло: не раб смотрел на царя, а человек на человека.

«Да, свои! Сашино, Сашино тело!»

— Отставь! — хотел крикнуть Николай, но чья-то страшная рука сдавила ему горло.

Бакунин выхватил из рук фейерверкера пальник и сам нанес его на трубку с порохом.

Загрохотало, загудело оглушающим гулом и грохотом. Но картечь пронеслась над толпой, через головы. Нож не вонзился в тело — мимо скользнул.

Каре не шелохнулось: опираясь на скалу Петрову, стояло, недвижное, неколебимое, как эта скала. Только в ответ на выстрел затрещал беглый ружейный огонь и раздался крик торжествующий:

— Ура! Ура! Ура, Константин!

И как вода превращается в пар от прикосновения железа, раскаленного добела, ужас государя превратился в бешенство.

— Второе! Пли! — закричал он, и вторая пушка грянула.

Облако дыма застилало толпу, но по раздирающим воплям, крикам, визгам и еще каким-то страшным звукам, похожим на мокрое шлепанье, брызганье, он понял, что картечь ударила прямо в толпу. Нож вонзился в тело.

А когда облако рассеялось, увидел, что каре все еще стоит; только маленькая кучка отделилась от него и побежала в атаку стремительно.

Но грянула третья, четвертая, пятая — и сквозь клубящийся дым, прорезаемый огнями выстрелов, видно было,

как сыпалась градом картечь в сплошную стену человеческих тел.

Мешала скала Петрова, но и в нее палили: казалось, что расстреливают Медного Всадника.

А когда уже вся площадь опустела, выкатили пушки вперед и, преследуя бегущих, продолжали палить вдоль по Галерной, Исакиевской, по Английской набережной, по Неве и даже по Васильевскому Острову.

— Заряжай-жай! Пли! Жай-пли! — кричал Сухозанет уже осипшим голосом.

— Жай-пли! Жай-пли! — вторил ему государь.

Удар за ударом, выстрел за выстрелом,— нож вонзался, вонзался, вонзался, а ему все было мало,— как будто утолял жажду неутолимую, и огненный напиток разливался по жилам так упоительно, как еще никогда.

Генерал Комаровский взглянул на государя и подумал, так же как давеча, внезапно-нечаянно:

«Не человек, а дьявол!»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Голицын стоял у чугунной решетки памятника, обернувшись лицом к батарее, когда раздался первый выстрел и картечь, пронесшись с визгом над головами, ударилась вверх, в стены, окна и крышу Сената. Разбитые стекла зазвенели, посыпались. Два человека, взобравшиеся в чаши весов, которые держала в руках богиня Правосудия на фронтоне Сената, упали к ее подножию, и несколько убитых, свалившись с крыши, стукнулись о мостовую глухо, как мучные кули.

Но толпа на площади не дрогнула.

— Ура, Константин! — закричала с торжествующим вызовом.

— За мной, ребята! Стройся в колонну к атаке! — скомандовал Оболенский, размахивая саблей.

«Неужели он прав? — думал Голицын.— Не посмеют стрелять, духу не хватит? Победили, перестояли? Сейчас пойдем в штыки и овладеем пушками!»

Но вторая грянула, и первый ряд московцев лег, как подкошенный. Задние ряды еще держались. А толпа уже разбегалась, кишела, как муравейник, ногой человека раздавленный. Часть отхлынула в Галерную; другая — к набережной, и здесь, кидаясь через ограду Невы, люди падали в снег; третья — к Конногвардейскому манежу. Но пальба началась и оттуда, из батареи великого князя Михаила Павловича.

Бегущие махали платками и шапками, но их продолжали расстреливать с обеих сторон. Люди метались, давили друг друга. Тела убитых ложились рядами, громоздились куча на кучу. И не зная, куда бежать, толпа завертелась, как в водовороте, в свалке неистовой. А картечь, врезаясь в нее с железным визгом и скрежетом, разрывала, четвертовала тела, так что взлетали окровавленные клочья мяса, оторванные руки, ноги, головы. Все смешалось в дико ревущем, вопящем и воющем хаосе.

Голицын стоял, не двигаясь. Когда московцы дрогнули и побежали, он видел, как вдали заколебалось уносимое знамя полка — поруганное знамя Российской вольности.

— Стой, ребята! — кричал Оболенский, но его уже не слушали.

— Куда бежишь? — с матерной бранью схватил Михаил Бестужев одного из бегущих за шиворот.

— Ваше благородье, сила солому ломит,— ответил тот, вырвался и побежал дальше.

Пули свистели мимо ушей Голицына; сорвали с него шляпу, пробили шинель. Он закрыл глаза и ждал смерти.

— Ну, кажется, все кончено,— послышался ему спокойный голос Пущина.

«Нет, не все,— подумал Голицын,— что-то еще надо сделать. Но что?»

Между двумя выстрелами наступила тишина мгновенная, и он услышал, как над самым ухом его слабо щелкнуло. Открыл глаза и увидел Каховского. Взобравшись на каменный выступ решетки, он ухватился одной рукой за перила, а другой держал пистолет и взводил курок.

Голицын оглянулся, чтобы увидеть, в кого он целит. Там, у левого фланга батареи, за клубами порохового дыма, сидел на белой лошади всадник. Голицын узнал Николая.

Каховский выстрелил и промахнулся. Соскочил с решетки, вынул другой пистолет из-за пазухи и побежал.

Голицын — за ним. На бегу тоже вынул из бокового кармана шинели пистолет и взвел курок. Теперь знал, что надо делать: убить Зверя.

Но десяти шагов не сделали, как валившая навстречу толпа окружила их, сдавила, стиснула и потащила назад.

Голицын споткнулся, упал, и кто-то навалился ему на спину; кто-то ударил сапогом в висок так больно, что он лишился чувств.

Когда очнулся, толпа рассеялась, Каховский исчез. Голицын долго шарил рукой по земле, искал пистолета: должно быть, потерял его давеча в свалке. Наконец, бро-

сил искать, встал и побрел, сам не зная куда, шатаясь, как пьяный.

Пальба затихла. Выдвигали орудья, чтобы стрелять вдоль по Галерной и набережной.

Он пробирался по опустевшей площади, между телами убитых. Сам как мертвый между мертвыми. Все было тихо — ни движенья, ни стона — только по земле струилась кровь неостывшая, растопляя снег, и потом сама замерзала.

Он вспомнил, что московцы побежали в Галерную, и пошел туда, к товарищам, чтобы вместе с ними умереть. По дороге на что-то наткнулся ногой в темноте; наклонился, нащупал рукой пистолет; поднял, осмотрел — он был заряжен — и для чего-то сунул его в карман шинели.

Когда он вошел в Галерную, опять началась пальба — здесь, в тесноте, между домов, еще убийственней. Проносясь по узкой, длинной улице, картечь догоняла и косила людей. Они забегали в дома, прятались за каждым углом и выступом, стучались в ворота, но все было наглухо заперто и не отпиралось ни на какие вопли. А пули, ударяясь об стены, отскакивали, прыгали и не щадили ни одного угла.

— Истолкут нас всех в этой чертовой ступе! — ворчал седой усач-гренадер и, по привычке, вынул из-за голенища тавлинку, но тотчас спрятал опять — должно быть, решил, что нюхать табак перед смертью грешно.

— Кровопийцы, злодеи, анафемы! Будьте вы прокляты! — кричал в исступленьи, грозя кулаком, тот самый мастеровой с испитым лицом, в тиковом халате, который проповедовал давеча о вольности,— и вдруг упал, пронзенный пулею.

Чиновник, старенький, лысенький, без шубы, во фраке, с Анной на шее, прижался к стене, распластался на ней, как будто расплющился, и визжал тоненьким голосом, однообразно-пронзительным,— нельзя было понять, от боли или от страха.

Толстая барыня в буклях, в черной шляпе с розаном, присела на корточки и крестилась, и плакала, точно кудахтала.

Мальчишка из лавочки, в засаленном фартуке, с пустой корзинкой на голове,— может быть, тот самый, что следил за Голицыным давеча утром, когда он ждал «минуты сладкого свиданья»,— лежал навзничь, убитый, в луже крови.

Рядом с Голицыным кому-то размозжило голову. «Звук такой, как мокрым полотенцем бросить об стену»,— подумал он с удивлением бесчувственным.

И опять закрыл глаза. «Да ну же, ну, скорее!» — звал смерть, но смерть не приходила. Ему казалось, что все его товарищи убиты, и только он один жив. Тоска на него напала пуще смерти. «Убить себя»,— подумал, вынул пистолет, взвел курок и приложил к виску. Но вспомнил Мариньку и отнял руку.

В это время Михайло Бестужев, собрав на Неве остаток солдат, строил их в колонну, чтобы идти по льду в атаку на крепость. Заняв ее и обратив пушки на Зимний дворец, думал начать восстание сызнова.

Три взвода уже построились, когда завизжало ядро и ударилось в лед. Батарея с Исакиевского моста палила вдоль по Неве. Ядро за ядром валило ряды. Но солдаты продолжали строиться.

Вдруг раздался крик:

— Тонем!

Разбиваемый ядрами лед провалился. В огромной полынье тонущие люди барахтались. Остальные кинулись к берегу.

— Сюда, ребята! — указал Бестужев на ворота Академии Художеств.

Но прежде чем успели вбежать, ворота захлопнулись. Вынули бревно из днища сломанной барки и начали сбивать ворота с петель. Они уже трещали под ударами, когда солдаты увидели эскадрон кавалергардов, мчавшийся прямо на них.

— Спасайся, ребята, кто может! — крикнул Бестужев, и все разбежались. Остался только знаменщик. Бестужев обнял его, поцеловал, велел отдать знамя скакавшему впереди эскадрона поручику и сам побежал.

Оглянувшись на бегу, увидел, что знаменщик подошел к офицеру, отдал знамя и упал, зарубленный ударом сабли с плеча, а офицер поскакал с отбитым знаменем.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Ваше величество, все кончено,— доложил Бенкендорф.

Государь молчал, потупившись. «Что это было? Что это было?» — вспоминал, как будто очнувшись от бреда, и чувствовал, что произошло ужасное, непоправимое.

— Все кончено, бунт усмирен, ваше величество,— повторил Бенкендорф, и что-то было в голосе его такое новое, что государь удивился, но еще не понял, не поверил.

Робко поднял глаза и тотчас опять опустил; потом — смелее, и вдруг понял: ничего ужасного, все как следует:

усмирил бунт и казнил бунтовщиков. «Если буду хоть на один час императором, то покажу, что был того достоин!» И показал. Только теперь воцарился воистину: не самозванец, а самодержец.

На бледных щеках его проступили два розовых пятнышка; искусанные до крови губы заалели, как будто напились крови. И все лицо ожило.

— Да, Бенкендорф, кончено — я император, но какою ценою, Боже мой! — вздохнул и поднял глаза к небу: — Да будет воля Господня!

Опять вошел в роль и знал, что уже не собьется; опять пристала личина к лицу — и уже не спадет.

— Ура! Ура! Ура, Николай! — начавшись от Сенатской площади, докатилось, тысячеголосое, до внутренних покоев Зимнего дворца,— и там тоже поняли, что бунт усмирен.

В маленьком круглом кабинете-фонарике, выходившем окнами на Дворцовую площадь, молодая императрица Александра Федоровна сидела на подоконнике, молча, бледная, помертвевшая, и смотрела в окно, откуда видна была часть площади, покрытая войсками.

Императрица Мария Федоровна, по обыкновению, болтала и суетилась без толку. Совала всем в руки маленький портретик покойного императора Александра Павловича, умоляя отнести его к мятежникам:

— Покажите, покажите им этого ангела — может быть, они опомнятся!

Тут же был Николай Михайлович Карамзин и князь Александр Николаевич Голицын.

Карамзин выходил на площадь.

«Какие лица я видел! Какие слова слышал! — вспоминал впоследствии.— Вот нелепая трагедия наших безумных либералистов! Умрем, однако ж, за Святую Русь! Камней пять-шесть упало к моим ногам... Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж».

— А знаете, Николай Михайлович, ведь то, что здесь происходит, есть критика вооруженною рукою на вашу «Историю Государства Российского»,— шепнул ему на ухо один из «безумных либералистов», еще там, на площади, и он потом часто вспоминал эти слова непонятные.

Когда загремели пушки, Мария Федоровна всплеснула руками.

— Боже мой, вот до чего мы дожили! Мой сын всходит на престол с пушками! Льется кровь, русская кровь!

— Испорченная кровь, ваше величество,— утешал ее Голицын. Но она повторяла, неутешная:

— Что скажет Европа! Что скажет Европа!

А молодая императрица как упала на колена, закрыв лицо руками при первых пушечных выстрелах, так и не вставала, замерла, не двигаясь; только голова дрожала дрожью непрестанною. «Как лилея под бурею»,— думал Карамзин.

И потом, когда все уже кончилось, не прекращалось это дрожанье, качанье головы, как цветка на стебле надломленном. Сама его не чувствовала, но все заметили. Думали, пройдет. Но не прошло — осталось на всю жизнь.

В соседней комнате, за круглым столиком, сидел и кушал котлетку, под наблюдением англичанки Мими, маленький мальчик, круглолицый, голубоглазый, в красной, шитой золотом курточке, вроде гусарского ментика, государь наследник Александр Николаевич.

Он первый услышал «ура» на площади, подбежал к окну и закричал, захлопал в ладоши:

— Папенька! Папенька!

В парадных залах дворца, сиявших огненными гроздьями люстр, золотой жужжащий улей смолк, когда вошел государь.

«Не узнать — совсем другой человек: такая перемена в лице, в поступи, в голосе»,— тотчас заметили все.

«Tout de suit il a pris de l'applombe [1],— подумал князь Александр Николаевич Голицын.— Пошел не тем, чем вернулся; пошел самозванцем, вернулся самодержцем».

— Благословен Грядый [2] во имя Господне,— встретил государя, входившего в церковь, митрополит Серафим торжественным возгласом.

— Благочестивейшему, самодержавнейшему государю императору всея России, Николаю Павловичу многая лета! Да подаст ему Господь благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и на враги победу и одоление! — загудел в конце молебствия громоподобный голос диакона.

«Да, Божьей милостью император самодержец Всероссийский! Что дал мне Бог, ни один человек у меня не отнимет»,— подумал государь и поверил окончательно, что все как следует.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

«Крови боимся, без крови хотим. Но будет кровь, только напрасная»,— вспоминались Голицыну слова Каховского. «Напрасная! Напрасная! Напрасная!» — стучало в больной голове его, как бред, однозвучно-томительно.

---

[1] Сразу обрел самоуверенность (*франц.*).
[2] Идущий, шествующий (*церковнослав.*).

Лежа на софе, глядел он сквозь прищуренные, лихорадочно горящие веки на светлый круг от лампы под зеленым абажуром в полутемной комнате, на библиотечные полки с книгами, выцветшие нежные пастели бабушек и дедушек — все такое уютное, мирное, тихое, что сегодняшний день на площади казался страшным сном.

Поздно ночью, когда все уже кончилось, унтер-офицер Московского полка, спасаясь от погони конных разъездов и пробираясь по глухим, занесенным снежными сугробами, задворкам, у Крюкова канала наткнулся в темноте на Голицына, уснувшего между поленницами дров, окоченевшего и полузамерзшего; подумал, что мертвый, хотел пройти мимо, но услышал слабый стон, наклонился, заглянул в лицо, при тусклом свете фонаря узнал одного из бывших на площади начальников и доложил о нем Вильгельму Карловичу Кюхельбекеру, который находился поблизости, с кучкой бежавших солдат.

Голицына привели в чувство, усадили на извозчика, и Кюхельбекер отвез его к Одоевскому, с которым жил вместе у Большого театра. Хозяина не было дома — еще не вернулся с площади.

Узнав, что все товарищи целы, Голицын сразу ожил и, вспомнив обещание, данное Мариньке — увидеться с ней в последний раз, может быть, перед вечной разлукой,— хотел тотчас ехать домой. Но Кюхельбекер не пустил его, уложил, укутал, обвязал голову полотенцем с уксусом, напоил чаем, пуншем и еще каким-то декоктом собственного изобретения.

Голицыну спать не хотелось; он только прилег отдохнуть, но закрыл глаза и мгновенно глубоко заснул, как будто провалился в яму.

Когда проснулся, Кюхельбекера уже не было в комнате. Позвал — никто не откликнулся. Взглянул на часы и глазам не поверил: семь утра. Пять часов проспал, а казалось, пять минут.

Встал, обошел комнаты — никого. Только в людской храпел денщик. Голицын разбудил его и узнал, что барин не возвращался, а Кюхельбекер со старым камердинером князя уехал искать его по городу.

Голицын был очень слаб; голова кружилась, и висок болел мучительно, должно быть, от удара сапогом во время свалки на площади. Но он все-таки оделся — только теперь заметил, что шляпа на нем чужая, а очки каким-то чудом уцелели,— вышел на улицу, сел на извозчика и велел ехать на Сенатскую площадь. Решил — сначала туда, а домой — уже потом.

Еще не рассвело, только небо начинало сереть, и снег на крышах белел.

Чем ближе к Сенатской площади, тем больше напоминали улицы военный лагерь: всюду войска, патрули, кордонные цепи, коновязи, кучи соломы и сена, пики и ружья в козлах, караульные окрики, треск горящих костров; блестящие жерла пушек то показывались, то скрывались в дыму и мерцании пламени.

На Английской набережной Голицын слез с саней — проезда дальше не было — и пошел пешком, пробираясь сквозь толпу. Но, сделав несколько шагов, должен был остановиться: на площадь не пропускали; ее окружали войска шпалерами, и между ними стояли орудия, обращенные жерлами во все главные улицы.

По набережной ехал воз, крытый рогожами. Завидев его, толпа расступилась, стала снимать шапки и креститься.

— Что это? — спросил Голицын.

— Покойники,— ответил ему кто-то боязливым шепотом.— Царство им небесное! Тоже ведь люди крещеные, а пихают под лед, как собак.

Зашептались и другие, рядом с Голицыным, и, прислушиваясь к этим шепотам, он узнал, что полиция всю ночь подбирала тела и свозила их на реку; там было сделано множество прорубей, и туда, под лед, спускали их всех, без разбора, не только мертвых, но и живых, раненых: разбирать было некогда — к утру велено очистить площадь. Второпях, кое-как пропихивали тела в узкие проруби, так что иные застревали и примерзали ко льду.

Воронье, чуя добычу, носилось над Невою черными стаями, в белесоватых сумерках утра, со зловещим карканьем. И карканье это сливалось с каким-то другим, еще более зловещим звуком, подобным железному скрежету.

— А это что? Слышите? — опять спросил Голицын.

— А это — мытье да катанье,— ответили ему все тем же боязливым шепотом.

— Какое мытье да катанье?

— Ступай, сам погляди.

Голицын еще немного протискался, приподнялся на цыпочки и заглянул туда, откуда доносился непонятный звук. Там, на площади, люди железными скребками скребли мостовую, соскабливали красный, смешанный с кровью снег, посыпали чистым, белым — и катками укатывали; а на ступенях Сенатского крыльца отмывали замерзшие лужи крови кипятком из дымящихся шаек и терли мочалками, швабрами. Вставляли стекла в разбитые оконницы; штукатурили, закрашивали, замазывали желтые стены и белые колонны Сената, забрызганные кровью, испещренные пулями. И вверху, на крыше чинили весы в руках богини Правосудия.

А пасмурное утро, туманное, тихое, так же как вчера, задумалось, на что повернуть — на мороз или оттепель; так же Адмиралтейская игла воткнулась в низкое небо, как в белую вату; так же мостки через Неву уходили в белую стену, и казалось, там, за Невою, нет ничего — только белая мгла, пустота, конец земли и неба, край света. И так же Медный Всадник на медном коне скакал в эту белую тьму кромешную.

И все скребли, скребли скребки, скрежеща железным скрежетом.

«Не отскребут,— подумал Голицын.— Кровь из земли выступит и возопиет к Богу, и победит Зверя!»

КНИГА ВТОРАЯ

ПОСЛЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Революция — на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока Божьей милостью я — император... Что ты на меня так смотришь?

Бенкендорф таращил глаза, думая только об одном, как бы не заснуть. Но трудно было застигнуть его врасплох, даже сонного.

— Любуюсь вами, государь. Недаром уподобляют ваше величество Аполлону Бельведерскому. Сей победил Пифона, змия лютого; вы же — революцию всесветную.

Разговор шел в приемной, между временным кабинетом — спальней государя и флигель-адъютантскою комнатой, в Зимнем дворце, в ночь с 14-го декабря на 15-е.

Восемь часов провел государь на площади; устал, оголодал, озяб. Вернувшись во дворец и поужинав наскоро, после молебна тотчас принялся за допрос арестованных. В мундире Преображенского полка, в шарфе и в ленте, в ботфортах и лосинах, затянутый, застегнутый на все крючки и пуговицы, даже не прилег ни разу, а только иногда задремывал, сидя на кожаном диване с неудобной, выпуклой спинкой, за столом, заваленным бумагами.

Камер-лакей, неслышно крадучись, уже в третий раз входил в комнату, переменяя в углу, на яшмовом столике, канделябр со множеством догорающих свечей. На английских стенных часах пробило четыре. Бенкендорф поглядел на них с тоской: тоже вторую ночь не спал. Но продолжал говорить, чтоб не заснуть.

— Иногда прекрасный день начинается бурею, да будет так и в царствование вашего величества. Сам Бог защитил нас от такого бедствия, которое, если б не разрушило, то, конечно, истерзало бы Россию. Это стоит французского нашествия: в обоих случаях вижу блеск как бы луча неземного,— повторил он слышанные давеча слова Карамзина.

— Да, счастливо отделались,— сказал государь, чувствуя, что все еще сердце у него замирает, как у человека, только что перебежавшего по утлой дощечке над пропастью, и взглянул на Бенкендорфа украдкой, с тайной надеждой, не успокоит ли. Но тот как будто нарочно запугивал, оплетал липкой сестью страха, как паук — муху паутиной.

— Все на волоске висело, ваше величество. Решительные действия мятежников имели бы верный успех. Но, видно, Бог милосердный погрузил действовавших в какую-то странную нерешительность. Сколько часов простояли на площади в совершенном бездействии, пока мы всех нужных мер не приняли! А ведь опоздай саперы только на одну минуту, когда лейб-гренадеры уже во двор ворвались,— и в руках злодеев был бы дворец со всей августейшей фамилией. Ужасно подумать, что бы наделала сия адская шайка извергов, отрекшихся от Бога, царя и отечества! Ужасно! Волосы дыбом встают, кровь стынет в жилах!

— Перерезали бы всех?

— Всех, ваше величество.

— А правда, что меня еще там, на площади, убить хотели?

— Да, еще там. Может быть, та самая пуля, коей пронзен Милорадович, предназначалась вашему величеству.

— А что, он еще жив?

— Кончается, едва ли до утра выживет. Антонов огонь в кишках.

Помолчали.

— Ну, а как теперь, спокойно?— спросил государь и подумал, что слишком часто об этом спрашивает.

— Слава Богу, пока что спокойно.

— Много арестовано?

— Сот семь человек нижних чинов, офицеров с десяток, да несколько каналий фрачников. Но это не главные начальники, а только застрельщики.

— И Трубецкой — не главный?

— Нет, государь, я полагаю, что дело это восходит выше...

— Как выше? Что ты разумеешь?

— Еще не знаю наверное, но опасаюсь, что важнейшие сановники, может быть, даже члены Государственного Совета в этом деле замешаны.

— Кто же именно?

— Имен я бы не хотел называть.

— Имена, имена — я требую!

— Мордвинов, Сперанский...

— Быть не может!— прошептал государь и почувствовал, что сердце опять замирает, но уже не от прошлого, а от грядущего ужаса: через одну пропасть перебежал, а впереди зияет новая; думал, все уже кончено,— и вот, только начинается.

— Да, ваше величество, все может начаться сызнова,— угадал Бенкендорф, как будто подслушал.

— Сперанский, Мордвинов! Не может быть,— повторил государь; все еще пытался из липкой сети, как муха из паутины, выбиться.— Нет, Бенкендорф, ты ошибаешься.

— Дай-то Бог, чтобы ошибся, государь!

Великий сыщик смотрел на Николая молча, тем же взором, видящим на аршин под землей, как тогда, накануне Четырнадцатого, и по тонким губам его скользила улыбка, едва уловимая. Вдруг стало весело — даже сон прошел. Понял, что дело сделано: из паутины муха не выбьется. Аракчеев был — Бенкендорф будет.

Вынул из кармана и положил на стол четвертушку бумаги мелко исписанной.

— Извольте прочесть. Прелюбопытно.

— Что это?

— Проект конституции Трубецкого, ихнего диктатора.

— Арестован?

— Нет еще. У шурина своего, австрийского посланника, Лебцельтерна спрятался. Должно быть, сейчас привезут... А кстати, насчет конституции,— усмехнулся Бенкендорф, как будто вдруг вспомнил что-то веселое, а, может быть, и сжалился — захотел государя побаловать.— Когда пьяная сволочь сия кричала на площади: «Ура, конституция!»— кто-то спросил их: «Да знаете ли вы, дурачье, что такое конституция?»—«Ну, как же не знать, говорят: муж — Константин, а жена — Конституция».

— Недурно,— усмехнулся Николай своею всегдашнею, как сквозь зубную боль, кривою усмешкою, а губы оставались надутыми, как у поставленного в угол мальчика.

Бенкендорф знал, чего государю нужно; знал, что он боится, ненавидит, а хочет презирать; неутолимо жаждет презрения. «Пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем» [1]. Анекдот о конституции и был концом перста омоченного — прохлаждающим, но не утоляющим.

За дверью послышался шум. Из соседней залы Ка-

[1] Притча о богатом и Лазаре: нищий Лазарь после смерти был взят в Царство Небесное, а богач, крохами со стола которого при жизни питался Лазарь, теперь, находясь в аду, просил его о помощи (Евангелие от Луки, XVI, 19—25).

зачьего Пикета во флигель-адъютантскую приводили под конвоем арестованных, и здесь допрашивали их генерал-адъютанты Левашев и Толь.

Бенкендорф подошел к дверям и приоткрыл их.

— Ишь, их сколько собралось, Пугачевых!— поморщился с брезгливостью.

Дворцовый комендант Башуцкий что-то шепнул ему на ухо.

— Кто?— спросил государь.

— Еще один каналья фрачник, сочинитель Рылеев. Допросить угодно вашему величеству?

— Нет, потом. Сначала — ты. Ну, ступай. О Трубецком доложи.

Когда Бенкендорф вышел, Николай откинул голову на спинку дивана, закрыл глаза и начал дремать. Но было неловко: голова скользила по гладкой спинке, а прилечь боялся, чтоб не заснуть. Подобрал ноги, сел в угол, съежился, хотел было расстегнуть на узко стянутой талии две нижних пуговицы, но подумал, что неприлично: имел отвращение к расстегнутым пуговицам. Склонил голову, оперся щекой о жесткую ручку и, хотя тоже было неудобно, резьба резала щеку,— опять начал дремать.

Вошел флигель-адъютант Адлерберг, высоко держа на трех пальцах, с лакейской ловкостью, поднос с кофейником. Государь всю ночь пил черный кофе, чтобы разогнать сон.

Вздрогнул, очнулся.

— Прилечь бы изволили, ваше величество.

— Нет, Федорыч, не до сна.

— Вторую ночь не спите. Этак заболеть можно.

— Ну, что ж, заболею — свалюсь. А пока еще ноги таскают, держаться надо.

Налил кофею, отпил и, чтобы лучше разгуляться, принялся за письмо к брату Константину. Не мог вспомнить о нем без зубовного скрежета, но писал с обычной родственной нежностью.

«Дорогой, дорогой Константин, верьте мне, что следовать вашей воле и примеру нашего ангела, покойного императора, вот что я постоянно буду иметь в сердце. Аресты идут хорошо, и я надеюсь, в скором времени, сообщить вам подробности этой ужасной и позорной истории. Тогда вы узнаете, какую трудную задачу вы задали вашему несчастному брату, и какого сожаления достоин ваш бедный малый, votre pauvre diable, votre каторжный du palais d'Hiver [1].

---

[1] Зимнего дворца (*франц.*).

Генерал Толь вошел с бумагами.

— Садись, Карл Федорович, читай.

Толь прочел показание Оболенского, арестованного вместе с Рылеевым.

— Как ты думаешь, можно простить нижних чинов и сих несчастных молодых людей? — спросил государь. Уже не в первый раз об этом спрашивал. Толь ничего не ответил.

— Ах, бедные, несчастные!— тяжело вздохнул Николай.— Может быть, прекрасные люди. Ну, за что их казнить? Мы все за них дадим ответ Богу. Их заблуждение — заблуждение нашего века. Не губить, а спасти их надо. Палач я, злодей, что ли? Нет, не могу, не могу, Толь. Разве ты не видишь, сердце мое раздирается...

«Расплачется!»— подумал Толь с отвращением, не зная, куда девать глаза. Слушал с терпеливой скукой на грубоватом, жестком и плоском, но честном, открытом лице старого прусского унтера. А государь долго еще говорил, болтал той болтовней чувствительной, которую получил в наследство от матери. Примеривал маску перед Толем, как перед зеркалом.

— Ну, так как же, мой друг, как ты думаешь, можно простить, а?

— Ваше величество,— не выдержал, наконец, Толь, даже крякнул и так повернулся, что стул под ним затрещал,— простить их вы всегда успеете, но доколь не открыты главные возбудители и подстрекатели сего злодеяния, не только офицеров, но и нижних чинов предать должно всей строгости законов без замедления... Какой номер повелеть изволите Оболенскому?

Государь замолчал, надулся, нахмурился; понял, что собеседник не желает быть зеркалом. Еще тяжелее вздохнул, пригорюнился, взял карандаш и план Петропавловской крепости, с рядами клеток, казематов,— каждая клетка под номером,— отметил одну из них красным крестиком, поставил номер в записке крепостному коменданту, генералу Сукину, и отдал молча Толю. Толь, также молча, взял, поклонился и вышел.

А государь опять откинул голову за спинку дивана, закрыл глаза, задремал; опять голова начала соскальзывать с гладкой спинки на жесткую ручку.

Вошел генерал Башуцкий, дворцовый комендант. В одной руке у него была шпага, а в другой — серебряное блюдце с чем-то маленьким, кругленьким.

Николай вздрогнул, очнулся и посмотрел на него с удивлением:

— Что ты?

— Граф Милорадович, ваше величество...— начал он и не кончил, всхлипнул.

— Умер?

— Так точно.

— Царствие небесное!— перекрестился государь и подумал, что надо бы что-то почувствовать.

— Последние слова его были: «Умираю, как жил, с чистой совестью; счастлив, что жизнью за государя жертвую». Крестьян на волю отпустить велел. А вашему величеству вот это — шпагу и пулю, коей пронзен...

Башуцкий положил на стол шпагу и поставил блюдце с пулею.

— Не могу... простите, ваше величество,— опять всхлипнул, поцеловал государя в плечо, отвернулся, закрыл лицо платком и выбежал.

Николай взял пулю осторожно, двумя пальцами, и рассматривал долго, с любопытством. Новая, маленькая, пистолетная, не солдатская,— должно быть, стрелял один из тех каналий фрачников. «Предназначалась вашему величеству»,— вспомнил слова Бенкендорфа.

Отложил пулю и взял тот листок из бумаг Трубецкого, который давеча Бенкендорф передал ему. Прочел:

«Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть самодержавная равно гибельна для правителей и для обществ; что она не согласна ни с правилами святой веры нашей, ни с началами здравого рассудка. Нельзя допустить основанием правительства произвол одного человека; невозможно согласиться, чтобы все права находились на одной стороне, а все обязанности — на другой. Слепое повиновение может быть основано только на страхе и недостойно ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей. Ставя себя выше законов, государи забыли, что они в таком случае — вне законов, вне человечества; что невозможно им ссылаться на законы, когда дело идет о других, и не признавать их бытие, когда дело идет о них самих. Одно из двух: или они справедливы — тогда к чему же не хотят и сами подчиняться оным? Или несправедливы — тогда зачем хотят подчинять им других? Все народы европейские достигают законов и свобод. Более всех их народ русский заслуживает и то и другое. Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства. Источник верховной власти есть народ...»

«Quelle enfâmie! [1] — подумал государь.— Да, гнусно, но не глупо...»

---

[1] Какая гнусность! (*франц.*)

Опять хотел презирать и не мог; чувствовал, что это уже не «Конституция — жена Константина». Расстрелял бунтовщиков на площади, но как расстрелять это? Страшен этот листок — страшнее пули, неотразимее.

— Трубецкой, ваше величество,— доложил Бенкендорф.

Государь подумал и сказал:

— Пусть войдет.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В сражении под Кульмом две роты семеновцев, не имевшие в сумах ни одного патрона, посланы были с холодным оружием прогнать французов, стрелявших из опушки леса. Ротный командир, князь Сергей Петрович Трубецкой, пошел впереди солдат, размахивая саблей над головой, так спокойно и весело, что все за ним кинулись, ударили в штыки и выбили французов из лесу.

А под Люценом, когда принц Евгений[1] из сорока орудий громил гвардейские полки, Трубецкой пошутил над поручиком фон Боком, известным в полку своей трусостью: подошел сзади, бросил в него ком земли, и тот свалился как сноп.

Так сам Трубецкой свалился Четырнадцатого.

Только что проснулся утром — вспомнил вчерашние слова Пущина: «А все-таки будете на площади?»— и опять, как вчера, ослабел, изнемог, как будто весь вдруг сделался мягким, жидким.

Боялся, что за ним придут; вышел из дому, взял извозчика и поехал в канцелярию Главного Штаба, чтобы там спросить, когда и где будут присягать: хотел присягнуть новому императору тотчас, надеясь, что, если что будет, поспешность присяги ему во что-нибудь вменится. Узнал, что присяга — завтра утром, в одиннадцать. Из Штаба пошел пешком к сестре, на Большую Миллионную. Оттуда — к приятелю, флигель-адъютанту полковнику Бибикову, на угол Фонтанки и Невского; не застал его дома, посидел с его женою и братом, позавтракал и, увидев, что уже первый час, ободрился, подумал, что полки присягнули и все прошло тихо. Отправился домой переодеться, чтобы ехать во дворец на молебен.

Выезжая с Невского на Адмиралтейскую площадь, увидел толпу, услышал крики: «Ура, Константин!»—

---

[1] Евгений Богарне (1781—1824) — выдающийся французский полководец, пасынок Наполеона.

остановился, спросил, что такое, узнал, что бунт, и едва не лишился чувств тут же, на улице.

Что было потом, едва помнил. Для чего-то опять зашел во двор Штаба. Стоял в раздумье, не зная, куда идти; наконец, поднялся по лестнице в канцелярию. Здесь бегали какие-то люди с испуганными лицами.

Кто-то сказал:

— Господа, вы в мундирах; ступайте на площадь, там государь император.

Все вышли; и он со всеми. Но потихоньку отстал и прошел двором Штаба на Миллионную. В тоске, не зная, куда деваться, метался, как затравленный заяц.

У ворот Штаба увидел знакомого чиновника. Тот зазвал его с собой опять в канцелярию.

— Ах, беда, беда!— все повторял чиновник.

— Милорадовича убили!— крикнул кто-то над самым ухом Трубецкого. Ноги у него подкосились.

— Вам дурно, князь?

Кто-то дал ему понюхать соли. И вдруг опять он очутился на улице с какими-то незнакомыми людьми. Понял, что его ведут на Сенатскую площадь.

— Я нездоров, господа, я очень нездоров!— едва не плакал.

И опять — канцелярия. «О, Господи, в который раз!»— подумал с отчаянием. Прошел в самую дальнюю комнату, курьерскую. Здесь никого не было, все разбежались. Долго сидел один, радуясь, что наконец оставили его в покое.

Когда стемнело, послышались пушечные выстрелы, такие громкие, что стекла в окнах задребезжали. Вскочил, хотел бежать, но свалился на стул и слушал в оцепенении выстрел за выстрелом.

Рядом с курьерскою был темный чулан; там зашивали и печатали казенные пакеты; пахло сургучом, рогожей и холстиною; тускло горела на стене висячая масляная лампочка; клубки бечевок лежали на столе, а на потолке торчал большой крюк, тоже для лампы. Он поглядывал на этот крюк, как будто ни о чем не думая, и только потом вспомнил, что думал: «Хорошо бы повеситься».

Выстрелы затихли. В комнату начали входить курьеры, сторожа, экзекуторы; низко кланялись и смотрели на него с удивлением. Он встал и вышел.

Все еще не знал, куда деваться. Наконец, решил переночевать у своего шурина, австрийского посла Лебцельтерна. Знал, что и там схватят, но как перетрусивший шалун, зная, что не миновать розги, все-таки под стол прячется,— так и он.

У Лебцельтернов была Каташа. Увидев ее, понял, как

тосковал о ней все время, сам того не сознавая; больше всего мучился тем, что она еще ничего не знает. Хотел ей сказать тотчас, но отложил и много раз потом откладывал. Так и не сказал, хотя знал, что это — величайшая из всех его подлостей.

Устал, лег рано. Заснул крепко. Снилось что-то необыкновенно приятное: какие-то горы не горы, волны не волны, темно-лиловые, прозрачные, как аметисты, и он будто летает над ними, туда и сюда, как на качелях качается, и вдруг — такая радость, что проснулся.

Долго лежал в темноте, с открытыми глазами, улыбался и чувствовал, что сердце все еще бьется от радости. Хотел вспомнить и не мог — слишком ни на что не похоже; только знал наверное, что это больше, чем сон. Вдруг вспомнил свой давешний страх и сразу почувствовал, что его уже нет и никогда не будет; даже не было стыдно, а только удивительно: казалось, что тогда был не он, а другой. Вспомнил также свой любимый псалом; читал его всегда по-латински, как выучил в детстве, в иезуитском пансионе, у старого польского ксендза Алоизия:

«Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе; из этого я узнаю, что Бог за меня. На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?»

Опять закрыл глаза, успел только подумать: «А ведь так спят осужденные... Ну что ж, пусть!» — и заснул еще крепче, слаще, но уже без всяких снов.

Проснулся внезапно, как часто бывает во сне, не от стука, а оттого, что заранее знал, что будет стук. И действительно, через минуту раздался стук в дверь.

— Ваше сиятельство, а ваше сиятельство! — послышался испуганный голос камердинера.

— Что такое?

— Из дворца приехали.

Он понял, что его арестуют.

Четверо конвойных, с саблями наголо, ввели арестанта в государеву приемную. За ним вошли генерал-адъютанты Левашев, Толь, Бенкендорф, дворцовый комендант Башуцкий и обер-полицеймейстер Шульгин.

Николай встал, подошел к Трубецкому, остановился и посмотрел на него молча, долго: рябоват, рыжеват; растрепанные жидкие бачки, оттопыренные уши, большой загнутый нос, толстые губы, по углам две морщинки болезненные.

«Так вот он каков, ихний диктатор! Трясется, ожидовел от страха»,— подумал государь, опять с неутолимою жаждою презренья.

Подошел ближе и поднял указательный палец правой руки против лба его.

— Что было в этой голове, когда вы, с вашим именем, с вашей фамилией, вошли в такое дело? Гвардии полковник князь Трубецкой, как вам не стыдно быть с этой сволочью?

Казался себе самому в эту минуту Аполлоном Бельведерским, разящим Пифона. Но одна маска упала, другая наделась; вместо грозной — чувствительная, та самая, которую примеривал давеча перед Толем.

— Какая милая жена! Есть у вас дети?

— Нет, государь.

— Счастливы, что у вас нет детей. Ваша участь будет ужасная, ужасная!

Несмотря на видимый гнев, был спокоен: все было заранее обдумано.

— Отчего вы дрожите?

— Озяб, ваше величество. В одном мундире ехал.

— Почему в мундире?

— Шубу украли.

— Кто?

— Не знаю. Должно быть, в суматохе, когда арестовали; много было народу,— ответил Трубецкой с улыбкой и поднял глаза: никакого страха не было в этих больших серых глазах, простых, печальных и добрых. Стоял, неуклюже сгорбившись, закинув руки за спину.

— Извольте стоять, как следует! Руки по швам!

— Sire...

— Когда ваш государь говорит с вами по-русски, вы не должны сметь отвечать на другом языке!

— Виноват, ваше величество, руки связаны...

— Развязать!

Шульгин подошел и начал развязывать. Государь отвернулся и, увидев бумагу в руках Толя, сказал:

— Читай.

Толь прочел показание одного из арестованных,— чье, не назвал,— что бывшее Четырнадцатого происшествие есть дело Тайного Общества, которое, кроме членов в Петербурге, имеет большую отрасль в 4-м корпусе, и что князь Трубецкой, дежурный штаб-офицер корпуса, может дать полные сведения.

Трубецкой слушал и радовался: понял, что показатель навел на ложный след, чтобы скрыть Южное Общество.

— Это Пущина? — спросил Николай.

— Пущина, ваше величество,— ответил Толь.

Трубецкой заметил, что перемигнулись.

— Ну, что вы скажете?— опять обернулся к нему государь.

— Пущин ошибается, ваше величество,— ответил Трубецкой, напрягая все силы ума, чтобы понять, что значит перемигивание.

— А-а, вы думаете, Пущина?— накинулся на него Толь.

Но Трубецкой не потерялся — уже понял, в чем дело: через него ловили Пущина.

— Ваше превосходительство сами изволили сказать, что Пущина.

— А где Пущин живет?

— Не знаю.

— Не у отца?

— Не знаю.

— Я всегда говорил, что четвертый корпус — гнездо заговорщиков,— сказал Толь.

— Ваше превосходительство имеет очень неверные сведения. В четвертом корпусе нет Тайного Общества, я за это отвечаю,— посмотрел на него Трубецкой с торжеством почти нескрываемым.

Толь замолчал с чувством охотника, у которого убежала дичь из-под носу. И государь нахмурился, тоже понял, что дело испорчено.

— Да сами-то вы, сами что? О себе говорите, принадлежали к Тайному Обществу?

— Принадлежал, ваше величество,— ответил Трубецкой спокойно: знал, что теперь уже не собьется.

— Диктатором были?

— Так точно.

— Хорош! Взводом, небось, командовать не умеет, а судьбами народов управлять хотел! Отчего же не были на площади?

— Видя, что им нужно одно мое имя, я отошел от них. Надеялся, впрочем, до последней минуты, что, оставаясь с ними в сношении, как бы в виде начальника, успею отвратить их от сего нелепого замысла.

— Какого? Цареубийства?— опять обрадовался, накинулся на него Толь.

«О цареубийстве никто не помышлял»,— хотел ответить Трубецкой, но подумал, что это неправда, и сказал:

— В политических намерениях Общества цареубийства не было. Я хотел отвратить их от возмущения войск, от кровопролития ненужного.

— О возмущении знали?— спросил государь.

— Знал.

— И не донесли?

— Я и мысли не мог допустить, ваше величество, дать кому-либо право назвать меня подлецом.

— А теперь как вас назовут?

Трубецкой ничего не ответил, но посмотрел на государя так, что ему стало неловко.

— Да что вы, сударь, финтите? Говорите все, что знаете!— крикнул Николай грозно, начиная сердиться.

— Я больше ничего не знаю.

— Не знаете? А это что?

Быстро подошел к столу, взял четвертушку бумаги, проект конституции,— на письме лежала пуля, нарочно положил ее давеча, чтобы найти сразу.

— Этого тоже не знаете? Кто писал? Чья рука?

— Моя.

— А знаете, что я могу вас за это расстрелять тут на месте?

— Расстреляйте, государь, вы имеете право,— сказал Трубецкой и опять поднял глаза. Вспомнил: «На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?»

«Не надо сердиться! Не надо сердиться!»— подумал государь, но было уже поздно: знакомый восторг бешенства разлился по жилам огнем.

— А-а, вы думаете, вас расстреляют и вы интересны будете?— прошептал задыхающимся шепотом, приближая лицо к лицу его и наступая на него так, что он попятился.— Так нет же, не расстреляю, а в крепости сгною! В кандалы! В кандалы! На аршин под землею! Участь ваша будет ужасная, ужасная, ужасная!

Чем больше повторял это слово, тем больше чувствовал свое бессилие: вот он стоит перед ним и ничего не боится. Заточить, заковать, запытать, убить его может, а все-таки ничего с ним не сделает.

— Мерзавец!— закричал Николай, бросился на Трубецкого и схватил его за ворот.— Мундир замарал! Погоны долой! Погоны долой! Вот так! Вот так! Вот так!

Рвал, толкал, давил, тряс и, наконец, повалил его на пол.

— Ваше величество,— тихо сказал Трубецкой, стоя перед ним на коленях и глядя ему прямо в глаза. Государь понял: «Как вам не стыдно?» Опомнился. Оставил его, отошел, упал в кресло и закрыл лицо руками.

Все молча ждали, чем это кончится. Трубецкой встал и посмотрел на Николая с давешней тихой улыбкой. Если бы теперь тот увидел ее, то понял бы, что в этой улыбке — жалость.

Дверь из кабинета-спальни приотворилась. Великий князь Михаил Павлович осторожно высунул голову, заглянул и так же осторожно отдернул ее, закрыл дверь.

Молчанье длилось долго. Наконец, государь отнял руки от лица. Оно было неподвижно и непроницаемо.

Встал и указал Трубецкому на кресло у стола.

— Садитесь. Пишите жене,— сказал, не глядя на него.

Трубецкой сел, взял перо и посмотрел на государя.

— Что прикажете писать, ваше величество?

— Что хотите.

Николай смотрел через плечо его на то, что он пишет.

«Друг мой, будь покойна и молись Богу»...

— Что тут много писать, напишите только: «Я буду жив и здоров»,— сказал государь.

Трубецкой написал:

«Государь стоит возле меня и велит написать, что я жив и здоров».

— «*Буду* жив и здоров». Припишите сверху: «Буду».

Он приписал. Государь взял письмо и отдал Шульгину.

— Извольте доставить княгине Трубецкой.

Шульгин вышел. Трубецкой встал. Опять наступило молчание. Государь стоял перед ним, все не глядя на него, опустив глаза, как будто не смел их поднять.

Сел за стол и написал коменданту Сукину:

«Трубецкого в Алексеевский равелин, в номер 7».

Отдал записку Толю.

— Ну, ступайте,— проговорил и поднял глаза на Трубецкого.— Прошу не прогневаться, крязь. Мое положение тоже незавидно, как сами изволите видеть,— усмехнулся криво и опять покраснел, почувствовал, что ничего не выходит, надулся, нахмурился.— Ступайте, ступайте все!— махнул рукою.

Когда вышли, сел на диван, на прежнее место. Замер, не двигаясь, но уже не дремал, а широко открытыми глазами глядел прямо перед собой, в зеркало. На стене, над диваном, висел большой, во весь рост портрет императора Павла Первого. Пламя свечей, догоравших в углу, на яшмовом столике, колебалось, мигало, и в этом мигающем свете портрет в зеркале ожил, как будто зашевелился,— вот-вот из рамы выступит: в облачении Гроссмейстера Мальтийского ордена, в пурпурной мантии, подобии архиерейского саккоса,— маленький человек с курносым лицом, глазами сумасшедшего и улыбкой мертвого черепа.

Сын смотрел на отца, отец — на сына, как будто хотели друг другу что-то сказать.

11 Марта — 14 Декабря. Тогда началось — теперь продолжается. «Меня задушат, как задушили отца»,— вспом-

нил Николай слова братнины. Мог бы сказать себе самому, как Трубецкому давеча: «Участь твоя будет ужасная, ужасная!»

Встал, подошел к зеркалу. Внизу, у ног отца, отразилось лицо сына. Бледное, с воспаленными красными веками, с губами надутыми, как у мальчика, поставленного в угол, с волосами взъерошенными, как будто вставшими дыбом. Казалось, что это не он, а кто-то другой — двойник его, «самозванец», «император-выскочка».

Приблизил лицо свое к зеркалу. Губы искривились в усмешку, зашептали беззвучным шепотом:

— Штабс-капитан Романов, а ведь ты...

Отшатнулся в ужасе: казалось, что это не он, а тот, другой, в зеркале, смеется и шепчет:

— Штабс-капитан Романов, а ведь ты...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Маринька!— сказал Голицын, открывая глаза.

В первый раз очнулся после беспамятства. Еще давеча, в бреду, не видя ее, чувствовал, что она тут, рядом, и мучился, что не может ее позвать.

— Что, Валерьян Михайлович, миленький?— наклонилась она и заглянула в глаза его испуганно-радостно.— Ну, что? что?— старалась понять, чего он хочет.

Он хотел спросить, что с ним и где он, но был так слаб, что не мог говорить; боялся опять провалиться в ту черную дыру беспамятства, из которой только что вылез. Сам хотел вспомнить; вспоминал и тотчас опять забывал. Мысли обрывались, как истлевшие нитки. Развлекали мелочи: множество стклянок с рецептами на ночном столике, пламя восковой свечи под шелковым зеленым зонтиком, однообразно-тихое тиканье карманных часиков, должно быть, его же собственных, лежащих на столике.

— Который час?— проговорил, наконец, с осторожным усилием.

— Половина седьмого,— ответила Маринька.

«Утра или вечера?» — хотел спросить и забыл — подумал о другом: сколько времени болен? Помолчал, отдохнул и спросил:

— Какой день?

— Четверг.

«А число?» — опять забыл спросить.

Вдруг, в тишине, послышался глухой гул, подобный гулу далекого выстрела.

«Неужели все еще стреляют?» — удивился и вспомнил, что такие же гулы слышались ему сквозь бред, и каждый раз хотелось бежать туда, где стреляют,— двигал ногами, бежал — и стоял. «Стоя-стоя-стоячая!» однообразно-тихо тикали часики. И он понимал, что это значит: «революция стоячая».

— Вспотел,— сказала Маринька, положив ему руку на лоб.

— Ну, слава Богу!— ответил радостно Фома Фомич. Голицын узнал его по голосу.— Лекарь намедни сказывал: только бы вспотел — и будет здоров.

Она вытирала платком пот с лица его. Он смотрел на нее, как будто вспоминал, как сквозь вещий сон, незапамятно-давний, много раз виденный: милая, милая девушка; окружена благоуханием любви, как цветущая сирень — свежестью росною. На ней был старенький домашний капот, гроденаплевый, дымчатый, и ночной блондовый чепчик; из-под него висели, качаясь, как легкие гроздья, вдоль щек, длинные, черные локоны. Лицо немного похудело, побледнело, и большие, темные глаза казались еще больше, темнее.

— Родная, родная, милая!— прошептал он и потянулся к ней.

Глаза их встретились; она улыбнулась. Поняла, чего он хочет. Приложила к его губам ладонь, теплую и свежую, как чашечка цветка, солнцем нагретого.

— Надо бы лекарства, Марья Павловна,— сказал Фома Фомич.

Маринька налила в ложку лекарства и подала Голицыну. Оно было вкусное, с миндально-анисовым запахом.

— Еще,— попросил он с детской жадностью.

— Больше нельзя. Пить хотите?

— Нет, спать.

— Погодите, голова низко.

Одной рукой обняла его за плечи и приподняла голову с неожиданной силой и ловкостью, другой — начала поправлять подушки. Пока приподнимала, он чувствовал прижатой щекой сквозь платье упругую нежность девичьей груди.

— Так хорошо?— спросила, положив голову.

— Хорошо, Маринька... маменька...

Сам не знал, нарочно или нечаянно сказал: «Маменька». Опять глаза их встретились; она улыбнулась ему, и он повторил умиленно-восторженно:

— Маменька... Маринька...

Хотел еще что-то сказать, но темные, мягкие волны нахлынули; только слышал, что она целует его в лоб, крестит и шепчет:

— Спи, родной, спи с Богом!

Закрыл глаза с улыбкой; казалось, что она берет его на руки и качает, баюкает.

Проспал до одиннадцати утра. Кошка Маркиза, белошерстая, голубоглазая, настоящая «маркиза» по жеманно-медлительной важности, всю ночь проспала, свернувшись клубочком, на крышке клавесин. К утру выспалась, встала на все четыре лапки, выгнула спину, замурлыкала и спрыгнула на клавиши — они зазвенели и разбудили Голицына.

— Брысь, негодная! Ну вот и разбудила!— затопала на нее Маринька.

— Потап Потапыч Потапов!— послышался вдали крик попугая, и Голицын сразу понял, что он в старом бабушкином доме. Но комната была не его, а желтая чайная, рядом с голубой диванной. Потом объяснили ему, что из маленькой спальни на антресолях, где было душно и тесно, перевели его в эту комнату.

Пахло дымом берестовых растопок. Гудя и потрескивая, и похлопывая заслонкой, топилась печка и освещала одну половину комнаты уютным светом, золотисто-розовым, а другую половину — голубовато-белое зимнее утро. Окна выходили в сад с опушенными инеем старыми липами. По стенам, обитым штофом, желто-лимонным, выцветшим, вверху, под потолком, шел лепной белый фриз — хоровод амуров пляшущих. Голые тела их от света печки порозовели — ожили.

«Какая веселая комната!»— подумал Голицын, и ему самому вдруг стало весело.

Кошка не очень боялась Мариньки: шмыгнув мимо ног ее, вскочила на постель и начала тереться мордой об ноги Голицына с громким мурлыканьем.

— Да брысь же, брысь, несносная!

— Ничего, Маринька, я уже выспался.

— Доброго утра, ваше сиятельство. Как почивать изволили?— спросил Фома Фомич, выходя из-за ширм. Паричок у него сбился на сторону, пудреная косичка растрепалась, длиннополый кафтан был измят; должно быть, всю ночь не ложился, а только прикорнул на канапе или в кресле, за ширмами.

— Отменно спал. Да что вы так беспокоитесь? Мне гораздо лучше,— сказал Голицын.

Маринька вгляделась в него и удивилась, обрадовалась: такая перемена в лице и в голосе.

— Ну и слава Тебе, слава Тебе, Господи!— перекрестился Фома Фомич, и детские глазки его, детская улыбка засветились такой добротой, что Голицыну стало еще веселее.

— А закусить не угодно ли? Кофейку, яичек, бульонцу?

— Всего, всего, Фома Фомич. Ужасно есть хочется! Вдруг насторожился, прислушался: глухой гул, подобный гулу далекого пушечного выстрела, донесся до него, так же как давеча ночью, в бреду. Но теперь он уже знал, что это не бред.

— Что это? Слышите?

— Нет, не слышу,— ответил Фома Фомич: был туг на ухо.

— Ну, вот, опять! Стреляют! Стреляют! Неужто не слышите? — вскрикнул Голицын, и глаза его загорелись надеждой. Приподнялся на постели, как будто готов был вскочить и бежать.

— Валерьян Михайлович, голубчик, ради Бога, лежите смирно. Фома Фомич, сбегайте, узнайте, что такое,— сказала Маринька.

Старичок выбежал в соседнюю комнату. Окна ее выходили на двор. Здесь гул раздавался так явственно, что и он услышал. Подошел к окну, подставил стул, взлез на подоконник, открыл форточку, высунул голову и сразу понял. Вернулся к Голицыну.

— Ахти! Ахти! Вот так пальба артиллерийская!— замотал головой, засмеялся, младенчески всхлипывая.— Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, пальба неопасная: калитка в воротах дубовая, на чугунном блоке отпирается, а ворота со сводами, гулкие; дворник Ефим дрова носит на кухню: как хлопнет, так и загудит, точно из пушки выпалит.

Помолчал и прибавил с философическим вздохом, принюхивая медленно щепотку табаку из золотой табакерки, с портретом императора Павла I и с надписью: «По Боге он один, я им и существую».

— Так-то, государь мой милостивый! Из примера сего видеть можно, сколь несовершенны и обольщению подвержены человеческие чувствования, сии наружные двери нашего истукана механического. Уж ежели хлопанье калитки от пушечной пальбы отличить не умеем, то многого ли стоят все наши гаданья высокоумные о природе вещей и о законах естества сокровеннейших?

Вдруг заметив, что Маринька делает ему знаки, остановился и взглянул на Голицына. Тот побледнел, опустил голову на подушку и закрыл глаза.

— А ведь о фрыштыке-то мы и забыли,— спохватился Фома Фомич.— Сию минуту на кухню сбегаю. Кофейку, яичек, бульонцу, а может и кашки рисовой?

Маринька только махнула рукою, и старичок выбежал.

Голицын долго лежал с закрытыми глазами.

Маринька, присев на край постели, молча гладила рукой руку его.

— Какое число? — наконец, спросил он.

— Восемнадцатое.

— Значит, три дня. Заболел утром, во вторник?

— Да, во вторник. Камердинер с чаем вошел и увидел, что вы лежите в постели, нераздетый, в жару и в беспамятстве.

— Бредил?

— Да.

— О чем?

— Да вот все об этих выстрелах. И еще о звере. Что какого-то зверя надо убить.

— А помните, Маринька, я вам говорил, что мы с вами увидимся? Ну, вот и увиделись...

Посмотрел на нее долго, пристально. Хотел спросить, знает ли она о том, что было Четырнадцатого, но почему-то не спросил, побоялся.

— Я все знаю,— сама догадалась она.— Бабушкин дворецкий, Ананий Васильевич, был на Сенатской площади. Прибежал к нам вечером и рассказал. Он и вас видел...

Вдруг замолчала, наклонилась, обняла его, прижалась щекой к щеке его, спрятала лицо в подушку и заплакала.

— Ну, полно, Маринька милая, девочка моя хорошая! Ведь вот я с вами, и мы уже никогда...

Хотел сказать: «Никогда не расстанемся», но почувствовал, что не обманет: она все уже знает не только о прошлом, но и будущем; оттого и плачет над ним, как живая над мертвым,— навеки прощается.

Где, невеста, где твой милый?
Где венчальный твой венец?
Дом твой — гроб, жених — мертвец,—

вспомнилось, как читал Софье Нарышкиной.

— А вот и фрыштык,— сказал Фома Фомич, входя в комнату с подносом в руках.

Маринька вскочила и убежала. Старичок посмотрел ей вслед, покачал головой, вздохнул, взглянул на Голицына, но ничего не сказал: должно быть, тоже почувствовал, что нельзя его обмануть и утешить ничем.

Во время завтрака, чтобы развлечь больного, говорил о делах посторонних — о выкупе Черемушек, об искусстве доктора, который лечил Голицына, о болезни бабушки: узнав о бунте, старушка перепугалась так, что слегла в постель, едва удар не сделался; никого из дворовых пускать к себе не велела — боялась, что зарежут: помнила

бунт Пугачева. «Шутка сказать, в одном Петербурге — сорок тысяч холопов; только и смотрят, как бы за ножи взяться. А все мартышки наделали»...

— Какие мартышки? — удивился Голицын.

— А у Державина помните:

Мартышки в воздухе летают.

Так вот, они самые,— объяснил Фома Фомич.— Мартинисты, масоны и прочие вольнодумцы безбожные. «Прыгали, говорит, мартышки, прыгали,— ну вот и допрыгались. Будет и у нас то же, что во Франции!»

Голицын улыбнулся, а старичку только того и надо было. Вынул из кармана газетный листок, прибавление к «Санкт-Петербургским Ведомостям», с правительственным извещением о бунте Четырнадцатого. Голицын хотел прочесть, но Фома Фомич не позволил; опять полез в карман, достал кожаный футляр, вынул из него очки с большими, круглыми стеклами, тщательно протер их платком, неторопливо надел, откашлялся и стал читать.

— «Вчерашний день будет без сомнения эпохою в истории России,— читал своим тихим, слабым, как бы далеким, голосом.— В оный день жители столицы узнали с чувством радости и надежды, что государь император Николай Павлович воспринимает венец своих предков. Но Провидению было угодно сей столь вожделенный день ознаменовать для нас и печальным происшествием...»

Далее описывал бунт как маленькое замешательство войск на параде.

— «Две возмутившиеся роты построились в батальонкаре перед Сенатом; ими начальствовали семь или восемь обер-офицеров, к коим присоединилось несколько человек гнусного вида во фраках».

— А ведь это я! — усмехнулся Голицын, и Фома Фомич ответил ему из-под очков такой же усмешкой.

— «Небольшие толпы окружали их и кричали: ура! Войска просили дозволения одним ударом уничтожить бунт. Но государь император щадил безумцев и лишь при наступлении ночи, наконец, решился, вопреки желанию сердца своего, употребить силу. Вывезены пушки, и немногие выстрелы в несколько минут очистили площадь. Таковы были происшествия вчерашнего дня. Они без сомнения горестны. Но всяк, кто размыслит, что мятежники, пробыв четыре часа на площади, не нашли себе других пособников, кроме немногих пьяных солдат и немногих же людей из черни, также пьяных; и что из всех гвардейских полков лишь две роты могли быть обольщены пагубным примером буйства,— конечно, с благодарностью к Про-

мыслу признает, что в сем случае много и утешительного; что оный есть не иное что, как минутное испытание непоколебимой верности войска и общей преданности русских к августейшему их законному монарху. Праведный суд вскоре совершится над преступными участниками беспорядков. Помощью Неба, твердостью правительства они прекращены совершенно: ничто не нарушает спокойствия столицы...»

— Правда, Фома Фомич, все тихо в городе? — спросил Голицын.

— Тихо-то тихо, да от этакой тихости не поздоровится,— покачал старичок головою сомнительно.— Весь город точно вымер; только повозки с арестантами под конвоем жандармов скачут; все новых да новых везут, и, кажется, конца этому не будет: одной половине рода человеческого придется сторожить другую... А что, князь, пожалуй, сон-то в руку? — прошептал, наклонившись к уху его, с таинственным видом.

— Какой сон?

— А вот что опять из пушек палят. Южная армия, говорят, не присягнула, идет на Москву и Петербург, дабы провозгласить конституцию; и генерал Ермолов тоже; а сила у него большая, все войска Кавказского корпуса, который предан ему неограниченно. Я ведь его превосходительство Алексея Петровича знаю: орел! Из наших, суворовских. Чем черт не шутит, будет, говорят, династия Ермоловых вместо Романовых. Так вот, князь, какие дела: того и гляди, все начнется сызнова...

Голицын слушал, и опять загоралась в глазах его надежда. Но он потушил ее.

— Если и начнется, то не скоро,— проговорил, как будто про себя, тихо.

Но Фома Фомич услышал.

— Не скоро? Ну, а все-таки как?

— Да вам-то что? Ведь вы за царя?

— Мне, батюшка, ваше сиятельство, осьмой десяток идет. По старине живу, по старинке и думаю: коренной Россиянин всех благ жизни и всей славы отчизны ожидает единственно от престола монаршего.

— Ну вот, вы за царя, а я за республику. Так вам со мной и знаться нечего!

— И-и полно, князенька! Не так-то много на свете хороших людей, чтоб ими брезговать. Да и что мне с вами делать прикажете? Донести в полицию, что ли?.. Тьфу, неладный какой! Я-то за ним хожу, нянчусь, а он шпынять изволит!— хотел старичок рассердиться и не мог: детская улыбка, детские глазки тихою добротою продолжали светиться.

— Фома Фомич, пожалуйте к бабушке,— сказала Маринька, входя в комнату.

— А что? Что такое?

— Ничего, соскучилась по вас, сердится, что вы ее забыли, ревнует к князю.

— Сию минуту! Сию минуту!— весь всполошился Фома Фомич, вскочил и выбежал, семеня проворно старыми ножками.

«А ведь он все еще любит ее, как сорок лет назад»,— подумал Голицын.

Сквозь старые деревья, опушенные инеем, заголубело, зазеленело, как бирюза поблекшая, или как детские глазки старичка влюбленного, зимнее небо; зимнее солнце заглянуло в окна. Прозрачные цветы мороза, как драгоценные камни, заискрились, и янтарный свет наполнил комнату. На желто-лимонном, выцветшем штофе заиграли зайчики, и на белом фризе позлатились голые тела амуров.

«Какая веселая комната!— опять подумал Голицын.— Это от солнца... нет, от нее»,— решил он, взглянув на Мариньку.

Переоделась: была уже не в утреннем капоте и чепчике, а в своем всегдашнем простеньком платьице, креповом, белом, с розовыми цветочками; умылась, причесалась, заплела косу корзиночкой; черные, длинные локоны висели, качаясь, как легкие гроздья, вдоль щек. И, несмотря на бессонную ночь, лицо было свежее — «свежее розы утренней», как Фома Фомич говаривал,— и спокойное, веселое: от давешних слез ни следа.

Прибирала комнату, сметала крылышком пыль, расставляла в порядке стклянки с лекарствами; столовую посуду вынесла, чайную — вымыла; помешала кочергою в печке, чтобы головешек не было.

Голицын следил за нею молча: все ее движения, молодые, сильные, легкие, были стройны, как музыка, и казалось, все, к чему ни прикасалась, даже самое будничное, вдруг становилось праздничным, таким же веселым, как она сама.

Должно быть, почувствовала взгляд его,— обернулась, улыбнулась, подошла к нему, присела на край постели и наклонилась.

— Ну, что?

Солнечный луч разделял их, как полотнище ткани туго натянутой, и в голубовато-дымной мгле его светлые пылинки кружились, как будто плясали в пляске нескончаемой. Когда она склонилась, голова ее вошла в этот луч, и Голицын увидел, что черные волосы пронизанного солнцем локона отливают рыжевато-огненным, почти красным отливом, как сквозь агат — рубин.

— Ну да, рыжая! — засмеялась, глядя на локон и как будто сама удивляясь.

Он приподнялся, потянулся к ней,— луч разделяющий соединил их. Она еще ниже склонилась, и, поймав рукой локон, он прижал его к губам. Запах волос, девственно-страстный, опьяняющий, как крепкое вино, кинулся ему в голову.

— Не надо. Что вы? Разве можно — волосы? — вдруг застыдилась, покраснела, потупилась и, отняв локон, откинула голову.

Голицын опустился на подушку, побледнел и полузакрыл глаза в изнеможении. Голова его кружилась, и ему казалось, что сам он кружится, как те пылинки в луче солнца,— пляшет в пляске нескончаемой.

— Как хорошо, Мариньқа, солнышко мое!— шептал, глядя на нее сквозь солнце, с блаженной улыбкой.

— Что хорошо? — спросила она с такой же улыбкой.

— Все хорошо... жить хорошо...

«Да, жить, жить, только бы жить!»— подумал он с такою жаждою жизни, какой еще никогда не испытывал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Верховный Следственный Комитет по делу Четырнадцатого открыл заседания сначала в Зимнем Дворце, а потом в Петропавловской крепости. Все дело вел сам государь, работая без отдыха, часов по пятнадцати в сутки, так что приближенные опасались за его здоровье.

— Point de relâche! [1] Что бы ни случилось, я дойду с Божьей помощью до самого дна этого омута!— говорил Николай Бенкендорфу.

— Потихоньку, потихоньку, ваше величество! Силой ничего не возьмешь, надо лаской да хитростью...

— Не учи, сам знаю,— отвечал государь и хмурился, краснел, вспоминая о Трубецком, но утешался тем, что эта неудача произошла от немощи телесной, усталости, бессонницы; было раз и больше не будет. Отдохнул, успокоился и опять, как тогда, после расстрела на площади, почувствовал, что «все как следует».

Рылеева допрашивали в Комитете, 21-го декабря, а на следующий день привезли во дворец на допрос к государю.

«Только бы сразу конец!»— думал Рылеев, но скоро понял, что конец будет не сразу: запытают пыткой медленной, заставят испить по капле чашу смертную.

---

[1] Никаких передышек! (*франц.*)

На другой день после ареста государь велел справиться, не нуждается ли жена Рылеева в деньгах. Наталья Михайловна ответила, что у нее осталась тысяча рублей от мужа. Государь послал ей в подарок от себя две тысячи, а 22 декабря, в день ангела Настеньки, дочки Рылеева — еще тысячу от императрицы Александры Федоровны. И обещал простить его, если он во всем признается. «Милосердие государя потрясло мою душу»,— писала она мужу в крепость.

Больше всего удивило Рылеева, что подарок послан ко дню Настенькина ангела: значит, об имени справились. «Какие нежности! Знает чем взять, подлец! Ну, а что, если...»— начал думать Рылеев и не кончил: стало страшно.

Однажды поблагодарил коменданта Сукина за свидание с женою. Тот удивился, потому что не разрешал свидания; подумал, не вошла ли без пропуска. Допросил сторожей; но все подтвердили в один голос, что не входила.

— Должно быть, вам приснилось,— сказал он Рылееву.

— Нет, видел ее, вот как вас вижу. Сказала мне, что я и знать не мог,— о подарке государевом.

— Да ведь вы об этом в Комитете узнали.

— В Комитете потом, а сначала от нее.

— Может быть, забыли?

— Нет, помню. Я еще с ума не сходил.

— Ну, так это была стень.

— Какая стень?

— А когда наяву мерещится. Вы больны. Лечиться надо.

«Да, болен»,— подумал Рылеев с отвращением.

Вечером 22-го привезли его на дворцовую гауптвахту, обыскали, но рук не связывали; отвели под конвоем во флигель-адъютантскую комнату, посадили в углу, за ширмами, и велели ждать.

Он старался думать о том, что скажет сейчас государю, но думал о другом. Вспоминал, как в ту последнюю ночь, когда пришли его арестовать, Наташа бросилась к нему, обвила его руками, закричала криком раздирающим, похожим на тот, которым кричала в родах:

— Не пущу! Не пущу!

И обнимала, сжимала все крепче. О, крепче всех цепей эти слабые нежные руки — цепи любви! Со страшным усилием он освободился. Поднял ее, почти бездыханную, понес, положил на постель и, выбегая из комнаты, еще раз оглянулся. Она открыла глаза и посмотрела на него: то был ее последний взгляд.

«Я-то хоть знаю, за что распнут; а она будет стоять у

креста, и ей самой оружие пройдет душу [1], а за что — никогда не узнает».

Так думал он, сидя в углу, за ширмами, во флигель-адъютантской комнате.

А иногда уже не думал ни о чем, только чувствовал, что лихорадка начинается. Свет свечей резал глаза; туман заволакивал комнату, и казалось — он сидит у себя в каземате, смотрит на дверь и, как тогда, перед «стеной», ждет, что дверь откроется, войдет Наташа.

Дверь открылась, вошел Бенкендорф.

— Пожалуйте,— указал ему на дверь и пропустил вперед.

Рылеев вошел.

Государь стоял на другом конце комнаты. Рылеев поклонился ему и хотел подойти.

— Стой!— сказал государь, сам подошел и положил ему руки на плечи.— Назад! Назад! Назад!— отодвигал его к столу, пока свечи не пришлись прямо против глаз его.— Прямо в глаза смотри! Вот так!— повернул его лицом к свету.— Ступай, никого не принимать,— сказал Бенкендорфу.

Тот вышел.

Государь молча, долго смотрел в глаза Рылееву.

— Честные, честные! Такие не лгут!— проговорил, как будто про себя, опять помолчал и спросил:— Как звать?

— Рылеев.

— По имени?

— Кондратий.

— По батюшке?

— Федоров.

— Ну, Кондратий Федорович, веришь, что могу тебя простить?

Рылеев молчал. Государь приблизил лицо к лицу его, заглянул в глаза еще пристальнее и вдруг улыбнулся. «Что это? Что это?»— все больше удивлялся Рылеев: что-то молящее, жалкое почудилось ему в улыбке государя.

— Бедные мы оба!— тяжело вздохнул государь.— Ненавидим, боимся друг друга. Палач и жертва. А где палач, где жертва,— не разберешь. И кто виноват? Все, а я больше всех. Ну, прости. Не хочешь, чтобы я — тебя, так ты меня прости!— потянулся к нему губами.

Рылеев побледнел, зашатался.

— Сядь,— поддержал его государь и усадил в крес-

---

[1] «И Тебе Самой душу пройдет оружие»— предсказание праведного Симеона Богоматери (Евангелие от Луки, II, 35).

ло.— На, выпей,— налил воды и подал стакан.— Ну что, легче? Можешь говорить?

— Могу.

Рылеев хотел встать. Но государь удержал его за руку.

— Нет, сиди,— придвинул кресло и сел против него.— Слушай, Кондратий Федорович. Суди меня, как знаешь, верь или не верь, а я тебе всю правду скажу. Тяжкое бремя возложено на меня Провидением. Одному не вынести. А я один, без совета, без помощи. Бригадный командир — и больше ничего. Ну что я смыслю в делах? Клянусь Богом, никогда не желал я царствовать и не думал о том,— и вот! Если бы ты только знал, Рылеев,— да нет, никогда не узнаешь, никто никогда не узнает, что я чувствую и чувствовать буду всю жизнь, вспоминая об этом ужасном дне — Четырнадцатом! Кровь, кровь, весь в крови — не смыть, не искупить ничем! Ведь я же не зверь, не изверг,— я человек, Рылеев, я тоже отец. У тебя Настенька, у меня — Сашка. Царь — отец, народ — дитя. В дитя свое нож,— в Сашку! в Сашку! в Сашку!

Закрыл лицо руками. Долго не отнимал их; наконец, отнял и опять положил их на плечи его, заглянул в глаза с улыбкою, как будто молящею.

— Видишь, я с тобой, как друг, как брат. Будь же и ты мне братом. Пожалей, помоги!

«Лжет — не лжет? Лжет — не лжет? Искушаешь, дьявол? Ну, погоди ж, и я тебя искушу!»— вдруг разозлился Рылеев.

— Правду хотите знать, ваше величество? Так знайте же: свобода обольстительна, и я, распаленный ею, увлек и других. И не раскаиваюсь. Неужели тем виноват я пред человеками, что пламенно желал им блага? Но не о себе хочу говорить, а об отечестве, которое, пока не остановится биение сердца моего, будет мне дороже всех благ мира и самого неба!

Говорил, как всегда, книжно, не просто, а теперь особенно, потому что заранее обдумал всю эту речь. Вдруг вскочил, поднял руки; бледные щеки зарделись, глаза засверкали, лицо преобразилось. Сделался похож на прежнего Рылеева, бунтовщика неукротимого — весь легкий, летящий, стремительный, подобный развеваемому ветром пламени.

— Знайте, государь: пока будут люди, будет и желание свободы. Чтобы истребить в России корень свободомыслия, надо истребить целое поколение людей, кои родились и образовались в прошлое царствование. Смело говорю: из тысячи не найдется и ста, не пылающих страстью к свободе. И не только в России,— нет, все народы Европы одушев-

ляет чувство единое, и сколь ни утеснено оно, убить его невозможно. Где,— укажите страну, откройте историю,— где и когда были счастливы народы под властью самодержавной, без закона, без права, без чести, без совести? Злодеи вам — не мы, а те, кто унижает в ваших глазах человечество. Спросите себя самого: что бы вы на нашем месте сделали, когда бы подобный вам человек мог играть вами, как вещью бездушною?

Государь сидел молча, не двигаясь, облокотившись на ручку кресла, опустив голову на руку, и слушал спокойно-внимательно. А Рылеев кричал, как будто грозил, руками размахивал; то садился, то вскакивал.

— В манифесте сказано, что царствование ваше будет продолжением Александрова. Да неужели же, неужели вы не знаете, что царствование сие было для России убийственно? Он-то и есть главный виновник Четырнадцатого. Не им ли исполински двинуты умы к священным правам человечества и потом остановлены, обращены вспять? Не им ли раздут в сердцах наших светоч свободы, и потом так жестоко свобода удавлена? Обманул Россию, обманул Европу. Сняты золотые цепи, увитые лаврами, и голые, ржавые — гнетут человечество. Вступил на престол «Благословенный»— сошел в могилу прóклятый!

— Ты все о нем, ну, а обо мне что скажешь?— спросил государь все так же спокойно.

— Что о вас? А вот что! Когда вы еще великим князем были, вас уже никто не любил, да и любить было не за что: единственные занятия — фрунт и солдаты; ничего знать не хотели, кроме устава военного, и мы это видели и страшились иметь на престоле Российском прусского полковника или, хуже того, второго Аракчеева, злейшего. И не ошиблись: вы плохо начали, ваше величество! Как сами изволили давеча выразиться, взошли на престол через кровь своих подданных; в народ, в дитя свое вонзили нож... И вот плачете, каетесь, прощения молите. Если правду говорите, дайте России свободу, и мы все — ваши слуги вернейшие. А если лжете, берегитесь: мы начали — другие кончат. Кровь за кровь — на вашу голову, или вашего сына, внука, правнука! И тогда-то увидят народы, что ни один из них так не способен к восстанию, как наш. Не мечта сие, но взор мой проницает завесу времен! Я зрю сквозь целое столетие! Будет революция в России, будет! Ну, а теперь казните, убейте...

Упал на кресло в изнеможении.

— Выпей, выпей,— опять налил государь воды в стакан.— Хочешь капель?

Сбегал за каплями, отсчитал в рюмку. Совал ему анг-

лийской соли и спирта под нос. Рылеев хотел вытереть пот с лица; поискал платка, не нашел. Государь дал ему свой. Хлопотал, суетился, ухаживал. В движениях тонкого, длинного, гибкого тела была змеиная ласковость. «Стень, стень! Оборотень!»— думал Рылеев с ужасом.

— Ах, Боже мой! Ну разве можно так? Ну полно же, полно! Приляг, отдохни. Хочешь вина, чаю? Закусить, поужинать?

— Ничего не надо!— простонал Рылеев и подумал с тоской: «Когда же это кончится, Господи!»

— Можешь выслушать?— спросил государь, опять придвинул кресло, уселся и начал:

— Ну, спасибо за правду, мой друг,— взял обе руки его и пожал крепко.— Ведь, нам, государям, все лгут, в кои-то веки правду услышишь. Да, все правда, кроме одного: немцем на престоле Российском не буду. Бабка моя, императрица Екатерина, тоже немка была, а взошла на престол и сделалась русской. Так вот и я. Personne n est plus russe de coeur que je ne le suis [1],— сказал по-французски, но тотчас поправился.— Мы оба с тобой русские — и я, государь, и ты, бунтовщик. Ну, скажи на милость, разве могли бы говорить так, как мы с тобой, не русские?

Что-то подобное бледной улыбке промелькнуло в лице Рылеева.

— Ну, что?— заметил ее государь и тоже улыбнулся.— Говори, не бойся, сам видишь, правды со мной бояться нечего.

— Вы очень умны, государь.

— А-а, дураком считал! Ну вот, видишь, значит, хоть в этом ошибся. Нет, не дурак. Понимаю, что плохо в России. Я сам есмь первый гражданин отечества. Никогда не имел другого желания, как видеть Россию свободною, счастливою. Да знаешь ли ты, что я, еще великим князем, либералом был не хуже вашего? Только молчал, таил про себя. С волками жить, по-волчьи выть. Вот и выл с Аракчеевым. Чем хуже, тем лучше. Вам помогал. Ну, говори же, только правду, всю правду, чего вы хотели — конституции? республики?

«Ну, конечно, лжет! Стень, стень, оборотень!» — опять подумал Рылеев с ужасом. Но сильнее ужаса было любопытство жадное: «А ну-ка, попробовать,— не поверить, а только сделать вид, что верю?»

— Что ж ты молчишь? Не веришь? Боишься?

— Нет, не боюсь. Я хотел республики,— ответил Рылеев.

---

[1] Я русский сердцем как никто (*франц.*).

— Ну, слава Богу, значит, умен!— опять крепко пожал ему обе руки государь.— Я понимаю самодержавие, понимаю республику, но конституцию не понимаю. Это образ правления лживый, лукавый, развратный. И предпочел бы отступить до стен Китая, нежели принять оный. Видишь, как я с тобой откровенен,— плати и ты мне тем же!

Помолчал, посмотрел на него и вдруг схватился за голову.

— Что ж это было? Что ж это было? Господи! Зачем? Своего не узнали? Всех обманул — и вас. На друга своего восстали, на сообщника. Пришли бы прямо, сказали бы: вот чего мы хотим. А теперь... Послушай, Рылеев, может и теперь еще не поздно? Вместе согрешили, вместе и покаемся. Бабушка моя говаривала: «Я не люблю самодержавия, я в душе республиканка, но не родился тот портной, который скроил бы кафтан для России». Будем же вместе кроить. Вы — лучшие люди в России: я без вас ничего не могу. Заключим союз, вступим в новый заговор. Самодержавная власть — сила великая. Возьмите же ее у меня. Зачем вам революция? Я сам — революция!

Как скользящий в пропасть еще цепляется, но уже знает, что сорвется и полетит, так Рылеев еще ужасался, но уже радовался.

И глаза государя блеснули радостью.

— Погоди, не решай, подумай сначала. Так говорить, как я, можно только раз в жизни. Помни же: не моя, не твоя судьба решается, а судьба России. Как скажешь, так и будет. Ну, говори, хочешь вместе? Хочешь? Да или нет?

Протянул руку. Рылеев взял ее, хотел что-то сказать и не мог: горло сжала судорога. Слезы поднимались, поднимались и вдруг хлынули. Сорвался — полетел, поверил.

— Как я... Что я сделал! Что я сделал! Как мы все... нет, я, я один... Всех погубил! Пусть же на мне все и кончится! Сейчас же, сейчас же, тут же на месте, казните, убейте меня! А тех, невинных, помилуйте...

— Всех, всех, и тебя и всех! Да и миловать нечего: ведь, я ж тебе говорю — вместе!— сказал государь, обнял его и заплакал; или так показалось Рылееву.

— Плачете? Над кем? Над убийцею?— воскликнул Рылеев и упал на колени; слезы текли все неутолимее, все сладостней; говорил, как в бреду; похож был на пьяного или безумного.— Именины Настенькины вспомнили! Знали, чем растерзать! Вот вы какой! Чувствую биение ангельского

сердца вашего! Ваш, ваш навсегда! Но что я — пятьдесят миллионов ждут вашей благости. Можно ли думать, чтобы государь, оказывающий милости убийцам своим, не захотел любви народной и блага отечеству? Отец! Отец! Мы все, как дети, на руках твоих! Я в Бога не веровал, а вот оно, чудо Божье — Помазанник Божий! Родимый царь батюшка, красное солнышко...

— А нас всех зарезать хотел? — вдруг спросил государь шепотом.

— Хотел,— ответил Рылеев тоже шепотом, и опять давешний ужас сверкнул, как молния,— сверкнул и потух.

— А кто еще?

— Больше никого. Я один.

— А Каховского не подговаривал?

— Нет, нет, не я,— он сам...

— А-а, сам. Ну, а Пестель, Муравьев, Бестужев? Во второй армии тоже заговор? Знаешь о нем?

— Знаю.

— Ну, говори, говори все, не бойся — всех называй. Надо всех спасти, чтобы не погибли новые жертвы напрасные. Скажешь?

— Скажу. Зачем сыну скрывать от отца? Я мог быть вашим врагом, но подлецом быть не могу. Верю! Верю! Сейчас еще не верил, а теперь... видит Бог, верю! Все скажу! Спрашивайте!

Он стоял на коленях. Государь наклонился к нему, и они зашептались, как духовник с кающимся, как любовник с любовницей.

Рылеев все выдавал, всех называл — имя за именем, тайну за тайною.

Иногда казалось ему, что рядом, на двери, шевелится занавес. Вздрагивал, оглядывался. Раз, когда оглянулся, государь подошел к двери, как будто сам испугался, не подслушал бы кто.

— Нет, никого. Видишь? — раздвинул занавес так, что Рылеев почти увидел — почти, но не совсем.

— Ну что, устал? — заглянул в лицо его и понял, что пора кончать.— Будет. Ступай, отдохни. Если что забыл, вспомни к завтраму. Да хорошо ли тебе в каземате, не темно ли, не сыро ли? Не надо ли чего?

— Ничего не надо, выше величество. Если бы только с женой...

— Увидитесь. Вот ужо кончим допрос, и увидитесь. О жене и о Настеньке не беспокойся. Они — мои. Все для них сделаю.

Вдруг посмотрел на него и покачал головой с грустною улыбкою.

— И как вы могли?.. Что я вам сделал? — отвернулся, всхлипнул уже почти непритворно, над самим собой сжалился: «Pauvre diable», «бедный малый», «бедный Никс».

— Простите, простите, ваше величество! — припал к его ногам Рылеев и застонал, как насмерть раненный.— Нет, не прощайте! Казните! Убейте! Не могу я этого вынести!

— Бог простит. Ну, полно же, полно,— обнимал, целовал его государь, гладил рукой по голове, вытирал слезы то ему, то себе общим платком.— Ну, с Богом, до завтра. Спи спокойно. Помолись за меня, а я — за тебя. Дай, перекрещу. Вот так. Христос с тобой!

Помог ему встать и, подойдя к двери во флигель-адъютантскую, крикнул:

— Левашев, проводи!

— Платок, ваше величество,— подал ему Рылеев.

— Оставь себе на память,— сказал государь и поднял глаза к небу.— Видит Бог, я хотел бы утереть сим платком слезы не только тебе, но и всем угнетенным, скорбящим и плачущим!

Уходя, Рылеев не заметил, как из-за тяжелых складок той занавеси, которая шевелилась давеча, появился Бенкендорф.

— Записал? — спросил государь.

— Кое-чего не расслышал. Ну, да теперь кончено,— все имена, все нити заговора. Поздравляю, ваше величество!

— Не с чем, мой друг. Вот до чего довели, сыщиком сделался!

— Не сыщиком, а исповедником. В сердцах читать изволите. Как у Апостола о слове Божьем сказано: «острее меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов...» [1]

«Присылаемого Рылеева содержать на мой счет,— писал государь крепостному коменданту Сукину.— Давать кофий, чай и прочее, а также для письма бумагу; и что напишет, ко мне приносить ежедневно. Дозволить ему писать, лгать и врать по воле его».

— А платочек-то, платочек на память! — всхлипнул Бенкендорф и поцеловал государя в плечо. Тот взглянул на него молча и не выдержал — рассмеялся тихим смехом торжествующим. Чувствовал, что одержал победу большую, чем на площади Четырнадцатого.

Все еще боялся и ненавидел, не утолил жажды презрения, но уже надеялся, что утолит.

---

[1] Послание к Евреям св. апостола Павла, IV, 12.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Голицын выздоравливал так быстро, что все удивлялись и приписывали это чудесному искусству доктора. Но сам больной знал, что не доктор лечит его, а Маринька. Глядя на нее, как будто пил живую воду, и, казалось, если б умирал, воскрес бы из мертвых.

Дней через пять после того утра, когда в первый раз очнулся, начал уже вставать и бродить по комнате.

Однажды бабушкин дворецкий, Ананий Васильич, доложил Фоме Фомичу, что какой-то «малый» хотел видеть князя, а фамилии не сказывает.

— С виду какой?— спросил Фома Фомич.

— Бог его знает, мужик не мужик, барин не барин, а будто ряженый.

«Шпион»— подумал Фома Фомич и решил:

— Гони его в шею!

— Гнал,— не идет. «Непременно, говорит, нужно по делу, для самого его сиятельства важнейшему».

Фома Фомич сошел в сени и увидел молодого человека, высокого, худого, бледного, с черной бородою, в нагольном тулупе, в засаленном картузе и теплых валенках, не то лавочного сидельца, не то мелкого подрядчика.

— Князь болен, мой милый, принять тебя не может,— сказал старичок неуверенно: тоже не мог догадаться, с кем говорит, с мужиком или барином.— Да ты... вы кто такой будете?

— Очень нужно, очень,— повторял молодой человек, но фамилии своей не называл.

— Ну, ступай, брат, ступай с Богом!— рассердился, наконец, Фома Фомич и начал его выпроваживать. Но тот упирался, не шел.

— Вот, передайте князю, я подожду,— сунул ему записку.— Да вы, сударь, не извольте беспокоиться: я не то, что вы думаете, а даже совсем напротив,— улыбнулся так, что Фома Фомич вдруг поверил, взял записку и отнес к Голицыну.

На клочке бумаги нацарапано было карандашом, по-французски, неразборчиво:

«Очень нужно вас видеть, Голицын. Извольте принять. Не уйду. Уничтожьте записку».

Подписи не было, и почерк был незнакомый. Голицын велел принять.

Когда молодой человек вошел в комнату, он сначала не узнал его; но вглядевшись в бледно-голубые, навыкате, глаза, грустные и нежные, бросился к нему на шею.

— Кюхля!

— А что, не узнали, Голицын?
— Да скиньте бороду! Скиньте бороду! Настоящий жид!
— Нельзя, приклеена.
Когда Фома Фомич, успокоенный, вышел, Голицын усадил гостя и запер дверь.
— Ну, рассказывайте.
И Кюхельбекер начал рассказывать. Почти все заговорщики схвачены, а кого не успели схватить, те сами являются. Назначена Верховная Следственная Комиссия, но государь сам ведет все дело. Пощады не будет: одних казнят, других сошлют или в тюрьмах сгноят.
— Все живы?— спросил Голицын.
— Все. Никто даже не ранен.
— Чудеса. А под каким огнем стояли!
«Может быть, это недаром?— подумал он.— Может быть, судьба хранит нас для подвига большего, чем смерть?»
— Ну, а как насчет Южной армии и Кавказского корпуса?
— Все вздор. Нет, Голицын, нам больше надеяться не на что,— кончено... Ну, а теперь, главное: хотите со мной бежать?
— С вами, Кюхля? Ну, еще бы! С кем и бежать, как не с вами? Вы человек ловкий, никогда никаких приключений... Полно, мой друг: вас первый же будочник сцапает.
— Не смейтесь, Голицын. Дело серьезное. Все уже готово: пачпорт, деньги и люди верные. Знаете актера Пустошкина, в Александринском театре, в водевилях играет? Бороду достанет вам, не хуже моей, и парик, и мужицкое платье. Только бы через заставу пробраться, а там, с хлебным обозом, в Архангельск. До открытия навигации будем скрываться на островах, у лоцманов, а потом на аглицком, аль на французском судне — за море. А то можно и в Варшаву: жидки-контрабандисты через границу переправляют за две беленьких. Сначала — в Париж, а оттуда хорошо бы и в Венецию...
— В Венецию!— рассмеялся Голицын.— А знаете, что одна московская барыня говорила о Венеции: «Конечно, говорит, климат здесь хорош, но жаль, что не с кем сразиться в преферансик». Так и вы соскучитесь. Нет, Кюхля, без России не проживете!
— Проживу. Мы и в России чужие. Не отечество не оплакиваем, а по отечеству плачем; носим траур не по умершему, а по нерожденному. Не знаю, как для вас, Голицын, а для меня вся Россия сейчас опоганена, окровавлена. Черные дни наступили, и уж это надолго — на пятьдесят,

а, может, и на сто лет. Успеем умереть в глухой пустыне, вдали от Святой Земли, от Сиона, где можно жить и петь песни высокие.

Рабы, влачащие оковы,
Высоких песен не поют.

Ну, так как же, мой друг, не хотите?

— Нет, Кюхля, что-то не хочется. Да и куда больному зимой по морозу тащиться!

— Ну, как знаете. А все-таки подумайте, может быть, и решите? Я еще зайду.

— Заходите, подумаю,— сказал Голицын, чтобы только отделаться, и злая мысль мелькнула у него: «Немец,— оттого и бежит». Но он тотчас устыдился, и они простились так же нежно, как встретились.

Когда гость ушел, Голицын задумался — не о бегстве, а о том, что будет, когда его схватят. Еще ни разу не думал об этом как следует. Не заглядывал в будущее, жил со дня на день, как в колыбели убаюканный, в своей веселой, желтой комнате, и, казалось, весь мир для него кончается деревьями старого сада, опушенными инеем. Иногда ловил себя на глупой надежде: может быть, и не схватят; старый дом — убежище верное: как на дне морском, не сыщут. Притаится, переждет, а потом уедет с Маринькой в Черемушки, или еще дальше куда-нибудь, на край света; женится на ней, пошлет к черту политику и будет просто счастлив.

Но вот, когда Кюхля ушел, понял вдруг, что схватят наверное; и тогда что будет с Маринькой?

Вспомнился вчерашний разговор с Ниною Львовною.

Сорокалетняя институтка, воспитанная на чувствительных романах Сюза́ и Жанлис, в делах житейских госпожа Толычева была как дитя малое. Узнав от Фрындина о выкупе Черемушек и видя, что Голицын ухаживает за Маринькой, несказанно обрадовалась. Но не понимала, почему он не говорит о своих чувствах к дочери с нею, с матерью; считала это неприличным. А когда узнала об его участии в бунте, испугалась. Долго таилась, молчала и ждала, не заговорит ли он сам; наконец, не выдержала.

Начала издалека о своем беспомощном вдовстве и сиротстве Мариньки, о доверии к Голицыну и к чистоте его намерений, а в заключение спросила неожиданно — прямо, в упор:

— Как вы думаете, князь, благополучно ли кончится для вас это дело?

— Какое дело?— сразу понял он, но притворился непонимающим: было стыдно и страшно: «Как будто соблазнил дочь, и мать это знает».

— Да вот это ужасное происшествие Четырнадцатого. Простите, что я так прямо. Но ведь я — мать. А вы — человек благородный, чувствительный: вы должны понять сердце матери. Говорите же, говорите, Валерьян Михайлович, решайте нашу судьбу!

— Извольте, Нина Львовна. Вы прямо спросили, и я прямо отвечу. Нет, дело это для меня благополучно не кончится: разыщут, схватят, будут судить и присудят, если не к плахе, то к тюрьме или каторге.

Она побледнела так, что он испугался, как бы ей не сделалось дурно.

— А как же Маринька?— всплеснула руками и заплакала.— Что же делать? Что же делать? Помогите, князь, посоветуйте...

В лице ее промелькнуло сходство с плачущей Маринькой. Голицын взял ее руки и поцеловал их с почтительной нежностью.

— Я очень виноват перед вами, Нина Львовна. Но даю вам слово: я сделаю все, что могу, чтобы Марья Павловна забыла обо мне, а вы поскорее уезжайте с ней в Черемушки.

На этом разговор их кончился. И вот теперь, вспомнив о нем, понял он, что взял на себя непосильную тяжесть. «Сделаю, чтобы забыла обо мне»,— легко сказать. Чем больше думал, тем больше чувствовал себя виноватым какой-то виною неискупимою. Ничего не знающую девочку, почти ребенка, влечет за собою на муку, которой, может быть, и сам не вынесет. Ухватился за нее, как утопающий, и тащит ко дну. Или как тот путешественник, который, спасаясь в пустыне от зверя, бросился в колодец, повис на суку, рвет ягоды с куста малины и ест, забыв о гибели.

Сидел у окна в желтой комнате. Был двенадцатый час, но еще не рассвело как следует. Вьюга залепила окна снегом. Старые деревья сада качались, шумели. Ветер выл в трубе заунывно-жалобно. И вспомнилось ему, как тогда, после расстрела на площади, он пошел на Галерную и, стоя под огнем картечи, в узкой, темной улице, звал смерть: «Да ну же, ну, скорее!»— и тоска напала на него пуще смерти; «Убить себя!»— подумал, вынул пистолет из кармана, приложил дуло к виску и взвел курок, но вспомнил о Мариньке и отнял руку. Зачем отнял?

— О чем задумались?— услышал голос Мариньки и вздрогнул. Она вошла так тихо, что он не слышал.

Улыбнулся ей, как всегда улыбался, когда она входила в комнату, но ничего не ответил.

У стены, на вешалке, висела шинель, та самая, в которой он был на площади. Маринька сняла шинель, присела

к рабочему столику и принялась штопать маленькие, круглые дырочки, пробитые пулями.

— Должно быть, гость расстроил? Кто такой? — спросила, не подымая глаз.

— Старый приятель, Вильгельм Карлович Кюхельбекер.

— Тоже был с вами на площади?

— Да.

— О чем же говорили, не секрет?

— Предлагал бежать.

— Ну, а вы?

— Я не хочу.

— Почему?

— Я без России не могу... и без вас.

— Почему без меня? Я с вами.

— А Нина Львовна?

— И маменька с нами. А если не захочет, все равно, без нее. Куда вы, туда и я. Видите, иголка и нитка? Куда иголка, туда и нитка.

Он молча следил, как быстро мелькает иголка в тонких пальцах. Спокойно и весело штопала круглые дырочки.

— Я все думаю, Маринька, что с вами будет, когда меня схватят.

— Может, еще и не схватят?

— Нет, схватят наверное.

— Ну, что ж, и со мной будет, что с вами, — ответила она спокойно, как будто все уже давно решила.

Опять помолчали.

— Маринька, сделайте, о чем я вас попрошу.

— Что?

— Обещайте.

— Зачем? Вы и так знаете, что сделаю.

— Все?

— Ну, конечно, — улыбнулась она своей милой улыбкой, которую он так любил.

Подождал, собрался с духом.

— Уезжайте поскорее в Черемушки, — сказал, наконец, решительно.

Она остановила руку с иголкою, подняла глаза и посмотрела на него долго, внимательно, но все так же спокойно, как будто не понимала и старалась понять.

— А как же вы без меня?

— Мне легче так.

— Одному легче?

Он молча кивнул головою.

— Неправда. Зачем вы говорите неправду?

— Нет, правда.

Посмотрела на него еще внимательнее, спокойнее и вдруг поняла.

— Ну, хорошо. Только и вы сделайте, о чем попрошу. Скажите, что не любите меня... н е т а к любите.

— Как — не так?

— А вот как: если сжать руку,— больно, а если задеть за рану,— нестерпимо. Я так люблю, а вы не так? Только скажите: «не так»,— и уеду.

Спокойная решимость была в ее лице и голосе. Он понял, что она говорит правду: если скажет сейчас эти два слова: «не так»,— она уедет, и все будет кончено.

Помолчала, подождала; потом вдруг встала, подошла к нему, наклонилась, обняла голову его и поцеловала в лоб.

— Глупенький! Господи, какой вы у меня глупенький!— улыбнулась, как тогда, во время болезни; и опять показалось ему, что он, в самом деле, глупенький, маленький, а она — большая: вот, возьмет его на руки и понесет, как мать носит ребенка.

Вернулась к рабочему столику и снова принялась штопать.

— Ну, а теперь извольте рассказывать, что вы такое наделали. Я хочу знать все.

— Да что же рассказывать, Маринька? Ведь, это политика, прескучная материя...

— Не моего ума дело? Ну, ничего,— может, и пойму.

«Говорить о политике с восемнадцатилетнею барышней, вот наказание!»— подумал он и начал нехотя, чтобы только поскорее отделаться; был уверен, что она ничего не поймет. И, пока был в этом уверен, она, в самом деле, не понимала; задавала вопросы такие детские, что он становился в тупик, не знал, что ответить.

— Вот видите, дура какая!— смеялась.— Раз кавалер на балу спросил уездную барышню, что она читает. «Я, говорит, читаю розовенькую книжку, а сестра моя — голубенькую». Вот и я такая же!

Но когда он начал рассказывать о Софье Нарышкиной, она вся насторожилась, и глаза ее блеснули так, что он подумал: «Ревнует».

— А ведь вы ее и сейчас как живую любите?

— Как живую.

— Ее и меня вместе?

— Вместе.

Немного подумала и спросила:

— Портрет есть?

— Есть.

— Покажите.

Он снял с шеи медальон с портретом Софьи. Она взяла

его и долго смотрела на него молча; потом вдруг поцеловала и заплакала.

— Какая я злая девчонка, скверная!— улыбнулась сквозь слезы.— Ну, конечно, вместе... вместе любить вас будем!

— А знаете, Маринька, розовенькую-то книжку, кажется, не вы читали, а я... Все умные люди — дураки ужасные!— улыбнулся он тоже сквозь слезы. Теперь уже знал, что она все понимает, видит все изнутри, как будто входит сердцем в сердце.

О том, что замышлял убить отца Софьи, императора Александра Павловича, все-таки страшно было сказать. Хотел утаить, но не мог — сказал и об этом. Сначала не поверила; допытывалась, как будто не понимала:

— Ее отца убить хотели? И она это знала?

— Знала.

— Быть не может!— всплеснула руками горестно.— Ох, не надо об этом! Не говорите. Я сейчас не пойму — лучше потом...

Иногда входили в комнату и мешали им; но только что они оставались одни, она торопила его:

— Ну, рассказывайте, рассказывайте. Что же дальше?

Когда стемнело и зажгли свечи, перешли в голубую диванную, ту самую, где виделись в последний раз перед Четырнадцатым. Здесь уже никто не мешал.

Маринька села на то же место, как тогда, у окна, где стояли пяльцы с начатой вышивкой, белым попугаем на зеленом поле — Потапом Потапычем; желтый хохолок его так и остался неоконченным. В углу тускло горела карселевая лампа в матовом шаре, а от окон падали на пол косые четырехугольники лунного света. К вечеру вьюга затихла. Разорванные тучи, то темные, то светлые, с отливом перламутровым, неслись по небу, как привидения; и прозрачные цветы мороза на окнах искрились голубыми сапфирами.

Голицын рассказывал о Южном Тайном Обществе, о Сергее Муравьеве и его «Катехизисе». И по тому, как Маринька слушала, чувствовал, что она понимает, что это для него главное.

— «Цари прокляты суть от Бога, яко притеснители народа,— читал наизусть слова «Катехизиса».— Для освобождения родины должно ополчиться всем вместе против тиранства и восстановить веру и свободу в России. Раскаемся в долгом раболепствии нашем и поклянемся: да будет един царь на небеси и на земли — Иисус Христос».

— Да ведь Христос на небе?— простодушно удивилась она.

— И на земле, Маринька.

— Где же на земле? Что-то не видно,— удивилась еще простодушнее.

— Оттого и не видно, что вместо царя Христа — царь Зверь. Надо Зверя убить.

— Для Христа убивать разве можно?

Давеча боялся, что она не поймет; и вот теперь было страшно, что слишком хорошо понимает. Восемнадцатилетняя девочка, почти ребенок, обличала последнюю тайну, последнюю муку его.

Вдруг встала, наклонилась, положила ему руки на плечи и заглянула в глаза.

— Валерьян Михайлович, во Христа-то вы веруете?

— Что вы, Маринька...

— Веруете? Да?

— Верую во единого Господа Иисуса Христа, сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век, [1]— произнес Голицын торжественно.

— Ну, слава Богу!— вздохнула она с облегчением и перекрестилась.— А то все говорят: бунтовщики — безбожники. Вот я и подумала... Уж вы на меня не сердитесь, сама знаю, что дура! Папенька, бывало, сказывал: «Не всему верь, что люди говорят; своим умом живи». Да своего ума-то нет, вот горе!

Замолчала, задумалась, как будто стараясь что-то вспомнить.

— Ах, вот на кого похоже!— вдруг вспомнила радостно.— Погодите-ка, что я вам покажу...

Выбежала и вернулась с маленькой книжкой в черной коже, тисненной золотом — одним из тех альбомов, в которых уездные барышни записывали стишки на память. На первой странице — Амур, в виде пастушка, сидящий над речкой, а внизу стихи:

Теперь уж все изменой дышит,
Теперь нет верности нигде:
Амур, смеяся, клятвы пишет
Стрелою на воде.

И тут же комплимент: «Ваши черные глаза, Marie, носят траур по тем, кого белого света лишили».

Отыскала страницу и указала. Он прочел поблекшие строки, написанные крупным и круглым старинным почерком:

«Дочери моей возлюбленной Мариньке. Да пошлет тебе Господь спутника жизни, не богатого и не знатного,

[1] Слова из Символа веры — краткого изложения христианского вероучения.

по доблестью сердца украшенного, по сему изречению Российского автора преизящнейшего, Александра Николаевича Радищева:

«Если бы закон, или государь, или какая-либо на земле власть подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь в оной неколебим. Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже самой смерти. Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою,— и поживешь на памяти благородных душ до скончания веков».

Павел Толычев»

— Господин Радищев папенькин друг был,— похвастала она и перевернула страницу.

— А вот еще.

Он прочел:

Помни, Мария,
Слова преблагия:

Семя Жены сотрет главу Змия[1].

Александр Лабзин.

— Тоже приятель папенькин,— опять похвастала.

— Так вот вы чья крестница — Лабзина и Радищева!— улыбнулся ей Голицын радостно. Ему казалось, что они породнились новым родством таинственным.

— А вы думали что!— засмеялась она и зарделась.— Ну, рассказывайте, рассказывайте! Что же дальше?

Когда он рассказал о том, как Четырнадцатого, на площади, Николай расстрелял толпу безоружную, она прошептала, бледнея:

— Да, убить Зверя!

«А разве можно убивать для Христа?»— теперь уже не спросила. И он почувствовал, что не только поняла, но и приняла все до конца,— и в этой последней тайне, последней муке уже никогда не покинет его ни перед судом человеческим, ни перед Божьим судом.

Когда он кончил, Маринька подсела к нему на ручку кресла и как тогда, во время болезни, прижалась щекой к щеке. Оба молчали, глядя, как разорванные тучи несутся по небу, луна то выходит, то прячется, и цветы мороза на окнах то потухают, то искрятся голубыми сапфирами.

— А, помните, Маринька, вы говорили, что любить землю — грех, надо любить небесное?

---

[1] Неточная цитата из Библии (Бытие, III, 15). Речь идет о победе Христа над сатаной.

— Нет, что-то не помню. Постойте-ка... Ах, да, ночью, в возке, когда из Москвы ехали. Как это вы вспомнили? Ну, так что же?

— Да ведь отечество — тоже земля. А разве любовь к отечеству — грех?

— Ну, что вы! Должно быть, глупость сказала?

— Нет, не глупость, а только не все. Ну, да всего-то, пожалуй, никто об этом не знает...

Он говорил спокойно. Но Маринька почувствовала опять, как давеча, что это для него главное. Подняла голову и заглянула в глаза его:

— Никто не знает о чем?— спросила шепотом.

— О земле и о небе. Как землю и небо вместе любите,— ответил он тоже шепотом.

— Вместе?— повторила и помолчала, подумала.— Да ведь вы же меня и Софью вместе любите?

Опять помолчала, еще глубже задумалась. Потом заговорила с таким выражением лица, какого он никогда не видел у нее.

— Раз, давно-давно, как во сне помню,— я совсем была маленькой,— мы с папенькой в лодке катались. Мельница у нас, в Черемушках, под самой усадьбой; речка плотиной запружена; вода тихая, гладкая, как зеркало. Долго катались, до вечера; уж и солнце зашло и ночь скоро. А вода еще тише, будто и нет ее вовсе, один только воздух,— по воздуху плаваем. Облака на небе большие, круглые, белые, и сквозь них — звезды. И внизу, под нами, тоже облака и звезды. Будто два неба — одно вверху, другое внизу, а мы — посередине. Страшно и хорошо. Так хорошо,— вот как сейчас с вами... Ведь, это — т о с а м о е? Ну, скажи, скажи, что не то!

— То, Маринька, то!

И оба замолчали: слов больше не было,— кончились, как узкая тропинка над пропастью. Смотрели друг на друга, улыбаясь молча. Улыбки сближались, сближались — и, наконец, слились в поцелуй.

Когда он опомнился, она уже стояла у окна и что-то говорила ему; он долго не мог понять что. Наконец, понял.

— Помнишь, накануне Четырнадцатого, ты говорил, что и за меня идешь на смерть? Почему и за меня? Я тебя тогда спросила, а ты не сказал.

— Потому что за Россию. А ведь и ты тоже... Маринька, знаешь, кто ты?

— Ну, кто?

Он ничего не ответил и взглянул на нее: вся белая, в белом свете луны, на голубизне сапфировой лунно-мороз-

ных цветов, она — не она, близкая и далекая, земная и небесная.

— Ну, кто же я?— взглянула на него украдкою и тотчас снова потупилась: жутко стало, как будто он смотрел не на нее, а сквозь нее на другую.

Что-то пронзило сердце его, как молния. Он опустился на колени.

— Родная! Родная! Родная!— повторял, как будто в одном этом слове было все, что он чувствовал, и целовал ее ноги.

Как в последнем пределе земля и небо — одно, так Софья с Маринькой; обе вместе — земная и небесная; и в обеих — Одна Единственная.

Он уже ничего не боялся — ни цепи, ни пытки, ни плахи. Знал, что Она оградит от всего — Стена Нерушимая, Заступница Вечная, Радость Нечаянная [1]. И если пошлют в ад, Она сойдет к нему и туда, во тьму кромешную,— и тьма будет светом. И Семя Жены сотрет главу Змия.

7-го января, в первый день, когда можно было венчаться после Рождественского поста, Голицын повенчался на Мариньке, а в следующую ночь был арестован.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«Хорошо, все хорошо!»— думал Голицын, глядя на зеленую, закоптелую и запачканную стену. Длинная, узкая, темная, без окон, вроде чулана, с нависшими сводами, караульня гауптвахты, в нижнем этаже Зимнего Дворца, освещалась через стеклянную дверь из коридора. У двери стоял часовой и заглядывал; все проходившие — тоже. Чтобы избавиться от этих взглядов, Голицын сел спиной к двери и уставился глазами в стену.

Вторую ночь проводил на жестком, шатком соломенном стуле, кутаясь в шинель от холода. Ноги затекали, спина болела. Хотел лечь на старый кожаный диван, но клопы одолели. Пробовал лечь на пол, подостлав шинель; но из-под двери и от поленницы неоттаявших дров, сваленных тут же, в углу, у нетопленой печки, несло таким холодом, что боялся простуды: все еще был не очень здоров. Опять пересел на стул, покорился: «Хорошо и так, все хорошо!»

Вспомнил, как давеча, когда вели на гауптвахту и он за-

---

[1] Богоматерь.

медлил шаг на темной лестнице, один из конвойных ударил его по плечу ружейным прикладом; он оглянулся; солдат, молодой парень с курносым, безусым и безбровым лицом, тоже посмотрел на него подслеповатыми глазками, исподлобья, угрюмо, но незлобиво: «Ну, ну, чего зеваешь, сукин сын, пошевеливайся!»—«И это хорошо»,— вспомнив, подумал Голицын.

А когда ввели в караульню, дежурный фельдфебель, пропахший насквозь тютюном и водкой, начал обыскивать. Жирные пальцы, с рыжими волосами и веснушками, ползали по телу, шарили, щупали. Отнял медальон с портретом Софьи. Руки связал веревкой за спину так туго, что веревка врезалась в тело. Поутру кто-то из караульных офицеров сжалился, велел развязать. Но руки и теперь еще болели. Голицын поднял их и посмотрел на следы от веревок — запястья красные. «И это хорошо!»— подумал.

«А ведь Маринька уже не Маринька, а княгиня Марья Павловна Голицына»,— вдруг вспомнил и удивился радостно. Все еще не понимал, как это сделалось. «Завтра венчаемся»,— объявила ему накануне. Он возражал, удивлялся, зачем так скоро, просил подождать. Но ничего и слышать не хотела; решила: завтра — и кончено. Все уже давно обдумала, устроила вместе с Фомой Фомичом, тайком от маменьки и от самого жениха. Никто ничего в доме не знал, даже из слуг, кроме старого дворецкого, Анания Васильича. Бабушка лежала больная, а Нина Львовна уехала с утра на целый день в гости к старой подруге по Смольному, на другой конец города. Старенький священник Инвалидного дома, что у Семеновских казарм, полковой однокашник Фомы Фомича, отец Стахий, «мастер крутить свадьбы на фельдъегерских», повенчал их в домовой церкви, тут же, в бабушкином доме.

Голицын покорялся, но ничего не понимал. Во время венчания «столбом стоял», как пошутил Фома Фомич. В крошечной церковке, вроде часовни, было душно от свечей и ладана; голова кружилась; боялся, как бы не сделалось дурно.

Устал, лег рано. Ночью, когда уже спал, Маринька потихоньку, на цыпочках, вошла к нему в комнату, присела на край постели, наклонилась, обняла и разбудила поцелуем; никогда еще не целовала так; он чувствовал, что в этом поцелуе отдала ему душу. «Теперь хорошо, все хорошо! Не понимаешь?»— шепнула на ухо, и прежде, чем он успел опомниться, освободилась из его объятий, убежала в спальню к маменьке. А он опять заснул крепко, сладко и глупо; засыпая, так и подумал, что спать в такую ночь — глупо.

А на следующую ночь его арестовали. Когда оберполицеймейстер Шульгин с фельдъегерем и четырьмя конвойными вывели арестанта в сени, Маринька выбежала к нему, полуодетая; едва успела обнять его, перекрестить, шепнуть на ухо: «За меня не бойся, думай только о себе. Храни тебя Матерь Пречистая!» А когда он уже сходил по лестнице, нагнулась через перила, посмотрела на него в последний раз: ни страха, ни скорби в глазах ее не было, а только сила любви бесконечная. На кого похожи были эти глаза, он все хотел вспомнить и не мог.

Надоело глядеть на стену, облокотился на стол, закрыл глаза и начал дремать. Как тогда, во время болезни, шептал умиленно-восторженно: «Маринька... маменька!»— и казалось, что она берет его на руки, качает, баюкает.

Проснулся от стука ружей и звяканья шпор. Думал, что много проспал, а всего минут десять. Был девятый час вечера.

— Арестанта к государю императору!— сказал чей-то голос.

Окружили конвойные и повели по бесконечным коридорам и лестницам. Вошли в ряд зал, увешанных картинами. Он узнал Эрмитаж. В большой зале горело такое множество свечей, что он подумал: «Бал тут, что ли?» Потом сообразил, что свет нужен для того, чтобы следить за малейшими изменениями лиц во время допроса арестованных. Внизу светло, а вверху — зияющее сквозь стеклянный потолок ночное небо, бездонно-черное.

В углу, у стены, под «Святым Семейством» Доминикино, за раскрытым ломберным столиком с бумагами, чернильницей и перьями, сидел молодой человек в мундире лейб-гвардии гусарского полка, узком, красном, с густыми, золотыми нашивками, генерал-адъютант Левашев.

Конвойные подвели Голицына к столику; двое стали у дверей, с саблями наголо.

— Прошу садиться, князь,— сказал Левашев, привстал, поклонился с любезностью — руки, однако, не подал — и указал на кресло.— Кажется, у князя Александра Николаевича, дядюшки вашего, встречались,— заговорил по-французски, с таким видом, как будто они были не арестант и сыщик, а два гостя, которые в чужом доме встретились и болтали в ожидании хозяина.

— Служить изволили?

— Служил.

— В каком полку?

— В Преображенском.

— Давно в отставку вышли?

— Года два.

Голицын вглядывался в Левашева: лицо не злое, не доброе, а только равнодушное; глаза не глупые, не умные, а только чуть-чуть плутоватые. Светский, ловкий молодой человек, лихой гусар, должно быть, отличный танцор и наездник; «добрый малый», из тех, которые сами живут и другим жить не мешают.

Голицын поднял руки и показал ему следы от веревок. Левашев поморщился:

— Опять перестарались. Сколько раз им сказывал!

— У вас тут всем руки связывают?

— Почти всем. Такой уж порядок. Что прикажете,— караульный дом.

— Съезжая?

— Вроде того.

— Вольно же вам из дворца делать съезжую!

Левашев ничего не ответил.

— Ну-с, приступим,— начал и любезное выражение лица переменил на деловое, не строгое, а только скучающее и немного брезгливое, как будто понимал, что работа не совсем чистая. Взял лист бумаги, очинил перо и обмакнул в чернильницу.

— Государю императору Николаю Павловичу присягать изволили?

— Нет, не присягал.

— Почему же-с?

— Потому что присяга происходит с такими обрядами и с такою клятвою, что я считал ее для себя неприличною.

— И никому присягать не будете?

— Никому.

— Как же без присяги-с? Ведь в Бога веруете?

— Верую.

— А присяга от Бога?

— Нет, не от Бога.

— Ну, спорить не будем. Так и записать прикажете?

— Так и запишите.

Лицо Левашева сделалось еще равнодушнее.

— Вы очень себе вредите, князь, очень-с. Подумайте.

— Я всю жизнь, ваше превосходительство, только и думал об этом.

— И вот что придумали?

— Да, вот что.

Левашев усмехнулся, пожал плечами, привычно ловким движением закрутил свой тонкий ус, записал и продолжал с видом еще более скучающим.

— Принадлежали к Тайному Обществу?

— Принадлежал.

— Какие же вам известны действия оного?

— Никаких.

Левашев помолчал, посмотрел на кончик пера, снял соринку и поднял глаза на Голицына.

— Не думайте, князь, чтобы правительству ничего не было известно. Мы имеем точные сведения, что происшествие Четырнадцатого — только преждевременная вспышка и что вы должны были еще в прошлом году нанести удар покойному государю императору. Если угодно, я вам сообщу подробности намереваемого вами цареубийства. В начале мая месяца прошлого года, на квартире здешнего сочинителя, господина Рылеева, происходило собрание, на коем председатель Тульчинской управы Южного Тайного Общества, подполковник Пестель предлагал истребление всех членов царствующего дома. Об этом знать изволите?

— Нет, не знаю.

— И кто ответил Пестелю: «Согласен с вами до корня», тоже не знаете?

— Тоже не знаю.

— А, может быть, припомните?

— Нет, не припомню.

— Плохая же память у вашего сиятельства,— опять усмехнулся Левашев и закрутил свой ус.— Ну, так я вам напомню: это ваши слова. А теперь не угодно ли назвать тех из ваших товарищей, кои были на этом собрании.

— Извините, ваше превосходительство, этого я никак не могу сделать.

— Отчего же-с?

— Оттого, что, вступая в Общество, я дал клятву никого не называть.

Левашев отложил перо и откинулся на спинку кресла.

— Послушайте, Голицын. Чем долее вы будете запираться, тем хуже для вас. Вы хотите спасти ваших товарищей, но никого не спасете, а себя погубите. Говорю вам: правительству все уже известно, и признание ваше нужно для вас же самих: чистосердечное раскаяние — единственный путь к милосердию государя,— повторял он, видимо, слова заученные.— Ну, что ж вы молчите? Ничего говорить не хотите?

— Не хочу.

— Так вас заставят говорить, милостивый государь,— чуть-чуть возвысил голос Левашев, упирая на каждое слово раздельно-медленно.— Я приступаю к обязанности судии и скажу вам, что в России есть пытка.

— Очень благодарен вашему превосходительству за сию доверенность, но должен сказать, что теперь еще более чувствую своею обязанностью никого не называть,—

сказал Голицын, посмотрел ему прямо в глаза и подумал: «Добрый малый, а если начальство прикажет, будет пятки поджаривать».

— Pour cette fois je ne vous parle pas comme votre juge, mais comme un gentilhomme votre égal[1],— начал Левашев с прежнею любезностью.— Не понимаю, князь, какая охота быть мучеником за людей, которые вас предали.

— Не понимаете, ваше превосходительство, какая охота не быть подлецом?

Левашева слегка передернуло, но «добрый малый» не обиделся: рассудил, что арестанту не до любезностей.

— Будьте добры, князь, прочесть и подписать,— сказал и подал ему записку.

Голицын взглянул, увидел, что генерал пишет по-русски, как сапожник, и подписал, не читая. Левашев встал, расправил члены,— узкий мундир еще у́же обтянул, облил тело,— не корпеть бы, казалось, такому молодцу над бумагами, а танцевать мазурку с прекрасными дамами или скакать на коне в бранном пламени; дернул за шнурок звонка; когда вбежал фельдъегерь, указал Голицыну на стоявшие рядом со столиком зеленые шелковые ширмы:

— Потрудитесь обождать.

И вышел с фельдъегерем. Голицын сел за ширмы. На другом конце залы открылась дверь, и кто-то вошел; из-за ширм не видно было кто, но, судя по голосам, двое. На ходу разговаривая, подошли к столу и остановились. Им тоже не видно было Голицына. Он прислушался.

— Я делал открытия, не сообразуясь с рассудком, по движению сердца благодарного к его величеству и, может быть, то сказал, чего другие не открыли бы...

Далее Голицын не расслышал, а потом опять:

— Легко погибнуть самому, ваше превосходительство, но быть причиной гибели других — мука нестерпимая...

Голицын узнавал и не узнавал, чей это голос. Привстал, подошел на цыпочках к ширмам и выглянул. Те двое стояли к нему спиной, и он не видел лиц. Но одного узнал: Бенкендорф. А другого все еще узнавал и не узнавал — глазам своим не верил.

— Будьте покойны, мой друг: всех помилует,— заговорил Бенкендорф и, взяв собеседника под руку, повел его мимо ширм. Голицын увидел лицом к лицу того неузнанного-неузнаваемого: это был Рылеев. Они посмотрели друг другу в глаза.

Голицын упал в кресло. Свет потух в глазах его, как

---

[1] На этот раз я говорю с вами не как судья, а как равный вам дворянин (*франц.*).

будто сквозь стеклянный потолок зияющее, бездонно-черное небо на него обрушилось.

— Пожалуйте,— сказал Левашев, заглянув за ширмы.

Голицын очнулся, встал и вышел. С другого конца залы подходил государь. Неподвижное, бледное, как из мрамора высеченное, лицо приближалось к нему, и вдруг вспомнил он, как тогда, Четырнадцатого, под картечью, на Сенатской площади, бежал с пистолетом в руках, чтобы убить Зверя.

Подойдя к столу, государь остановился в двух шагах от арестанта, смерил его глазами с головы до ног и указал пальцем на записку Левашева, которую держал в руке.

— Это что? Чего вы тут нагородили, а? Вас о деле спрашивают, а вы вздор отвечаете: «Присяга не от Бога»? Знаете ли вы, сударь, наши законы? Знаете ли, что за это?..— провел рукою по шее.

Голицын усмехнулся: что мог ему сделать этот человек после давешнего ужаса?

— Что вы смеетесь?— спросил государь и нахмурился.

— Удивляюсь, ваше величество: уж если грозить, то надобно сначала смертью, а потом — пыткой: ведь пытка страшнее, чем смерть.

— Кто вам грозил пыткою?

— Его превосходительство.

Николай взглянул на Левашева, Левашев — на Николая, а Голицын — на обоих.

— Вот какой храбрый!— начал опять государь.— Здесь ничего не боитесь, а там? Что вас ожидает на том свете? Проклятие вечное... И над этим смеетесь? Да вы не христианин, что ли?

— Христианин, ваше величество, оттого и восстал на самодержавие.

— Самодержавие от Бога. Царь — Помазанник Божий. На Бога восстали?

— Нет, на Зверя.

— Какой зверь? Что вы бредите?

— Зверь — человек, который себя Богом делает,— произнес Голицын тихо и торжественно, как слова заклинания, и побледнел; дух у него захватило от радости: казалось, что убивает Зверя.

— Ах, несчастный!— покачал государь головой с сокрушением.— Ум за разум зашел! Вот до чего доводят сии адские мысли, плоды самолюбия и гордости. Мне вас жаль. Зачем вы себя губите? Разве не видите, что я вам добра желаю?— заговорил, немного помолчав, уже другим, ласковым, голосом.— Что же вы мне ничего не отвечаете?— взял его за руку и продолжал еще ласковей:— Вы знаете, я все могу — могу вас простить...

Голицын вспомнил Рылеева и вздрогнул.

— В том-то и беда, ваше величество, что вы все можете,— Бог на небе, а вы на земле. Это и значит: человека Богом сделали...

Государь давно уже понял, что ничего не добьется от Голицына. Допрашивал нехотя, только для очистки совести. Не сердился: за месяц сыска довел себя до того, что во время допросов ни на кого и ни за что не сердился. Но надоело. Пора было кончать.

— Ну, ладно, будет вздор молоть,— оборвал с внезапною грубостью.— Извольте отвечать на вопросы как следует.

— Я уже сказал его превосходительству, что дал слово...

— Что вы мне с его превосходительством и вашим мерзким словом!

«Тот, как сапожник, пишет, а этот, как сапожник, ругается»,— подумал Голицын.

— Так не хотите говорить? Не хотите? В последний раз спрашиваю, не хотите?

Голицын молчал. Лицо государя изменилось мгновенно: одна маска упала, другая наделась — грозная, гневная, бледная, как из мрамора высеченная: Аполлон Бельведерский, Пифона сражающий. Отступил на шаг, протянул руку и закричал:

— Заковать его так, чтобы он и пошевелиться не мог!

В эту минуту вошел Бенкендорф. Государь обернулся к нему, и опять одна маска упала, другая наделась: «бедный малый, бедный Никс, votre каторжный du Palais d'Hiver».

Бенкендорф подошел к Николаю и что-то сказал ему на ухо. Не глядя на Голицына, как будто сразу забыв о нем, государь вышел.

— Потрудитесь обождать,— опять указал Левашев Голицыну на кресло за ширмами и тоже вышел с Бенкендорфом.

Голицын сел на прежнее место. Утих, успокоился. «Ну, вот и хорошо, опять все хорошо,— подумал, как давеча.— Охота быть мучеником за тех, кто вас предал?— Ну, конечно, охота!»

Эти два слова: «ну, конечно» прошептал с тою же детской улыбкой, как Маринька.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ширмы стояли у двери. За дверью слышались шаги и голоса. Другая дверь, та, в которую вышел государь,

отворилась, кто-то из нее выбежал, и голос Левашева закричал:

— Да позовите фельдшера, кровь пустить!

«В России есть пытка»,— вспомнилось Голицыну, и он прислушался к тому, что происходило за дверью. Звуки заглушала тяжелая занавесь. Он высунул голову из-за ширм. В зале никого не было, кроме двух часовых, стоявших у двери, на другом конце залы, как два истукана.

Раздвинув занавесь. Голицын увидел, что дверь за нею чуть-чуть приотворена. Заглянул в щель,— темно: дверь двойная. Открыл ее и вошел в темное пространство между дверями. Наткнулся на стул: должно быть, во время допросов тут кто-нибудь сидел и подслушивал; вторая дверь тоже чуть-чуть приотворена и с той стороны занавешена. Приотворил побольше, тихонько раздвинул вторую занавесь и выглянул.

Маленькая зала, увешанная картинами, большей частью копиями старинной итальянской живописи, школы Перуджино и Рафаэля, освещалась таким же множеством свечей, как большая. Прямо против него кто-то лежал на диване. В креслах, спиною к Голицыну, сидел Бенкендорф, заслоняя лежавшего; видны были только ноги, покрытые шалью, да угол белой подушки. Тут же сидело и стояло еще несколько человек: Левашев, дворцовый комендант Башуцкий, обер-полицеймейстер Шульгин и какой-то штатский в черном фраке, в парике и в очках, похожий лицом на еврея,— должно быть, лекарь. Потом вошел еще один штатский, толстенький, рыженький, в засаленном коричневом фраке, с медным цирюльничьим тазом, какие употреблялись для кровопусканий.

— Как вы себя чувствуете, мой друг?— спросил Бенкендорф.

— Хорошо, хорошо, удивительно,— ответил лежавший на диване,— я никогда себя так хорошо не чувствовал!

— Голова не болит?

— Нет, прошла. Все прошло. Дух бодр, ум свеж, душа спокойна. Сердце, как прежде, невинно и молодо. О, никогда, никогда я не был так счастлив! Еще там, в каземате, бывали такие минуты блаженства, что я с ума сходил,— все говорил, говорил, говорил,— глухим стенам рассказывал чувства мои: не люди, так камни услышат, камни возопиют! Кричал, пел, плясал, скакал, как зверь в клетке, как пьяный, как бешеный! Комендант Сукин — прекрасный человек, но какая фамилия — если у него сын, то и назвать неприлично,— так вот этот Сукин, бедняжка, перепугался, думал, что я и впрямь взбесился, послал за лека-

рем, хотел связать. Ничего не понимал. Никто ничего не понимает. А ведь вот вы же понимаете, ваше превосходительство? Мне ужасно глаза ваши нравятся! Умные, добрые. Только один — добренький, а другой — чуть-чуть хитренький...

— Хэ-хэ, вот вы какой наблюдательный!— рассмеялся Бенкендорф.

— Не сердитесь? Ради Бога, не сердитесь... Я все не то... Но сначала не то, а потом то. Ужасно говорить хочется. Позвольте говорить, ваше превосходительство!

— Говорите, только не волнуйтесь, а то опять нехорошо будет.

— Нет, хорошо, теперь все хорошо! Я все скажу. Я прежде думал: надо беречь лица. А теперь думаю: от кого беречь? От ангела? Ведь государь — ангел, а не человек, сам теперь вижу. И вы тоже,— перед такими людьми, что беречь лица? Кроме добра, ожидать нечего. Все узнаете. Все скажу. Наведу на корень. Дело закипит. Я теперь — с убеждением... Это мне приятно. Я уж постараюсь, ваше превосходительство! Вот увидите. Донесу систематически. Разберу по полкам. Ни одного не утаю. Даже таких назову, о которых никогда не узнали бы. Ну, а где же *он*? Отчего его нет? Я хочу ему самому...

— Сначала нам, а потом ему,— сказал Бенкендорф.

— Нет, ему, ему первому, ангелу! Я хочу к нему... Зачем вы меня не пускаете? Вы должны пустить. Я требую.

Он вдруг привстал на диване, как будто хотел вскочить и бежать. Голицын, увидев лицо его, как давеча лицо Рылеева, неузнанное, неузнаваемое,— это был князь Александр Иванович Одоевский,— отшатнулся, упал на стул, закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не видеть, не слышать. Но ненадолго: снова любопытство потянуло жадное. Встал, опять раздвинул занавесь и выглянул.

Одоевский полулежал на диване, так что теперь лицо его было видно Голицыну. Оно казалось почти здоровым, может быть, потому что лихорадочный румянец рдел на щеках. Все тот же «милый Саша», «тихий мальчик»; все та же прелесть полудетская, полудевичья:

Как ландыш под серпом убийственным жнеца...

— До Четырнадцатого я был совершенно непорочен,— говорил он доверчиво, спокойно и весело, как будто с лучшими друзьями беседовал.— Воспитывался дома. Maman m'a donné une éducation exemplaire [1]. По самую кон-

[1] Матушка дала мне образцовое воспитание (*франц.*).

чину свою не спускала с меня глаз. Я ведь маменьку... Ну, да что говорить,— когда умерла, едва выжил. Поступил в полк. В двадцать лет — совсем еще дитя. Я от природы беспечен, ветрен и ленив. Никогда никакого не имел неудовольствия в жизни. Слишком счастлив. Жизнь моя цвела. Писал стихи, мечтал о златом веке Астреином. Как все молодые люди, кричал о вольности на ветер, без всякого намерения. Рылеев — тоже. Вот и сошлись.

— Рылеев принял вас в Тайное Общество?— спросил Бенкендорф.

— Нет, не он. Не помню кто. Да и принятия никакого не было. Все только шалость, глупость, ребячество, испарение разгоряченного мозга Рылеева. Ибо что могут сделать тридцать — сорок человек ребят, мечтателей, романтиков, «лунатиков», как говорит Голицын?

— Какой Голицын? Князь Валерьян Михайлович?— спросил Левашев.

— Ну, да. А что?

— Не он ли ответил на предложение Пестеля истребить всех членов царствующего дома: «Согласен с вами до корня»?

— Может быть. Не помню.

— Постарайтесь вспомнить.

— А вам на что?

— Очень важно.

— Совсем неважно. Вздор! Ваше превосходительство, зачем он так спрашивает? Не велите ему. Мы ведь тут не шпионы, не сыщики.

Бенкендорф мигнул Левашеву.

— Не сердитесь, мой друг, он больше не будет. Вы хотели рассказать нам, как провели день Четырнадцатого.

— Да, хотел. Только все, как во сне,— сна не расскажешь. Ночь простоял во дворце, на карауле; глаз не смыкал, устал, как собака. Кровь бросилась в голову — это у меня часто бывает от бессонницы. Утром поехал в кофейню Лореда, купил конфет, лимонных, кисленьких. Очень люблю. Потом домой, спать. А потом вдруг — на площади. Затащили в каре. Двадцать раз уходил; обнимали, целовали — остался, сам не знаю зачем...

— Вы держали пистолет в руке?— спросил Бенкендорф.

— Пистолет? Может быть. Кто-нибудь сунул...

Левашев начал что-то записывать карандашом на бумажке.

— Ваше превосходительство, зачем он записывает? Пистолет — вздор. Да и не помню. Может быть, не было.

— А как стреляли в графа Милорадовича, видели?

— Видел.
— Кто стрелял?
— Этого не видел.
— Жаль. Могли бы спасти невинного.
— Эх, господа, вы все не то... Непременно нужно?
— Непременно.
— Ну, дайте на ушко...

Бенкендорф наклонился, и Одоевский шепнул ему на ухо.

— А потом, когда расстреляли,— заговорил опять громко, все так же спокойно и весело,— пошел через Неву на Васильевский, а оттуда на Мойку, к сочинителю Жандру. Старуха Жандриха — очень любит меня — увидела, завыла: «Бегите!» Кинула денег. Я пуще потерял голову. Пошел куда глаза глядят. Хотел скрыться под землю, под лед. Люди заглядывали в глаза, как вороны — в глаза умирающего. Ночевал на канаве под мостом. В прорубь попал, тонул, замерзал. Смерть уже чувствовал. Вылез, умалишенный. Утром опять пошел. Два дня ходил Бог знает где. В Катерингофе был, в Красном. Тулуп купил, шапку; мужиком оделся. Вернулся в Петербург. К дяде Васе Ланскому, министру. Обещал спрятать, а сам поехал донести в полицию. Ну, думаю, плохо. Вот к вам и явился...

— Вы не сами явились, вас привезли,— поправил Башуцкий.

— Привезли? Не помню. Сам хотел. В России не уйдешь. Я на себе испытал. Русский человек храбр, как шпага, тверд, как кремень, пока в душе Бог и царь, а без них — тряпка, подлец. Вот как я сейчас. Ведь я подлец, ваше превосходительство, а?— вдруг обернулся к Бенкендорфу и посмотрел ему прямо в лицо.

— Почему же? Напротив, благородный человек: заблуждались и раскаялись.

— Неправда! По глазам вижу, что неправда. Говорите: «Благородный», а думаете: «Подлец». Ну, да ведь и вы, господа,— медленно обвел всех глазами, и лицо его побледнело, исказилось,— подлеца слушаете! Хороши тоже! Я с ума схожу, а вы слушаете, пользуетесь! Господи! Господи! Что вы со мной делаете! Палачи! Палачи! Мучители! Будьте вы прокляты!

Голицын опять отшатнулся, закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не видеть, не слышать. Но ненадолго: снова любопытство потянуло жадное: раздвинул занавесь и выглянул, прислушался.

Одоевский лежал, молча, не двигаясь, с закрытыми глазами, как в беспамятстве. Потом открыл их и опять заговорил быстро-быстро и невнятно, как в бреду:

— Ну, что ж, пусть! Все подлецы и все благородные. Невинные, несчастные. Звери и ангелы вместе. Падшие ангелы, восстающие. Надо только понять. «Премудрая благость над миром царствует. Es herrscht eine allweise Güte über die Welt». Это по-немецки, у Шеллинга, а по-русски: «Пречистой Матери Покров»... А вот и Она, видите?..

Прямо против него, на стене, висела копия Сикстинской Мадонны Рафаэля. Голицын взглянул на нее и вдруг вспомнил, на кого похожи были глаза Мариньки, когда, арестованный, сходил он по лестнице и, нагнувшись через перила, она посмотрела на него в последний раз.

— Какие глаза!— продолжал Одоевский, глядя на Мадонну с умилением восторженным.— Как это в русских песнях поется: «Мать сыра земля»? Россия — Мать. Всех Скорбящих Матерь. Но об этом нельзя... Ваше превосходительство, уж вы на меня не сердитесь. Я все скажу. Все узнаете. Вот только отдохну — и опять. Каховский стрелял; Оболенский штыком лошадь колол. А Кюхельбекер в великого князя целился, да пистолет не выстрелил. Ну, ничего, ничего, запишите, а то забудете. Ну, что еще?.. А, впрочем, вздор! Опять не то... А вот, когда замерзал на канаве, под мостом,— то самое было, то самое: чашечки золотые, зеленые; детьми молоко из них пили в деревне, летом, у маменьки на антресолях с полукруглыми окнами прямо в рощу березовую; золотые, зеленые как солнце сквозь лист весенний, березовый. И так хорошо! Вот и сейчас... Только не сердитесь, милые, милые, хорошие! Не надо сердиться, и все хорошо будет. Простим друг друга, возлюбим друг друга! Возьмемтесь за руки и будем петь, плясать, как дети, как ангелы Божьи в раю, в златом веке Астреином [1]...

Говорил все тише, тише и, наконец, совсем затих, закрыл глаза, как будто заснул или впал в забытье. Улыбался во сне, и слезы по лицу струились, тихие. Бенкендорф поцеловал его в голову, может быть, с непритворною нежностью.

А на другом конце залы, такая же тяжелая, штофная занавесь, как та, за которой Голицын подслушивал, вдруг заколебалась, раздвинулась,— и вошел государь.

Все окружили его, заговорили вполголоса, чтобы не разбудить больного. Только отдельные слова долетали до Голицына.

— Как бы горячка не сделалась...

— Кровь пустить, лед на голову...

---

[1] Астрея, дочь Зевса и Фемиды,— богиня справедливости. Время ее пребывания на земле — «золотой век».

— Показанья важные...

— Да ведь бред, слова умалишенного,— не оговорил бы кого понапрасну...

— Ничего, разберем...

Голицын не помнил, как вернулся на прежнее место в большой зале, за ширмами. Долго сидел в оцепенении бесчувственном.

Вдруг увидел Левашева. Сидя за ломберным столиком, он разбирал бумаги. Голицын вскочил и бросился к нему так внезапно, что Левашев вздрогнул, обернулся и тоже вскочил.

— Что такое? Что с вами, Голицын?

— Ведите меня к государю!

— Государь занят. Если что сказать имеете, можете мне.

— Нет, к государю! Сейчас же, сейчас же, немедленно.

— Да что вы, сударь, кричите? С ума вы сошли?

— С ума сошел! С ума сошел! Одного уже свели с ума, а вот и другой! В России есть пытка! Одного запытали — ну, так и другого! Вместе обоих! Жилы выматывайте, пятки поджаривайте! О, подлецы, подлецы, палачи, истязатели!— закричал Голицын в бешенстве, затопал ногами и поднял кулаки.

Левашев схватил его за руки, но он вырвался, оттолкнул его и побежал, сам не зная куда и зачем. Мелькала мысль: убить Зверя, а если не убить, то обругать, избить, плюнуть в лицо.

— Держи!— крикнул Левашев двум часовым, все еще стоявшим у двери на другом конце залы как два истукана. Те встрепенулись, ожили, поняли, бросились ловить Голицына.

— Микулин, Микулин!— кричал Левашев с таким испуганным видом, как будто трех человек было мало, чтобы справиться с одним.

— Здесь, ваше превосходительство!— вырос как из-под земли дежурный по караулу полковник Микулин, с пятью молодцами ражими, кавалергардами в медных касках и панцирях: на одного безоружного — целое воинство. Где-то вдали промелькнуло лицо государя, но тотчас же спряталось.

Окружили, стеснили, поймали. Кто-то, обняв Голицына сзади, сдавил его так, что он почти задохся; кто-то схватил за горло; кто-то бил по лицу. Но он все еще не сдавался, боролся отчаянно, с той удесятеренною силою, которую дает бешенство.

Вдруг откуда-то издали послышался крик. Голицын узнал голос Одоевского. Ни тогда, ни потом не мог понять,

что это было: очнулся ли больной от беспамятства и, услышав шум свалки, перепугался; или делали ему кровопускание, а он вообразил, что пытают, режут,— но крик был ужасный. И Голицын ответил на него таким же криком. Если бы кто-нибудь со стороны услышал, то подумал бы, что здесь и вправду застенок или дом сумасшедших.

— Веревок! Веревок! Вяжите! Да чего он орет, каналья! Заткните ему глотку!

Голицын почувствовал, что ему затыкают рот платком, вяжут руки, ноги, подымают, несут.

Покорился, затих, закрыл глаза. «Ну, теперь ладно. Хорошо, все хорошо»,— сказал чей-то голос.

Медленно проплыло белое, в красном тумане, лицо Зверя,— и он лишился чувств.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Пытать будут. Помоги, Господи, вынести!»— было первой мыслью Голицына, когда он очнулся на свежем воздухе: обер-полицеймейстер Шульгин, чтобы привести его в чувство, поднял окно кареты во время переезда из дворца в крепость.

«Какие пытки выносили христианские мученики... Да ведь то мученики, а я... Ну, ничего, может, и я...»— ободрял себя Голицын, но бодрости не было, а был животный ужас.

Карета остановилась у комендантского дома в Петропавловской крепости. Шульгин высадил арестанта и сдал фельдъегерю. Вошли в небольшую комнату с голыми стенами, почти без мебели, только с двумя стульями и столиком, на котором горела сальная свечка. Фельдъегерь усадил Голицына на один из стульев и сам сел на другой. Так безмятежно зевнул, крестясь и закрывая рот ладонью, что Голицын вдруг начал надеяться, что пытки не будет.

«Нет, будет. Вот они! Идут! Помоги, Господи!»— подумал, прислушиваясь с тем отвратительным сосаньем под ложечкой, от которого переворачиваются внутрен-

ности, к зловещему лязгу железа и многоногому топоту в соседней комнате.

Вошел седой, подстриженный по-солдатски в скобу, старик на деревянной ноге, генерал Сукин, комендант Петропавловской крепости; за ним — человек низенький, толстенький, с провалившимся носом, плац-майор Подушкин; и еще несколько плац-адъютантов, ефрейторов и нижних чинов. Сукин держал в руке железные прутья с кольцами. «Орудия пытки».— подумал Голицын и зажмурил глаза, чтобы не видеть. «Помоги, Господи!»— твердил почти в беспамятстве.

Проворно постукивая деревяшкой по полу. старик подошел к столу, поднес к свече лист почтовой бумаги и объявил:

— Его величество, государь император повелевает заковать *тебя* в железа.— «Тебя» произнес с ударением неестественным.

Голицын слушал, не понимая. Несколько человек бросилось на него и стало надевать кандалы на руки, на ноги и замыкать ключами.

Он все еще не понимал. Но вдруг понял, закусил губы, затаил дыхание, чтобы не расплакаться от радости, такой же бессмысленной, животной, как давешний ужас. Смотрел в лицо коменданта и думал: «Какой превосходный человек!» И лицо безносого плац-майора казалось ему прелестным; и серые лица солдат такими добрыми, что он готов был расцеловать каждого. Заметил невиданный, оранжевый воротник на плац-адъютантском мундире: «Должно быть, переменили, по случаю нового царствования»,— подумал все с той же упоительно-бессмысленной радостью. Немного стыдно было, что так перетрусил, но и стыд тонул в радости.

— Егор Михайлович, отведите в Алексеевский,— сказал комендант Подушкину. Тот связал концы носового платка и надел на голову Голицыну.

Он встал, покачнулся и едва не упал: не умел ходить в кандалах. Подхватили под руки. Выйдя из дому, усадили в сани. Подушкин сел рядом и обнял его за талию. Сани делали частые повороты, должно быть, в узеньких проулках, между крепостными бастионами. Выглянув одним глазом из-под съехавшей повязки, Голицын увидел подъемный мост через ров и в толстой каменной стене ворота.

— Куда вы меня везете? В Алексеевский равелин, что ли?— спросил Подушкина.

— Не извольте беспокоиться, квартирка будет отличная,— утешил тот и поправил на глазах его платок.

Голицын вспомнил то, что слышал о равелине: в него сажали только «забытых», и никто никогда из него не выходил. Но по сравнению с пыткою вечное заточение казалось ему блаженством.

Сани остановились. Арестанта опять подхватили под руки, помогли вылезть и взвели на ступени крыльца. Заскрипели на ржавых петлях двери и захлопнулись с тяжелым гулом. «Оставьте всякую надежду вы, которые входите» [1],— вспомнилось Голицыну.

С глаз его сняли платок и повели по длинному коридору с рядом дверей, тускло освещенному сальными плошками. Впереди шел плац-майор и, останавливаясь у каждой двери, спрашивал: «Занят?» Отвечали: «Занят». Наконец, ответили: «Пуст».

— Пожалуйте-с,— любезно пригласил Подушкин, и Голицын вошел в каменную щель, узкую, длинную, напоминавшую гроб. Сторож засветил на ставце ночник — шкалик зеленого стекла с поплавком в масле. Голицын увидел нависший свод, окно с толстой железной решеткой в стенной глубокой впадине; два стула, столик, лазаретную койку, круглую железную печь в одном углу, а в другом зловонную кадку — «парашку».

Сняли кандалы, раздели, обыскали, ощупали даже под мышками; надели арестантскую куртку, штаны, засаленный халат и рваные туфли, не впору большие.

Старик высокого роста, в длиннополом, зеленом, с красным воротом и красными обшлагами, мундире времен Павловских, необыкновенно худой, высокий и бледный, похожий на мертвеца, вошел в камеру. Это был комендант Алексеевского равелина, швед Лилиен-Анкерн. Часовые считали его немного помешанным, называли «Кащеем бессмертным» и уверяли, что ему лет под сто и что он провел в казематах лет пятьдесят, вечный узник среди узников.

Плавным шагом, сгорбившись, заложив руки за спину, с открытым ртом, где торчали два желтых зуба, со взором невидящим, он шел прямо на Голицына.

— Как ваше здоровье?— спросил еще издали; не дожидаясь ответа, опустился на колени и привычно-ловким движением начал надевать снятые кандалы на ноги его. Надев, показал, как надо ходить, поддерживая за веревочку звенья, соединявшие ножные обручи. Голицын попробовал и опять едва не упал.

— Ничего, научитесь,— утешил плац-майор.

Обернув наручники замшевой тряпкой, комендант спросил:

[1] Надпись над вратами ада в «Божественной комедии» Данте.

— Так можете писать?

— Могу.

— Ну, вот и кончен туалет,— ухмыльнулся Подушкин с любезностью. А Лилиен-Анкерн, все еще стоя на коленях, поднял на арестанта свои столетние, мутной пленкой, как у спящих птиц, подернутые глаза и произнес благоговейно, как слова молитвы:

— Божья милость всех нас спасет!

«Так, должно быть, на том свете старые покойники приветствуют нового»,— подумал Голицын.

Старик молча встал и тем же плавным шагом, сгорбившись, закинув руки за спину, вышел из камеры.

Сторожа помогли арестанту перейти со стула на койку.

— Почивайте с Богом, не горюйте: все пройдет. Номерок отменный, сухонький, тепленький,— сказал Подушкин.

Все вышли и заперли дверь. Ключ повернулся в замке; загремели задвижки, запоры, засовы; последний огромный болт проскрежетал, и наступила тишина.

Голицын чувствовал себя погребенным заживо, а все-таки радовался: миновала пытка.

Увидел на столике ломоть ржаного хлеба и кружку кваса. Давеча, во время обыска, попросил есть; плац-майор извинился, что поздно, на кухне все уже спят, и велел принести хлеба с квасом. Голицын съел и выпил все; давно уже так вкусно не ужинал.

Начал укладываться. Снял халат и с трудом поднял на койку отягченные цепями ноги; хотел уже растянуться на плоском, как блин, тюфяке, но взглянул на пестрядевую подушку без наволочки: на ней были жирные пятна. Понюхал, поморщился. Носовой платочек Маринькин, еще не развернутый, с вышитой красной меткой *М. Т.*, лежал на столике. Должно быть прощаясь, успела-таки сунуть ему в карман, а при обыске забыли или нарочно оставили, сжалившись.

Разложил его так, чтобы не касаться щекой подушки. От платочка пахло Маринькой. Улыбнулся — почему-то вспомнил, как в ту первую и последнюю брачную ночь, когда она разбудила его поцелуем,— не сумел ее удержать,— «глупо» заснул.

Где-то близко, как будто над самым ухом его, заиграли, запели заунывную песню куранты, как медноголосые ангелы. «Божья милость всех нас спасет»,— послышалось ему приветствие мертвых мертвому. И продолжая улыбаться, он блаженно заснул, с последней мыслью: «В пасти Зверя — как у Христа за пазухой».

Вчерашние звуки, только в обратном порядке — сна-

чала скрежечущий болт, потом засовы, запоры, задвижки и, наконец, щелкающий ключ в замке — разбудили его поутру. Вошел Лилиен-Анкер, спросил: «Как ваше здоровье?»— и не дожидаясь ответа, исчез.

Фейерверкер Шибаев, с молодым, веселым лицом, принес жидкого чаю в огромном оловянном чайнике и два куска сахару. Сахар держал из учтивости не на голой ладони, а в складе мундирной полы; поставив и выложив все на столик, поклонился вежливо.

— Который час?— спросил Голицын.

Шибаев улыбнулся молча и с вежливым поклоном вышел.

Инвалидный солдатик-замухрышка вынес парашку и начал подметать веником пол.

— Который час?— опять спросил Голицын.

Солдатик молчал.

— Какая на дворе погода?

— Не могу знать.

От холода Голицын кутался в одеяло и грелся чаем. Оглядывал «сухенький» номер: на облупленной штукатурке стен голубая черта свежей краски обозначала уровень воды во время последнего наводнения и темнели пятна; со свода и с печной трубы едва не капало, воздух пропитан был душною, точно подземною, сыростью. А когда затопили печь из коридора, железная труба, почти над самой головой арестанта, накалилась, потрескивая. Голове стало жарко, а ногам по-прежнему — холодно.

Стены, продолжая низкий свод, округлялись до самого пола, так что можно было стоять во весь рост только посередине камеры, а по бокам надо было сгибаться. В затканном паутиною своде кишели пауки, тараканы, стоножки и еще какие-то невиданные гады, которые высовывались из щелок только наполовину. «Лучше не разглядывать»,— подумал Голицын и, опустив глаза, увидел, как что-то покатилось по полу: это была исполинская рыжая водяная крыса.

Окно было густо замазано мелом, так что в камере даже в солнечные дни были вечные сумерки. В дверях прорублено оконце—«глазок», с железной решеткой изнутри и темно-зеленой занавеской снаружи. Часовой, шагавший неслышно, в валенках, по коридору, устланному войлочными матами, иногда приподнимал занавеску и заглядывал в камеру. Арестанту нельзя было пошевелиться, кашлянуть, чтобы не появился наблюдающий глаз.

— Кто здесь?— спросил знакомый голос, и Голицын увидел в оконце лихо закрученный ус Левашева.

— Михайлов,— ответил голос Подушкина.

«Почему Михайлов? Ах, да, Валериан, сын Михайлов»,— сообразил Голицын.

— Celui-ci a les fers aux bras et aux pieds, [1]— сообщил кому-то Левашев, как будто показывал редкого зверя. И Голицыну почудилось, что в «глазке» промелькнуло лицо великого князя Михаила Павловича.

На стенах камеры были рисунки и надписи, большею частью полустертые,— должно быть, тюремщикам велено было соскабливать,— замогильная летопись прежних узников. Уцелели немногие.

Под женской головкой стихи:

Ты на земле была мой Бог,
Но ты уж в вечность перешла.
Молись же там...

Дальше стерто; остались только два слова: «тебя увидеть».

Под мужским портретом: «Брат, я решился на самоубийство». Под женским: «Прощай, maman, навеки». И рядом — слова Господни: «В темнице бых, и посетисте Мя» [2].

Открылась дверь, вошел священник в пышно-шуршащей шелковой рясе, с наперсным крестом и орденом.

— Князя Валериана Михайловича Голицына честь имею видеть?— стоя на пороге, церемонно раскланялся.— Не обеспокою?

— Сделайте одолжение, батюшка.

«Ну, слава Богу, коли поп, значит, не пытка, а казнь»,— подумал Голицын и вспомнил Великого Инквизитора в «Дон Карлосе» Шиллера. Хотел подняться навстречу гостю, но грузно опустился, гремя кандалами. Тот подскочил, поддержал.

— Не ушиблись? Полпуда весу в ожерельице, шутка сказать...

— Нет, ничего. Что ж вы стоите, садитесь,— пригласил Голицын.

Гость поклонился опять так же церемонно и сел на стул.

— Позвольте представиться, отец Петр Мысловский, Казанского собора протоиерей, здешних заключенных духовный отец и, смею сказать,— друг, чем и хвалюсь, ибо достойнейших людей дружбой и похвалиться не грех.

«Шпион, зубы заговаривает!»— подумал Голицын и

---

[1] У этого кандалы на руках и ногах (*франц.*).

[2] Евангелие от Матфея. XXV, 36.

вглядеся в него: рост огромный, сложенье богатырское; сановит, благообразен; великолепная рыжая борода с проседью: такие мужики бывают пятидесятилетние; и лицо мужицкое, грубоватое, но доброе и умное; маленькие, закрытые с боков нависшими веками, треугольные щелки глаз, с тем выражением двойственным, которое часто бывает у русских людей: простота и хитрость.

— Ну, а когда же казнь?— спросил Голицын, глядя на него в упор.

— Какая казнь? Чья?

— Моя. А какая, вам лучше знать: расстреляют, повесят или отрубят голову?

— Что вы, князь, Бог с вами! — замахал на него руками Мысловский.— Вот вам крест,— хоть и не подобает, крестом иерея клянусь,— ни о каких казнях никто и не думает. Да будто вы не знаете, что смертная казнь отменена по законам Российской империи?

Голицын еще не верил, но так же как вчера, когда миновала пытка, сердце у него захолонуло от радости.

— Казни нет, а пытка есть?— продолжал глядеть на него в упор.

— В девятнадцатом веке, в христианском государстве, после златых дней Александровых, пытка!— покачал головой отец Петр.— Ах, господа, господа, какие у вас нехорошие мысли; извините-с; прямо скажу, недостойные, неблагородные! Вам же добра желают, а вы себя и других мучаете. Не хотите понять, с кем дело имеете. Да если бы только вы знали милость государя неизреченную...

— Вот что я вам скажу, батюшка,— перебил Голицын.— Помните раз навсегда: в государевых милостях я не нуждаюсь, лучше петля и плаха! Не трудитесь же, ничего вы от меня не добьетесь. Поняли?

— Понял-с. Как не понять! «Поп, ступай вон! Ты для меня хуже собаки!» Ведь и собаку так бы не выгнали...

Голос его задрожал, глазки замигали, губы задергались, и он закрыл лицо руками: «Здоровый мужик, а какой чувствительный!»— удивился Голицын.

— Вы меня не так поняли, отец Петр. Я не хотел вас обидеть...

— Эх, ваше сиятельство, где уж тут обиды считать!— отнял отец Петр руки от лица и вздохнул.— Иной человек сорвет сердце на ком ни попало, и легче станет, ну и на здоровье! Не дурак же я, понимаю: пришел поп к арестанту — от кого? От начальства — значит, негодяй, шпион. А ведь вы меня, сударь, в первый раз видеть изволите. Пятнадцать лет в казематах служу, в

сем аде кромешном: бьюсь, как рыба об лед. А из-за чего, как полагаете? Из-за такой дряни, что ли?— указал на орден.— Да осыпь меня чинами, звездами,— дня не остался бы на этой поганой должности, когда б не чаял добра, хоть малого: помочь, кому уже никто не поможет. Да если бы не я, поп недостойный, так тут за вас всех и заступиться бы некому... А по делу Четырнадцатого интерес имею особенный.

— Почему же особенный?

— А потому что сам из таковских,— прищурился отец Петр и зашептал ему на ухо.— Хоть и простой мужик, а, благодарение Богу, ум здравый имею и сердце неповрежденное. Так вот, на порядки-то здешние глядючи, мятежом распаляюсь неутолимым, терзаюсь, мучаюсь,— уйти бы от греха, а вот не могу. Кажется, давно бы привыкнуть пора, а как арестанта увижу, да еще вот в этих железных рукавчиках,— так во мне все и закипит, разбушуется: создание Божие, наипаче к свободе рожденное, человека видеть в цепях — несносно сие, возмутительно!

«Не инквизитор из Шиллера, а сам Шиллер!»— все больше удивлялся Голицын.

— Отец Петр, я очень виноват перед вами, простите меня,— сказал и протянул ему руку.

Тот крепко сжал ее и вдруг покраснел, замигал, всхлипнул и бросился к нему на шею.

— Валерьян Михайлович, родной, дорогой, голубчик, только не гоните: авось на что-нибудь и я сгожусь, вот ужо сами увидите!— обнимал, целовал его с нежностью.

— А что, друг мой, у исповеди и святого причастия давно не бывали?— прибавил как будто некстати, но Голицыну показалось, что это и есть главное, зачем он пришел.

Освободившись из его объятий, он опять, как давеча, посмотрел на него в упор: те же маленькие, под нависшими веками, треугольные щелки глаз с выражением двойственным: простота и хитрость. Сколько ни вглядывался, не мог решить — очень хитер или очень прост.

— Давно,— ответил нехотя.

— А сейчас не желаете?

— Нет, не желаю.

«По русским законам духовник обязан доносить о злоумышлениях против высочайших особ, открываемых на исповеди»,— вспомнилось Голицыну.

Отец Петр как будто хотел еще о чем-то спросить, но вдруг замолчал, потупился. Потом встал, заторопился.

— К вашему соседу, князю Оболенскому, тут сейчас, рядом, вот за этой стенкой. Кажется, приятели?

— Приятели.

— Поклон передать?

— Передайте.

Голицыну не понравилось, что отец Петр с такой легкостью сообщает ему то, что нельзя арестанту знать, как будто они уже вступили в заговор.

— Ах, чуть не забыл!— спохватился Мысловский, полез в карман и вынул старый кожаный футляр.

— Очки!— вскрикнул Голицын радостно.— Откуда у вас?

— От господина Фрындина.

— Да ведь отнимут. Одну пару уж отняли.

— Не отнимут: получил для вас разрешение.

Не понравилось и это Голицыну: чересчур с услугами торопится; слишком уверен, что он примет их, не имея чем заплатить.

— Господин Фрындин велел передать, что княгиня Марья Павловна здравствуют, на милость Божью уповают крепко и вас просят о том же... Писать сейчас нельзя — большие строгости; а потом через меня можно будет,— оглянувшись на дверь, зашептал ему на ухо.— Все устроится, ваше сиятельство: и в казематах люди живут. Только не унывайте, духом не падайте. Ну, храни вас Бог!— поднял руку, хотел благословить, но раздумал, еще раз обнял и вышел.

Голицын уже верил или почти верил, что пытки и казни не будет; радовался, но радость вчерашняя, безоблачно-ясная,— «в пасти Зверя, как у Христа за пазухой»,— помутилась, как будто осквернилась. Понял, что может быть что-то страшнее, чем пытка и смерть. Пусть отец Петр препростой и предобрый поп, а для него, Голицына,— опаснее всех шпионов и сыщиков.

Фейерверкер Шибаев принес обед, щи с кашей. Постное масло в каше так дурно пахло, что Голицын взял в рот и не мог проглотить, выплюнул. Ни ножей, ни вилок — только деревянная ложка. «Ничего острого, чтоб не зарезался»,— догадался он.

После обеда плац-адъютант Трусов, молодой человек с красивым и наглым лицом, принес ему картуз табаку с щегольской, бисерной трубкой.

— Покурить не угодно ли?

— Благодарю вас. Я не курю.

— А разве это не ваше?

— Нет, не мое.

— Извините-с,— усмехнулся Трусов; от этой усмешки

лицо его сделалось еще наглее; учтиво поклонился и вышел.

«Искушение трубкой, после искушения Телом и Кровью Господней»,— подумал Голицын с отвращением.

Когда стемнело и зажгли ночник, тараканы по стенам закишели, зашуршали в тишине чуть слышным шорохом.

Верхнее звено в окне оставалось незабеленным; сквозь него чернела узкая полоска неба и мигала звездочка.

Голицын вспомнил Мариньку. Чтобы не расчувствоваться, начал думать о другом,— как бы дать знак Оболенскому.

Присел на койку, постучал пальцем в стену, приложил ухо: не отвечает. Долго стучал без ответа. Стена была толстая: стук пальца не слышен. Изловчился и постучал тихонько железным болтом наручников и, услыхав ответный стук, обрадовался так, что забыв часового, застучал, загремел.

Вошел ефрейтор Ничипоренко с красною, пьяною рожею.

— Ты, что это, сукин сын? Аль мешка захотел?

— Какого мешка?— полюбопытствовал Голицын, не оскорбленный, а только удивленный руганью.

— А вот как посадят, увидишь,— проворчал тот и, уходя, прибавил так убедительно, что Голицын понял, что это не шутка: — А то и выпорют!

Он лег на койку, обернулся лицом к стене, делая вид, что спит, подождал и, когда все затихло, опять начал стучать пальцем в стену. Оболенский ответил.

Сперва стучали без счету, жадно, неутолимо, только бы слышать ответ. Душа к душе рвалась сквозь камень; сердце с сердцем вместе бились: «Ты?» — «Я».— «Ты?»— «Я». Иногда от радости кровь в ушах стучала так, что он уже не слышал ответа и боялся,— не будет. Нет, был.

Потом начали считать удары, то ускорят, то замедлят: изобретали азбуку. Сбивались, путались, приходили в отчаяние, умолкали и опять начинали.

Стуча, Голицын уснул, и всю ночь снилось ему, что стучит.

Дни были так схожи, что он терял счет времени. Скатывал хлебные шарики и прилеплял к стене в ряд: сколько дней, столько шариков.

Скуки почти не испытывал: было множество маленьких дел. Учился ходить в кандалах. Кружился в тесноте, как зверь в клетке, держась за спинку стула, чтоб не упасть.

Единственный Маринькин платок все еще служил ему наволочкой. Жалел его. Учился сморкаться в пальцы; сначала было противно, а потом привык. Заметил, что поутру, когда плевал и сморкался, в носу и во рту — черно от копоти. Лампада коптила, потому что светильня была слишком толстая. Вынул ее и разделил на волокна; копоть прекратилась, воздух очистился.

Спал не раздеваясь: еще не умел в кандалах снимать платье. Белье загрязнилось, блохи заели. Можно было попросить свежего — из дому через Мысловского, но не хотел одолжаться. Долго терпел; наконец, возмутился, потребовал белья у Подушкина. Принесли плохо простиранную, непросохшую пару солдатских портков и рубаху из жесткой дерюги. Надел с наслаждением.

Однажды надымила печь. Открыли дверь в коридор. Странное чувство охватило Голицына: дверь открыта, а выйти нельзя: пустота непроницаема. Сначала было странно, а потом — тяжко, невыносимо. Обрадовался, когда опять заперли дверь.

С Оболенским продолжали перестукиваться, но все еще не понимали друг друга, не могли найти азбуки. Стучали уже почти безнадежно. Пальцы распухли, ногти заболели. Погребенные заживо, бились головами о стены гроба. Наконец, поняли, что ничего не добьются, пока не обменяются писаной азбукой.

В оконной раме у Голицына был жестяной вентилятор. Он отломил от него перышко и отточил на кирпиче, выступавшем из-под стенной штукатурки. Этим подобием ножа отщепил от ножки кровати тонкую спицу. Снял копоти с лампадной светильни, развел водой в ямке на подоконнике, обмакнул спицу и написал на стене азбуку: буквы в клетках; у каждой — число ударов; краткие — обозначались точками; длинные — чертами. А на бумажке, которой заткнуто было дырявое дно футляра из-под очков, написал ту же азбуку, чтобы передать Оболенскому.

Каждое утро инвалидный солдатик-замухрышка приносил ему для умывания муравленую чашку и оловянную кружку с водою. Голицын сам умываться не мог: мешали наручники. Солдатик мылил ему руки, одну за другой, и лил на них воду.

Однажды принес ему осколок зеркала. Он взглянул в него и не узнал себя, испугался: так похудел, осунулся, оброс бородою: не князь Голицын, а «Михайлов-каторжник».

С солдатиком не заговаривал, и тот упорно молчал, казался глухонемым. Но однажды вдруг сам заговорил:

— Ваше благородие, извольте перейти поближе к печке, там потеплее,— сказал шепотом, перенес табурет с чашкою в дальний угол у печки, куда глаз часового не достигал, и посмотрел на Голицына долго, жалостно.

— Тошно, небось, в каземате? Да что поделаешь, так, видно, Богу угодно. Терпеть надобно, ваше благородие. Господь любит терпение, а там, может и помилует.

Голицын взглянул на него: лицо скуластое, скучное, серое, как сукно казенной шинели, а в маленьких, подслеповатых глазках — такая доброта, что он удивился, как раньше ее не заметил.

Достал из кармана бумажку с азбукой.

— Можешь передать Оболенскому?

— Пожалуй, можно.

Голицын едва успел ему сунуть бумажку, как вошел плац-майор Подушкин с ефрейтором Ничипоренкой. Осмотрели печь,— труба опять дымила,— и вышли: ничего не заметили.

— Едва не попались,— шепнул Голицын, бледный от страха.

— Помиловал Бог,— ответил солдатик просто.

— А досталось бы тебе?

— Да, за это нашего брата гоняют сквозь строй.

— Подведу я тебя, уж лучше не надо, отдай.

— Небось, ваше благородье, будьте покойны, доставлю в точности.

Голицын почувствовал, что нельзя благодарить.

— Как твое имя?

Солдатик опять посмотрел на него долго, жалостно.

— Я, ваше благородье, человек мертвый,— улыбнулся тихой, как будто, в самом деле, мертвой улыбкой.

Голицыну хотелось плакать. В первый раз в жизни, казалось, понял притчу о Самарянине Милостивом[1] — ответ на вопрос: кто мой ближний?

В ту же ночь он вел разговор с Оболенским.

— Здравствуй,— простучал Голицын.

— Здравствуй,— ответил Оболенский.— Здоров ли ты?

— Здоров, но в железах.

— Я плачу.

— Не плачь, все хорошо,— ответил Голицын и заплакал от счастья.

---

[1] В Евангелии от Луки (X, 30—37) Христос рассказывает притчу о том, как некий самарянин, пренебрегая национальной враждой, оказывает всяческую помощь иудею, израненному и ограбленному разбойниками. Таким образом, ближним иудею был он, а не иудейские священники, прошедшие мимо пострадавшего.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Однажды, часу в одиннадцатом ночи, вошли в камеру Голицына комендант Сукин с плац-майором Подушкиным и плац-адъютантом Трусовым; сняли с него кандалы, а когда он переоделся из арестантского платья в свое — опять надели.

— В жмурки поиграем, ваше сиятельство,— ухмыльнулся плац-майор, завязал ему глаза платком и надел черный миткалевый колпак на голову. Подхватили под руки, вывели во двор, усадили в сани и повезли.

Проехав немного, остановились. Подушкин высадил арестанта и взвел на крыльцо.

— Не споткнитесь, ножку не зашибите,— хлопотал заботливо.

Провел через несколько комнат; в одной слышался скрип перьев: должно быть, это была канцелярия; усадил на стул, снял повязку.

— Обождите,— сказал и вышел.

Сквозь дырочку в зеленых шелковых ширмах Голицын видел, как шмыгали лакеи с блюдами,— должно быть, где-то ужинали,— и флигель-адъютанты с бумагами. Конвойные провели арестанта, закованного так, что он едва двигался; лицо закрыто было таким же черным колпаком, как у Голицына.

Он долго ждал. Наконец, опять появился Подушкин, завязал ему глаза и повел за руку.

— Стойте на месте,— сказал и отпустил руку.

— Откройтесь,— произнес чей-то голос.

Голицын снял платок и увидел большую комнату с белыми стенами; длинный стол, покрытый зеленым сукном, с бумагами, чернильницами, перьями и множеством горящих восковых свечей в канделябрах. За столом — человек десять, в генеральских мундирах, лентах и звездах. На председательском месте, верхнем конце стола — военный министр Татищев; справа от него — великий князь Михаил Павлович, начальник штаба — генерал Дибич, новый С.-Петербургский военный генерал-губернатор — Голенищев-Кутузов, генерал-адъютант Бенкендорф; слева — бывший обер-прокурор Синода, князь Александр Николаевич Голицын — единственный штатский; генерал-адъютанты: Чернышев, Потапов, Левашев и, с краю, флигель-адъютант полковник Адлерберг. За отдельным столиком — чиновник пятого класса, старенький, лысенький,— должно быть, делопроизводитель.

Голицын понял, что это — Следственная Комиссия или Комитет по делу Четырнадцатого.

С минуту длилось молчание.

— Приблизьтесь,— проговорил, наконец, Чернышев торжественно и поманил его пальцем.

Голицын подошел к столу, нарушая звоном цепей тишину в комнате.

— Милостивый государь,— проговорил Чернышев после обычных вопросов об имени, возрасте, чине, вероисповедании,— в начальном показании вашем генералу Левашеву вы на все предложенные вопросы сделали решительное отрицание, отзываясь совершенным неведением о таких обстоятельствах, кои...

Голицын, не слушая, вглядывался в Чернышева; лет за сорок, а хочет казаться двадцатилетним юношей; пышный, черный парик в мелких завитках, как шерсть на барашке; набелен, нарумянен; бровки вытянуты в ниточки; усики вздернуты, точно приклеены; желтые, узкие с косым, кошачьим разрезом, глаза, хитрые, хищные. «Претонкая, должно быть, бестия,— подумал Голицын.— Недаром говорят, самого Наполеона обманывал».

— Извольте же объявить всю истину и назвать имена ваших сообщников. Нам уже и так известно все, но мы желаем дать вам способ заслужить облегчение вашей участи чистосердечным раскаянием.

— Я имел честь доложить генералу Левашеву все, что о себе знаю, а называть имена почитаю бесчестным,— ответил Голицын.

— Бесчестным?— возвысил голос Чернышев с притворным негодованием.— Кто изменяет присяге и восстает против законной власти, не может говорить о чести!

Голицын посмотрел на него так, что он понял: «Над арестантом закованным можешь ругаться, подлец!» Чернышев чуть-чуть побледнел сквозь румяна, но смолчал, только переложил ногу на ногу и потрогал пальцами усики.

— Вы упорствуете, хотите нас уверить, что ничего не знаете, но я представлю вам двадцать свидетелей, которые уличат вас, и тогда уже не надейтесь на милость: вам не будет пощады!

Голицын молчал и думал со скукой: «Дурацкая комедия»!

— Послушайте, князь,— в первый раз поднял на него глаза Чернышев, и узкие, желтые зрачки сверкнули злостью, уже непритворною,— если вы будете запираться — о, ведь мы имеем средства заставить вас говорить!

— «В России есть пытка», об этом мне уже намедни генерал Левашев сообщил. Но ваше превосходительство





напрасно грозить изволите: я знаю, на что иду,— ответил Голицын и опять посмотрел ему прямо в глаза. Чернышев немного прищурился и вдруг улыбнулся.

— Ну, если не хотите имена, не соблаговолите ли сказать о целях Общества?— заговорил уже другим голосом.

Обдумывая заранее, как отвечать на допросе, Голицын решил не скрывать целей Общества. «Как знать,— думал,— не дойдет ли до потомства прозвучавший и в застенке глас вольности?»

— Наша цель была даровать отечеству правление законно-свободное,— заговорил, обращаясь ко всем.— Восстание Четырнадцатого — не бунт, как вы, господа, полагать изволите, а первый в России опыт революции политической. И чем была ничтожнее горсть людей, предпринявших оный, тем славнее для них, ибо хотя, по несоразмерности сил и по недостатку лиц, вольности глас раздавался не долее нескольких часов, но благо и то, что он раздался и уже никогда не умолкнет. Стезя поколениям грядущим указана. Мы исполнили наш долг и можем радоваться нашей гибели: что мы посеяли, то и взойдет...

— А позвольте спросить, князь,— прервал его Александр Николаевич Голицын, дядюшка, с таким видом, как будто не узнал племянника,— если бы ваша революция удалась, что бы вы с нами со всеми сделали,— ну, хоть, например, со мной?

— Если бы ваше сиятельство не пожелали признать новых порядков, мы попросили бы вас удалиться в чужие края,— усмехнулся Голицын, племянник, вспомнив, как некогда дядюшка бранил его за очки: «И свой карьер испортил, и меня, старика, подвел!»

— Эмигрировать?

— Вот именно.

— Благодарю за милость,— встал и низко раскланялся дядюшка.

Все рассмеялись. И начался разговор почти светский. Рады были поболтать, отдохнуть от скуки.

— Ah, mon prince, vous avez fait bien du mal à la Russie, vous avez reculé de cinquante ans[1],— вздохнул Бенкендорф и прибавил с тонкой усмешкой:— Наш народ не создан для революций: он умен, оттого что тих, а тих, оттого что не свободен.

— Слово «свобода» изображает лестное, но неестест-

[1] Ах князь, вы причинили столько зла России, вы удалились на пятьдесят лет назад (*франц.*).

венное для человека состояние, ибо вся жизнь наша есть от законов натуральных беспрестанная зависимость,— проговорил Кутузов.

— Я математически уверен, что христианин и возмутитель против власти, от Бога установленной,— противоречие совершенное,— объявил дядюшка.

А великий князь повторил в сотый раз анекдот о жене Константина — Конституции. И государев казачок «Федорыч», Адлерберг, захихикал так подобострастно беззвучно, что поперхнулся, закашлялся.

Председатель Татищев, «русский Фальстаф», толстобрюхий, краснорожий, с губами отвисшими, дремавший после сытного ужина, вдруг приоткрыл один глаз и, уставив его на Голицына, проворчал себе под нос:

— Шельма! Шельма!

Голицын смотрел на них и думал: «Шалуны! Ну да и я хорош: нашел с кем и о чем говорить. Не суд и даже не застенок, а лакейская!»

— Не будете ли добры, князь, сообщить слова, сказанные Рылеевым в ночь накануне Четырнадцатого, когда он передал кинжал Каховскому,— вдруг среди болтовни возобновил допрос Чернышев.

— Ничего не могу сообщить,— ответил Голицын: решил молчать, о чем бы ни спрашивали.

— А ведь вы при этом присутствовали. Может быть, забыли? Так я вам напомню. Рылеев сказал Каховскому: «Убей царя. Рано поутру, до возмущения, ступай во дворец и там убей». Помните? Что ж вы молчите? Говорить не хотите?

— Не хочу.

— Воля ваша, князь, но вы этим вредите не только себе. Отвергнув или подтвердив слова Рылеева, вы уменьшили бы вину его или Каховского и, может быть, спасли бы одного из двух, а запирательством губите обоих.

«А ведь он прав»,— подумал Голицын.

— Ну, так как же?— продолжал Чернышев.— Не хотите сказать? В последний раз спрашиваю: не хотите?

— Не хочу.

— Шельма! Шельма!— проворчал себе под нос Татищев.

Узкие, желтые зрачки Чернышева опять, как давеча, сверкнули злостью.

— А княгиня знала о вашем участии в заговоре?— спросил он, помолчав.

— Какая княгиня?

— Ваша супруга,— улыбнулся Чернышев ласково.

Голицын почувствовал, что кандалы тяжелеют на нем

неимоверною тяжестью, ноги подкашиваются,— вот-вот упадет. Сделал шаг и схватился рукою за спинку стула.

— Присядьте, князь. Вы очень бледны. Нехорошо себя чувствуете? — сказал Чернышев, встал и подал ему стул.

— Жена моя ничего не знает,— проговорил Голицын с усилием и опустился на стул.

— Не знает?— улыбнулся Чернышев еще ласковее.— Как же так? Венчались накануне ареста, значит, по любви чрезвычайной. И ничего не сказали ей, не поверили тайны, от коей зависит участь ваша и вашей супруги? Извините, князь, не натурально, не натурально! Да вы не беспокойтесь: без крайней нужды мы не потревожим княгини.

«Броситься на него и разбить подлецу голову железами!»— подумал Голицын.

— Ecoutez, Чернышев, c'est très probable, que le prince n'a voulu rien confier à sa femme et quelle n'a rien su[1],— проговорил великий князь.

Он давно уже хмурился, закрываясь листом бумаги и проводя бородкой пера по губам. «Le bourru bienfaisant, благодетельный бука» был с виду суров, а сердцем добр.

— Слушаю-с, ваше высочество,— поклонился Чернышев.

— Завтра получите, сударь, вопросные пункты; извольте отвечать письменно,— сказал Голицыну, подошел к звонку и дернул за шнурок.

Плац-майор Подушкин с конвойными появились в дверях.

— Господа, вы меня обо всем спрашивали, позвольте же и мне спросить,— поднялся Голицын, обвел всех глазами с бледной улыбкой на помертвевшем лице.

— Что? Что такое?— опять проснулся Татищев и открыл оба глаза.

— Il a raison, messieurs. Il faut être juste, laissons le dire son dernier mot[2],— улыбнулся великий князь, предвкушая один из тех «каламбурчиков-карамбольчиков», коих был большим любителем.

— Да вы, господа, не бойтесь, я ничего,— продолжал Голицын все с тою же бледной улыбкой,— я только хотел спросить, за что нас судят?

— Дурака, сударь, валяете,— вдруг разозлился Дибич.— Бунтовали, на цареубийство злоумышляли, а за что судят, не знаете?

---

[1] Послушайте, Чернышев, очень вероятно, что князь не хотел ни во что посвящать свою жену и что она ничего не знала (*франц.*).

[2] Он прав, господа. Нужно быть справедливым, дадим ему сказать последнее слово (*франц.*).

— Злоумышляли,— обернулся к нему Голицын,— хотели убить, да ведь вот не убили же. Ну, а тех, кто убил, не судят? Не мысленных, а настоящих убийц?

— Каких настоящих? Говорите толком, говорите толком, черт вас побери!— окончательно взбесился Дибич и кулаком ударил по столу.

— Не надо! Не надо! Уведите его поскорее!— вдруг чего-то испугался Татищев.

— Ваши превосходительства,— поднял Голицын обе руки в кандалах и указал пальцем сперва на Татищева, потом на Кутузова,— ваши превосходительства, знаете, о чем я говорю?

Все окаменели. Сделалось так тихо, что слышно было, как нагоревшие свечи потрескивают.

— Не знаете? Ну, так я вам скажу: о цареубийстве 11 марта 1801 года.

Татищев побагровел, Кутузов позеленел; оба как будто привидение увидели. Что участвовали в убийстве императора Павла Первого, об этом знали все.

— Вон! Вон! Вон!— закричали, повскакали, замахали руками.

Плац-майор Подушкин подбежал к арестанту и накинул ему колпак на голову. Подхватили, потащили конвойные. Но и под колпаком Голицын смеялся смехом торжествующим.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На следующее утро комендант Сукин принес Голицыну запечатанный конверт с вопросными пунктами, перо, бумагу и чернильницу.

— Не спешите, обдумайте,— сказал, отдавая пакет.

В этот день посадили его на хлеб и воду. Он понял. что наказывали за вчерашнее.

Поздно вечером вошел плац-адъютант Трусов и поставил на стол тарелку с белой сдобной булкой, аппетитно подрумяненной. похожей на те, что немецкие булочники называют «розанчиками».

— Кушайте на здоровье.

— Благодарю вас, я не голоден.

— Ничего, пусть полежит, ужо проголодаетесь.

— Унесите,— сказал Голицын решительно, вспомнив искушение трубкою.

— Не обижайте, князь. Право же, от чистого сердца. Чувствительнейше прошу, скушайте. А то могут быть неприятности...

— Какие неприятности?— удивился Голицын.

Но Трусов ничего не ответил, только ухмыльнулся; слащаво-наглое, хорошенькое личико его показалось Голицыну в эту минуту особенно гадким. Поклонился и вышел, оставив булку на столе.

До поздней ночи Голицын перестукивался с Оболенским. У обоих пальцы заболели от стучанья. Голицыну заменяла их обожженная палочка из веника, которым подметали пол, а Оболенскому — карандашный огрызок.

— Я решил молчать, о чем бы ни спрашивали,— простучал Голицын, рассказав о допросе.

— Молчать нельзя: повредишь не только себе, но и другим,— ответил Оболенский.

— Чернышев говорит то же,— возразил Голицын.

— Он прав. Отвечать надо, лгать, хитрить.

— Не могу. Ты можешь?

— Учусь.

— Рылеев, подлец, всех выдает.

— Нет, не подлец. Ты не знаешь. Была у вас очная ставка?

— Нет.

— Будет. Увидишь: он лучше нас всех.

— Не понимаю.

— Поймешь. Если о Каховском спросят, не выдавай, что убил Милорадовича. Ведь и я ранил штыком; может быть, не он, а я убил.

— Зачем лжешь? Сам знаешь, что он.

— Все равно, не выдавай. Спаси его.

— Его спасти, а тебя погубить?

— Не погубишь: все за меня против него.

— Я лгать не хочу.

— Ты все о себе думаешь — думай о других. Идут. Прощай.

После разговора с Оболенским Голицын задумался и забылся так, что не заметил, как, проголодавшись, начал есть булку. Опомнился, когда уже съел половину. Оставлять не стоило, съел всю.

Ночью проснулся от боли в животе. Стонал и охал. Всю ночь промучился. К утру сделалась рвота, такая жестокая, что думал,— умрет. Но полегчало. Уснул.

— Как почивать изволили?— разбудил его Сукин.

— Прескверно. Тошнило.

— Что-нибудь съели?

— Трусов угостил булкой.

— Водой не запили?

— Нет.

— Ну, вот от этого. Надобно хлеб водой заливать. Ничего, пройдет. Сейчас будет лекарь.

— Не надо лекаря.

— Нет, надо. Сохрани Бог, что-нибудь сделается. У нас тут строго: за жизнь арестантов головой отвечаем.

«Безымянный»,— так называл Голицын того замухрышку-солдатика, который оказался для него Самарянином Милостивым,— узнав о ночном происшествии, объявил, что Голицын отравлен.

— Может, ваше благородие, чем не потрафили — так вот они вас и мучают.

Пришел лекарь, тот самый, который был в Зимнем дворце, на допросе Одоевского, Соломон Моисеевич Элькан, должно быть, из выкрестов, черномазый, толстогубый, с бегающими глазками, хитрыми и наглыми. «Прескверная рожа. Этакий, пожалуй, и отравить может!»— подумал Голицын.

Арестанта перевели на больничный паек — чай и жидкий суп. Но он ничего не ел, кроме хлеба, который приносил ему потихоньку Безымянный.

Два дня не ел, а на третий зашел к нему Подушкин. Присел рядом на койку, вздохнул, зевнул, перекрестил рот и начал:

— Что вы не кушаете?

— Не хочется.

— Полноте, кушайте,— ведь заставят!

— Как заставят?

— А так: всунут машинку в рот и нальют бульону,— насильно проглотите. А то в «мешок» посадят.

— Какой мешок?

— А такие карцеры есть под землей; сверху плита каменная с дыркой для воздуху. Ну, там не то, что здесь,— темно, сыро, нехорошо.

Помолчал, опять зевнул и прибавил:

— Не горюйте, все пройдет. Вот и генерал Ермолов сидел в царствование императора Павла Первого, а как выпустили, со мной и не кланяется. Вот и с вами так же будет. Все пройдет, все к лучшему.

— Вы «Кандида» читали, Егор Михайлович?

— Это насчет носа? Да-с, имею с Кандидом сие преимущество: нельзя оставить с носом!

Памятуя машинку и мешок, Голицын стал есть.

Иногда заходил к нему Сукин. Седой, в скобку подстриженный, с грубым солдатским лицом, напоминавшим старую моську, стоя на своей деревянной ноге, начинал издалека:

— Я, сударь мой, так рассуждаю: ежели можно жить где-нибудь счастливо, так это, конечно, в России: только не тронь никого, исполняй свои обязанности,— и свободы

такой нигде не найдешь, как у нас, и проживешь, как в царствии Божием.

Умолкал и, не дождавшись ответа, опять начинал:

— Вы, господа, пустое затеяли: Россия столь обширный край, что не может управляться иначе, как властью самодержавною. Если бы и удалось Четырнадцатое, такая бы пошла кутерьма, что вы и сами были бы не рады.

Опять умолкал, долго смотрел на Голицына; потом вынимал платок, сморкался и вытирал глаза:

— Ах, молодой человек, молодой человек! Глядючи на вас, сердце кровью обливается... Ну, пожалейте вы себя, не упрямьтесь, ответьте на пункты как следует. Государь милостив,— все еще может поправиться...

И так без конца. «Взять бы его за шиворот и вытолкать!»— думал Голицын с тихим бешенством.

После ночного припадка все еще был нездоров. К доктору Элькану не скрывал своего отвращения и выжил его. Вместо доктора заходил к нему фельдшер, Авенир Пантелеевич Затрапезный, тоже знакомый по допросу Одоевского; человек низенький, толстенький, небритый, нечесаный, похожий на свою фамилию, забулдыга и пьяница, но честный, не глупый и, как сам рекомендовался, «якобинец отъявленный». От него узнавал Голицын о том, что происходит в крепости.

У полковника Пестеля, недавно арестованного в Южной Армии, найден яд: хотел отравиться, чтобы избегнуть пытки. Подпоручик Заикин пытался убить себя, ударяясь головой об стену; знал, где зарыта «Русская Правда», и тоже опасался пытки.

Подполковник Фаленберг, почти ни в чем не замешанный, поверив, что в случае признания, его простят и освободят немедленно, ложно обвинил себя в умысле на цареубийство, а когда его посадили в крепость, помешался в уме.

Девятнадцатилетний мичман Дивов, «младенец», как звали его тюремщики, доносил, что каждую ночь снится ему все один и тот же сон,— будто закалывает государя кинжалом. Слышал голоса, имел видения — доносил и о них; и по этим доносам людей хватали и сажали в крепость.

Поручик Анненков повесился на полотенце, сорвался и поднят без чувств на полу камеры.

Корнет Свистунов проглотил осколки разбитого лампадного шкалика.

Полковник Булатов поверил в милость царскую, как в милость Божью, а когда увидел, что обманут, решил уморить себя голодом. Перед ним ставили самую вкусную

пищу, самое свежее питье; но он ни к чему не прикасался, только грыз пальцы и сосал из них кровь, чтобы утолить жажду. Муки его продолжались двенадцать дней: должно быть, кормили насильно. Как ни строг был надзор, сумел обмануть сторожей: разбил себе голову об стену.

«А что-то будет со мной?»— думал Голицын, слушая эти рассказы.

На вопросные пункты все еще не ответил. Сначала решил молчать, запираться во всем. Но чем больше думал, тем больше чувствовал, что нельзя молчать. Неотразимы были доводы Чернышева и Оболенского, врага и друга, что молчаньем губит не только себя, но и других.

Отец Мысловский продолжал заходить почти каждый день, но только на минутку. Зайдет, поговорит, помолчит, как будто ожидая чего-то, и, не дождавшись, уйдет.

— А что, отец Петр, как вы думаете, хорошо ли я делаю, что запираюсь?— спросил однажды Голицын.

— Валерьян Михайлович, родной мой, дорогой,— обрадовался Мысловский; видно было, что этого вопроса только и ждал,— чего же тут хорошего? Нехорошо, нехорошо, нерассудительно и, даже прямо скажу, неблагородно. Вы губите...

— Ну, знаю, знаю! Гублю не только себя, но и других. Все вы точно сговорились... Ах, отец Петр, и вы против меня! Я этого не ожидал от вас...

— Друг мой, поступайте по совести, как Бог вам внушит!— воскликнул отец Петр и бросился его обнимать.

В тот же день Голицын отослал ответ в Комиссию. Подтвердил все, в чем его самого обвиняли, а на остальные вопросы ответил незнанием. Отослал утром, а вечером Безымянный принес ему записку Каховского:

«Голицын, участь моя в ваших руках. Рылеев, подлец, всех выдает. Ежели у вас будет с ним очная ставка, и он сошлется на вас, что я убил Милорадовича, не выдавайте. Все подлецы, кроме вас».

После этой записки Голицын всю ночь не спал, мучился, решал, что ему делать, но ничего не решил — понял, что само решится.

Утром написал в Комиссию, просил вернуть вопросные пункты. Вернули. Начал писать новый ответ. Сделал так, как Оболенский советовал: отвечал на каждый вопрос с точностью, стараясь только никому не повредить, никого не запутать, и для этого лгал, хитрил, вилял, изворачивался.

Писал до поздней ночи. Кончив, лег. В темноте, при

тусклом свете ночника, листики ответа белели на столике. И каждый раз, как он взглядывал на них, чувствовал такое отвращение, что, казалось, вот-вот схватит и разорвет. Но не разорвал. Отвернулся к стене, чтобы не видеть, и, наконец, уснул.

На следующий день отправил новый ответ в Комиссию, а дня через два Сукин поздравил его с первою царскою милостью — снятием ножных желез. Вторая милость была посылка из дому: белье, любимый старый халат — тот самый, в котором он ходил в бабушкином доме, в желтой комнате, когда выздоравливал, — и распечатанная записка Мариньки:

«Мой друг, я здорова и столь благополучна, сколь возможно сие в моем положении. Береги и ты себя; ради Бога, не предавайся отчаянию. Не думай, что я могу существовать без тебя. Одна смерть разорвет нашу связь. Я буду там, где ты. Помни, что я говорила тебе: моя жизнь от тебя зависит, как нитка от иголки; куда иголка, туда и нитка. Храни тебя Бог и Матерь Пречистая. Твоя навеки, княгиня Марья Голицына».

Еще дня через два повезли его на второй допрос в Комиссию. Ввели в ту же залу, с теми же обрядами.

— Показания Рылеева по некоторым пунктам несходны с вашими. Вам будет дана очная ставка, — сказал Чернышев и позвонил. Конвойные ввели Рылеева.

— Подтверждаете ли вы, Голицын, что в ночь накануне Четырнадцатого Рылеев сказал Каховскому, давая кинжал: «убей царя»?

— Подтверждаю.

— А вы, Рылеев, что скажете?

— Я уже говорил вашему превосходительству, что согласен заранее со всем, что покажет Голицын. Я хорошенько не помню, что тогда говорил, но если он помнит, — значит, так и было... А вы, Голицын, помните?

— Помню, Рылеев, — сказал Голицын и поднял на него глаза.

Опять, как тогда, в Эрмитаже, — он и не он. Но негодованья, презренья теперь уже не было, а только жалость бесконечная: что с ним сделали? Исхудал, осунулся, как после тяжкой болезни или пытки. Но не это самое страшное, а безоблачная ясность, тихость лица, какая бывает у мертвых. «Ты его не знаешь: он лучше нас всех», — вспомнилось Голицыну.

— Итак, Рылеев, вы подговаривали Каховского?

— Подговаривал? Нет. Он сам решил, и я это знал. Но, может быть, без меня ничего бы не сделал. Я виноват больше, чем он, — ответил Рылеев и, помолчав, прибавил:

— Ваше превосходительство, я не скрываю не только дел и слов моих, но и самых тайных помыслов. Мне часто приходило на ум, что для прочного введения нового порядка необходимо истребление всей царствующей фамилии. Я полагал, что убиение одного государя не только не произведет пользы, но, напротив, может быть пагубно для цели Общества, ибо разделит умы, составит партии, взволнует приверженцев августейшей фамилии, и все сие неминуемо породит войну междуусобную. С истреблением же всей фамилии поневоле все партии соединятся. Но, сколько могу припомнить, я никому не открывал сего, да и сам, наконец, обратился к прежней мысли, что участь царствующего дома вправе решить только Великий Собор. За сим, покорнейше прошу Комиссию не приписывать того упорству моему, что я всего ныне показанного не открыл прежде. Если что и скрывал, то щадя не столько себя, сколько других. Признаюсь чистосердечно: я сам себя почитаю главнейшим и, может быть, единственным виновником Четырнадцатого, ибо если бы с самого начала отказался участвовать, то никто бы не начал. Словом, если для блага России нужна казнь, то я один ее заслуживаю и молю Создателя, чтобы на мне все кончилось.

— Каховский показывает, что графа Милорадовича убил Оболенский, нанеся ему рану штыком, — продолжал Чернышев. — Подтверждаете ли вы, Рылеев, что убил его не Оболенский, а Каховский, и сам об этом сказывал у вас на квартире, вечером, Четырнадцатого?

— Подтверждаю, — ответил Рылеев.

— Подтверждаете ли и вы, Голицын?

Голицын знал, что ответом своим погубит одного из двух — Оболенского или Каховского. Кого же выберет?

— Ну что ж, опять замолчали? — посмотрел на него Чернышев с усмешкой: думал, что поймал,— не отмолчится.

— Умоляю вас, Голицын, ответьте,— сказал Рылеев.— Судьба Оболенского в ваших руках. Спасите невиновного.

— Подтверждаю, — ответил Голицын.

— Собственными глазами видели? — спросил Чернышев.

— Видел, — произнес Голицын с таким чувством, как будто произносил смертный приговор Каховскому.

Чернышев опять позвонил и сказал:

— Введите Каховского.

Каховский вошел. Все тот же: лицо тяжелое-тяжелое, точно каменное, с нижнею губою надменно-оттопыренною, с глазами жалобными, как у больного ребенка или собаки, потерявшей хозяина, с невидящим взором лунатика.

Голицына отвели в соседнюю комнату и усадили в угол, за ширмами. В комнате был доктор Элькан с фельдшером Авениром Пантелеевичем. Потом Голицын узнал, что они просиживают тут все время заседания Комиссии: допрашиваемых иногда выносили в бесчувствии и тут же пускали им кровь.

Сначала голоса из-за двери доносились глухо, но потом, когда дверь приотворили, сделались внятными.

— Вы, стало быть, солгали, Каховский, оклеветали невинного?

— Оклеветал? Я? Я мог быть злодей в исступлении, но подлецом и клеветником никто меня не сделает. Будучи сами виновны, они смеют меня оскорблять, называя убийцею. Целовали, благословляли, а теперь как злодеем гнушаются. Ну, да все равно! Пусть что хотят, на меня показывают, я оправдываться не буду. Этот...

Голицын понял, что «этот» — Рылеев. Каховский так ненавидел его, что не хотел называть по имени.

— Этот не может меня оскорбить. Не оскорбляет ли более себя самого? Одно скажу: я не узнаю его или никогда не знал...

— А на главный вопрос вы так и не ответили: кто убил графа Милорадовича?

— Я уже имел честь изъяснить вашему превосходительству: я выстрелил по Милорадовичу, но не я один,— стрелял весь фас каре; а князь Оболенский нанес ему рану штыком. Я ли убил, или кто другой, не знаю. Вынудить меня говорить противное никто и ничто не в силах. Прошу меня больше не спрашивать, я отвечать не буду.

— Лучше не запирайтесь, Каховский. На вас показывают все.

— Кто все?

— Рылеев, Бестужев, Одоевский, Пущин, Голицын.

— Голицын? Не может быть...

— Хотите очную ставку?

— Нет, не надо...

Он вдруг замолчал.

— Извините, ваше превосходительство,— начал опять, и слезы задрожали в голосе,— минутная слабость, ребячество... Не плакать, а смеяться должно. «Все к лучшему в этом лучшем из миров»,— как говорит наш безносый философ[1]. Последний удар нанесен, последняя связь порвана. И кончено, кончено, кончено! Один я жил, один умру!

---

[1] Цитата из повести Вольтера «Кандид».

— Итак, убийство вами графа Милорадовича вы подтверждаете?

— Подтверждаю, подтверждаю, обеими руками подписываю. Я убил графа Милорадовича. И если бы государь подъехал к каре, то и его убил бы. И всех, всех,— намеренье и согласье мое было на истребление всех членов царствующей фамилии... Ну, вот, господа, чего же вам больше? Казните, делайте со мной, что хотите. Прошу одной милости — приговора скорейшего. Смерти я не боюсь и сумею умереть как следует.

— Вместе умрем, Каховский! Ты не один, помни же,— вместе! — воскликнул Рылеев, и в голосе его была такая мольба, что сердце у Голицына замерло: поймет ли тот, ответит ли?

— Что он говорит? Что он говорит? Сделайте милость, ваше превосходительство, избавьте меня... Слушать противно...

— Полно, Каховский, не горячитесь,— сказал Чернышев, встал и взял его за руку.

Подушкин выглянул из-за двери. Голицын — тоже.

— Будьте покойны, не трону, рук марать не желаю,— ответил Каховский и вдруг обернулся к Рылееву, как будто только теперь увидел его.— Ну, что, говори!

Рылеев поднял на него глаза с улыбкой:

— Я хотел сказать, Каховский, что я тебя всегда...

— Что? Что? Что? — наступал на него тот, сжав кулаки.

— Эй, ребята! — позвал Чернышев.

Вбежал плац-майор с конвойными.

— Любил и люблю,— кончил Рылеев.

— Любишь? Так вот же тебе за твою любовь, подлец! — закричал Каховский и кинулся на Рылеева, раздался звук пощечины.

Голицын вскрикнул и зашатался, как будто его самого ударили. Кто-то поддержал и усадил его на стул. Он потерял сознание.

Когда очнулся, фельдшер Затрапезный подносил ко рту его стакан с водою. Зубы стучали о стекло; долго не мог поймать губами край стакана; наконец, поймал, выпил и спросил:

— Что он с ним сделал? Убил?

— Ничего не убил, а только съездил подлеца по роже как следует,— ответил Затрапезный.

И опять как будто его самого ударили, Голицын почувствовал, что на лице его горит пощечина, и наслаждаясь болью и срамом, подумал:

«Так тебе и надо, подлец!»

— Ну, слава Богу, ответили, и дело с концом,— говорил отец Петр Голицыну, зайдя к нему в камеру на следующий день после допроса.— Теперь уж все гладко пойдет. Будьте покойны, всех помилует. Сам говорит: «удивлю Россию и Европу!»

Маленькие, под нависшими веками, треугольные щелки глаз светились такою простодушною хитростью, что Голицын, сколько ни вглядывался,— не мог решить, очень он прост или очень хитер.

— Государь сам изволил читать ваш ответ,— помолчав, прибавил Мысловский с таинственным видом.— Его величество сделал из него весьма выгодное заключение о ваших способностях...

— Ну, будет, отец Петр, уходите,— сказал Голицын, бледнея.

Отец Петр не понял и посмотрел на него с удивлением.

— Уходите! — повторил Голицын, еще больше бледнея.— Я ваш совет исполнил. Чего же вам еще нужно?

— Да что, что такое, Валерьян Михайлович, дорогой мой, голубчик? За что же вы на меня?..

— А за то, что вы, служитель Христов, не постыдились принять на себя обязанность презренного шпиона и сыщика!

— Бог вам судья, князь. Вы оскорбляете человека, который ничего, кроме добра...

— Вон! Вон! — закричал Голицын, вскочил и затопал ногами.

Отец Петр ушел и с того дня не появлялся. Голицын знал, что стоит ему сказать слово — и он тотчас прибежит. Но не хотел, старался убедить себя, что не нуждается в нем и что всегда ему был противен этот «чувствительный плут».

Не только отец Петр, но и все его покинули.

«Наконец-то в покое оставили»,— сначала радовался он; но, когда почувствовал, что одиночество сомкнулось над ним, как вода над утопающим, стало страшно.

Хуже всего было то, что Оболенского перевели в другую камеру. Перестукивания кончились. С новым соседом надо было все начинать сызнова. Вместо Оболенского посадили Одоевского. Когда Голицын постучал к нему, тот ответил таким неистовым грохотом, что часовые сбежались. И каждый раз, как Голицын пробовал стучать, повторялось то же. Наконец, бросил, отчаялся. А с другой стороны сидел полоумный Фаленберг; тот совсем не отвечал на стук. Тосковал и плакал о жене. Часто, среди ночи,

когда все утихало, слышались его рыданья, сначала глухие, потом все более громкие и кончавшиеся воплем раздирающим:

— Eudoxie! Eudoxie!

«Маринька! Маринька!» — хотелось ответить Голицыну таким же воплем.

В первые дни заключения, когда он думал, что сейчас конец, было легко. Но теперь, когда убедился, что конец может быть через месяцы, годы, десятки лет, им овладела тоска безысходная.

Дни проходили за днями, такие однообразные, что сливались, как в беспамятстве бреда, в один сплошной, нескончаемый день. Налепленные для счета дней хлебные шарики смахнул со стены: потерял счет времени. Время становилось вечностью, и в зияющую бездну ее он заглядывал с ужасом.

Рассудок разрушался, размалывался, как зерно между двумя жерновами,— между двумя мыслями: надо что-нибудь делать, а делать нечего.

Целыми часами складывал на столе выломанные из вентилятора жестяные перышки в различные фигуры — звезды, кресты, круги, многоугольники.

Или, сидя на койке, выдергивал бесконечную нитку, которой пристегивалась простыня к одеялу, и навязывал узлы, один за другой, так что под конец образовывался целый клубок; тогда развязывал и снова навязывал.

Или следил, как паук ткет паутину, и завидовал: делом занят — не соскучится.

Или, стоя на подоконнике, глядел сквозь дыру вентилятора на соседнюю глухую гранитную стену и крышу бастиона с водосточным желобом, где иногда знакомая ворона садилась и каркала.

Или кружился по камере и выдолбленные на кирпичном полу ногами прежних жильцов ямки еще глубже выдалбливал.

Или сочинял дурацкие стишки и твердил их бессмысленно, до одури:

Кто не знает нашу участь,
Не поверит тот никак,
Чтоб за этакую глупость
Могли мучиться мы так.

В углу, где умывался, на стене была надпись: «God damn your ayes».[1]

— Кто это писал? — спросил Безымянного.

— Англичанин.

[1] Порази Господь Бог твои глаза (*англ.*).

— Что же с ним сделалось?
— Помер.
— От чего?
— От спячки. День и ночь спал, во сне и помер.
«Вот и я умру так же, во сне»,— подумал Голицын.
Сделался слезлив, как баба. Когда звонили куранты заунывным, точно похоронным, звоном, хотелось плакать. Когда фейерверкер Шибаев приносил обед или чай с улыбкой особенно ласковой, тоже навертывались слезы. Однажды перечел записку Мариньки и как ребенок расплакался. А когда часовой заглянул в «глазок», стало стыдно; повернулся к нему спиною, хотел удержать слезы и не мог, — лились, неутолимые, отвратительно сладкие. «Вот что наделала крепость в две-три недели, а что будет дальше?» — подумал:

Погибну я за край родной,
Я это чувствую, я знаю;
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю.

А как дошло до дела, испугался, ослабел, не захотел погибать; любил жизнь, потому что любил Мариньку. Любовь — подлость: чтобы умереть как следует, надо разлюбить, убить любовь, — из всех его страшных мыслей это была самая страшная.
С каждым днем тоска усиливалась, терпенье истощалось; сердце выболело, мысли мешались, и ему казалось, что он сходит с ума. Следил за собою и в каждом своем движении, слове, мысли находил признаки помешательства. Сначала был страх безумья, а потом страх этого страха. Сходил с ума на мысли, что сойдет с ума. «Уж скорее бы!» — думал с отчаянием и, стоя в углу, бился головой об стену. Или рассматривал отточенное жестяное перо вентилятора: нельзя ли зарезаться?
Наконец, заболел. Сделался жар, закололо в боку, закашлял кровью. Комендант Сукин перепугался, позвал Элькана. Тот объявил, что если больного не переведут в лучшую камеру, то может быть чахотка.
Голицын обрадовался. Все муки его сразу кончились: смерть — свобода.
Отец Петр, узнав, что он болен, прибежал к нему, а когда он стал извиняться, что оскорбил его в последнее свидание, не дал ему говорить, бросился на шею и заплакал.
Начал опять заходить каждый день. Чтобы развлечь больного, рассказывал городские слухи и новости.
От него узнал Голицын о прибытии похоронного шествия с телом покойного императора. Все о нем забыли так, как будто похоронили уже лет десять назад. А между

тем, через всю Россию, из Таганрога в Петербург, медленно-медленно, больше двух месяцев, тянулось похоронное шествие, окруженное войсками, пешими и конными, с авангардами и арьергардами, разъездами и патрулями, как военный поход в стране неприятельской. Опасались бунта. В народе шел слух, что государь не умер и хоронят кого-то другого; в Москве, будто, хотят выбросить из гроба тело и таскать по улицам, а потом сжечь. «Принял я строжайшие меры к совершенной безопасности бесценного праха,— доносил граф Орлов-Денисов, обер-церемониймейстер похорон.— Смею ручаться, что последняя капля крови моей застынет у подножия гроба августейшего усопшего, и через хладный только труп мой насильство достичь может дерзновенного прикосновения». По прибытии тела в Москву запирали на ночь ворота в Кремле и у каждого входа ставили заряженные пушки. А в Петербурге, будто, проведены были пороховые подкопы под всеми улицами, от заставы до Казанского собора, по коим должно было следовать шествие; и в подвалах собора спрятаны четыре бочки с порохом; и в каждом флашкоуте Троицкого моста — тоже по бочке, чтобы взорвать шествие.

Еще более странный слух сообщил Голицыну Авенир Пантелеевич: государь будто бы умер от яду; Меттерних, злодей, отравил; лицо в гробу почернело так, что узнать нельзя. А на живом государе тоже лица нет от страху,— не лучше покойника.

Но то, что Безымянный рассказывал, было всего удивительней.

Во время проезда государева тела был в Москве из некоторого села дьячок; а когда он вернулся в село, стали его мужики спрашивать, что царя-де видел ли. «Какого, говорит, царя? Это не царя, а черта везут!» Тогда один мужик его ударил в ухо и объявил попу, а поп — начальству; и того дьячка взяли за караул. А еще сказывают, будто не царь в гробу и не черт, а простой русский солдат. Когда государь жил в Таганроге, то хотели его убить изверги. И, сведав про то, государь вышел ночью из дворца к часовому: «Хочешь, говорит, часовой, за меня умереть?» — «Рад стараться, ваше величество!» И тогда государь надел солдатский мундир и стал на часы, а солдат, в мундире царском, пошел во дворец. Вдруг из пистолета по нем выстрелили. Солдат помер, а государь, бросив ружье, бежал с часов неизвестно куда. В скиты, говорят, к старцам, душу спасать, молиться, чтобы Господь Россию помиловал.

— Как знать, может, и правда,— подмигнул отец Петр Голицыну с таинственным видом, когда тот передал ему рассказ Безымянного.

— Что правда? — удивился Голицын.

— А то, что был мертв и се, жив...

— Бог с вами, отец Петр! Подумайте только, какая нелепость. Ужели все генералы, адъютанты, придворные, все сопровождавшие тело его, весь Таганрог и сама императрица Елизавета Алексеевна, — ужели все они участвовали в заговоре, чтобы обмануть Россию?

— Да, как будто не того,— согласился отец Петр нехотя; но помолчал, подумал и прибавил еще таинственнее: — Темное дело, ваше сиятельство, темное!

И вдруг, наклонившись к уху его, зашептал:

— А солдатик-то, действительно, был, говорят, в полковом гошпитале, в Таганроге, больной при смерти, необыкновенно лицом на государя похож. Солдатик помер, а государь выздоровел. Ну, и подменили. Лейб-медик Вилье все дело сварганил. Прехитрая бестия!

— Да зачем? Кому это нужно?

— А кому это нужно,— тайна великая. Ныне сокровенно сие, а, может, когда и откроется. Некий старец явится, святой угодник Божий, за всю Россию подвижник и мученик, от земли до неба столп огненный, Благословенный воистину. Имя же ему...

— Ну, что ж, говорите.

— А никому не скажете?

— Никому.

— Даете слово?

— Даю.

— Федор Кузьмич,— прошептал отец Петр благоговейным шепотом.

— Федор Кузьмич,— повторил Голицын, и что-то вещее, жуткое послышалось ему в этом имени, как будто на одно мгновение он поверил, что так оно и есть: старец Федор Кузьмич — император Александр Павлович.

Вспомнил разговор в Линцах с Пестелем и Софьин бред: «убить мертвого»; «был мертв — и се, жив».

13-го марта Безымянный объявил Голицыну:

— Царя нынче хоронят.

Сквозь верхнее незабеленное звено окна видно было, что на дворе метелица; снег падал густыми, еще не мокрыми, но уже мягкими как пух, мартовскими хлопьями.

Голицын закрыл глаза и увидел медленно тянущееся похоронное шествие, с черным катафалком и черным гробом, под белым снежным саваном.

Вдруг загрохотали оглушительные пушечные выстрелы. Стены каземата дрожали, как будто рушились. Вспыхивало пламя, освещая камеру.

Он понял, что в эту минуту в соборе Петропавловской крепости опускают в могилу тело императора Александра Первого.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Крепостному начальству велено было стараться, чтобы никто из заключенных не умер до окончания дела. За Голицыным ухаживали: переменили жесткую койку на мягкую; стали лучше кормить, давать книги; после ножных сняли и ручные кандалы и, наконец, перевели в другую камеру, посуше. Но он жалел о прежней, темной и тесной, о ямках от ног на кирпичном полу, о друге-пауке и пятнах сырости на штукатурке стен, для него не пятнах, а лицах и образах.

В начале апреля уже выздоравливал. Когда почувствовал, что не умрет, хотел огорчиться и не мог. Пусть месяцы, годы, десятки лет заключения, пусть новые муки, еще неизвестные, — только бы жить!

В новой камере окно выходило на полдень. Внизу был ров, и стены бастиона отступали так, что было больше неба, чем в прежней камере, и, несмотря на глубокую, почти двухаршинную впадину окна, солнце в начале апреля стало заглядывать, ложась на белую стену острым углом света с черною тенью решеток.

Он садился в этот угол и, зажмурив глаза, смотрел прямо на солнце. Ни о чем не думал, только впитывал свет и тепло, как растение. Солнце и он — больше ничего и никого не нужно. А Маринька? Маринька — то, почему солнце светит земле. Казалось, только здесь, в тюрьме, в первый раз в жизни узнал, что такое свобода и счастие. Сначала стыдился, боялся, что так просто счастлив, но потом понял, что опять — «все хорошо». «Как хорошо, Господи!» — хотел молиться, но молитвы не было, а было только воздыхание к Богу, вопрос и ответ: «Здесь?» — «Здесь». И вся душа затихала тишиною последнею.

С отцом Петром помирился окончательно. Понял, что хотя он и «плут», но плутовство у него, как часто бывает у русских людей, с добротою смешано, и даже так, что чем плутоватее, тем добрее. Может быть, сначала кривил душою, служил и нашим и вашим; но, мало-помалу, изменил тюремщикам и перешел на сторону узников. Не умом, а сердцем угадывал, что эти «злодеи» — лучшие люди в России. Полюбил их в самом деле, как духовный отец — детей своих.

— А ведь вы наш, отец Петр,— сказал ему однажды Голицын.

— Наконец-то поняли,— весь просиял отец Петр.— Ваш, друзья мои, ваш! С такими людьми жить и умереть!

12 апреля, в Вербное воскресенье, вошел Мысловский к Голицыну, в ризе, с чашей в руках и сказал, что причащает узников.

— А вы, князь, не желаете? — спросил так же, как в первое свидание, три месяца назад, и Голицын так же ответил:

— Нет, не желаю.

— Почему же?

— Потому, что не хочу смешивать Христа со Зверем.

И он объяснил ему свою давнюю мысль о кощунственном соединении Кесарева с Божьим, царства с церковью.

— Ну, а если и так, вам-то за что погибать? Не вкушает ли голодный хлеба и в вертепе разбойничьем?

Голицын умолк, обезоруженный: так умилило и ужаснуло его это смирение, может быть, не только отца Петра, но и всех, кто за ним.

— Вы знаете, отец Петр, за что я к злодеям причастен, и знаете, что я ни в чем не раскаиваюсь. И нераскаянного причастили бы?

— Причастил бы.

— И убийцу?

— Что вы, князь, Бог с вами, кого вы убили?

— Все равно, хотел убить — убить Зверя во имя Христа. Можно во имя Христа убить, отец Петр, как вы думаете?

Отец Петр стоял у окна. Луч солнца падал на золотую чашу в руках его, и она сияла, как солнце. Руки его дрожали так, что казалось,— уронит чашу. Губы шевелились беззвучно: хотел что-то сказать и не мог.

— Не знаю,— проговорил, наконец.— Я вас не сужу. Бог рассудит...

Голицын опустился на колени.

— Простите, отец Петр! Если бы вы и могли, я не могу...— прошептал он, поцеловал руку его и пал ниц перед чашею.

Отец Петр благословил его молча и вышел.

18 апреля, в Светлую ночь[1], Голицын не спал — все ждал чего-то, прислушивался. Но сквозь глухие стены каземата ни один звук не проникал, тишина была мертвая. Встал на подоконник и выглянул сквозь дыру вентилятора; здесь, в новой камере, тоже выломал из него перышки.

---

[1] Ночь перед Воскресением Христовым.

Увидел только темноту, как чернила черную. Приложил ухо к дыре и, как смутное жужжание пчелиного улья, услышал глухой гул колоколов — пасхальный благовест.

Никогда, казалось, не чувствовал так, как здесь, в каземате, погребенный заживо, что Христос воскрес.

В мае начали водить арестантов на прогулку в садик, внутри Алексеевского равелина. Повели и Голицына.

Когда он переступил порог наружной двери, солнечный свет ослепил его так, что он закрыл глаза руками. Свежий воздух останавливал дыхание, и, как вышедшему на берег после долгого плавания, ему казалось, что земля под ним качается. Фейерверкер Шибаев поддержал его под руку и повел в садик.

Садик был треугольный, в треугольнике высоких стен, как на дне колодца; стены — гранитные, гладкие, голые, без окон, снизу поросшие зеленым мхом и лишаями желто-серыми, как дикие скалы, с одной только дверцей, окованной железом, с железной решеткой.

Немного травки, несколько кустиков сирени, бузины и черемухи, две-три березки; между ними — деревянная полусломанная лавочка и, у одной из стен, дерновый холмик с ветхим покачнувшимся крестиком,— как объяснил Шибаев,— могила утонувшей во время наводнения узницы, княжны Таракановой.

Садик был жалкий, а Голицыну казался Божьим раем. И как первый человек в раю или мертвец, вставший из гроба, он глядел с ненасытною жадностью на желтые цветы одуванчиков, на смолисто-клейкие лапки березовых листиков, на голубое небо и тающие, как светлый пар, облака.

Заиграли куранты, как будто над самой головой его. Он взглянул вверх.

— Пожалуйте сюда, ваше благородие, отсюда видать,— указал ему Шибаев на один из углов треугольника. Голицын подошел, встал на рундук водосточного желоба, прислонясь спиной к стене, и увидел ослепительно сверкавшую на солнце, как огненный меч, золотую иглу Петропавловской крепости с архангелом, трубящим в трубу как бы в знак того, что узники выйдут на волю из этой живой могилы только в воскресение мертвых.

Опять вернулся в середину садика и сел на лавочку. Шибаев что-то говорил, но он его не слышал. Тот понял, что Голицын хочет остаться один; отошел, отвернулся и закурил трубочку.

Голицын долго глядел на тонкий белый ствол березки, потом вдруг обнял его, прижался к нему щекой и закрыл

глаза. Вспомнил Мариньку: «Выбегу, бывало, в рощу; молодые березки — тоненькие, как восковые свечечки; кожица у них такая мягкая, теплая, солнцем нагретая, совсем как живая. Обниму, прижмусь щекою и ласкаюсь, целую: миленькая, родненькая, сестричка моя!»

Когда Голицын вернулся в свою новую, «светлую» камеру, она показалась ему темным и тесным гробом. Как будто на мгновение встал из гроба и опять упал: уж лучше б не вставать. Решил не ходить на прогулку. Отказался раз, два, а потом не выдержал — пошел.

Березки уже распустились, и благоухание цветущей сирени пахнуло в лицо ему росною свежестью. Опять, как намедни, сел на лавочку, обнял березку, прижался щекою и закрыл глаза. Такая тоска сжала сердце, что хотелось кричать как от боли.

Вдруг шорох шагов. Открыл глаза, вскочил и выставил руки вперед с тихим криком ужаса: казалось, что видит призрак Мариньки.

— Валенька, светик мой, родненький! — бросилась к нему, обняла, прильнула всем телом — живая, живая Маринька.

Что было потом, уже не помнили. Говорили, спешили, перебивали, не понимали друг друга, смеялись и плакали вместе. Он вглядывался в нее, удивлялся и не узнавал: как похудела, побледнела и расцвела новой прелестью, неведомой! Девятнадцатилетняя девочка и уже взрослая женщина. Какое спокойное мужество! Ни страха, ни скорби в этих больших, темных глазах, а только сила любви бесконечная, как у Той, Всемогущей, на полотне Рафаэлевом.

— Ты, Маринька, ты... Господи! Как ты сюда?..

— А что, не ждал, думал, не приду? А вот и пришла. Анкудиныч провел.

— Какой Анкудиныч?

— Ничипоренко. Аль не знаешь? Вон он стоит.

Голицын увидел стоявшего поодаль, рядом с Шибаевым, ефрейтора Ничипоренку, того самого, который когда-то грозил ему розгами.

— Я ведь тут каждый день бываю в крепости, будто бы в церковь к обедне хожу. Не знала, что ты в равелине сидишь. С бульвара-то, от церкви, окна казематов видны, все в ряд, одинаковые, мелом замазаны,— ничего не разобрать. А я все смотрю: думаю, какое окно твое? Надоела всем. Комендант ругается; раз хотел из церкви вывести. Так я переоденусь, бывало, девкой и так пробираюсь. А у Подушкина дочка, Аделаида Егоровна, старая девица, предобрая. Влюбилась в Каховского... Ах, Боже мой,

сколько надо сказать, а я вздор болтаю! А знаешь, когда шел лед...

Начала и не кончила, должно быть, опять решила, что вздор. Хотела рассказать, как однажды бабушкин дворецкий Ананий, тоже часто бывавший в крепости, напугал ее, будто бы князь болен, при смерти. Кинулась в крепость, а все мосты разведены,— ледоход. Яличники отказывались ехать. Наконец, одного умолила: согласился за 25 рублей. Кинул ей веревку; надо было привязать ее к чугунному кольцу, вбитому в перила набережной, чтобы спуститься по обледенелым ступеням гранитной лестницы. Долго не могла справиться: мерзлая веревка — жесткая, чугунное кольцо — тяжелое, обледенелый гранит — скользкий, а руки — слабые. Но лед, и чугун, и гранит,— все победили слабые руки. Спустилась в ялик. Поплыли. Несущиеся навстречу льдины громоздились, ломались, трещали — вот-вот опрокинут ялик. Старый лодочник, бледный от страха, то ругался, то молился. А когда причалили к другому берегу, взглянул на нее с восхищением: «Ах, хороша девка!» — должно быть, подумал, как все о ней думали. Было поздно; ворота крепости заперты; часовой не пропускал. Сунула ему денег, отпер. Побежала на квартиру к Подушкину. Аделаида Егоровна успокоила: князь был очень болен, но теперь лучше; доктор обещает, что скоро будет здоров. «А что это у вас с ручками-то, ваше сиятельство!» — вдруг вскрикнула старая девица в ужасе. Маринька взглянула на руки: перчатки в лохмотьях и ладони в крови; ободрала кожу о ледяную веревку. Улыбнулась, вспомнила, как он целовал ей руки в ладони.

— Отчего ты в трауре? — спросил Голицын, когда помолчали, глядя друг другу в глаза и угадывая все, что не умели сказать. Только теперь он заметил, что она в черном платье и в черной шляпке с траурным вуалем.

— Похоронила бабиньку.

— А Нина Львовна здорова?

— Н-нет, не очень,— потупилась она и заговорила о другом.

Он понял, что она умоляет его не говорить о матери: хочет одна нести эту муку.

Подошел Ничипоренко.

— Пожалуйте, ваше сиятельство.

— Сейчас, Анкудиныч, еще минутку...

— Никак нельзя. Комендант увидит — беда будет.

Маринька достала из кармана пачку ассигнаций и сунула ему в руку. Он покосился на них: должно быть,— мало. Опять опустила руку в карман, но там ничего уже не

было. Тогда сняла с шеи золотую цепочку с крестиком и отдала ему. Он отошел.

Опять заговорили, но уже безрадостно: чувствовали, что минута разлуки близка.

— Постой, что я хотела? Ах, да,— заторопилась, зашептала ему по-французски на ухо.— Бежать, говорят, можно: теперь на Неве много судов заграничных, близко к крепости. Фома Фомич с одним капитаном уже говорил и пачпорт достал. А плац-адъютант Трусов за десять тысяч...

— Трусов — негодяй; берегись его. Бежать нельзя. А если б и можно, я не хочу.

— Отчего?

Он посмотрел на нее молча так, что она поняла.

— Ну, прости, милый, я ведь ничего не понимаю... А знаешь, отец Петр говорит, что всех помилуют.

— Нет, Маринька, не помилуют. Да и не нужно нам ихней милости.

— Ну, все равно, пусть хоть на край света сошлют,— будем вместе! А если...— не кончила, но он понял: «Если умрешь,— и я с тобой».

— Ваше сиятельство,— опять подошел Ничипоренко и взял ее за руку.

Она оттолкнула его, бросилась на шею к Голицыну, обняла его так же как давеча, прильнула всем телом, поцеловала, перекрестила:

— Храни тебя Матерь Пречистая!

И в последнем взоре — ни страха, ни скорби, а только сила любви бесконечная, как у Той, Всемогущей.

Когда он опомнился, ее уже не было, и опять казалось ему, что это было только видение. Опустился на лавочку и долго сидел с закрытыми глазами, не двигаясь. Вдруг почувствовал на лице холодные капли и открыл глаза. Набежало облачко; золотые нити дождя на солнце задрожали, зазвенели, как золотые струны, певучими звонами. Падали крупные капли, как светлые слезы, словно кто-то плакал от радости. Ярче зазеленела трава, забелели стволы берез, и сирень задышала благоуханнее.

Он оглянулся: никого не было в садике; Шибаев вышел за дверцу,— должно быть, понял, так же как намедни, что он хочет остаться один.

Голицын стал на колени, нагнулся, раздвинул влажную траву и припал губами к земле. «Любить землю грех, надо любить небесное»,— вспомнил и засмеялся, заплакал от радости. Целовал землю и шептал:

— Земля, земля, Матерь Пречистая!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Записки С. И. Муравьева-Апостола.

«Россия гибнет, Россия гибнет. Боже, спаси Россию!» — так я молюсь, умирая.

Я знаю, что умру. Все говорят, что смертной казни не будет, а я думаю, — будет. Но если б и не было казни, я, кажется, умер бы: со сломанной ногой нельзя ходить — со сломанной душой нельзя жить.

После разбития мятежного Черниговского полка, 4-го января, я привезен был в Петербург, тяжело раненный, так что живу быть не чаяли. Но вот остался жив: первой смертью не умер, чтобы умереть второй.

Мореплаватель, затертый льдами, кидает бутылку в море с последнею отрадною мыслью: узнают, как мы погибли. Так я кидаю в океан будущие сии записки предсмертные — мое завещание России.

Пишу на клочках и прячу в тайник: в полу моей камеры один из кирпичей подымается. Перед смертью отдам кому-нибудь из товарищей: может быть, сохранят.

Плохо пишу по-русски. Je dois avouer à ma honte que j'ai plus d'abitude de la langue francaise que de russe.[1] Буду писать на обоих языках. Такова уж наша судьба: чужие на родине.

Я провел детство в Германии, Испании, Франции. Возвращаясь в Россию и завидев на Прусской границе казака на часах, мы с братом Матвеем выскочили из кареты и бросились его обнимать.

— Я очень рада, что долгое пребывание на чужбине не охладило вашей любви к отечеству,— сказала маменька, когда мы поехали далее.— Но готовьтесь, дети, я должна сообщить вам страшную весть: в России вы найдете то, чего еще не знаете, — рабов.

Мы только потом поняли эту страшную весть: вольность — чужбина, рабство — отечество.

[1] К стыду своему должен признать, что я больше привык к французскому, нежели к русскому языку *(франц.)*.

Мы — дети Двенадцатого года. Тогда русский народ единодушным восстанием спас отечество. То восстание — начало этого; Двенадцатый год — начало Двадцать пятого. Мы думали тогда: век славы военной с Наполеоном кончился; наступили времена освобождения народов. И неужели Россия, освободившая Европу из-под ига Наполеона, не свергнет собственного ига? Россия удерживает порывы всех народов к вольности: освободится Россия — освободится весь мир.

Намедни папенька, зайдя ко мне в камеру и увидев мундир мой, запятнанный кровью, сказал:

— Я пришлю тебе новое платье.

— Не нужно,— ответил я,— я умру с пятнами крови, пролитой...

Я хотел сказать: «за отечество», но не сказал: я пролил кровь больше, чем за отечество.

Вот одно из первых моих воспоминаний младенческих. Не знаю, впрочем, сам ли я это помню, или только повторяю то, что брат Матвей мне сказывал. В 1801 году, 12 марта, утром после чаю, брат подошел к окну, — мы жили тогда на Фонтанке, у Обухова моста, в доме Юсупова, — выглянул на улицу и спросил маменьку:

— Сегодня Пасха?

— Нет, что ты, Матюша.

— А что ж, вон люди на улице христосуются?

В эту ночь убит был император Павел. Так соединила Россия Христа с вольностью: царь убит — Христос воскрес.

Кровавой чаше причастимся,—
И я скажу: Христос воскрес!

Это — кощунство в устах афея Пушкина. Но он и сам не знал, над какой святыней кощунствовал.

А вот мое показание Следственной Комиссии о беседе с Горбачевским, членом Тайного Общества Соединенных Славян:

«Утверждаемо было мною, что в случае восстания, в смутные времена переворота, самая твердейшая наша надежда и опора должна быть привязанность к вере, столь

сильно существующая в русских; что вера всегда будет сильным двигателем человеческого сердца и укажет людям путь к вольности. На что Горбачевский отвечал мне с видом сомнения и удивления, что он полагает, напротив, что вера противна свободе. Я тогда стал ему доказывать, что мнение сие совершенно ошибочно; что истинная свобода сделалась известною только со времени проповедания христианской веры; и что Франция, впавшая в толикие бедствия во время своего переворота именно от вкравшегося в умы безверия, должна служить нам уроком».

Философ Гегель полагает, что французский переворот есть высшее развитие христианства и что явление оного столь же важно, как явление самого Христа. Нет, не французский переворот *был*, а переворот истинный *будет* таким. Якобинская же вольность без Бога — воистину «ужас» — la terreur — человекоубийство ненасытимое, кровавая чаша диавола.

Соединить Христа с вольностью — вот великая мысль, великий свет всеозаряющий.

А может быть, никто никогда не узнает, за что я погиб. Не стены казамата отделяют меня от людей, а стена одиночества. С людьми, на воле, я так же один, как здесь, в тюрьме.

Toujours rêveur et solitaire,
Je passerai sur cette terre,
Sans que personne m'ait connu;
Ce n'est pas qu'au bout de ma carrière,
Que par un grand trait de lumière
On connaitra ce qu'on a perdu[1].

Так хвастать мог только глупенький мальчик. Увы, пришел мой конец, и никаким светом не озарился мир. Но мне все еще кажется, что была у меня великая мысль, великий свет всеозаряющий; только сказать о них людям

---

[1] Я пройду по земле,
Вечный одинокий мечтатель,
И никто не узнает меня;
Лишь в конце моей жизни
При ярком луче света
Люди узна́ют, кого они потеряли (*франц.*).

я не умел. Знать истину и не уметь сказать — самая страшная из мук человеческих.

Единственный человек в России, который понял бы меня, — Чаадаев. Как сейчас помню наши ночные беседы в 1817 году, в Петербурге, в казармах Семеновского полка; мы тогда вместе служили и вступили в Союз Благоденствия. Помню лицо его, бледное, нежное, как из воску или из мрамора, тонкие губы с вечною усмешкою, серо-голубые глаза, такие грустные, как будто они уже конец мира увидели.

— Преходит образ мира сего, новый мир начинается,— говорил Чаадаев.— К последним обетованиям готовится род человеческий — к Царствию Божьему на земле, как на небе. И не Россия ли, пустая, открытая, белая, как лист бумаги, на коем ничего не написано, — без прошлого, без настоящего, вся в будущем — неожиданность безмерная, une immense spontanéité,— не Россия ли призвана осуществить сии обетования, разгадать загадку человечества?

И все наши беседы кончались молитвой: «Adveniat regnum tuum. Да приидет царствие Твое».

«Да будет один Царь на земле, как на небе, — Иисус Христос». Это слова моего Катехизиса.

«От умозрений до совершений весьма далече»,— сказал однажды Пестель. И он же — обо мне, брату моему Матвею: «Votre frère est trop pur».[1]

Да, слишком чист, потому что слишком умозрителен. Чистота — пустота проклятая. Чистое умозрение в делании — дон-кишотство, смешное и жалкое. Я ничего не сделал, только унизил великую мысль, уронил святыню в грязь и в кровь. Но я все-таки пробовал сделать; Пестель даже не пробовал.

Он был арестован Четырнадцатого, в самый день восстания. Некоторое время колебался и помышлял идти с Вятским полком на Тульчин, арестовать главнокомандующего, весь штаб второй армии и поднять знамя восстания. Но кончил тем, что сел в коляску и поехал в Тульчин, где его арестовали тотчас.

---

[1] «Ваш брат слишком чист» (*франц.*).

Умно поступил, умнее нас всех: остался в чистом умозрении.

Я мог бы полюбить Пестеля; но он меня не любит — боится или презирает. Ясность ума у него бесконечная. Но всего умом не поймешь. Я кое-что знаю, чего не знает он. Надо бы нам соединиться. Может быть, переворот не удался, потому что мы этого не сделали.

Вниз катить камень легко, трудно — подымать вверх. Пестель катит камень вниз, я подымаю вверх. Он хочет политики, я хочу религии: легка политика, трудна религия. Он хочет бывшего, я хочу небывалого.

Не христианин и не раб,
Прощать обид я не умею,—

сказал Рылеев. Христианство — рабство: вот яма, в которую катится все.

Пестель на Юге, Рылеев на Севере — два афея, два вождя Российской вольности. А в середине — множество бесчисленное малых сих. «Нынче только дураки да подлецы в Бога веруют»,— как сказал мне один русский якобинец, девятнадцатилетний прапорщик.

Не имея Бога, народ почитают за Бога.

— С народом все можно, без народа ничего нельзя,— воскликнул однажды Горбачевский, заспорив со мной о демократии.

— La masse n'est rien; elle ne sera que ce que veulent les individus qui sont tout. (Множество — ничто; оно будет только тем, чего хотят личности; личность — все), — ответил я, возмутившись.

Знаю, что это не так; но если нет Бога, пусть мне докажут, что это не так.

«Россия едина, как Бог един»,— говорит Пестель, а сам в Бога не верует. Но если нет Бога, то нет и единой, — нет никакой России.

Качу камень вверх, а он катится вниз — работа Сизифова. Я себя не обманываю, я знаю: если переворот в России будет, то не по моему Катехизису, а по «Русской Правде» Пестеля. О нем вспомнят, обо мне забудут; за ним пойдут все, за мной — никто. Будет и в России то же, что во Франции, — свобода без Бога, кровавая чаша дьявола.

Забудут, но вспомнят; уйдут, но вернутся. Камень, который отвергли зиждущие, тот самый сделается главою угла. Не спасется Россия, пока не исполнит моего завещания: свобода с Богом.

La Divinité se mire dans le monde. L'Essence Divine ne peut se réaliser que dans une infinité de formes finies. La manifestation de l'Eternel dans une forme finie ne peut être qu'imparfaite: la forme n'est qu'un *signe* qui indique sa presance[1].

Все дела человеческие — только *знаки*. Я только подал знак тебе, а мой далекий друг в поколениях будущих, как мановением руки, когда уже нет голоса, подает знак умирающий. Не суди же меня за то, что я сделал, а пойми, чего я хотел.

Мы о восстании не думали и не готовились к оному, когда 22 декабря, едучи с братом Матвеем из города Василькова, под Киевом, где стоял Черниговский полк, в Житомир, в корпусную квартиру, — на последней станции, от сенатского курьера, развозившего присяжные листы, получили первую весть о Четырнадцатом.

В корпусной квартире узнали, что Тайное Общество открыто правительством, и аресты начались. А на обратном пути в Васильков мой друг Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, подпоручик Полтавского полка, сообщил мне, что полковой командир Гебель гонится за мною с жандармами.

Я решил пробраться в Черниговский полк, чтобы там поднять восстание. Я понимал всю отчаянность оного: борьба горсти людей с исполинскими силами правительст-

---

[1] Божество отражается в мире. Божественная сущность может осуществляться только в бесконечности законченных форм. Проявление Всевышнего в законченной форме может быть только несовершенным: форма — лишь *знак* Его присутствия (*франц.*).

ва была верх безрассудства. Но я не мог покинуть восставших на Севере.

Мы продолжали путь в Васильков глухими проселками, скрываясь от Гебеля. Снегу было мало, колоть страшная; коляска наша сломалась. Мы наняли жидовскую форшпанку в Бердичеве и едва дотащились к ночи 28-го до селения Трилесы, на старой Киевской дороге, в 45-и верстах от Василькова. Остановились в казачьей хате, на квартире поручика Кузьмина. Измученные дорогой, тотчас легли спать.

Ночью прискакал Гебель с жандармским поручиком Лангом, расставил часовых, разбудил нас и объявил, что арестует по высочайшему повелению. Мы отдали ему шпаги,— рады были, что дело кончится без лишних жертв, — и пригласили его напиться чаю.

Пока сидели за чаем, наступило утро, и в хату вошли четверо офицеров, ротные командиры моего батальона, — Кузьмин, Соловьев, Сухинов и Щепило — члены Тайного Общества, приехавшие из Василькова для моего освобождения. Гебель вышел к ним в сени и начал выговаривать за самовольную отлучку от команд. Произошла ссора. Голоса становились все громче. Вдруг кто-то крикнул:

— Убить подлеца!

Все четверо бросились на Гебеля и, выхватив ружья у часовых, начали его бить прикладами, колоть штыками и шпагами, куда попало, — в грудь, в живот, в руки, в ноги, в спину, в голову. Роста огромного, сложения богатырского, он перетрусил так, что почти не оборонялся, только всхлипывал жалобно:

— Ой, панна Матка Бога! Ой, свента Матка Мария!

Густав Иванович Гебель — родом поляк, но считает себя русским и никогда не говорит по-польски, а тут вдруг вспомнил родной язык.

Часовые, большею частью молодые рекруты, не подумали защитить своего командира. Все нижние чины ненавидели его за истязания палками и розгами и называли не иначе, как «зверем».

Офицеры били, били его и все не могли убить. Сени были тесные, темные: в темноте и тесноте мешали друг другу. От ярости наносили удары слепые, неверные. Били без толку, как пьяные или сонные.

—Живуч, дьявол! — кричал кто-то не своим голосом.

Добравшись до двери, Гебель хотел выскочить. Но его схватили за волосы, повалили на пол и, навалившись кучей, продолжали бить. Думали, сейчас конец; но, собрав последние силы, он встал на ноги и почти вынес на своих плечах двух офицеров, Кузьмина и Щепилу, из сеней на двор.

В это время мы с братом уже были на дворе: выбили оконную раму и выскочили.

Не понимаю, что со мною сделалось, когда я увидел израненного, окровавленного Гебеля и страшные, как бы сонные, лица товарищей.

Иногда во сне видишь черта, и не то что видишь, а по вдруг навалившейся тяжести знаешь, что это — он. Такая тяжесть на меня навалилась. Помню также, как раз в детстве я убивал сороконожку, которая едва не ужалила меня; бил, бил ее камнем и все не мог убить: полураздавленная, она шевелилась так отвратительно, что я, наконец, не вынес, бросил и убежал.

Так, должно быть, брат Матвей убежал от Гебеля. А я остался: как будто, глядя на сонные лица, тоже вдруг заснул.

Схватил ружье и начал его бить прикладом по голове. Он прислонился к стене, съежился и закрыл голову руками. Я бил по рукам. Помню тупой стук дерева по костям раздробляемых пальцев; помню на указательном, пухлом и белом, золотое кольцо с хризолитом, и как из-под него брызнула кровь; помню, как он всхлипывал:

— Ой, панна Матка Бога! Ой, свента Матка Мария!

Не знаю, — может быть, мне было жаль его и я хотел кончить истязание — убить. Но чувствовал, что удары — слабые, сонные, что так нельзя убить, и что этому конца не будет; а все-таки продолжал бить, изнемогая от омерзения и ужаса.

— Бросьте, бросьте, Сергей Иванович! Что вы делаете? — крикнул кто-то, схватил меня за руку и оттащил.

Я опомнился и почувствовал, что ознобил себе пальцы о ружейный ствол на морозе.

А те все кончали и не могли кончить. То опоминались, переставали бить, то опять начинали. Кузьмин так глубоко вонзал шпагу, что должен был каждый раз делать усилие, чтобы выдернуть. Но казалось, что шпага проходит сквозь тело Гебеля, не причиняя вреда, как сквозь тело призрака, и что это уже не Гебель, а кто-то другой, бессмертный.

— Живуч, дьявол!

Наконец, когда все его на минуту оставили, он пошел

к воротам, шатаясь, в беспамятстве, и вышел на улицу. Рядом была корчма и стояли дровни. Он свалился на них без чувств. Лошади понесли на двор к хозяину, управителю села. Тут сняли его, укрыли и отправили в Васильков.

Гебель получил тринадцать тяжелых ран, не считая легких, но остался жив и, должно быть, нас всех переживет.

Так-то мы «кровавой чаше причастились».

Когда офицеры объявили солдатам о моем освобождении, успех был неимоверный. Все, как один человек, присоединились к нам и готовы были следовать за мной, куда бы я их ни повел. В тот же день, 29 декабря, с пятой мушкатерской ротой я выступил в поход на Васильков.

30-го, после полудня, мы подошли к городу. Против нас была выставлена цепь стрелков. Но когда мы приблизились так, что можно было видеть лица солдат, они закричали «Ура!» и соединились с нашими ротами. Мы вошли в город и достигли площади без всякого сопротивления. Заняли караулами гауптвахту, полковой штаб, острог, казначейство и городские заставы.

Вечером я отдал приказ на следующий день, в 9 часов утра, собраться всем ротам на площади.

Товарищи всю ночь готовились к походу и прибегали ко мне за приказами. Но я, запершись в своей комнате, никого не пускал. Мы с Бестужевым исправляли и переписывали «Катехизис».

Мысль об оном была почерпнута нами из сочинения господина де Сальванди [1], «Don Alonso ou l'Espagne» [2], где изложен «Катехизис», коим испанские монахи в 1809 году возмущали народ против ига Наполеона.

Младенчество провел я в Испании: батюшка мой, Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, был в Мадриде посланником. И вот захотел я повторить младенчество в мужестве, перенести в Россию Испанию.

— Ce sont vos châteaux d'Espagne, qui vous ont perdu,

---

[1] Де Сальванди. Нарсис-Ашиль (1795—1856) — граф, французский государственный деятель, историк, литератор, публицист.

[2] «Дон Алонсо, или Испания» (*франц.*).





mon ami [1],— как изволил пошутить надо мной генерал Бенкендорф на допросе в Следственной Комиссии.

Кончив писать «Катехизис», продиктовали его трем писцам полковой канцелярии, велев изготовить двенадцать списков. Утром я призвал к себе подпоручика Мазалевского, и, отдав ему запечатанный пакет со списками, велел надеть партикулярное платье, пробраться в Киев с тремя нижними чинами в шинелях без погон и пускать «Катехизис» в народ.

Мазалевский исполнил мое поручение в точности. Пробрался глухими дорогами в Киев и велел нижним чинам, разойдясь в разные стороны по Печерску и Подолу, подбрасывать списки в подворотни, в шинках и кабаках. Так они и сделали.

Должно быть, «Катехизис» мой, благая весть о Царствии Божием, там и поныне в кабацких подворотнях валяется. О, дон-кишотство беспредельное!

Когда роты собрались на площади, я послал за полковым священником.

Отец Данила Кейзер (странное имя — из немецких колонистов, что ли?) — совсем еще молоденький мальчик. лет 26, худенький, чахоточный, с белой, как лен, жидкой косичкой, — такие косички у деревенских девочек.

Когда я начал изъяснять ему цель восстания, он побледнел и затрясся, даже весь вспотел от страха.

— Не погубите, ваше высокоблагородие! Жена, дети...

Глядя на сего испуганного зайчика, воина Царства Божьего, понял я еще раз, сколь от умозрений до совершений далече.

Вот показание самого отца Данилы в вопросных пунктах Следственной Комиссии, изложенное для моего обличения. Отвечая на пункты, я тогда же списал сие показание, дабы сохранить для потомства.

«31-го декабря, придя ко мне на квартиру, 2-ой гренадерской роты унтер-офицер в боевой амуниции, часу в 11-м перед обедом, объяснил мне словесно приказ под-

---

[1] Эти ваши испанские за́мки погубили вас, мой друг. Игра слов: château d'Espagne — воздушный замок (*франц.*).

полковника Муравьева-Апостола, дабы я тотчас шел к нему с крестом для служения молебна, где читать будут и «Катехизис». Почему я, быв объят величайшим страхом, не знал, к кому прибегнуть для защиты, но не смел уже ослушаться и послал дьячка Ивана Охлестина в полковую церковь для взятия молебной книжицы и сокращенного «Катехизиса» и, когда оный дьячок возвратился ко мне с книгами, то я пошел с причтом на квартиру Муравьева, где находилось довольно офицеров. По недавнему же моему определению в полк, я не только оных офицеров не знал, но и самого Муравьева в первый раз отроду видел, который мне приказал никуда от него не отлучаться из квартиры, где я и стоял у порога с полчаса перед ним и находившимися там офицерами; когда, подойдя ко мне из оных какой-то офицер спросил у меня, совсем ли я готов; на что я ему отвечал: «Молебная книжица и сокращенный печатный «Катехизис» у меня есть». Но тотчас же офицер, взяв у дьячка сказанный «Катехизис», развернул и сказал, что у них есть свой писанный «Катехизис». В то время Муравьев, изменив свое слово, сказал мне, что молебна служить не надобно, а что-нибудь покороче. Я же, видя такое странное дело, хотя и не разумел, что они между собой по-французски разговаривали, но, усмотрев на столе несколько пистолетов заряженных, часовых в комнате и на дворе, с заряженными ружьями, — испугался, и более тогда, когда, мысленно полагал оттуда выйти, но не осмелился. А как Муравьев уже надел на себя род армянской шапки и шарф и, отходя с офицерами к построенным на площади ротам, приказал мне вместе с ними идти туда же; где он, подъехав верхом к фронту, скомандовал, и нижние чины составили круг, а офицеры, войдя на середину с заряженными пистолетами и некоторые с кинжалами, окружили меня; и тогда я, по приказанию Муравьева, надел на себя ризы, с причтом пропел Царю Небесный, Отче Наш, тропарь Рождества Христова и кондак, а более ничего по положению уставному не делал. И потом какой-то офицер дал мне бумагу, которую я прежде никогда не видал и никогда не слыхал, что именно в ней было написано; ибо тот или другой офицер, стоя за мной, читал наизусть оную, а я, будучи в таком необыкновенном страхе, принужден был повторять ее, не помня, что в ней содержалось. И произносил ли я при том уже какие другие слова, совершенно не помню».

Бедный отец Данила, российский вольности невольный мученик!

Утро было солнечное. За ночь выпал первый снег. Зима стала и, как часто бывает на Украине, вдруг весной сквозь зиму повеяло. В тени — мороз, а на солнце тает. Воробьи чирикают, воркуют голуби на солнечном угреве золотых церковных куполов. В садах вишни и яблони, разубранные инеем, стоят, как в вешнем цвету, белые. И под снегом темными кажутся белые стены казацких мазанок, и еще грязнее — грязные домишки жидовские

Глядя в небо, голубое, глубокое, вспоминал я, как украинские девушки в ночь под Рождество колядуют: «Бывай же здоров, да не сам с собой, а с *милым Богом*». В милом небе — милый Бог.

Роты построились на площади в густую колонну, в полной боевой амуниции. Я сидел верхом перед фронтом и знаменами.

Отец Данила, ни жив, ни мертв, читал «Катехизис» таким слабым голосом, что почти ничего не было слышно. Бестужев подошел к нему, взял у него бумагу и начал громко, торжественно:

— «Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Для чего Бог создал человека?

Для того, чтобы он в Него веровал, был свободен и счастлив.

Для чего же русский народ и воинство несчастны?

Для того, что самовластные цари похитили у них свободу.

Что же наш святой закон повелевает делать русскому народу и воинству?

Раскаяться в долгом раболепствии и, ополчась против тиранства и нечестия, установить правление, сходное с законом Божиим».

Казалось, не только солдаты, внимательно-жадные, и перепуганные васильковские жители — городничий Притуленко, судья Драганчук, почтмейстер Безносиков, и канцелярист со щекою подвязанной, и степной барин-помещик, и старый казак сивоусый, и толстая баба-перекупка, и два тощих жидка в черных ермолках, с рыжими пейсами, — не только все эти люди, но и уныло-желтые стены уездного казначейства, полкового цейхгауза, провиантских магазейнов — с несказанным удивлением слушали, как будто говоря: «Не то! Не то!» А воркующие на угреве голуби, и вишни в снегу, как в цвету, и слезы звонкой капели, и голубое, глубокое небо отвечали: «То самое! То самое!»

— «Христос рек: не будьте рабами человеков, яко искуплены кровию Моею, — продолжал читать Бестужев все громче и торжественнее.— Мир не внял святому по-

велению сему и впал в бездну бедствий. Но страданья наши тронули Всевышнего: днесь Он посылает нам свободу и спасение. Российское воинство грядет восстановить веру и вольность в России, да будет один царь на небеси и на земли — Иисус Христос».

Когда он кончил, наступила тишина, и в тишине раздался мой голос. Что я говорил, не помню. Помню только, что была такая минута, когда мне казалось, что они вдруг поняли все. Пусть я умру, ничего не сделав, — за эту минуту умереть стоило!

Я снял шапку, перекрестился, поднял шпагу и закричал:

— Ребята! За веру и вольность! За Царя Христа! Ура!

— Ура! — ответили сначала робко, сомнительно, а потом вдруг несомненно, неистово:

— Ура, Константин!

Глупо было кричать: «Ура, Иисус Христос!» — так вот кто-то и крикнул умно: «Ура, Константин!» и все подхватили, обрадовались, — поняли, что это — «то самое, то самое».

И я тоже понял, как будто вдруг заснул тем страшным сном, как намедни, и увидел Гебеля, израненного, окровавленного: он прислонился к стене, съежился, закрыл руками голову, а я ружейным прикладом бил, бил его — хотел убить и не мог: «Живуч, дьявол!»

Дьявол надо мной смеялся смехом торжествующим:

— Ура, ура, ура, Константин!

Нет, больше не могу вспоминать: стыдно, страшно. Да и некогда: скоро смерть.

Пусть же другие расскажут, чем кончился поход мой за царя Христа или царя Константина; как четверо суток кружились мы все на одном и том же месте, как будто заколдованном, между Васильковым и Белою Церковью, около Трилес, где избивали Гебеля; все ждали помощи, но никто не помог, — все обманули, предали. Сначала столько было охотников, что мы не знали, как от них отделаться, а потом офицеры стали, один за другим, отставать, убегать к начальству в Киев, кто как мог, — иные даже в шлафроках. И дух в войске упал. Когда солдаты просили у меня позволения «маленько пограбить», а я запретил, — начались ропоты: «Не за царя Константина, а за какую-то вольность идет Муравьев!» — «Один Бог на небе, один царь на земле, — Муравьев обманывает нас!»

Еще в Василькове, по питейным домам были шалости. А во время похода, у каждой корчмы, впереди по дороге, ставились часовые, но они же напивались первые.

Никогда не забуду, как пьяненький солдатик, из шинка вываливаясь, кричал с матерной бранью:

— Никого не боюсь! Гуляй, душа! Теперь вольность!

По всем шинкам разговоры пошли об имеемой быть резанине: «Надо бы два дня ножи вострить, а потом резать: указ вышел от царя, чтобы резать всех панов и жидов, так чтобы и на свете их не было».

В шинке у Мордки Шмулиса казак из Чугуева сказывал: «Як бы резанина тут началась, то я б не требовал ни пики, ни ратища, а только шпицу застругавши да осмоливши, снизал бы на нее семьдесят панков да семьдесят жидков». А какой-то солдат из Белой Церкви обещал: «Когда запоют: «Христос воскресе», в Светлую заутреню, тогда и начнут резать».

Так-то соединил народ Христа с вольностью!

Пусть другие расскажут, как шесть лучших рот моего батальона, краса и гордость полка, превратились в разбойничью шайку, в пугачевскую пьяную сволочь. Не успел я опомниться, как это уж сделалось: как молоко скисает в грозу, так сразу скисло все.

Тогда-то понял я самое страшное: для русского народа вольность значит буйство, распутство, злодейство, братоубийство неутолимое; рабство — с Богом, вольность с дьяволом.

И кто знает, согласись я быть атаманом этой разбойничьей шайки, новым Пугачевым, — может быть они бы меня и не выдали: отовсюду бы слетелись мне на помощь дьяволы. Пошли бы мы на Киев, на Москву, на Петербург и, пожалуй, царством Российским тряхнули бы.

3-го января, во втором часу пополудни, на высотах Устимовских, близ селения Пологи, встретили нас четыре эскадрона Мариупольских гусар с двумя орудиями, под командой генерал-майора Гейсмара. Начальство струсило так, что против моей тысячной горсти двинуло из Киева почти все полки 3-го корпуса. Отряд Гейсмара был только разведкою. Мы знали, что в этом отряде все командиры — члены Тайного Общества, а что накануне арестовали их и заменили другими, — не знали. Обрадовались, что идут к нам на помощь, обезумели от радости — в чудо поверили. И не мы одни, — солдаты тоже, все до последнего.

Опять такой же был день лучезарный, как 31-го; такое же небо голубое, глубокое, милое — с «милым Богом». И опять, как тогда, на Васильковской площади, была такая минута, когда мне казалось, что они все поняли, и разбойничья шайка — Божье воинство.

Солдаты шли прямо на пушки с мужеством бестрепетным. Грянул выстрел, ядро просвистело над головами. Мы все шли. Завизжала картечь. Огонь был убийственный. Раненые падали. Мы все шли — в чудо верили.

Вдруг меня по голове точно палкой ударили. Я упал с лошади и уткнулся лицом в снег. Очнувшись, увидел Бестужева. Он поднимал меня и вытирал лицо мое платком: оно было залито кровью. Платок вымок, а кровь все лилась. Я ранен был картечью в голову.

Ефрейтор Лазыкин, любимец мой, подошел ко мне. Я не узнал его: так неестественно сморщился и так странно, по-бабьи, всхлипывал:

— За что ты нас погубил, изверг, сукин сын, анафема!

Вдруг поднял штык и бросился на меня. Кто-то защитил. Солдаты окружили нас и повели к гусарам.

Я потом узнал, что побросали ружья и сдались, не сделав ни одного выстрела, когда поняли, что чуда не будет.

Вечером перевезли нас под конвоем в Трилесы — опять это место проклятое, — и посадили в пустую корчму. Брат Матвей достал кровать и уложил меня. От потери крови из неперевязанной раны у меня делались частые обмороки. Трудно было лежать: брат поднял меня и положил к себе на плечо мою голову.

Против нас в углу, на соломе, лежал Кузьмин, тоже раненый: все кости правого плеча раздроблены были картечной пулей. Должно быть, боль была нестерпимая, но он скрывал ее, не простонал ни разу, так что никто не знал, что он ранен.

Стемнело. Подали огонь. Кузьмин попросил брата подойти к нему. Тот молча указал на мою голову. Тогда Кузьмин с усилием подполз, пожал ему руку тем тайным пожатием, по коему Соединенные Славяне узнавали своих, и опять отполз в свой угол. Никому говорить не хотелось; все молчали.

Вдруг раздался выстрел. Я упал без чувств. Когда очнулся, — сквозь пороховой дым, еще наполнявший комнату, увидел в углу, на соломе, Кузьмина с головой окровавленной. Выстрелом в висок из пистолета, спрятанного в рукаве шинели, он убил себя наповал.

«Свобода или смерть»,— клялся и клятву исполнил.

На Устимовской высоте погиб и младший брат мой, Ипполит Иванович Муравьев-Апостол, девятнадцатилетний юноша.

31-го декабря, перед самым выступлением нашим в поход, он подъехал на почтовой тройке прямо на Васильковскую площадь. Только что блистательно выдержав экзамен в Школе Колонновожатых, произведен был в офицеры и назначен в штаб 2-ой армии. Выехал из Петербурга 13-го, с вестью к нам от Северного Общества о начале восстания и с просьбой о помощи.

Я хотел его спасти, умолял ехать дальше, но он остался с нами. Больше всех верил в чудо. Тут же, на площади, обменялся с Кузьминым пистолетами, тоже поклялся: «Свобода или смерть», и клятву исполнил. На Устимовской высоте, видя, что я упал, пораженный картечью, и думая, что я убит, убил себя выстрелом в рот.

4-го января, на рассвете, подали сани, чтобы везти нас с братом Матвеем в Белую Церковь. Мы просили конвойных позволить нам проститься с Ипполитом. Конвойные долго не соглашались; наконец, повели нас в нежилую хату. Здесь, в пустой, темной и холодной комнате, на голом полу, лежали голые тела убитых: должно быть, гусары не постыдились ограбить их — раздели донага. Между ними и тело Ипполита. Нагота его была прекрасна, как нагота юного бога. Лицо не обезображено выстрелом, — только на левой щеке, под глазом, маленькое темное пятнышко. Выражение лица гордо-спокойное.

Брат помог мне встать на колени. Я поцеловал мертвого в губы и сказал:

— До свидания!

Странно: совесть мучает меня за всех, кого я погубил, но не за него — чистейшую жертву чистейшей любви. Я тогда сказал: «до свидания», и теперь уже знаю, что свидание будет скоро. Ты первый встретишь меня *там*, мой Ипполит, мой ангел с белыми крыльями!

Завтра, 12 июля, объявляют приговор.

Приговор объявлен: Пестеля, Рылеева, Каховского, Бестужева-Рюмина и меня — четвертовать. Но, «сообра-

зуясь с высокомонаршею милостью», приговор смягчен: «повесить». Сочли милостью заменить четвертование виселицей. А я все-таки думаю, что нас расстреляют: никогда еще в России офицеров не вешали.

Тот же приговор и над убитыми — Кузьминым, Щепилой, Ипполитом Муравьевым-Апостолом: «четвертовать»; но так как нельзя четвертовать и вешать мертвых, то «по оглашению приговора, поставя на могиле их, вместо крестов, виселицы, — прибить на оных имена их к посрамлению вечному».

Свалят всех, как собак, в одну общую яму, могилу бескрестную, должно быть, там, в Белой Церкви, близ высот Устимовских.

«Белая Церковь» — имя вещее. Да, будет, будет над ними Церковь Белая!

Помню свидание мое с императором Николаем Павловичем. Он обещал нас всех помиловать, обнимал меня, целовал, плакал: «Я, может быть, не менее вас достоин жалости. Je ne suis qu'un pauvre diable» [1].

Бедный диавол, самый бедный из диаволов! Прости ему Господь: он сам не знает, что делает.

Завтра казнь. Расстреляют ли, повесят, мне все равно — только бы скорей. Приму смерть, как лучший дар Божий.

Брат Матвей мне завидует: говорит, что смерть была бы для него блаженством. Только о самоубийстве и думает. Хочет уморить себя голодом. Я ему пишу, заклинаю памятью покойной матушки не посягать на свою жизнь: «Душа, бежавшая с своего места прежде времени, получит гнусную обитель и с теми, кого любила, разлучена будет навеки». Пишу, а сам думаю: со сломанной ногой нельзя ходить — со сломанной душой нельзя жить.

Брат Матвей не хочет жить, а Бестужев — умирать. 23 года — почти ребенок. Смертного приговора не ждал, до последней минуты надеялся. Тоскует, ужасается. Вот

---

[1] Я только бедный малый (*франц.*).

и сейчас слышу: мечется по камере, бьется, как птица в клетке. Не могу я этого вынести!

Брат Матвей и Бестужев — противоположные крайности. Один слишком тяжел, другой слишком легок: как две чаши весов, а я между ними — как стрелка вечнодрожащая. Брат Матвей совсем не верил в чудо, Бестужев совсем верил, а я полуверил. Может быть, оттого и погиб.

Видел во сне Ипполита и маменьку. Такая радость, какой никогда наяву не бывает. Оба говорили, что я — глупенький, не знаю чего-то главного.

Сижу в 12-м номере Кронверкской куртины, а рядом со мной, в 11-ый, перевели Валериана Михайловича Голицына из Алексеевского равелина. Когда казематы наполнились так, что не хватало места, перегородили их, наподобие клеток, деревянными стенами. Бревна из сырого леса рассохлись; между ними — щели. В одну из таких щелей переговариваемся с Голицыным. Люблю его. Он *все* понимает: тоже друг Чаадаева. Жаль, что записывать некогда. Говорили о Сыне и Духе, о Земле Пречистой Матери. И так же, как во сне, я чувствовал, что не знаю чего-то главного.

Отдам Голицыну эти листки; пусть прочтет и передаст отцу Петру Мысловскому: он обещал сохранить.

В последние дни пишу свободно, не прячу. Никто за мной не следит. Чернил и бумаги дают вволю. Балуют — ласкают жертву.

Но надо кончать: сегодня ночью — казнь. Запечатаю бутылку и брошу в океан будущего.

Солнце заходит — мое последнее солнце. И сегодня такое же кровавое, как все эти дни. От палящего зноя и засухи горят леса и торфяные болота в окрестностях города. В воздухе — гарь. Солнце восходит и заходит, как тускло-красный шар, и днем рдеет сквозь дым, как головня обгорелая.

О, это кровавое солнце, кровавый факел Евменид, может быть, для нас над Россией взошедшее и уже незакатное!

Я видел сон.

С восставшими ротами, шайкой разбойничьей, я прошел по всей России победителем. Всюду — вольность без Бога — злодейство, братоубийство неутолимое. И надо всей Россией, черным пожарищем — солнце кровавое, кровавая чаша диавола. И вся Россия — разбойничья шайка, пьяная сволочь — идет за мной и кричит:

— Ура, Пугачев — Муравьев! Ура, Иисус Христос!

Мне уже не страшен этот сон, но не будет ли он страшен внукам и правнукам?

Нет, Чаадаев неправ: Россия не белый лист бумаги, — на ней уже написано: *Царство Зверя*. Страшен царь-Зверь; но, может быть, еще страшнее Зверь-народ.

Россия не спасется, пока из недр ее не вырвется крик боли и раскаяния, которого отзвук наполнит весь мир.

Слышу поступь тяжкую: Зверь идет.

Россия гибнет, Россия гибнет. Боже, спаси Россию!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«Когда я вступаю в каземат Сергея Ивановича, мною овладевает такое же благоговейное чувство, как при вшествии в алтарь перед божественною службою». Эти слова отца Мысловского вспомнил Голицын, когда прочел Записки Муравьева, «Завещание России».

Окно камеры было открыто: в эти июльские, нестерпимо знойные дни начальство позволило открывать окна: иначе арестанты задохлись бы. В ночной тишине доносился с Кронверкского вала глухой стук топора и молота. Голицын, пока читал, не слышал его; но, дочитав, прислушался.

«Стук-стук-стук». Тишина — и опять: «стук-стук-стук».— «Что они делают?» — думал он.

Еще с утра заметил на валу работающих плотников: что-то строили; то поднимали, то опускали два черных

столба. Генерал-адъютант верхом, в шляпе с белым султаном, глядел в лорнет на работу плотников. Потом все ушли.

И вот опять: «стук-стук-стук». Подошел к окну, выглянул. Июльская ночь была светлая, но в воздухе, как все эти дни, — гарь, дым и мгла. В мгле, на валу, копошились тени; то поднимали, то опускали два черных столба. «Что они делают? Что они делают?» — думал Голицын.

А в соседней камере слышался шепот: Муравьев сквозь щель в стене шептался с Бестужевым, приготовлял его к смерти.

Голицын лег на койку и закутался с головой в одеяло. Вспомнил вчерашний разговор с отцом Петром о пяти осужденных на смерть: «Не пугайтесь того, что я вам скажу,— говорил Мысловский.— Их поведут на виселицу, но в последнюю минуту прискачет гонец с царскою милостью».— «Да ведь конфирмация уже подписана», — возражал Голицын.— «Конфирмация — декорация!» — шептал отец Петр с таинственным видом.

И другие слухи о помиловании вспоминал Голицын с жадностью.

Все тюремное начальство уверено было, что смертной казни не будет. «Помилуют,— твердил плац-майор Подушкин,— смертная казнь отменена по законам Российской империи: разве может государь нарушить закон?» — «Помилуют,— твердили часовые,— сам государь виноват в Четырнадцатом; за что же казнить?»

А императрица Мария Федоровна получила, будто бы, от государя письмо, в котором он успокаивал ее, что крови по приговору не будет. Императрица Александра Федоровна на коленях умоляла о помиловании. «Удивлю Россию и Европу»,— обещал государь герцогу Веллингтону.

На приговор Верховного Суда ответил, что «не соизволяет не только на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, яко казнь, одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы и, словом, ни на какую казнь, с пролитием крови сопряженную». Судьи решили: «повесить»; ведь петля тоже без крови. Но, может быть, ошиблись: не повесить, а помиловать?

Напрасно Голицын кутался с головою в одеяло: «Стук-стук-стук». Тишина — и опять: «Стук-стук-стук».

«Кто же казнит? Царь или Россия, Зверь или Царство Зверя?» — вдруг подумал он и вскочил в ужасе. Там, на валу, то поднимаются, то опускаются два черные столба, и на них судьба России колеблется, как на страшных весах. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий проро-

ков и камнями побивающий посланных к тебе! О, если бы ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему; но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего»[1].

Голицын упал на колени и соединил свой шепот с долетавшим из-за стены предсмертным шепотом:

— Россия гибнет, Россия гибнет! Боже, спаси Россию!

Рылеев, когда вышел от него отец Петр, исповедав и причастив его, вынул часы и посмотрел: девятнадцать минут первого. Знал, что придут за ним в три. Осталось два часа сорок одна минута. Положил часы на стол и следил, как ползет стрелка: девятнадцать, двадцать, двадцать одна минута. Ну, что ж, страшно? Нет, не страшно, а только удивительно. Похоже на то, что вычитал в астрономической книжке: если бы человек попал на маленькую планету, то мог бы подымать шутя самые страшные тяжести; огромные, валящиеся на него, камни отшвыривать, как легкие мячики.

Или еще похоже на «магнитное состояние» (когда-то занимался месмэризмом и тоже об этом вычитал): в тело ясновидящей вонзают иголку, а она ее не чувствует. Так он вонзал в душу свою иглы, пробовал одну за другой, — не уколет ли?

Страх не колол, а злоба? Вспомнил злобу свою на государя: «Обманул, оподлил, развратил, измучил, надругался — и вот теперь убивает». Но и злобы не было. Понял, что сердиться на него все равно, что бить кулаком по стене, о которую ушибся.

А стыд? Бывало, раскаленным железом жег стыд, когда вспоминал, как на очной ставке Каховский ударил его по лицу и закричал: «Подлец!» Но теперь и стыд не жег: потух, как раскаленное железо в воде. Пусть не узнает Каховский, пусть никто никогда не узнает, что он, Рылеев, не подлец,— довольно с него и того, что он сам это знает.

Еще одну последнюю, самую острую иглу попробовал — жалость. Вспомнил Наташу. Начал перебирать ее письма. Прочел:

«Ах, милый друг мой, не знаю сама, что я. Между страхом и надеждою, жду решительной минуты. Представь себе мое положение: одна в мире с невинною сиро-

---

[1] Евангелие от Луки, XIX, 42—44.

тою! Тебя одного имели и все счастие полагали в тебе. Молю Всемогущего, да утешит меня известием, что ты невинен. Я знаю душу твою: ты никогда не желал зла, всегда делал добро. Заклинаю тебя, не унывай, в надежде на благость Господню и на сострадание ангелоподобного государя. Прости, несчастный мой страдалец. Да будет благость Божия с тобою! Фуфайку и два ночных колпака пришлю с бельем. Настенька здорова. Она думает, что ты в Москве. Я ее предупреждаю, что скоро поедем к папеньке. Она рада, суетится, спрашивает: скоро ли?»

Тут же — рукой Настеньки — большими детскими буквами:

«Миленькой папенька, целую вашу ручку. Приезжайте поскорее, я по вас скучилась. Поедемте к бабиньке».

Вдруг почувствовал, что глаза застилает что-то. Неужели слезы? Пройдя сквозь мертвое тело, игла вонзилась в живое. Больно? Да, но не очень. Вот и прошло. Только подумал: хорошо, что не захотел предсмертного свидания с Наташей; напугал бы ее до смерти: живым страшны мертвые; чем роднее, тем страшнее.

Вспомнил, что надо ей написать. Сел за стол, обмакнул перо в чернила, но не знал, что писать. Принуждал себя, сочинял: «Я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить. О, милый друг, как спасительно быть христианином!»

Усмехнулся. Намедни отец Петр сообщил ему отказ архиереев, членов Верховного Суда, подписать смертный приговор: «Какая будет сентенция, от оной не отрицаемся, но поелику мы духовного сана, то к подписанию оной приступить не можем». Так и у него все выходит «поелику».

Давеча, перебирая Наташины письма, нашел свои черновые записки к ней, большею частью, о делах денежных и хозяйственных. Заглянул и в них.

«Надобно внести в ломбард 700 рублей... Портному, жиду Яухце, отдай долг, если узнаешь, что Каховский не может заплатить... Акции мои лежат в бюро, в верхнем ящике, с левой стороны... В деревне вели овес и сено продать... Отпустить бы на волю старосту Конона; да жаль, честный старик, нынче таких не сыскать...»

Как человек, глядя на свой старый портрет, удивляется, так он удивлялся: «Неужели это я?»

Вдруг стало тошно.

Мне тошно здесь, как на чужбине.
Когда я сброшу жизнь мою?
Кто даст криле мне голубине,
Да полечу и почию?
Весь мир, как смрадная могила;
Душа из тела рвется вон...

Смрадом смерти от жизни пахнуло. Должно быть, не только мертвые живым смердят, но и живые — мертвым.

Взглянул на образ, — не помолиться ли? Нет, молитва кончена. Теперь уже все — молитва: дышит — молится и будет в петле задыхаться — будет молиться.

Опять о чем-то задумался, но странно, как будто без мыслей. Мыслей не видно было, как в колесе быстро вертящемся не видно спиц. Только повторял с удивлением возрастающим: «Вот оно, вот оно, то—то—то!».

Устал, прилег. Подумал: «Как бы не заснуть; говорят, осужденные на смерть особенно крепко спят»,— и заснул.

Проснулся от стука шагов и хлопанья дверей в коридоре. Вскочил, бросился к часам: четвертый час. Загремели замки и засовы. Ужас оледенил его, как будто всего с головой окунули в холодную воду.

Но, когда взглянул на лица вошедшего плац-майора Подушкина и сторожа Трофимова, — ужас мгновенно прошел, как будто он снял его с себя и передал им: им страшно, а не ему.

— Сейчас, Егор Михайлович? — спросил Подушкина.

— Нет, еще времени много. Я бы не пришел, да там что-то торопят, а все равно не готово...

Рылеев понял: не готова виселица. Подушкин не смотрел ему в глаза, как будто стыдился. И Трофимов — тоже. Рылеев заметил, что ему самому стыдно. Это был стыд смерти, подобный чувству обнаженности: как одежда снимается с тела, так тело — с души.

Трофимов принес кандалы, арестантское платье, — Рылеев был во фраке, как взят при аресте, — и чистую рубашку из последней присылки Наташиной: по русскому обычаю надевают чистое белье на умирающих.

Переодевшись, он сел за стол и, пока Трофимов надевал ему железа на ноги, начал писать письмо к Наташе. Опять все выходило «поелику»; но он уже не смущался: поймет и так. Одно только вышло от сердца: «Мой друг, ты счастливила меня в продолжение восьми лет. Слова не могут выразить чувств моих. Бог тебя наградит за все. Да будет Его святая воля».

Вошел отец Петр. Заговорил о покаянии, прощении, о покорности воле Божьей. Но, заметив, что Рылеев не слушает, кончил просто:

— Ну, что, Кондратий Федорович, может быть, еще что прикажете?

— Нет, что же еще? Кажется, все, отец Петр,— ответил Рылеев так же просто и улыбнулся, хотел пошутить:

«А комфирмация-то не декорация!» Но, взглянув на Мысловского, увидел, что ему так стыдно и страшно, что пожалел его. Взял руку его и приложил к своему сердцу.

— Слышите, как бьется?

— Слышу.

— Ровно?

— Ровно.

Вынул из кармана платок и подал ему.

— Государю отдайте. Не забудете?

— Не забуду. А что сказать?

— Ничего. Он уж знает.

Это был платок, которым Николай утирал слезы Рылеева, когда он на допросе плакал у ног его, умиленный, «растерзанный» царскою милостью.

Подушкин вышел и вернулся с таким видом, что Рылеев понял, что пора.

Встал, перекрестился на образ; перекрестил Трофимова, Подушкина и самого отца Петра, улыбаясь ему, как будто хотел сказать: «Да, теперь уж не ты — меня, а я — тебя». Крестил во все стороны, как бы друзей и врагов невидимых; казалось, делал это не сам, а кто-то приказывал ему, и он только слушался. Движения были такие твердые, властные, что никто не удивился, все приняли, как должное.

— Ну, что ж, Егор Михайлович, я готов, — сказал, и все вышли из камеры.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Каховский остался верен себе до конца: «Я жил один — один умру».

Встречаясь в коридоре с товарищами, ни с кем не заговаривал, никому не подавал руки: продолжал считать всех «подлецами». Ожесточился, окаменел.

Дни и ночи проводил за чтением. Книги посылала ему плац-майорская дочка, Аделаида Егоровна. Окно его камеры выходило прямо на окна квартиры Подушкина. Старая девица влюбилась в Каховского. Сидя у окна, играла на гитаре и пела:

Он, сидя в башне за стенами,
Лишен там, бедненький, всего.
Жалеть бы стали вы и сами,
Когда б увидели его!

Каховский имел сердце нежное, а глаза близорукие: лица ее не видел, — видел только платья всех цветов

радуги — голубые, зеленые, желтые, розовые. Она казалась ему прекрасной, как Дон Кихоту — Дульсинея.

На книги набросился с жадностью. Особенно полюбил «Божественную Комедию». Путешествовал в чужих краях, бывал в Италии и немного понимал по-итальянски.

Фарината и Капаней приводили его в восхищение. «Quel magnanimo, сей великодушный» — Фарината дельи Уберти мучается в шестом круге ада, на огненном кладбище эпикурейцев-безбожников. Когда подходят к нему Данте с Вергилием, он приподнимается из огненной могилы,—

До пояса, с челом таким надменным,
Как будто ад имел в большом презреньи.
Come avesse lo inferno in gran dispetto.

А исполин Капаней, один из семи вождей, осаждавших Фивы, низринутый в ад за богохульство громами Зевеса, подобно древним титанам, — лежит, голый, на голой земле, под вечным ливнем огненным.

Кто сей великий,
Что, скорчившись, лежит с таким презреньем,
Что мнится, огнь его не опаляет? —

спрашивает Данте Вергилия, а Капаней кричит ему в ответ:

Qual fui vivo, tal son' morto!
Каков живой, таков и мертвый!
Да разразит меня Зевес громами,
Не дам ему я насладиться мщеньем!

Каховский сам похож был на этих двух великих презрителей ада.

Когда в последнюю ночь перед казнью отец Петр спросил его на исповеди, прощает ли он врагам своим:

— Всем прощаю, кроме двух подлецов — государя и Рылеева, — ответил Каховский.

— Сын мой, перед святым причастием, перед смертью...— ужаснулся отец Петр.— Богом тебя заклинаю: смирись, прости...

— Не прощу.

— Так что же мне с тобою делать? Если не простишь, я тебя и причастить не могу.

— Ну, и не надо.

Отец Петр должен был взять грех на душу, причастить нераскаянного.

А когда пришел Подушкин с Трофимовым вести его на казнь, Каховский взглянул на них так, «как будто ад имел в большом презреньи».

— Пошел на смерть, будто вышел в другую комнату закурить трубку, — удивлялся Подушкин.

— Павел Иванович Пестель есть отличнейший в сонме заговорщиков,— говаривал отец Петр.— Математик глубокий; и в правоту свою верит, как в математическую истину. Везде и всегда равен себе. Ничто не колеблет твердости его. Кажется, один способен вынести на раменах своих тяжесть двух Альпийских гор.

— Я даже не расслышал, что с нами хотят делать; но все равно, только бы скорее! — сказал Пестель после приговора.

А когда пастор Рейнбот спросил его, готов ли он к смерти:

— Жалко менять старый халат, да делать нечего,— ответил Пестель.

— Какой халат?

— А это наш русский поэт Дельвиг сказал:

Мы не смерти боимся, но с телом расстаться нам жалко:
Так с неохотою мы старый меняем халат.

— Верите ли вы в Бога, Herr Pestel?

— Как вам сказать? Mon coeur est materialiste, mais ma raison s'y refuse. Сердцем не верю, но умом знаю, что должно быть что-то такое, что люди называют Богом. Бог нужен для метафизики, как для математики нуль.

— Schrecklich! Schrecklich![1]— прошептал Рейнбот и начал говорить о бессмертии, о загробной жизни.

Пестель слушал, как человек, которому хочется спать; наконец, прервал с усмешкою:

— Говоря откровенно, мне и здешняя жизнь надоела. Закон мира — закон тождества: *a* есть *a*, Павел Иванович Пестель есть Павел Иванович Пестель. И это 33 года. Скука несносная! Нет, уж лучше ничто. Там ничто, но ведь и здесь тоже. Из одного ничто в другое. Хороший сон — без сновидений, хорошая смерть — без будущей жизни. Мне ужасно хочется спать, господин пастор.

— Schrecklich! Schrecklich!

От причастия отказался решительно.

— Благодарю вас, это мне совершенно не нужно.

Когда же Рейнбот начал убеждать его раскаяться, он, подавляя зевоту, сказал:

— Aber, mein lieber Herr Reinbot, wollen wir uns doch besser etwas über die Potitik unterhalten[2].

И заговорил об английском парламенте. Рейнбот встал.

---

[1] Страшно! Страшно! (*нем.*)

[2] Но, мой дорогой господин Рейнбот, давайте лучше побеседуем о политике (*нем.*).

— Извините, господин Пестель, я не могу говорить о таких вещах с человеком, идущим на смерть.

Пестель тоже встал и подал ему руку.

— Ну что ж, доброй ночи, господин Рейнбот.

— Что сказать вашим родителям?

По лицу Пестеля, одутловатому, бледно-желтому, сонному,— он в эту минуту был особенно похож на Наполеона после Ватерлоо,— пробежала тень.

— Скажите им,— проговорил он чуть дрогнувшим голосом,— что я совершенно спокоен, но не могу думать о них без терзающего горя. Передайте это письмо сестре Софи.

Письмо было на французском языке, коротенькое:

«Тысячу раз благодарю тебя, дорогая Софи, за те строки, которые ты прибавила к письму нашей матери. Я чрезвычайно растроган нежным твоим участием и твоею дружбою ко мне. Будь уверена, мой друг, что никогда сестра не могла быть нежнее любима, чем ты мной. Прощай, моя дорогая Софи. Твой нежный брат и искренний друг, Павел».

Передав письмо, он пошел с Рейнботом к двери, как будто выпроваживал его. Но в дверях остановился, крепко пожал ему руку и сказал с улыбкой:

— Доброй ночи, господин пастор. Ну скажите же. скажите мне просто: доброй ночи!

— Я ничего не могу вам сказать, господин Пестель. Я только могу...

Рейнбот не кончил, всхлипнул, обнял его и вышел.

«Ужасный человек! — вспоминал впоследствии.— Мне казалось, что я говорю с самим диаволом. Я оставил жестокосердого, поручив его единой милости Божьей».

Переодеваясь, чтобы идти на казнь, Пестель заметил. что потерял золотой нательный крестик, подарок Софи. Испугался. побледнел, затрясся, как будто вдруг потерял все свое мужество. Долго искал, шарил дрожащими пальцами. Наконец, нашел. Бросился целовать его с жадностью. Надел и сразу успокоился.

В ожидании Подушкина сел на стул, опустил голову и закрыл глаза. Может быть, не спал, но имел вид спящего.

Михаил Павлович Бестужев-Рюмин боялся смерти, по собственным словам, «как последний трус и подлец». Похож был на трепещущую в клетке птицу, когда кошка протягивает за нею лапу. Иногда плакал от страха, как маленькие дети, не стыдясь. А иногда удивлялся:

— Что со мной сделалось? Никогда я не был трусом. Ведь вот стоял же под картечью на Устимовской высоте и не боялся. Почему же теперь так перетрусил?

— Тогда ты шел на смерть вольно, а теперь — насильно. Да ты не бойся, что боишься, и все пройдет,— утешал его Муравьев, но видел, что утешенья не помогают: Бестужев боялся так, что казалось, не вынесет, сойдет с ума или умрет, в самом деле, «как последний трус и подлец».

Муравьев знал, чем успокоить его. Бестужев боялся, потому что все еще надеялся, что «конфирмация — декорация», и что в последнюю минуту прискачет гонец с царскою милостью. Чтобы победить страх, надо было отнять надежду. Но Муравьев не знал, надо ли это делать; не покрывает ли кто-то глаза его святым покровом надежды?

Бестужев сидел рядом с Муравьевым, в 13-м номере Кронверкской куртины. Между ними была такая же стена из бревен, как та, что отделяла Муравьева от Голицына, и такая же в стене щель. Они составили койки так, что лежа могли говорить сквозь щель.

В последнюю ночь перед казнью Муравьев читал Бестужеву Евангелие на французском языке: по-славянски оба понимали плохо.

— «Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь. И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться...»

— Погоди, Сережа,— остановил его Бестужев.— Это что же такое, а?

— А что, Миша?

— Неужели так и сказано: «ужасаться»?

— Так и сказано.

— Чего же Он ужасался? Смерти, что ли?

— Да, страданий и смерти.

— Как же так, Бог смерти боится?

— Не Бог, а человек. Он — Бог и Человек вместе.

— Ну, пусть человек. Да разве людей бесстрашных мало? Вон Сократ цикуту выпил, ноги омертвели, — а все шутил. А это что же такое? Ведь это, как я?

— Да, Миша, как ты.

— Но ведь я же подлец?

— Нет, не подлец. Ты, может быть, лучше многих бесстрашных людей. Надо любить жизнь, надо бояться смерти.

— А ты не боишься?

— Нет, боюсь. Меньше твоего, но, может быть, хуже, что меньше. Вон Матюша и Пестель, те совсем не боятся, и это совсем нехорошо.

— А Ипполит?

— Ипполит не видел смерти. Кто очень любит, тот уже смерти не видит. А мы не очень любим: нам нельзя не бояться.

— Ну, читай, читай!

Муравьев продолжал читать. Но Бестужев опять остановил его.

— А что, Сережа, ты как думаешь, отец Петр — честный человек?

— Честный.

— Что ж он все врет, что помилуют? О гонце слышал?

— Слышал.

— Зачем же врет? Ведь никакого гонца не будет? Ты как думаешь, не будет, а? Сережа, что ж ты молчишь?

По голосу его Муравьев понял, что он готов опять расплакаться бесстыдно, как дети. Молчал — не знал, что делать: сказать ли правду, снять святой покров надежды, или обмануть, пожалеть? Пожалел, обманул:

— Не знаю, Миша. Может быть, и будет гонец.

— Ну, ладно, читай! — проговорил Бестужев радостно.— Вот что прочти — Исайи пророка, — помнишь, у тебя выписки.

Муравьев стал читать:

— «И будет в последние дни...

Перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать...

Тогда волк будет жить вместе с ягненком... И младенец будет играть над норою аспида...

Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена ве́дением Господа, как воды наполняют море.

И будет: прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу.

Как утешает кого-либо мать, так утешу Я вас...» [1].

— Стой, стой! Как хорошо! Не Отец, а Мать... А ведь это все так и будет?

— Так и будет.

— Нет, не будет, а есть! — воскликнул Бестужев.— «Да приидет Царствие Твое» [2], это в начале, а в конце: «Яко Твое есть царствие». Есть, уже есть... А знаешь, Сережа, когда я читал «Катехизис» на Васильковской площади, была такая минута...

— Знаю.

---

[1] Книга пророка Исайи, II, 4; XI, 6.

[2] Слова из молитвы «Отче наш».

— И у тебя?.. А ведь в такую минуту и умереть не страшно?

— Не страшно, Миша.

— Ну, читай, читай... Дай руку!

Муравьев просунул руку в щель. Бестужев поцеловал ее, потом приложил к губам. Засыпал и дышал на не , как будто и во сне целовал. Иногда вздрагивал, всхлипывал, как маленькие дети во сне, но все тише, тише и, наконец, совсем затих, заснул.

Муравьев тоже задремал.

Проснулся от ужасного крика. Не узнал голоса Бестужева.

— Ой-ой-ой! Что это? Что это? Что это?

Заткнул уши, чтобы не слышать. Но скоро все затихло. Слышался только звон желез,надеваемых на ноги, и уветливый голос Трофимова:

— Сонный человек, ваше благородие, как дитя малое: всего пужается. А проснется — посмеется...

Муравьев подошел к стене, отделявшей его от Голицына, и заговорил сквозь щель:

— Прочли мое «Завещание»?

— Прочел.

— Передадите?

— Передам. А помните, Муравьев, вы мне говорили, что мы чего-то главного не знаем?

— Помню.

— А разве не главное то, что в «Завещании»: Царь Христос на земле, как на небе?

— Да, главное, но мы не знаем, как это сделать.

— А пока не знаем, Россия гибнет?

— Не погибнет — спасет Христос.

Помолчал и прибавил шепотом:

— Христос и еще Кто-то.

«Кто же?» — хотел спросить Голицын и не спросил: почувствовал, что об этом нельзя спрашивать.

— Вы женаты, Голицын?

— Женат.

— Как имя вашей супруги?

— Марья Павловна.

— А сами как зовете?

— Маринькой.

— Ну, поцелуйте же от меня Мариньку. Прощайте. Идут. Храни вас Бог!

Голицын услышал на дверях соседней камеры стук замков и засовов.

Когда пятерых, под конвоем павловских гренадер, вывели в коридор, они перецеловались все, кроме Каховского. Он стоял в стороне, один, все такой же каменный. Рылеев взглянул на него, хотел подойти, но Каховский оттолкнул его молча глазами: «Убирайся к черту, подлец!» Рылеев улыбнулся: «Ничего, сейчас поймет».

Пошли: впереди Каховский, один; за ним Рылеев с Пестелем, под руку; а Муравьев с Бестужевым, тоже под руку, заключали шествие.

Проходя мимо камер, Рылеев крестил их и говорил протяжно-певучим, как бы зовущим, голосом:

— Простите, простите, братья!

Услышав звук шагов, звон цепей и голос Рылеева, Голицын бросился к оконцу-«глазку» и крикнул сторожу:

— Подыми!

Сторож поднял занавеску. Голицын выглянул. Увидел лицо Муравьева. Муравьев улыбнулся ему, как будто хотел спросить: «Передадите?» — «Передам»,— ответил Голицын тоже улыбкой.

Подошел к окну и увидел на Кронверкском валу, на тускло-красной заре, два черных столба с перекладиной и пятью веревками.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Всех осужденных по делу Четырнадцатого, — их было 116 человек, кроме пяти приговоренных к смертной казни, — выводили на экзекуцию — «шельмование». Собрали на площади перед Монетным двором, построили отделениями по роду службы и вывели через Петровские ворота из крепости на гласис Кронверкской куртины, большое поле-пустырь; здесь когда-то была свалка нечистот и теперь еще валялись кучи мусора.

Войска гвардейского корпуса и артиллерия с заряженными пушками окружили осужденных полукольцом. Глухо, в тумане, били барабаны, не нарушая предрассветной тишины. У каждого отделения пылал костер и стоял палач. Прочли сентенцию и начали производить шельмование.

Осужденным велели стать на колени. Палачи сдирали мундиры, погоны, эполеты, ордена и бросали в огонь. Над головами ломали шпаги. Подпилили их заранее, чтобы легче переламывать; но иные были плохо подпилены, и осужденные от ударов падали. Так упал Голицын, когда палач ударил его по голове камер-юнкерскою шпагою.

— Если ты еще раз ударишь так, то убьешь меня до смерти,— сказал он палачу, вставая.

Потом надели на них полосатые больничные халаты. Разбирать их было некогда: одному на маленький рост достался длинный, и он путался в полах; другому на большой — короткий; толстому — узкий, так что он едва его напяливал. Нарядили шутами. Наконец, повели назад в крепость.

Проходя мимо Кронверкского вала, они шептались, глядя на два столба с перекладиной:

— Что это?

— Будто не знаете?

— Да уж очень на н е е не похоже.

— А вы ее видели?

— Нет, не видал.

— Никто не видел: это за нашу память — первая.

— Первая, да, чай, не последняя.

— Штука нехитрая, а у нас и того не сумели: немец построил.

— Из русских и палача не нашли: латыша какого-то аль чухну выписали.

— Да и то, говорят, плохонький: пожалуй, не справится.

— Кутузов научит: он мастер — на царских шеях выучен!

Смеялись: так иногда люди смеются от ужаса.

— И чего копаются? В два часа назначено, а теперь уж пятый.

— В Адмиралтействе строили; на шести возах везли; пять прибыло, а шестой, главный, с перекладиной, где-то застрял. Новую делали, вот и замешкались.

— Ничего не будет. Только пугают. «Конфирмация — декорация». Прискачет гонец с царскою милостью.

— Вон, вон, кто-то скачет, видите?

— Генерал Чернышев.

— Ну, все равно, будет гонец.

И опять на н е е оглядывались.

— На качели похожа.

— Покачайтесь-ка!

— Нет, не качели, а весы,— сказал Голицын. Никто не понял, а он подумал: «На этих весах Россия будет взвешена».

К столбам на валу подскакали два генерала, Чернышев и Кутузов. Спорили о толщине веревок.

— Тонки,— говорил Чернышев.

— Нет, не тонки. На тонких петля туже затянется,— возражал Кутузов.

— А если не выдержат?

— Помилуйте, мешки с песком бросали, — восемь пуд выдерживают.

— Сами делать пробу изволили?

— Сам.

— Ну, так вашему превосходительству лучше знать,— усмехнулся Чернышев язвительно, а Кутузов побагровел — понял: царя удавить сумел, сумеет — и цареубийц.

— Эй, ты, не забыл сала? — крикнул палачу.

— Минэ-ванэ, минэ-ванэ...— залепетал чухонец, указывая на плошку с салом.

— Да он и по-русски не говорит,— сказал Чернышев и посмотрел на палача в лорнет.

Это был человек лет сорока, белобрысый и курносый, немного напоминавший императора Павла I. Вид имел удивленный и растерянный, как спросонок.

— Ишь, разиня, все из рук валится. Смотрите, беды наделает. И где вы такого дурака нашли?

— А вы что ж не нашли умного? — огрызнулся Кутузов и отъехал в сторону.

В эту минуту пятеро осужденных выходили из ворот крепости. В воротах была калитка с высоким порогом. Они с трудом подымали отягченные цепями ноги, чтобы переступить порог. Пестель был так слаб, что его должны были приподнять конвойные.

Когда взошли на вал и проходили мимо виселицы, он взглянул на нее и сказал:

— C'est trop[1]. Могли бы и расстрелять.

До последней минуты не знал, что будут вешать.

С вала увидели небольшую кучку народа на Троицкой площади. В городе никто не знал, где будут казнить: одни говорили — на Волковом поле, другие — на Сенатской площади. Народ смотрел молча, с удивлением: отвык от смертной казни. Иные жалели, вздыхали, крестились. Но почти никто не знал, кого и за что казнят: думали — разбойников или фальшивомонетчиков.

— Il n'est pas bien nombreux, notre publique[2], — усмехнулся Пестель.

Опять, в последнюю минуту, что-то было не готово, и Чернышев с Кутузовым заспорили, едва не поругались.

Осужденных посадили на траву. Сели в том же порядке, как шли: Рылеев рядом с Пестелем, Муравьев — с Бестужевым, а Каховский — в стороне, один.

Рылеев, не глядя на Каховского, чувствовал, что тот смотрит на него своим каменным взглядом: казалось, что, если бы только остались на минуту одни, — бросился бы

---

[1] Это слишком (*франц.*).

[2] Не очень-то много у нас публики (*франц.*).

на него и задушил бы. Тяжесть давила Рылеева: точно каменные глыбы наваливались, — и он уже не отшвыривал их, как человек на маленькой планете — легкие мячики: глыбы тяжелели, тяжелели неимоверною тяжестью.

— Странная шапка. Должно быть, не русский? — указал Пестель на кожаный треух палача.

— Да, верно, чухонец,— ответил Рылеев.

— А рубаха красная. C'est le goût national [1], палачей одевают в красное,— продолжал Пестель и, помолчав, указал на второго палача, подручного: — А этот маленький похож на обезьяну.

— На Николая Ивановича Греча,— усмехнулся Рылеев.

— Какой Греч?

— Сочинитель.

— Ах, да, Греч и Булгарин.

Пестель опять помолчал, зевнул и прибавил:

— Чернышев не нарумянен.

— Слишком рано: не успел нарядиться,— объяснил Рылеев.

— А костры зачем?

— Шельмовали и мундиры жгли.

— Смотрите, музыканты,— указал Пестель на стоявших за виселицей, перед эскадроном лейб-гвардии Павловского гренадерского полка, музыкантов.— Под музыку вешать будут, что ли?

— Должно быть.

Так все время болтали о пустяках. Раз только Рылеев спросил о «Русской Правде», но Пестель ничего не ответил и махнул рукой.

Бестужев, маленький, худенький, рыженький, взъерошенный, с детским веснушчатым личиком, с не испуганными, а только удивленными глазами, похож был на маленького мальчика, которого сейчас будут наказывать, а может быть, и простят. Скоро-скоро дышал, как будто всходил на гору: иногда вздрагивал, всхлипывал, как давеча, во сне; казалось, вот-вот расплачется или опять закричит не своим голосом: «Ой-ой-ой! Что это? Что это? Что это?» Но взглядывал на Муравьева и затихал, только спрашивал молча глазами: «Когда же гонец?» — «Сейчас»,— отвечал ему Муравьев также молча, и гладил по голове, улыбался.

Подошел отец Петр с крестом. Осужденные встали.

— Сейчас? — спросил Пестель.

— Нет, скажут,— ответил Рылеев.

---

[1] Таков национальный вкус (*франц.*).

Бестужев взглянул на отца Петра, как будто и его хотел спросить: «Когда же гонец?» Но отец Петр отвернулся от него с видом почти таким же потерянным, как у самого Бестужева. Вынул платок и вытер пот с лица.

— Платок не забудете? — напомнил ему Рылеев давешнюю просьбу о платке государевом.

— Не забуду, не забуду, Кондратий Федорович, будьте покойны... Ну, что ж они... Господи! — заторопился отец Петр, оглянулся: может быть, все еще ждал гонца, или думал: «Уж скорее бы!» и подошел к обер-полицеймейстеру Чихачеву, который, стоя у виселицы, распоряжался последними приготовлениями. Пошептались, и отец Петр вернулся к осужденным.

— Ну, друзья мои...— поднял крест, хотел что-то сказать и не мог.

— Как разбойников провожаете, отец Петр,— сказал за него Муравьев.

— Да, да, как разбойников,— пролепетал Мысловский; потом вдруг заглянул прямо в глаза Муравьеву и воскликнул торжественно: «Аминь глаголю тебе: днесь со Мною будеши в раю!»[1]

Муравьев стал на колени, перекрестился и сказал:

— Боже, спаси Россию! Боже, спаси Россию! Боже, спаси Россию!

Наклонился, поцеловал землю и потом — крест.

Бестужев подражал всем его движениям, как тень, но, видимо, уже не сознавал, что делает.

Пестель подошел ко кресту и сказал:

— Я, хоть и не православный, но прошу вас, отец Петр, благословите и меня на дальний путь.

Тоже стал на колени; тяжело-тяжело, как во сне, поднял руку, перекрестился и поцеловал крест.

За ним — Рылеев, продолжая чувствовать на себе каменно-давящий взгляд Каховского.

Каховский все еще стоял в стороне и не подходил к отцу Петру. Тот сам подошел. Каховский опустился на колени медленно, как будто нехотя, так же медленно перекрестился и поцеловал крест. Потом вдруг вскочил, обнял отца Петра и стиснул ему шею руками так, что, казалось, задушит.

Выпустив его из объятий, взглянул на Рылеева. Глаза их встретились. «Не поймет»,— подумал Рылеев, и страшная тяжесть почти раздавила его. Но в каменном лице Каховского что-то дрогнуло. Он бросился к Рылееву и обнял его с рыданием.

---

[1] Слова Христа, обращенные к одному из распятых вместе с Ним разбойников (Евангелие от Луки, XXIII, 43).

— Кондрат... брат... Кондрат... Я тебя... Прости, Кондрат... Вместе? Вместе? — лепетал сквозь слезы.

— Петя, голубчик... Я же знал... Вместе! Вместе! — ответил Рылеев, тоже рыдая.

Подошел обер-полицеймейстер Чихачев и прочел сентенцию. Она кончалась так:

— «Сих преступников за их тяжкие злодеяния повесить».

На осужденных надели длинные, от шеи до пят, белые рубахи-саваны и завязали их ремнями вверху, под шеями, в середине, пониже локтей, и внизу, у щиколок, так что тела их были спеленуты. На головы надели белые колпаки, а на шеи — четырехугольные черные кожи; на каждой написано было мелом имя преступника и слово: «Цареубийца». Имена Рылеева и Каховского перепутали. Чихачев заметил ошибку и велел переменить кожи. Это была для всех страшная шутка, а для них самих — нежная ласка смерти.

Кутузов подал знак. Заиграла музыка. Осужденных повели. Виселица стояла на помосте; на него надо было всходить по деревянному откосу, очень отлогому. Всходили медленно, потому что скованными и связанными ногами могли делать только самые маленькие шаги. Конвойные поддерживали и подталкивали их сзади.

В это время палачи намазывали веревки салом. Старый унтер, гренадер, стоявший с краю шеренги, у виселицы, поглядывал на палачей и хмурился. Знал, как вешают людей: во время походов суворовских, в царстве Польском, жидков-шпионов перевешал с дюжину. Видел, что веревки смокли от ночной росы: сало не пристанет,— туги будут; петля слабо затянется и может соскользнуть.

Осужденные взошли на помост и стали в ряд, лицом к Троицкой площади. Стояли в таком порядке, справа налево: Пестель, Рылеев, Муравьев, Бестужев, Каховский.

Палач надевал петли. В эту минуту лица всех осужденных были одинаковы: спокойны и как будто задумчивы.

Когда уже петля была на шее Пестеля, в сонном лице его промелькнула мысль. Если бы можно было выразить ее словами, он думал так: «За ничто умираю или за что-то? Узнаю сейчас».

Колпаки опускали на лица.

— Господи, к чему это? — сказал Рылеев. Ему казалось, что не только от пальцев, но и от желтого, обтянутого лоснящейся кожей, лица чухонца пахнет салом. Страшная тяжесть опять навалилась. Но Каховский улыбнулся ему — и эту последнюю тяжесть он отшвырнул, как легкий мячик.

Улыбнулся и Муравьев Бестужеву: «Будет гонец?» — «Будет».

Палачи сбежали с помоста.

— Готово? — крикнул Кутузов.

— Готово! — ответил подручный.

Чухонец изо всей силы дернул за железное кольцо в круглом отверстии, сбоку эшафота. Доска из-под ног осужденных, как дверца люка, опустилась, и тела повисли.

«У-х!» глухим гулом прогудело от кучки народа на Троицкой площади до войска, окружавшего виселицу: вся толпа, как земля от свалившейся тяжести, ухнула. Не сразу поняли: было пятеро, осталось двое, — где же трое?

— Э, черт! Что такое? Что такое? — закричал Кутузов с лицом перекошенным, пришпорил лошадь и подскакал.

Отец Петр выронил крест, взбежал на помост и заглянул сначала в дыру, а потом — на три болтавшихся петли. Понял: сорвались.

Унтер был прав: на смокших веревках петли не затянулись как следует и соскользнули с шей. Повисли двое — Пестель и Бестужев, а трое — Каховский, Рылеев и Муравьев — сорвались.

Там, в черной дыре, копошились, страшные, белые, в белых саванах.

Колпаки упали с лиц. Лицо Рылеева было окровавлено. Каховский стонал от боли. Но взглянул на Рылеева, — и опять, как давеча, улыбнулись друг другу: «Вместе?» — «Вместе».

Муравьев был почти в обмороке, но как глубокоспящий просыпается с неимоверным усилием, так он очнулся, открыл глаза и взглянул вверх; увидел, что Бестужев висит: узнал его по маленькому росту. «Ну, слава Богу,— подумал,— иной гонец иного Царя уже возвестил ему жизнь!» А что сам будет сейчас умирать не второю, а третьей смертью, — не подумал. Опять закрыл глаза и успокоился с последнею мыслью: «Ипполит... маменька...»

Музыка затихла. В тишине, из кучки народа на Троицкой площади, послышался вопль, визг: там женщина билась в припадке. И опять, как давеча, по всей толпе, от площади до виселицы, прошло глухим гулом содрогание ужаса. Казалось, еще минута, — и люди не вынесут: бросятся, убьют палачей и сметут виселицу.

— Вешать! Вешать! Вешать скорей! —кричал Кутузов.— Эй, музыка!

Снова заиграла музыка. Трех упавших вытащили из дыры. Взойти на помост они уже не могли: взнесли на руках. Опустившуюся доску подняли. Пестель достал до нее носками и ожил: по замершему телу пробежала новая судорога. Бестужев не достал благодаря малому росту: он один от второй смерти избавился.

Опять накинули петли и опустили доску. На этот раз все повисли как следует.

Был час шестой. Солнце всходило в тумане, так же как все эти дни, тускло-красное. Прямо против солнца, между двумя черными столбами, на пяти веревках висели пять неподвижно вытянутых тел, длинных-длинных, белых, спеленутых. И солнце, тускло-кровавое, не запятнало кровью белых саванов.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Накануне казни государь уехал, или, как иные говорили, «бежал» в Царское. Каждые четверть часа туда посылали фельдъегерей, прямо с места казни. С последним Кутузов отправил донесение:

«Экзекуция кончилась с должною тишиною и порядком, как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, коих было немного. По неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы, при первом разе, трое, а именно: Рылеев, Каховский и Муравьев — сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть. О чем Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доношу».

В тот же день начальник главного штаба, генерал Дибич, писал государю:

«Фельдъегерь доставит Вашему Величеству донесение генерала Кутузова об исполнении приговора над мерзавцами. Войско вело себя с достоинством, а злодеи с тою низостью, которую мы видели с самого начала».

«Благодарю Бога, что все окончилось благополучно,— ответил государь Дибичу.— Я хорошо знал, что герои 14-го не выкажут при сем случае более мужества, чем следует. Советую вам, мой милый, соблюдать сегодняшний день величайшую осторожность».

14-го июля отслужено было благодарственное молебствие на Сенатской площади. Войска окружали походную церковь, поставленную у памятника Петра, на том самом месте, где 14-го Декабря стояло каре мятежников. Митрополит с духовенством обходил ряды войск и кропил их святою водою.

Последняя ектенья возглашалась торжественно, с коленопреклонением:

«Еще молимся о еже прияти Господу Спасителю нашему исповедание и благодарение нас, недостойных рабов Своих, яко от неиствующия крамолы, злоумышлявшия на испровержение веры православныя и престола и на разорение царства Российского, явил есть нам заступление и спасение Свое».

«Их казнь — казнь России? Нет, пощечина. Ну, да ничего, съедят. Прав Каховский: подлая страна, подлый народ. Погибнет Россия... А, может быть, и гибнуть нечему: никакой России нет и не было».

Так думал Голицын, сидя в своей новой камере, в Невской куртине, куда перевели его после экзекуции, 13-го июля. Он уже знал, что казнь совершилась, — фейерверкер Шибаев успел ему об этом шепнуть, — но больше ничего не знал. В эти дни после казни арестанты содержались с такою же строгостью, как в первые дни заключения. Никуда не выпускали их из камер; разговоры и перестукивания кончились; сторожа опять онемели; на все вопросы был один ответ: «Не могу знать».

В самый день казни Подушкин потихоньку передал Голицыну записку от Мариньки. Плац-майорская дочка, Аделаида Егоровна, умолила об этом отца. Записка была нераспечатана.

«Мой друг, я давно тебе не писала, не имея духу и не желая через посторонних сообщить страшную весть. Прошлого Июня месяца, 29 числа, скончалась маменька. Хотя она уже с Генваря месяца хворала, но я столь скорого конца не чаяла. Не могу себя избавить от мысли терзающей, что я, хотя и невольная, виновница сего несчастия. Нет горше муки, как позднее раскаяние, что мы недостаточно любили тех, кого уже нет. Но лучше не буду об этом писать: ты сам поймешь. Итак, я теперь совершенно одна на свете, ибо Фома Фомич, хотя и любит меня, как родную, и готов отдать за меня жизнь, но, по старости своей (он очень постарел с бабушкиной смерти, бедненький, и ныне совсем, как дитя малое) для меня опора слабая. Но ты за меня не бойся, мой друг. Я теперь знаю, что человек, когда это нужно, находит в себе такие силы, коих и не подозревал. Я не изменила и никогда не изменю твердому упованию на милость Божию и на покров Царицы Небесной, Заступницы нашей, Стены Нерушимой, всех скорбящих Матери. Только теперь узнала я, сколь святой покров Ее могуществен. Каждый день молюсь Ей со слезами

за тебя и за всех вас, несчастных. Много еще хотела бы об этом писать. но не умею. Прости, что так плохо пишу. Я пережила ужасные дни, получив известие, что второй разряд, в коем и ты состоишь, приговорен к смертной казни. Я, впрочем, знала, что не переживу тебя, и это одно меня укрепило. Вообрази же радость мою, получив известие, что смертная казнь заменена каторгою,— и радость еще большую, что нам, женам, разрешено будет за мужьями следовать. Все эти дни мы с княгиней Екатериною Ивановною Трубецкою — какая прекрасная женщина! — хлопотали о сем и теперь уже имеем почти совершенную уверенность, что разрешение будет получено. Мне больше ничего не нужно, как только быть с тобою и разделить твое несчастие. Вот и опять не знаю, как сказать. Помнишь, больной, в бреду, ты все повторял: «Маринька, маменька...»

Он больше не мог читать; письмо выпало из рук. «Зачем такое письмо в такой день?» — подумал. Сам не знал, какое в нем чувство сильнее — радость или отвращение к собственной радости. Вспомнил самую страшную из всех своих мыслей, ту, от которой в Алексеевском равелине едва не сошел с ума: любовь — подлость; любовь к живым, радость живых — измена мертвым; нет любви, нет радости, ничего нет, — только подлость и смерть — смерть честных, подлость живых.

На следующий день, 14-го июля, вечером, зашел к нему отец Петр. Так же, как тогда, в Вербное воскресение, когда Голицын отказался от причастия, он держал чашу в руках, но по тому, как держал, видно было, что она пустая.

Старался не глядеть в глаза Голицыну; был растерян и жалок. Но Голицын не пожалел его, как Рылеев. Посмотрел на него из-под очков долго, злобно и усмехнулся:

— Ну, что, отец Петр, дождались гонца? Конфирмация — декорация?

Отец Петр тоже хотел усмехнуться, но лицо его сморщилось. Он сел на стул, поднес чашу ко рту, закусил край зубами, тихо всхлипнул, потом все громче и громче; поставил чашу на стол, закрыл лицо руками и зарыдал.

«Экая баба!» — думал Голицын, продолжая смотреть на него молча, злобно.

— Ну-с, извольте рассказывать,— проговорил, когда тот немного затих.

— Не могу, мой друг. Потом когда-нибудь, а сейчас не могу...

— Могли на казнь вести, а рассказать не можете? Сейчас же, сейчас же рассказывайте! — крикнул Голицын грозно.

Отец Петр посмотрел на него испуганно, вытер глаза платком и начал рассказывать, сперва нехотя, а потом с увлечением; видимо, в рассказе находил усладу горькую.

Когда дошел до того, как сорвались и снова были повешены, побледнел, опять закрыл лицо руками и заплакал. А Голицын рассмеялся.

— Эка земелька Русь! И повесить не умеют как следует. Подлая! Подлая! Подлая!

Отец Петр вдруг перестал плакать, отнял руки от лица и взглянул на Голицына робко.

— Кто подлая?

— Россия.

— Как вы страшно говорите, князь.

— А что? За отечество обиделись? Ничего, проглотите!

Оба замолчали.

Окно камеры выходило на Неву, на запад. Солнце закатывалось, такое же красное, но менее тусклое, чем все эти дни: дымная мгла немного рассеялась. Вдали, за Невою, пылали стекла в окнах Зимнего дворца красным пламенем, как будто пожар был внутри. Красное пламя заливало и камеру. Давеча, во время рассказа, отец Петр взял чашу со стола и теперь все еще держал ее в руках. Золотая чаша в красном луче сверкала ослепительно, как второе солнце.

Голицын взглянул на нее, встал, подошел к отцу Петру, положил ему руку на плечо и проговорил все так же грозно:

— Теперь понимаете, почему я не хотел причаститься? Теперь понимаете?

— Понимаю,— прошептал отец Петр и, взглянув на него, даже в красном свете, увидел, что лицо его мертвенно-бледно.

Опять помолчали.

— Где похоронили? — спросил Голицын.

— Не знаю,— ответил отец Петр.— Никто не знает. Одни говорят — тут же, у виселицы, во рву с негашеною известью; другие — на острове Голодае, на скотском кладбище; а иные — зашили, будто, в рогожи, навязали камни, положили в лодку, отплыли на взморье и бросили в воду.

— А панихидку-то я отслужил, как же-с! — помолчав, прибавил с простодушно-лукавою усмешкою.— Нынче парад был на Сенатской площади, благодарственное молеб-

ствие за ниспровержение крамолы. Святою водою войска и площадь кропили, очищали от крови — все крови боятся — да, чай, и святою водою крови не смыть. Владыка митрополит служил со всем духовенством, соборне. Ну, а я не пошел. Матушка протопопица говорит: «Уж очень много, говорит, ты себе позволяешь, отец Петр! Смотри, как бы не налетело от архиерея по потылице».— «Ну, и пусть, говорю, пусть налетит!» Отпустил Казанскую с другими попами, а сам не пошел, облачился в черные ризы, да панихидку и отслужил по пяти рабам Божиим новопреставленным. «Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, Сергея, Михаила, Петра, Павла, Кондратия, иде же праведные упокояются. Прими, Господи, в мир Твой»... Ну, да уж что говорить, — примет, небось, примет.

Вдруг поднялся во весь рост и воскликнул торжественно:

— Свидетельствуюсь Богом живым: как святые умерли. Как готовые спелые гроздья, упали на землю, но не земля их приняла, а Отец Небесный. Венцов мученических сподобились, и не отнимутся от них венцы сии во веки веков. Слава Господу Богу! Аминь.

Опять, как тогда, в Вербное воскресение, Голицын стал на колени и сказал:

— Благословите, отец Петр.

Тот поднял руку.

— Нет, чашею.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа,— благословил его отец Петр, касаясь чашею лба, груди и плеч; потом дал поцеловать ее. Когда Голицын приложил к ней губы, красно-кровавый луч солнца упал на золотое дно, и, казалось, что чаша наполнилась кровью.

Отец Петр молча обнял его и хотел выйти.

— Постойте,— сказал Голицын, расстегнул ворот рубахи, пошарил за пазухой, вынул пачку листков и отдал ему.

— Что это? — спросил отец Петр.

— Записки Муравьева, «Завещание России». Велел вам отдать. Сохраните?

— Сохраню.

Еще раз обнял его и вышел из камеры.

Голицын долго сидел, не двигаясь, не чувствуя, как слезы текли по лицу его, и смотрел на заходящее солнце — небесную чашу, полную кровью. Потом опустил глаза и увидел на столе Маринькино письмо. Теперь уже знал, зачем такое письмо в такой день.

Вспомнил слова Муравьева: «Поцелуйте от меня Мариньку!» Взял письмо и поцеловал, прошептал:

— Маринька... маменька!

Вспомнил, как после свидания с нею в саду Алексеевского равелина целовал землю: «Земля, земля, Матерь Пречистая!» И как Муравьев, в последнюю минуту перед виселицей, тоже целовал землю. Вспомнил предсмертный шепот его сквозь щель стены: «Не погибнет Россия, — спасет Христос и еще Кто-то». Тогда не знал, Кто, — теперь уже знал.

Радость, подобная ужасу, пронзила сердце его, как молния:

Россию спасет Мать.



РОЖДЕНИЕ БОГОВ

(ТУТАНКАМОН НА КРИТЕ)

МАТЕРЬ БОГОВ

I

— «Отец есть любовь». *Аб-вад. Аб* — Отец, *вад* — любовь. Вот что на талисмане написано.

— Что это значит?

— Не знаю... Как надела мне его мать на шею, так и ношу, никогда не снимаю; он меня всю жизнь хранит. Сохранил и давеча от зверя. Когда из камышей выпорскнул вепрь, сшиб меня с ног, хватился я ножа — ножны пусты. Под брюхом у него лежу, а он надо мною храпит, горло клыком достает. Хорошо, что внизу, у ключицы задел, а если бы чуть-чуть повыше, тут бы мне и конец. Вспомнил я талисман, одной рукой нащупал на груди, «*Аб вад*»,— шепчу, а другой рукой нашарил нож в траве; должно быть, выронил, падая. Изловчился, приподнялся и всадил его по рукоять в брюхо зверю.

— Талисман тебя спас, а ты — меня.

— Я о тебе не думал... Ну, а если бы и спас, какая мне прибыль? Мы ведь купцы о прибыли только и думаем.

— Погоди, купец, может быть, будет и прибыль...

Лица ее не видел он, но слышал по голосу, что улыбнулась так ласково, что, хотя и знал, что счастья не будет, все-таки сердце от счастья замерло.

Таммузадад [1], сын Иштаррамгна, вавилонянин, и Дио, дочь Аридоэля, критянка, шли по лесной дороге с Иды горы, в город Кносс, столицу острова Крита. Дорогу — две колеи в красно-желтой глине — проложили скрипучими колесами телег дровосеки, возившие лес с Горы — мачтовые сосны и кедры — на корабельные верфи Кносской гавани.

Охотники возвращались с ловли диких быков, а вепря затравили нечаянно: сам набежал на них, вспугнутый гончими. Священные игры быков совершались на Кносском ристалище во славу Быка. Каждую весну ловцы и ловчихи отправлялись за ними на Гору. Там, на медвяно-злачных пажитях, у ледяно-струйных вод, паслись быки, неукротимо-дикие, тяжело-тучные, широколбистые, огромнорогатые, чудовищно-прекрасные, первенцы творения, сыны Земли, Матери богоподобные. Ловили их, как птиц, в тенета, сплетенные из толстых морских канатов, расставленные в лесных дебрях, на водопойных тропах.

Уже весна цвела в долинах, а здесь, на Горе, все еще

[1] В настоящем произведении редакция сохраняет авторскую транскрипцию имен и названий.

была зима. Пронзительно-холодный ветер задувал со снежной Иды. Тучи неслись по небу так низко, что, казалось, цеплялись за верхушки сосен. Шел мокрый снег с дождем. Смеркалось.

Но весна была уже и в зимних сумерках. Из-под кучи прелых листьев пробивались ландыши; во мху цвели фиалки; куковала кукушка, как будто знала и она, что счастья не будет, а все-таки плакала от счастья.

— Да, от всего спасал талисман,— заговорил он опять,— от огня, от яда, от зверя; от одного не спас...

— От чего?— спросила она. Он не ответил, и она поняла: «От тебя».

Оба закутаны были в звериные шкуры: он — в рыжую, львиную, с пастью на голове вместо шлема; она — в седую, волчью, со шлемом хоревым. У обоих — охотничьи копья в руках, луки и колчаны за спиною. Трудно было узнать, кто мужчина, кто женщина.

Скинув львиную пасть с головы, он поднес руку к шее.

— Болит?— спросила она.

— Не очень. Что это за рана — царапина! Пастухом, в Халихалбате, хаживал на львов с одной палицей. Раз только ощенившаяся львица задрала; след когтей и сейчас на спине. Ну, да я тогда покрепче был, помоложе...

Она посмотрела на него заботливо.

— Повязка сползла. Дай поправлю.

— Нет, где тут в лесу! Ведь скоро будем дома?

— Скоро,— ответила она нерешительно.

— А дорогу знаешь? Не заблудимся? Вон глушь какая!.. Что это, море шумит?

— Нет, сосны. Когда шумят сосны, похоже на море.

И, помолчав, повторила опять, как будто думая о своем:

— Что ж это значит, «Отец есть любовь»? Кто Отец? Бог?

— Не знаю. Сорок лет твержу, а не знаю. Слово Божие — закрытый сосуд: кто знает, что внутри? А может быть, и не надо знать: узнаешь — умрешь?..

— Пусть,— только бы знать!

И оба замолчали, прислушались к шуму сосен — шуму незримого моря — не того ли, что бьется о все берега земные неземным прибоем — шумит шумом смерти?

— В Уре Халдейском...[1]— начал он и остановился. Произнеся имя родного города, почувствовал вдруг, что низкие тучи, мокрый снег, приторный запах мокрой хвои, унылое кукование кукушки и шум сосен — шум смерти — все ему здесь ненавистно; ненавистна и она, любимая: из-

[1] Древнешумерийский и вавилонский город на Евфрате.

за нее никогда не вернется он на родину, умрет на чужбине бездомным бродягою, подохнет, как пес на большой дороге.

— В Уре Халдейском,— продолжал он,— отец мой был жрецом лунного бога Сина. Тайнам Божьим хотел и меня научить, но я не слушал его, думал тогда о другом. А все же кое-что узнал. Вот что написано в допотопных скрижалях о сотворении человека. Поймешь на нашем языке?

— Пойму.

— Ну так слушай:

Боги призвали богиню,
Мудрую Мами Помощницу...

— Мами?— удивилась она.— У вас Мами, а у нас Ма. Одно имя?

— Да. Может быть, одна у всех. Все люди, как дети, зовут Ее: «Мами»!

Боги призвали богиню,
Мудрую Мами Помощницу:
«Ты, единая плоть материнская,
Можешь людей сотворить».
Открывает уста свои Мами,
Великим богам говорит:
«Я одна не могу»...

Дальше нельзя прочесть, скрижаль сломана. А в конце так:

Открывает уста свои Эа Отец,
Великим богам говорит:
«Бога должно заклать;
С божеской плотью и кровью
Мами глину смесить»...

Так боги и сделали: из плоти и крови закланного Бога человека создали.

— Так это и у вас? — еще больше удивилась она.

— Да, и у нас. Бог умер, чтобы человек жил. Может быть, это и значит «Отец есть любовь»?

— Это! Это! Как же ты говорил, что не знаешь?

Из-под хоревого шлема блеснули глаза ее — вещие звезды, страшно-близкие, страшно-далекие,— и опять почувствовал он, что чужбина — родина; умрет из-за нее, ненавистной-любимой, подохнет, как пес на большой дороге, и будет счастлив.

— Как же ты говорил, что не знаешь?— повторила она.

— Не знаю, ничего не знаю, девушка,— усмехнулся он горько.— Может быть, так, а может быть, и не так. Че-

ловек о Боге знает столько же, как о человеке червь. Как твари дрожащей путь Божий постигнуть? Все надвое. На небе одно, а на земле другое. По земле судя, не очень-то Бог любит людей. Как в плачевной песне поется:

Помощи ждал я — никто не помог;
Плакал — никто не утешил;
Кричал — никто не ответил.

Злым и добрым одна участь: умрем и будем, как вода, пролитая на землю, которую нельзя собрать.

— Зачем ты так говоришь?

— Как так?

— Как будто ничего нет.

— А что же есть? Тебе лучше знать: ты жрица, умеешь пророчить и гадать; а я купец, умею только считать. Дважды два четыре — смерть. Умрет человек — ляжет и не встанет.

— И все?

— Все.

— И ты больше ничего не хочешь?

— Как не хотеть! Хочу, чтоб дважды два было пять, да ведь не будет... О сотворении мира и другое сказано:

Ищешь ты жизни, но не найдешь.
Когда боги людей сотворили,
То себе оставили жизнь,
А людям назначили смерть.

Все надвое. Выбирай, что хочешь: или дважды два пять — жизнь, иди дважды два четыре — смерть.

Помолчал и спросил:

— А что, девушка, правда, будто бы у вас здесь, на Острове, человеческие жертвы приносятся — отцы закалают первенцев?..

— Молчи! Разве можно говорить об этом,— прошептала она с ужасом.

— Говорить нельзя, а делать можно?

— Молчи, молчи, безбожник! Если скажешь еще слово, я тебе больше не друг!— проговорила она так повелительно грозно, что он замолчал.

II

Давно уже сошли с дороги на глухую, как звериный след, тропу. Вдруг вышли на лесную поляну, отовсюду огражденную скалами, тихую, теплую. Посреди нее миндальное деревцо розовело розовым цветом, под белым снегом, в мутных сумерках.

— А может быть, ты и ошибся в счете, купец: дважды два четыре не все? — сказала она, взглянув на деревцо.

— Может быть, и ошибся,— опять усмехнулся он горько.— Слушай, девушка. Сказал безумный мудрому: «Все ли зло под солнцем? Нет ли добра?» И мудрый безумному ответил: «Есть и добро».—«Какое же»?—«А вот какое: разбить нам обоим головы и бросить нас обоих в реку».

— Вот так ответил! Вот так ответил!— рассмеялась она весело.

Он тоже взглянул на дерево и понял: для нее, смеющейся, он, скорбящий,— как этот мокрый снег для розовых цветов.

— Стой, куда мы зашли?— оглянулась она.— Что-то я этой поляны не помню.

— Так и знал, что заблудимся! Зачем же свернула с дороги?

— Покороче хотела.

— Вот тебе и покороче! Ах, бестолковая! Небесных путей искавши, земной потеряли. А ночь на носу...

Он присел на поваленный ствол сосны и вытер ладонью пот со лба.

О себе она не думала; ко всему привыкла на звериных ловлях; переночевала бы в лесу, как дома. Но видела, что он устал и ослабел от раны. Подумала, решила:

— Не бойся, найдем ночлег.

— В медвежьей берлоге, что ли?

— Нет, у Нее.

Он понял: у Нее — у Матери. Имя Ее было так свято, что почти никогда не произносилось.

— Где же Она?

— Тут недалеко.

— А ты почем знаешь?

Молча указала она на глубоко зарубленный в сосновой коре, угольчатый крестик — Ее святое знаменье. Подальше, на другом стволе — еще, и еще. Как вехи, вели они к Ней.

Следуя по ним, вошли они в овраг — дно высохшего потока, так густо заросшее лиловым вереском и ржавым папоротником, что не видно было, куда ступает нога. Дио шла впереди. Вдруг отшатнулась — едва успела удержать ногу над пропастью. По ту сторону ее, в белесовато-мутной мгле, громоздились горы, как тучи, и высоко над ними, как будто от них отделенная, реяла почти невидимо, бледным призраком, снежная Ида гора — сама Великая Матерь, неизреченная Ма.

Дальше, казалось, идти было некуда. Но на отвесной скале, над самою кручею, начертан был четко, красною краскою, все тот же путеводный крестик. Обогнув выступ скалы, по самому краю пропасти, вышли к полукруглой площадке, обставленной каменными глыбами. Это была святая ограда перед входом в пещеру Матери.

Камень черный, закругленный сверху, как желудь, стоял посреди площадки. Люди говорили, что он упал с неба падучею звездою и по ночам светился звездным светом. Это был святой Камень — Бэтил: в нем обитал Бог.

Дио вошла через калитку в ограду. Подойдя к Камню, обняла его и поцеловала. Потом вернулась к Таммузададу, сказала:

— Войди. Со мною можно.

И, взяв его за руку, ввела в ограду. В скале была медная дверца. Дио постучалась в нее. Никто не ответил.

— Должно быть, Пчелы ушли в город,— сказала она. Пчелами назывались жрицы Матери, и сама Дио была Пчелою.

Дверца никогда не запиралась: страх Божий охранял святилище. Открыв ее, вошли через тесную щель в темную, теплую, прокуренную святым шафраном и ладаном пещеру.

При тусклом свете, падавшем из приотворенной дверцы, увидели бронзовый треножник — алтарь курений с рдевшим под пеплом жаром углей. Дио вздула огонь и набросала сухих веток. Вспыхнуло яркое пламя, и пещера осветилась.

За алтарем курений был алтарь возлияний — черная стеатитовая, на столбиках, доска, с тремя углублениями — чашами, для воды, молока и меда: вода — Отцу, молоко — Сыну, мед — Матери.

Дальше в глубину возвышались два огромных глиняных бычьих рога, и между ними медная, на медном древке, двуострая секира, ярко вычищенная, сверкала, отражая пламя. Эта святая Секира — *Лабра* — была знамением Сына закланного, Тельца небесного: молнийной секирою Отца рассекается туча — телец, чтобы жертвенною кровью — дождем — напитать Землю Кормилицу.

А в самой глубине стоял маленький глиняный идол, незапамятно древний, чудовищный, с птичьим клювом вместо лица, смешными обрубками, как бы цыплячьими крылышками вместо рук, исполинскими кольцами-серьгами в исполинских ушах, красными точками вместо сосцов и черным треугольником женских ложесн.

Войдя в пещеру, Таммузадад и Дио скинули звериные шкуры.

На нем была длинная, подобная жреческим ризам, вавилонская одежда из темно-лиловой шерсти с золотым шитьем, повторявшим узор — райское Древо Жизни между двумя херувимами. Борода, черная с проседью, завита была в правильные ярусы мелких локонов, теперь от сырости развившихся и растрепавшихся несколько смешно и жалобно. Ростом он был невысок, широкоплеч и приземист. Обветренное, смуглое, как у моряков, лицо с резкими чертами, с вечною, как бы застывшею, умною и злою усмешкою, было некрасиво. Но иногда он улыбался неожиданно-детскою улыбкою, и вдруг, точно личина спадала, открывалось другое лицо, простое и доброе.

На ней была критская сборчатая, книзу расширенная колоколом, юбка, на каждой ноге закругленная так, что слегка напоминала мужские штаны; стан туго перетянут, как бы перерезан, кожаным поясом-валиком; на верхней части тела — узкий, в обтяжку, хитон из ткани, тонкой и золотистой, как пленка с головки сушеного лука; на груди — трехугольный, низкий до пояса, вырез, обнажавший сосцы.

Когда вспыхнуло пламя на жертвеннике, Дио подняла и протянула руки, выставив ладони вперед, к маленькому чудовищному идолу в глубине пещеры; потом поднесла их ко лбу и соединила над бровями, как будто закрывая глаза от слишком яркого света. Повторила это движение трижды, произнося молитву на древнем, священном языке. Таммузадад плохо понимал его, но все-таки понял, что она молится Матери:

— Всех детей твоих, Матерь, помилуй, спаси, заступи!

Он удивился, узнав почти ту же молитву, которой мать его учила в детстве; с нею же надела ему на шею и ту корналиновую дощечку-талисман, с полустертыми знаками древних письмен: «Отец есть любовь».

III

Кончив молитву, Дио указала ему на две кучи сухих листьев, покрытые овечьим руном, у двух противоположных стен пещеры,— должно быть, ложа здешних Пчел:

— Вот тебе и ночлег!

Он посмотрел на нее молча, с удивлением: не понимает, что делает, или думает, что от всего сохранит ее святой покров Матери?

Потом, усадив его на обрубок дубового пня, вынула из охотничьей сумы все, что нужно для перевязки, сходила за водою на родник в устье пещеры, согрела воду

в медной чаше на угольях жертвенника, обмыла рану, присыпала зельем, утоляющим боль, и перевязала лоскутом свежей льняной ткани. Была искусною врачихою, так же, как все Пчелы.

Пальцы ее едва касались раны. Но он побледнел и стиснул зубы.

— Лилит! Лилит!— шептал, как в бреду.

— Что ты шепчешь?— спросила она. Он ничего не ответил, только стиснул зубы еще крепче.

Лилит была соблазнительно-прекрасным вавилонским бесом, сосущим по ночам кровь сонных дев и отроков,— сама ни отрок, ни дева,— Дева и Отрок вместе.

Девушки часто бывают похожи на мальчиков. Но Дио была больше, чем похожа. Смешно сказать: он иногда не знал, кого любит — *ее* или *его*. Видел голую женскую грудь, а все-таки не знал.

О, это слишком худое, отрочески-стройное тело, слишком узкие бедра, угловатость движений, непокорные завитки слишком коротких, иссиня-черных волос и мужественно-смуглый, девственно-нежный румянец, как розовый цвет миндаля в густеющих сумерках, и темный пушок на верхней губе — смешные «усики»— для него не смешные, а страшные! Ни он, ни она — она и он вместе — Лилит, Лилит!

Иногда ему хотелось спросить ее в упор: «А ты кто?». И если не спрашивал, то не только потому, что это было смешно. «Кто подымет покров лица моего, умрет»,— говорит богиня Иштар вавилонская, Звезда любви, утренне-вечерняя, на закате Жена, на рассвете Муж — Муж и Жена вместе. Страшно ему было узнать, кто она: узнать — умереть.

Дио вынула из сумы и поставила на стол — другой пень, повыше — две стеклянных сулейки, одну с вином, другую с оливковым маслом; положила хлеб, сыр, сушеные плоды, и для него — ломоть копченой оленины. Сама не ела мяса: ничего дышащего не вкушали жрицы Матери.

Угощала его, но он от всего отказывался, только жадно выпил чашу холодной воды. А она ела за двоих, как настоящая охотница.

— Теперь уж не заблудимся!— болтала весело.— Тут дорога близехонько. На заре наши с Горы подойдут. У них две телеги; на одной везут быка, а на другую тебя посадим. С ними и вернемся в город... Да что ты такой скучный? О чем думаешь?

— Ни о чем. От тебя шафраном пахнет. «Сладкое дыханье зимнего шафрана»,— так у вас в песне поется?.. Это ваше святое благовоние, Пчелы?

— Да. А ты не любишь?

— Нет, ничего.

Он вынул из ножен нож, тот, которым убил давеча вепря. Осмотрел, нет ли пятен крови. Тер сукном, чистил. Темным блеском блестело железо.

— Черная медь крепче желтой?— спросила она. Железа на Островах не было, не было и слова для него.

— Да, крепче, ковче. А если раскалить добела и опустить в воду, будет еще крепче, и гнется, как ивовый прут, не ломается.

— Ты им и торгуешь?

— Им. Я вам его первый привез, до меня никто не возил.

— На нем разжился?

— На нем. Железо дороже золота.

— Откуда оно?

— Из земли Халибов, на Севере. Но и те только купцы да ковачи, а к ним привозят другие, кто живет еще дальше на Севере. Там земля и небо железные, и люди тоже. Если к вам придут, всех истребят. Медью с железом не справиться. У кого железо, тот всех победит.

— А могут прийти?

— Могут. Уже идут. Был камень, есть медь, будет железо. И тогда начнется война, не то что теперь. Где железо, там и кровь; кровь липнет к железу. В древних книгах сказано: «Все будут убивать друг друга». Был потоп водный — будет кровавый, и тогда всему конец...

— Этого не будет!

— Будет. Отчего не быть?

— Не попустит Мать,— сказала она и, подумав, прибавила:— Как же ты не боишься?

— Чего?

— Торговать... этим.

Не захотела произносить гнусное слово: «железо».

— Да Ей-то что?— усмехнулся он.— Боги в такие дела не мешаются. Был бы товар, а купцы будут. Не я, так другой.

— Спрячь! Спрячь! Ей не показывай!— прошептала она с отвращением и ужасом.

Он спрятал нож в ножны.

— А рядом с Халибами живут Амазонки,— продолжал он по старой привычке моряка вспоминать далекие страны.— Амазонки значит Безгрудые. Правую грудь выжигают себе, чтобы не мешала натягивать лук. И такой у них обычай: жены воюют, а мужи прядут шерсть и нянчат ребят. А ведь и у вас тут, на Островах, такой же был когда-то обычай; да и теперь еще мать больше отца, и жрицы святее

жрецов. Ведь и вы Пчелы — мужененавистницы? Как это у вас в песне поется? В лунные ночи, в святых садах, в сладком дыхании шафрана, как Пчелки жужжат?

— Это не песня, а молитва.

— Ну, все равно. Скажи, как?

Она улыбнулась и вдруг зашептала, зажужжала тихо — молитвенно:

О, да избегну я, дева безбрачная,
Царственной Матери дочерь свободная,
Рабского ига объятий мужских.

— А дальше, дальше как?— молил он жадно.

Она опустила глаза и уже без улыбки прошептала еще тише:

Да преклонит же к молящей
Лик свой милостивый Матерь,
И святым своим покровом
Дева деву осенит!

— Ну а конец я и сам помню:

Лучше в петлю, чем на ложе
Ненавистное мужей!

Так вот вы как, святые девы! Не грудь себе выжигаете, а сердце. Да ведь не выжжете, глупые! Дважды два четыре, это и в любви, как в смерти. Всякая птица вьет гнездо, всякая девушка хочет мужа. Захочешь и ты — полюбишь!

Она подняла на него глаза — вещие звезды, страшно-близкие, страшно-далекие.

— Не полюблю,— ответила просто.— *Так* не полюблю.

— А как же, как же иначе?

Она ничего не ответила.

Огонь потухал. Она подбавила смолистых лучин; наколола их побольше, чтобы хватило на ночь. Пламя вспыхнуло. Медная секира заискрилась, черные тени рогов запрыгали по стенам, и маленький идол в глубине пещеры, казалось, замахал цыплячьими крылышками, как будто хотел вспорхнуть.

— А правда ли, что тут у вас, в таинствах Матери, жрецы одеваются жрицами, а жрицы — жрецами? — опять заговорил он.— Это зачем? Разве Мать...

— Молчи!— сказала она так же грозно-повелительно, как давеча, когда он спрашивал о человеческих жертвах.

Но он уже не хотел молчать, весь дрожал, говорил как в бреду:

— Тут у вас земля трясется, носить вас больше не хочет. Погодите, ужо накажет вас Бог: провалитесь все в преисподнюю!

— За что?

— А вот за это, за это! За то, что естество извратили, захотели, чтоб дважды два было пять...

Она вдруг рассмеялась ему в лицо так же весело, как давеча, глядя на розовый цвет миндаля в густеющих сумерках.

— Ничего, ничего ты не знаешь! И зачем говоришь, когда не знаешь?

Он посмотрел на нее молча, в упор, и вдруг опять побледнел, стиснул зубы, почувствовал, как пронзающий укус скорпиона, смешное-смешное и страшное вместе. И уже шевелился, рвался с языка безумный вопрос: «Да ты кто, кто ты, Лилит?»

Встал и накинул на себя львиную шкуру.

— Куда ты?

— В лес.

— Зачем?

— Спать.

— Разве тебе здесь нехорошо?

— Нехорошо.

— Почему?

Он опять посмотрел на нее молча,— и она вдруг поняла. Покраснела, потупилась. Мальчик исчез — осталась девушка.

Он пошел к двери. Она — за ним.

— Погоди, ты там сейчас не пройдешь в темноте по обрыву.

Он остановился, не оглядываясь; чувствовал, что, если оглянется, не уйдет.

— Или хочешь так — ты здесь, а я там, в ограде? Мне ничего, я привыкла. Хочешь?

Теперь была уже не мальчик и не девочка, а только ребенок.

Он оглянулся и медленно-медленно пошел назад. Сел на прежнее место.

— Очень ты похожа на отца своего, Дио,— заговорил, как будто спокойно, задумчиво.— Мы с ним друзья были, братья. Плыли раз на корабле за янтарем, к Полночному Берегу, соседнему с Царством Теней, где заря во всю ночь и стволы деревьев белые. Плывем, а море ночное — тихое и светлое, как воздух, точно и нет его вовсе, а только два неба, вверху и внизу. «Вон, говорю, какая тишь: это к буре. А что, брат мой, не страшно тебе в бурю с таким, как я? Ведь боги топят корабли со злодеями?» И все ему о себе рассказал. А он говорит...

— Что ты ему рассказал?

— Погоди, потом скажу. А он говорит: «Нет, не страшно, Таму»...

— Он тебя так называл?

— Так. «Нет, говорит, не страшно, Таму. Мы — братья. Я тебя никогда не покину: вместе жили, вместе и умрем». Буря тогда была большая, но ничего, спаслись. А все-таки боги сделали по-своему. Когда мы возвращались на Остров, у самого берега, у мыса Лифинского, где море кипит, как котел, корабль разбился в щепки о подводные камни. Я спасся, а отец твой погиб. Да, боги сделали по-своему: погубили невинного, а злодея спасли...

— Что же ты ему рассказал?

— Зачем тебе?

— Чтобы знать, кто ты.

— А если скажу, отпустишь?

— Как захочешь, так и сделаю.

Он опустил глаза и заговорил опять как будто спокойно, задумчиво:

— Я сказал ему, что на мне кровь.

— Чья?

— Отца.

Помолчал и спросил все так же спокойно:

— Не веришь?

Она вгляделась в лицо его и тоже опустила глаза — поверила.

— Как это было?

— Как было? А очень просто. Была у нас рабыня, эламитянка, девчонка лет тринадцати. И не очень хороша, так только, смазлива; да прехитрая — настоящая зверушка. Обоих нас водила за нос, спала с обоими. Отец узнал и убил ее, а я — его. Должно быть, так...

— Не знаешь наверное?

— Не знаю. Очень тогда испугался, убежал из дому, из города. И вот все бегаю, места себе не нахожу. Уж лучше бы наверное, чем так — ни то, ни се...

Помолчал и прибавил, со своей тяжелой, как бы каменной, усмешкой:

— Может быть, оттого и железом торгую: каков товар, таков и купец!

Долго молчали, не глядя друг другу в лицо. Наконец, он встал и проговорил, все еще не подымая глаз:

— Ну что ж, девушка, не страшно тебе с таким, как я?

Она тоже встала, положила ему руки на плечи и сказала:

— Нет, Таму, не страшно. Я тебя никогда не покину!

Он поднял на нее глаза, и в лице его что-то дрогнуло, как будто открылось медленно-медленно: так открывается железная, ржавая, давно не отпиравшаяся дверь.

— Он, он, он! Аридоэль!— вскрикнул он с радостным ужасом, упал к ногам ее с глухим рыданием и поцеловал не ноги ее, а землю около ног.

Потом встал, быстро подошел к одной из двух куч сухих листьев, лег на нее, повернулся лицом к стене и сказал:

— Доброй ночи, Дио, спи спокойно. Помолись за меня Матери!

Закрылся с головой львиною шкурою, закрыл глаза и почти тотчас же услышал, как пчелы жужжат в лунном саду, над цветами шафрана. Едва успел подумать: «Как странно, пчелы при луне!»— и заснул так сладко, как спал только в детстве, на руках матери.

IV

Проснулся от страшного сна. Хотел вспомнить, что это было, но не мог, и сделалось еще страшнее. Сердце колотилось с болью, подкатывалось комом к горлу, стучало в виски молотом.

Привстал, оглянулся и при тусклом рдении углей на жертвеннике увидел у противоположной стены что-то длинное, тонкое, золотисто-шафранное. Вдруг понял, отчего так страшно.

Вскочил и, шатаясь как пьяный, побрел к двери. Казалось, что все еще спит, только из одного сна проснулся в другой, как это бывает в бреду, и тоже как в бреду ноги отяжелели — двигаясь, не двигались.

Остановился и так же, как давеча, почувствовал, что не уйдет, если оглянется. Разорвал ворот рубахи, нащупал обеими руками талисман, прошептал: «Аб вад! Аб вад!» Но и талисман не помог. Вдруг какая-то страшная сила схватила его за голову и повернула назад: оглянулся. «Не хочу! Не хочу! Не хочу!»— стонал, скрежеща зубами, но та же сила толкнула его в спину и потащила к тому длинному, тонкому, золотисто-шафранному.

Подошел, упал на колени и, дрожа так, что зуб на зуб не попадал, протянул руку, прикоснулся сначала к волчьей шкуре, а потом к желтому, с серебряными пчелками, покрову. Прислушался: Дио спала глубоко, дышала ровно; легкая ткань на груди чуть-чуть шевелилась. Лицо было покрыто.

Подполз на коленях и опять протянул руку. «Кто подымет покров с лица моего, умрет» — сверкнуло в нем, как молния. Поднял — умер.

Наклонился к лицу ее, почувствовал дыхание — «сладкое дыханье зимнего шафрана»— прикоснулся губами к губам и прошептал исступленным шепотом:

— Кто ты, кто ты, Лилит?

Она открыла глаза. Еще не понимая, что это, вскочила и оттолкнула его так, что он упал навзничь. Но встал и опять пошел на нее.

Она отскочила в глубину пещеры. В руке ее блеснул бронзовый нож. Он вынул из ножен свой, железный. Но тотчас отбросил его так далеко, что клинок звякнул, ударившись об стену.

Видел по лицу ее, что, если он подойдет, она убьет его. И подходил медленно-медленно, шаг за шагом, закинув руки за спину и крепко сжав их, пальцы в пальцы.

Когда подошел так близко, что мог охватить ее руками, она занесла нож.

— Убей! Убей! Убей!— шептал он с мольбою, все крепче сжимая руки за спиной.

Вдруг она увидела красную струйку крови, сочившейся сквозь белую ткань повязки с шеи его на голую грудь. Должно быть, оттолкнув его давеча, задела рану.

Уронила нож, подняла и протянула руки, выставив ладони вперед, как тогда на молитве у жертвенника, и воскликнула:

— Матерь, помилуй!

Он сделал еще шаг, остановился, поднял глаза вверх, как будто что-то увидел, и, слабо вскрикнув, упал без чувств.

Когда очнулся, она стояла над ним на коленях, одной рукой держала голову его, а другой подносила к губам чашу с водою. Он жадно пил. Только теперь, казалось, проснулся от страшного сна.

— Что это, что это было?— спросил, заглянув ей в лицо.

— Ничего,— ответила она.— Дурной сон тебе приснился, и я разбудила.

Он лежал на земле, головой на свернутой волчьей шкуре. Хотел приподняться и не мог. Она помогла ему. Он оглянулся и увидел сквозь приоткрытую дверь голубоватый свет утра, падавший из устья пещеры на золотистый, с серебряными пчелками, смятый покров. Вдруг вспомнил все. Закрыл лицо руками.

Она склонилась к нему, обняла голову его и поцеловала в лоб.

— Таму, брат мой, я тебя никогда не покину. И не покинет нас обоих Мать!

Гладила рукою волосы его, ласкала, как мать — больного ребенка.

Вдруг, очень далеко, а потом все ближе и ближе, послышался гул голосов, песня охотников.

— Наши с Горы,— сказала она, поспешно вставая.— Погоди, я сейчас...

Выбежала из пещеры в ограду, схватила лежавшую на камне, у калитки, исполинскую тритонову раковину, острый конец ее с просверленным отверстием приложила к губам, наполнила ее дыханием, и раздался звук, подобный бычьему реву, пробуждая в лесах и горах многоголосые отклики. В такие раковины-трубы перекликались пастухи и охотники, призывая друг друга на помощь в опасности.

Когда последний отклик замер, прислушалась, и скоро оттуда, где только что слышалась песня ловцов, раздался такой же трубный звук.

Перед тем, чтобы вернуться в пещеру, взглянула на Гору. Утро было ясное. Солнце еще не всходило, но на прозрачно-золотистом небе, рядом с мерцающей, как огромный алмаз, утренней звездой, светилась снежная Ида, розово-белая, девственно-чистая, как сама непорочная Дева-Мать.

V

Ловцы и ловчихи спускались с последних предгорий Горы на великую Кносскую равнину.

На одной из двух запряженных волами телег, с деревянными сплошными, без спиц, скрипучими колесами, лежал пойманный бык, а на другой — Таму на мягком ворохе звериных шкур, скинутых ловцами: здесь, внизу, было уже тепло. Копья, луки, рогатины, сети и прочая звероловная снасть сложены были тут же, на дне телеги.

Бык, туго затянутый, запутанный в тенета из толстых морских канатов, похож был на чудовищно огромную, белую, нежную куколку бабочки. Давно уже перестал биться, изнемог, только болезненно вздрагивал, косил налитым кровью зрачком и мычал отрывисто-глухо, но так потрясающе, что у людей отдавалось внутри.

Таму держался рукою за грядку телеги. Дио шла рядом, положив на его руку свою. Говорить нельзя было: не слышно от скрипа колес. Но, когда она взглядывала на него молча, с улыбкою, сердце его, так же как вчера в лесу, замирало от счастья, хотя он и знал, что счастья не будет. Слушал мычание быка, и казалось, что сам он — запутанный в крепкие сети прекрасною девой-ловчихой — пойманный бык.

Юноши и девушки пели, плясали, шалили, как дети; но все было чинно, обрядно, священнодейственно. Славили бога Адуна, Тельца закланного, Сына Великой Матери. Под гулы тимпанов и визги флейт пели, плясали, с криком и гиком и посвистом:

Ио Адун! Ио Адун!
Яростный Бык! Яростный Бык!
Под визги флейт, под рокот струн,
Прыг, прыг, прыг!
Попляши, поспеши
От трав медвяных,
От струй ледяных!
Попляши для наших лоз,
Попляши для наших нив,
Попляши для наших стад,
Попляши для наших сот!

Вдруг на повороте дороги с вершины холма открылось ветрено-мглистое, как бы дымящееся белыми дымами — пенами волн, темно-фиолетовым огнем горящее море. И опьяненные свежестью соли морской, заплясали, запели они еще радостней:

Ио Адун! Ио Адун!
Попляши волною небурною,
Вечно-лазурною!
Слава Отцу несказанному,
Слава Сыну закланному,
Слава тебе — Великая Мать!

А внизу, у подножия холма, в черно-зеленом кольце кипарисовых рощ забелел ослепительно, как только что выпавший снег или разостланные по полю холсты белильщиков, белокаменный город-дворец, жилище бога Быка — Лабиринт.

ЛАБИРИНТ

I

Тутанкамон, или Тута, как все его называли, зять царя Египта, Ахенатона, отправлен был послом в великое Царство Морей, на остров Кефтиу — Крит.

Не без страха он сел на корабль: египтяне боялись «Очень-Зеленого» — *Уазит-Ойрета* — моря.

«Я плыл по Очень-Зеленому. Вдруг налетела буря и разбила корабль. Люди мои погибли, а я ухватился за доску и выброшен был волнами на остров Кефтиу»,— описывал он свое путешествие. Ничего этого не было: благополучно прибыл Тута на остров Крит; но, как искус-

ный сочинитель, подражая образцам древней словесности, выдумал кораблекрушение, потому что с него начинались все древние египетские сказки о морских путешествиях.

Ожидая свидания с критским царем в покоях Кносского дворца, каждое утро он писал свой путевой дневник. Мог бы диктовать письмоводителю; но не хотел: сам любил писать. Писцами были деды и прадеды; можно сказать, с тростью скорописца в руке родился и он. Каждый раз, садясь за работу, вспоминал изречение дедовской мудрости: «Чин писца паче всех чинов. Люди на работах потеют, а писец прохлаждается. Сам бог Тот, Обезьяна прекраснoликая,— первый Писец».

Сидя на поджатых ногах перед низким поставцом с наклонною дощечкою и обмакивая в чернила тростниковую кисточку, он четко выводил иероглифную скоропись по шелковисто-гладкому папирусу.

Черная, огромная охотничья кошка, полупантера, спала у ног его, на коврике. Они были друг на друга немного похожи: у обоих одинаково круглые, плоские, широкие лица; большие, пустые, с хищным разрезом, глаза; осторожная мягкость движений и равнодушная ласковость. Никогда не разлучались: кошка всюду ходила за ним, как тень, и иногда ему казалось, что это не зверь, а домашний дух-покровитель.

После египетского солнца он все не мог привыкнуть к здешнему холоду. Кутался от утренней свежести в теплый плащ и грелся у жаровни, наполненной жаром углей. Кисточка плохо держалась в зябнущих пальцах.

«Чудо бывает великое на острове Кефтиу: дождевая вода от холода твердеет и белеет, как соль. *Снегом* называют это здешние жители, а у нас и слова для этого нет, потому что глаза наши никогда такого чуда не видывали»,— описывал он снег на Иде горе; и от этого сделалось ему еще холоднее.

— Углей подбавь,— велел слуге и, бросив писать, спрятал озябшие руки под плащ.

Каждый день приносили царские отроки в покои посла дары кефтийского царя царю Египта. В этот день принесли двенадцать глиняных сосудов, чудесно расписанных, стройных, как тела прекрасных девушек, тонких, как яичная скорлупа.

Юти, художник, начальник царских зодчих, живописцев и ваятелей, посланный царем Египта вместе с Тутою для приглашения кефтийских мастеров, постучал косточкой среднего пальца в стенку одного из сосудов. Она зазвенела, как стеклянная.

— А ведь у нас так тонко бы не сделали!— восхитился Тута.

— Кто любит потоньше, а кто покрепче. Здешние мастера для века работают, а наши для вечности,— возразил Юти.

Говорил одно, а чувствовал другое. Когда маленькая, сильная и умная ручка его — есть ум в руке художника — прикасалась к нежным выпуклостям глины, как бы живого тела, сморщенное, почернелое от солнца, как у старого каменщика, лицо его еще больше морщилось от странного чувства, болезненно-сладкого. «Нет ничего на свете, кроме Египта»,— думал он всю жизнь, думали отцы его, и вот вдруг понял, что есть еще что-то.

На одном из сосудов изображены были стебли болотной осоки так живо, что казалось, видно, как под ветром колышутся, слышно, как шелестят.

— А это что?— указал Тута на темную, над стеблями, волнистую черту.

— Облака,— объяснил художник.

Тута удивился: изобразить, остановить летящее облако, за тысячи лет египетской живописи никогда никому не приходило в голову.

А лицо Юти сморщилось еще болезненнее. Умом не понимал он, но сердцем чувствовал, что, может быть, одной этой волнистой черты, одного летящего облака довольно, чтобы разрушить все вечные граниты Египта. Вечное разрушить, увековечить мгновенное, остановить летящее,— вот чего хотят эти беззаконники.

— Нечистые, нечистые, необрезанные!— шептал он с суеверным ужасом.

А на других сосудах изображена была таинственная жизнь морского дна: между ноздреватыми камнями и кораллами дельфины зелено-лазурные; сетка для ловли пурпуроносных раковин; спрут-осьминог, толстобрюхий, извивающий желто-слизистые, розово-пупырчатые щупальца; стаи летучих рыб, над водою, как птицы, порхающих. И опять — так живо все, что казалось, слышно, как волны шумят, водоросли пахнут устрично-соленою свежестью.

— Nefert, nefert! Прелесть, прелесть!— восхищался Тута.— А ты что морщишься? Не нравится?

— Знаешь сам, господин мой,— ответил художник спокойно, но все же не так, как хотелось бы,— мы, люди Черной-Земли, не любим Очень-Зеленого. В море плавать — в горе плакать. На земле — боги, а в воде — бесы.

И, подумав, прибавил:

— Милости твоей не в обиду будь сказано, может

быть, и все-то мастерство ихнее — нечистое, бесовское.

— Умный ты человек, Юти, а какой вздор мелешь!

— Нет, не вздор...

— Вздор! Я вашего брата, художника, насквозь знаю. Все вы завистники. Сам не можешь сделать так, вот и завидуешь. Погоди, ужо напишу государю, чтоб оставил тебя здесь, у морских бесов, на выучку!— рассмеялся Тута: любил дразнить старика.

Что-то сверкнуло в глазах Юти, но тотчас потухло. Тутанкамон был для него старшим, а старших он чтил, как всякий добрый египтянин.

— Если его величеству будет угодно, пойду и к бесам на выучку,— ответил смиренно и, по придворному чину, не поцеловал, а только понюхал руку сановника.

Подошел к принесенному давеча, вместе с сосудами, деревянному ящику; выдвинул сбоку дощечку и вынул два изваяньица: скачущего быка из гладкой, темной бронзы, и человечка из слоновой кости, подвешенного над спиною быка на волоске, почти невидимом, между двух столбиков с перекладиной.

Юти толкнул человечка пальцем, и он закачался, описывая дугу полета над скачущим быком, как будто перепрыгивал, перелетал через него, подобно священным плясунам-акробатам в бычьих играх на Кносском ристалище.

Глядя на жадно-вытянутое, как стрела, летящее тело его, вдруг вспомнил Юти то странное чувство, какое бывает во сне, когда летаешь и удивляешься: почему же раньше не знал, что можно летать?

— «Полетим, говорят, сделаем крылья и полетим — будем, как боги»,— подумал он вслух.

— Кто это говорит?— спросил Тута.

— Дэдалы.

— Какие дэдалы?

— А хитрецы здешние. Великий Дэдал сделал восковые крылья сыну своему, Икару, и полетел мальчишка в небо, да сшалил, поднялся слишком близко к солнцу; воск растаял, и шалун упал, расшибся до смерти. «А мы, говорят, лучше сделаем и полетим как следует».

— А ты что думаешь? И полетят: они могут, они все могут!— опять восхитился Тута.

— Полететь-то полетят, да куда?

— Как куда? В небо.

— То-то, в небо ли?.. Милость твоя сегодня ночью крепко спать изволила?

— Крепко. А что?

— Ничего не слышал?

— Нет... Погоди-ка. что-то было. Гром, что ли?

— Гром, да не на небе.
— А где?
— Под землей. Это, говорят, здесь у них часто бывает, перед тем, как земле трястись... Купца железного знать изволишь?
— Таммузадада? Как же. Железо у него торгую, да запрашивает дорого. Ну, так что же купец?
— А вот что: «Недаром, говорит, земля под ними трясется — носить их больше не хочет: ужо накажет их Бог, провалятся все в преисподнюю!»
— За что?
— А вот за это. За то, что говорят: победим естество, будем как боги,— ответил Юти и опять толкнул человечка: тот закачался, зареял с волшебно-сонною легкостью.
— Полетят, да не в небо, а в преисподнюю: этим все и кончится!
Кошка проснулась, потянулась, посмотрела на них, суживая агаты янтарных зрачков, и замурлыкала, как будто хотела что-то сказать; сделалась похожа на Сфинкса.
Но Тута уже думал о другом: чувствовал, что принятое на ночь слабительное действует. Страдал запорами; получил их в наследство от предков-писцов: сидячая жизнь запирает. Поспешно встал и пошел в уборную. Кошка — за ним.
Из всех критских чудес чудеснейшим казалось ему водяная уборная. Хитрецы-дэдалы проложили по всему дворцу сеть водопроводных и водосточных труб. Вода, подымаясь по ним, уносила все нечистоты в подземные стоки, все омывала, выполаскивала дочиста. Самому царю-богу Ра, когда он жил на земле, снилась ли такая роскошь?
Стены уборной выложены были гладкими белыми гипсовыми плитами: светло, свежо, чисто, а внизу журчала вода, как вечнобьющий родник. И на подоконнике, в горшках, цвели живые лилии — тоже чудо: везде люди режут цветы, чтобы ставить их в сосуды с водою; а здесь растут они в домах, как на воле.
«Ах, милые бесы морские, благодетели!— размышлял Тута, сидя как царь на престоле своем.— Все могут — полетят. Летать хорошо, но и сидеть недурно в таком чудесном убежище!»
Вдруг, откуда ни возьмись, среди этих новых мыслей, критских,— старая, египетская — о дядюшкиной мумии.
Был у Туты дядюшка, древний старичок Хнумкуфуй, тоже отличный писец и важный сановник, страдавший запорами. Умер и погребен с честью. Но не упокоился в могиле — стал по ночам являться главному жрецу, совершавшему над ним обряд погребения, и запугал его так, что

тот, наконец, не вынес, признался, что не распечатал «основания» дядюшкиной мумии. Перед тем как покойника класть в гроб, жрец-заклинатель оживлял его, отверзая, «распечатывая» очи, уши, уста, ноздри и «основание». Его-то жрец и забыл; сделал это нечаянно, а, может быть, и нарочно, желая отомстить за что-то покойнику. Участь Хнумкуфуя на том свете была ужасная: мог есть, наполнять желудок, но не облегчать. Пришлось-таки дядюшку вырыть и распечатать как следует.

Тут мороз подирал по коже при мысли о вечном запоре. Не дурак был, понимал, что есть разница между тем светом и этим; но как знать, в чем именно разница?

II

При выходе из уборной ожидал его письмоводитель Ани с двумя известиями: критский царь примет посла сегодня в полдень, и прибыл вестник из Египта с важными письмами.

Тута взошел по лестнице на залитую утренним солнцем площадку, кровлю той части дворца, где он жил. Кошка — за ним. Ведь город-дворец — дом святой Секиры, Лабры, Лабиринт — виден был отсюда, исполинский, меловой, известковый, алебастровый, ослепительно-белый на солнце, как только что выпавший снег, или разостланные по полю холсты белильщиков, с узкою вдали полоскою синего-синего, как синька, моря.

Тута лег на ложе. Грелся, попивая настоящее египетское пиво,— всюду возил его с собою в запечатанных сосудах,— и закусывая печением из лотосных семечек, тоже египетским лакомством. Пил из собственной кружки, ел из собственного блюда, чтобы не опоганиться здешнею поганью: «Бесы морские, хоть и милые, а все-таки бесы».

Велел позвать вестника.

Вестник, Аманапа — Ама — родом сидонянин, состоял на египетской службе писцом у царского наместника в Урушалиме — Иерусалиме, главном Ханаанском городе. Чин был маленький, но за ум и честность доверялись Аме и большие дела. В посольском приказе говорили, что он далеко пойдет.

Наружность имел благообразную: спокойную важность в лице, тихую уветливость в голове, тонкую улыбку на тонких губах; верхняя — выбрита, а под нижнею — борода отпущена и загнута острым клином вперед, по ханаанскому обычаю.

Взойдя на площадку, он пал ниц, подполз к Туте на

коленях и, так же как давеча Юти, не поцеловал, а только понюхал руку сановника. Подал ему два круглых, узких, сикоморовых ящичка, запечатанных царскими печатями. На обоих имя посла было написано по-новому: не Тутанкамон, а Тутанкатон, потому что древнего бога Амона низверг новый бог Атон.

Тута распечатал один из ящичков, с письмами ханаанских наместников. Подлинники, писанные на глиняных дощечках вавилонскою клинописью, переведены были на египетский язык в посольском приказе царя и отправлены к послу для сведения, потому что свидание с критским царем предстояло ему и по делам ханаанским.

Тута прочел письмо Рибадди, египетского наместника в приморском городе Кебене-Библосе.

«Царю, владыке моему, солнцу моему, дыханию жизни моей, так говорит Рибадди: к стопам твоим седьмижды и седьмижды падаю на чрево и на спину.— Да будет ведомо царю моему: Азиру, муж Аморрейский, изменник, пес, псицын сын, предался царю Хетейскому. И собрали они колесницы и мужей, дабы покорить земли твои. Двадцать лет посылал я к тебе за помощью, но ты не помог. Если же и ныне не поможешь, покину я город, убегу и тем спасусь, ибо силен царь Хетейский; сначала нашу землю возьмет, а потом и твою. Да вспомянет же царь Египта раба своего и пошлет мужей своих, дабы устоять нам против Азиру изменника. Царь мой, бог мой, солнце мое, даруй землям твоим жизнь, сжалься, помилуй!»

— Ах, хорошо пишет, бедняга! Читать нельзя без слез,— умилился Тута.— Ну, и что же, пошлют ему войско?

Ама тяжело вздохнул:

— Нет, господин мой, увещание к Азиру вместо войска послано.

Тута усмехнулся:

— Что ему увещание, разбойнику! А жаль Рибадди: верный раб. Обгложет его, как лозу, лиса Аморрейская.

Ама стал на колени:

— Слезно молит он твое высочество написать царю, замолвить за него словечко!

— Напишу, напишу непременно. Да что толку? Сам знаешь, один ответ: «Воевать не будем ни с кем; мир лучше войны».

Тута прочел письмо Абдихиббы, наместника Иерусалимского.

«Занимают Хабири, хищники, все города царские, и грабят их, и сжигают огнем. Если не придет войско царя, все города будут потеряны. Сойдет в них с гор Ливана

Иашуйя, разбойник, как лев — в стадо овец; Урушалим, град Божий, возьмет, и осквернят его хабири нечистые».

Хабири — евреи, маленькое племя ханаанских кочевников, пришло в Египет, молящее; сначала жило смирно, а потом расплодилось, как саранча, ограбило хозяев своих и ушло в пустыню Синая под предводительством пророка Мозу — Моисея; сорок лет блуждало в пустыне и вот вдруг где появились — под стенами Иерусалима. Мозу умер, и новый пророк, Иашуйя — Иисус Навин — ввел Хабири в Ханаан, Землю Обетованную.

— Какие это хабири? Уж не наши ли? — спросил Тута.

— Они самые,— ответил Ама.

— Ах, подлые! Вот как расхрабрились! Ну, да и мы хороши, чего глядели? Не истребили этой нечисти вовремя — теперь с нею наплачемся!

Тута заглянул в письма других наместников. Все города Ханаанские — Тир, Сидон, Гезер, Арвад, Аскалон, Тунипа, Берут, Кадеш — вопили к царю Египта: «Сжалься, помилуй! С юга Хабири идут, Хетеяне — с севера; если не поможешь нам, погиб Ханаан. Ханаан — стена Египта; подкопают воры стену и войдут в дом».

Тута распечатал второй ящичек с письмом друга своего и покровителя, старого сановника Айи:

«Радуйся, сын мой, что живешь на острове Кефтиу, среди Очень-Зеленого, а не в Черной-Земле (Египте). Здесь все кипит, как вода в котле под крышкою; варится похлебка, для Хетеян и Хабири превкусная: воевать ни с кем не хотим, мир лучше войны; перекуем мечи на плуги и уже не мечами, а плугами разобьем друг другу головы, в войне братоубийственной из-за богов. Боги дерутся, а у людей кости трещат. Не возвращайся же, пока не напишу. Вот письмо друга. Ама — верный раб. Но все же, прочитав, сожги».

К письму приложен был листок папируса с двумя строками:

«Все готово. Когда придет час твой, возвращайся и будь царем, спаси Египет».

Подписи не было, но Тута узнал руку Птамоза, великого первосвященника Амонова.

Взглянул на полоску синего моря над белым дворцом, и сердце у него забилось, голова закружилась так, как будто вдруг полетел, подобно тому человеку из слоновой кости, на волоске, или сыну Дэдалову, на восковых крыльях.

Подумал, как бы Ама не заметил. Но скорее бы кошка заметила: так скромно потупил глаза, так умно молчал. «Да, этот далеко пойдет»,— решил Тута и, сняв перстень

с руки своей, надел ему на руку. Ама, все так же молча, пал ниц и понюхал ноги сановника.

Тута понял, что он поклоняется восходящему солнцу, будущему царю Египта, Тутанкамону.

III

Здесь же, на площадке, начал одеваться к царскому приему.

Перед зеркалом из красной меди, круглым, чуть-чуть сплющенным, как шар восходящего солнца, подводил ему глаза зеленою сурьмою особый мастер этих дел; удлинял разрез их чертою непомерной длины, от угла век почти до самого уха, и завивал под нижнею векою волшебный узор — Горово Око — защиту от дурного глаза.

Власодел примеривал на бритую голову его парики различных образцов — сводчатый, лопастый, черепичатый. Тута выбрал последний, состоявший из волосяных треугольничков, лежавших правильно, один на другом, как черепицы на крыше.

Брадобрей предложил ему два рода подвязных, на тесемочках, бородок: Амоновым кубиком, из жесткого черного конского волоса, и Озирисовым жгутиком, из белокурого волоса ливийских жен. Тута выбрал жгутик.

Ризохранитель принес белое, только что вымытое и выглаженное платье — каждое утро подавалось свежее — из тончайшего «царского льна»—«тканого воздуха», все в струйчатых складках; широкие и короткие, выше локтей, рукава в складках перистых похожи были на крылья; туго накрахмаленный передник выступал вперед многоскладчатой, прозрачной, как бы стеклянной, пирамидкой; а там, где складки сходились в острие, блестела золотая, острая, шакалья мордочка с рубиновыми глазками.

Когда Тута оделся во все это белое, легкое, воздушное, то сделался похож на облако: вот-вот вспорхнет и улетит.

Старичок брадобрей, Заза, неуемный болтун, спросил его, закручивая и умащивая благовоньями жгутик бородки:

— Изволил слышать, господин мой, как ночью Бык ревел?

— Не бык, а гром.

— Нет, Бык. Тут, говорят, во дворце Бык сидит на цепи, в подземном логове, и как начнет рваться, реветь, так земля и затрясется. Это ихний бог: оттого и бычьи роги всюду торчат. Да и царь-то здешний — полубык: тело человечье, а голова бычья.

— Что ты, врешь, дурак! Подумай, разве это может быть?

— А очень просто, если дитя родилось от быка и от женщины...

И начал рассказывать сказку: вышел из синего моря бык, белый, как пена морская, прекрасный, как бог; здешняя царица влюбилась в него, велела смастерить чучело телки, пустое внутри, и влезла в него. Зверь был обманут: мертвую телку покрыл, как живую, и родила от него царица сына-чудовище, получеловека, полубыка [1].

Тута сначала слушал, а потом плюнул и велел ему замолчать.

— Не веришь — своими глазами увидишь,— пробормотал Заза таинственно.

Кончив одеваться, Тута вышел на двор и сел в носилки, камышовую люльку, с полукруглым, за спиною седока, плетеным кузовом для защиты от ветра. Дюжие нубийцы подняли носилки на плечи, два веероносца пошли по бокам, а впереди — вожатый, дворцовый слуга: без него заблудились бы.

Но Туте казалось, что он кружит их нарочно, путает, чтобы скрыть от чужеземцев действительное расположение дворца: так бесконечны были ходы и переходы, улочки и переулочки, сени, притворы, палаты, келийки, стены над стенами, столпы над столпами, крыши над крышами и лестницы-лестницы — то вверх, то вниз. Все это, из гипса, мела, известняка, алебастра, ослепительно-белое на солнце, в тени опалово-мутное, кружилось, как вихрь, завивалось в завитки Лабиринта безысходного.

Носилки качались, как люлька, баюкали, и Туте казалось, что снится ему сон, и конца не будет этому головокружительно-вьющемуся, утомительно-белому сну.

Миновали маленькую, точно игрушечную, часовенку, с целым лесом глиняных бычьих рогов. «Ихний бог — Бык»,— вспомнилось Туте.

Кое-где стены и потолки чинили каменщики.

— Что это?— спрашивал он, и каждый раз отвечали ему:

— Земля тряслась.

«Рвется Бык на цепи, и земля трясется»,— опять вспомнилось ему.

Хотел и не мог думать о свидании с царем: «Какой он из себя?»— думал, но вместо человеческого лица бычья морда выплывала из лабиринта сонного.

---

[1] Пасифая, жена Миноса, царя Крита, полюбила быка и родила от него Минотавра — чудовище с бычьей головой (*греч. миф.*).

Больше месяца ожидал он свидания с царем: тот все откладывал под предлогом, что болен. «Нет, не болен, а стыдно, чай, показаться на люди с бычьей мордой»,— вдруг подумал Тута, точно забредил во сне.

Вышли, наконец, на обширную, озаренную солнцем площадь, где множество медных секир — Лабр — знамений бога Быка закланного горело, как жар, и реяли над ними, как снежные хлопья, белые голуби, посвященные Матери. По белокаменной площади изразцовые дорожки извивались, темно-синие, как волны моря, чтобы и посуху, как по морю, могли ходить «бесы морские».

Носилки остановились. Царские телохранители, отроки, похожие на девушек, а, может быть, и девушки, похожие на отроков, ожидали посла у запертой низенькой бронзовой двери; помогли ему выйти из носилок, отперли дверь и ввели его в покои царя.

IV

Через полутемные сени с рядами узорчато расписанных, странно суженных книзу кипарисовых столпов вошли они в небольшую горницу — престольную палату. Сквозь узкие, как щели, окна под самым потолком падал из внутреннего дворика — светового колодца — таинственно темный, как бы подводный, свет. Голубоватый дымок — благовоние шафрана — плыл с курильниц, углубляя тайну сумерек, и еще волшебнее, подобнее сну казалась опаловая млечность алебастровых глыб в стенах.

На внутренней стене две одинаковые росписи — два исполинских, на лилийном лугу, грифона с птичьими клювами, львиными лапами, змеиными хвостами и павлиньими гребнями как бы стерегли царский престол, раскрашенный нежно и пышно, как волшебный цветок, с высокою, в виде дубового листа, волнисто изогнутою спинкою.

Тута взглянул на престол и обмер, глазам своим не поверил; таращил их, вглядывался, но продолжал видеть то, что видел: на престоле сидело чудовище — человек с головой быка.

Он подумал было, что оно не живое. Но вдруг зашевелилось, подняло руку и тихонько поманило его пальцем, закивало головой. Бычьим ревом заревет сейчас, казалось ему, и закричит он от ужаса, нарушая весь посольский чин. Но слава Амону-Атону, не заревело, продолжало только кивать и манить.

Как бы спрашивая, что это значит, оглянулся он на сидевших по лавкам у стен, тоже очень странных, людей:

старики в шафранно-желтых ризах, с коричнево-желтыми, дряхлыми, бабьими лицами — настоящие покойники. «Царские скопцы»,— догадался Тута: видел таких при дворе фараоновом.

— Не бойся, подойди к его величеству,— шепнул ему на ухо толмач.

Стараясь глядеть не на бычью морду чудовища, а только на человечье тело его, в шафранно-золотистой, затканной серебряными лилиями, длинной, как бы женской, ризе, Тута подошел к нему. Вспомнив, что он — посол великого царя, а, может быть, и сам — будущий царь, решил поддержать свое достоинство.

Приготовил заранее и выучил наизусть посольскую речь. Одно затрудняло его: знал, что здешнего царя должно называть по чину то «царем», то «царицею», потому что он — Муж и Жена вместе, так же как бог Адун. Этого не мог он хорошенько понять; но, помня, что и царица Египта, Хатшопситу, носила мужскую одежду, приставную бородку Озирисову, и называла себя то царем, то царицей,— надеялся кое-как справиться и с этою трудностью.

Подойдя к престолу, заговорил по-египетски, а толмач переводил по-критски:

— Великий царь юга и севера, Ахенатон Неферхепеprура Уаэнра — Радость Солнца, Естество Солнца Прекрасное, Сын Солнца Единственный,— так говорит великому царю-царице Кефтиу: да обнимет бог Солнца, Атон, лучами своими брата моего — сестру мою и да сохранит его — ее во веки веков!

Слушал себя с удовольствием; особенно нравились ему побеждаемые трудности, странные сочетания женского рода с мужским. Так увлекся красноречием своим, что смотрел, уже не смущаясь, прямо в бычью морду царя: бык так бык — только бы сказать, как следует.

Два женоподобных отрока подошли к царю и сняли с него голову. Тута опять обмер, вытаращил глаза: только теперь понял, что бычья морда — маска.

Маски богов-зверей носили и жрецы Египта, но там сразу было видно, что лица не настоящие, а здесь хитрецы-дэдалы смастерили маску так искусно, что она казалась бы живою, если бы даже сумеречный свет палаты не помогал обману зрения.

Тута, впрочем, не обрадовался и человеческому лицу чудовища, такому же дряхлому, бабьему, как у сидевших по стенам скопцов, но еще более мертвому: те как будто встали из гробов своих только что, а этот уже давно.

Сняв бычью голову с царя, отроки возложили на него венец из серебряных лилий с павлиньими перьями.

— Благослови тебя, сын мой, Великая Матерь, ей же всегда молимся, да будет сердце наше и сердце брата нашего возлюбленного, великого царя Египта, едино, как едино солнце в небе,— заговорил царь по-критски, а толмач переводил по-египетски.

Вслушиваясь в дребезжащий, бабий голос его, вглядываясь в одутловатое бабье лицо его, Тута недоумевал, кто это, мужчина или женщина. И терялся уже окончательно, вспоминая, что двенадцать женоподобных отроков назывались «невестами царя», а двенадцать мужеподобных дев — «женихами царицы»: как будто нарочно такая путаница, чтобы ничего нельзя было понять — тайна Лабиринта безысходного.

V

По знаку царя все вышли, и, оставшись наедине с послом, заговорил он уже по-египетски:

— Садись, сын мой, поближе, вот здесь,— указал ему на стул.— Очень *рада* видеть тебя.

Тута не ослышался: он, она или оно говорило о себе в женском роде.

— «Ankh em maat, Живущий в правде»,— не так ли называет себя брат мой, царь Египта?

— Так.

— А если так, возлюбим же правду и мы. Правда, как солнце: личиной не скроешь. Я снял личину — сними и ты. Будем говорить правду, сын мой!

Он улыбнулся хитро — и вдруг мертвец ожил. Маленькие, серые, колючие глазки заискрились таким умом, что Туте казалось, что он видит ими на аршин под землей,— всем хитрецам хитрец, всем дэдалам дэдал.

— Ну что, как ваши дела в Ханаане?[1] Плохи? Да ты не таись, не бойся. Я ведь все знаю.

И по тому, как начал расспрашивать, Тута понял, что он, действительно, знает все.

Говорил спокойно, деловито, холодно; но иногда вдруг вспыхивал странный, точно пьяный, огонек в глазах его, и Туте вспоминалось то, что он слышал о нем.

У критской царицы Велханы было два сына, старший — Идомин и младший — Сарпедомин. Когда объявила она наследником младшего, старший вступил в заговор с вождями народа, уставшего от женовластия. «Довольно-де жены над нами поцарствовали, пора и нам господами быть!»— кричали они, бунтуя чернь. С их помощью Идомин низверг царицу с престола и сперва заточил ее, а потом

[1] Древнее название территорий Палестины, Сирии и Финикии.

убил. Хотел убить и брата, но тот бежал в чужие земли. Кроток и милостив был Идомин, воцарившись, или казался таким, но иногда находили на него припадки безумия: то мучился угрызениями совести за убийство матери так, что хотел наложить на себя руки; то в ярости кидался на людей, как тот человек-зверь, Минотавр, чью маску носил он, подобный всем наследникам царя Миноса, бога Быка.

— Отчего же царь не посылает войск в Ханаан?— спросил Идомин.

Тута предвидел вопрос, но ответить на него было не так-то легко.

— Царь Египта воевать не хочет ни с кем: мир, говорит, лучше войны,— начал Тута и не кончил: ответ ему самому показался нелепым.

— Как же так, не воевать ни с кем?— удивился Идомин.— Ну, а если враг войдет в землю царя, и тогда воевать не будет?

— Может быть, и тогда,— опять начал Тута и не кончил; смутился, поспешил прибавить:— Мысли царя, как мысли божьи, неведомы. Но, думаю, что, если враг нападает, царь обороняться будет.

— Да ведь уж напал: Ханаан — земля царская. Чего же он ждет?

— Не мне, рабу, судить царя моего: он лучше знает, что делает,— ответил Тута смиренно.

Идомин взглянул на него молча, пристально. Вдруг наклонился, потрогал себе пальцем лоб и шепнул ему на ухо:

— Здоров ли царь?

— Как солнце в небе здравствовать изволит его величество,— проговорил Тута привычные слова привычным голосом и невольно потупился: колючие глазки вонзились в него, как иголочки, а когда он опять поднял глаза, Идомин прочел в них безмолвный ответ.

— Слава Великой Матери, да сохранит она здравие царя, брата моего, во веки веков!— проговорил он тоже привычные слова; но они поняли друг друга без слов: царь Египта — сумасшедший.

— Да, мир лучше войны,— продолжал Идомин, как будто про себя, тихо и задумчиво.— Все люди — братья, сыны единого отца небесного, Солнца Атона-Адуна. Не воевать ни с кем, перековать мечи на плуги — о, если бы так! А ведь и было так, в начале дней. Как в древних песнях поется:

> Первые люди не знали бога войны и убийства,—
> Знали одну милосердную Матерь, пречистую Деву;
> Жертв заколаемых кровью святых алтарей не сквернили;

Все на земле было кротко; и птицы, и звери, ласкаясь,
К людям доверчиво льнули, и пламя любви в них горело.

Тута смотрел на него с любопытством: «Славит Великую Матерь, а сам родную мать убил»,— думал, но — странно — без возмущения, как будто очарованный виденьем Золотого Века.

— Так было — так будет: вот чего хочет Ахенатон Уаэнра, Радость Солнца, Сын Солнца Единственный! Проклят Амон, бог войны; благословен Атон, бог мира. Не так ли, сын мой?

— Ты знаешь учение царя? — удивился Тута.

— Как не знать? Адун-Атон — один и тот же бог, у нас и у вас.

— Нет бога, кроме Атона: у всех народов он один,— повторил Тута равнодушно, как школьник скучный урок.

— А учеников у царя много? — спросил Идомин.

— При дворе и в Ахетатоне, новом городе Солнца, много.

— А в других городах?

— Есть и в других.

— Мало?

— Да, меньше.

— А народ что?

— Народ верит в старых богов.

— Не хочет нового? Бунтует?

— Нет, у нас насчет бунтов строго.

— Казните?

— Казним.

— И царь об этом знает?

— Зачем царю знать?

— Ну, да ведь всех не переказнишь?

— Нет, всех нельзя.

— А ведь плохо царю без народа, одному против всех!— вздохнул Идомин сокрушенно.— Ты как думаешь, сын мой, кто сильнее, один или все?

— Все,— ответил Тута с убеждением и вдруг спохватился:— «Что он меня допрашивает?»

— Жаль брата моего возлюбленного!— вздохнул Идомин еще сокрушеннее.— Спасти его нельзя. Погибнет сам и других погубит. Глупы люди и злы: жить в мире не могут, должны воевать. Война им лучше мира. Ты как думаешь, сын мой, всегда будет война?

— Всегда,— опять не удержался Тута, ответил искренне.

— А если так, не устоять Атону против Амона,— продолжал Идомин.— Велик Ахенатон пророк, из рожденных женами не было большего. Но малые пожрут ве-

ликого, все — одного. «Люди едят плоть мою», знаешь, о ком это сказано?

— О Сокровенном, чье имя несказанно,— повторил Тута опять, как школьник скучный урок: помнил, что это сказано в Книге Мертвых, об Озирисе, боге растерзанном.

— Да, о Нем. Великая Жертва, от начала мира закланная — Он, Радость Солнца, Сын Солнца Единственный — Ахенатон Уаэнра!— воскликнул Идомин, и глаза его вдруг вспыхнули таким исступленным, почти безумным огнем, что Туте сделалось страшно.

Слава Отцу Несказанному!
Слава Сыну Закланному!
Слава Тебе, Великая Мать! —

произнес царь уже по-критски, подняв руки к небу молитвенно.

И вдруг опять наклонившись, шепнул Туте на ухо:

— Хочешь быть царем?

Тута вздрогнул, отшатнулся.

— Мне царем не быть.

— Почему?

— Есть другой наследник, Заакера, супруг старшей дочери царя.

— Сегодня он, а завтра ты.

Колючие глазки вонзились в него, как раскаленные иголочки.

— А если будешь царем, не скажешь: «Мир лучше войны»?— спросил Идомин.

— Что говорить о том, чего не будет,— вздохнул Тута, и глаза у него вдруг загорелись, кулаки сжались.— Будь я царем, проучил бы я всю эту сволочь как следует!

— Какую сволочь?

— Хабири нечистых, Хетеян разбойников!

— Не они страшны.

— А кто?

— Люди Севера, Железные. Слышал о них?

— Слышал: Данауны, Дардануйи, Илиуны, Пулазати, Ахаваши,— назвал Тута имена полудиких, для Египта еще баснословно далеких племен: Данаев, Дарданцев, Илионян, Пелазгов, Ахеян.

— И о брате о моем, Сарпедомине, слышал?

— Слышал. Он к ним бежал, к Железным?

— К ним. Хочет их вести на меня, за мать отомстить. Но видит Великая Матерь, чист я от крови материей! Не я ее убил, а он. И моей души ищет, злодей, братоубийца. Будь он проклят, проклят, проклят!— шептал Идомин, с ужасом выставив руки вперед и оглядываясь на дверь, как будто за нею был брат.

— Горе нам, если придут Железные! Сначала нам, а потом и вам горе! Все сметут, разрушат, не оставят камня на камне. Придут из ночи Железные — и наступит железная ночь — конец всему!

— Что же делать? — спросил Тута.

— Быть вместе. Вместе мир спасем. Тебе — земля, мне — море. Хочешь?

— Хочу, — прошептал Тута, закрыл глаза, и опять показалось ему, что он летит.

Царь встал с престола, подошел к Туте, положил руки на голову его и произнес торжественно:

— Радуйся, брат мой возлюбленный, царь Египта, Тутанкамон!

ПАЗИФАЙЯ

I

Игры быков шли на Кносском ристалище.

Вырубленные в скале отлогого холма, выложенные известняковыми плитами скамьи для зрителей подымались полукругами над продолговато-круглою, песком усыпанною площадью. В середине их высился царский шатер лилового пурпура на золоченых шестах с двойными секирами-лабрами. Исполинская серебряная бычья голова сверкала над шатром. Нижний полукруг скамей покоился на кипарисовых столбах, с темными между ними проходами в стойла быков.

Узкая полоска моря синела с одной стороны, а с другой — мглисто-голубые очертания горы Кэратийской напоминали обращенное к небу лицо великана — умершего бога Адуна, в чью славу и совершались игры быков.

Начались они пляскою жрецов Адуновых, пестунов бога Младенца, Куретов. Им отдала его Мать, чтобы укрыли Сына от ярости Отчей, ибо Отец есть огонь пожирающий, а пожираемая жертва — Сын. И спрятали они Младенца в пещере Диктейской горы, где коза Амалоея кормила его молоком, дикие пчелы — медами горных цветов, а Куреты окружали его, пляшущие, заглушая младенческий плач топотом ног, грохотом лат и мечей, да не найдет и не пожрет Сына Отец; но найдет и пожрет вечную Жертву вечный Огонь.

В скорби о Боге умершем плясуны исступленные резались мечами так, что алою росою капала кровь на белый песок.

Вдруг один упал в судорогах, с пеною у рта; тесным кругом окружили его остальные, и совершилось ужасное таинство: кремневым ножом оскопил он себя с воплем:

— Слава Адуну, Деве-Отроку!

И все множество зрителей поднялось со скамей, как один человек, восклицая:

— Ио Адун, ио Адун! Радуйся, Отрок! Дева, радуйся!

А за бешеною пляскою Куретов следовала тихая пляска лунных жриц. В тканях голубовато-сквозящих, как лунное облако, тихо, как тени луны по ночным облакам, скользили они по извивам плясового круга, лабиринтно-вьющимся; завивали хоровод Пазифайи — Всеозаряющей, Луны в полнолунии; плясали тихо-исступленную, вихревую, круговую пляску всего, что есть в мире, от побега виноградных лоз до водоворота бездн морских, от извива кудрей девичьих до круговорота солнц ночных: ибо все в мире пляшет, вечным кругом кружится.

И опять, как один человек, затаило дыхание все множество зрителей, чувствуя, что Бог — в тишине.

Когда же отгорели на закате два рдяных пламени — два бычьих рога над царским шатром, а над горой Кэратийскою, порозовевшею, засеребрились два рога юного месяца, начались игры быков.

Медные решетки стойл подымались на цепях со скрежетом, и выскакивали дикие быки, белые, черные, рыжие, пегие, тяжело-тучные, огромно-рогатые, чудовищно-прекрасные, первенцы творения, сыны Земли — Матери богоподобные.

Застоявшись в стойлах, радовались воле, бегали, прыгали, прядали, как будто плясали пляску богу Адуну, Быку небесному. Запахло бычьим стойлом, теплотою навозною; пыль заклубилась, как дым от пожара; земля загудела от топота ног, и воздух потрясся от рева, подобного гулу подземных громов.

Появились люди, странно маленькие среди исполинских быков, как будто все мальчики и девочки: плясуны и плясуньи, акробаты и акробатихи; голые, только ноги в ременчатых полусапожках да стан перетянут, перерезан, как стан осы, медно-кожаным валиком-поясом с коротеньким кожаным передничком. Смуглы, щуплы, сухи, жилисты тела, груди чуть выпуклы — у всех одинаково: не отличить, кто мальчик, кто девочка.

И заплясали с быками неимоверную пляску. Когда издали бешеный зверь, уставив рога, мчался на человека, тот

ждал его, не двигаясь, и только в последний миг — вот-вот уже рога вонзятся в тело — чуть-чуть отскакивал в сторону, хватался за них и, пользуясь движением бычьей головы, вздернутой, чтобы вскинуть его на рога, сам себя вскидывал, вскакивал на спину быка с несказанною ловкостью.

Поднялась последняя решетка, и выскочил бык, самый страшный и дикий из всех, только что пойманный в дебрях Иды горы, на той последней ловитве, в которой участвовали Дио, дочь Аридоэля, и Таммузадад, вавилонянин,— белый, как пена морская, прекрасный, как бог, что вышел из синего моря с белою пеной ревущих валов,— бог Бык, Пазифайин возлюбленный.

В первый раз выпускали его на ристалище и дня три перед тем томили жаждою, чтобы укротить: иначе никто бы не справился с ним.

Высокая дубовая колода с водою стояла на ристалище, под царским шатром. Пробегая мимо нее, учуял он воду, остановился, взвился на дыбы, положил передние ноги на край колоды, уткнул в нее морду и начал жадно пить.

Толстый канат, на двух шестах-мачтах, протянут был над колодою. Быстро-быстро, как белка, взлезла по одной из мачт девочка лет пятнадцати, пробежала, остановилась против быка и вдруг, выставив руки вперед, кинулась вниз головою, как пловец с высоты кидается в воду. Голое тело, полудетское, полудевичье, острое, как стрелка, промелькнуло в воздухе — и у самых привычных зрителей замерло сердце: при малейшей ошибке прыжка исполинские рога вонзились бы в тело ее, как мечи. Но расчет был верен: упала между рогами, невредимая.

Бык, соскочив с колоды, замотал головою, запрыгал неистово, чтобы стряхнуть плясунью. Но она держалась крепко, уцепившись за рога руками и ногами: один рог — под мышкою, другой — между ног, и так вися, качалась, как на качелях — играла со смертью.

Вдруг перекинулась на спину зверя, встала на ноги и спрыгнула на землю. Не успел он повернуться к ней, как уже другая плясунья вскочила на него, протянула руки к первой, подхватила ее, перебросила через себя на спину быка и тоже спрыгнула; опять вскочила первая, перебросила вторую. И так то одна, то другая летали, летали они в белом облаке пыли, реяли, как ласточки.

Из царского шатра послышалось тихое рукоплескание: по здешнему обычаю, ударяли не ладонью в ладонь, а пальцами в пальцы. И все множество зрителей ответило таким же тихим плеском.

— Nefert, nefert! Прелесть, прелесть!— восхищался Тута.— Вон как улыбаются: должно быть, влюблены друг в друга,— шепнул он Таммузададу, сидевшему с ним рядом, в царском шатре.

— Влюблены?— усмехнулся тот своей тяжелой, точно каменной, усмешкой.— Да ты что думаешь?

— Думаю, что такие хорошенькие мальчик и девочка...

— Близорук же ты, господин мой, или плохо видеть изволишь от пыли? Это не мальчик и девочка.

Тута вгляделся пристальней.

— Ах, провались они все, окаянные — не разберешь, кто мужчина, кто женщина!— тихонько рассмеялся он и оглянулся туда, где, среди скопцов своих, сидело чудовище с головой быка, царь-царица Идомин.

Продолжал усмехаться и Таму. Но, когда привычным движением поднял он руку к льняной повязке на шее, лицо его вдруг исказилось так, что Тута спросил с участьем:

— Все еще болит?

— Болит,— ответил Таму и вспомнил, как в ту страшную ночь, в пещере Матери, полз на коленях к золотисто-желтому покрову: «Кто подымет покров с лица моего, умрет». Поднял — умер. И теперь умирает. При свете дня, под тысячами глаз, обнаженное тело ее, ни мужское, ни женское — мужское и женское вместе, так же страшно, как тогда: «Да ты кто, кто ты, Лилит?»

— А ты этих девушек знаешь?— полюбопытствовал Тута.

Таму ничего не ответил, как будто не слышал: молча встал и ушел. За него ответил один из скопцов:

— Та, что постарше, Дио, дочь Аридоэля, а другая, помоложе, Эойя, дочь Итобала.

Падали сумерки, и светлевшие на небе роги луны откидывали черные тени бычьих рогов на белый песок ристалища, когда протрубила труба, тритонова раковина, конец игр. Быков погнали в стойла; более смирных вели за продетые в ноздри кольца, а диких ловили арканами.

Перед царским шатром на опустевшем ристалище собрались плясуны и плясуньи, ожидая решения царя, кто победил в состязаньи.

Только троих из тринадцати унесли раненых; убитых не было вовсе, что сочли недобрым знаком: жертвы бог не принял, а главною целью священных игр и было принесение человеческой жертвы.

Пологи лилового пурпура в царском шатре, просвечивая аметистовыми светами вспыхнувших факелов, чуть-чуть раздвинулись, и высунулась бычья морда царя. Кроме приближенных скопцов, никто никогда не видел человече-

ского лица его и не слышал голоса. Но и от бычьей морды люди закрывали глаза руками, с благоговейным ужасом: увидеть бога — умереть. И пронесся шепот, как шелест ночных деревьев:

— Помилуй, Владыка-Владычица!

Кто-то за спиной царя воскликнул в наступившей вдруг тишине:

— Эойя, дочь Итобала, радуйся!

Победительница вышла вперед, пала ниц, и венок из белых шафранных цветов слетел на нее из шатра.

Жертва кровавая не совершилась,— да совершится же бескровная: шафранным венком венчалась невеста Солнца-Быка, богиня Луны в полнолунии, Пазифайя — Всесветящая.

— Эойя, дочь Итобала, радуйся! Радуйся, богом любимая!— повторило все множество зрителей.

II

— Не бойся, он зла тебе не сделает.

— Знаю. Я не того боюсь.

— А чего же?

— Можно сказать? Не рассердишься, Пчелка, милая?

— Не рассержусь, говори.

— Боюсь... Погоди, дай на ушко скажу. Боюсь, что вдруг будет смешно...

— Смешно? А разве не страшно?

— Да, и страшно, а все-таки смешно... Деревянная, на колесиках, шкурой обтянута, совсем как живая, а ходить не может: подтолкнуть ее сзади — покатится; заскрипят колесики, я и рассмеюсь. А ведь нельзя?

— Нельзя.

— Ну вот. А когда нельзя, еще смешнее: как от щекотки рассмеешься, не удержишься. И потом, как влезу к ней в брюхо,— а в глазах у нее дырочки — можно выглядывать,— выгляну, увижу, как он подойдет, уставится мордой в морду, обнюхает, фыркнет,— и опять засмеюсь, прямо в лицо богу...

— Ну, что же, смейся, не бойся, девочка моя маленькая! Бог любит смех детей — он сам как дитя малое.

— Перед людьми нельзя, а перед ним можно?

— Можно. Он мудр и благ — он знает все.

— Да, все знает. Давеча свежей соломы принесла ему в стойло, а он поглядел на меня одним глазком, так, что страшно стало: знает все, только не может сказать...

— Ночью сегодня скажет тебе все. Веришь?

— Верю. Войду во чрево Телицы, как мертвые входят во чрево земли, и узнаю все, как знают мертвые,— проговорила Эойя молитвенно и вспомнила, что сказывала ей египтянка Зенра, Диина кормилица.

Дочь египетского царя Менкаура, умирая во цвете юности, говорила отцу своему: «Не клади меня в землю сырую, чтобы мне в земле не соскучиться, а положи у себя во дворце и выноси на солнце, чтобы видеть мне и мертвой солнце живых». Так и сделал царь Менкаур: положил мумию дочери во чрево Небесной Телицы, Гатор, изваянной из сикоморового дерева, украшенной пурпуром и золотом, с золотым, между рогами, солнечным кругом, поставил ее у себя во дворце, в темной палате, освещенной лампадами, и раз в году, во дни Озирисова плача, выносили ее на двор и открывали оконце, сделанное в спине ее так, чтобы солнечный луч падал прямо на лицо умершей: ибо сладко и мертвым видеть солнце живых.

— Радуйся, Эойя,— проговорила Дио тоже молитвенно.— Будешь во чреве Телицы, как мертвая во чреве земли и как дитя во чреве матери: умрешь и родишься в вечную жизнь!

В дощатой келийке, тесной и темной, как гроб, пропахшей насквозь бычьим стойлом, теплотою навозною, Дио-жрица одевала Эойю послушницу в белые одежды, венчала белыми цветами шафрана, как невесту к венцу.

Видя их вместе, легко было ошибиться, как ошибся Тута: «мальчик и девочка». Рядом с Дио Эойя казалась почти ребенком: худенькое тело, слишком гибкое, как стебель водяного цветка; рыжие волосы с тусклым отблеском старого золота, слишком мягкие; розовое пламя крови сквозь белизну кожи, слишком прозрачную; детские веснушки около глаз, но недетская грусть и страсть в темных глазах.

Когда Дио сказала давеча: «умрешь», знакомая боль неутолимой жалости, неискупимой вины пронзила ей сердце. Обняла Эойю и поцеловала в глаза, чувствуя, что вся она отдается ей, как тонкая водоросль колыханью глубокой волны. Девочка закинула голову, закрыла глаза под поцелуем; лунный луч упал на лицо ее, и оно побледнело, как мертвое.

«Что я с нею делаю?— подумала Дио с вещим ужасом.— Невесту ли готовлю к венцу, или жертву к закланию?»

Издали послышались гулы тимпанов и визги флейт. Дио и Эойя вышли на ристалище с пустыми полукругами скамей, белевшими почти ослепительно под светом полной луны.

Из главных ворот под царским шатром выступило шествие лунных жриц. В остроконечных тиарах с низким, до пояса, вырезом платья, обнажавшим сосцы, в широких, наподобие колокола, юбках, с многоцветными оборками и серебряным спереди, по золотому полю, шитьем — кустами шафранных цветов,— сами они в этих странных одеждах, мерцавших лунным серебром и золотом, подобны были сказочным лунным цветам.

Выкатили чучело Телицы, на колесиках, огромное, точеное из кипарисового дерева, обтянутое настоящею белою коровьей шкурою; поставили его посередине ристалища, и тут же, перед ним, три знаменья: медную секиру, двуострую,— знаменье Сына закланного; два глиняных бычьих рога с тремя между ними побегами лозными — Древами Жизни,— знаменье Отца несказанного; и три, на одном основании, глиняных столбика с тремя голубками,— знаменье Девы-Матери. Так повторялась трижды тайна божественных чисел: Три в Одном.

Благообразная старица, начальница игр, мать Анаита подошла к Эойе, взяла ее за руку, подвела к Телице и спросила:

— Чиста ли ты, девушка, от пищи животной?

— Чиста,— ответила Эойя.

— Чиста ли ты, девушка, от крови человеческой?

— Чиста.

— Чиста ли ты, девушка, от соития с мужем?

— Чиста.

— Войди же в брачный чертог. Радуйся, богом любимая!

В спине Телицы открылся люк. Эойя взошла к нему по лесенке, спустилась в пустое чрево, и люк захлопнулся.

Флейты завизжали, загудели тимпаны. Лунные жрицы, тихо, как тени луны по ночным облакам, скользя по лабиринтным извивам плясового круга, окружили Телицу, завили ее в хоровод лунных цветов и запели песнь невесте Солнца-Быка, Луне в полнолунии, Пазифайе — Всеозаряющей:

Радуйся, чистая Дева,
Брачное ложе готовь!
Ярость небесного гнева
Да отвращает любовь.
Из темного чрева
Слышишь ли, Дева,
Бычьего рева
Яростный зык?
Бык, Бык, Бык,
В чреслах Телицы Божественной,
Деву покроет, любя.

Песнью торжественной
Славим тебя,
Богом избранная,
Богу закланная,
Дева-Мать несказанная!

Хор удалялся, песнь умолкала — умолкла, и на опустевшем ристалище воцарилась лунная тишина.

Вдруг на белом песке задвигались черные тени, тени бычьих рогов. Белый, как белая пена морей в сияньи луны, приблизился к Телице Бык.

Лежа на мягкой подстилке свежескошенных трав, в смолистом благовоньи кипарисового гроба-чрева с искусно проделанной для притока воздуха отдушиной, глянула Эойя сквозь дырочку глаза и увидела морду быка так близко, что казалось, он дышит ей прямо в лицо. Но не испугалась и не засмеялась, только улыбнулась: «Какой большой, а молочком от него пахнет, как от теленочка! Беленький, бедненький!»— почему-то вдруг вспомнила предсмертный взор заколаемых жертв, и сердце пронзила ей знакомая боль неискупимой вины, неутолимой жалости, и вместе с болью тихий восторг, как тихий свет Всесветящей: узнала, что в Жертве — Бог.

Бык отошел от Телицы: учуял, что она неживая; мудрее был, чем думали люди.

Сонный, побрел по ристалищу. Лег на землю, поднял глаза с тихим мычанием, как бы вздохом любви, к Всесветящей, Возлюбленной, и, под ее поцелуем, закрыл их — заснул так сладко, как спят только звери и боги.

Сладко заснула и Эойя во чреве Телицы. Снилось ей, что целует ее в глаза Мальчик-Девочка, и под Его-Ее поцелуем умирает она — рождается в вечную жизнь.

III

— Дио полюбит тебя, только убей сучку,— говорил Таммузададу, железному купцу, Диин двоюродный дядя, почтенного вида старик, владелец богатейших в Кноссе погребов винных и оливковых, Кинир, сын Уамара.

— Какую сучку?— спросил Таму.

— Эойю.

— Зачем ее убивать?

— Чтобы с Дио снять чару. Приворожила она ее, испортила. Разве не видишь: всегда вместе, водой не разольешь. У этих ведьм чары-присухи могучие.

— Эойя — ведьма?

— Да еще какая! Мимо не пройду, не отплевавшись.

Помни: пока эта девчонка жива, не видать тебе Дио, как ушей своих.

— Как же ее убить?

— А я уж знаю как, все за тебя сделаю; только скажи.

— Нет, ты скажи, как?

— Поклянись, что не выдашь.

— Клясться не буду, а вот тебе слово: не выдам.

— Сделаю так: подговорю кого надо, в ристалище; пьяным пойлом опоят быка, и как выйдет она с ним плясать, он взбесится, вздернет ее на рога. И ничьей вины не будет, только жертва, богу угодная.

— Вот как просто! Ну, а если узнают?

— Меня казнят, а ты в стороне.

— Для кого же ты будешь стараться?

— Для Дио. Ей лучшего мужа не надо, чем ты.

— Любишь ее так?

— Люблю. Один я у нее на свете: сиротка, ни отца, ни матери.

Таму усмехнулся, вспомнил, что ему рассказывала Зенра, Диина няня: однажды ночью забрался старик в спальню к племяннице, хотел ее осрамить, но она избила его, как собаку, едва не убила до смерти.

— Для нее только и будешь стараться?

— Нет, и для тебя.

— А я-то тебе что?

— Ты — великий человек, Таммузадад, сын Иштаррамана: железо нашел, а железо мир победит. Возьми меня в долю, купец; вместе отправим корабль за железом. Только скажи «да», и Дио будет твоею. Ну что же, по рукам?

— Нет, я еще подумаю.

Эойя родом была из полуночного Фракийского племени Эдонян, соседнего с племенами Пелазгов, Ахеян, Данаев и других Железных людей.

Эдонийские жены и девушки, бегая по лесам и горам, в ночных радениях, неистовых плясках, обуянные богом Загреем-Вакхом растерзанным, терзали живую жертву, тельца или агнца, ели сырое мясо и пили горячую кровь, чтобы причаститься богу.

Однажды, проплясав всю ночь, сбежали на берег моря, пали, изнеможенные, на песчаной косе, как стая птиц, прибитая бурею, и заснули мертвым сном.

Хитрые гости морей, финикийцы, плывшие мимо, увидели издали женщин, потихоньку причалили, бросились на них, как ястреба на голубок, и уже влекли на корабль, когда на крики женщин сбежались пастухи из соседних долин и отбили всех, кроме одной, Зёмлы, дочери Огига, старшины Эдонийского.

Зе́мла билась в плену, как птица в сетях; хотела наложить на себя руки. Но потом присмирела: почувствовала, что под сердцем у нее шевельнулось дитя, и для него захотела жить. Верила, что зачала от бога, в сонном видении, а подруги думали,— от пастуха, отцова наемника. Так случалось нередко: где-нибудь в логе лесном, при свете звезд, исступленная фиада соединялась в любви, сама не зная с кем, как звериха со зверем, или богиня с богом.

Месяца через два финикийцы вернулись в родную гавань, Библос-Гэбал, у подножия Ливана, и здесь продали Зе́млу жрецу Астарты и Молоха, Итобалу. В доме его и родила она дочку, Эойю.

Вдовый старик Итобал имел сердце доброе, хотя и приносил маленьких детей в жертву Молоху. Долго мучился этим, а потом привык, утешаясь тем, что и Авраам, такой же, как он, ханаанский жрец Ваала Огненного, за такую же святую и страшную жертву наречен «другом Божьим».

К Зе́мле Итобал был милостив: возвел ее в почетное звание священной блудницы в храме Астарты, а Эойю полюбил, как родную дочь, и, когда она подросла, удочерил ее по закону.

В священной Астартовой роще, где покоились обугленные кости маленьких детей, принесенных в жертву богу, и чистые души их, казалось, возносились в благоухании фиалок,— как фиалка, росла и цвела Эойя, дочь Итобала.

Ей минуло двенадцать лет, когда жрица Дио, дочь Аридоэля, прибыла на корабле из Кносса с дарами и жертвами Астарте: в ней чтили Критяне свою Великую Матерь. Дио прожила в доме жреца Итобала около месяца. С Эойей почти не говорила, но чувствовала, что девочка влюбилась в нее тою детскою влюбленностью, которая кажется взрослым смешной.

В последний вечер, накануне отъезда, когда они остались одни в священной роще Астарты, она сказала Эойе:

— Хочешь, я возьму тебя с собою на Остров, девочка?

— Как возьмешь? Совсем?

— Совсем.

Эойя посмотрела на нее долго, молча, и, наконец, тихо ответила:

— Возьми.

— Да ведь не отпустят?

— Да, не отпустят,— согласилась Эойя; опять помолчала, подумала и сказала еще тише:

— А я убегу.

— Не убежишь: ты ведь отца и мать любишь.

— Я тебя...— начала Эойя и не кончила; вдруг вспыхнула вся, а потом побледнела.

— Я тебя больше люблю,— прошептала страстным шепотом.

— Глупенькая!— засмеялась Дио, обняла ее, поцеловала в глаза, в детские веснушки около глаз, и почувствовала, что вся она отдается ей, как тонкая водоросль колыханию глубокой волны.

— Глупенькая, разве можно так говорить?

— Можно. Я тебя одну люблю,— сказала Эойя со страшною, недетскою силою любви.— Возьми меня с собой. Только скажи — и убегу!

Души сожженных детей возносились в благоухании фиалок, и в светлом, между черными кипарисами, небе, еще беззвездном, теплилась одна вечерняя звезда, звезда Его-Ее, Девы-Отрока.

Дио взглянула на нее; уже не смеясь, тихонько оттолкнула девочку и молча, быстро ушла.

А на следующий день, когда корабль отплыл в море так далеко, что не видно было берега, узнала она, что Эойя на корабле: подкупила кормчего золотым ожерельем, подарком отца, и тот спрятал ее между тюками товаров.

— Негодная, негодная девчонка, сумасшедшая, что ты наделала!— накинулась на нее Дио; но, вглядевшись в лицо ее, поняла, что нельзя ее бранить, как лунатика, идущего по краю пропасти.

Пловцы не захотели возвращаться для незнакомой девочки, а до Крита не было гаваней. Дио решила отправить ее обратно с первым кораблем из Кносса. Но не отправила: полюбила Эойю так же безумно, как та ее.

На острове Крите, на горе Диктейской, близ пещеры, где родился Младенец бог, была святая обитель, Пчельник Матери. Там девы-затворницы жили под надзором Великой Пчелы, первосвященницы. У каждой жрицы была послушница: у Дио — Эойя. Четыре года провела она в обители, учась божественной мудрости словом, а больше пляскою, потому что немая пляска мудрее всех человеческих слов.

В конце первого года прибыл в Кносс Итобал, случайно узнавший, где находится приемная дочь его, и потребовал выдачи ее как беглой рабыни. Ему ответили, что в Пчельнике нет рабынь, а есть только святые девы под святым покровом Матери, и что их не выдают никому.

Он уехал, прокляв дочь и велев ей сказать, что она убила мать: Зе́мла умерла от тоски по дочери.

Плясуньи для бычьих игр на Кносском ристалище набирались из жриц и послушниц. Попала в набор и Эойя.

Покинув Пчельник, поселилась она у Дио, в загородном доме ее, близ Кносской гавани, на самом берегу моря, среди кипарисовых рощ, виноградников и шафранных садов.

IV

На третий день после брака Эойи с богом Быков, Дио совершала над нею священный обряд омовения в море.

Сняв с нее подвенечный убор, бросила его в волны, зачерпнула воды в чашу, окропила Эойю и прочитала молитву:

Мать, любовью твоей
Царство Морей
Осени,
Всех детей
Сохрани.
Вопль погибающих
В море услышь.
Бурь налетающих
Ярость утишь.
Даруй ветр благовеющий,
Парус белеющий
Тихо неси,
Всех помилуй, спаси,
Всем пошли благодать,
Мать!

По обряду жрица и послушница должны были вместе выкупаться в море.

В пляске давно уже привыкли они видеть друг друга почти нагими; но никогда еще не видели нагими совсем. Сняв последний покров, Эойя вдруг застыдилась, поскорее бросилась в море. И Дио — за нею.

Глубокий залив вдавался в берег. Шум бурунов слышался издали. Там волны кипели и выли, обливая острые скалы соленою пеною. А здесь, в заливе, была тишина; только чуть-чуть колыхалась сплошною глыбою стекла голубовато-зеленого вода, такая прозрачная, что каждый камешек, каждая ракушка виднелись на дне.

Наготы купальщиц не скрыла вода; но в холоде ее невинном стыд потух.

Плавали обе, как рыбы. Играли, шалили, брызгали друг в друга сапфирными брызгами, и смеялись, кричали, визжали от радости; радовались так, как будто вернулись на родину: море им было роднее земли.

Подплывали к бурунам, взлезали на скользкие камни, обросшие черно-зелеными волосами водорослей, и жадно дышали их устрично-соленою свежестью. Подставляли спину набегающим валам, и покрывал их, как Бык, Пазифайин возлюбленный — ревущий, скачущий, белою пеною блещущий вал.

Ныряли, как водолазихи. Глядя друг на друга под водою, не узнавали друг друга: призрачными казались лица

и тела; белое тело Эойи — голубовато-серебряным; смуглое тело Дио — серебряно-розовым; оба, как цветы подводные.

И подводная жизнь кипела вокруг них таинственно. Рыбы, проплывая, глядели круглыми глазами, пристально; морской еж ежился; морская звезда мигала ресницами; таяла медуза опалово-лунная; слизняки выползали из раковин; тянулись из чаши кораллов чьи-то длинные щупальцы, усики, хоботы; чьи-то глаза в темноте, как гнилушки, светились.

Страшно им было страхом святым, как будто разверзалось перед ними божественное чрево Матери, ложесна несказанные, где зачинается все, что было, есть и будет.

И грубым казался солнечный свет после подводного сумрака, жар солнечный — убийственным. Но земные, к земле вернулись; выплыли на берег и легли на песок, уже не стыдясь наготы.

Вдруг Эойя вскочила, вскрикнула:

— Смотрит! Смотрит!

И бросила камень в миртовый куст, разросшийся густо над кручей скалы.

— Кто? — спросила Дио.

— Он, он! Таммузадад!

Дио тоже вскочила. Гневом озаренное лицо ее было грозно, как лицо самой Бритомартис, божественной Девы Ловчихи. Одной рукой схватила она покрывало золотисто-желтое с серебряными пчелками,— Таму узнал его,— а другою — копье. По старой привычке охотницы никогда не выходила из дому без лука или копья. Бросила его с такою силою в куст, что оно могло бы убить человека. Но тотчас опомнилась, побледнела, закрыла руками глаза, чтобы не видеть, и прошептала с ужасом:

— Таму, брат мой, что ты сделал!

— Ничего, не бойся, убежал,— проговорила Эойя, тоже бледнея.— Вот как испугалась! А я и не знала, что ты его так любишь...

В тот же день Таммузадад сказал Киниру, сыну Уамарову:

— Помнишь, о чем мы с тобой говорили намедни?

— Помню.

— Дай руку.

Кинир подал руку. Таму ударил по ней, как купец на торгах, и сказал:

— В долю беру тебя, Кинир, сын Уамара, вместе отправим корабль за железом. Ладно?

Еще не веря счастью своему, Кинир взглянул на него исподлобья жадными глазами.

— Как же не ладно, как же не ладно! О, господин мой, да наградят тебя боги!— всхлипнул он и бросился целовать руки его.— А сучку убить?

Таму ответил не сразу. Опустил глаза, как будто задумался. Вспомнил — увидел: на песке, у моря, лежат, обнявшись, «мальчик и девочка», а он, в кусте над обрывом, упал ничком, уткнулся лицом в землю и царапает ее ногтями, как смертельно раненный, хочет грызть: «грызть будешь землю», по слову древнего проклятья. И вдруг над самой головой просвистело копье. О, если бы чуть-чуть пониже!

— А сучку убить?— повторил Кинир, думая, что он не расслышал.

Таммузадад медленно, с усильем, поднял на него глаза и, зная, что будет так, как скажет,— сказал:

— Убей!

V

О Таммузе далеком плач подымается!
Матка-коза и козленок заколоты;
Матка-овца и ягненок заколоты.
О Сыне возлюбленном плач подымается!—

пел Энгур, сын Нурдагана, на выжженном поле, плоской вершине скалы над заливом, где утром того же дня купались Дио и Эойя.

Старый раб Иштаррамана, Энгур бежал с Таму, когда тот убил, или думал, что убил отца своего; плавал с ним в далеких морях за железом, служил ему верой и правдой, но одряхлел, выжил из ума и стал никуда негоден. По просьбе Таму Дио взяла его к себе в пастухи.

Теплый ладан вересков, мяты, полыни, донника и запах овечьей отары, напоминавший пастуху родные кочевья в степях Сеннаарских, смешивались с морскою соленою свежестью. Медленно всходили облака из-за холмов лиловеющих; медленно паслись овцы и козы; медленно падали звуки свирели, однообразно-унылые, звук за звуком, как слеза за слезою:

О Сыне возлюбленном плач подымается:
Ты — деревцо, в саду воды не испившее,
Вершиною в поле не расцветавшее;
Ты — росток, текучей водой не взлелеянный;
Ты — цветок, чьи корни из земли исторгнуты...

Дни Таммузова плача наступали каждый год, когда от летнего зноя увядали травы и цветы в родных степях Сеннаара. Вспомнил об этом Энгур и здесь, на чужбине. Плакала свирель его весь день — то умолкала, то снова плакала.

Знойный закат над выжженною цепью холмов уже клубился багровыми дымами, и вечерняя звезда затеплилась, солнечно-белая, Его-Ее звезда — Отрока-Девы, Таммуза-Иштар, а он все еще пел свою бесконечную жалобу о цвете увядшем. боге умершем, Таммузе:

Умер Владыка, умер Таммуз!
Псы блуждают в развалинах дома его,
На могильную тризну слетаются вороны;
Плач похоронный в буре звучит,
Звучит в непогоде свирель заунывная...
О, сердце, о, сердце Владыки! О, ребра пронзенные!

Сидя над морем на краю обрыва, Дио и Эойя слушали молча. Так тихо потухал закат, так тихо теплилась звезда и плакала свирель, что тишина обнимала и слушавших.

— О чем он плачет?— спросила Эойя.

— О боге умершем, Таммузе,— ответила Дио.

— Таммуз, Озирис, Аттис, Адон ханаанский и ваш Адун, и наш Загрей-Дионис,— все боги умирают?

— Все, или Один во всех.

— Зачем?

— Ты знаешь, зачем.

— Да, знаю: чтобы воскреснуть и воскресить мертвых; так на Горе учат. Да ведь я глупая: не понимаю...

— Не понимаешь, как воскрес?

— Нет, как умер. Разве может Бог умереть?

— Ты и это знаешь.

— Знаю: родился человеком, чтоб умереть... Совсем человеком?

— Совсем.

— Как я, как ты, как все?

— Как все.

— Тут у вас, на Острове, и жил?

— Да.

— Ну, еще бы! Тут и пещера, где родился, и гроб, где погребен: уж значит, тут и жил...

— Зачем ты так говоришь? Как будто не веришь?

— Нет, верю... Иногда верю, а иногда не верю. Не знаю, ничего не знаю,— сказала эта девочка, почти ребенок, так же, как скорбный мудрец, Таму.

— Ну, а как же Он умер?— продолжала Эойя.— Вепрь, говорят, на охоте убил; да ведь это только так говорят. А на самом деле, как?

— Не знаю.

— Нет, знаешь. Скажи, Пчелка!

И спросила ее на ухо, шепотом:

— Люди убили Его?

Дио молча наклонила голову.

О, сердце, о, сердце Владыки! О, ребра пронзенные!— плакала свирель.

— Как страшно он плачет... А за что Его убили?— опять спросила Эойя и, не дожидаясь ответа, зашептала с возрастающим ужасом:

— Мне матушка сказывала: бог Загрей-Дионис родился человеком, Орфеем певцом. Так сладко пел, что звери и камни слушали его, а люди убили, растерзали и разметали члены его на все четыре стороны. Ты об Орфее слышала?

— Да. Он и у нас, на Острове, был.

— Орфей значит Темный. Почему Темный?

— Так люди смеялись над ним, потому что свет казался им тьмою.

— За то и убили?

— За то.

— И если бы опять пришел, опять убили бы?

— Опять.

— А Зенра сказывает,— вспомнила Эойя,— что и Озириса убил Сэт, брат брата, и тоже растерзал и разметал члены его на все четыре стороны...

Помолчала, потом взяла Дио за руку и, глядя на подвешенный к ее запястью талисман-аметист с вырезанным четырехконечным крестиком, спросила:

— А это у тебя что? Его знак?

— Его.

— Да, четыре палочки — четыре конца света, куда разбросаны члены Его... А что Сына убьют и растерзают, знал Отец?

— Знал.

— И Мать знала?

— И Мать.

— Как страшно, Пчелка, как страшно! Отец и Мать отдали Сына на растерзание. На земле и на небе одно, и деваться некуда... Итобала, отца моего, помнишь?

— Помню.

— Ведь добрый-предобрый, мухи не обидит, а маленьких детей сжигает. Запах жженого детского мяса, говорит, «приятное благоухание Господу». И Авраам праотец другом Божиим наречен за то, что готов был сына своего заклать... Отцы и матери сами приносят детей в жертву и, когда они горят, не плачут, а если и плачут, трубы трубят, гремят кимвалы, жрецы поют песнь Господу, чтобы не слышен был плач матерей... Да ведь слышит, слышит Мать! Запах жженого детского мяса возносится к Матери!

— Молчи, не говори об этом!— сказала Дио так же повелительно-грозно, как тогда, в лесу, на Горе, в беседе с Таму безбожником.

— Нельзя говорить? И думать нельзя? — прошептала Эойя.

— Нельзя.

— Как же не думать, Пчелка, как же не думать? Само думается...

Помолчала и потом заговорила уже как будто спокойно, задумчиво:

— Был сосуд у матушки из дома отчего, водонос фракийский, как сейчас вижу: старенький, глиняный, пузатый, с горлышком, ручка отбита. Как тащили ее на корабль разбойники, и водонос прихватили, думали, что в нем драгоценная масть; но увидели, что пустой, и отдали ей. Я, бывала, маленькая, все разглядываю, что на нем нарисовано красным по черному — понять не могу: три человека; двое по бокам стоят; один, в плющевом венке, с тирсом, как бог Загрей-Дионис, смотрит, усмехается; другой испугался, бежит; а третий, в середине, держит на руках мертвого мальчика. Человечки нарисованы плохо, а мальчик — так, что нельзя наглядеться. Только что, видно, зарезан; тело еще теплое, мягкое, как лохмотье, висит; голова закинута; волосы падают вниз, длинные, как у девочки; а лицо, как у бога. Человечек держит его на одной руке, а другой — оторвал от тела руку и поднес ко рту, хочет есть. «Что он с мальчиком делает? Зачем его есть?» — все пристаю к матушке. «А этого, говорит, детям знать нельзя. Погоди, ужо вырастешь — узнаешь». Ну вот и узнала: прежде, чем бог родился человеком, растерзали его и пожрали Подземные, Ужасные. И в Загреевых таинствах жрицы-фиады, богом исступленные, жертву живую терзают и пожирают. Когда мне это матушка сказала, я так испугалась, что не посмела спросить, кто жертва, зверь или человек...

Эойя говорила, все время глядя на вечернюю звезду. Вдруг обернулась к Дио, посмотрела ей прямо в глаза и спросила почти теми же словами, как тогда, в лесу, Таму безбожник:

— А что, Пчелка, правда ли, что и у вас тут, на Острове, отцы и матери детей своих приносят в жертву?

— Молчи, не смей! — так же как тогда, воскликнула Дио. — Если ты еще слово скажешь...

— Ну, что? — проговорила Эойя с вызовом. — Разлюбишь? Да ведь и так не любишь, будто я не знаю! Таму, брата своего, любишь, а не меня... А помнишь, говорила, что когда войду во чрево Телицы, бог мне скажет все? Ну вот и сказал.

— Что сказал?

— Сама знаешь что: если Бог такой, как думают люди, то это не Бог, а дьявол!

— Молчи, молчи, безбожница, проклятая!

Дио занесла над нею руку, как будто хотела ударить. Лицо ее было так страшно, что Эойя подумала: «Убьет. Ну, и пусть. Или я, или он!» И закрыла лицо руками. Дио тоже.

Так сидели они долго, молча. Умолкла и свирель. Все затихло. Только море дышало чуть слышно. В падающих сумерках свежее была свежесть волн соленая, теплее теплый ладан вересков, и звезда, солнечно-белая, в багровых дымах заката, еще белее, солнечней.

Вдруг Дио услышала, что Эойя плачет. Отняла руки от лица и обернулась к ней.

— Что ты? О чем?

Она ничего не ответила и заплакала еще сильнее. Дио обняла ее, чувствуя все худенькое тело ее, бьющееся от рыданий, как пойманная птица бьется в руке.

— Не любишь! Не любишь! Не любишь!— плакала так, что казалось, вся душа ее исходит слезами, как душа смертельно раненного — кровью. И знакомая боль неискупимой вины, неутолимой жалости пронзила сердце Дио.

Обнимала ее все крепче, прижимала к себе, целовала голову ее, гладила волосы и повторяла те бессмысленно-нежные слова, которыми матери утешают плачущих детей:

— Ну, полно же, полно, девочка моя хорошая, птичка моя маленькая, рыбка моя золотая, бабочка беленькая! Ну, перестань, не надо плакать. Разве не видишь, что я тебя?..

И сама заплакала. Эойя взглянула на нее, всхлипнула в последний раз и затихла.

— Любишь? Правда?— улыбнулась сквозь слезы.— А его?..

— Глупенькая, разве я могу его любить так, как тебя?

— Ох, Пчелка, люби меня,— все равно как, только люби! Ведь уж недолго. Мне все что-то кажется...

— Ну, что? Говори.

— Кажется, я скоро умру. Знаешь, какой мне сон приснился намедни: матушка, будто бы, ищет меня, ловит, поймать не может: глаза открыты, а не видят, как у мертвой. И я ее очень боюсь, думаю: если поймает, умру от страха. И вдруг поймала, и мне уже не страшно, а так хорошо, вот как с тобой сейчас. И целует, ласкает, совсем как ты, теми же словами говорит: «Птичка моя маленькая, рыбка моя золотая, бабочка беленькая, разве не видишь, как я тебя люблю?» И заплакала. А я проснулась и тоже плачу от радости... Ну вот, Пчелка, это и значит, что я умру скоро.

Дио хотела что-то сказать, но не было слов; только подумала: «Ну что ж, умру и я с нею. Может быть, и лучше

так: нельзя жить и любить, как мы любим. Мать земную убили — этого не простит и Мать Небесная».

Вдруг опять свирель заплакала:

О Сыне возлюбленном плач подымается,—
Плач о полях невсколосившихся,
Плач о потоках неорошающих,
Плач о прудах, где рыба не множится,
Плач о лесах, где тамарин не цветет,
Плач о морях, где корабль не плывет,
Плач о садах, где вино не течет,
Плач о матерях и детях гибнущих...

— Так плачет, как будто Бог умер и не воскрес,— сказала Эойя и, помолчав, спросила;

— Пчелка, а отчего ты не хочешь мне сказать всего?

— Что сказать?

— А вот, как умер и как воскрес. Ты ведь все знаешь?

— Нет, не знаю.

— Кто же знает?

— Никто,— сказала Дио и, подумав, прибавила:— Может быть, только один человек на земле знает о Нем.

— Кто?

— Царь Египта, Ахенатон.

ВАКХАНКИ

I

Страшный сон приснился Туте: будто бы он сидит на царском престоле, по Идоминову пророчеству: «Радуйся, царь Египта, Тутанкамон!» Но услышал, что под ним журчит вода, огорчился и понял, что это не престол, а водяная уборная. Вдруг треск, гром — зашаталось седалище, и он падает с него вниз головой в преисподнюю.

Проснулся в ужасе, услышал крики и, подумав спросонья, что кричат в соседней комнате, вскочил с постели.

— Ани! Ани!— позвал письмоводителя.— Что это, слышишь? Уж не земля ли трясется? Беги скорей, узнай!

Ани сбегал, вернулся и успокоил его: земля стоит крепко, а кричат здешние люди, потому что наступили дни Адунова плача.

— Чудаки!— удивился Тута.— Так вопят, как будто и вправду случилась беда.

Лег снова в постель, но заснуть уже не мог, все прислушивался к воплям.

Когда рассвело, велел подать носилки и отправился слушать плач. Встретил по дороге Таму и пригласил его с собою.

По всему дворцу и городу люди бегали, как будто искали кого-то, или, сидя у святых оград, били себя в грудь, рвали на себе волосы и под жалобные звуки похоронных флейт кричали и плакали:

— Айи Адун! Айи Адун!

Выставляли глиняные сосуды с недолговечными цветами на солнечный припек, чтобы поскорее увяли они; и плакали над ними так, как будто знали, что и все великое Царство Морей погибнет, как Адунов цвет недолговечный:

Ты — цветок, чьи корни из земли исторгнуты.

А за святыми оградами жрицы в исступленной пляске вырывали из глиняных чанов-жертвенников посаженные в них святые деревца Адуновы; бог был в каждом из них: вырывая деревцо, убивали бога-жертву.

Таму вслушался в плач:

— Увы, мой Брат! Увы, Сестра моя! Любимый, Любимая! Месяц двурогий, Секира двуострая! Адуна-Адун!— взывали плачущие.

— Проклятое царство проклятой Лилит!— бормотал он сквозь зубы.

— Что ты говоришь?— спросил Тута.

— Плакать, говорю, будут дураки шесть дней, что дважды два четыре, а на седьмой — обрадуются, что дважды два пять!

— Что это значит?

— Значит: умер человек — дважды два четыре, а воскрес — дважды два пять.

— А ты не веришь, что воскрес?

— Я, железный купец, знаю, что вера железа не сломит!

В седьмой день, воскресный, Тута отправился на Диктейскую гору, чтобы принести дар царя Ахенатона богу Адуну.

В полуторадневном пути от Кносса, на южном склоне Горы, над круглою, как чаша, котловиною, дном высохшего озера, находилось святейшее место Крита — пещера, где родился Младенец — бог.

Узкая тропинка подымалась к ней по круче скал, где блеяли козы и пчелы жужжали, так же как в древние дни,

когда бога-Младенца поила коза Амалфея молоком и пчелы Мелиссы кормили медами горных цветов. Внизу котловина пылала, как раскаленная печь, а здесь, наверху, уже слышалось первое веяние вечных снегов. Но все было здесь голо, мертво, выжжено; только у входа в пещеру одинокий тополь зеленел неувядаемо, как райское древо жизни.

Туту окружили Пчелы, жрицы, молодые и старые. Дио была среди них. Он подошел к ней и попросил напиться: в святой ограде бил родник. Она зачерпнула воды в чашу и подала ему.

— Как же ты решила, дочь моя, едешь со мною в Египет? — спросил ее Тута.

— Еду, если царь и великая жрица позволят.

— Царь уже позволил, не откажет и жрица. А ты сама не раздумаешь?

— Нет, не раздумаю. Отчего ты не веришь мне?

— Оттого, что у молоденьких девушек мыслей много.

— У меня одна мысль.

— Какая?

«Видеть царя Ахенатона, величайшего из сынов человеческих»,— хотела она сказать; но, взглянув на Туту, почувствовала, что лучше с ним об этом не говорить.

— Ехать, ехать! — сказала так радостно, что и он обрадовался: будет, чем похвастать, вернувшись домой: такой плясуньи, как Дио, не видал еще царь Египта; никто не приносил ему такого дара, как эта жемчужина Царства Морей.

— Мать Акакалла ждет тебя. Пойдем,— сказала Дио и повела его за руку в пещеру.

Сразу вступив из дневного света в подземную ночь, Тута как бы ослеп, а когда опять начал видеть, ночь осветилась багровыми светами факелов. Но пещера была так велика, что дальние углы ее оставались во мраке и свод казался провалом в черную ночь. Древние старухи, жрицы, стоя в два ряда, держали факелы. Проходя между ними, Тута чувствовал, что ноги его угрузают во что-то мягкое, как пух: это был тысячелетний слой пепла от сожженных жертв.

Направо от входа возвышался первобытный жертвенник — четырехугольная куча камней: должно быть, первые поклонники Матери, дикие люди пещер, воздвигли его в незапамятной древности. Здесь приносились не только животные, но и человеческие жертвы. Налево искрилась белая чаща сталактитов, стоячих и висячих, огромных, как стволы деревьев. Там была вторая пещера, нижняя — Святое Святых, как бы разверстое чрево Матери Земли, страшная дверь из этого мира в тот. Кроме великой жрицы,

никто никогда не заглядывал в нее. Там и родился Младенец бог.

В глубине верхней пещеры сидела на низком каменном стульце старуха древняя, древнее всех остальных, непомерно тучная, вся налитая желтым жиром, точно распухшая от водянки. На голове ее был остроконечный колпак с косыми полосками, желтыми и красными; на груди низкий, до пояса, вырез одежды обнажал два чудовищных сосца — два коровьих вымени или пустых бурдюка, темно-бурых, сморщенных, отвислых, как сосцы беременной суки. Все тело опутано было какими-то металлическими блестящими веревками.

Это была мать Акакалла, великая жрица. Тута много слышал о ней: царь Идомин ненавидел ее, подозревая в тайных сношениях с братом своим, Сарпедомином изгнанником, а народ любил и чтил ее, называя пресвятою, премудрою. Некогда спорила она с царем из-за престола: помнила те дни, когда в Царстве Морей властвовали жены, по древнему завету Матери: «Муж жене да повинуется».

С помощью нескольких жриц, подхвативших ее под руки, чуть-чуть привстала она, кряхтя и охая, подняла руки, чтобы благословить Туту, и вдруг металлические веревки на ней зашевелились, заползали; Тута понял, что это змеи. Спутываясь в клубки, петли, узлы, обвивали они бедра ее поясом, шею — ожерельем, руки — запястьями; одна повисла на ухе серьгою; другая, обвив колпак и свесившись на лоб, выставила вперед плоскую головку с трепещущим жалом.

Тута испугался, но не очень: вспомнил, что Диктейские жрицы умеют приручать ядовитейших гадин, вырезая у них из-под зубов железки с ядом, и что мать Акакалла — обаятельница змей.

— Чудо великое возвещает людям Матерь всех,— заговорила она по-критски гнусаво-певучим голосом, как бы читая молитву.— Святым своим возвещает, верным, а вкравшимся обманом противится. Входите же к ней только святые, чистые сердцем, да дело божье узрите — чудо воскресения!

Тута стал на колени и подал ей царский дар, золотое, плоское, как щит, жертвенное блюдо. Мать Акакалла начала его рассматривать одним глазом. Только теперь заметил он, что она кривая.

На блюде шли кругами выпуклые оттиски: в первом, внешнем кругу — священные египетские змейки, Уреи; во втором — вавилонские ангелы; в третьем — критские двойные секиры; а в средоточии кругов — солнечный шар бога Атона с простертыми в виде человеческих рук лу-

чами, благословляющими царя Египта, Ахенатона; над шаром — критская надпись *Адун-Атон*, а по обеим сторонам царя — надпись иероглифами.

Мать Акакалла прочла ее вслух:

— «Все племена и языки пленил ты в свой плен, заключил в узы любви, соединил, Единый. Истину свою открыл сыну своему единородному, Ахенатону Неферхеперура Уаэнра. Отца же не знает никто, кроме Сына».

Вдруг лицо старухи сморщилось, губы задрожали, слезинка выкатилась из глаза. Обеими руками подняла она блюдо, поцеловала его и воскликнула:

— Истинно так: Отца не знает никто, кроме Сына! Благословен будь, Сын Отца единородный, Ахенатон Уаэнра!

Потом обернулась к Дио, подала ей блюдо и сказала:

— Вот он! Узнаешь?

Дио вглядывалась в лицо его с таким чувством, как будто узнавала после долгой разлуки лицо брата. Тоже поцеловала его.

— К нему, к нему ступай, доченька! Не здесь тебе место, а там, у него! — воскликнула мать Акакалла, и вдруг единственный глаз ее вспыхнул, как раскаленный уголь.

— Попляши пред ним во славу Адуна-Атона! Выше, выше, выше ноги задирай, вот так!

И смеясь, и плача вместе, подняла она юбку, оголила чудовищно толстые ноги-обрубки и задвигала ими, как будто заплясала, неуклюже-расслабленно.

— А ты кто? — вдруг спросила Туту по-египетски, глядя на него так, как будто только сейчас увидела.

— Посол царя.

— Знаю, что посол, а как звать?

— Тутанкатон.

— Тутанкамон?

— Нет, Тутанкатон.

— Был Амон, стал Атон, и снова будет Амон. Так что ли? Мяу-мяу! Кошек любишь?

— Люблю.

— То-то, сам похож на кота. А Великая Матерь — кошка у вас?

— Матери у нас нет; прежде была, а сейчас нет.

— Как же Сын без Матери?

— По учению царя...

— Врешь! Скажет он тебе свое учение, дурак! — проворчала старуха по-критски и вдруг рассердилась, затопала ногами, замахнулась на Туту костылем.— Врешь, пес, псицын сын, безбожник! Нет Сына без Матери!

Тута слов не понял,— понял только, что она ругается. Не обиделся: знал, что на великую жрицу обижаться нельзя; всякая брань от нее, даже удар костылем — благословение. А все-таки подумывал, как бы убраться подобру-поздорову.

Но старуха уже успокоилась, заговорила с ним ласково; только хитрая усмешка светилась в глазу.

— Дело твое верное, сынок: будешь, кот, мышиным царем! Такого им и нужно, как ты. Умалится великий — малый возвеличится. Радуйся, царь Египта, Тутанкамон!

«Ах, ведьма проклятая, точно подслушала царя Идомина!»— удивился, почти испугался Тута.

Заговорили о Диином отъезде.

— Пусть едет, благослови ее Мать!— ответила старуха и замолчала, закрыла глаз, как будто заснула.

Тута понял, что свидание окончено. Хотел поцеловать у нее руку, но не решился: змеи кишели отвратительно. Низко поклонился и вышел.

Вышли и все остальные по знаку великой жрицы. Осталась только Дио.

— Поди сюда,— позвала ее мать Акакалла.— Что у тебя на сердце, доченька? Отчего невесела?

— Сама не знаю, матушка... Тяжко мне, страшно,— проговорила Дио и опустилась на колени.

— Ничего, порадеешь ужо, попляшешь,— легче будет.

Радения, пляски богу Адуну воскресшему с ночными хорами исступленных жриц-фиад совершались на Диктейской Горе каждый год, в конце лета.

— Матушка, позволь...— начала Дио и не кончила.

— Ну что, говори.

— Позволь не радеть.

— Отчего не хочешь?

— Не могу. Нечиста,— прошептала Дио и закрыла лицо руками.

— В чем?— спросила старуха.

Дио молчала.

Мать Акакалла тихонько отвела руки ее от лица, заглянула ей в глаза и молча указала пальцем на жертвенник. Дио побледнела и, так же молча, наклонила голову. Поняли друг друга без слов.

В этой самой пещере, на этом самом жертвеннике, лет десять назад, принесен был в жертву младенец Иол, сын Аридоэля, Диин брат. Остров постигли тогда великие бедствия: война, голод, мор, землетрясение. Ужасом обуянные люди не знали, чем утолить ярость богов. Мать и Сына забыли, помнили только Отца — Огнь поядающий, как будто и здесь, в Царстве Морей, в гро-

мах подземных, откликнулись небесные громы Синая: «Отдавай мне первенцев своих и будешь у Меня народом святым». Иола, сына своего, долго не хотела отдать Эфра, жена Аридоэля. В те дни плавал он в далеких морях Полунощных, и третий год ждала она его, терзаясь пыткой надежды и страха. «Сына не отдашь — мужа не увидишь: выбирай»,— сказала ей жрица-пророчица, и Эфра поверила — выбрала — отдала сына. А через немного дней, узнав, что муж погиб, удавилась.

— Простить не можешь? — спросила мать Акакалла.

— Не могу,— ответила Дио и, прижавшись лицом к голой, темной, сучьей груди старухи, заплакала детски-беспомощно.

— Разве можно простить? — прошептала сквозь слезы.

— Можно,— ответила жрица.— В уме — нельзя, а в безумии — можно. Да ты что спрашиваешь, будто не знаешь?

— Не знаю.

— Порадей — узнаешь!

— Радела, а вот не узнала...

— Не так, видно, радела, как надо.

— А как же надо?

— Дура! Дура! Дура!— закричала на нее старуха и так же, как давеча на Туту, затопала ногами в ярости. Сорвала колпак с головы; седые космы по лицу рассыпались; и судорожно, как будто задыхаясь, начала она срывать и отшвыривать змей.

— Ох, да ведь и я же дура старая, не лучше твоего! Нечестивица, безбожница окаянная, восемьдесят лет на свете прожила, а никому добра не сделала! Учила тебя, думала: вот помру — будет наследница, великая жрица. А ты не великая жрица, а мокрая курица, тьфу!

Дио слушала ее с жадностью: грубые слова утоляли боль нежнее ласк.

— А как же надо радеть? Скажи, как,— повторила с мольбою.

— А вот как,— заговорила старуха уже спокойно, как врач с больным.— Ума исступи — умудрись; себя потеряй — Его найди; из себя выйди — войди в Него; ослепни — увидь.

— А ты Его видела? — прошептала Дио.

— Одним глазком, одним глазком — в глазок попала искорка — оттого и окривела!

Вдруг все тучное тело ее заколыхалось, как студень, от тихого смеха.

— Глаз-то у человека, думаешь, сколько? Два? Нет, четыре. Два во лбу, а два в затылке. Эти ослепнут,

а те увидят. Теми, теми, теми смотри, а не этими! Тогда и увидишь — узнаешь — простишь!

Зашевелилась грузно. Дио помогла ей встать, подала костыли и, припадая на больные ноги, побрела старуха медленно не к выходу, как думала Дио, а к нижней пещере, Святому Святых. Спуск в нее огражден был каменною стеною с бронзовою дверцею. Мать Акакалла подошла к ней, открыла ее и сказала:

— Войди!

Но Дио не смела войти: знала, что под страхом смерти никто, кроме великой жрицы, не должен входить в эту дверь.

Старуха толкнула ее грубо в спину. Она вошла, но наклонила голову, опустила глаза, чтобы не видеть Святого Святых; видела только белый лес сталактитов и у самых ног своих высеченные в скале ступени. Старуха опять толкнула ее. Она сошла на первую ступень; потом — на вторую, третью. Ступени были круты и скользки. Ноги у нее дрожали так, что она боялась упасть. Остановилась.

— Подыми голову,— сказала старуха.— Да подыми же, подыми, дура, девка негодная, чтоб тебя!— закричала и ударила ее по голове костылем.

Дио подняла голову и зажмурила глаза.

— Смотри, смотри! Видишь?— спросила мать Акакалла, держа над ней факел так, чтобы осветить глубину пещеры. Дио ничего не ответила, только зажмурила глаза еще крепче. А старуха заговорила над ней таким изменившимся голосом, что Дио показалось, что это не она говорит, а кто-то другой, из нее.

— Помни, помни, помни, Дио, дочь Аридоэля, великая жрица Матери: не человека терзает, а в человеке терзается Бог; не человека убивает, а в человеке умирает Бог. Слава Отцу, Сыну и Матери!

«Увидеть — узнать — умереть? Пусть, только бы знать!»— подумала Дио и открыла глаза — увидела.

Слезы сталактитов капали, красные от света факелов, точно кровавые, и на дне пещеры чернела вода, как лужа черной крови, а над ней висел, на белой стене сталактитов, изваянный из черного мрамора четырехконечный Крест.

II

Тутанкамон с любопытством рассматривал маленькую, из горного хрусталя, чечевицу, резную печать, только что купленную для него художником Юти. Поднял

ее на свет, чтобы лучше рассмотреть тончайший рисунок.

— Прелесть, прелесть!— хотел сказать, но не сказал: рисунок был слишком странен.

На цветущем, шафранном лугу, тонкие, гибкие, как водоросли, девушки, в критских юбках-колоколах, многосборчатых, казавшихся на рисунке шершаво-колючими, как сухие репейники, с осиными станами и голыми острыми сосцами, плясали исступленную пляску, терзавшую тела их, как судорога смертной муки, упоения смертного.

— Отчего они без голов?— удивился Тута, вглядываясь в реявшие над ними россыпи точечек, звездочек вместо голов.

— А кто их знает, здешних мастеров! Сумасшедшие!— проворчал Юти и поморщился.

Знать не хотел, но чувствовал в безумии рисунка безумие пляски — головокружительный вихрь движения, скрывающий то, что движется: увековечить мгновенное, остановить летящее,— вот чего хотят эти беззаконники.

— Ну, а руки зачем подняли точно зовут кого-то?— опять спросил Тута.

— Мертвого бога зовут, колдуют,— ответил художник все так же нехотя.

— А что, и вправду здешние девушки колдуют так?

— Вправду. Скоро на Горе заколдуют.

— И бог им явится?

— Кто-то является, а как знать — кто? Мерзости такие делают, что и сказать нельзя.

— Любопытно, любопытно! Вот бы посмотреть!

Вошел Таму.

— А, железный купец! Еще не уехал?

— Собираюсь.

— Уж который раз! Какая тебя тут веревочка держит, а? Не влюблен ли?

— Влюблен. Ты все знаешь.

— Знаю и в кого. Сразу в двух. Обе девочки похожи на мальчиков: ты ведь любишь таких. Итана — блудница, а Дио — святая, ну да ведь это небольшая разница!

— Небольшая: как для голодного — мягкий хлеб или черствый,— усмехнулся Таму.

— А что ты такой желтый?— спросил Тута, вглядевшись в лицо его.— Рана зажила?

— Зажила.

— Ну, так это от печени.

— Должно быть... А это у тебя что?

— Видишь, камешек. Волшебный — в нем сила большая для вызывания мертвых.

Таму взял чечевицу, тоже поднял ее на свет и взглянул на рисунок.

— Прелюбопытно, а? Так на Горе колдуют здешние жрицы. Вот бы, говорю, посмотреть,— сказал Тута.

— А что ж, поедем на Гору, посмотрим, хочешь?

— Разве можно?

— Можно, если не боишься.

— Чего?

— Поймают — убьют: женщины не любят, чтобы мужчины видели, что они делают втайне.

— Да что ж они такое делают?

— Никто не знает, а, должно быть, не очень хорошее, если не хотят, чтобы люди знали.

— И наши будут там?— спросил Тута, все больше любопытствуя.

— Кто наши?

— Дио, Эойя.

— Будут.

— Да ведь они святые?

— Что из того? Ты сам говоришь, что между святой и блудницей небольшая разница,— рассмеялся Таму.

Начал говорить шутя, но не шутя кончил. «Любопытно!»— подумал и он, как Тута, и вдруг жадное желание пронзило сердце его, как укус скорпиона: еще раз поглядеть за «мальчиком и девочкой» — узнать, есть ли разница между святой и блудницей. Все чаще казалось ему единственным спасением — опозорить любовь свою, убить ее бесстыдством. «Одно из двух — убить любовь или себя. Да нет, проживу и подохну, как пес, а себя не убью!»— упивался он горчайшим из всех человеческих чувств — презрением к себе.

На следующий день Таму привел к Туте корабельного подрядчика Килика, плюгавого человечка с косыми, бегающими глазками. Тута узнал впоследствии, что Килик — негодяй отъявленный; но уже и тогда, глядя на него, вспоминал ходившие по городу слухи, будто бы железный купец якшается со всякою сволочью.

Килик взялся за хороший подарок устроить поездку их на Диктейскую гору. Поставлял на корабельные верфи пеньку, деготь, шерсть, скупая их по мелочам у пастухов и поселян на Горе. Один из них, пастух Гингр, обещал проводить их на место радений и спрятать так, чтобы они могли увидеть все.

— Будьте покойны, господа мои, не пожалеете, большое можете получить удовольствие!— повторял Килик.

— Какое же удовольствие? Говори толком, а то, может быть, и ездить не стоит,— допытывался Таму.

— Как же не стоит, помилуйте! Увидите, чего никто не видел,— все тайны женские...

Толком, однако, ничего не сказал, только подмигивал, ежился, усмехался таинственно и повторял:

— Большое можете получить удовольствие!

III

Дня через три поехали.

Килик проводил их до города Ликта, у подножия Горы; дальше ехать отказался наотрез и вдруг, получив подарок, куда-то пропал, как сквозь землю провалился: должно быть, чего-то испугался.

Туте это не понравилось. Впрочем, с дюжиной нубийцев-телохранителей, не страшным казалось ему и целое войско фиад. Когда перед самым отъездом Таммузадад спросил его: «Не боишься?»— он ответил ему с достоинством: «Я не трус, чтобы бояться женщин!»

В Ликте ожидал их старый козий пастух Гингр. Переночевав в городе, выехали рано поутру, чтобы миновать засветло трудный Бычий перевал.

Главная дорога шла на Инат, Пиранфу, Гортину и далее, на южную столицу Крита — Фэст. Но скоро свернули на глухие тропы, а потом и с них на голый камень диких круч.

Тута ехал сначала в носилках, но скоро должен был пересесть на мула. Сделал это с неудовольствием: египтяне верхом не ездили, считая непристойным сидеть раскорячившись на спине животного.

Таму шел рядом с Гингром и расспрашивал его о тайнах фиад:

— Что ж они на Горе делают?

— Пляшут, исступленные богом.

— А не вином?

— На что им вино? Ключевой воды хлебнут — пьянее вина; ветра ночного глотнут — и тоже пьянехоньки.

— Видел, как пляшут?

— Сколько раз!

— И сам с ними плясал?

— Нет, нашего брата к себе не пускают. А один пляшу по-ихнему: выберу себе полянку в лесу, где поглуше, чтобы не увидел кто, не засмеял,— и прыгаю, старый козел, пляшу во славу Адуна. Эх, хорошо!

— Кто же тебя научил?

— Ихняя же козочка: отбилась от стада, полюбила козлика. Сколько лет прошло, а забыть не могу.

— Хороша была?

— Не то что хороша, а на других женщин непохожа: тело фиады, как тело богини; после нее всякая, что вода после вина.

Таму взглянул на старика: белый, как лунь, огромный, косматый, в косматом козьем меху, напоминал он ему вавилонского богатыря, звере-бога Энгиду:

Жизни людей он не знает;
Скотьему богу подобен,
С козами в поле пасется,
Ходит со стадом на водопой.

— Чего же они хотят, зачем безумствуют? — продолжал Таму расспрашивать.

— А видел, сынок, как телка под оводом бесится? Жало божье в плоть человечью — жало оводиное: судорога вверх по спине, до темени, как укус скорпиона пронзающий; и бесится девка под богом, что телка под оводом.

Помолчал, улыбнулся, как будто вспомнил что-то веселое, и опять заговорил:

— Находит, находит на них, а и сами не знают что. Сидит девушка за прялкою, тихо, смирно, ни о чем, кроме шерсти да кудели не думает; вдруг слышит: зовет ее кто-то, далекий да ласковый, будто с того света возлюбленный. Вскочит, побежит — одна, другая, третья, и все зароятся, как пчелы над ульем. «На́ гору! На́ гору!» — кричат, бегут. От села к селу, от города к городу идет беснование жен, как поветрие.

— А что же дураки-мужчины смотрят? Зачем позволяют?

— Не позволишь — хуже будет: заскучают, руки на себя наложат, детей начнут убивать матери. Так-то три дочери Лама царя не покорились богу, не пошли радеть на Гору, и ума исступили, мяса человечьего взалкали, жребий кинули о детях своих, и та, на кого пал жребий, отдала сына богу, и растерзали они младенца и пожрали, как волчихи голодные... А о царе Пентее слышал? На Матерой Земле, полуночной, жил царь Пентей-Скорбный; не чтил бога, надругаться хотел над божьими тайнами; а фиады поймали его и растерзали; была среди них и мать его: сына не узнала, голову мертвого вздела на тирс и пошла с нею плясать... Нет, сынок, силен бог — с богом не поспоришь!

— А что, говорят, и здесь у вас, на Горе, терзают людей?

— Терзают. В позапрошлом году пастушка растерзали за то, что подглядывал. Бешеные — сами не знают, что

делают. Им все равно, кто ни попадись, человек или зверь: во всякой жертве — бог...

— Какой бог, не бог, а диавол!— возмутился Таму.

— А ты, сынок, черного слова не говори. Он — здесь, на Горе: услышит — беда будет.

— Кто здесь?

— Сам знаешь, кто.

— А ты его видел?

— Нет, если бы видел, жив не остался бы.

— Почему же ты знаешь, что он здесь?

Старик ничего не ответил и вдруг засмеялся ласково:

— Ах, дурачок, дурачок!

— Это ты меня дураком называешь?

— Тебя, родной.

— За что же?

— А за то, что не умеешь отличить бога от диавола.

— А ты умеешь?.

— Я-то? Хуже твоего — дурак старый. А есть кое-кто поумнее нас с тобою. Что слышал от них, то и говорю. Царь-то Пентей-Скорбный, думаешь, кто?

— Думаю, такой же человек, как я, не захотевший назвать диавола богом.

— Верно! И ты — Скорбный. Скорбен, потому что умен, да не мудр. Ну, а в тебе-то самом кто, в скорбном скорбит, в терзаемом терзается?

Таммузадад взглянул на него с удивлением.

— Не от себя говоришь?

— Не от себя.

— От кого же?

— Мать Акакаллу знаешь? «Великая, говорит, жертва — Сын: плоть его люди едят, кровь его пьют». Для того и терзают бога-жертву.

«Бога должно заклать»,— вспомнил Таму.

— Бог, людьми пожираемый: хороши люди, хорош и бог! — усмехнулся он своей тяжелой, точно каменной, усмешкой и отошел от старика. Тот посмотрел ему вслед и покачал головой, как будто пожалел Скорбного.

Бычий перевал миновали уже в сумерках, спустились на дно пропасти, перешли Козий Брод, бушующий горный поток, опять вскарабкались на гору, как мухи — на стену, и вышли на плоскогорье, голое, мертвое, как пустыня погибшего мира.

Наступила тихая, душная ночь с непрерывным блеском полыхающих зарниц.

— Будет гроза,— сказал Таму.

— Нет, пронесет: вон, Темя Адуново чисто,— указал Гингр на край плоскогорья, где в прорыве клубящихся

туч что-то голубело, искрилось при блеске зарниц, как исполинский сапфир: то были вечные снега и ледники Диктейской горы.

— Пляшут и там, на снежных полях,— вспомнил Гингр пляски фиад в день зимнего солнцеворота, рождества Адунова.— Раз едва не замерзли, бедненькие! Видел я, как под вьюгой плясали: тела посинели, полуголые; плющевые тирсы от мороза тонким хрусталем подернулись и звенели, точно стеклянные...

Хотел и не умел рассказать, как чудесно плясали фиады — реяли в лунной вьюге — лунные призраки.

Дорога сделалась ровнее. Тута пересел опять в носилки и пригласил к себе Таму.

— Узнал от старика что-нибудь?— спросил его.

— Узнал. Килик не врет: большое можем получить удовольствие.

— Какое же, какое?— залюбопытствовал Тута.

— Увидим, как человеческую жертву терзают и пожирают. Не веришь?

— Нет, не верю.

— Отчего же? Люди ведь только и делают, что убивают и пожирают друг друга. Надо быть волком или овцой: сам пожри, или тебя пожрут. Это в ненависти, это и в любви. «Сладкое яблочко, съесть тебя хочется!»— поют мальчики девочкам. Старая песенка, от начала мира одна: любить — убить — пожрать...

Говорил, как в бреду, весь дрожа от тихого смеха, как черное небо от белых зарниц.

— Первый мир погиб в водах потопа, а перед концом люди с ума сошли, убивали и пожирали друг друга в войне братоубийственной. Кажется, погибнет так же и мир второй...

— Ну, когда-то еще мир погибнет, а пока что — «сладкое яблочко, съесть тебя хочется» — недурная песенка!— рассмеялся и Тута.

— Недурная, если бы только знать, кто кого съест, ты ее, или она тебя.

— Нет, кроме шуток, что тебе старик сказал, могут нас съесть на Горе?

— Могут. Я-то, железный,— жесток для них, а ты — сладкое яблочко!

— Только бы хорошенькой девочке попасться на зубок, а не старой ведьме!— смеялся Тута, как кот, мурлыкал.

Оба замолчали и молча смотрели, как полыхают зарницы — перемигиваются, пересмеиваются огненные диаволы.

IV

Вдруг носилки остановились. Таму и Тута, высунувшись, увидели, что Гингр припал ухом к земле — слушает. Прислушались и они, но ничего не услышали.

Гингр велел потушить факелы, стреножить мулов, отвязать бубенцы и людям не шуметь.

— Дальше нельзя ехать,— сказал он.— Милости ваши со мной пешком пойдут, а прочие подождут здесь.

Тута заспорил было, не захотел расставаться с нубийцами, но проводник объявил решительно, что иначе шагу не сделает.

Пошли втроем: впереди — Гингр, держа в руке глухой фонарь так низко, что свет падал только там, где ступала нога; за ним — Таму, а за Таму — Тута. Шли в темноте, гуськом, как слепые, держась за руки.

Шагов через триста началась тропа, глухая, как звериный след в траве; зачернела на белом огне зарниц паутина ветвей; под ноги стали ложиться какие-то пуховые подушки, должно быть, моховые кочки; захлюпала под ногами вода, и запахло камфарно-пряною, болотною сыростью.

Гингр остановился и опять прислушался. Слабый, почти неуловимый, звук донесся до них; но, сколько ни напрягали слуха, не могли понять, что это: как будто большая муха билась о стекло, или ветер свистел в замочную скважину. Звук замер, и казалось, ничего не было — только кровь от тишины шумела в ушах.

Пошли дальше. Болото кончилось. На отлогом скате холма ноги заскользили по хвое, как по льду, и в лицо пахнуло дневным, непростывшим теплом смолистого бора.

Черная паутина ветвей разорвалась, и при блеске зарниц увидели они у самых ног своих голую стену скал и внизу поляну, окруженную, с одной стороны — скалами, а с другой — соснами, с двумя просеками, должно быть, руслами высохших потоков,— одною, прямо против них, идущею вверх, другою, направо,— вниз. Поляна, круглая, как площадка плясового круга, зеленела гладкой, точно садовой травкой с белыми звездами ромашек и лиловыми — колокольчиков.

У самой подошвы скалы, почти вплотную к ним, стояла сосна, такая высокая, что ветви ее раскинулись над скалой шатром.

Гингр, войдя в шатер, осветил фонарем доску, перекинутую от скалы к сосне; подал руку Туте, помог ему стать на доску и усадил на толстый, плоский сук, изогнутый так, что можно было сидеть на нем, как на стуле.

— Хорошо тебе?— спросил Гингр.

— Лучше не надо. Как в царском шатре, на ристалище,— восхитился Тута.

На другом суку, пониже, уселся Таму, а над ними обоими — Гингр. Он потушил фонарь, и чернота ветвей окутала их, смолисто-теплая.

Страшновато было Туте и любопытно, а Таммузададу — скучно, как будто он все уже знал заранее.

«У-у-у!»— точно волки провыли вдруг где-то далеко-далеко на небе.

— Что это? — спросил Тута. Никто ему не ответил.

Что-то было в этом звуке не звериное, но и не человеческое, такое страшное, что у Туты мороз пробежал по коже.

Провыли — умолкли, а потом опять — все ближе и ближе, все громче. Волки выли на небе, а под землей ревели быки. И волчий вой, и бычий рев сливались в шуме налетающей бури.

Вдруг между стволами сосен, на верхней просеке, полыхнуло красное зарево, посыпались искры от факелов, и заплясали черные тени в багровом дыму.

Волчьим воем выли трубы—раковины, бубны ревели бычьими ревами, флейты визжали неистовым визгом, и тяжкие гулы тимпанов раскатывались подземными громами.

Бурей неслись исступленные женщины, девушки, девочки и старые старухи: головы закинуты; змеи сплелись в живые венки; волосы по ветру; белая пена у рта; лица, точно в крови, в красном отблеске факелов. Дряхлые бабушки нянчили новорожденных ланят, а молодые матери кормили грудью волчат.

Скатились на поляну по просеке; заплясали, запели, и казалось, вся Гора с ними пляшет, поет:

Свист, визг, вой!
Мать из тучи грозовой
Факелом замашет;
Загремит громовый зык,
И взревет земля, как бык,
И, как бык, запляшет.
Клик, гик, рев!
По горам, по долам,
Сонмы жен, сонмы дев,
Мы бежим, ворожим:
К нам, к нам, к нам!
Кто бы ни был ты, Господь,—
Бык, Змей, Лев,—
Появись!
В плоть, в плоть, в плоть
Облекись!

Кругом по круглой поляне вился хоровод так воздушно-легко, что белые головки ромашек и лиловые — колокольчиков чуть склонялись под ним, как под веяньем призраков. Колесом вертелся круг большой, извне, а маленький — внутри, стоял, не двигаясь, как ось в колесе. Жрицы-фиады стеснились в нем так, что не видно было, что они делают: ноги не двигались, а руки шевелились, ходили проворно туда и сюда, как у чешущих гребнями шерсть.

«Что они делают?» — вглядывался Тута и все не мог понять. Вдруг показалось ему, что какое-то кровавое лохмотье между ними треплется; и с чувством дурноты закрыл он глаза, чтобы не видеть.

Тихо пели, и песнь звучала, как стон:

Господи, страждем,
Страждем, любя!
Алчем и жаждем,
Жаждем тебя!
Пусть никогда не узнаем,
Как не знаем теперь,
Бог ли нами терзаем,
Человек или зверь,—
Но свершится над нами
Божья тайна — любовь!
Рвите же тело зубами,
Пейте горячую кровь!

Вдруг хоровод остановился как вкопанный, и повалились все лицами на землю. Одна только жрица стала в средоточьи кругов, подняла руки к небу и воскликнула громким голосом:

— Приди! Приди! Приди!

И такая радость была в лице ее, как будто она уже видела Того, Кого звала.

«Кто это? Кто это?»— узнавал — не узнавал ее Таму, любимую — любящий. «Бесноватая! Девка под богом, что телка под оводом... Ну, что ж, и такую любишь?»— спросил он себя с надеждой и ответил с отчаянием: «Люблю».

Медленно зашевелился, зашуршал в ветвях, как медведь, лезущий к дуплу за медом. Услышав над собой испуганный шепот Гингра, только усмехнулся, и вцепившуюся в него кошачью лапку Тутину оттолкнул с грубостью. Нащупал под ногами сук покрепче и, держась руками за верхний — тот, на котором сидел,— привстал, сделал шаг, другой; раздвинул ветви и высунул голову. Лез на мед медведь и не боялся пчел.

Увидела? Нет, смотрит выше, в небо. Но опустит глаза — увидит. Опустила — не увидела, как ночная птица днем.

Сделал шаг еще, еще раздвинул ветви и высунулся весь на яркий свет факелов: «Да ну же, ну, гляди, сова слепая!»

Увидела. Гневом озарилось лицо ее, так же как тогда, под обрывом, у моря, когда просвистело над ним копье Бритóмартис Охотницы.

Подняла тирс. С сердцем, замиравшим от надежды, он ждал: бросит в него тирс, пальцем укажет, закричит: «Зверь!» и спустит фиад, как ловчиха спускает на зверя свору бешеных псиц: «Трави его, терзай!»

Но глаза их встретились, и он понял, что опять, как тогда, она сжалится,— простит. О, лучше бы выжгла глаза ему раскаленной головней, чем этим прощающим взором.

Опустила руку с тирсом на лежавшую у ног ее девочку. «А, сучка! — узнал Таму Эойю, когда подняла она голову.— Ну, помоги же хоть ты,— крикни же, крикни, как следует!»

Крикнуть хотела Эойя, но Дио зажала ей рот рукою.

Кроме них двоих, никто еще не видел его: как пали все давеча лицами нá землю, так и лежали, не двигаясь; знали, что здесь бог: увидеть Его — умереть.

Дио повернулась к Таму спиной и, указывая в противоположную сторону, крикнула:

— Ио, ио, Адун! За мной, сестры!

Все вскочили, ответили криком на крик:

— Ио, Адун!

И бросились бежать, куда указывал тирс,— по нижней просеке.

V

Не успел Таму опомниться, как поляна опустела, огни потухли, и опять сомкнулись над ними черная ночь; только белые зарницы полыхали — перемигивались, пересмеивались огненные диаволы.

«А Килик-то, подлец, соврал: большого удовольствия не получили,— усмехнулся он.— Врет и Гингр, старый козел, что бог на горе: никого здесь нет, ни бога, ни диавола!»

— Кто-то здесь! Кто-то здесь! Здесь, здесь, здесь!— вдруг зазвенело, затикало над самым ухом его, как чер-

вячки в сухом дереве старых домов, ночью, во время бессонницы, тикают.

«Это кровь шумит в ушах»,— подумал он и позвал:

— Эй, Гингр, Тутанкамон! Вы здесь?

Никто не ответил ему, и опять зазвенело, затикало:

— Здесь, здесь, здесь! Кто-то здесь! Кто-то здесь!

— Кто здесь?— крикнул он и, как будто ожидая ответа, прислушался.

Но звук умолк, наступила тишина мертвая, и вдруг такая тоска напала на него, что подумал: «Сделать бы петлю из пояса, да вот на этом суку, здесь, здесь, здесь — и повеситься!..»

Ухватился обеими руками за сук, вскарабкался, соскочил на скалу, скатился по скользкой хвое с холма, едва не увяз в болоте; долго блуждал, прыгая с кочки на кочку, продираясь в темноте сквозь чащу и треща сухими ветками, как бегущий зверь; выбрался, наконец, на опушку леса, увидел огонек вдали, там, где ожидали нубийцы-носильщики, и пошел на него.

Вдруг выскочило из лесу что-то огромное, косматое, как медведь, бегущий на задних лапах, сверху белое, снизу черное. Так показалось ему сначала, а потом, вглядевшись, при блеске зарниц, он увидел, что это Гингр с сидящим на спине его Тутою. Белою была льняная одежда Туты, а черным — козий мех Гингра.

Он бежал, скакал во весь опор, а Тута вцепился в него руками и ногами, бил его, пришпоривал, как бешеный всадник — коня.

— Скорей! Скорей! Скорей! Гонятся, слышишь? Матерь Изида благая, отец Амон-Атон, помилуй нас!

Маленький, щуплый египтянин казался великану Гингру немногим тяжелее котенка, но, полузадушенный, он храпел под ним, как загнанный конь. А будущий царь Египта сидел на нем ни жив, ни мертв. Так болел у Туты живот от страха, как будто никогда не страдал он запором. Целое полчище диаволиц, казалось ему, гонится за ними по пятам: вот-вот поймают — растерзают — съедят.

— Стой, погоди, не бойся! Это я, Таммузадад!— крикнул им вдогонку Таму, но Гингр, услышав за собой крик, пустился бежать еще скорее.

Только у костра нубийцев догнал их Таму.

— А, купец!— пролепетал Тута, выпучив на него глаза от удивления.— А я было думал, что тебя...

— Думал, что съели меня?— кончил Таму и, взглянув на него, рассмеялся так, как будто получил-таки большое удовольствие.

В диком лесном логе, где глубокие мхи между корнями дремучих дубов постланы были, как мягкие ложа, фиады остановили свой бег.

— Здесь переночуем, сестры! Стройте кущи, зажигайте костры!— сказала Дио и, когда они разбежались по лесу за хворостом и ветками для кущ, она, потихоньку от всех, зашла в такую дичь и глушь, где никто не мог ее найти, упала лицом в траву и зарылась в нее с головой, спряталась, как прячется в нору свою издыхающий зверь.

— Таму, брат мой, что ты сделал!— прошептала опять, как тогда, под обрывом, у моря.

Вспомнила, как он усмехнулся давеча, стоя на дереве, когда глаза их встретились. «Тот, Кого ты зовешь, никогда не придет; а если б и пришел, горе живущим в мире, потому что это не Бог, а диавол!»— вот что было в этой усмешке.

«Сам ты диавол, богоубийца!»— хотела она ответить и не могла. «Брата своего, Иола, забыла?»— пронеслось над ней тихим стоном. Вспомнила, как в Диктейской пещере, там, где крест и жертвенник жертв человеческих, мать Акакалла спросила ее: «Простить не можешь?» За нее ответил Таму — Таму за Иола, брат за брата восстал.

И еще вспомнила: отцы и матери, когда несут детей своих на жертвенник, завязывают их в мешки, как ягнят и козлят, чтобы не видеть их лиц — не сжалиться. Бился в таком мешке и брат Иол; а после заклания жертвы обезумевшая мать запела песенку:

Уж не мой ли ребеночек
Плачет в смертной тоске?
Нет, это только ягненочек
Блеет в темном мешке...

И как будто в ответ прозвучала у Дио в ушах другая песенка:

Да свершится над нами
Божья тайна — любовь!
Рвите же тело зубами,
Пейте горячую кровь!

Не липнут ли руки от крови? Не вкус ли крови на губах?

Вскочила, хотела бежать, но подкосились ноги, и упала с тихим стоном. Все закружилось в глазах ее, поплыл кровавый туман, и вспыхнул в нем ослепительно-белый, как солнце, огненный Крест.

МИНОТАВР

I

«Жертвы человеческой требует бог»,— думали Критяне, прислушиваясь к раздававшимся все чаще в последние дни гулам подземных громов.

Еще земля не тряслась, но вот-вот затрясется, запляшет, как бешеный бык. «Жертвы, жертвы!»— уже ревел под землей ревом голодным бог Бык, Минотавр.

Игры быков шли на Кносском ристалище. Много было раненых, но ни одного убитого. Люди знали: вмешиваться в поединок бога с человеком, ускорять заклание жертвы, запрещено святым уставом игр; жертву избрать и заклать должен сам бог. Но жадная похоть убийства уже томила сердца.

— Вон, вон, смотри, тот серый вздернет ее сейчас на рога! Ну же, ну, Мышоночек, серенький, бей!— говорила соседка Туты в царском шатре, супруга одного из первых критских сановников, Эранна, дочь Фраизоны. Тута подсел к ней, уйдя потихоньку с почетного места в сонме царских скопцов.

— О-о-о! Мимо, мимо опять!— застонала Эранна, как от боли, от неутоленной похоти.— Увалень глупый, медведь косолапый! Чуточку бы левый рог повыше,— и распорол бы ей живот, как ножом!

Сквозь опаловую розовость румян, белил, притираний искуснейших — «вечную молодость» — тоже одно из чудес хитрецов-дэдалов, проступали по всему лицу ее, а особенно около густонакрашенных, точно кровью намазанных губ, тонкие морщинки — «трещинки в стене побеленной», как смеялись над ней завистницы. Вельможно-породиста, жеманна, притворна, с виду как лед, холодна, целомудренна, а на самом деле тайная распутница, Эранна была, на Тутин вкус, прелестна.

Подсев к ней, он зашептал ей на ухо любезности и жадно заглядывал в низкий, до пояса, вырез платья из драгоценной ткани, двуличневой, зелено-лазурной, как морская вода, с золотым и серебряным шитьем — тонкими стеблями водорослей, завитками раковин и летучими рыбами. Вырез, как у всех критских женщин, обнажал сосцы. К невинной наготе египетской Тута привык, но здесь было иное.

О, эти два яблочка — «сладкое яблочко, съесть тебя

хочется!»— два сосца неувядаемых у сорокалетней женщины, как у шестнадцатилетней девочки,— два острых кончика, смугло-розовых, тоже подкрашенных, и на каждом рдяная точка румян, капелька крови на острие ножа!

«Чтобы груди от родов не портились, вытравляют плод»,— вспомнил Тута еще одну хитрость хитрецов-дэдалов.

Эранна, видя, что не скоро будет то, о чем она томилась, отвернулась от ристалища со скукою, заметила Тутин жадный взгляд, услышала страстный шепот и улыбнулась ему:

— Что ты все шепчешь?

— Песенку.

— Какую?

— А вот, слушай.

Говорили по-египетски: она хорошо знала этот язык, модный при здешнем дворе.

Тута подсел ближе и зашептал ей на ухо:

Быть бы мне черной рабыней, ее раздевающей,—
Всю наготу сестры моей увидел бы я!
Быть бы рабом, одежды ей моющим,—
Надышался бы я благовоньями тела ее!
Быть бы мне перстнем на пальце сестры моей,—
Вечно б носила она, берегла бы меня!
Быть бы мне миртовой вязью на груди ее,—
Зацеловал бы я сосцы моей возлюбленной!

— Хороша песенка?— спросил он.

— Недурна.

— А есть другая, еще лучше.

— Ну-ка, скажи.

Он опять зашептал:

Мой царь, мой брат, мой бог!
Как сладко мне в воду с тобою сходить,
К распускающимся лотосам!
Как сладко с тобою купаться вдвоем,
Наготу мою тебе показывать
Сквозь льняную ткань, прозрачную,
Благовоньями облитую!

И, нагнувшись к вырезу, вдохнул запах мускуса, мирры, туберозы мучительной, и чего-то еще сладкого, страшного, как бы женского тела-тлена. «Ужо провалитесь все в преисподнюю!»— почудилось ему в этом смраде благоухающем.

— Какое это благовонье у сестры моей?— полюбопытствовал.

— А разве у вас нет такого в Египте? Весь Мемфис, говорят, как склянка с благовоньями.

— Такого нет, такого нет нигде!— прошептал он.— Оно, как ты... пьяное.

Чуть не сказал: «распутное». А если б и сказал, может быть, не обидел бы.

— Благодарю за любезность!— рассмеялась Эранна.— А господин мой пьяных любит? Знаю, знаю, зачем ездил на Гору, за кем подглядывал!— пригрозила ему пальчиком.

«Уж не знает ли, как на плечах Гингра скакал?»— смутился Тута и переменил разговор.

— Есть у нас в Египте, на стенах святилищ, изображения: богиня любви, Изида-Гатор кормит грудью царя, прекрасного отрока; как младенец ко груди матери, он припадает к сосцам божественным...

— Ну, и что же?— усмехнулась она лукаво...

— Грудь у сестры моей, как у богини любви...

— Ну, и что же?— повторила и усмехнулась еще лукавее.

Молча скосил он глаза на вырез, как кот на сливки.

— Чудаки вы, египтяне!— засмеялась Эранна.

— Почему чудаки?

— Да уж очень запасливы: гробы себе, домы вечные строите загодя и чего туда ни кладете, чтоб на том свете не соскучиться: книжечки с любовными сказками и такие картинки, что и сказать нельзя... Ведь правда?

— Правда.

— И ты положишь?

— Как все, так и я.

— А хочешь, я дам тебе моего благовонья? Положишь в гроб и его — вспомнишь обо мне на том свете... Знаешь, как оно называется?

— Как?

Она прошептала ему на ухо такую непристойность, что он покраснел бы, если бы поклонник богини Гатор мог краснеть от чего-нибудь.

Обернулась к черной рабыне, тринадцатилетней девочке, державшей над ней зонтик-опахало с тканым узором лучистых кругов, суженных внутрь, тускло-коричневых по желтому полю, как бы огромный увядающий подсолнечник. Зонтик опустился и скрыл их обоих. Эранна заглянула Туте прямо в глаза и вдруг, как будто застыдившись, потупилась на вырез платья.

Тута понял — быстро наклонился и припал ко груди ее, как отрок-царь — к сосцам богини Гатор.

— Что ты, что ты? Увидят!— смеялась Эранна, но не противилась.

Черная рабыня, видя все, улыбалась им с невинным бесстыдством зверихи, и они не стыдились ее, как люди не стыдятся зверя.

Тута почувствовал на языке своем приторный вкус румян: рдяную точку — капельку крови с острия ножа — слизнул нечаянно.

Краток был миг блаженства: едва успел он оторваться от «сладкого яблочка», как зонтик опять поднялся.

— А просьбу мою не забыл?— спросила Эранна спокойно, деловито.

Просьба была о кулачном бойце в Кносском ристалище, любовнике ее, желавшем поступить на военную службу в Египте, в царские телохранители.

— Просьба госпожи моей — повеление: все уже исполнено,— ответил Тута.

По знаку Эранны зонтик опять опустился, и младенец припал ко груди матери.

Это понравилось Туте; честно, без обмана: заплатил — получил.

— Смотри, смотри!— заговорила она.— Бедненький Неночка, Пазифайин возлюбленный... Да что с ним сегодня? Прыгает, бесится как! У-у, страшный какой, божественный! Слава Адуну, вот когда начинается!

— А плясунья кто?— спросил Тута, не разглядев.

— Разве не видишь? Сама невеста бога Быка, Пазифайя — Эойя!

II

Эойя приехала в город накануне игр, чтобы повидать купца из Библоса, имевшего к ней предсмертное письмо Итобала.

Когда прочла, что отец простил и благословил ее, умирая,— точно гора свалилась с плеч ее. Обрадовалась так, что захотелось плясать, подумала: «Хорошо, что игры сегодня: так спляшу, как еще никогда!»

Об играх узнала в тот же день, за несколько часов. Дио, бывшую за городом, в своем уединенном доме, близ Гавани, известить успела бы, но не хотела: знала, что ей слишком тяжело сейчас выходить в толпу, плясать. С какою тяжестью в душе вернулась она с Горы, Эойя догадывалась: помнила, как усмехался, стоя на дереве, над пляскою фиад, тот бесстыдник, безбожник, диавол Таму.

В городе узнала она, что дня за три, в день игр, отмененных по болезни царя, схвачен был один из риста-

лищных бычников, пытавшийся опоить пьяным пойлом Пеночку. Тут же, на месте казнили его, по уставу игр: удавили на первой попавшейся веревке, как собаку, спаивать бога Быка считалось неслыханным злодейством. Все же имя Кинира, сына Уамарова, сообщника своего, он успел назвать перед смертью. Но никто ему не поверил: слишком почтенный старик был Кинир, чтобы участвовать в таком злодействе.

«Это он, Таму, диавол, ищет души моей»,— подумала Эойя, услышав имя Кинира. «А ведь так легко, пожалуй, не отступятся: раз не удалось — в другой раз может удасться. Надо бы осмотреть Пеночку»,— промелькнула мысль. Но странно-легко забыла об этом. «Легкий день сегодня: все хорошо будет. Так спляшу, как еще никогда!»

Выбежала на ристалище. Бык уже стоял на нем, один: всех остальных угнали, все плясуны и плясуньи ушли.

Увидев ее, пошел на нее медленно, уставив рога, взрывая пыль копытом, с мычанием глухо-прерывистым.

Она ждала его, не двигаясь; только искала глазами глаз его: знала, что для победы над зверем важнее всего человеческий взор.

Взор его уловила, но чуждый, мутный, как бы подернутый мертвой пленкой. Не он, не он, а кто-то другой глянул на нее из глаз его!

Бесится, бывало, всегда как будто притворно, только для зрителей, а на самом деле пляшет с ней ладно, мерно, под мерную музыку флейт. А теперь идет неуклюже, нелепо, шатаясь, как пьяный.

Подойдя почти вплотную, рванулся, ринулся на нее бешено. Ласточкой взлетела — перелетела она через рога его на спину. Легла, положила голову между рогов. Он поднял морду и дохнул на нее пьяным пойлом. Не испугалась. «Пусть пьян — укрощу и пьяного. Все хорошо будет. Так спляшу, как еще никогда!»— повторила, как заклинание.

Бык поднялся на дыбы, как будто хотел опрокинуться навзничь, чтобы раздавить ее всей своей тяжестью. Но уже соскочила с него и, прежде чем он успел повернуться к ней,— стояла на другом конце ристалища.

Вдруг, взглянув на толпу, увидела рядом с царским шатром, на почетной скамье, спереди, Кинира и Таму. «А, сучка, попалась! Ну, теперь уж конец — не отвертишься!»— прочла в глазах обоих. Но не испугалась: «Все хорошо будет — так спляшу, как еще...»

Острый, как острие ножа, кончик рога царапнул ее по плечу. Бык набежал на нее сзади, когда смотрела на Кинира и Таму. Успела бы отскочить, если бы дви-

жение зверя было осмысленно; но опять рванулся, шатнулся нелепо, как пьяный, и задел ее нечаянно.

Кончик рога только скользнул по плечу и содрал с него кожу. Но уже текла тонкой струйкой по телу кровь.

Кровь увидев, толпа заревела неистово:

— Режь! Режь! Режь!

Жертву зарезать — заклать молила бога Быка.

Царь Идомин высунул бычью морду, личину, из-за шатровых завес, замахал красным, как кровь, лоскутом, и флейты запели песнь закланий жертвенных.

— Режь!— вопила и Эранна вместе с толпою.

«Если погибнет Эойя, то и Дио — с нею»,— подумал Тута и привстал.

— Куда ты?— спросила Эранна.

— К царю.

— Зачем?

— Просить, чтоб пощадил Эойю.

— Не надо! Сиди, не пущу!— сказала она, схватила его за руку и опять усадила рядом с собой, почти грубо, насильственно.— Разве тебе здесь не хорошо?

Зонтик опустился и, слабея, пьянея от благоуханья женского тела-тлена, Тута припал ко груди богини Гатор. «Подло, подло!— думал он.— А ведь вот чем подлее, тем слаще...»

Эойя плясала, как еще никогда. Кровь струилась с плеча ее, но не чувствуя боли, взлетала — перелетала через быка легкой ласточкой.

Падали знойные сумерки. Мутно-белое небо нависло, как потолок. Душно было, как в бане, и в духоте задыхались два зверя — бык и толпа — от одной кровавой похоти.

Вспомнила Эойя, как однажды, в пустынном предместии Библоса, в сумерки, пьяный бродяга напал на нее, хотел осрамить. Спаслась тогда, но теперь уже не спасется. Два пьяных зверя — толпа и бык — шли на нее с одною похотью: осрамить — убить.

И еще вспомнила, как маленькие дети, жертвы Молоха, бьются в мешках; билась теперь и она в таком же мешке.

Вдруг сделалось жалко себя, и, вместе с жалостью, уколол сердце страх.

Бык шел на нее опять — уж который раз — вечно, казалось, шел и будет идти. Знала, что если она не отскочит сейчас, вздернет ее на рога. Но не могла пошевелиться, руки, ноги отнялись, как в страшном сне: вся отяжелела смертною тяжестью.

— Мать, помоги!— простонала, подняв глаза к небу.

Перед закатом по белому небу брызнула алая кровь,

как будто закалалась жертва и там. Эойя закрыла глаза.

Глухо загудели бубны, флейты завизжали пронзительно, и хор запел:

Радуйся, чистая Дева,
Брачное ложе готовь!
Ярость небесного гнева
Да отвращает любовь!
Лейся из белого чрева
Алая, алая кровь!
Чресла Телицы божественной
Бык покроет, любя.
Песней торжественной
Славим тебя,
Богом избранная,
Богу закланная,
Дева-Мать несказанная!

К Туте на плечо склонилась Эранна, бледная, как мертвая — цветок туберозы, женским телом-тленом благоухающий.

— Смотри, смотри, смотри! Он ее сейчас...— шептала задыхающимся шепотом.

Зонтик поднялся, и Тута увидел, что между рогами быка, так же как там, на Горе, между руками фиад, какое-то кровавое лохмотье треплется. И в бычьем реве услышал он гул подземных громов:

«Ужо́ провалитесь все в преисподнюю!»

III

— В Египет! В Египет!— повторяла Дио, глядя с плоской кровли дома на уходивший в море корабль.

Красногрудый, чернобокий, круто-изогнутый, как спина дельфина, с двумя на носу лазурными очами, чтобы высматривать в море свой путь, выплывал он из-за длинного мола Кносской гавани. Парус от безветрия повис, но двадцать пар весел сразу подымались, сразу опускались, влажно блестя, как плавники морского чудовища, и корабль шел на них быстро, влача за собой две голубоватые складки по белизне моря, почти такой же мглисто-опаловой, как небо.

Куда он идет, она не знала; но все корабли, казалось ей, идут в Египет. И, протянув к нему руки, повторяла:

— В Египет! В Египет!

Вспомнила древний вавилонский псалом: «Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Улетела бы я и успокоилась, далеко удалилась бы и оставалась бы в пустыне!»

Вспомнила также царя Утукса — Одиссея, вечного странника:

Сильно меня устремило в Египет желание сердца.
В длинновесельном плывя корабле, из очей потерял я
Крита широко-равнинного снежные горы и прибыл
Дней через пять к светлоструйному устью потока Египта.

Колыбельные песни Египта напевала ей Зенра кормилица; о чудесах Египта рассказывал отец Аридоэль,— часто ходили туда корабли его, нагруженные критским лесом и пурпуром. С детства казалась ей эта чужая земля родною, как будто она жила в ней когда-то в незапамятно-давние дни и все хотела в нее вернуться, тосковала о ней, как о родине. Глядя на осенние станицы журавлей, улетавшие на юг, протягивала к ним руки, так же как сейчас — к уходящему кораблю:

— В Египет! В Египет!

Знала и теперь, когда смертные ужасы напали на нее, что бежать от них надо в Египет, и что спасет ее только величайший из сынов человеческих, царь Египта, Ахенатон.

Маленькая, сморщенная, как сморчок, старушка, под огромным, черным париком, точно гриб под шапкой, взошла на кровлю по наружной лестнице дома.

— А, Зенра, наконец-то!— воскликнула Дио.— Где же ты пропадала?

— Все по твоим же делам бегала; с ног сбилась, Туту искавши по городу.

Старушка подала ей письмо, с Тутиной печатью, Атоновым солнечным кругом.

— А где Эойя?— спросила Дио.

— В городе осталась.

— Зачем?

— Хочет повидать еще раз купца из Библоса, расспросить об отце.

— Что же он, умер?

— Умер.

— Не простил?

— Нет, слава Богу, простил. Обрадовалась, бедненькая, так что и сказать нельзя.

— Зачем же ты ее одну оставила в городе?

— Не пропадет, чай не маленькая! Завтра поутру вернется.

— А ты сама вернулась когда?

— На заре сегодня.

— Где же весь день была?

— В Гавани. Смотрела корабль, на котором поедем

в Египет. Ах, хорош корабль! Мачты кедровые, паруса тканые, рубка золоченая; сто гребцов — сто молодцов, все как на подбор. Дней через десять выедем и с ветром попутным в пять дней будем в Египте!

Вдруг захлопала в ладоши, закачала головой, так что тугие косички, некогда черные, но уже давно порыжевшие, рассыпались по лицу, парик съехал на сторону, и забелели под ним седые волосы; тихо-тихо, точно комар зажужжал, запела песенку:

Крокодил, крокодил,
Зарывайся в темный ил!
С богом Солнца вознoшусь,
Крокодила не боюсь!
Папарука-папарака,
Папарура-папара!

Этими колдовскими словами кончалась песенка, знакомая Дио с младенчества: под нее игрывал с ней братец Иол в деревянного, разевавшего пасть крокодила, египетскую игрушку, подаренную отцом. А после трех страшных смертей — Аридоэля, Иола и Эфры — старушка Зенра начала выпивать с горя и навеселе певала всегда эту крокодилью песенку.

— Там и напилась, на корабле? — спросила Дио.

— Зачем напиваться? Пьяница я, что ли? Только пригубила. Угостили земляки-корабельщики настоящим пивцом Амоновым. День-то, сегодня, помнишь, какой? Ну, вот и помянула покойничков!

Дио помнила, что сегодня — годовщина смерти отца: с Аридоэлем старушка помянула и двух других покойников — Иола и Эфру.

— Ну, ладно, няня, ступай, отдохни,— сказала она, без упрека, ласково.

А когда уже Зенра спускалась по лестнице, окликнула ее:

— Няня, а, няня, игры когда?

Зенра не расслышала: туга была на ухо. Дио подошла к лестнице, наклонилась и крикнула:

— Игры, игры когда?

— Игры?— ответила старушка.— Нет, об играх что-то не слышно. Даст Бог, раньше уедем. Ну их к Сэту-диаволу! Не игры, а душегубство окаянное!

Падали знойные сумерки. Мутно-белое небо нависло, как потолок. Вдруг, перед закатом, брызнула по небу кровь, как будто там, на небе, закололась жертва.

Тут же на кровле стояли два плясовых, из глянцевитой, белой кожи, башмачка Эойиных; подошвы у них натирались особым смолистым порошком, чтобы не сколь-

зили по гладкой шерсти бычьих спин. Перед отъездом в город Эойя вымыла их, выбелила и поставила сушиться на солнце.

Дио взглянула на них, подумала: «Да, хорошо бы раньше уехать, до игр...» И вдруг что-то прошло по сердцу ее, темное и быстрое, как тень от облака.

Распечатала письмо Туты, прочла, и сердце у нее забилось от радости: «Через десять дней — в Египет!»

Спустилась по деревянной, пристроенной снаружи дома лестнице. Дом из грубо отесанных камней, глины и бревен, узкий и высокий, в три жилья, с редкими окнами, напоминал крепостную башню.

Критские дома строились без очагов; плохо заменяли их угарные жаровни с углями. Купец Аридоэль, часто бывавший по торговым делам в Микенахе, Тиринее, Аргосе и других городах материковой земли, где люди Севера строили теплые дома с очагами, полюбил их уют и построил себе на Крите такой же дом.

Дио вошла в нижнюю, большую, под отдельною кровлею, палату очага, с четырьмя деревянными столбами и круглым, в закоптелом потолке, отверстием для дыма. Узкие, как щели, окна в дубовых, с мелким переплетом, рамах затянуты были прозрачной, из бычьего пузыря, пленкой, раскрашенной в яркие краски, так что свет дневной казался радужным.

На одной из стен была роспись: в священном саду голый отрок, похожий на девушку, с голубовато-серебристым, точно лунным телом, низко наклоняясь на бегу, рвал белые цветы шафрана, вьющиеся, как языки пламени.

В углу, на полках, было маленькое книгохранилище: свитки пальмовых листьев с критскими письменами, глиняные дощечки с вавилонской клинописью, египетские папирусы с иероглифами.

Одна дверь вела в сад, другая — в купальню с водопроводом; и еще две — в опочивальни, Эойину и Диину.

В углубленьи внутренней стены находилась крохотная часовенка с висячим бронзовым свечником — огненным венком неугасимых лампад — и крашеным глиняным плоским стенным изваянием, изображавшим видение Матери: на острой, как еловая шишка, горе стояла маленькая девочка в сборчатой юбке-колоколе, с обнаженными сосцами и жезлом в протянутой руке — Великая Матерь; у ног ее, по обеим сторонам горы, две исполинские, на дыбы поднявшиеся львицы; а перед нею — человек, закрывший от нее руками лицо, как от солнца.

Дио так же закрыла лицо руками, опустилась на колени и зашептала молитву.

Как бывало в детстве, молилась о хорошей погоде, о новой игрушке и знала наверное, что исполнится молитва, так и теперь. Человека ли терзает или в человеке терзается Бог, уже не думала: все это вдруг сделалось ненужным и нестрашным, как жалкая усмешка Таму, диавола.

Повторяла только два слова:

— Мать, помоги!

А потом уже без слов — только звук — зов ребенка к матери:

— Ма-ма-ма!

И молитва исполнилась: чьи-то сильные руки подняли ее, как ребенка подымают руки матери. В первый раз после Горы заплакала.

Медное изваяньице — Озирисова мумия, с лицом Ахенатона царя — стояло тут же, в часовенке. Дио взяла его в руки, поцеловала и вгляделась в лицо его с тем же чувством, как всегда: узнавала брата. «Кто это, кто это? А вот скоро узнаю кто!»— подумала радостно.

Выйдя из дому в сад, прошла по заглохшей тропе между двумя черными стенами кипарисов-великанов в самый дальний конец сада, к озерцу малому, круглому, с таким же круглым островком. Там, в черной тени кипарисов, бледнела гробница, алебастровый ковчег. Плакала плакучая ива над ней; слезы родника из мшистого камня капали; благоухал цвет смерти — нарцисс. В гробнице покоились трое — Аридоэль, Эфра, Иол.

Дио вошла на островок по мостику, вздула на медном треножнике угли и положила на них благовоний. Дым поднялся прямо в безветренном воздухе, и вспыхнувшее пламя осветило на стенках гробницы две росписи.

На одной Осьминог божественный, в хляби вод первичных, разверзал чрево свое — чрево рождающей Матери, и кишела, множилась рождаемая тварь в довременном иле. Ил превращался в водоросль; водоросль — в животное; животное водяное — в земное: рыба — в птицу, раковина — в бабочку, еж морской — в ежа полевого, но с еще не проросшими лапками, конь морской — в коня настоящего, но на задних ногах, еще не законченных, из ила волочащихся. Так, звено за звеном — тварь за тварью — цепь развитья развивалась, бесконечная.

А на другой росписи — последнее звено — Человек: мертвец, воскресающий выходил из гроба — чрева земли, как дитя — из чрева матери.

Так соединялись в общих росписях две тайны в одну: начало мира — с концом, творение — с воскресением.

— «Воскрес Адун из мертвых, радуйтесь!» — шептала Дио с тихим восторгом.

«Таму, брат мой, какое чудо больше — сотворить или воскресить?»— усмехнулась она как бы в ответ на усмешку Таму, диавола.

Вернулась домой, легла и заснула так сладко, как уже давно не спала.

IV

Проснулась не от звука, а оттого, что знала, что сейчас будет звук, и действительно, скрипнула дверь.

Вошла Зенра, держа лампаду в одной руке, а другой — заслоняя пламя от спящей. Остановилась в дверях, потом начала подходить медленно, как будто крадучись. Ладонь ее, заслонявшая пламя, дрожала так, что прыгали тени по стенам и потолку. На голове ее всклочились седые волосы, глаза горели, губы шевелились без звука.

«Что с ней? Пьяна? С ума сошла?»— подумала Дио и вдруг вспомнила, что такое же лицо было у Зенры в тот день, когда удавилась Эфра.

— Что ты, няня?..— вскрикнула, приподымаясь на постели.

— Ничего, доченька, ничего, родная, не бойся, Бог поможет! Вставай, одевайся, пойдем!..

— Куда? Зачем?

Дио вскочила на колени и выставила руки вперед с таким отвращением и ужасом, как будто шла на нее сама смерть.

Старушка опять начала подходить к ней молча, медленно, крадучись; опять губы ее зашевелились без звука.

— К Эойе, к Эойе пойдем!— простонала, наконец, глухо.

Но, странно, внезапности не было: как давеча, проснувшись, знала, что будет звук, так и теперь знала все, что будет; как будто не узнавала новое, а только вспоминала давнее: все это уж было когда-то; так было — так есть.

Молча подошла Зенра к постели и упала на колени. Дио, схватив ее обеими руками за плечи, вцепилась в них так, что разодрала ногтями льняную ткань рубахи.

— Да говори же, говори!

Зенра повалилась на пол, забилась головой о ножку кровати и завыла протяжным воем плакальщиц:

— Бык! Бык! Бык!

— Убил?— спросила Дио, но уже знала все — помнила.

— Убил! Убил! Убил!— выла Зенра.

— Где она?

— Здесь у ворот!

Дио вскочила с постели, накинула охотничью шкуру лани на плечи, золотисто-желтый, с серебряными пчелками, покров на голову и выбежала из дому в сад.

Тою же тропинкою, как давеча, между двумя черными стенами кипарисов-великанов пробежала мимо озерца с островком, где бледнела гробница трех.

Споткнувшись о корень дерева, едва не упала. В глазах потемнело, земля закачалась, как палуба. Но усилием воли одолела находившую тьму беспамятства.

Услышала плач похоронных флейт. И опять — все это уж было когда-то; так было — так есть.

Добежала до ворот, открыла калитку и вышла на большую дорогу из Гавани в город. Здесь остановилось похоронное шествие. Жрицы бога Быка держали на плечах гробовое ложе-носилки. Пылали погребальные факелы; плыл благовонный дым с курильниц. Плакали флейты, плакал хор:

Радуйся, чистая Дева,
Брачное ложе готовь!

Жрица Адуновых игр, мать Анаита, благообразная старица с умным и добрым лицом, подошла к Дио и проговорила молитвенно:

— Радуйся, Дио, жрица Великой Матери! Жертву, тобой уготованную, принял бог, да очистится чистою кровью земля, да спасется великое Царство Морей. Слава Отцу, Сыну и Матери!

И обняв ее и заплакав, прибавила тихо, просто:

— Ох, доченька, ох, светик мой, душу мою отдала бы я, чтобы утолить твою муку! Помни одно: велика скорбь твоя — велика и награда, великая жрица Матери, Акакаллы наследница... Хочешь проститься?

Дио молча наклонила голову.

По знаку Анаиты гробовое ложе поставили на землю и сняли с него покрывало лилового пурпура с золотым шитьем — двуострыми секирами, Лабрами, между бычьих рогов.

Мертвая лежала в белых одеждах, в белом венке из шафранных цветов, том самом уборе, в который убирала некогда Дио невесту Быка, Пазифайю — Всесветящую. Туго спеленутая пеленами смертных, свитая в мумийный свиток, чтобы придать искалеченному телу человеческий облик, напоминала она мертвую куклу.

Дио, став на колени, подняла с лица ее легкую дымку. На левом виске чернело пятнышко, лоб обвивала кро-

вавая ссадина — красный венчик под белым венком. Но лицо было почти нетронуто, светлое светом нездешним, нездешней чистотою чистое, детское, с детскими веснушками около глаз.

Дио смотрела на нее с раздирающею мукою жалости, но плакать не могла: слезы высыхали на сердце, как вода на раскаленном камне. С тихим стоном прильнула губами к холодным губам. О, если бы так умереть!

Кто-то взял ее под руки, хотел поднять, но она сама поднялась. Увидела, что смотрят на нее, и застыдилась; по мертвому, мертвее, чем у мертвой, лицу ее пробежала тень виноватой улыбки. Быстро опустила покров на лицо и, когда шествие тронулось дальше, пошла за ним твердым шагом.

V

Солнце уже всходило, когда поднялись к стене, сложенной из таких огромных каменных глыб, что они казались нагроможденными нечеловеческой силой, — святой ограде Матери. В стене были низкие ворота; на челе их — треугольный глыбе, целой скале — стояли на задних лапах две львицы, такие же, как в Дииной часовенке, и между ними каменный столп, древнейшее знаменье Матери — твердыня твердынь, держава держав, Мать Гора, соединяющая небо с землею.

Пройдя через ворота, поднялись по вырубленным в скале ступеням на высокий холм, далеко вдававшийся в море уступ Кэратийских гор.

Утро было ясное. Вчерашняя муть рассеялась. На западе, над рядами туманно-голубых вершин, реяла снежная Ида, розово-белая, девственно-чистая, как сама непорочная Дева-Мать. На севере, ветрено-мглистое, темно-фиолетовым огнем горящее море дымилось белыми дымами — пенами волн. А внизу, на великой Кносской равнине, в черно-зеленом кольце кипарисовых рощ белел, как только что выпавший снег или разостланные по полю холсты белильщиков, белокаменный город-дворец, жилище бога Быка, Лабиринт.

На плоском темени холма сложен был из грубо отесанных камней широкий и низкий жертвенник жертв человеческих. Над ним возвышался костер. На него положили тело Эойи.

Дио вздрогнула и отшатнулась, когда мать Анаита подала ей факел. Но потом взяла его и первая зажгла костер.

Флейты заплакали, хор запел:

Радуйся, чистая Дева,
Брачное ложе готовь!
Ярость небесного гнева
Да отвращает любовь!
К ложу Невесты божественной
Бог нисходит, любя.
Песней торжественной
Славим тебя,
Богом избранная,
Богом закланная
Дева-Мать несказанная!

Костер запылал, и в бушующем пламени мертвая кукла вдруг зашевелилась, как живая. Дио закрыла глаза, чтобы не видеть, а когда снова открыла их, все исчезло в пламени.

«Жертву, тобой уготованную, принял бог»,— вспомнила она слова Анаиты и подумала: «Да, кровь ее на мне, ее убила я!»

И так же, как тогда на Горе, все закружилось в глазах ее, поплыл кровавый туман, и вспыхнул в нем ослепительно-белый, как солнце, огненный Крест.

КРЕСТ

I

Вернувшись домой, Дио легла на ложе в палате очага, повернулась лицом к стене, укрылась с головой и пролежала так весь день. Зенра иногда входила в комнату на цыпочках, прислушивалась, не плачет ли; нет, лежала тихо, как мертвая.

Поздно вечером опять вошла и увидела, что она лежит на спине; глаза открыты, без взора, как у слепой; губы стиснуты; лицо, как в столбняке; часто дышит, «как рыба на песке»,— подумала Зенра. Окликнула ее и, не получив ответа, заплакала.

Дио трудно, медленно перевела на нее слепой взор, с усилием разжала губы и проговорила:

— Уйди!

— Ох, светик мой, сердце мое, не гони меня, старую!

Куда я от тебя пойду? Вместе поплачем — легче будет,— пролепетала Зенра.

Дио посмотрела на лицо ее, как на пустое место, и повторила:

— Уйди!

Вся съежившись, как прибитая собака, старушка молча вышла из комнаты.

Ночью Дио встала и пошла бродить по дому. Заглянула в часовенку, увидела изваяние Матери, вспомнила, как намедни молилась: «Мать, помоги!»— и подумала: «Хорошо помогла!»

Вдруг очнулась у стены: билась об нее головой долго, сама не понимая, что делает; наконец, поняла: глухо все в мире, как эта стена — сколько ни бейся, никто не ответит.

Зашла в Эойину спальню. Открыла платяную скрыню, вынула платье одно, другое: от них пахло все еще живою, как будто, уже покинув тело, душа оставалась в одежде.

На самом дне скрыни увидела два беленьких башмачка — те, что вчера стояли на крыше; должно быть, Зенра спрятала их, чтобы она не увидела. Судорога слез сдавила ей горло, но плакать не могла: слезы высыхали на сердце, как вода на раскаленном камне.

Вернулась на прежнее место, легла и опять задышала часто, как рыба на песке. Иногда впадала в забытье, но не могла уснуть: только что начинала засыпать, как, вся вздрогнув, точно от внезапного толчка, просыпалась.

Когда закрывала глаза, видела детские веснушки около мертвых глаз; видела, как мертвая кукла шевелится, точно живая, в бушующем пламени; белые клубы дыма розовеют в лучах восходящего солнца, точно наливаются теплою кровью бледные призраки, и кружится, пляшет легкая, с легким дымом, плясунья: «Так спляшу, как еще никогда!» И все входила в комнату Зенра, шла на нее, как смерть, шевелила губами, шептала: «К Эойе, к Эойе пойдем!»

Ночь тянулась бесконечно, а когда посерело круглое отверстие в потолке над очагом,— удивилась: только что был вечер, и вот уже опять светает. Пожалела ночи; в темноте было легче: как будто свет дневной резал не только глаза, но и все тело.

Няня начала что-то стряпать на очаге. Дио молча сделала ей знак рукою, чтоб перестала. Старушка вышла во двор и продолжала стряпать на жаровне. Принесла тыквенной каши, запеченной в горшке, и пшеничных пряженцев, два любимых блюда госпожи своей. Со вчераш-

него дня ничего не ела и не пила, кроме воды; от одной мысли об еде тошнило ее. Опять сделала знак, чтобы Зенра унесла блюда.

Старушка даже не заплакала, а только посмотрела на нее так, что она сжалилась над нею, сказала:

— Дай молока.

Зенра принесла кувшин с молоком и налила в чашку. Дио отхлебнула глоток и, увидев, что Зенра держит хлеб в руке, не смея подать, сама взяла его, отломила кусочек, положила в рот, пожевала и выплюнула: не могла проглотить.

Опять легла, повернулась лицом к стене и укрылась с головой.

День тянулся так же бесконечно, как ночь, и так же мгновенно погас: только что солнечный свет падал на стену радужным зайчиком сквозь разноцветную пленку рам, и вот уже опять засветились лампады в часовенке. Опять ночью бродила она, не находя себе места, и билась тихонько головой об стену.

Так прошло три дня. Все ничего не ела. Начинала слабеть. Голова тихо кружилась от слабости; тихо уносили ее, укачивали какие-то мягкие волны. Не укачают ли до смерти? Нет, знала, что не умрет, пока не сделает чего-то. «Что надо сделать, что надо сделать?»— повторяла с мукою, как будто забыла, хотела вспомнить и не могла.

Заходила мать Анаита. Что-то говорила, умное и доброе. Но она не понимала: слова не входили в сердце ее, как хлеб в горло. Поняла только, что мать Акакалла очень больна, может быть, скоро умрет, и она, Дио, будет великою жрицею. «Не великая жрица, а мокрая курица!»— вспомнила, и тень усмешки промелькнула, мертвая, по мертвому лицу.

Заходил и Тута. Говорил о скором отъезде в Египет; спросил ее, может ли она ехать с ним.

— Не знаю, может быть, и могу,— ответила так равнодушно, что сама удивилась; вспомнила, как намедни протягивала руки к кораблю, уходившему в море: теперь уже ехать в Египет незачем.

Когда Тута произнес имя Ахенатона, что-то в лице ее дрогнуло, но тотчас же опять застыло, умерло.

Тута ушел, опечаленный: предчувствовал, что Дио плясунья, жемчужина Царства Морей, чудесный дар царю Египта, потеряна.

В сумерки пришел Таму, постучался в дверь со двора. Открыла Зенра, но не впустила его, пошла сначала спросить, можно ли.

— Нельзя, нельзя! Не пускай! — вскрикнула Дио, как будто испугавшись. Но, когда уже Зенра выходила из комнаты, вернула ее:

— Постой, няня...

И, подумав, сказала:

— Пусть войдет.

Страшно ей было увидеть его после Горы; но сквозь страх смутно чудилось, что он ей нужен сейчас как никто: от него-то, может быть, и узнает, что надо сделать, чтобы умереть спокойно.

Таму вошел и, не здороваясь, молча, остановился поодаль. Дио тоже молчала. С Горы не виделись. Смотрели друг на друга пытливо, пристально.

— Здравствуй, Таму,— сказала она наконец.— Что же ты стоишь? Садись.

Он подошел и сел, выбрав из двух стульев тот, что подальше.

— Ну, говори, зачем пришел?

— Проститься. Завтра еду.

— Едешь, правда? Ведь уж в который раз!

— Да, все не мог. А теперь смогу.

— Почему теперь?

— Можно все говорить?

— Говори.

— Ты очень больна, Дио; больной всего не скажешь.

— Нет, говори все.

— И о ней можно?

— И о ней.

Поняла, что «о ней» — значит об Эойе.

Оба говорили как будто спокойно, и чем страшнее было то, о чем говорили, тем спокойнее; взвешивали каждое слово, чувствовали, что каждое может их спасти или погубить.

— Знаешь, кто убил Эойю?— спросил он, глядя ей прямо в глаза.

— Кто?

— Я. Не веришь?

— Нет.

— Посмотри мне в глаза. Разве так лгут?

Посмотрела, закрыла лицо руками, опустилась на ложе и лежала долго, тихо, как мертвая. Потом отвела руки от лица, привстала и спросила:

— Как ты ее?..— Не могла выговорить: «убил».

— Не я сам, а другие,— ответил он.

— Кто?

— Все равно. Кто-то спросил: «убить?» и я сказал: «убей». Значит убил.

— Кинир?— догадалась она.— Как же он это сделал?
— Подкупил бычников, чтобы опоили быка.
— Зачем ты ее?..— опять не договорила.
— Чтобы снять чару. Убийца сказал, что если Эойя умрет, чара снимется с тебя, и ты меня полюбишь.
— И ты поверил?
— Не знаю. Может быть, и поверил.
— А теперь?
— Теперь вижу, что вышло не так: не ты меня полюбила, а я тебя разлюбил. Но все равно, чара снята.
— А ты знал, что если ее убьешь, то и меня?
— Я об этом не думал. А если б и думал, надо было выбрать: себя убить или тебя. Я выбрал...
Остановился, взвесил и кончил:
— Выбрал тебя. Пойми же, Дио, я не для того пришел, чтобы просить прощенья. Я знаю, ты меня простить не можешь. Три раза прощала: в первый раз, в пещере, когда я хотел тебя осрамить; второй — на берегу, когда ты купалась с Эойей; и третий — на Горе, когда радела с фиадами. А четвертый — не простишь. Для того-то я и убил, чтобы не могла простить.
— Зачем же пришел?
— Чтобы ты знала все и не лгала. Если не любишь, ненавидь, но не прощай, не лги!
Дио ответила не сразу, как будто опять глубоко задумалась.
— Нет, Таму,— прошептала, наконец, чуть слышно,— ты меня не разлюбишь. Если б разлюбил, не пришел бы.
— Не знаю. Может быть, и не пришел бы,— тоже как будто задумался он.— Но вот завтра уеду и уже никогда не вернусь. Был мертв и ожил; погибал и спасся, как пес сидел на цепи и цепь разорвал. Свободен, свободен, свободен! И, если бы снова надо было убить, убил бы снова...
— Нет, Таму, мы никогда...— начала она опять, остановилась, тоже, как он, взвесила и кончила:
— Мы никогда не разлюбим друг друга!
Так невозможны, нелепы, похожи на «дважды два пять» были эти слова, что он не поверил ушам своим.
Смеркалось. Он уже почти не видел лица ее. Вдруг послышалось ему, что она тихонько плачет и шепчет:
— Таму, поди сюда!
Сама не знала, что с нею, как будто не она, а кто-то другой возопил из сердца ее: «Мать, помоги!» и вдруг чьи-то сильные руки протянулись к ней и подняли ее, как ребенка подымают руки матери. Развязался удушающий узел на горле — судорога плача без слез,— и слезы хлынули.

— Таму, поди сюда!

Он подошел.

— Наклонись. Еще, еще. Вот так...

Приподнялась, схватила обеими руками голову его и молча поцеловала в лоб. Когда отпустила его, он отошел, шатаясь, прислонился головой к одному из столбов очага и долго стоял так, не двигаясь. Потом вернулся к ней и спросил со своей всегдашней, тяжелой, точно каменной, усмешкой:

— Что это значит? «Тому, кто сделал зло тебе, плати добром» — так, что ли? — вспомнил слова бога Таммуза, начертанные на клинописной скрижали незапамятной древности.

— Так, брат мой, так! «Тому, кто сделал зло тебе, плати добром»,— повторила она с тихим восторгом и ужасом.— Кто это сказал?

Он вдруг перестал усмехаться, побледнел, сжал кулаки и поднял их над головой:

— Тот, из-за Кого мир погибает,— лжец, убийца, диавол, будь Он проклят.

— Таму, брат мой, зачем проклинаешь Того, Кого любишь?

— Его люблю?

— Его. А ты не знал?.. Погоди, скоро узнаешь...

Она опустилась на ложе, закрыла глаза и зашептала уже невнятно, как сквозь сон:

— Ну, ступай, а я отдохну. Очень устала... Завтра не уезжай, подожди. Если буду жива, скажу, что надо делать, а если умру, узнаешь сам... Подождешь?

Он ничего не ответил, неуклюже, медленно, грузно зашевелился, сгорбился, как под навалившейся тяжестью, и вышел из комнаты.

Лицо его было так страшно, что Зенра, увидев его, побежала узнать, что случилось. Заглянула в комнату к Дио, вошла на цыпочках, подкралась к ложу, наклонилась и увидела, что она глубоко спит.

Снилось ей, будто идет она с Таму глухой тропинкой в дремучем лесу на Иде горе, как в тот день, когда он спас ее от вепря. Сосны шумят, как море; падает мокрый снег хлопьями; розовеет цвет миндаля над снегом, в густеющих сумерках. «Бога заклать, бога заклать, вот что надо сделать!»— говорит ей Таму. А снежные хлопья падают; вьется вьюга, завивается в круги Лабиринта безысходного, и ревет в нем ревом голодным бог-зверь. «Зверя заклать, зверя заклать, вот что надо сделать!»— говорит уже не Таму, а кто-то другой. «Кто это? Кто это»? И вдруг узнала кто: царь Египта, Ахенатон.

Проснулась, но сон как будто продолжался наяву: услышала голодный рев зверя — гул подземных громов. Как от проезжавшей исполинской, нагруженной камнями, телеги, стены дома задрожали; висевший на стене медный щит зазвенел; два бронзовых кувшина, соприкасавшихся — сосуды возлияний в часовенке — задребезжали; столбы очага заскрипели; где-то посыпалась штукатурка с потолка; собака во дворе завыла, овцы в овчарне заблеяли; и ужасом черным чернота ночи пахнула ей в лицо.

Но не ужаснулась: с детства привыкла к этим подземным гулам; только привстала на ложе, обернулась к часовенке и прошептала:

— Всех детей твоих, Матерь, помилуй, спаси, сохрани!

Ждала, чем это кончится. Помнила, как помнили все кэратийцы, то, что было четыре века назад: тогда земля тряслась так, что люди думали, пришел конец мира: «Ужо провалитесь все в преисподнюю!»

«Конец или не конец?»— ждала она спокойно.

Снова проехала телега с камнями — прокатились гулы, но глуше, все глуше — и замерли. Наступила тишина. Петух где-то пропел: «еще не конец!»

Дио опять легла и заснула, так же глубоко, как давеча.

Солнце уже падало на стену радужным зайчиком, когда проснулась, еще больная, слабая, но уже другая: что-то изменилось в лице ее так, что Зенра, взглянув на нее, подумала: «будет жива!»

— Няня, молока, хлеба! Скорее! Ужасно есть хочется!

Выпила две чашки молока, съела два ломтика хлеба с волчьей жадностью. Знала по жреческому опыту, что после такого поста сразу есть много нельзя, надо сначала привыкнуть. Привыкала постепенно, увеличивая меру еды, от завтрака к полднику, от полдника к ужину. Няня стряпала блюдо за блюдом — кашки, запеканки, похлебки, взварцы, пряженцы; суетилась, бегала, ног под собой не слышала от радости, только рыже-черные косички парика мотались, как у пьяной, и жужжала крокодилья песенка: «Папарука—папарака!»

Дио выздоравливала с чудесною быстротою, как будто воскресала из мертвых. Но любовь старушки была проницательна: вглядываясь в нее, смутно чувствовала она что-то неладное. Какая-то темная тень пробегала иногда по лицу Дио; какая-то безумная мысль светилась в глазах.

«О чем она думает?»— хотела понять Зенра и не могла, только вещим страхом страшилась сама не зная чего.

«Зверя заклать, зверя заклать, вот что надо сделать!»— вспомнила Дио свой сон и слова Эойи: «Если Бог такой,

как думают люди, то это не Бог, а диавол!» Диавола с Богом спутали в узел так, что не распутаешь — надо рассечь. «Отец есть любовь»: не Сыну — людей, а людям Сына приносит в жертву Отец,— вот что надо сказать. Землю очистить от крови жертв человеческих, уготовать путь Тому, Кто идет,— вот что надо сделать.

Ахенатон пророк сказал, и Дио жрица сделает.

II

Кносское ристалище уснуло под чарой Луны, Пазифайи-Всеозаряющей.

Бычьим стойлом, теплотою навозною, пахло в дощатой келийке, темной и тесной, как гроб, той самой, где некогда Дио убирала в подвенечный убор Эойю, невесту бога Быка.

Лунный луч, падая сквозь узкое оконце-отдушину, повис белым лоскутом на черной дощатой стене, и в белом свете его огонек лампады краснел.

Дио, в плясовом наряде — остролопастном кожаном переднике, медно-кожаном поясе-валике, перетянувшем стан туго-натуго, в высоких, из белой кожи, ременчатых полусапожках, с верхней частью тела голою, сидя на полу, на корточках, точила жертвенный бронзовый нож, длинный и тонкий, как ивовый лист: так и назывались эти ножи «ивовыми листьями». Рукоять его, из черного агата, была в виде четырехконечного креста.

С тихим звоном — свистом змеиным, скользило лезвие туда и сюда, по влажно-темному точильному камню. Попробовала нож на коже передника: остер, как бритва, а ей все казался тупым. Продолжала точить.

Слабое мычание послышалось из-за дощатой перегородки. Встала, открыла окошечко, высунула голову, выставила руку с лампадою, осветила стойло и заглянула в него. Крепче пахнуло теплотою навозною, бычьим запахом, как бы дыханьем самого бога-зверя, Минотавра.

Бык, лежа на соломе, спал и прерывисто-глухо мычал во сне. Может быть, снились ему медвяно-злачные пастбища, ледяно-струйные воды на Иде горе, где некогда пасся он, так же как братья его, тяжело-тучные, огромнорогатые, чудовищно-прекрасные, первенцы творения, сыны Земли-Матери богоподобные.

В первый раз после убийства Эойи Дио увидела Пеночку. Зла на него не имела; понимала, что зверь невинен, а все-таки подумала: «вот на этих самых рогах трепалось тело ее кровавым лохмотьем».

Дрогнула рука, наклонилась лампада, и на спину быка капнула из горлышка капля горячего масла. Он проснулся, вскочил и повернул к ней голову. Часто, бывало, кормила его то ломтем ячменного хлеба, густо посыпанным солью, то медовой лепешкой. Он вспомнил, должно быть, об этом и теперь: подойдя к оконцу, протянул к ней морду, фыркнул, дохнул ей прямо в лицо теплым дыханьем и посмотрел прямо в глаза.

«Знает все, только не может сказать»,— вспомнила она слова Эойи. О, тот кроткий, все еще как в первый день творения, божественно-чистый взор животного! Не могла его вынести, захлопнула оконце и быстро, как будто позвал ее кто-то, оглянулась туда, где курился шафраном и ладаном маленький глиняный, с бычьими рогами, жертвенник, а за ним на побеленной стене виднелась роспись, нарочно-неискусная, по образцу незапамятно-древнему: так, может быть, еще дикие люди пещер рисовали, царапали острием кремня на костях носорогов и мамонтов.

Мать Земля, зверей Владычица. Личико детское, в виде сердечка или виноградного листика; широко распростертые руки, непомерно длинные, в знак вездесущей благости; вокруг нее — угольчатые крестики. Крестным знаменьем Мать осеняет всю тварь, земную, водяную, воздушную: птицы сидят на руках ее; звери ластятся к ногам; в складках ризы, как вода струящихся, плавает рыба; и под самую руку благословляющую подсунул голову бык — «Пеночка, Пеночка!»— подумала Дио — не лютый бог Бык, Минотавр, а кроткий Телец жертвенный, закланный от создания мира,— Сын.

«Что я делаю, что я делаю? На Кого точу нож?»— ужаснулась она. Но поздно: сила, сильнее ужаса, влекла ее, неодолимая. Как будто не сама она решала, а кто-то за нее, что надо делать.

Мерны, легки и тверды были все ее движения, ладны, как в пляске: «Так спляшу, как еще никогда!»

Вторые петухи пропели: менее часа оставалось до обхода ночной стражи; за это время надо было кончить все.

Быстро нагнулась, схватила нож с точильного камня и всунула его в ножны у пояса. Взяла два приготовленных факела и один из них зажгла об огонь лампады. Вышла из келийки в темный и узкий ход между бычьими стойлами; из него — в другой, из другого — в третий; ходы пересекались, путались, как в лабиринте. Нигде ни души, только в последнем на полу у двери спал мертвым сном пьяный сторож-старик. Половина сторожей и бычников перепилась за ужином: Дио подослала им кувшин вина, подмешанного сонным зельем.

Переступив через спящего, вошла в сени, широкие, низкие, на низких кипарисовых столбах. То самое чучело телицы, в котором провела когда-то ночь Эойя, невеста бога Быка, стояло здесь под серым чехлом, как привидение. Дио задвинула засовы на дверях, воткнула горящий факел в медный на стене крюк-подсвечник и с другим, незажженным, подошла к приставной деревянной лесенке на сеновалы и житницы, где хранились корм и солома для бычьих стойл. Взлезла по ней. Незажженный факел в руках ее обмотан был длинною, одним концом прикрепленною к нему веревкою. Размотав ее. свесила свободный конец вниз и всунула факел в ворох соломы. Сошла, убрала лесенку, спрятала в дальний угол под чучело телицы, и сняв горящий факел с крюка, подожгла им спущенный конец веревки.

Слабо пропитанная составом смолы, серы и других горючих веществ, веревка тлела, как трут. Такие зажигательные снаряды — хитрость дэдалов — употреблялись при осаде крепостей и в морских сражениях: по длине веревки можно было рассчитать с точностью время поджога.

Вспыхнет факел в соломе, начнется пожар на сеновалах и житницах, перекинется оттуда на другие деревянные части здания — потолки, стропила, столбы, лестницы,— и все великое Кносское ристалище, логово Зверя, истребится огнем.

Вышла из сеней на ристалищный круг. Голые плечи ее вздрогнули под свежестью ночи, уже осенней. В чистом, беззвездном небе полная луна горела почти ослепительно. Белый на круге, песок искрился голубыми искрами, как снег. Белые уступы скамей были пусты; только там, где в проходах чернели тени, казалось, теснились жадные зрители-призраки. Черным зевом сиял царский шатер, и высоко над ним блестела серебряная морда Быка.

Дио подошла к воротам в стойло Пеночки. Решетка на них была устроена так, что один человек мог поднять ее без труда, вертя колесо, на которое накручивалась медная цепь. Дио подняла решетку.

Бык выскочил из стойла, выбежал на середину круга, остановился и с тихим мычаньем, как бы вздохом любви, поднял морду к луне — Пазифайе-Всеозаряющей. С маленькой тонко очерченной головкой, с рогами исполинскими, гнутыми, как роги лиры, с обвислыми, на непомерно тучной шее, складками кожи, с тонкими, как бы точеными, ножками, с прозрачно-желтым карбункулом умного глаза, с белою, как белая пена морей, лунным серебром отливающей шерстью он был прекрасен, как

тот божественный Бык, что вышел из синего моря, с белою пеной ревущих валов,— Пазифайин возлюбленный.

Повернулся к Дио и медленно пошел на нее, уставив рога, как будто хотел забодать; но, подойдя, остановился и, когда она ухватилась за рога обеими руками, мотнул головою снизу вверх, как будто яростно, а на самом деле ласково, точно играючи, поднял ее, перекинул к себе на спину и понесся с нею, пляшущий, как бы гордясь прекрасною всадницей: так некогда несся по синему морю белый, как белая пена ревущих валов, бог Бык с богинею Европою.

Дио вынула нож из ножен, хотела ударить и не могла. Увидела крест на рукояти и вспомнила крестики Матери, благословляющей тварь. Опять, как будто не сама она, а кто-то за нее решил, что надо делать: не поднялась рука на зверя кроткого,— может быть, подымется на лютого.

Давеча бросила факел, и он продолжал гореть на песке, как рана, в лунно-белом теле ночи, красная. Соскочила с быка, подбежала к факелу, схватила его и, когда бык снова подошел к ней, сунула горящий сноп между рогов его так, что он зацепился за них. Бык отпрянул, заревел и замотал головою неистово, стряхивая огненный венец. Сразу не мог стряхнуть, только раздувал огонь; искры сыпались дождем, капали капли горящей смолы, пахла паленая шерсть. Наконец, стряхнул, взвился на дыбы и прянул на нее бешено: теперь уже не играл.

Дио отскочила. Мимо нее ударились в землю рога с такою силою, что вонзились глубоко, и зверь, упав на передние ноги, сам оглушенный ударом, сразу не мог поднять головы.

В то же мгновение Дио подскочила к нему сбоку, наступила коленом на загривок и воткнула нож между хребтом и левой лопаткой: метила в сердце.

Если бы мать, убивая в безумии дитя свое, вдруг, когда уже вонзился нож, опомнилась, то испытала бы то же, что Дио в тот миг.

С ревом глухим, похожим на человеческий стон, бык поднял голову, отшвырнул плясунью так, что она упала навзничь; вскочил, рванулся, зашатался и рухнул. Уткнув морду в песок, захрапел и забился, как подстреленная птица. Еще раз поднялся на передние ноги. Дио опять подбежала к нему, выдернула нож, стала на одно колено и вонзила лезвие в горло его так глубоко, что в мягкие складки кожи рука погрузилась с рукоятью ножа — крестом. Кровь брызнула в лицо ее. Отвернулась и закрыла глаза, чтобы не видеть.

Когда очнулась, увидела, что зверь лежит у ног ее, бездыханный, и клубы серого дыма, прорезаемые красным пламенем, валят из сеней ристалища. Вспыхнули завесы царского шатра, огненный столб взвился, полыхнуло багровое зарево по небу, и лицо луны побледнело.

Послышался рев священной трубы, тритоновой раковины — вестник тревоги, и по всему дворцу, Лабиринту, прокатились, как бычьи ревы, многоголосые отклики.

Тени, черные по белым уступам скамей, забегали, как муравьи. Люди метались в ужасе, били себя в грудь и в голову, рвали на себе волосы, рыдали и плакали:

— Айи Адун! Айи Адун!

Издали указывали пальцем на богоубийцу, но не смели к ней подойти. Иные спускались на круг ристалища, делали два-три шага вперед, но вдруг останавливались, поворачивались и бежали назад, с криком нездешнего ужаса:

— Ларан-Лаза! Ларан-Лаза!

Это было имя страшного беса-оборотня, мужеженского. Дио поняла, что бесом кажется она людям потому, что они не верят, чтобы человек мог совершить такое злодейство.

Наконец, подошла к ней, в сонме жриц, жрица-начальница игр, мать Анаита. Медную секиру, Лабру, держала она высоко над головой и произносила заклятие:

— Лабра святая — на силу нечистую! Откуда бы ты ни пришел — ни пришла, из огня, воды, земли или воздуха, сгинь, пропади окаянный — окаянная!

Заклинала для других, сама же знала, что перед нею человек, а не бес. Но и другие, видя, что Дио от Лабры не сгинула, тоже осмелели, подошли, обступили ее, грозя кулаками, ножами и палками:

— На костер, на костер окаянную!

Но по знаку жрицы затихли, отхлынули.

Мать Анаита, подойдя к ней, сказала:

— Что ты сделала, что ты сделала, безумная!

Но, вглядевшись в бледное, обрызганное кровью лицо ее, вдруг что-то поняла и замолчала. Молча взяла руку ее, крепко сжала в своей и, почувствовав липкость крови, не выпустила, сжала крепче. Умное и доброе лицо ее сморщилось, и, всхлипнув, она прошептала ей на ухо:

— Ох, горькая, горькая, что ты с собою сделала!.. За Эойю отомстить хотела?

— За нее и за всех,— ответила Дио спокойно: чем больше был ужас других, тем она спокойнее.

— Кровь человеческих жертв — мерзость пред Богом...— начала и не кончила; хотела сказать: «Отец есть любовь», но почувствовала, что пусто и глухо прозву-

чали бы эти слова. Только для того и умирала, чтоб их сказать, но вот онемела и знала, что умрет в немоте.

Мать Анаита, как будто угадывая мысль ее, покачала головой с безнадежностью:

— Разве поймут? Умрешь — и ничего не сделаешь!

— Пусть умру за Него!

— О ком говоришь?

— О Том, Кто придет.

— Кому должно прийти, уже пришел.

— Нет, придет.

— Он тебе и велел?

— Он.

Жрица посмотрела на Дио долго, пристально, и вдруг выпустила руку ее. Ничего не сказала, но Дио поняла без слов: «Смотри, не ошибись: если Он уже пришел,— праведна будет казнь твоя,— огонь костра».

— На костер, на костер! Истреби от земли такую, ибо ей не должно жить!— опять наступала толпа, грозя и бушуя.

Кто-то поусердствовал, сбегал в сторожку, принес пару медных, с цепями, наручников и подал их Анаите. Дио сама протянула к ним руки, и старица вложила их в наручники. Цепи зазвенели.

Дио подняла руки к небу, и в наступившей вдруг тишине, воскликнула громким голосом, с такою радостью в лице, как будто уже видела Того, Кого звала:

— Приди! Приди! Приди!

III

Дио ждала приговора. Никто не мог произнести его, кроме великой жрицы, Акакаллы, а та лежала тяжелобольная, почти при смерти, в святой обители Пчел на Горе.

Пчелы не знали, как сообщить ей страшную весть; но нельзя было скрыть. Когда она услышала о преступлении Дио, своей любимой дочери, нареченной наследницы,— думали, не выживет. Выжила, но лишилась языка, и половина тела отнялась.

Долго лежала, как мертвая; наконец, показала знаками, что хочет писать. Ей подали дощечку. Цепенеющей рукою что-то нацарапала.

Гонец отвез письмо к Дио. В нем было только два слова: «Прости — простит».

Дио поняла: «Прости Великой Матери кровь Иола, Эфры, Эойи, кровь всех человеческих жертв,— и Мать простит тебя, помилует».

На той же дощечке Дио написала ответ: «Не прощаю». И гонец отвез письмо обратно.

Мать Акакалла прочла ответ и написала под ним: «Сжечь».

Это было утром, а в ночь начала она отходить. Одна из Пчел, угадав по выражению лица ее и судорожным движениям пальцев, что умирающая хочет что-то еще написать, подсунула ей под руку дощечку и вложила в пальцы палочку. Но пальцы бессильно разжались, и палочка выпала.

К утру великая жрица скончалась. Тайну последней воли своей — может быть, прощение Дио — унесла она с собою в могилу.

Дио должны были сжечь на том самом холме, где дней десять перед тем сожжено было тело Эойи.

Вырубленная в толще скалы пещера-келийка, часовня Адунова, служила тюрьмою для жертв. Голые стены, низкие своды, толстая решетка в окне, ржавые засовы на дверях — все напоминало тюрьму. Но тут же было великолепное, как бы царское, ложе из пурпура, кресла из слоновой кости и черного дерева. Благовонный дым курильниц смешивался с росною свежестью живых лилий в чудесно расписанных сосудах. Яства и вина с царской трапезы, пышные наряды и уборы из драгоценных камней — все приносилось жертве, как жертва приносится Богу. И злою насмешкою казались ей ночные туфельки из павлиньих перьев; ониксовый ковчежек с пудрой вавилонских цариц и блудниц, толченым розовым жемчугом; ковчежек нефритовый с акацийным углем и амброю, египетским зубным порошком: уже за тысячу лет царь Хафу-Хеопс, строитель великой пирамиды, чистил им зубы.

Люди не знали, как угодить ей, чем унежить ее. Смотрели на нее с благоговением и ужасом, падая ниц, поклонялись ей, как Богу, ибо в всякой жертве заколаемой — закланный Бог.

Тяжко ей было это поклонение: как будто хоронили ее заживо, убивали душу прежде тела. Если бы оскорбляли, били, плевали в лицо, ей было бы легче.

Палачихами жертв человеческих не соглашались быть критские женщины. Должность эту исполняла фракиянка из полуночного племени Бэссов, поклонников лютого бога Загрея, Человекотерзателя. Клекот хищной птицы напоминало имя ее — Гла. Звали ее также Резунья — та, кто режет, заколает жертвы, и Рваные-Ноздри, потому что за какое-то ужасное злодейство еще там, на родине, палач вырвал ей щипцами ноздри до кости.

Гла была старуха старая, но крепкая. Волосы у нее были невиданного на юге соломенно-желтого цвета; глаза бледно-голубые, уныло-жадные, как у коршуна-стервятника; губы тонкие, сизые, мокрые, как земляные черви; страшно-курносое лицо напоминало мертвый череп.

Лето и зиму носила она фракийскую бассару, лисью шубу, с облезлою, кисло пахнущею мездрою, и в ножнах за кожаным поясом длинный и острый, как шило, кремневый жертвенный нож. Почти всегда была навеселе; напивалась не виноградным, а каким-то тоже неведомым, хлебным вином, белым, как вода, и жгучим, как огонь.

Говорили, будто бы особенно любит она резать маленьких детей и, если долго не бывает детских жертв, крадет младенцев и, перерезав им горло, сосет кровь.

Народ ненавидел ее так, что растерзал бы, если бы не охраняла ее стража великой жрицы, благоволившей к ней и считавшей ее верною служительницей Матери. Когда Дио однажды спросила мать Акакаллу, зачем терпит она эту гнусную тварь, та ответила ей:

— Не обижай Глы. Чистая лилия — дочь Земли Матери, но и смердящая падаль — ее же дочь. Земля родит — земля и тлит. Два слова у Матери: «Люблю — убью»; и два лица: одно, как солнце, а другое — Гла.

Дио ужаснулась этому кощунству, но тогда простила, подумала, что не понимает. Теперь поняла и уже не прощала.

Палачиха была и тюремщицей. В келью узницы могла она входить во всякое время дня и ночи.

Войдет потихоньку, остановится поодаль и смотрит на Дио молча, пристально, жадными, как бы влюбленными, глазами. Страшно-курносое лицо — мертвый череп — улыбается; в бледно-голубых глазах светится отвратительная ласковость; тонкие губы — земляные черви — шевелятся, шепчут что-то неслышным шепотом,— уж не те ли два слова: «Люблю — убью».

Бывали минуты, когда Дио казалось, что мать Анаита права: «Умрешь и ничего не сделаешь». Да, не сделав ничего, умирает. Узел, спутавший Бога с дьяволом, хотела рассечь и не смогла, только сама в нем запуталась: кого убила, Зверя или Бога, так и не знала и до конца не узнает.

Кому-то говорит: «Приди!» Но кто Он? Ни лица, ни образа, ни имени. И как придет, откуда, когда? Да и придет ли когда-нибудь? Где обетования пришествия Его? Не все ли есть, как было от начала мира, и не все ли будет, как есть, до конца?

И ужас леденил ей сердце: «Не придет!» — ужас безумья — с ума сойти — поверить, что Мать есть Гла.

IV

Радуйся, чистая Дева,
Брачное ложе готовь!
Ярость небесного гнева
Да отвращает любовь!—

пели жрицы Адуновы, провожая Дио на костер. Белые одежды, белый венок из шафранных цветов был теперь и на ней, как некогда на Эойе.

Узкой и темной, в толще скалы прорубленной лестницей вышли на широкую, наружную, всю залитую светом луны, ту, что вела от Львиных ворот к плоской вершине холма, где находился жертвенник жертв человеческих.

В чистом, беззвездном небе луна горела почти ослепительно. Облик горы Кэратийской, голубевший в лунном мгле, напоминал обращенное к небу лицо великана — бога Адуна — умершего. В черном кольце кипарисовых рощ голубовато белел белокаменный город-дворец, жилище бога Быка — Лабиринт. Лесом корабельных мачт, чащей снастей чернела внизу, у подножья холма. Кносская гавань, и до самого края небес искрился в море лунно-серебряный путь.

Жадно смотрела Дио на море, жадно вдыхала свежесть морской соли, слушала гул прибоя, и жалко ей было моря, неба, земли, солнца, которого уже никогда не увидит; жалко всей земной бедной жизни. Плакало в ней сердце обо всем, как плачет дитя, отнятое от груди матери.

Медленно всходило шествие по лестнице, в свете двойном, белом от луны и красном от факелов. Глухо волновалась черная жатва человеческих голов вне святой ограды — внутрь никого не пускали. Вдруг люди увидели шествие и закричали неистово:

— Радуйся! Радуйся!

С криком толпы сливались ревы труб, тритоновых раковин и визги флейт, и гулы тимпанов, и песня жриц:

Радуйся, чистая Дева,
Брачное ложе готовь!

На каменном жертвеннике с глубокой ямой внутри сложен был низкий костер из очень сухих и смолистых дров, сосновых, кедровых, кипарисовых, со множеством хвороста, пакли, войлока, пропитанных благовонными смолами и особым составом горючих веществ: стоило поджечь костер с любого конца, чтоб он сразу вспыхнул исполинским факелом.

Жрицы подвели жертву к костру и раздели ее донага. Потом принесли и положили на землю, у ног ее, большой,

из двух дубовых досок сколоченный крест. Палачиха подошла к ней и сказала:

— Ложись.

Дио стала на колени, но не знала, как лечь. Гла повалила ее навзничь, положила спиной на крест, протянула ноги, раскинула руки; привязала ступни к нижнему концу продольной доски, а кисти рук — к обоим концам доски поперечной; обмотала веревкою стан и, продев ее в четыре угла креста, завязала позади его крепким узлом.

Двенадцать жриц, по трое с каждого конца, подняли крест и положили его на костер.

«Так вот что значит Крест»,— подумала Дио.

Знала, что костер зажгут не сейчас, а только с первым лучом восходящего солнца. По луне и звездам рассчитала, что до восхода оставалось часа три.

Три часа — три вечности — раскалывалось сердце ее надвое, и не знала она, какая из двух половин настоящая. Как на исполинских качелях качалась, то взлетала, то падала и не знала, какой размах будет последним: «Придет — не придет?»

Ночь была свежая. Кто-то сжалился, накинул на ее голое тело козий мех. В тело впивались тугие веревки, резали, как ножи. Руки и ноги затекали. Кровь ударяла в виски. Голова кружилась, тошнило от противно-приторного запаха: жгли одуряющее курево, чтобы притупить муки жертвы.

Дио вспомнила, как давеча, на лестнице, одна из жриц шепнула ей на ухо: «Не бойся, живую не сожгут». Поняла тогда: прежде, чем сжечь, зарежут. И теперь подумала: «Страшно гореть живой в огне, но уж лучше это, чем нож Глы!»

Гла над ней реяла, как ворон над трупом. Страшно-курносое лицо — мертвый череп — улыбалось; в бледно-голубых глазах светилась гнусная ласковость; мокрые губы — земляные черви — шевелились — шептали: «Люблю — убью!» Кончик кремневого шила-ножа приставляла к самому сердцу ее, тихонько-тихонько колола и выступавшую капельку крови слизывала жадно языком.

Вскрикнув, Дио опомнилась. Никого не было; только лунное небо светило над нею, такое далекое, такое близкое, как еще никогда. Черный ужас безумья находил на нее: вот-вот сойдет с ума, поверит, что Мать есть Гла.

И опять на страшных качелях качалась, то взлетала, то падала: «Придет — не придет! Придет — не придет!»

Вдруг сорвалась, упала в кромешную тьму: «Нет, никогда, никогда, никогда не придет!» Но и оттуда, из тьмы кромешной, возопила: «Приди!»

И Он пришел.

Крест зашевелился под нею, приподнялся. Кто-то развязывал веревки на теле ее. Еще не видела кто, не смела открыть глаза. Вдруг открыла, увидела, вскрикнула:

—Таму!

V

Очнулась в Тутиных носилках. Узнала их по иероглифам и росписи: солнечный шар бога Атона с простертыми лучами-руками, благословляющими царя Египта, Ахенатона.

Носилки стояли на земле. Зенра кутала тело ее в золотисто-желтый, с серебряными пчелками, покров. Таму, наклонившись над нею, что-то говорил. Долго не могла понять что; наконец, поняла. Спросила:

— Ты спас меня, Таму?

— Нет, не я, а Он.

— Да, Он, и ты с Ним. Как же ты это сделал?

— Именем царя Ахенатона упросили мы с Тутой царя Идомина, чтоб он отменил приговор.

— Царя Идомина?— удивилась она, подумала и покачала головой.— Царь этого сделать не мог. Никто не мог, кроме великой жрицы...

— Великая жрица скончалась, а другой еще не избрали. Царь своею властью мог...

— Нет, не мог. Отчего ты не все говоришь? Я хочу знать все.

— Узнаешь потом, а сейчас надо спешить. Тута ждет в Гавани. Скорей на корабль, и в Египет!

— А ты? Что будет с тобой?— спросила она.

Он молчал. Она приподнялась, положила руки на плечи его, приблизила лицо к лицу, заглянула в глаза,— и вдруг все поняла.

Знала устав Горы: человеческую жертву нельзя иначе спасти, как отдав за нее другую,— тело за тело, душу за душу. Но сделать это не может ни мать, ни отец, ни брат, ни сестра, ни супруг, ни супруга, а только чужой человек, любящий так, что готов умереть за любимого. Вольная жертва любви — выше всех человеческих жертв — приятное благоухание Господу.

— Таму, брат мой, я знаю все: ты за меня умираешь!— прошептала она, не сводя с него глаз.

— Да, за тебя и за Него,— ответил он просто.— Помнишь, как я проклинал Его, а ты мне сказала: «Скоро узнаешь, что любишь Его»? Ну вот, и узнал.

— «Тому, кто сделал зло тебе, плати добром»,— повторила она с тихим восторгом и ужасом.

— Нет, Дио, ты мне зла не сделала. Благословенны муки любви твоей! Не я тебе плачу добром за зло, а ты — мне. Помнишь, когда я тебе сказал, что убил Эойю, ты мне ответила: «Мы никогда не разлюбим друг друга». О, дай же мне, дай умереть за тебя и за Него!

Он плакал. Вдруг улыбнулся сквозь слезы:

— Я, купец, считать умею, знаю, где прибыль. Лучше мне умереть, чем жить: жизнь разлучила нас — смерть соединит.

— Не могу, не могу, не могу!— стонала она, ломая руки.— Если мне жить — тебя убить, я не могу жить, не хочу!

— Не хочешь? Звала Его: «Приди!», а когда пришел — не хочешь принять?.. Дио, сестра моя, возлюбленная, разве ты не слышишь, что Он здесь, между нами, сейчас? Не я тебе говорю, а Он: так надо, чтоб Он пришел!

Снова послышались крики толпы. Давеча, когда снимали жертву с креста, разъяренная Гла выбежала за святую ограду, закричала в толпу, что отнимают жертву у бога, и взбунтовала народ.

Начальник стражи подбежал к нубийцам-носильщикам:

— Скорее, скорее, люди! В гавань и на корабль! Здесь оставаться ей дольше нельзя ни минуты.

Подошла и мать Анаита к Таму:

— Сын мой, твой час пришел. Жертвы требует Бог. Готов ли ты?

— Готов,— ответил Таму.

Нубийцы подняли носилки. Дио протянула руки к Таму. Он обнял ее, и она поцеловала его так, что потом, уже на костре, вспомнил он этот поцелуй и подумал: «Да, за него умереть стоит!»

Быстро удалялись носилки. Таму смотрел им вслед, а когда потерял их из виду, обернулся к Анаите и сказал:

— Пойдем!

Она возложила на него снятый с Дио белый венок из шафранных цветов и повела его на костер.

Он увидел у ног своих крест. Снимая одежды, нащупал на груди корналиновую дощечку-талисман с надписью: «Аб вад», поцеловал его, прошептал:

— Отец есть любовь!

И лег на Крест.

VI

Дио очнулась на корабле. Лежала в расписанной и раззолоченной, из сикоморового дерева, палубной рубке Тутанкамона. В брезжущем свете зари увидела на стенах ее ту же роспись, что в носилках: солнечный шар бога Атона, с лучами-руками, державшими пепельные крестики жизни, Анк и благословлявшими царя Ахенатона. В мыслях, смутных, как бред, она соединяла эти крестики с тем крестом, на котором лежала давеча, а теперь на него лег Таму.

Из-за длинного мола Кносской гавани выплывали в море один за другим, как лебединая стая, шесть кораблей: три египетских, два критских — почетная стража посла — и один, нагруженный грузом железа, Таммузададов,— предсмертный дар его царю Египта за спасение Дио.

Паруса повисли от безветрия. Но разом подымались, разом опускались весла, влажно блестя на заре, как плавники морского чудовища, и корабли шли на них быстро, влача за собою две голубоватых складки по белизне моря, почти такой же, как небо, опалово-розовой. В розовом небе, солнечно-белая, теплилась звезда любви. Его-Ее звезда, Отрока-Девы, Адуна-Ма. Ида-гора еще синела внизу, ночная, дремучая, а вверху уже розовела, снежная.

На краю неба и моря вспыхнул рдяный уголь, закруглился кругом огненным, брызнули лучи восходящего солнца, и звезда любви в них умерла.

Утренний ветер наполнил паруса, и густо-лиловые волны звучно под килем корабля зашумели, запенились.

Энгур, сын Нурдагана, овечий пастух, чью плачевную песнь об умершем боге Таммузе слушала некогда Дио, плыл с нею на одном корабле. Зенра взяла его с собою в память Таму.

Он слышал от Зенры о смерти господина своего, но как будто не понял, остался бесчувственным: так выжил из ума.

Вдруг сторожевой корабельщик с подзорной вышки на мачте крикнул:

— Жертва горит!

И указал на клубы дыма, восходившие к небу с вершины холма над Кносской гаванью, где находился жертвенник. Все смотрели туда.

Посмотрел и Тута, сокрушенно вздохнул и подумал: «Бедный купец! Какой был умный человек, а погиб ни за что!» И благопристойно закрыл глаза рукою, как будто заплакал. Но скоро утешился, вспомнив, что этою смертью спасена плясунья Дио, жемчужина Царства Морей — чудесный дар царю Египта.

Долго смотрел Энгур, не понимая. Вдруг понял и завыл страшным воем, как пес на покойника.

Дио услышала вой, вскочила, выглянула в окно рубки, увидела дым, и как будто нож Глы пронзил ей сердце. Но вспомнила: «Так надо, чтоб Он пришел»,— и притупился нож. Узнала так, как еще никогда, что Он придет.

Опытные критские мореходы предсказывали опасное плавание в наступающие дни равноденственных бурь. Но Тута уже не знал, что опаснее, земля или море: так был напуган подземными громами, а также пожаром Кносского ристалища. Пожар потушили скоро, но, вообразив спросонок, что весь дворец охвачен пламенем, он едва не выскочил из окна. А в последние дни прошел слух, что с севера идут на Царство Морей несметные полчища Ахеян, Данаев, Дарданцев, Илионян, Пелазгов и других полудиких племен; ведет их будто бы Сарпедомин, изгнанник, на царя Идомина, брат на брата. Вспомнилось Туте пророчество: «Придут из ночи Железные — и наступит железная ночь — конец всему!» Бедный Тута не знал, как унести ноги с проклятого Острова.

Царь Утукс-Одиссей плыл с Крита в Египет пять дней:

Плыли мы, с быстро-попутным, пронзительно-хладным Бореем,
По морю, точно по стремю, легко; и веселых и бодрых,
Мчали нас корабли, повинуясь кормилу и ветру.
Дней через пять к светлоструйному устью потока Египта
Прибыли мы.

Не таково было плавание Туты.

Только что обогнули крайний, северо-восточный мыс Острова, Бритомартис-Саммонион, как сшиблись два противных ветра, и началась буря.

Тутин корабль из крепчайшего дуба и кедра, двухмачтовый, круглобокий, легко-поворотный, с длинною спереди шпорою, рассекавшею волны, с пятьюдесятью отборными кефтийскими гребцами, выдерживал бурю лучше всех. Но Тута пал духом, так что уже не чаял спасения,

и давал обеты Атону-Амону, если только останется жив, никогда не пускаться в Очень-Зеленое.

Шесть дней не утихала буря, не видно было ни солнца, ни звезд, и пловцы не знали, куда несутся. Наконец, на седьмой — утихла, и показался берег Ханаана-Филистимии.

Зашли в гавань Гезер, но здесь пробыли недолго, потому что поблизости рыскали разбойничьи шайки Хабири. В те дни Иашуйя — Иисус Навин — уже перешел за Иордан и взял Урушалим, Град Божий.

Отплыв из Гезера, зашли в Аскалон, более надежную гавань, охраняемую египетским отрядом. Сюда же пришел и второй Тутин корабль, третий пропал без вести; два кефтийских, как узнал он впоследствии, прибиты были бурею к берегу Алашии-Кипра; а Таммузададов, с грузом железа,— разбился о подводные камни у Газельего Носа — Кармила.

В Аскалоне пробыли больше месяца, чинили корабли и ожидали попутного ветра.

Наступили, наконец, тихие предзимние дни Гальционовы, когда бог морей, Велхан, углаживает волны трезубцем, чтобы чайки могли высиживать птенцов своих в пловучих гнездах.

Отплыв из Аскалонской гавани, дня через три увидели Фарос. Как пелось в песне Одиссеевой:

На море широкошумном находится остров, лежащий
Против Египта; его именуют там жители Фарос.
Он от брегов на таком расстояньи, какое удобно
В день, с благовеющим ветром попутным, корабль пробегает.

Не заходя в пристань, прошли мимо, прямо на юг.

Был серенький денек. Накрапывал дождик. Тихие, теплые капли капали, как слезы. Море было гладко, как зеркало, и мутно-зелено, уже разбавлено пресными водами Нила.

Сидя на корме, на свертке канатов, Дио слушала пастушью свирель Энгура. На другом конце корабля играл он и пел плачевную песнь о боге Таммузе:

О Таммузе далеком плач подымается!
Матка-коза и козленок заколоты,
Матка-овца и ягненок заколоты.
О Сыне возлюбленном плач подымается!

Дио слушала, и тихие слезы текли по лицу ее, она сама не знала отчего, от грусти или от радости. Вспоминала всю свою жизнь, как сон, или как, может быть,

вспоминают жизнь свою умершие. Иол, Эфра, Эойя, Таму — сколько жертв! Зачем? Теперь уже знала, зачем: чтобы Он пришел. Мать Земля в муках родов — муках человеческих — рождает Бога.

Вдруг на самом краю неба, над Очень-Зеленым, зажелтела как будто освещенная солнцем желтая полоска земли.

Дио спросила кормчего:

— Что это?

Он ответил:

— Египет!



ИТАЛЬЯНСКИЕ НОВЕЛЛЫ

ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Флорентинские граждане старого рода Альмьери с незапамятных времен принадлежали к двум благородным цехам: одни чтили покровителя мясников св. Антония, другие имели на своем знамени изображение овцы и занимались шерстяным промыслом. Подобно предкам, к этим цехам принадлежали братья Джованни и Маттео Альмьери. Джованни торговал мясом на Старом Рынке — Mercato Vecchio. У Маттео была шерстобойная мельница вниз по течению Арно. Покупатели охотно заходили в мясную лавку Джованни не только потому, что здесь можно было найти свежие окорока, нежных молочных телят и жирных гусей, но и потому, что хозяина любили за веселый нрав и за острый язык. Никто не умел перекинуться такою меткою шуткой со случайным прохожим, соседом или покупателем, как мясник Альмьери, никто не говорил с такою свободою о всех делах подлинного мира — дипломатических ошибках Флорентинской Республики, намерениях турецкого султана, происках французского короля и о неожиданной, по-видимому беспричинной, беременности соседки-вдовы, которая в последнее время слишком часто повадилась ездить в монастырь к достойным братьям чертозианцам [1]. Впрочем, редко кто обижался на шутки мясника, и он приводил в свое оправдание старинную пословицу: «Шуткой добрый сосед не порочится, а язык на шутке как бритва точится».

Не таков был брат Маттео, шерстобой. Человек себе на уме, ласковый, всегда немного угрюмый и молчаливый, вел он дела свои лучше, чем беспечный и добродушный Джованни, и каждый год два корабля Маттео, нагруженные шерстяными товарами, отправлялись из Ливорнской гавани в Константинополь. Замыслы имел он высокие и честолюбивые, смотрел на торговлю, как на путь к должностям государственным, всю жизнь льнул к аристокра-

[1] Итальянизированное «картезианцы» (монашеский орден).

там, «жирному народу»— popolo grasso, как их называли во Флоренции, и питал надежду возвысить род Альмьери, быть может, предать имя его крылам бессмертной молвы. Часто убеждал Маттео младшего брата бросить мясную торговлю, как недостаточно для них почетную, и присоединить свои деньги к его, Маттео, собственному обороту. Но Джованни не соглашался, и хотя уважал и ценил «тихоню» брата за ум, втайне побаивался его и если не говорил, то думал: «Мягко стелет, жестко спать».

Однажды, в жаркий день, воротившись из лавки усталый, плотно по своему обыкновению поужинав и напившись холодного греческого вина, Джованни почувствовал себя дурно, слег, и с ним сделался удар, который был тем опаснее, что мясник имел тучное телосложение и короткую шею. В ту же ночь он отдал душу Богу, не успев приобщиться св. Таин и составить духовное завещание. Вдова мона Урсула, женщина скромная, добродетельная, но недалекого ума, доверила торговые дела мужа брату Маттео, умевшему ее обойти вкрадчивыми и тихими речами. Он убедил простодушную женщину в том, что покойный, благодаря легкомыслию, оставил свои счетные книги в беспорядке, умер накануне разорения, и что необходимо, если она желает спасти остаток имущества, прекратить торговлю и закрыть мясную лавку на Mercato Vecchio. Злые языки утверждали, будто бы этот «продувной тихоня» Маттео безбожно обманул вдову, чтобы, согласно своему давнему желанию, отвести всю воду из торгового оборота Джованни на колеса шерстобойных мельниц. Как бы то ни было, но с этого времени дела Маттео сильно пошли в гору, и он стал отправлять ежегодно из Ливорно в Константинополь уже не два, а целых пять или шесть кораблей, нагруженных превосходною тосканскою шерстью. Через несколько лет ему обещали выгодное и почетное место знаменосца Льняного Цеха — именитого флорентинского Arte di Lana. Вдове брата великодушно выдавал он небольшое ежемесячное вспомоществование, так что моне Урсуле приходилось жить, во многом себе отказывая и терпя лишения, тем более, что на руках ее осталось единственное и нежно любимое дитя, молодая дочь, по имени Джиневра, а в те времена во Флоренции таких женихов, которые не зарились бы на приданое, было столь же мало, как и теперь. Но благочестивая мона Урсула не падала духом, весьма усердно молилась святым Божьим угодникам, в особенности же св. Антонию, неустанному и горячему заступнику мясников как в сей жизни, так и в будущей, питала надежду, что Господь, защитник вдов и сирот, пошлет ее дочери-бесприданнице доброго и достойного мужа,

и имела тем больше права рассчитывать на это, что Джиневра отличалась редкою красотою.

Трудно было поверить, чтобы у этого толстого и неуклюжего балагура Джованни могла родиться дочь, одаренная такою нежною прелестью.

Джиневра всегда одевалась в простые и темные ткани; но сквозь вырез на груди ее виднелась в мелких сборках рубашка тонкого «ренского» полотна, и вокруг ее прелестной шеи, немного худощавой и длинной, как у всех флорентинских девушек, обвивалась жемчужная нить, на которой висела древняя камея из хризолита с изображением кентавра. Светлые бледно-золотистые волосы были покрыты кисеей, опускавшейся до середины лба, такою прозрачною, что можно было сквозь нее различить красивую прическу, состоявшую из множества тонко и тщательно заплетенных косичек, сложенных кругообразно или узорами, подобными то листьям винограда, то листьям папоротника. Бледное и кроткое лицо Джиневры было похоже на лицо той Мадонны, написанной Филиппо Липпи для флорентинской Бадии [1], Непорочной Девы, которая является в пустыне св. Бернарду и нежными, бледными, как воск церковных свечей, длинными пальцами перевертывает листы его книги. В детских губах, в спокойном печальном взоре, в высоко поднятых, едва очерченных бровях Джиневры было выражение той же непроницаемой для зла, бесконечной невинности. И хотя от нее веяло утренним холодом и свежестью монастырской лилии, вся она казалась непорочною, недолговечною, слишком тонкою и хрупкою, как бы не созданной для жизни. Когда по улицам Флоренции дочь мясника Альмьери шла в церковь, скромная, тихая, с опущенными глазами, с молитвенником в руках,— веселые юноши, спешившие на пир или охоту, останавливали коней, лица делались важными, шутки и смех умолкали, и почтительными взорами долго провожали они прекрасную Джиневру.

Дядя Маттео, слыша похвалы добродетелям племянницы, вознамерился выдать ее замуж за человека не первой молодости, но всеми уважаемого, имевшего связи с тогдашними правителями города Альбиццы, одного из секретарей Флорентинской Республики, мессера Франческо дельи Аголанти. Это был великий знаток латинского языка, излагавший канцелярские донесения и бумаги торжественным слогом Тита Ливия и Саллюстия [2], нрава несколько

[1] Аббатство (*итал.*— badia).

[2] Тит Ливий (59 г. до н. э.— 17 г. н. э.) и Саллюстий (86— ок. 35 г. до н. э.)— римские историки.

сурового и нелюдимого, но зато безукоризненно честного, напоминавший древнего римлянина; у него и лицо было похоже на лицо сенатора времен республики и одеваться он умел в длинное, со многими складками, платье флорентинских чиновников из темно-красного сукна, как в настоящую римскую тогу. Он так страстно любил древнюю письменность, что когда в Тоскане распространилась мода на греческий язык и в *studio* — тогдашнем университете — стал объяснять грамматику приезжий из Константинополя ученый византиец Эммануил Хризолорас, то мессер Аголанти не постыдился, несмотря на свой почтенный возраст, уже будучи секретарем Флорентинской Республики, сесть рядом с мальчиками на школьную скамью и начать с азбуки изучение греческого языка, в котором достиг немалых знаний, так что читал в подлиннике и «Органон» Аристотеля, и диалоги Платона. Словом, лучшей и более выгодной родни не мог себе представить хитрый шерстобой с честолюбивыми замыслами. Маттео обещал дать за своей племянницей хорошее приданое под условием, чтобы мессер Аголанти соединил свое имя и герб с именем и гербом Альмьери.

Наперекор, однако, всем этим многочисленным и явным достоинствам жениха своего, Джиневра долго противилась намерениям дяди, и свадьбу откладывали с года на год. Когда же Маттео потребовал скорого и решительного ответа, она объявила, что есть у нее другой жених, более любезный сердцу, и, к немалому изумлению, даже испугу благочестивой моны Урсулы, назвала ей имя мессера Антонио де Рондинелли. Это был молодой и довольно бедный ваятель, державший «боттегу» свою, или мастерскую, с немногими учениками в одном из тесных переулков, недалеко от Ponte Vecchio[1]. Антонио познакомился с Джиневрой в доме ее собственной матери: несколько месяцев назад попросил он позволения вылепить из воска голову молодой девушки, желая воспользоваться красотою Джиневры, знаменитою среди флорентинских ваятелей и художников, для резной иконы св. великомученицы Варвары, которая была ему заказана богатым монастырем в окрестностях города. Мона Урсула не могла отказать ваятелю в столь благочестивом деле, и во время работы художник полюбил свой прекрасный образец, как некогда Пигмалион Галатею[2]. Затем встречались они на городских праздни-

---

[1] Старый мост (*итал.*).

[2] Пигмалион — скульптор, царь Крита, полюбивший созданную им статую Галатеи. Афродита оживила статую, и Галатея стала женой Пигмалиона (*греч. миф.*).

ках и зимних посиделках, куда хозяева всегда были рады пригласить Джиневру, ибо она могла служить украшением всякого праздника.

Когда мона Урсула, робко и вежливо извинившись, попробовала сообщить дяде Маттео, что у Джиневры есть другой жених, любезный ее сердцу, и назвала мессера Антонио де Рондинелли, шерстобой, хотя втайне сильно разгневался, принял смиренный и ласковый вид и, обращаясь к моне Урсуле, так повел свою речь тихим голосом:

— Мадонна, если бы собственными ушами не слышал я того, что вы мне только что изволили сказать, никогда не поверил бы я, чтобы такая добродетельная и благоразумная женщина обратила какое-либо внимание на легкомысленную прихоть неопытного ребенка. Не знаю, как теперь, но в мое время молодые девушки и заикнуться не смели о выборе жениха, покорствуя во всем воле отца или попечителя. Подумайте, в самом деле, кто такой этот мессер Антонио, которого племянница моя почтила своим выбором? Неужели вам неизвестно, что скульпторами, живописцами, поэтами, актерами и уличными певцами делаются люди, которым ничего лучшего не остается, и которые не умеют заняться никаким более почетным и выгодным промыслом? Это народ самый легкомысленный и ненадежный, какой только можно встретить на белом свете: пьяницы, распутники, лентяи, безбожники, сквернословы, расточители своего собственного и чужого имущества. Что же касается мессера Антонио, конечно, вы должны были слышать о нем то, что все во Флоренции говорят, и что мне известно не менее, чем кому-либо другому, а потому только напомню вам об одном обычае этого юноши — о круглой корзине, которая висит у него в мастерской на шнурке, перекинутом через блок, так что один конец веревки привязан к корзине, другой к железному гвоздю, вбитому в стену. В эту корзину Антонио бросает, не считая, все деньги, какие заработает. И каждый, кто пожелает, будь то ученик, или знакомый, может прийти, опустить корзину на блоке, не спрашивая хозяина, взять столько, сколько нужно — медных, серебряных или золотых монет. Не думаете ли вы, мадонна, что я доверю мои деньги, приданое, обещанное вашей дочери, такому безумцу? Но это еще не все: известно ли вам, что мессер Антонио питает в мыслях своих гнусное, посеянное дьяволом безбожие эпикурейской философии, не ходит в церковь, смеется над святыми таинствами и не верит в Бога? Добрые люди рассказывают, что он более поклоняется мраморным обломкам мерзостных языческих идолов, соблазнительных богов и богинь, которых нынче стали откапывать из-под земли,

нежели благородным мощам и чудотворным иконам святых Божьих угодников. Также слышал я от других людей, достойных не меньшего доверия, что в своей боттеге по ночам вместе с учениками рассекает он человеческие трупы, купленные за немалую цену у больничных сторожей, для того чтобы, как он говорит, изучать анатомию, строение человеческого тела, нервы и мускулы, и таким образом усовершенствоваться в своем искусстве, а на самом деле для того, полагаю, чтобы угодить помощнику и советнику своему, исконному врагу нашего спасения, дьяволу, который наставляет его в искусстве черной магии. Ибо, уж конечно, не какими-либо иными средствами, а только чарами, колдовством и бесовским наваждением овладел этот еретик сердцем вашей невинной дочери.

Такими и подобными речами дядя Маттео устрашил мону Урсулу и убедил ее во всем, в чем ему было угодно. Когда мать объявила Джиневре, что дядя, в случае решительного отказа ее выйти замуж за мессера Франческо дельи Аголанти, отнимет у них ежемесячное содержание, и таким образом, ей, моне Урсуле, на старости лет грозит нищета, молодая девушка, полная несказанного горя, покорилась своей участи и выразила согласие исполнить волю дяди.

В этот год Флоренцию постигло великое бедствие, предсказанное многими астрологами на том основании, что в небесном знаке Скорпиона Сатурн чрезмерно приблизился к Марсу. Некоторые купцы, приехавшие с Востока, в больших тюках драгоценных индийских ковров привезли чумную заразу. Устроено было торжественное церковное шествие по улицам с пением жалобных *miserere* [1], с чудотворным образом Богоматери Импрунеты [2], предносимой клиром архиепископу. Стали издавать законы, воспрещающие свалку нечистот в городской черте, заражение вод Арно разлагающимися отбросами кожевенных заводов и скотобоен, принимать меры для отделения больных от здоровых. Под страхом денежной пени, тюремного заключения, в некоторых случаях и смертной казни, запрещено было оставлять в домах умерших в течение дня — до заката, в течение ночи — до восхода солнечного, хотя бы родственники утверждали, что смерть произошла не от чумы, а от какой-либо другой болезни. Город обходили дозором особые надсмотрщики, имевшие право во всякое время дня и ночи стучаться в двери, спрашивать, нет ли больных или мертвых, производить обыски. Всюду появлялись просмоленные страшные дроги, в дыму факелов, в сопровож-

---

[1] [Господи], помилуй (*лат.*).
[2] В терниях.

дении молчаливых людей в масках и черных одеждах, пропитанных дегтем, с длинными крюками, которыми они издалека, чтобы не заразиться, хватали чумные трупы, подымали и сваливали на дроги. Ходили слухи, что эти люди, которых народ называл «черными дьяволами», забирали не только мертвых, но и умирающих, для того, чтобы лишний раз не возвращаться на то же место. Зараза, начавшаяся в конце лета, продолжалась до поздней осени, и зимние холода, наступившие в тот год очень рано, не прекратили ее. Вот почему те из достаточных людей, которые не связаны были важными делами, спешили покинуть Флоренцию, удаляясь в загородные виллы, где воздух был чище и здоровее.

Дядя Маттео, боясь всевозможных случайностей и не рассчитывая на долгую покорность племянницы, торопил свадьбу под тем предлогом, что моне Урсуле с дочерью следует поскорее уехать из города, а мессер Франческо дельи Аголанти предлагает увезти Джиневру вместе с ее матерью, взяв отпуск тотчас же после свадьбы, в свою прелестную загородную виллу на склонах Монте Альбано.

Так желал мессер Маттео, так и было решено. Свадьбу назначили через несколько дней и скромно, без всякой пышности, как прилично было в столь печальные дни, совершили обряд. Под венцом Джиневра стояла бледная, как полотно, и лицо ее выражало страшное спокойствие. Но дядя надеялся, что эти девичьи прихоти как рукой снимет после свадьбы, и что мессер Франческо сумеет заслужить любовь молодой жены. Надеждам его не суждено было оправдаться: когда новобрачная, выйдя из церкви, вступила в дом своего мужа, с нею сделалось дурно, и она упала замертво. Сначала думали, что Джиневра в глубоком обмороке, стали приводить ее в чувство, но глаза не открывались, дыхание ослабевало, кожа на лице и на всем теле покрылась смертельною бледностью, члены похолодели, и когда, несколько часов спустя, позвали докторов (в то время их звали неохотно, опасаясь, чтобы не распространился слух, что в доме зараза), они приложили зеркало к бездыханным губам Джиневры и на нем не могли заметить влажного следа от дыхания, то все, пораженные невыразимою скорбью и состраданием, убедились в том, что это — не мнимая, а настоящая смерть. Соседи говорили, что Бог наказывает Альмьери за то, что они сыграли свадьбу в такое непозволительное время, и что молодая жена мессера Франческо, только что вернувшись из церкви после венчания, заболела чумою и умерла. Слухи эти могли распространяться тем легче, что родственники девушки, опасаясь посещения «черных дьяволов», до последней ми-

нуты скрывали от всех обморок и смерть Джиневры. Но к вечеру пришли надсмотрщики, которым соседи не преминули донести обо всем, что происходило в доме Альмьери, и стали требовать, чтобы родственники выдали тело Джиневры или немедленно его похоронили: когда же, после долгих переговоров, им дали хорошую взятку, они согласились, чтобы тело усопшей оставалось в доме мессера Франческо никак не долее, чем до вечера следующего дня.

Впрочем, в смерти Джиневры никто из родных уже не сомневался, кроме ее старой няни, на которую не обращали внимания, полагая, что она выжила из ума и заговаривается. Старуха с жалобными причитаниями молила не хоронить умершей, уверяя, что доктора ошибаются, что Джиневра не умерла, а спит, и утверждала, что, прикладывая руку к сердцу своей голубки, она «чует, как оно бьется слабо-слабо,— слабее, чем крыло ночной бабочки».

Прошел день, и так как молодая девушка не подавала признаков жизни, ее одели в саван, положили в гроб и отнесли в соборную церковь Санта-Рипарата. Склеп, сухой и просторный, выложенный гладкими тосканскими кирпичами, находился в углублении между двумя дверями церкви, на одном из так называемых кладбищенских двориков (avello), под тенью высоких кипарисов, среди усыпальниц благородных семейств Флоренции. За эту могилу, по мнению некоторых, слишком роскошную для дочери мясника, Маттео Альмьери заплатил большие деньги, взятые, впрочем, из приданого самой Джиневры. Отпевание совершили торжественно. Восковых свечей не жалели, и нищим роздано было на поминовение души усопшей по мере ячменной крупы и масла оливкового каждому на полсольди. Несмотря на холод и страх чумы, много народу собралось на похороны; некоторые, даже незнакомые, слыша горестный рассказ о смерти новобрачной, не могли удержаться от слез и повторяли нежный стих Петрарки:

Morte bella pareva nel suo bel viso.
Смерть казалась прекрасной на ее прекрасном лице.

Мессер Франческо произнес над гробом речь, с цитатами не только латинскими, но и греческими из Платона и Гомера, что было тогда новостью, и многим слушателям, даже не понимавшим по-гречески, нравилось.

Смятение произошло только в конце похорон, когда гроб вынесли из собора и поставили в склеп для последнего целования. Бледный человек в траурном шелковом плаще подошел к покойнице и, откинув кисейную дымку с лица ее, стал глядеть на него пристальным взором. Его попросили

отойти, заметив, что ему, «как чужому», непристойно подходить к усопшей ранее, чем с нею простятся родные. Когда бледный человек услышал, что его называют «чужим», а дядю Маттео и мессера Франческо «родными», он горько усмехнулся, поцеловал мертвую в уста, опустил дымку на лицо ее и отошел, не сказав ни слова. В толпе стали перешептываться, указывать на него, называя мессера Антонио де Рондинелли, возлюбленного Джиневры, из-за которого она умерла.

Наступили сумерки, и так как обряд похорон был кончен, толпа разошлась. Мона Урсула желала провести ночь у гроба, но этому воспротивился дядя Маттео, ибо она была так истощена горем, что опасались за ее жизнь.

В склепе остался только фра[1] Марьяно, доминиканец, который должен был читать молитвы над покойницей.

Прошло несколько часов; в тишине ночи раздавался мерный голос монаха и порою медленный, медный бой часов на колокольне, «кампанилле», Джотто. После полуночи фра Марьяно почувствовал жажду, вынул из кармана флягу треббианского и, закинув голову, отхлебнул несколько глотков с наслаждением, как вдруг почудился ему тихий вздох. Он внимательно прислушался; вздох повторился, и на этот раз ему показалось, что легкая кисея на лице покойной шевельнулась. Холод ужаса пробежал по спине его, но так как он был не новичок в этом деле и хорошо знал, что даже привычным людям ночью, наедине с мертвым телом, всякое мерещится, решил ни на что не обращать внимания, перекрестился и зычным голосом продолжал читать молитвы. Прошло еще несколько времени. Вдруг голос монаха оборвался, лицо вытянулось — он окаменел, вперив открытые глаза в лицо покойницы: теперь уже не вздох, а слабый стон вылетел из уст ее; фра Марьяно в этом более не сомневался, ибо видел, как медленно подымалась и опускалась грудь усопшей, колебля кисейный покров — она дышала. Крестясь, дрожа всеми членами, бросился он к двери и выскочил из склепа. Опомнившись на свежем воздухе и подумав опять, что ему померещилось, он прошептал несколько раз Ave Maria, вернулся к двери и заглянул в склеп; в то же мгновение крик ужаса вырвался из груди: мертвая сидела в гробу с открытыми глазами. Фра Марьяно пустился бежать без оглядки через кладбище, через площадь Баптистерия Сан-Джованни, по улице Рикасоли — только деревянные сандалии, «цокколи»

[1] Брат, монах (*итал.* fra, frate).

монаха стучали, отбивая дробь по обледенелой кирпичной мостовой.

Джиневра Альмьери, проснувшись от сна или обморока, подобного смерти, с недоумением оглядывала могилу. При мысли, что ее заживо похоронили, ужас овладел ею, она сделала отчаянное усилие, вылезла из гроба и, кутаясь в саван, вышла в дверь, отворенную монахом, на кладбище, потом на площадь перед собором. Сквозь быстрые, разорванные ветром облака падал свет луны, и в нем белела мраморная колокольня Джотто. Мысли Джиневры путались, голова кружилась: ей казалось, что колокольня вместе с нею уносится в лунные облака, и она не могла понять, живая она или мертвая, во сне ли все это происходит или наяву.

Не сознавая, куда идет, прошла она несколько пустынных улиц, увидела знакомый дом, остановилась, подошла к двери и постучала. Это был дом дяди Маттео.

Шерстобой, несмотря на поздний час, не ложился, ожидая нарочного с известием о двух торговых кораблях, возвращавшихся из Константинополя. Ходили слухи, что буря недалеко от Ливорнского побережья разбила множество фелук и больших флорентинских галер, так что дядя Маттео опасался, чтобы среди них не потерпели крушение и его корабли. За ночь успел он проголодаться и заказал своей служанке Ненче, рыжей красивой девушке с веснушками и зубами белыми, как молоко, жаренного на вертеле каплуна. Дядя Маттео жил старым холостяком, но всегда имел в доме молодых служанок. В эту ночь сидел он в кухне, у очага, так как в остальных комнатах было холодно. Ненча, зарумянившись, засучив рукава, вращала над ярким огнем вертел, и веселое пламя отражалось в блестящей глине чисто вымытых горшков и блюд, расставленных на полках.

— Ненча, слышишь? — произнес дядя, насторожившись.

— Ветер. Не пойду. Вы меня и так уж три раза гоняли.

— Какой там ветер? Стучат. Это нарочный. Ступай, отопри скорее.

Толстая Ненча стала лениво спускаться по крутой деревянной лестнице, а дядя Маттео сверху, подняв над головою фонарь, освещал ей путь.

— Кто там? — спросила служанка.

— Это я... я... Джиневра Альмьери, — ответил слабый голос из-за двери.

— Gesú! Gesú! [1] С нами крестная сила! — пролепетала

[1] Иисусе! Иисусе! (*итал.*)

Нenча; ноги у нее подкосились, и, чтобы не упасть, она должна была схватиться за лестничные перила. Мессер Маттео побледнел и чуть не выронил фонарь из рук.

— Ненча, Ненча, отопри скорее!— умоляла Джиневра.— Пусти погреться, мне холодно... Скажи дяде, что это я...

Служанка, несмотря на тучное телосложение, так взлетела по лестнице, что ступеньки затрещали под ее ногами.

— Вот вам и нарочный! Дождались — нечего сказать. Говорила я вам, мессер Маттео, ложитесь да спите, как все добрые христиане... Ай, ай, ай! Опять стучит, слышите — стонет бедная душенька, да как жалобно. Господи, спаси и помилуй нас грешных! Святой Лаврентий, моли Бога за нас!

— Послушай, Ненча,— произнес дядя нерешительно,— пойду-ка я, посмотрю что там такое. Как знать, может быть...

— Этого еще недоставало,— крикнула Ненча, всплеснув руками,— скажите, какой храбрец отыскался! Так я вас и пустила. Сами на тот свет захотели, что ли? Нечего шляться, сидите, пока с нами чего похуже не приключилось.

Достав с полки склянку святой воды, Ненча окропила ею наружную дверь дома, лестницу, кухню и самого мессера Маттео. Он уже более не спорил и покорился умной служанке, полагая, что она лучше знает, как должно обращаться с привидениями. И Ненча громким голосом произнесла заклинание:

— «Благословенная душа, ступай с Богом — мертвая к мертвым. Господь тебя да успокоит в селении праведных».

Джиневра, услышав, как ее назвали мертвою, поняла, что ей больше нечего ждать, встала с порога, на который опустилась в изнеможении, и поплелась далее искать себе приюта.

Едва двигая замерзшими ногами, дошла она до соседнего переулка, где находился дом ее мужа, мессера Франческо дельи Аголанти.

Секретарь флорентинской Синьории писал в это время длинное философическое послание на латинском языке своему другу в Милане, Муцио дельи Уберти, такому же, как он, поклоннику древних муз. Это был целый богословский трактат под заглавием «Рассуждение о бессмертии души по поводу смерти возлюбленной супруги моей Джиневры Альмьери». Мессер Франческо сравнивал учение Аристотеля с учением Платона, опровергая

мнение Фомы Аквината[1], утверждавшего. что философию Стагирита[2] можно согласовать с догмами католической церкви о рае, аде и чистилище; тогда как мессер Франческо доказывал многими ясными и остроумными силлогизмами, что отнюдь не учение Аристотеля, который был тайным скептиком и атеем, а учение великого почитателя богов — Платона, согласуется с христианскою верою.

Ровным пламенем горела медная лампада, привешенная над гладкою наклонною доскою уютного письменного поставца из точеного дерева, со многими выдвижными ящиками и отделениями для бумаги, чернил, перьев. Форма лампады изображала тритона, обнявшегося с океанидой, ибо во всех мелочах будничной жизни мессер Аголанти любил подражание изящным древним образцам. На драгоценном пергаменте старинного Тимея, нежном, как шелк, твердом, как слоновая кость, светилось золото заставок, изображавших пляску голых амуров или ангелов, с гирляндами райских цветов.

Мессер Франческо только что начал разбирать с богословской точки зрения учение о метампсихозе, или переселении душ, причем остроумно пошутил над пифагорейцами, которые, как известно, не едят бобов, утверждая, что в них заключены души предков,— когда послышался слабый стук в дверь. Он нахмурил брови, ибо не выносил шума во время работы и выбирал для занятий самые тихие ночные часы, чтобы ему никто не мешал.

Тем не менее, он подошел к слуховому окну, открыл его, выглянул на улицу и в бледном лунном сумраке увидел мертвую Джиневру, окутанную саваном.

В то же мгновение, забыв Платона и Аристотеля, мессер Франческо захлопнул окно так поспешно, что Джиневра не успела молвить слова, стал шептать Ave Maria и креститься в суеверном ужасе, как Ненча.

Впрочем, скоро пришел он в себя, устыдился собственного малодушия и вспомнил то, что говорят александрийские неоплатоники Прокл и Порфирий о явлениях мертвецов, а именно, что демоны, существа породы средней и двойственной, живущие между землей и небом, иногда с целью доброю, чтобы пророчествовать, иногда злою, чтобы устрашать людей, облекаются в прозрачные тела, имеющие сходство с кем-либо из умерших и образованные, по мнению одних, из влажной стихии воздуха, сгущенного холодом,

---

[1] Фома Аквинат (1225 или 1226—1274) — выдающийся философ и теолог.

[2] Стагирит — Аристотель, уроженец города Стагира.

по мнению других, из той огненной, бесцветной и прозрачной материи, из которой состоят и низшие растительные души, как разумных, так и неразумных тварей, живущих на земле. Вспомнив все это и объяснив себе то, чего сперва так испугался, логическими и естественными доводами, мессер Франческо окончательно успокоился, снова открыл окно и произнес твердым голосом:

— Кто бы ты ни был, дух земной или небесный,— скройся, удались туда, откуда пришел, ибо напрасно ты хочешь устрашить того, чей разум просвещен светом высшей философии. Ты можешь обмануть телесные, но не духовные очи мои. Отойди же с миром под своды Аида — мертвая к мертвым.

И он закрыл окно на этот раз с тем, чтобы более не отворять его, хотя бы стучались целые легионы жалобных призраков.

А Джиневра пошла далее и, так как была недалеко от Старого Рынка, скоро увидела дом своей матери.

Мона Урсула стояла на коленях перед распятием, и рядом с ней был суровый монах фра Джакомо с бледным лицом, изможденным постами. Она подняла к нему взоры, полные ужаса.

— Что мне делать, отец мой? Помогите. Нет в моей душе покорности, нет молитвы. Мне кажется, что Бог отступился от меня, и душа моя обречена на погибель...

— Покорись, покорись Богу во всем, до конца,— убеждал ее монах,— не ропщи, смири голос буйной плоти, ибо чрезмерная любовь твоя к дочери — от плоти, а не от духа. Скорби не о том, что она умерла телесною смертью, а лишь о том, что предстала на суд Всевышнего, без покаяния, великою грешницей.

В это время постучали в дверь.

— Мама, мама, это — я... пусти меня скорее!

— Джиневра!..— воскликнула мона Урсула и хотела броситься к дочери, но монах остановил ее.

— Куда ты? Безумная! Дочь твоя лежит в гробу, мертвая, и не встанет до страшного Судного дня. Это злой дух искушает тебя голосом дочери, голосом плоти и крови твоей. Покайся же, молись, молись, пока еще не поздно, за себя и за грешную душу Джиневры, чтобы вам обеим не погибнуть.

— Мама, или ты не слышишь, не узнаешь моего голоса? Это я — живая, а не мертвая...

— Пустите, отец мой, пустите меня...

Тогда фра Джакомо поднял руку и прошептал:

— Ступай и помни,— ныне обрекаешь ты на погибель не только себя, но и душу Джиневры. Бог проклянет тебя и в сем веке и в будущем!

Лицо монаха полно было такою ненавистью, глаза его горели таким огнем, что мона Урсула остановилась, объятая ужасом, сложила руки с мольбой и в изнеможении упала к ногам его.

Фра Джакомо обернулся к двери, осенил ее знаменем креста и молвил:

— Во имя Отца и Сына, и Духа Святого! Заклинаю тебя кровью Распятого на кресте — сгинь, сгинь, пропади, окаянный. Место наше свято. Господи, не введи во искушение, но избави нас от лукавого.

— Мама, мама, сжалься надо мною,— я умираю!..

Мать еще раз встрепенулась, простерла руки к дочери, но их разделял монах, неумолимый, как смерть.

Тогда Джиневра упала на землю и, чувствуя, что замерзает, поджала колени, обняла их руками, склонила голову и решила более не вставать, не двигаться, пока не умрет. «Мертвые не должны возвращаться к живым»,— подумала она, и в то же мгновение вспомнила Антонио: «Неужели и он прогнал бы меня?» Она и раньше думала о нем, но ее удерживал стыд, ибо она не хотела идти к нему ночью одна, будучи женою другого. Теперь, когда для живых она была мертвая,— не все ли равно?

Луна закатилась; горы, покрытые снегом, бледнели на утреннем небе. Джиневра встала с порога своей матери. Не найдя приюта у родных, пошла она к чужому.

Мессер Антонио в мастерской недалеко от Понте Веккио работал всю ночь при свете огня над восковым изваянием Джиневры. Он не замечал, как пролетали часы, как в круглых стеклянных гранях окон выступил холодный свет грубого зимнего утра. Художнику помогал его любимый ученик Бартолино, семнадцатилетний отрок, белокурый и красивый, как девушка.

Лицо Антонио выражало спокойствие. Ему казалось, что он воскрешает мертвую и дает ей новую бессмертную жизнь: опущенные веки готовы были вздрогнуть и подняться, грудь дышала и в тонких жилах на висках билась теплая кровь.

Он кончил работу и старался придать губам Джиневры невинную улыбку, когда в дверь раздался тихий стук.

— Бартолино,— молвил Антонио, не отрываясь от работы,— отопри.

Ученик подошел к двери и спросил:

— Кто там?

— Я — Джиневра Альмьери,— отвечал чуть слышный голос, подобно шелесту ночного ветра.

Бартолино отскочил в дальний угол комнаты, бледный и дрожащий.

— Мертвая!.. — шептал он, крестясь.

Но Антонио узнал голос своей возлюбленной, вскочил, бросился к Бартолино и вырвал у него ключ из рук.

— Мессер Антонио, опомнитесь, что вы делаете? — лепетал ученик, стуча зубами от ужаса. Антонио подбежал к двери, отпер ее и увидел Джиневру, упавшую на пороге, почти бездыханную: в сиянии утра белел могильный саван, и на распущенных кудрях был иней.

Но он не ужасался, ибо сердце его исполнилось великою жалостью.

Он наклонился со словами любви, поднял ее и понес на руках в свой дом.

Уложил на подушки, покрыл их лучшим ковром, какой у него был, послал Бартолино за хозяйкою, старою женщиною, у которой нанимал мастерскую, развел огонь в очаге, согрел вина и напоил Джиневру из своих рук. Она вздохнула легче и, хотя еще не могла говорить, открыла глаза. Тогда сердце Антонио наполнилось радостью.

— Сейчас, сейчас,— повторял он, суетясь и бегая по комнате,— вот придет хозяйка, все устроим... Только не взыщите, мадонна Джиневра, у меня такой беспорядок...

Смущаясь и краснея за свое хозяйство, опустил он с потолка корзину на блоке, который скрипел и визжал к еще большему стыду мессера Антонио, вынул денег, отдал Бартолино, велел ему бежать на рынок за мясом, хлебом, овощами для завтрака, и когда пришла хозяйка, важно и заботливо, как будто дело шло о спасении его собственной жизни, заказал горячего супа с курицей.

Ученик бросился со всех ног за покупками, старуха пошла резать курицу. Антонио остался наедине с Джиневрой.

Она подозвала его и, когда он опустился рядом с нею на колени, рассказала ему все, что случилось.

— О, милый мой,— молвила Джиневра, кончив рассказ,— ты один не ужаснулся, когда я пришла к тебе мертвая, ты один меня любишь.

— Хочешь, я позову твоих родных — дядю, мать или мужа? — спросил Антонио.

— Нет у меня родных — ни мужа, ни дяди, ни матери. Все чужие, кроме тебя, ибо я для них — мертвая, для тебя я — живая, и тебе одному принадлежу по праву.

Первые лучи солнца затеплились в окнах. Джиневра улыбнулась ему, и по мере того, как солнце становилось все ярче, румянец жизни приливал к ее щекам, в тонких жилах на висках билась теплая кровь. Когда Антонио наклонился, обнял и поцеловал ее в губы, ей казалось, что солнце воскрешает ее, дает ей новую бессмертную жизнь.

— Антонио,— молвила Джиневра,— благословенна да будет смерть, которая научила нас любить, благословенна да будет любовь, которая сильнее смерти!

НАУКА ЛЮБВИ

Мессер Фабрицио, один из самых ученых профессоров Болонского университета, читал диалектику, в которой он обладал столь дивным искусством, что его называли «царем силлогизмов». Но не одна диалектика, а весь круг человеческих знаний, trivium и quadrivium [1], был у мессера Фабрицио, как на ладони. И замечательнее всего, что ученый муж не только в предметах важных, но и по поводу самых ничтожных житейских мелочей обнаруживал бездну премудрости. Студенты рассказывали, что однажды, когда ему надо было поставить на письме адрес: в Падую, на Винную площадь, в аптеку Луны,— мессер Фабрицио по рассеянности написал: nella città Antenorea, in sul forodi Bacco, all' aromataria della Dea triforme, то есть в город Антенора, на форум Вакха, в ароматарию Богини Трехликой. Так много и прекрасно говорил он на языке Туллия[2], что отчасти забыл язык своей матери, чем не сокрушался, ибо находил его ниже своего достоинства, и, будучи в дурном расположении духа, выражал мнение, что «Божественная комедия» Данте в нынешний век истинного цицероновского красноречия пригодна разве к тому, чтобы служить оберточной бумагой в колбасных лавках. Зато, когда мессер Фабрицио объяснял, как должно писать слово consumptum [3] — с *p* или без *p*,— перед очами изумленных слушателей открывался такой кладезь учености, что самые легкомысленные и невежественные люди чувствовали трепет благоговейного ужаса.

Мессер Фабрицио был мал, хил и слаб, так как тело его было истощено непрерывными и чрезмерными занятиями, но лицо имел важное и строгое, взор глубокомысленный, брови густые и нахмуренные, походку величественную и медленную, и никто не умел с бóльшим достоинством носить малиновую профессорскую пелерину,

---

[1] Trivium — цикл из трех наук: грамматики, диалектики и риторики; quadrivium — цикл из четырех наук: арифметики, музыки, геометрии и астрономии (*лат.*).

[2] На языке Марка Туллия Цицерона, то есть по-латыни.

[3] От лат. consumere — расходовать.

подбитую заячьим мехом, и громадную шляпу, похожую на тот вкусный пирог с вареньем, который хозяйки пекут детям накануне Иванова дня.

В это время в Болонском университете изучали — один каноническое, другой гражданское право — двое знатных и богатых молодых людей из Рима, принадлежавших к благородному дому Савелли, закадычные друзья и приятели. Одного звали Буччоло, другого Пьетро Паоло. И так как всем известно, что каноническое право по объему меньше гражданского, то Буччоло, изучавший церковное право, кончил свои занятия ранее, чем Пьетро Паоло. Сделавшись лиценциатом, решил он вернуться домой — и так сказал своему товарищу:

— Любезный Пьетро, я имею лиценциат и намерен возвратиться на родину.

Пьетро возразил:

— Прошу тебя, не покидай меня здесь, на чужбине, одного. Пережди эту зиму. К весне я кончу, и мы можем ехать вместе. А пока, чтобы не терять времени, выбери себе какую-нибудь науку по сердцу и займись.

Буччоло согласился, обещал подождать друга, пошел к своему профессору, мессеру Фабрицио, и молвил так:

— Я решил обождать моего двоюродного брата и прошу вас, маэстро, тем временем преподать мне какую-нибудь еще другую прекрасную науку.

— Хорошо,— ответил маэстро,— выбери себе, какую пожелаешь, я охотно с тобою займусь.

Тогда Буччоло сказал:

— Маэстро, ежели будет на то согласие вашей милости, я желал бы изучить науку любви.

Мессер Фабрицио, услышав такую просьбу, нахмурил брови, собираясь так намылить голову дерзкому мальчишке, чтобы у него навсегда прошла охота шутить с профессорами; но, взглянув на Буччоло, он увидел столь нежное и розовое лицо, столь простодушный и доверчивый взор, такую скромную и почтительную улыбку, что латинское ругательство замерло на его губах, ему вспомнилось что-то старое, приятное и веселое, не относившееся ни к силлогизмам, ни к грамматике Присциана и Доната [1]; он тоже улыбнулся и ответил ученику:

— Отлично. Ты не мог выбрать науку, которая была бы более мне по сердцу. Итак, ступай в следующее воскресенье в церковь миноритов, к заутрене, когда туда собираются женщины со всего города, и поищи, не найдешь ли

---

[1] Присциан — римский грамматик VI в. Донат — римский грамматик и ритор IV в.

такой, которая тебе понравится. Если найдешь, следуй за ней издалека, пока не узнаешь, где она живет, потом возвращайся ко мне. Вот тебе первый урок, исполни его в точности.

Буччоло сделал так, как научил его маэстро. Пошел в церковь и стал внимательно рассматривать лица женщин, которых туда собралось немало.

Более всех понравилась ему одна дама, одаренная лукавою и нежною прелестью. Когда она вышла из церкви, Буччоло последовал за нею, заметил дом, в котором она жила, из чего дама заключила, что студент намерен ухаживать за нею.

Потом вернулся к маэстро и сказал:

— Я исполнил первый урок и нашел даму, которая мне нравится.

Мессеру Фабрицио все это казалось презабавным, ибо втайне он подсмеивался над простодушным Буччоло и наукою, которой он желал учиться.

С видом важным и глубокомысленным молвил он:

— Теперь следует тебе раза два или три в течение дня пройтись перед ее окнами — только держи себя скромно и прилично. Смотри на нее украдкою, так, чтобы никто не заметил, и только дама могла понять, что ты в нее влюблен. Потом возвращайся ко мне. Это — второй урок.

Буччоло простился с учителем, пошел на улицу, где жила его возлюбленная, и начал прохаживаться перед домом, соблюдая благоразумную осторожность, но все же так, чтобы она могла заметить, что он делает это ради нее. Дама увидела его. Буччоло несколько раз поклонился ей с изысканной вежливостью. Она ответила ему поклоном, из чего он заключил, что она к нему благосклонна. Тотчас же пошел он и сообщил об этом учителю, который, выслушав его, сказал:

— Прекрасно. Я тобою доволен. До сих пор все идет как по маслу. Теперь ты должен ей подослать одну из уличных разносчиц, которые торгуют в Болонье кружевом, кошельками, лентами и другим модным товаром. Вели передать своей даме, что ты во всем, чего бы она ни пожелала, готов ей служить, что никого на земле не любишь более, чем ее, и что отныне ты намерен быть ей верным рабом. Подожди ответа, потом возвращайся ко мне: я научу тебя, что следует делать далее.

Буччоло пошел, не тратя времени, отыскал услужливую старую женщину, весьма опытную в делах подобного рода, и молвил:

— Вы можете оказать мне большую услугу. Я заплачу так, что вы останетесь довольны.

Разносчица ответила:

— Я сделаю все, что вам угодно, ибо живу трудами рук моих, как честная женщина.

Тогда Буччоло дал ей два флорина и сказал:

— Прошу вас, сходите на улицу Маскарелла, где живет молодая женщина по имени мадонна Джованна, в которую я влюблен. Передайте ей, что я — верный раб ее и готов исполнить всякое ее желание. Выразите все это самыми нежными и уветливыми словами, какие сумеете придумать.

Старуха ответила:

— Уж знаю, знаю. С помощью Господа Бога и Пресвятой Марии Девы мы так обделаем это дельце, что вы будете довольны, еще другой раз придете ко мне. Главное — выбрать подходящее время, уж об этом предоставьте мне позаботиться.

— Ступайте же,— молвил Буччоло,— я подожду здесь.

Разносчица отправилась с корзиною товара на улицу Маскарелла, увидала мадонну Джованну, сидевшую у двери, поздоровалась и сказала:

— Мадонна, не приглянется ли вам что-нибудь из моего товара. Берите смело все, что понравится.

Старуха подсела к ней и начала показывать ленты, кисею, кошельки, пояса, ножницы, зеркала и тому подобные вещи. Джованна долго рассматривала, наконец, понравился ей один кошелек, и она сказала:

— Если бы у меня были деньги, я охотно купила бы этот кошелек.

Старуха возразила:

— Мадонна, стоит ли заботиться о таких пустяках. Говорю вам, берите из моего хлама все, что понравится. Мне уже заплачено.

Дама удивилась и, желая объяснить любезность старухи, спросила:

— Что вы хотите сказать, добрая женщина? Что значат эти слова?

Тогда разносчица повела свою речь тихим голосом:

— Сейчас я вам все объясню, мадонна. Один юноша, по имени Буччоло, послал меня к вам. Он любит вас и предан вам всею душою. Нет, говорит на свете такого трудного и опасного дела, которого бы я не предпринял с радостью, чтобы заслужить любовь моей дамы. Господь Бог, говорит, не мог бы оказать мне большей милости, чем если бы ей угодно было повелеть мне что-нибудь. А сам так и плачет, заливается, как свеча тает от любви к вам. Да не услышит в смертный час молитвы моей Царица Небесная, да разразит меня гром на этом

месте, ежели я в чем-нибудь солгала и когда-либо в моей жизни видела более прекрасного и благородного юношу!

Когда Джованна услышала эти слова, лицо ее вспыхнуло.

— О, если бы только язык мой не удерживала скромность, я ответила бы тебе так, как ты этого заслуживаешь, старая ведьма! Смеешь ли ты с таким предложением являться к честной женщине! Да накажет тебя Господь!

И, молвив так, вынула из петель двери деревянный шест, служивший запором, и хотела ее ударить.

Старуха забрала в охапку свой товар, убежала и не прежде почувствовала себя в безопасности, чем вернулась к Буччоло.

— Ну что, как? — спросил он, увидев ее.

— Да что, плохо, свет мой, так плохо, что хуже нельзя. Никогда еще во всю мою жизнь не терпела я такого срама. Если бы поскорей не утекла, пришлось бы старым костям моим отведать палки. Не знаю, как вы, мессер Буччоло, но что до меня, то ни за какие деньги я больше к ней не пойду, да и вам не советую.

Буччоло весьма огорчился, немедленно пошел к своему учителю и поведал ему все, что случилось.

Мессер Фабрицио утешил его и сказал:

— Успокойся, Буччоло. Ни одно дерево не валится с первого удара. Пройдись-ка еще раз под ее окнами, увидим, какое лицо она сделает. Потом опять приходи ко мне.

Буччоло собрался и пошел к дому своей возлюбленной. Только что она его увидела, как позвала служанку и приказала:

— Улива, ступай, видишь, за этим юношей и скажи от моего имени, чтобы он непременно приходил ко мне сегодня вечером.

Улива подошла к нему и молвила:

— Мессере, мадонна Джованна очень просит вас пожаловать к ней сегодня вечером, так как она желает с вами говорить.

Буччоло не знал, что подумать. Тем не менее ответил:

— Хорошо. Передай твоей госпоже, что я с радостью приду.

Затем поскорее вернулся к Фабрицио. Профессор тоже удивился и спросил:

— На какой улице живет твоя дама?

— На улице Маскарелла.

— А как имя служанки?

— Не знаю. Она такая высокая, худая, черная, хромает на левую ногу...

— Клянусь Геркулесом,— Улива! — пролепетал себе под нос профессор, краснея, как рак.

— Что вы хотели сказать, маэстро? — спросил Буччоло.

Мессеру Фабрицио казалось, что пол уходит у него из-под ног и лицо Буччоло двоится. Не чувствуя достаточно силы, чтобы перенести последний удар и боясь, чтобы Буччоло не назвал ему мадонны Джованны, его собственной жены, он не решился спросить имени дамы. В течение зимних месяцев профессор ночевал в здании университета, чтобы иметь возможность читать лекции студентам и в ночные часы, так что мадонна Джованна оставалась в доме одна со служанкой.

— Ты пойдешь на свидание, Буччоло?

— Конечно.

— Прошу тебя, зайди ко мне и скажи, когда соберешься.

Буччоло молвил: «Хорошо!» и удалился. Маэстро заключил по его виду и словам, что он ничего не подозревает.

«Я не желаю,— подумал мессер Фабрицио,— чтобы он учился этой науке на мой счет».

Вечером пришел Буччоло.

— Маэстро, мне пора.

— Ступай и будь осторожен.

— О, вы можете на меня положиться.

На груди имел он толстый панцирь, острый меч под мышкой и длинный кинжал при бедре,— словом, принял все предосторожности. Когда он вышел, мессер Фабрицио последовал за ним, тихонько, так, что Буччоло не заметил. Он подошел к двери своей дамы, и только что постучался, она отперла и впустила его. Профессор, убедившись собственными глазами, что возлюбленная Буччоло — мадонна Джованна, его жена, пришел в неописанную ярость.

— Клянусь Минервою, теперь уже нет никакого сомнения, что он учится на мой счет.

Мессер Фабрицио побежал назад в здание университета, взял меч, кинжал и вернулся на улицу Маскарелла, намереваясь захватить врасплох Буччоло. Подойдя к двери своего дома, начал он стучаться. А мадонна Джованна тем временем сидела со своим возлюбленным у очага и, услышав стук, догадалась, что это мессер Фабрицио, взяла Буччоло за руку, повела в соседнюю комнату и спрятала под грудой мокрого белья, лежавшего на столе у окна. Потом побежала к двери и спросила: «Кто там?»

Маэстро кричал:

— Отопри, отопри же, негодная!

Джованна отперла и, увидев профессора вооруженным, воскликнула:

— Ай! Ай! Что это значит, мессер Фабрицио?

Он не унимался и вопил еще громче:

— Клянусь Аполлоном, я знаю, кто в моем доме.

— О, я несчастная,— воскликнула Джованна,— что вы говорите? В своем ли вы уме? Обыщите весь дом и если кого-нибудь найдете, пусть меня четвертуют. Какой стыд, какой стыд, Боже мой! Стоит быть верной женой. Расспросите соседей, они могут кое-что рассказать о моей скромности и добродетели. Еще недавно сюда приходила старуха... Но зачем говорить?.. Ежели вам померещилось недоброе, оградите себя крестом и молитвой от наваждения лукавого, который ищет погубить вашу душу.

Маэстро велел зажечь свечу и начал искать в погребе между бочками потом вышел в комнаты, обшарил их, посмотрел под кроватью, проколол мечом соломенный матрац в различных местах,— словом, не оставил в доме мышиной норы необысканной, но Буччоло не нашел. Мадонна Джованна ходила за ним со свечой в руках и повторяла:

— Дорогой маэстро, опомнитесь, сотворите же крестное знамение, ибо теперь я вижу, что враг Божий искушает вас, и вам померещилось такое, что стыдно сказать; знайте, что если бы хоть один волос на голове моей пожелал чего-нибудь подобного, то я наложила бы на себя руки. Маэстро, заклинаю вас именем Бога, не поддавайтесь наваждению лукавого!

Не находя Буччоло и слыша непрестанные увещания супруги, мессер Фабрицио почти поверил ей, задул свечу и вернулся в школу.

А мадонна Джованна тотчас заперла дверь на задвижку, вытащила возлюбленного из-под белья, развела яркий огонь в очаге, на котором зажарила молочного поросенка, и принесла из погреба различных вин. Они стали пить, есть, веселиться и во взаимных ласках провели ночь. Когда же наступило утро, Буччоло сказал:

— Мадонна, я должен проститься с вами. Не будет ли вашей милости угодно приказать мне что-нибудь?

— О да,— молвила она, обнимая и целуя его с нежностью,— моей милости угодно, чтобы ты пришел ко мне сегодня вечером.

Буччоло обещал прийти, вернулся в школу и молвил учителю:

— Я имею нечто рассказать, что вас позабавит.

— Говори. Я слушаю.

— Вчера вечером,— произнес Буччоло,— когда я был в доме моей возлюбленной, вдруг приходит муж, обыски-

вает весь дом и ничего не находит. Она спрятала меня под кучей мокрого белья и так ловко умела обойти его, что глупый поверил и ушел. А мы остались с ней наедине, поужинали молочным поросенком, отведали множество тонких вин, и могу вас уверить, маэстро, что нам было превесело и что эта наука любви кажется мне самой любезной и забавной из всех наук, так что, по моему разумению, никакая другая не может с нею сравняться. Право, я уж и не знаю, как вас благодарить, дорогой учитель!.. А теперь, с вашего позволения, я пойду немного отдохнуть, так как мало спал эту ночь и обещал сегодня вечером прийти к ней опять.

Мессер Фабрицио молвил:

— Когда соберешься, зайди ко мне и скажи.

— С удовольствием,— ответил Буччоло и пошел спать.

Профессор был вне себя от ярости; пробовал читать лекцию, но вместо силлогизмов у него выходили такие глупости, что он поскорее сошел с кафедры, сказавшись больным. Сердце его пожирала ревность, и весь день он мечтал о том, как поймает Буччоло и накажет его. У старого ландскнехта, имевшего оружейную лавочку в соседнем переулке, взял он напрокат заржавленный панцирь и допотопный шлем с забралом. Когда наступил вечер, к мессеру Фабрицио пришел беззаботный Буччоло и объявил:

— Я иду.

— Ступай, ступай,— возразил маэстро,— да не забудь прийти ко мне завтра утром рассказать, что с тобой случится.

— Не беспокойтесь, приду,— молвил Буччоло и отправился к даме.

А маэстро тем временем, надев панцирь и шлем, пошел за ним по пятам, намереваясь схватить его у дверей дома. Но Джованна ожидала возлюбленного, поспешно впустила его и заперла дверь. Тотчас же затем пришел маэстро и начал бушевать. Тогда Джованна потушила свечу, стала перед своим возлюбленным, заслонив его собою, отперла дверь и одной рукой обняла мужа, между тем как другой выпроводила Буччоло так ловко и быстро, что маэстро ничего не заметил, и принялась кричать:

— Помогите! Помогите! Маэстро сошел с ума!

И она крепко обнимала его, не выпуская. Буччоло не узнал мессера Фабрицио, так как не мог видеть лица его, спрятанного забралом. Соседи сбежались на шум и, видя профессора вооруженным в несвойственный ему панцирь и шлем, слыша, как супруга его кричала: «Держите его, он помешался от чрезмерных ученых занятий!» — повери-

ли и решили, что мессер Фабрицио не в своем уме. Соболезнуя, приступили они к нему.

— Ах, маэстро, маэстро, что это такое с вами приключилось? Ложитесь-ка скорее в постель, да отдохните как следует и впредь не утомляйте мозга чрезмерными трудами. Хотя мы люди неученые, но советуем вам от доброго сердца: право же, успокойтесь, маэстро.

— Да как же мне успокоиться,— вопил мессер Фабрицио,— когда я видел собственными глазами, как эта негодная впустила в дом любовника!

— Любовника! — воскликнула мадонна Джованна,— о, я несчастная! Да спросите же этих добрых людей, случалось ли им примечать, чтобы я в чем-нибудь провинилась перед вами!

Тогда все мужчины и женщины ответили в один голос:

— Маэстро, выбросьте из головы этот вздор — ибо не было и не будет на свете женщины более скромной и добродетельной, чем ваша супруга. Что другое, а уж это мы знаем достоверно.

— Ничего вы не знаете! — кричал маэстро,— я говорю вам, что собственными глазами видел любовника, и знаю, что он теперь в моем доме.

В это время подоспели двое братьев мадонны Джованны. Увидев их, она заплакала еще сильнее и сказала:

— Милые братья, мой муж сошел с ума и хочет убить меня. Он говорит, что я впустила к себе в дом любовника,— как это вам нравится? Вы ведь знаете, что я не такая женщина и не так я воспитана, чтобы терпеть подобные оскорбления.

Тогда братья сказали:

— Мы удивляемся, что вы смеете называть нашу сестру негодною женщиной. Сколько лет жили вы с нею в добром согласии? Что же сегодня приключилось и за что вы на нее в такой ярости?

— Я видел любовника,— твердил мессер Фабрицио,— я видел его собственными глазами!

— Хорошо,— возразили братья,— поищем. И если найдем, накажем ее так, что вы останетесь довольны.

Один из них отозвал сестру в сторону и спросил:

— Скажи правду, есть ли в доме мужчина?

— Что ты говоришь,— воскликнула мадонна Джованна,— как тебе не стыдно спрашивать об этом! Избави меня Боже от такого позора. Я согласилась бы лучше тысячи раз умереть, чем сделать или даже подумать что-либо подобное.

Эти слова вполне успокоили братьев, и вместе с мессером Фабрицио начали они обыскивать дом. Маэстро уви-

дел кучу белья, ринулся на нее и стал колоть мечом с такою яростью, как будто это был сам Буччоло, ибо думал, что он спрятан в белье.

— Ну, вот видите,— всплеснула руками Джованна,— не говорила ли я вам, что он рехнулся? Разве это не явное сумасшествие — портить собственное добро, которое не сделало ему никакого вреда?

Братья обыскали дом, ничего не нашли и убедились, что маэстро в самом деле не в своем уме.

Один произнес:

— Он помешался.

Другой прибавил:

— Маэстро, дорогой маэстро, согласитесь, что вы были очень неправы, называя нашу сестру негодною женщиной.

Услышав это, профессор пришел в исступление, ибо не мог сомневаться в том, что видел собственными глазами, и начал осыпать их жестокою бранью, причем все время держал в руке обнаженный меч. Тогда они напали на него, схватили, обезоружили, связали по рукам и ногам, оставили так на всю ночь, а сами с сестрою пошли спать. Утром позвали врача: он прописал микстуру, велел положить на голову больному ледяные примочки, сделал кровопускание и посоветовал, чтобы никто с ним не говорил, не отвечал на его вопросы и чтобы его держали на диете, пока ему не станет лучше. Все это было точно исполнено.

В Болонье распространился горестный слух, что мессер Фабрицио, знаменитый доктор диалектики, «царь силлогизмов», сошел с ума. Все принимали в нем участие. Студенты говорили между собою:

— А ведь я еще вчера заметил, что маэстро как будто не в себе. Помните, он не мог дочитать нам лекции, да и лицо у него было странное.

Многие втайне злорадствовали:

— Вот к чему приводит людей излишняя ученость. Того и гляди лукавый попутает.

Студенты решили навестить больного профессора. Буччоло, ничего не зная, пришел в университет, чтобы рассказать мессеру Фабрицио свои новые приключения. Но здесь сообщили ему, что маэстро сошел с ума. Буччоло удивился, весьма был огорчен и вместе с товарищами пошел навестить больного. Когда же увидел, куда они идут и в чей дом,— недоумению, потом ужасу его не было предела, так что, поняв все, он едва не потерял сознание. Но из страха, чтобы никто не заметил его смущения, вошел с товарищами в дом и увидел мессера Фабрицио на постели, обложенного ледяными примочками, связанного и бледного. Студенты стали поочередно подходить к профессору

и выражать ему участие и соболезнование. Когда очередь дошла до Буччоло, он приблизился к мессеру Фабрицио и сказал:

— Дорогой учитель, я люблю и почитаю вас, как родного отца, а потому, если могу сделать что-нибудь угодное, приказывайте мне, как сыну.

Маэстро, видя его сердечное раскаяние, добродушно молвил в ответ:

— Буччоло, Буччоло, ступай с Богом! Довольно ты на мой счет поучился, хотя, сказать правду, и меня кое-чему выучил.

Тогда мадонна Джованна поспешно прибавила:

— Не обращайте внимания на его слова: он бредит.

А Буччоло поскорее ушел, отыскал Пьетро Паоло и молвил:

— Брат, будь счастлив. Я столькому здесь научился, что у меня прошла охота учиться более.

С этими словами он покинул друга, тотчас собрался в путь и благополучно приехал в Рим.

ЖЕЛЕЗНОЕ КОЛЬЦО

Новелла XV века

Графиня Виоланта, стоя перед зеркалом, отказывалась надеть роскошное белое платье и капризничала, по своему обыкновению, к большому горю старой няни, фрейлин и прислужниц.

— Наденьте белое платье,— упрашивала няня,— утешьте старуху, не упрямьтесь...

— Нет, нет, нет, ни за что. Не приставайте. Слово мое твердо. Сказала, что не надену, и кончено...

— Да ведь сам граф, его светлость, намедни изволили приказывать...— пробовала возражать старуха.

— Ах, скажите, пожалуйста,— всплеснула руками негодующая графиня,— это еще что за новости, нынче батюшка мой заботится о цвете моих платьев... Какое ношу всегда, такое и сегодня надену. Ни одного цветочка, ни одной ленточки не прибавлю. Да знаете ли вы, что и так с моей стороны большая любезность и снисхождение выходить на смотрины к этому хваленому заморскому жениху. Может быть, ваш каталонский принц дурен, как обезьяна, и кос, и хром, и уж во всяком случае я уверена, что он отнюдь не так хорош, как о нем говорят: славны бубны за горами. Вы все только о том и думаете, чтобы я при-

шлась ему по вкусу, но ведь надо, чтобы и он мне понравился... Я первому встречному руки своей не отдам...

— Мадонна Виоланта,— произнесла почтенная старая фрейлина вкрадчивым голосом,— мы все уверены, что вы, при вашем ясном уме и благородном сердце, вполне понимаете, сколь важны для блага и спасения вашей родины исполнение воли вашего мудрого отца, светлейшего графа и повелителя Тулузы, Рената. Силы народа давно уже истощены долгими кровопролитными войнами с могущественным графом Каталонии. Народ жаждет мира, и ничто не может так надежно закрепить союза нашего с Каталонией, как предлагаемый и столь желанный брак единственной наследницы графа тулузского с единственным сыном короля каталонского, который равно славится телесною красотою, рыцарскою доблестью и несметными богатствами. Вот почему, мадонна Виоланта, не только для вашего собственного счастья, но и для спасения ваших верных подданных, для блага народного...

— Ну, вот-вот, я так и знала,— с нетерпением воскликнула графиня,— вот мы и договорились до блага народного. Господи, да когда же кончится эта мука? Со мной ни о чем говорить не хотят, кроме как о благе народном. И почему я должна жертвовать своим счастьем для спасения отечества? Какое мне дело до вашей политики? Ежели каталонцы и тулузцы так злы и глупы, что не умеют ужиться в мире,— тем хуже для них. Поверьте, никакими союзами этому горю помочь нельзя. Народы всегда найдут удобный предлог, чтобы перессориться и подраться. Не нами это началось, не нами кончится. Пусть же никто не пристает ко мне с войнами, союзами, благом народов, со всей этой нелепою и лживою политикой. Конечно, меня могут силой выдать за вашего хваленого принца, но волей я не пойду...

— Вы знаете,— возразила старая фрейлина,— что король французский согласен был отдать руку дочери своей каталонскому принцу. Он отказался только для вас, графиня!

— Напрасно. Чересчур много чести! Я ведь об этом его не просила: куда уж мне соперничать с дочерью французского короля!..

— Молва гласит,— не унималась усердная советчица,— что яснейший рыцарь каталонский не имеет подобного себе по красоте...

— Может быть. Впрочем, будь он хром и крив и страшен, как смертный грех, вы объявили бы его первым красавцем в мире, только бы я поскорее вышла за него замуж. И все это, все это для вашей презренной политики, для блага народного. Какая несправедливость, какая жестокость!

Лучше бы я родилась дочерью бедного угольщика или дровосека, тогда бы никто не отнимал у меня свободы...

И Виоланта, к немалому отчаянию всех нянь, прислужниц и придворных дам, залилась горькими слезами.

— Если так,— воскликнула графиня, и глаза ее вспыхнули грозно,— если все меня покинули, все против меня, то вот не выйду же, назло всем, ни за что не выйду за него замуж, и пусть пропадает вся ваша политика, и каталонцы с тулузцами так подерутся, как еще от начала мира не дрались! Да, да, чего вы смотрите на меня, как на безумную? Не захочу — и не выйду. Вы ведь отлично знаете, что никто ничего со мной не поделает. Слава Богу, в чем другом, а уж в этом я свободна: не даром же, умирая, матушка взяла с отца моего на кресте и на святом Евангелии клятву, что он против моей воли насильно не выдаст меня замуж, хотя бы от этого зависела его жизнь и спасение отечества. Граф Ренат не нарушит столь великой и ужасной клятвы, если бы даже сорок тысяч каталонских принцев требовали руки моей, угрожая войною и низвержением тулузского престола.

При этих словах графини прислужницы, приспешницы, няни и придворные дамы онемели от ужаса. Но мало-помалу гневные морщины на лице Виоланты разгладились, и она прибавила с тонкою и хитрою улыбкою:

— А впрочем, если каталонец сумеет мне понравиться,— чего ему не так-то легко будет достигнуть,— тогда, конечно, другое дело: поживем, посмотрим...

Граф Ренат был суровым и самовластным повелителем, тем не менее он скорее согласился бы погубить свой народ и сам погибнуть, чем нарушить предсмертную волю нежно любимой и рано умершей супруги и в чем-либо стеснить свободный выбор своей дочери. Это важное условие было известно каталонскому принцу. Но не будучи самонадеянным, он имел право думать, что слава его рыцарских доблестей, мужества и красоты откроют ему путь к сердцу Виоланты. Итак, граф каталонский выслал своего возлюбленного сына и единственного наследника в сопровождении великолепной свиты для свидания и обручения с невестою. Веянием пестрых шелковых знамен, громом воинственных труб и литавров встречен был юный граф в стенах благородной Тулузы. Взаимные условия утонченной французской вежливости и важного испанского приличия, которые тогда, вследствие близкого соседства обеих сторон, всем и каждому хорошо были известны и в том и в другом государстве, на этом торжественном празднике точно были соблюдены. Во дворце графа Рената произошло свидание жениха и невесты. Виоланта была одета в простое

непраздничное платье без всяких украшений, лишь тонкое ожерелье бледного жемчуга окружало белую шею, но эта суровая простота одеяния не уменьшала, а скорее увеличивала прелесть лица ее. Граф каталонский, не умея скрыть своего волнения, жадно смотрел на Виоланту, и по внезапному румянцу и бледности, сменившихся на щеках его, все могли заключить, что стрела крылатого бога, напоенная сладким и мучительным ядом, пронзила сердце благородного рыцаря. Украдкою из-под опущенных ресниц, почти не подымая глаз, Виоланта, в свою очередь, не однажды, а много раз успела взглянуть на юношу. Предубежденная против него чрезмерными похвалами и докучными советами, графиня коварно искала в его наружности, одеянии, в каждом его шаге и движении чего-либо достойного порицания, но ничего не находила и хотя еще не признавалась себе в том, однако втайне уже опасалась, что завистливая молва скорее уменьшила, нежели преувеличила достоинства рыцаря. Но чем больше он ей нравился, с тем большею досадою против себя и против него искала она в графе каталонском каких-либо недостатков и несовершенств. После первой встречи столы с великолепными яствами и драгоценными винами накрыты были на террасе дворца, прохлаждаемой тенью олеандров и журчанием множества фонтанов.

Согласно с обычаем страны, по окончании роскошной трапезы пажи в бархатных ливреях с вышитыми на груди соединенными геральдическими гербами каталонского и тулузского графа стали разносить гостям на золотых блюдах алые гранаты, которые, как всем известно, отличаются необыкновенной сочностью в этих местах и подаются после всякой еды как бы для прохладного омовения и очищения рта от остающегося вкуса разнообразных блюд.

Каталонец, сидевший рядом с Виолантой, взял с блюда несколько плодов, причем одно из гранатовых яблок выскользнуло из руки его. Граф подхватил яблоко на лету, как впоследствии сам рыцарь и многие из очевидцев утверждали, пока оно еще не успело коснуться пола, быть может, для того, чтобы показать ловкость руки своей, с улыбкою поднес свежий плод ко рту и вкусил от него.

Молодая графиня, которая продолжала с коварным любопытством следить за всеми движениями своего соседа, заметила, как он поднял гранат, и потому ли, что так судил рок, или потому в самом деле, что это движение, не лишенное мужественной грации, показалось ей недостойным великого и щедрого повелителя, злобно обрадовалась, как будто нашла то, чего давно искала, и в сердце своем подумала так:

«Вот, наконец, то, чего я ждала и что́ я предчувствовала. Теперь вижу, сколь справедливы и разумны слова тех опытных людей, которые утверждают, что из всех народов Запада каталонцы самый глупый и алчный народ, истинные скряги. А ведь с первого взгляда мне показалось, что он отличается некоторыми достоинствами. Впрочем, скупости — матери и кормилице всех человеческих пороков — как я слышала от одного из моих наставников, присуще то особенное внутреннее свойство, что скрыть ее вполне и до конца редко удается даже самым искусным и опытным из лицемеров. Ибо в чьем сердце гнездится этот гнусный и страшный порок, тот чувствует горе и досаду не только когда ему приходится лишаться собственного имущества, но и тогда — о диво! — как злейший из врагов его расточает свое сокровище; скупец сокрушается о том более, нежели расточитель, на глазах у коего присвоили бы несправедливо все его собственное имущество, не говоря уже о чужом. А если нрав каталонского принца таков, как я предполагаю, то, — увы! — что ожидает меня, несчастную? Если даже в великом преизбытке он выказывает скупость и готов наклоняться чуть не до земли, чтобы не потерять один ничтожный плод, то уж, конечно, в случае нужды, когда дело дойдет до его собственного золота, окажется он презреннейшим скрягою. А есть ли в мире большее несчастие для благородной и великодушной девушки, чем выйти замуж за человека богатого и скупого? Да избавит меня Господь и Пресвятая Мария Дева от такого страдания и позора! Лучше быть счастливою женою последнего из конюхов, нежели несчастною супругою славнейшего из королей. Бог с ним и со всеми его богатствами! Пусть отец мне говорит все, что ему угодно: не буду я отнюдь такою дурочкою, чтобы сердцу моему и глазам моим доверять меньше, чем молве людской, и ни для какого блага народного. хотя бы мне им уши прожужжали, не пожертвую недолговечным и невозвратимым цветом моей юности».

Когда старый граф Ренат узнал о решении своей дочери и о странной, смешной причине отказа, он почувствовал сперва немалое удивление, потом скорбь, наконец, гнев, но вспомнив предсмертную мольбу своей нежно любимой супруги и клятву, данную ей, ответил дочери, что не желает причинять ей никакого насилия, а потому откажет каталонцу, какими бы несчастиями ни угрожал этот отказ ему и его народу; затем пошел к своему гостю, нетерпеливо ожидавшему ответа и, заведя речь издалека, упомянув о необъяснимых капризах молодых девушек в делах любви, о безумном и непреодолимом упорстве, с которым женщины

нередко настаивают на том, что должно причинить им же самим наибольший вред, любезнейшими словами, какие только мог придумать, объяснил жениху отказ невесты. Несмотря, однако, на все любезности, каждое слово графа тулузского было острым ножом для сердца гордого каталонца, который с этой стороны менее всего ожидал каких-либо препятствий. Роберт затаил тяжелую обиду и с тихою усмешкою выразил мнение, что с подобными прихотями женщин отнюдь не следует бороться и что такого рода несчастия уже не раз постигали людей гораздо более добродетельных и достойных, чем он. Вот почему, ежели на то будет согласие гостеприимного хозяина, он завтра же намерен пуститься в обратный путь. Но для некоторой услады и утешения в испытанной неудаче ему хотелось бы, по крайней мере, знать, что именно не понравилось в нем прекрасной и добродетельной графине тулузской, так как он питает твердое намерение на будущее время исправиться от своих дурных качеств. Ренату было стыдно солгать и столь же стыдно признаться в легкомысленной прихоти дочери, но так как ничего более не оставалось делать, после некоторого колебания, он объявил каталонцу причину отказа. Гость выслушал его внимательно и промолвил:

— Сердечно благодарю вас, любезный граф, за вашу дружескую откровенность. Если когда-нибудь еще раз придется мне ехать на свидание с невестой, я постараюсь выбрать такое время года, когда гранаты не поспели, ибо они лишили меня супруги так же, как некогда лишили богиню Цереру дочери Прозерпины [1].

Потом похвалил он графа за верность слову, за любовь к покойной жене, попросил его не сомневаться в том, что условия заключенного мирного договора будут соблюдены свято и ненарушимо, насколько это зависит от отца его, графа каталонского, и со свойственной светским людям ловкостью перешел к спокойному и легкому разговору о других предметах, как будто ничего особенного не случилось.

На следующее утро он поблагодарил хозяев за гостеприимство, попрощался и так скоро, как только мог, направился обратно в Каталонию.

На границе своих владений граф Роберт отпустил почетную свиту под тем предлогом, что желает в уединении посетить святую обитель, находившуюся в нескольких милях от барселонской дороги. Почти все придворные пове-

---

[1] Прозерпина была похищена Плутоном, владыкой царства умерших; он отпустил ее повидаться с матерью, но предварительно дал ей проглотить зерна граната — символ брака. И две трети года Прозерпина жила с матерью, а треть — у мужа.

рили ему, полагая, что в самом деле он направит свой путь в Монферрато к Пречистой Деве Марии.

Только что спутники его удалились и Роберт остался наедине с двумя верными старыми слугами, как он открыл им свое намерение: переодеться в чужое платье, посредством фальшивых волос изменить свою наружность до неузнаваемости и направиться пешком обратно в Тулузу. Так было решено, так они и поступили. Граф каталонский переоделся странствующим купцом, и на руке его был один из тех обитых кожею коробов, какие можно постоянно видеть на улицах Парижа, а также и в городах остальной Франции, отчасти Италии: в таких ящиках носят они бесчисленные и разнообразные товары, как-то: платки, ленты, иголки, булавки, гребни, запястья, ожерелья, духи, румяна, молитвенники, помаду, сонеты Петрарки, деревянные осколки от колеса св. великомученицы Екатерины, заговоры от мышей и от зубной боли и множество других полезных и любопытных предметов, которые и предлагают в селениях поденщикам и служанкам, а в замках благородным дамам и синьоринам. В точно таких же простых ящиках, чтобы не возбудить подозрения и алчности воров, носят иногда евреи и ломбардцы весьма дорогие товары и золотые вещи, искусно спрятанные на самом дне или между стенками, так что и опытный таможенный чиновник отыскал бы их с трудом. Такой именно ящик наполнил граф всякими драгоценностями, тонким шелковым товаром, золотыми безделушками и многими другими предметами роскоши и прибавил к ним два-три самоцветных камня из тех, что привез с собою для подарка невесте. Сбрил бороду, которую в это время носили при дворе в Каталонии и, простившись с верными слугами, один направился к Тулузе.

Здесь с утра до позднего вечера бродил он по улицам, предлагая товары то одному, то другому, торгуясь, как настоящий купец. Но усерднее и чаще всего ходил поблизости дворца, где жил граф Тулузы и Лангедока.

Однажды вечером, на одной из тех прохладных террас перед домом с аркадами и колоннами, которые в Италии называются loggia, в кругу благородных дам и рыцарей увидел он свою возлюбленную. Сняв истертый бархатный берет, с подобострастными поклонами и приветствиями, как подобает смиренному странствующему купцу, подошел он к террасе и, выхваляя добротность и дешевизну товара, предложил — не угодно ли именитым и прекрасным дамам купить что-нибудь. Его подозвали, расспросили и, когда увидели необыкновенное великолепие драгоценных товаров, окружили и стали наперебой с любопытством

рассматривать. Одна вынимала одну вещь, другая — другую, и все вместе болтали, смеялись, спрашивали, так что, не имея опытности в этом деле, он немного смутился и не знал, что кому отвечать, потому решил обращаться к одной графине и давал ответы, какие умел, на предлагаемые вопросы. Продав за довольно дешевую цену несколько вещей из тех, которые им особенно понравились, он удалился, так как уже стемнело. С этого дня купец стал приходить ежедневно в то же место и в тот же час, так что все дамы скоро привыкли к нему и другие странствующие купцы в Тулузе завидовали его успеху, ибо приближенные графини, отказывая всем наотрез, говорили между собою: «Останемся верными нашему наваррцу». Наваррцем называл он себя, не достаточно владея французским языком и желая скрыть свое испанское происхождение.

Скоро представился ему случай говорить наедине с тою из приближенных Виоланты, которую, как он заметил, она особенно любила и отличала. Продав этой молодой фрейлине две-три великолепных вещи за бесценок, он шепнул ей, что в доме своем, по соседству, хранит драгоценность, величайшую из всех, о каких когда-либо слышали на земле: не носить же с собою среди остального товара, опасаясь воров, ибо это сокровище так ему дорого, что он не отдал бы его и для спасения собственной жизни. Затем он умолк и вскоре ушел.

Вероника (таково было имя приближенной дамы) сгорала от нетерпения, дожидаясь удобного случая рассказать госпоже своей то, что слышала она от наваррца. Вечером, раздевая графиню, она поспешила сообщить ей о дивном сокровище; по обычаю такого рода людей украсила истину собственными измышлениями и прибавила в заключение, что будь она, Вероника, на месте графини, то уж, конечно, сумела бы найти средство, чтобы овладеть драгоценным камнем, хотя купец и уверяет, что не продаст его ни за какую цену.

— Ибо на все есть средство,— молвила приспешница,— исключая смерти, от которой уже никакие человеческие средства не помогают.

На основании множества примеров из книг священных и светских всему миру известно, что дьявол, древний враг рода человеческого, на искушение и погибель нашу не создавал ни единой столь дерзновенной и неутолимой страсти, как женское любопытство. Не оно ли побудило и праматерь нашу Еву протянуть преступную длань к запретному плоду, поданному змием?

Когда Виоланта услышала о необычайных свойствах, о редкости драгоценного камня и о том, что купец скорее

согласился бы продать свою душу, чем свое сокровище, то почувствовала, как сердце ее разгорается любопытством и желанием, если не обладать этим чудесным камнем, то, по крайней мере, увидеть его. Она ничего не ответила Веронике, легла в постель и велела потушить огонь. Но сон бежал ее глаз, и только утомленные веки слипались, как таинственный драгоценный камень мерещился ей. Рано утром графиня вскочила с постели, объятая таким вожделением, что не могла дальше терпеть, позвала к себе Веронику, которую в это время мучило не меньшее любопытство, и велела ей идти, не медля, к наваррцу, молить и требовать, пока он не согласится продать драгоценный камень за какую угодно цену, если же это ей не удастся, то устроить так, чтобы, по крайней мере, он позволил графине взглянуть на сокровище, ибо — кто знает? — может быть, когда она увидит его, оно покажется ей менее прекрасным, чем она воображает по слухам, и таким образом чрезмерное желание само собою утихнет.

Вероника тотчас же отправилась к наваррцу, рассказала ему все, что случилось, и, чрезвычайно этим обрадованный, начал он снова и еще подробнее объяснять ей, как и почему считает он этот камень столь драгоценным. Если и ранее восхвалял он его немало, то теперь уже окончательно превознес до небес и стал уверять ее клятвенно, что скорее расстался бы с жизнью, чем с этим сокровищем. Тем не менее, желая сделать ей угодное,— прибавил наваррец в заключение,— он, так и быть, согласен показать камень ее госпоже, но только под условием, чтобы при этом никто, кроме их двоих не присутствовал. Вероника, которой не оставалось ничего лучшего, должна была на все согласиться; они условились, в какой час ночи он принесет во дворец свое сокровище, затем она поспешила к Виоланте, изнемогавшей от нетерпения и любопытства, и рассказала ей все.

В условленное время пришел наваррец и принес камень. Это был заостренный бриллиант необыкновенной величины и столь прекрасной воды, что ничего подобного невозможно было себе представить. Повелителю Барселоны достался он от каталонских морских разбойников, которые, миновав Гибралтарский пролив, на своих галерах доплыли до острова Мадеры и отняли этот камень у некоих нормандских пиратов, приехавших в те отдаленные страны в поисках за тем же самым сокровищем. Каталонцы победили норманнов, захватили их в плен и овладели бриллиантом. Впоследствии многие годы принадлежал он королю неаполитанскому, а в настоящее время, как мы слышали, находится у великого турка, повелителя мусульман, который

ценит его выше, чем все остальные свои сокровища, вместе взятые.

Оставшись наедине с Виолантой и ее приближенной дамой, наваррец, прежде чем вынуть из шкатулки драгоценный камень, с особенною важностью, свойственной испанцам, начал его выхвалять, причем клялся им честью, что менее всего ценит в камне его красоту, ибо внутренние свойства его дают ему неизмеримо бо́льшую ценность, чем внешняя красота, затем прибавил, что позволяет им взглянуть на камень, не более,— наконец, отомкнул шкатулку и вынул бриллиант.

Сколь прекрасным ни воображала его себе графиня — в действительности показался он ей еще бесконечно прекраснее, и, когда она им любовалась, душа ее находила неизъяснимую отраду в холодных нежных лучах самого твердого из камней, в котором природа заключила свою первобытную тайну. И загорелось в ее сердце непобедимое желание иметь это сокровище у себя, чтобы вечно им утешаться, ибо она почувствовала, что лучше ей вовсе не жить, чем не утолить свое вожделение. Тем не менее, побуждаемая женскою хитростью, сделала графиня такой вид, как будто была разочарована, и камень ей не слишком понравился; затем спросила наваррца, о каких именно внутренних качествах бриллианта он упомянул. После некоторого колебания, как бы неохотно, ответил он ей.

— Мадонна, когда кто-нибудь сомневается и не знает, какое принять решение в деле трудном и важном, то взглянув в этот камень, ежели предстоит удача, увидит он его прозрачным и светлым, как бы в нем сокрыт был солнечный луч; в противном случае бриллиант покажется чернее беззвездной ночи. Некоторые знатоки утверждают, что это и есть камень мудрости, которого алхимики так долго и тщетно искали, другие же видят в нем скорее произведение белой магии, чем природы. Говорят также, что в древности принадлежал он Александру Великому, который никогда не пускался в поход без него, потом — Юлию Цезарю, и благодаря силе этого бриллианта оба сделались непобедимыми, как вы об этом, конечно, слышали и читали не раз.

Кончив свою речь, наваррец взял камень, запер в шкатулку, простился и ушел.

А Виоланта, оставшись наедине с Вероникой, тяжело вздохнула и хотя не произнесла ни слова, но подумала про себя так:

«Стократ блажен тот, кто обладает столь великим сокровищем! Воистину это и есть камень мудрости, ибо в чем и заключается высшая мудрость, как не в предвиде-

нии будущего? Если бы я обладала этим камнем в то время, как за меня сватался граф каталонский, то уж, конечно, не сомневалась бы и знала, как должно поступить».

Наконец, после многих подобных размышлений, попросила Виоланта свою верную наперсницу еще раз сходить к наваррцу и во что бы то ни стало добиться того, чтобы он продал камень за цену, какую сам пожелал назначить. Вероника, хотя и мало надеялась на успех, чтобы доказать преданность госпоже своей, пошла к нему раз и два, но ничего не достигла и вернулась с ответом, что более никогда никому в мире не решится он показывать камень, не говоря уже о том, чтобы его продавать. Только на третий раз наваррец счел благовременным приступить к тому, что предуготовлял с первого дня возвращения в Тулузу.

— Мадонна,— обратился он к Веронике,— так как ваши усердные мольбы и несравненная прелесть повелительницы вашей графини Тулузы и Лангедока сломили мою волю и побуждают меня лишиться столь великого сокровища, то пойдите и передайте ей мой последний ответ: я готов отдать ей бриллиант, ежели, вместо всякой платы, дарует она мне единственный поцелуй, как своему жениху, и, кроме того, поклянется носить вечно на левой руке, не снимая до самой смерти, вот это простое по виду, но дивное по свойствам железное кольцо: ибо некогда мне было предсказание, что ежели кольцо это будет носить та из женщин, которую я назову прекраснейшей в мире, и ежели она дарует мне хотя бы единственный поцелуй, то на страшном судилище Христовом я буду убелен паче снега, и грешная душа моя спасется. Прошу вас помнить, мадонна, и точно передать вашей госпоже, что кроме клятвы носить это железное кольцо вечно, я ничем ее не связываю и, так как вполне сознаю низость и ничтожество моего темного имени и неизмеримую бездну, отделяющую меня, бедного странствующего купца, от яснейшей графини тулузской, то она может быть вполне спокойна и уверена, что никогда не дерзну я выдать тайны этого первого и последнего поцелуя, а если бы и дерзнул — никто не поверил бы мне, и меня сочли бы жалким безумцем. Не удивляйтесь, мадонна, что за этот единственный поцелуй я отдаю величайшее сокровище, какое у меня есть на земле, ибо я однажды прочел в комментариях к божественному Платону, что и грешному человеку порою достаточно бывает одного мгновения высшего блаженства, чтобы темная душа его очистилась и соединилась с Богом. После этих слов моих, надеюсь, графиня Виоланта убедится, что в сердцах низкорожденных людей скрывается иногда ры-

царское благородство, и более не будет предлагать жалкое золото за то сокровище, в сравнении с коим все золото мира не имеет никакой цены.

Когда наперсница передала графине это неожиданное условие странствующего купца, та не знала, что ей делать: смеяться или негодовать.

— Да он с ума сошел,— воскликнула, наконец, Виоланта,— сколько благородных рыцарей готовы были умереть, не дождавшись моего благосклонного взгляда, а этот жалкий торгаш смеет требовать моего поцелуя. И еще собирается учить меня комментариям Платона! Ему ли помышлять о небесной любви и высшем блаженстве, награде рыцарской доблести? Впрочем, на такую нелепость и сердиться нельзя: должно, скорее, смеяться.

Строго-настрого велела графиня своей приближенной даме отныне не пускать ей на глаза этого сумасшедшего купца и никогда ни единым словом не упоминать ни о нем, ни о его бриллианте, ибо она желала забыть о них, как будто их вовсе не существовало.

Но чем более старалась Виоланта не думать о бриллианте и не желать его, тем более думала и желала, и сердце ее грызла жадная тоска: она впервые в жизни испытывала горечь неисполненного желания. Ночью томила ее бессонница, она потеряла охоту к пище, лицо ее побледнело и осунулось, так что старый граф Ренат смотрел на нее с тревогою и спрашивал — не чувствует ли себя графиня больною.

Каждый вечер, когда Виоланта сидела под тенью лавровых и гранатовых деревьев на террасе перед дворцом, странствующий купец проходил мимо, и чем бледнее и печальнее казалось лицо графини, тем большею радостью и надеждою наполнялось его сердце.

Наконец однажды приступила к ней Вероника, томившаяся любопытством и желанием знать, чем все это кончится. Долго убеждала она графиню покориться и в заключение молвила так:

— Вы знаете, ваша светлость, как сильно я люблю вас, и не можете сомневаться в том, что худого я вам не посоветую. Подумайте же, из-за чего вы терпите такие страдания — из-за какой-то малости. Конечно, я говорю не о драгоценном камне, который, в самом деле, есть великое и неоценимое сокровище,— нет, я говорю лишь о плате, которой требует этот по одежде странствующий купец, а по уму и благородству истинный рыцарь. Не лучше ли носить вечно самое уродливое и грубое железное кольцо на пальце, чем такую печаль в сердце? И что значит этот единственный, первый и последний, поцелуй, за который вы получите столь царственную награду? И какой вам может

быть стыд от него, ежели никто ничего не увидит и не узнает? Я на десять лет старше вас, и у меня больше опытности в делах житейских: поверьте же мне, графиня, если бы сразу все женщины, которые хоть раз в жизни ошибкою поцеловали не того, кого следует, облысели, то промышляющие изделием париков сделались бы скоро самыми богатыми людьми в мире. Итак, пошлите меня к наваррцу с хорошим ответом.

Когда, услышав все эти и еще многие другие доводы, графиня горько заплакала, но не разгневалась, то хитрая Вероника поняла, что упорство ее сломлено и она согласится на все, только бы иметь драгоценный камень. Вот почему удвоила наперсница свои красноречивые убеждения и просьбы, пока Виоланта в знак согласия не кивнула ей головой. Тогда Вероника побежала к наваррцу и сообщила ему благоприятный ответ.

Все так и случилось, как было заранее условлено. Странствующий купец в присутствии наперсницы поцеловал Виоланту весьма почтительно и тотчас же передал ей бриллиант вместе с железным кольцом, которое она надела на безымянный палец левой руки, чтобы никогда более не снимать его. Желание обладать драгоценным камнем, обида и стыд были так сильны в душе Виоланты в то время, как она решилась исполнить требование наваррца, что она не взвесила опасности, которая ей предстояла: ибо рано или поздно отец должен был заметить кольцо на ее руке и спросить, откуда оно. Графиня могла солгать и успокоить отца, сплетая хитрые вымыслы. Но теперь, когда ее желание было утолено, прежняя гордость и благородство проснулись в душе Виоланты и солгать отцу казалось столь же унизительным, как снять железное кольцо, нарушив клятву, данную наваррцу. Вот почему всеми силами старалась она, чтобы граф Ренат ничего не заметил и не спросил ее, и при свиданиях с ним прятала левую руку свою под одежду. Но опасения и заботы так мучили Виоланту, что она не имела ни минуты покоя, и сокровище, которого некогда она страстно желала, стало ей теперь ненавистным. Отец, видя, как тайный червь тоски или болезни подтачивает едва распустившийся цвет ее жизни, нередко спрашивал ее с отеческой нежностью и тревогою о причине скорби, но ответы графини были так уклончивы, что погружали его в еще большие сомнения.

Наконец однажды за вечерней трапезой отец, предлагая Виоланте обычный вопрос, обнял ее с ласкою и взял за руку, которую она прятала под одеждой и на которой было железное кольцо. Граф Ренат заметил его сперва ощупью, потом глазами и спросил ее:

— Откуда это кольцо, дитя мое?

Виоланта опустила глаза и безмолвствовала. Но по ее внезапной бледности и молчанию, он понял, что коснулся сокровенной причины ее скорби и неоднократно повторил вопрос, когда же увидел, что она продолжает безмолвствовать, то сердце его наполнилось несказанной печалью и опасением, что в тайне, связанной с железным кольцом, скрывается нечто постыдное для него и его дома.

— Виоланта,— молвил старый граф,— я даю тебе на размышления эту ночь, но завтра утром я приду в твою опочивальню, и ты скажешь мне все, что у тебя на сердце. Помни, я поверю тебе, что бы ты мне ни сказала, ибо знаю и готов поручиться моей рыцарской честью в том, что графиня Тулузы и Лангедока, хотя бы правда ей стоила жизни, не солжет.

Только что граф удалился, прибежала Вероника и стала горько упрекать ее за то, что она не солгала и не успокоила графа Рената каким-либо вымыслом. Но Виоланта, выслушав ее с презрением, ничего не ответила, ибо непреклонная решимость была в ее сердце, так что она уже более не колебалась и знала, как должно поступить: тотчас же велела наперснице призвать к себе наваррца и, когда он пришел, молвила ему не как слабая, робкая девушка, а как разумная и сильная женщина:

— Мессере, я убедилась в том, что ваш талисман обладает более могущественными чарами, нежели я предполагала. Железное кольцо соединило нас навеки не только перед Богом, но и перед людьми: я должна быть вашей супругой. Приказывайте мне, и я последую за вами, куда вам будет угодно, покорствуя моей судьбе.

Когда граф Роберт услышал эти слова и увидел, что цель его уже почти достигнута, немалого труда стоило ему скрыть свою радость. Но в то же время сердцем его овладела великая жалость к Виоланте, так что он почувствовал желание сделать то, чего она не делала, будучи слабою женщиною,— дать волю слезам. Тем не менее преодолел он свое волнение и молвил так:

— Мадонна, вы знаете, что я человек низкого рода — бедный странствующий купец. Но все мои желания направлены к тому, чтобы жить и умереть свободным от брачного ига. А потому прошу вас: возьмите свои слова назад, ибо я вполне уверен, что из нашего союза ничего, кроме дурного, не могло бы выйти, как для меня, так и для вас.— Он хотел еще многое сказать, но сострадание к Виоланте, надежда ею обладать и страх, чтобы она не раскаялась в своем предложении, заставили его умолкнуть.

— Не забывайте, мессере,— возразила ему графиня,— что человеку дается счастье в жизни только раз, и берегитесь, чтобы Фортуна, посылающая вам ныне такое благополучие, не разгневалась, ежели вы не воспользуетесь им и, будучи бедным странствующим купцом, отвергнете руку графини Тулузы и Лангедока, которая недавно еще не удостоила своим союзом благороднейшего графа Каталонии.

При этих слишком гордых словах Виоланты прежняя обида и жажда мести проснулись в сердце юноши: более не возражая, ответил он, что готов принять ее предложение, но только под тем условием, чтобы графиня забыла навеки, что она — дочь славнейшего графа тулузского, так как, чтобы, не возбуждая подозрений, избегнуть опасности, грозящей ему как похитителю дочери столь могущественного владыки, им придется немедленно покинуть эту страну, переодевшись в нищенское платье, и по пути останавливаться для отдыха в самых бедных гостиницах, где Виоланта должна будет безропотно терпеть всевозможные лишения — усталость, жажду, голод, оскорбления.

— Я предвижу все,— ответила графиня,— и на все готова. Испытайте покорность мою не на словах, а на деле.

— Мадонна, вы меня еще мало знаете,— возразил граф Роберт,— может быть, я человек нрава угрюмого и жестокого. Что, ежели потребую я от вас того, что не согласилась бы исполнить не только благородная графиня, но и последняя из ваших служанок? Будете ли вы мне послушной во всем до конца и в жизни и в смерти, ибо без великого послушания не может быть разумного, доброго союза между мужчиной и женщиной?

— Так же как некогда,— отвечала графиня,— свобода, так ныне покорность моя будет беспредельной, ибо не вы меня, а я сама себя победила.

Когда на следующее утро старый граф вошел в комнату дочери — она была уже далеко от стен Тулузы, на большой дороге к Пиренеям вместе со своим новым супругом — странствующим купцом. Граф долго не хотел верить своему несчастию: так же, как многие придворные, полагал он, что Виоланта удалилась тайно в один из многочисленных монастырей, находившихся поблизости Тулузы, и что все это — не более, как одна из ее обычных своевольных прихотей. Вот отчего первые поиски направлены были не туда, куда следовало, чему способствовала и хитрость Вероники, которая лгала за двоих, успокаивала графа и так ловко выгораживала себя, что ей удалось выйти сухой из воды.

Когда же через некоторое время граф Ренат начал поиски по большим дорогам и на постоялых дворах, беглецы,

выдавая себя за пилигримов, идущих по обету в монастырь Якова Галисийского, давно уже переступили границу Лангедока.

Виоланта оставалась верной данному слову, безропотно переносила все лишения, ела грубую пищу, спала на голых досках, терпела зной и холод, несказанную усталость, муки тела и духа с молчаливою покорностью. Но по странной прихоти своего сердца граф Роберт не чувствовал себя удовлетворенным этим наружным смирением. Лицо ее загорело и осунулось, ноги были изранены острыми каменьями, золотые кудри потускнели от пыли. Но, хотя она не жаловалась, ему казалось, что есть непобедимое упрямство и скрытое высокомерие в ее молчании и покорности, и красота ее под бедною одеждою странницы была более царственной и величавой, чем под роскошною одеждою графини тулузской.

«Унижение паче гордости,— думал граф,— она покорилась мне телом, но не духом. О чем она думает? Зачем она молчит? Может быть, уже догадалась, кто я, ждет, чтобы я заговорил с нею первый, и не просит, не хочет моего прощения. Теперь она презирает меня более, чем в тот день, когда отвергла руку из-за упавшего граната!»

Но порою в тишине ночи, когда он оставался один, душу его наполняла неизъяснимая жалость и, по дивному противоречию сердца человеческого, он плакал от сострадания, вспоминая те муки, которые сам ей причинил. Когда же они снова встречались и граф Роберт видел ее гордое смирение, то жалость изгонялась из сердца его жестокостью, ибо непобедимая, молчаливая покорность Виоланты казалась ему притворной и оскорбительной.

— Унижение паче гордости! — повторял он про себя и, чем более жаждал он простить ее, тем более казнил и мучил, так что железное кольцо любви, неумолимой, как ненависть, и ненависти, страстной, как любовь, соединяло их все неразрывнее.

Через некоторое время пришли они в главный город Каталонии — Барселону, где, по своему обыкновению, граф Роберт остановился в одном из самых тесних и грязных постоялых дворов на выезде города. Здесь, согласно с волей своего повелителя, зарабатывая хлеб трудами рук своих, как последняя из служанок, должна была графиня исполнять всякую черную работу: убирать постели, мыть посуду, задавать корму ослам и мулам поселян, приезжавших на ярмарку из окрестных селений. Но так как все это делала она послушно и безропотно, причем муки телесные и унижения только увеличивали ее недосягаемую прелесть, то граф недоумевал, какое изобрести новое и неслыханное

испытание, чтобы узнать, есть ли предел ее непреклонному смирению.

— Слушай, Виоланта,— сказал он ей однажды,— завтра в мастерской портного я хочу устроить выпивку, чтобы отпраздновать именины одного колбасника, моего закадычного друга. Надо купить хлеба, но так как в настоящее время он вздорожал, а денег с тех пор, как ты со мною, и без того выходит чересчур много, то вот что я придумал: завтра на заре хозяйка этой гостиницы будет печь хлеб: предложи ей помочь и, возвращаясь от печи с корзиной готового хлеба, будто у тебя что-нибудь упало, наклонившись, вынь из корзины четыре хлеба и спрячь их к себе в карман. Услужи мне в этом деле, будь доброю. Часа через два или три после завтрака я приду за хлебом.

Так он промолвил и пристально взглянул ей в глаза, ожидая ответа. Довольно было бы одного упрека или жалобы, чтобы вся его жестокость сразу превратилась в жалость к Виоланте. Но графиня молча потупила глаза и покорным наклонением дала ему понять, что готова исполнить его приказание.

Наутро, с точностью следуя воле супруга, украла она у хозяйки четыре хлеба.

В это же самое время граф Роберт в одежде пилигрима вернулся во дворец к немалому утешению своих родителей, которые давно беспокоились о его долгом отсутствии, тотчас же переоделся в роскошное платье, взял с собою блестящую свиту пажей и рыцарей, сел на коня и поехал, как бы для прогулки, к той самой бедной гостинице, в которой оставил свою жену. Завидев столь великолепных всадников, все обитатели постоялого двора высыпали на улицу; вышла также и хозяйка гостиницы с Виолантой, только что укравшей четыре хлеба. Граф Роберт, у которого на лице была черная маска, остановился перед крыльцом, указал на Виоланту и спросил хозяйку:

— Кто эта девушка?

Хозяйка почтительно ответила ему и объяснила все.

— Послушайте, добрая женщина,— произнес граф Роберт,— судя по вашему виду, вы немало времени пожили на белом свете, а между тем ничему не научились. Если я что-нибудь смыслю в наружности людей, то эта девушка — самая искусная воровка. Смотрите же за ней в оба, а то она вас обокрадет.

Хозяйка, огорченная столь грубыми и обидными для Виоланты словами, начала ее оправдывать и восхвалять. Тогда незнакомец в черной маске промолвил:

— Если так, то я желаю, чтобы вы собственными глазами убедились в правоте моих слов: подымите ей платье

и загляните в карман юбки. Вы увидите, что недаром семь лет в университете Толедо изучал я белую магию и некромантию.

Виоланта побледнела, но из уст ее не вырвалось ни жалобы, ни упрека, когда хозяйка, более из послушания столь важному и ученому господину, чем из подозрения, заглянула в ее карман и в самом деле нашла украденные хлебы. Честная женщина казалась не менее опечаленной и пристыженной, чем сама Виоланта, а некромант рассмеялся недобрым смехом; спутники начали восхвалять его за удачную шутку и, пришпорив коней, все поехали дальше.

В это время мать Роберта, графиня каталонская, вышивала жемчугом великолепные церковные воздухи для придворной капеллы. Сын, узнав об этом, пообещал прислать ей одну бедную и скромную французскую мастерицу, весьма искусную в рукоделии, затем, переодевшись купцом, пошел в гостиницу и велел жене своей тотчас же идти во дворец, где ожидает ее выгодная работа, и во время вышивания украсть побольше крупных жемчужин, положив их в рот.

Виоланта исполнила все, что ей было приказано, пошла во дворец, принялась за работу и, улучив удобную минуту, положила себе в рот под язык четыре крупные жемчужины. Только что это сделала, как в комнату вошел знакомый некромант в черной маске и при всех обличил ее кражу насмешливыми и жестокими словами.

Когда несчастная Виоланта вернулась домой на постоялый двор, туда же пришел граф Роберт, опять переодевшись странствующим купцом, и, приступив к ней, молвил так:

— Сколь великое и несносное бремя навалил я себе на плечи, взяв тебя в жены, ибо я убедился, что нет и не будет мне от тебя никакого проку: вот уже дважды осрамила ты меня перед людьми сначала с хлебами, потом с жемчугом. Но хотя я, может быть, и кажусь тебе человеком суровым, на самом деле сердце у меня доброе, и я жалею тебя. Так как завтра большой праздник и работы не будет — нечего тебе сидеть дома да скучать. Ступай-ка лучше во дворец, где будет великолепное и невиданное торжество по случаю бракосочетания наследного графа каталонского с дочерью короля арагонского, самою разумною и прекрасною девушкою, какую когда-либо видели в Испании. Воистину, граф Роберт должен благодарить Бога, что ты отказала ему из-за упавшего граната, ибо теперешний брак его куда счастливее по родне, богатству и красоте невесты. Итак, ступай-ка во дворец — походишь, посмотришь, а главное, постарайся украсть что-ни-

будь поискуснее, чтобы тебя снова не поймали и не осрамили. Ежели ты на этот раз исполнишь все так, как я этого желаю и приказываю, то я тебя прощу и отныне буду считать не балованной и ленивой дармоедкой, а покорною женою и разумною помощницею.

Так он сказал, сам в тайниках души ужасаясь своей жестокости, и хотя Виоланта близка была к отчаянию, но до конца не изменила себе и не выдала своих страданий ни слезой, ни упреком, ни жалобой.

На следующий день, исполняя волю господина своего, графиня пошла во дворец, где увидела множество веселых и прекрасных дам, пажей и рыцарей. Посередине залы накрыт был длинный стол, уставленный золотыми и хрустальными сосудами, с двумя престолами под царственным балдахином — один для жениха, другой для невесты. Виоланта остановилась робко в темном и дальнем конце залы среди придворных служителей, которым из милости дозволили взглянуть на празднество, и, затаив дыхание, ни живая, ни мертвая, ожидала появления новобрачных. Грянули трубы и литавры, и в толпе послышался шопот: «Идут новобрачные». Потом наступила тишина, и любопытные взоры устремились на запертые двери, в которые должны были войти жених с невестою.

Двери открылись, но, вместо жениха и невесты, вошел хорошо знакомый Виоланте некромант, рыцарь в черной маске. Она вскрикнула от ужаса, ноги у нее подкосились, так что она едва не упала. Но рыцарь сквозь толпу подошел прямо к ней, к девушке в бедных, рабских одеждах, преклонил колени и, когда снял он маску, Виоланта узнала в нем своего жениха, графа каталонского.

— Светлейшая графиня Тулузы и Лангедока,— молвил рыцарь,— я умоляю вас о прощении тех страшных и бесчисленных обид, которые в образе странствующего купца я причинил вам моею жестокостью, ибо, как ни отлична любовь от ненависти, но нередко случается, что и мудрые люди принимают одну за другую и, любя, причиняют обиды и страдания любимому, как бы питая к нему величайшую ненависть. Я предоставлю вам, мадонна Виоланта, свободный выбор — и вы можете во второй раз отвергнуть меня, как недостойного: перед людьми и перед Богом я освобождаю вас от связующей нас клятвы, от железного кольца. Но ежели вы пожелаете принять мое раскаяние и простить, то любовь моя отныне будет непрестанным благоговением перед величием вашей покорности.

Виоланта ничего ему не ответила, но слезы счастья струились по ее щекам и, наклонившись к нему, она поцеловала его в уста.

Трубы и литавры грянули еще торжественнее, граф каталонский взял свою супругу за руку, повел ее на приготовленный престол, и сердца их соединились в таком блаженстве, какого мы и вам пожелаем во веки веков, любезные слушатели, благороднейшие дамы и рыцари.

РЫЦАРЬ ЗА ПРЯЛКОЙ

Новелла XV века

Предки барона Ульриха были богаты и вели роскошную жизнь. Отец, расточив бо́льшую часть имения, оставил сыну замок в Богемии и немного земли, которая приносила доходов столько, сколько нужно, чтобы жить одному неприхотливому человеку. Молодой барон был нрава беспечного и доброго, не умел выжимать из крепостных оброки, как это делали соседние помещики, и когда ему предстояли неожиданные расходы, предпочитал занимать деньги за высокие проценты у ростовщиков или закладывал клочки дедовского имения алчным немцам и жидам. Рыцарь мало заботился о будущем, и так как редко принимал гостей, вел тихую уединенную жизнь и, кроме двух страстей — к лошадям и книгам, привычки имел скромные, то ему хватало, и он никогда не думал о своей бедности. Случалось, что старый верный управитель-кастеллан приносил ему с тревожным лицом толстые приходо-расходные книги, записи жидовских долгов и хозяйственные счеты, но молодой барон отмахивался от него, как от надоедливой мухи, и не хотел заглянуть в эти единственные из рукописных книг, которые были ему ненавистны.

— На мой век хватит,— говаривал Ульрих с беспечной улыбкой и продолжал покупать привозимые из Италии и Византии драгоценные пергаменты с миниатюрами и благородных лошадей, потихоньку разоряя свое имение, к прискорбию сумрачного управителя.

Ульрих был честен и ленив — два главных свойства, которые мешают людям приобретать деньги. Пробовал он служить, но военная служба показалась ему тяжелой. Скоро вернулся барон в свой замок и окончательно поселился в нем. Жил он совсем один с немногими старыми слугами, не томясь одиночеством, скорее находя в нем отраду; из великолепного опустевшего замка занимал Ульрих не более двух, трех покоев, которые казались ему уютнее других. Соседи называли его полупомешанным, философом, алхимиком, или же, попросту, деревенским увальнем и рох-

лей. Но рыцарь мало заботился о том, что говорят соседи. Он чувствовал себя если не счастливым, то беспечным и свободным. Бо́льшую часть дня проводил в охоте на волков и медведей, которых в те времена водилось множество в лесах Богемии. Удил рыбу, потому что любил тишину глубоких вод, которые иногда казались ему похожими на его собственное сердце. Или же, подобно старому римскому императору Диоклетиану, удалившемуся от суетной власти, о котором он читал в книге итальянского гуманиста Флавио Биондо, озаглавленной «Libri Historiarum ab inclinatione Romanorum»[1],— копал гряды на огороде, сажал плодовые деревья и обчищал их, подрезая лишние ветви большим садовым ножом. Но самая приятная часть дня наступала после ужина: в долгие осенние и зимние вечера, когда ставни на окнах содрогались от ветра, шумел дождь или завывала вьюга, в громадном закоптелом очаге с пышными каменными гербами разводили огонь. Ульрих в мягкой заячьей шубе садился поближе к трескучему пламени, наливал кубок доброго вина, брал одну из любимых книг и погружался в чтение. То были латинские хроники деяний греков и римлян, описания путешествий в далекие страны, только что тогда входившие в моду новеллы итальянских писателей или сладкозвучные сонеты божественного Петрарки. Ульрих порой отрывался от книги, подолгу смотрел на пламя в камине, и слезы одинокого счастья, рождаемого гармонией, струились по его щекам. Или же, размахивая руками, громко декламировал те строки, которые ему особенно нравились, пробуждая ночное эхо в темных сводах; и под завывание северной вьюги удивительными и волшебными казались певучие рифмы, созданные в стране южного солнца.

Ульрих был высок, худощав, обладал большою силою в руках, голос имел тихий и приятный, волосы такие светлые, что они казались почти белыми, как будто седыми, глаза ленивые, бледно-голубые, но в них вспыхивал иногда огонь,— и медведицы богемских лесов, на которых он хаживал один с двумя охотничьими псами, чувствовали перед смертью, как опасен этот внезапный огонь в глазах Ульриха.

Однажды, в зимнюю стужу, случилось барону выехать на медвежью охоту в дремучий лес, далеко отстоявший от замка. Охота была счастливой, доезжачие взвалили на сани пушистую громаду убитого зверя и собрались домой. Завечерело, поднялась вьюга, снегом замело лес-

---

[1] «Историческая книга об упадке Римских владений» (*лат.*).

ные тропы, и охотники заблудились. Ночью напало на них стадо волков. Они едва не погибли и не замерзли. К счастью, Ульрих заметил в горах сквозь белую мутную мглу огонек. Подъехали к замку. Когда на крики и стук их отворились ворота и рыцарь услышал имя владельца, то сперва хотел вернуться назад в лес. В замке жил враг; отцы и деды этого рыцаря с незапамятных времен ненавидели семейство Ульриха. Столетия длилась вражда, породившая многие злодейства. Только в последние годы, когда почти все члены обоих родов, кроме двух сыновей, перемерли, вражда утихла. Молодые люди никогда не встречались.

Ульрих подумал, что ему надо выбрать одно из двух: или замерзнуть и быть съеденным волками в лесу, или искать убежища в доме врага. Он предпочел последнее. Когда Арнольф — так звали владельца замка — узнал имя нежданного гостя, то, исполняя рыцарский долг, тронутый благородною доверчивостью Ульриха, дружески пригласил его в свой дом. Замерзшие охотники скоро отогрелись у гостеприимного очага, и Ульрих с Арнольфом разговорились так, как будто они были старыми друзьями. Когда подали ужин, к столу вышла молодая девушка, сестра Арнольфа. Ее звали Дианорой, и Ульрих узнал впоследствии, что ее мать была итальянкой, дочерью одного сиенского купца. Арнольф родился от первого брака, от другой матери.

Дианора с первого взгляда понравилась Ульриху. Вспоминая выражение одного итальянского поэта о прекрасной флорентинке Симонетти, он мысленно назвал прелесть Дианоры «смиренно-гордою». Матовая бледность ее лица под гладкими, черными и блестящими волосами напоминала твердые и свежие лепестки белых цветов в черно-зеленой листве апельсиновых и лимонных деревьев той страны, которую Дианора считала своей родиной и любила, хотя никогда ее не видела.

Оба рыцаря расстались друзьями, и память о старой вражде рассеялась, ибо они были молоды, великодушны и не имели причины желать друг другу зла.

С тех пор Ульрих стал посещать замок Арнольфа, благословляя ту жестокую вьюгу, которая привела его в жилище Дианоры, и каждый раз она казалась ему еще прекраснее.

Скоро он узнал, что Арнольф беден и должен выдать сестру замуж почти без приданого: это сделало Ульриха смелее и, уверившись в его благосклонности, он решился попросить у брата руки сестры. Видя благородную любовь рыцаря и желая увековечить кровным сою-

зом новую дружбу, Арнольф, после некоторого колебания, согласился.

Великолепные покои замка, где молодой отшельник недавно вел тихую жизнь, наполнились брачным весельем. Скоро Ульрих увидел, что не ошибся в своем выборе, так как Дианора была доброю женою.

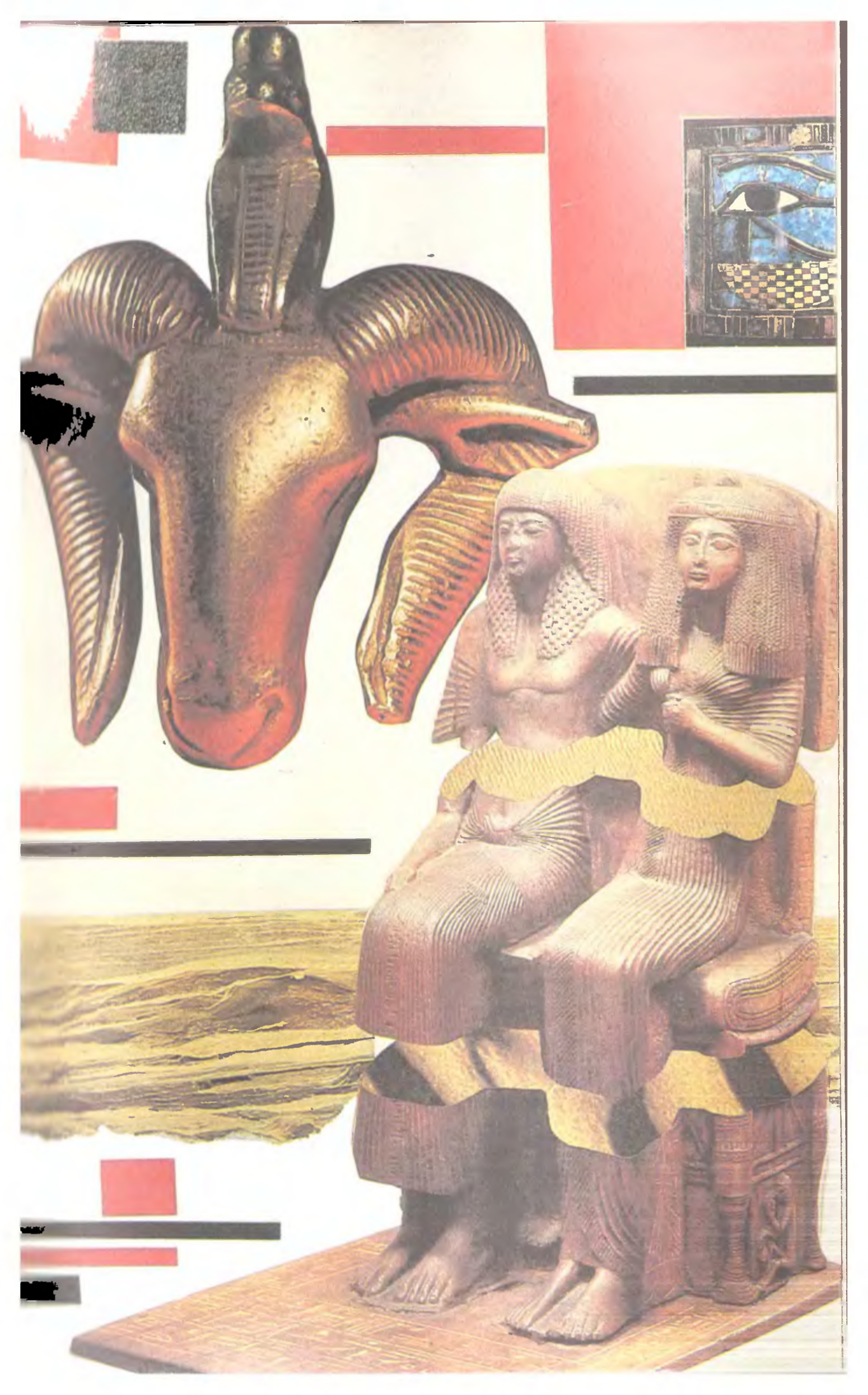
Несмотря на свою бедность, он делал ей роскошные подарки, купил прекрасную флорентинскую лютню, украшенную перламутром, и когда проезжали московские купцы с мехами, поспешил продать тополиную рощу и подарил Дианоре драгоценную шубу пунцового бархата, опушенную соболем.

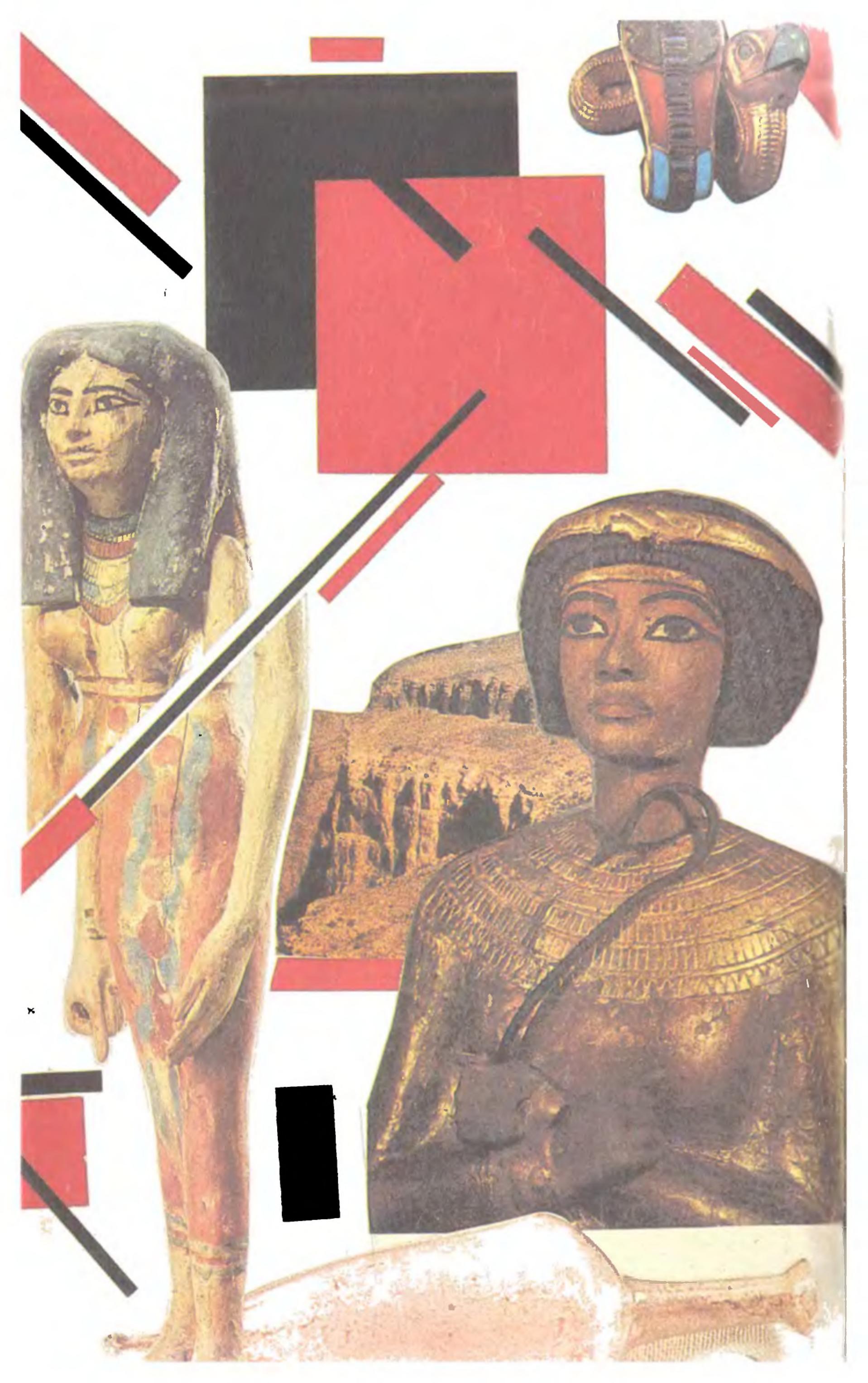
В замке все чаще стали появляться подозрительные заимодавцы, все с большею решимостью подписывал Ульрих жидовские векселя. И лицо старого верного управителя становилось мрачнее. Наконец он добился своего, показал Ульриху счетные книги, объяснил все, и рыцарь увидел, что через год ему предстоит нищета.

Дианора ничего не знала и казалась совершенно счастливою. Теперь только понял Ульрих горечь бедности. Беспечность покинула его, и скоро жена заметила сердечную тревогу мужа. Но так как жемчужина всех женских добродетелей — стыдливая скромность — украшала Дианору, то она не дерзала спросить супруга о причине этой тревоги.

Наконец, однажды вечером, когда, по старому обычаю, он сидел с кубком вина и книгой у камина и думал невеселую думу, а Дианора тонкими пальцами перебирала струны лютни, решилась она спросить мужа, какая забота омрачает душу его. Ульрих смутился и хотел скрыть тревогу притворною веселостью, но, чувствуя в ее взорах нежную укоризну за то, что он не хочет разделить с нею горя, не вытерпел и сам открыл ей все. Тогда Дианора воскликнула радостно:

— Благословен да будет Создатель мой, посылающий мне такое легкое испытание! Ибо я ждала гораздо худшего. В юдоли плача и воздыхания, именуемой земною жизнью, человека подстерегают на всех путях его вражда, болезнь, безумие, смерть и многие другие страдания, среди которых бедность еще самое отрадное. Да не смущается сердце господина моего. В доме брата я не привыкла к роскоши. В этом прекрасном замке есть все, что нам нужно. С голода мы не умрем: хлеба, плодов и вина хватит на двоих. О чем же горевать? Мы будем жить просто и умеренно, как учат древние мудрецы, книги которых так любит ваша милость, и я питаю уверенность, что многие земные владыки могли бы позавидовать нашему счастью.





Так сказала она,— мудрость озарила лицо ее, и никогда красота Дианоры не казалась Ульриху такою царственной. Рыцарь склонил перед нею колени, поцеловал ее тонкие бледные руки и сказал:

— Слова твои, Дианора, кажутся мне прекрасными. Но ты, как женщина молодая и не искушенная опытом жизни, заботишься только о сегодняшнем дне и о нас двоих, между тем как я предвижу будущее. Тебе, быть может, небезызвестно, что мой великодушный король и повелитель, Маттиас Корвин, любит меня не меньше, чем отца моего и деда. Я слышал, что готовится новый поход в землю неверных: король с радостью примет меня, даст мне почетное место в своем войске, и ежели мне удастся заслужить его милость,— на что я питаю твердую надежду,— то он наградит меня с обычною щедростью, за которую стоустая молва недаром прославила его у всех народов.

Ульрих умолк на мгновение, и жена спросила его:

— Что же препятствует господину моему исполнить это мудрое намерение?

— Дианора! Как оставлю я тебя одну в этом уединенном замке, такую молодую и неопытную?

— Но разве ваша милость еще не уверилась в том, что я добрая хозяйка? Вам нечего бояться. Старые верные слуги не покинут меня. К тому же у замка глубокие рвы и железные решетки...

— О, милая, ни глубокие рвы, ни железные решетки не защитят тебя от этих двуногих волков, которые, почуяв, что есть для них лакомая добыча (ибо ты ведь знаешь, Дианора, что красота твоя славится по всей Богемии), сбегутся, чтобы похитить у меня самое драгоценное...

Тогда Дианора подняла на него свои ясные глаза и молвила:

— Я сохраню честь господина моего и в жизни и в смерти.

И она взглянула на него так, что рыцарь поверил, и если бы теперь весь мир свидетельствовал против нее, не усомнился бы. Тогда он уже более не колебался и решил поступить на службу к королю.

Не желая медлить, продал все лишнее, часть денег взял с собою на дорогу, другую оставил жене и назначил день отъезда.

Знаменитый король венгерский Маттиас Корвин благосклонно принял Ульриха и дал ему при дворе столь же почетное, как и выгодное место. Когда же Маттиас выступил в давно замышляемый им поход против неверных, то поручил богемскому рыцарю защиту пограничной крепости, которую осаждал предводитель турков Мустафа-

паша. Рыцарь вел войну с таким успехом, что скоро приобрел славу храброго и мудрого военачальника. Каждый день получал он от государя щедрые подарки, между прочим, прекрасный замок с обширными землями и угодьями, приносившими немалый доход. Скоро Ульрих настолько поправил свои дела, что мог заплатить долги, выкупить заложенные земли, и уже помышлял о возвращении домой.

Жена Маттиаса Корвина, прекрасная королева Беатриче Арагонская, дочь неаполитанского короля Фердинанда Старшего, подобно большинству тогдашних итальянских принцесс, будучи женщиной образованной, считала своим долгом покровительствовать ученым, поэтам и привлекать их к своему двору. Многие знаменитые гуманисты приезжали к ней из Франции, Италии и Греции.

Барон Ульрих, который был приятным собеседником, заслужил особенную милость королевы. Она не раз ходатайствовала за него перед супругом и, так как рыцарь справедливо считал самым презренным из всех человеческих пороков неблагодарность, то ему нередко случалось сетовать на судьбу за то, что она не представляет удобного случая доказать королеве его преданность.

Когда он вернулся из похода на неверных, Беатриче попросила его остаться при дворе ее некоторое время. Как ни стремился Ульрих домой, но не мог отказать великодушной покровительнице в этой просьбе и согласился отложить свой отъезд.

Беатриче, следуя приятному итальянскому обычаю, по вечерам, когда спадал жар, приглашала все общество, сходившееся вокруг нее: придворных дам, кавалеров, ученых, поэтов, гуманистов, в обширный прекрасный сад, находившийся неподалеку от дворца. Здесь, под открытым небом, среди цветов и деревьев, царствовала непринужденная веселость. Юноши и молодые девушки играли в мяч, водили хороводы, пели песни на свежем зеленом лугу. А старшие, под тенью сосен и дубов, на удобных скамьях из дерева, вокруг журчащего фонтана, вели беседы, рассказывали по очереди смешные или поучительные новеллы, затевали споры, которые Беатриче всегда умела направлять к возвышенным предметам человеческого созерцания.

Однажды, в летний вечер, как это часто бывает в обществе, где есть много прекрасных дам и кавалеров, зашла речь о любви. Одни, по преимуществу люди старые, искушенные в лицемерии и пороках, превозносили любовь небесную, платоническую. Другие, более молодые и чистые сердцем, выражали насмешливое недоверие к неземной любви, стараясь показаться более старыми и опытными во зле, чем были на самом деле. И, как тоже всегда бывает, в по-

добных разговорах, среди собеседников нашелся один наиболее упорный и яростный враг женщин, который, извинившись перед королевой и признав, что она — единственное прекрасное исключение из правила, дал волю злому языку и начал доказывать красноречивыми примерами из древних и новых писателей, из Библии и мифологии, что женщины — самое порочное и опасное существо под луною. С особенным озлоблением нападал он на непостоянство их — причину всех человеческих бедствий, утверждая, что не было, нет и не будет такой женщины, за верность которой можно бы поручиться. Ему возражала сама королева Беатриче и намекнула на супругу барона Ульриха Дианору, которая славилась своей добродетелью не менее, чем красотою. Ульрих тихонько встал и удалился.

Тогда Беатриче, заметив его отсутствие, начала уже открыто восхвалять добродетели прекрасной Дианоры, называя ее по имени, что было неприятно многим, ибо ее мужу все при дворе завидовали. Между прочим, один из присутствующих, приезжий польский рыцарь, пан Владислав, человек неглупый, но самонадеянный, считавший себя победителем женщин, молвил так:

— Ваше величество, я не имею чести знать добродетельной супруги барона Ульриха, которую вы только что восхваляли с обычным вашим красноречием, скорее божественным, нежели человеческим. Но не во гнев будь сказано вашей мудрости, я считаю себя не меньшим знатоком в этих делах, чем кто-либо другой, и полагаю, что мадонна Дианора — такая же дочь прародительницы нашей Евы, пожелавшей вкусить от запретного плода, как и все остальные жены. Не раз случалось мне замечать, что именно те из них, которые особенно прославляются за добродетель и с наибольшим упорством противятся самым жарким и долгим мольбам, нежданно-негаданно уступают любовному взгляду первого встречного юноши, одному слову, одному вздоху, одной притворной слезе и гораздо быстрее других попадаются в сети соблазна. Есть ли кто-нибудь из живущих на свете, кто мог бы иметь твердую уверенность в подобном деле? Кто знает неисповедимые тайны их сердца? Полагаю, что никто, кроме Господа Бога. Что это так и что Дианора нисколько не лучше других женщин, я берусь доказать не на словах, а на деле и побиться об заклад, причем поставил бы не каких-либо двести-триста дукатов, а все мое имущество.

— Мессер Владислав,— возразила королева с вежливой улыбкой, хотя не без досады,— вы говорите с такою смелостью только потому, что знаете, что в этом споре никто не пожелает биться с вами об заклад.

Тогда все заговорили еще с большею горячностью, перебивая друг друга, споря, смеясь. Одни, желая угодить королеве, превозносили до небес добродетель Дианоры, а другие, надеясь, что из этого может выйти что-нибудь неприятное для Ульриха, подзадоривали самонадеянного поляка, который славился своей неблагоразумной любовью ко всяким хвастливым спорам, поединкам и закладам.

— Ваше величество! — воскликнул, наконец, пан Владислав,— никогда еще не отступал я от слов моих и теперь не отступлю: я утверждаю, и готов поручиться в том всем моим достоянием, что если бы я находился там, где обитает прославленная Дианора, и мог бы некоторое время побыть с нею наедине, то мне скоро удалось бы смягчить это сердце, которое отличается, ежели верить молве, твердостью адаманта и алмаза.

Все немало удивились необыкновенной смелости Владислава и хотя явно оспаривали его, втайне сочувствовали и желали ему успеха. Многие из присутствующих дам уже смотрели на польского рыцаря как на героя и не отказались бы подвергнуться искушению Дианоры — так понравилась им безумная решимость его, которую они громко, с притворным негодованием порицали.

Среди придворных кавалеров был один друг Владислава — венгерский барон Альберт, юноша красивой наружности, с розовыми щеками, как у молодой девушки, и длинными золотистыми кудрями. Он одевался роскошно, по ломбардской моде, в шелковые разноцветные ткани с вырезами, фестонами, зубчиками, лентами и бантами, так что походил на редкую заморскую птицу с блестящими перьями; был придворным поэтом, краснобаем и любимцем женщин. Альберт присоединился к своему другу и объявил королеве, что ежели пари состоится, то и он вместе с польским рыцарем готов биться об заклад, поручившись всем своим имуществом, что одному из них удастся склонить к неверности добродетельную Дианору.

Никакие увещания и доводы не могли сломить упорства обоих друзей — поляка и венгерца, которые стояли на своем, как будто от этого зависела их честь.

В это время по саду проходил король Маттиас Корвин, наслаждаясь вечернею прохладою. Услышав громкие голоса споривших, он подошел и пожелал узнать, о чем они беседуют. Когда же ему все рассказали, король весело рассмеялся и молвил так своей супруге:

— Я не советовал бы вашей милости настаивать в таком деле, слишком опасном для нашего общего друга, доблестного рыцаря Ульриха, которому вы, надеюсь, не менее, чем я, желаете блага. Воистину, кто поручится

за добродетель самой добродетельной из женщин? Полагаю, что от такого неверного поручительства откажется и барон Ульрих, как человек благоразумный и предусмотрительный. Что может быть ненадежнее сердца женщины, муж которой отсутствует из дома почти два года? Оставьте же этот спор и лучше уступите.

Шутливые слова короля задели Беатриче за живое. Она обратилась к присутствующему приезжему легисту [1] из Падуанского университета, Курцию Аттелану, и спросила, можно ли придать этому делу законную форму. Доктор обоих прав [2], желая показать свое искусство, ответил, что ничего не может быть легче. Тогда королева с женским упорством и горячностью велела принести бумагу, чернила, перья и тотчас же, в присутствии короля, пригласила падуанского легиста составить необходимый нотариальный акт: пан Владислав и рыцарь Альберт обязываются отдать все свое имущество, движимое и недвижимое, знаменитому и доблестному рыцарю богемскому Ульриху в том случае, ежели ни одному из них не удастся склонить к неверности в течение двух месяцев от заключения этого договора супругу вышереченного Ульриха — Дианору.

Королева втайне надеялась, что в последнюю минуту поляк и венгерец поймут свое неблагоразумие, не подпишут договора, и что таким образом ей удастся обратить все дело в шутку и пристыдить хвастливую самонадеянность мужчин к торжеству женщин.

Но случилось иначе. Альберт и Владислав подписали договор, и теперь оставалось только получить подпись барона Ульриха.

Королева тотчас же удалилась в свои покои и, оставшись наедине с Ульрихом, попросила его согласия. Барон не сомневался, что выиграет заклад; что все это дело должно обратиться в смех и стыд обоим рыцарям и в прославление целомудренной Дианоры, а потому, не желая оказаться неблагодарным перед великодушной покровительницей и зная, каким непобедимым упорством в прихотях отличаются женщины, когда они избалованы властью, он, чтобы доказать сердечную преданность королеве, дал свое согласие и подписал неслыханный договор.

На следующее утро Альберт, который должен был первым попытать счастья, собрался в путь и через несколько дней прибыл в Богемию, в то место, где находился замок барона Ульриха.

---

[1] Легист — законник, знаток законов.
[2] Доктор канонического и гражданского права.

Он остановился с лошадьми и слугами в соседней гостинице и послал предупредить Дианору, что он явится в замок засвидетельствовать свое почтение и передать ей сердечный привет от королевы Беатриче и от ее мужа.

На следующий день, не подозревая ничего дурного, Дианора встретила Альберта ласково, как и подобало гостеприимной хозяйке. Зная о необыкновенной любви Дианоры к Италии, родине ее матери, венгерец придумал целую басню, чтобы заслужить ее первое внимание: рассказал, что несколько лет тому назад имел счастье посетить эту прекрасную страну, и она так ему понравилась, что с тех пор он тоскует о ней, как о своей родине, и желает вернуться в нее. В настоящее время, исполняя это давнее намерение, перед тем, чтобы направить свой путь в Италию, он приехал в Богемию повидать больного старого дядю. Таким образом объяснив свой приезд, он заговорил о прекрасных городах Италии, о царице лагун — Венеции, о Милане, Флоренции, Риме и Сиене. Рассказы его очень понравились Дианоре, и она попросила Альберта прийти еще раз.

Он стал посещать замок, играл ей на лютне, читал стихи, пел, забавлял веселыми шутками, новеллами, и во всех его действиях, взорах и словах ничего не выражалось, кроме невинной дружбы и рыцарской почтительности.

Но скоро тени глубокой задумчивости все чаще стали омрачать лицо юноши. Он слушал ее рассеянно, отвечал невпопад, смотрел на нее подолгу, молча, как будто хотел что-то сказать или спросить, но ничего не говорил и уходил поспешно. Дианора была так неопытна в любви, что не понимала этой игры и расспрашивала Альберта с искренним участием, что с ним, какая забота наполняет его сердце.

Однажды, играя на лютне, той самой, которую подарил ей Ульрих, Альберт запел тихую старую песню любви, унылую и нежную, как долгий страстный вопль. Дианора заслушалась и почувствовала неодолимое смущение. Вдруг он оборвал песню, отложил лютню в сторону и закрыл лицо руками.

Полная сострадания, она тихонько коснулась его плеча и спросила о причине скорби.

— Мессере, если я что-нибудь могу сделать для вашего блага,— прибавила она,— то, видит Бог, я готова.

Тогда он упал перед ней на колени и, обливаясь горячими слезами, стал говорить о любви.

Дианора молчала в ужасе. Наконец, опомнившись, велела ему уйти.

Когда Альберт увидел, что мольбы напрасны, то ре-

шился прибегнуть к последнему средству. Сбросив с себя личину притворного смирения, он объявил, что не остановится ни перед каким преступлением, чтобы достигнуть цели, что готов погубить свое тело, свою душу и рыцарскую честь, ибо любовь оправдывает все; что он сумеет оклеветать ее перед мужем: нанести себе сам в ее доме тяжелую рану и скажет, что она велела своим слугам убить его из мести за то, что он не соглашался обмануть с нею Ульриха.

Когда Дианора услышала эти угрозы, то жалость к нему превратилась в ненависть.

Притворившись побежденной страхом и любовью, она сказала, что, во избежание больших несчастий, уступает ему, но так как уверена, что барон Ульрих убьет ее, если узнает от слуг об измене, то просит Альберта прийти на свидание в одну отдаленную башню замка, где никто не может их видеть и слышать, подробно объяснив ему те приметы, по которым он мог найти эту башню.

Одевшись в роскошные одежды, Альберт на следующий день в условленный час пошел в замок и по указанным приметам отыскал темную пустынную галерею, которая привела его прямо к двери желанного покоя в отдаленной башне, который назначен был для свидания.

Дверь была открыта настежь, и рыцарь не вошел, а впорхнул в нее, не чувствуя под собою ног от радости. Он притворил тяжелую, окованную железом дверь, устроенную так, что изнутри ее нельзя было открыть без ключа. Когда Дианора, спрятавшаяся неподалеку, услышала, что мышеловка захлопнулась, она заперла ее еще снаружи на замок и унесла ключ с собой.

Альберт удивился, что дама выбрала такое странное место для свидания: голые стены, решетчатое окно так высоко, что до него нельзя было достигнуть без лестницы, и никакого убранства, кроме узкой постели, какие употребляются в монашеских кельях, и двух-трех деревянных стульев. Эта башня была в прежние времена тюрьмою, где содержались знатные пленники в пожизненном заключении.

Пока рыцарь ожидал с радостною тревогою появления Дианоры, в двери открылось окошечко, такое маленькое, что в него едва можно было подать заключенному хлеб и кубок вина. Альберт увидел насмешливое лицо одной из служанок Дианоры и услышал следующие слова:

— Мессер Альберт, моя госпожа велела передать вам, что так как вы проникли в замок как вор, чтобы похитить ее честь, то она заключила вас в тюрьму как вора, вы-

брав такое наказание, какое считает наиболее справедливым. Пока вы будете находиться в этой темнице, вы должны зарабатывать себе пропитание пряжею, и чем больше напрядете за день, тем будет вкуснее ваш обед, а ежели вздумаете лениться — ничего не получите, кроме хлеба и воды.

И окошечко захлопнулось.

Рыцарь хотел что-то закричать ей вслед, но голос ему изменил, и только тихий стон вырвался из горла. Он побледнел, шатаясь подошел к постели и упал на нее почти без сознания. Когда же опомнился, стал помышлять о самоубийстве. Но у него не было меча, а повеситься он не мог, ибо своды темницы были слишком высокие. К тому же в сердце его сохранилась надежда, что все это окажется шуткою и что скоро его выпустят.

Он ходил по тюрьме, ломал руки, говорил сам с собой, как сумасшедший, проклинал день и час, когда пришла ему несчастная мысль биться об заклад, богохульствовал, молился, плакал, и ему казалось, что он сходит с ума. Вспоминал также о потере имущества, и хотя скорбел, но скорбь была ничто перед болью стыда, от которого сердце его ныло и горело, как будто его сжимали острыми клещами. В этих муках прошел день, и наступила ночь. В то время, как он ходил взад и вперед по келье при бледном сиянии луны, луч которой проник в окно, рыцарь увидел в одном углу темницы новую хорошенькую прялку, с свежею паклею и веретеном, как будто ожидавшую работы. В припадке ярости Альберт хотел схватить ее и разбить в щепки. Но что-то удержало его, и он толкнул ее ногою осторожно. Перед самым утром, уснув тревожным сном, пленник скоро проснулся от голода и жажды. Идя на свидание, он ничего не ел от радости, а так как большое горе не менее заставляет чувствовать пустоту желудка, чем большая радость, то теперь с немалым нетерпением ожидал он, когда окошечко в тюремной двери откроется, и служанка подаст ему хлеба и воды. Веселые ласточки защебетали под окном, замычали коровы, заиграл рожок пастуха, раздался тихий колокольный звон, повеяло утреннею свежестью лугов; несчастный Альберт почувствовал то же, что пойманная птица чувствует, в первый раз встречая утро в клетке. Тюрьма осветилась, и в углу, выступив из мрака, нелепая прялка торчала теперь, лезла в глаза, преследовала его с оскорбительною назойливостью.

Наконец желанное окошечко открылось, и, как вчера, из него высунулось лукавое, беспощадно-веселое и розовое лицо молодой служанки.

— Ну, как наши дела, мессере Альберт? Много ли поработали? Покажите пряжу, и говорю вам, что должна видеть ее и смерить точно, чтобы знать, какой обед принести.

Тогда рыцарь не выдержал, стал кричать, топать ногами, требовать немедленного освобождения, грозить, осыпать госпожу и служанку отборными ругательствами. Наученная Дианорой, служанка ответила ему спокойно:

— Напрасно изволите гневаться, мессере. Я тут ни при чем: только исполняю волю госпожи. Мой совет — успокойтесь, будьте благоразумнее. Перемелется — мука выйдет. Злоба в беде не помогает. Лучше покоритесь. Госпожа моя желает знать, какое намерение привело вас к ней в замок, так как она вполне уверена, что все это случилось неспроста. Послушайте, рыцарь, вы должны как можно скорее открыть тайну, а кроме того, для вашего собственного блага, советую вам заняться пряжей. Не бойтесь, это дело немудреное, и ежели мы, глупые женщины, справляемся с ним, то вам и подавно покажется оно легким. Помните же, Альберт, решение Дианоры неумолимо. Вы из этой башни не выйдете и не получите на обед ничего, кроме воды и хлеба, пока не назовете ваших сообщников и не сядете за прялку. Не упорствуйте же, принимайтесь-ка за работу скорее: сегодня к полудню я снова наведаюсь к вам и, ежели вы довольно напрядете, принесу превкусный обед.

И Барбара — так звали служанку — захлопнула окошечко смеясь.

В это время Дианора велела тайно захватить слуг и лошадей мессера Альберта, содержать их в плену в полной сохранности, так, чтобы люди его не испытывали никаких других лишений, кроме лишения свободы, и распространила слух, что рыцарь вернулся к себе домой в Венгрию.

Дни проходили за днями, и так как Альберт все еще не садился за прялку, которая одна могла избавить его от невольного поста, то ему приходилось довольствоваться черствым хлебом и водою. Голод почти все время терзал его внутренности, ибо он получал пропитания не более, чем нужно было для того, чтобы не умереть от истощения. Теперь несчастный уже не помышлял о самоубийстве, о потере имущества, о стыде, о любви: все это казалось ему далеким и неважным: с гораздо большим волнением мечтал он о жирных каплунах, об огромных паштетах из дичи с поджаренной хрустящей коркой, о прохладных, душистых винах. И как нарочно, именно в это мгновение, когда слюнки текли у него от этих мечтаний и,

расширяя ноздри, он вдыхал лакомый запах воображаемых блюд,— прялка была тут как тут, так и металась ему в глаза, так и лезла, как будто подсмеивалась над ним, кивала своим длинным дурацким шестом, обмотанным паклей.

Голодный рыцарь кидался на нее с яростью, чтобы уничтожить, но всякий раз что-то удерживало его, он останавливался, сжав кулаки, подолгу смотрел на ту, которая каждое мгновение согласна была сделаться его кормилицей, и не то с отвращением, не то с любопытством, брезгливо, тихонько трогал веретено. Потом, тяжело вздыхая, отходил в другой угол тюрьмы, подальше от соблазна.

Однажды, в оцепенении от голода, почти не думая о том, что делает, он подошел к прялке, сел и взял в руки веретено. Детство Альберт провел в деревне, нередко случалось ему наблюдать, как поселянки прядут свою грубую серую пряжу, и он учился у них играя, как это делают переимчивые дети. Теперь бедный рыцарь вспомнил старые уроки, и потихоньку, неумелыми пальцами, стал сучить нитку и наматывать на веретено. Она выходила у него пресмешною — в одном месте слишком толстой, в другом слишком тонкой,— но занятие это показалось ему легким и довольно забавным, ничуть не хуже других человеческих дел. По крайней мере, труд избавлял его от нестерпимой скуки, которую он испытывал, проводя целые дни в праздности. Мало-помалу рыцарь совсем увлекся пряжей, забыл и горе и голод, не слышал, как пролетали часы, и только тогда, когда предательское окошечко стукнуло и в нем появилось ненавистное насмешливое лицо Барбары, он отскочил от прялки, ужаленный стыдом, покраснев до ушей, как школьник, застигнутый за шалостью. Но плутовка ничего не сказала, не заметила, или, пожалев беднягу, притворилась, что не замечает.

Еще несколько дней крепился он, убеждая себя, что прядет только так, для собственного развлечения, от скуки, что никто никогда об этом не узнает, и весьма тщательно скрывал наработанную пряжу в постели, под изголовьем. Наконец, однажды, когда волчий голод сжимал ему внутренности и миражи пирогов с дичью обессилили его мужество, он сунул в окно всю наработанную пряжу, отвернувшись, не подымая глаз, желая провалиться сквозь землю. Барбара приняла нитки как ни в чем не бывало и серьезно похвалила его, как будто это было дело обычное, свойственное благородным рыцарям. Тогда, чтобы кончить сразу, он тут же, запинаясь и кусая губы, пробормотал свою исповедь и, пока она внимательно, с едва уловимою усмешкой женского лукавства, рассматривала пряжу, как бы оценивая добротность ниток, объяснил ей все,

как с согласия королевы Беатриче он, Альберт, и его друг, польский рыцарь Владислав, побились об заклад с бароном Ульрихом, что одному из них в течение двух месяцев удастся склонить добродетельную Дианору к неверности. Служанка передала это признание госпоже, и в тот же вечер принесла отощавшему рыцарю вкусный ужин, питательный, но легкий, заботливо предупредив, что чересчур наедаться после долгого голода нездорово.

С тех пошло все как по маслу. Каждое утро усаживался рыцарь за прялку и работал весь день усердно, не стыдился и не отскакивал от нее, когда Барбара неожиданно открывала окошечко и выглядывала из него. Пленника щедро вознаграждали за долгий пост. Никогда еще не едал он так много и сладко. Из благодетельного окошечка, как из рога изобилия, сыпались дары Цереры, Вакха и Помоны[1] — плоды, пирожное, паштеты, рыба, дичь, мясо, вино — одно вкуснее другого. Скоро он отъелся, расцвел, повеселел и, сидя за прялкой, стал напевать беззаботную песенку, как это делают сельские женщины. С хорошенькой тюремщицей беседовал он дружелюбно, даже слегка приударял за ней. Барбара была этим, кажется, довольна и строила ему глазки. Если молвить правду, то Альберт гораздо менее скучал, чем в иных блестящих забавах королевского двора, и так вошел во вкус простодушной, невинной работы, как будто отроду ничего иного не делал. Мало-помалу достиг он в прядильном искусстве изрядного мастерства, и нитки выходили у него почти совсем ровными, так что, пожалуй, и добрая сельская пряха не постыдилась бы признать его работу своею.

В это время пан Владислав беспокоился о долгом отсутствии друга: так как срок, назначенный для его пребывания в замке барона Ульриха, миновал, а рыцарь не возвращался и не было о нем ни слуху, ни духу, то Владислав решил, более не мешкая, отправиться в Богемию, чтобы проведать о товарище и самому попытать счастья.

Дианора была предупреждена и ожидала гостя.

Он остановился в той же гостинице, неподалеку от замка: здесь ему сказали, что Альберт давно уехал и вернулся к себе в Венгрию.

Поляк недоумевал, но хозяйка приняла его так любезно, что он успокоился и подумал:

«Ого! Ну, здесь мы живо справимся. Видно, подъем на гору менее крут, чем все предполагают».

Дианора знала, куда он гнет, и, чтобы скорее покончить, сама направила воду на мельничное колесо.

---

[1] Церера — богиня плодородия и земледелия; Вакх (Дионис) — бог вина и виноградарства; Помона - богиня плодов.

Не сомневаясь в победе, пан на всех парусах поплыл к мели, на которой должен был сесть. Чтобы сказать кратко, доблестного польского рыцаря постигла точь-в-точь такая же плачевная участь, как и венгерца.

Так же ему было назначено свидание в уединенной башне, так же попался он в западню и был заперт рядом с другом в соседней темнице. Так же открылось окошечко в двери и из него выглянуло лукавое лицо Барбары. Только работа, назначенная ему, была иная: он должен был большими костяными спицами, какие можно видеть в морщинистых руках старых ключниц, вязать чулки из тех самых ниток, которые наработал в соседней темнице его товарищ.

Нечего и говорить, что пан пришел в неописанную ярость, ругался, кричал, безумствовал не меньше, чем Альберт, также помышлял о самоубийстве, и в припадке отчаяния ударился головой о тюремную дверь, но ничего из этого не вышло, кроме шишки на лысом лбу. Владислав был эпикуреец и обжора, а потому пост, не означенный в календаре, показался ему отвратительной пыткой. Посидев дня два-три на одном хлебе и воде, пан сделался как шелковый, принял веселый вид при печальной игре, и притворился, что все это считает презабавной шуткой. Развязно объяснил он панне тюремщице, что всегда считал своим первым рыцарским долгом во всем угождать очаровательным дамам, владычицам сердец, беспрекословно исполняя прихоти и капризы их, которые, ежели молвить правду, бывают иногда немного странными. Но вот беда: пан отроду не вязал чулок и не умеет взять спицы в руки. Барбара ответила, смеясь, что не велика беда, что было бы только со стороны пана усердие, она в несколько уроков научит его вязать. И тут же, просунув длинные спицы с Альбертовой пряжею в окошечко, стала ему показывать, как должно делать петли. Владислав оказался непонятливым учеником, но так как нужда прекрасная наставница, то в конце концов с грехом пополам научился нехитрому делу. Правда, петли выходили нелепые и такие громадные, как будто предназначались для повешения конокрада. Но усердие ценили более, чем искусство, и пана тоже стали кормить отборными яствами. Через некоторое время он начал действовать спицами довольно проворно, но так как у него не было природного дара к женскому рукоделию, то в этом искусстве он никак не мог бы поспорить с посредственной чулочницей.

Когда прошло условленных два месяца, барон Ульрих вернулся в замок; верная Дианора встретила его с великою радостью и повела в башню, где сидели птицы в клетке.

Сперва она тихонько открыла окошечко в двери Альбертовой кельи — Ульрих взглянул и залюбовался. Солнце проникало в темную келью снопом лучей и освещало прилежно наклоненную голову сидящего за прялкой юного рыцаря, с падавшими локонами, золотистыми и длинными, как у молодой красавицы. Царствовала тишина, только веретено однообразно жужжало и пело. Вверху, на окне, в паутине, товарищ узника, неутомимый паук прял свою серую тонкую пряжу; внизу рыцарь так же безмолвно, так же проворно сучил и тянул из кудели тонкую белую нить.

Потом Дианора подвела мужа к другой двери и также тихо открыла слуховое окно. Барон заглянул в келью и едва удержался от смеха: посреди комнаты, широко расставив ноги, держа в руках нелепый громадный чулок, сидел пан Владислав, и уморительно было видеть в его толстых неуклюжих пальцах вязальные спицы; он делал усилия, чтобы не спустить петли,— сморщив лысый лоб, высоко подняв брови, выпятив губы, пыхтя и отдуваясь, как будто ворочал тяжелые камни, потный и красный.

— Как нравятся вашей милости птицы в клетке? — спросила Дианора мужа, и в глазах ее светилось торжество женской хитрости.

Ульрих великодушно простил пленников и не пожелал отнимать у них имущества, на что имел право по договору. Впрочем, пан Владислав, не ожидая решения своей участи и забрав с собой все, что имел,— а это сделать было ему легко, так как им же распущенный слух о богатых польских поместьях оказался хвастовством,— счел благоразумным бежать через Триест в свободный город Яснейшей республики Венеции[1]. Что же касается до рыцаря Альберта, то, по настоянию королевы Беатриче, барон Ульрих потребовал, чтобы этот неисправимый щеголь, угодник дам, на придворном балу протанцевал в огромных безобразных чулках, связанных в тюрьме из его же собственной пряжи паном Владиславом. Бедный рыцарь, чтобы спасти свое имение, протанцевал бы еще и не в таком наряде.

Пан зажил в Венеции припеваючи: он любил хвастать своими победами над венгерскими красавицами и подробно рассказывал, как однажды побился об заклад при дворе короля Маттиаса Корвина с доблестным рыцарем Ульрихом. Но, доходя в повествовании до того места, как Дианора назначила ему свидание в уединенной башне замка, умолкал, скромно и самодовольно улыбаясь.

---

[1] Так стала называться Венеция с середины XV в.

Если же юный внимательный слушатель спрашивал его: что же дальше?

— Много будете знать, мессере, рано состаритесь,— говорил ему пан, лукаво подмигивая и покручивая длинный крашеный ус.

ПРЕВРАЩЕНИЕ

Флорентинская новелла XV века

Те, кто бывали во Флоренции, помнят величественный купол собора Мария дель Фьоре — истинно божественное создание человеческого духа. Со времени греков и римлян ничего во всей Европе не было построено столь светлого и разумного. Замысел купола, как бы повешенного в воздухе волей строителя, реющего над городом на страшной высоте, легкого, прекрасного и незыблемо утвержденного по вечным законам механики, казался таким дерзновенным и неисполнимым, когда был предложен на собрании опытных строителей, что архитектора, придумавшего этот план, Филиппо сире ди Брунелleско сочли безумцем. Чтобы исполнить свой замысел, Филиппо должен был всю жизнь бороться с ненавистью и презрением глупцов, с боязнью и упорством умных людей, не смевших поверить в законы собственного разума.

Великий строитель с виду был важен, мрачен и тих. Но под грубою корою в сердце его таились родники неистощимого веселья. Эта свобода и веселье — в куполе Санта-Мария дель Фьоре, в светлых, открытых солнцу loggi, легких, как бы воздушных арках и колоннах построенных им галерей, в новой эллинской обнаженности простых и чистых линий созданной им архитектуры. Свобода и веселье были и в жизни Филиппо. Все эти строгие, молчаливые, деловитые флорентинцы с нахмуренным челом любили смех и при всяком удобном случае предавались шалостям, как резвые школьники, вырвавшиеся на волю.

Я хочу рассказать одну из таких шалостей знаменитого архитектора, того, чья жизнь была непрерывным трудом, страданием, борьбою с людьми и напряженною мыслью.

Однажды в городе Флоренции, в 1409 году, воскресным вечером собралось к ужину общество молодых людей в доме одного вельможи, по имени Томмазо де Пекори, человека благородного и умного, любившего повеселиться.

Когда после ужина убрали со стола, подали лакомства и лучшее вино, и все стали громко и непринужденно разговаривать о том и о другом, как это обыкновенно бывает в подобных собраниях, один из собеседников произнес:

— Почему, скажите на милость, сегодня вечером чудак Манетто Амманнатини ни за что не хотел прийти сюда, и его никак нельзя было убедить?

Этот Манетто Амманнатини славился как превосходный художник-столяр, мастер деревянных инкрустаций; лавка его, или как во Флоренции говорят, «боттега», находилась на площади Сан-Джованни. Манетто все любили за веселый нрав и весьма почитали его талант, ибо в прекрасном столярном искусстве не было ему равного мастера. Но в житейских делах он был доверчив, прост и неопытен, как ребенок: его обманывали, над ним потешались, что не нарушало его добродушной веселости. Славный был человек Манетто Амманнатини, которого в приятельском кружке за неуклюжесть и высокий рост звали Верзилою. Лет 28, громадный, широкоплечий, с ясными глазами, с вечно рассеянной улыбкой, с волосатыми, мозолистыми, запачканными лаком и клеем руками столяра, из которых выходили тонкие небесные лица херувимов, веселые, дерзкие рожи сатиров из точеного кипариса и дуба,— Верзила был неисправимым чудаком: несмотря на обычную общительность, вдруг находила на него внезапная прихоть, припадок черной меланхолии,— и тогда он ни с кем не говорил, смотрел как волк на лучших друзей, огрызался, когда его спрашивали, что с ним, и уже никакими силами нельзя его было затащить в приятельский кружок. Потом нелепое чудачество проходило само собою, и Верзила возвращался к друзьям добродушнее и беззаботнее, чем когда-либо.

К великому прискорбию и досаде собеседников, которые считали его приятным и любезным членом своего общества, одно из этих чудачеств напало на столяра как раз в тот воскресный вечер, когда они собрались к ужину в прекрасный палаццо сире Томмазо де Пекори.

— Этого так оставить нельзя,— воскликнул один из гостей, немного подвыпивший, ударяя кулаком по столу,— надо проучить Верзилу!

— Но, может быть, у него дела,— заступился другой.— Я слышал, что намедни герцогиня Мантуанская заказала ему свадебный сундук...

— Вздор! Я знаю дела его, как свои пять пальцев. Что за работа в воскресенье вечером? Это у него опять меланхолия. Сидит где-нибудь один в таверне и пьянствует.

Или, еще хуже, лежит в постели и дрыхнет. Говорю вам, что следует, наконец, хорошенько проучить его за эти чудачества, для его же собственного блага, чтобы он уже более никогда не смел пренебрегать друзьями из-за каких-то дурацких бредней.

— А чем могли бы мы проучить Верзилу? — усомнился третий.— Побить его, что ли? Так ведь шкура у него дубленая — ничем не проймешь. И притом в руках такая силища, что ежели сдачи даст, не поздоровится. Или надуть его, чтобы заплатил за всех по счету в гостинице,— так ведь какой это урок? Над нами же он посмеется. Денег Верзила не жалеет.

Тогда заговорил бывший в этом веселом кругу друг и почитатель Верзилы, Филиппо сире ди Брунеллески, славный архитектор Санта-Мария дель Фьоре. Лицо у него было и теперь, как всегда, строгое, почти суровое, сумрачное, взор холодный, и только на гладко выбритых тонких губах играла хитрая, пронзительная усмешка, и по этой усмешке собеседники тотчас же поняли, что наступает истинное веселье,— такой смех, от которого животики подведет. У юношей, особенно лакомых до всяких шалостей, даже глаза разгорелись, и все притихли, замерли и ожидали благоговейно, что-то выйдет из уст этого нового оратора. Тогда Филиппо не торопясь, обвел всех глубокомысленным взглядом, как будто речь шла о важном деле, и молвил:

— Любезные друзья, вот что я сейчас придумал. Мы можем сыграть с Верзилой презабавную шутку, которая, полагаю, доставит вам немалую утеху. Шутка моя заключается в том, чтобы убедить столяра Манетто, что он — не он, а совсем другой человек.

Тогда многие стали возражать Филиппо, утверждая, что это невозможно. Но, по своему обыкновению, он с математическою ясностью, как будто дело шло об изящной теореме, привел им свои доказательства и сумел их убедить, что этот замысел исполним.

Все подробно до последней мелочи обсудили они и составили заговор против злополучного Верзилы. И этот заговор с тем большею легкостью мог им удасться, что во Флоренции все, от мала до велика, от важного седовласого приора, заседающего в Palazzo Vecchio, до босоногого уличного мальчишки, который спускает бумажные кораблики в дождевые ручьи, находятся как бы в непрерывном безмолвном заговоре и всегда готовы помочь друг другу, чтобы посмеяться над простодушным человеком. И нет такого сурового блюстителя законов, нет такого тяжеловесного купца, состарившегося над счетными книгами, который при всяком удобном случае с радостью не пожертвовал

бы временем, трудом, даже деньгами, чтобы учинить своему ближнему какую-нибудь веселую школьническую шалость, «beffare», как они там говорят. Флорентинцы смеются над лучшими своими друзьями, и те не думают сердиться, а только в свою очередь ждут удобного случая пересмеять насмешника. Такими создал их Бог, такой у них воздух в Тоскане: недаром есть пословица: «Тосканцы бедовый народ — не клади им пальца в рот». Они иногда и рады бы не смеяться, да не могут. Смех в крови флорентинцев, как соль в морской воде. Вот почему великий искусник в таких шалостях, Филиппо сире ди Брунеллески, с полной уверенностью составил заговор и знал, что каждый знакомый и незнакомый будет ему всячески служить и способствовать, и он мог обделать это дельце начистоту так, что и комар носа не подточил бы.

Решено было, что на следующий день, в понедельник вечером, начнется Овидиево превращение, или метаморфоза Манетто-Верзилы.

В тот час, когда солнце заходит, желтые пески Арно розовеют и ремесленники запирают потемневшие мастерские, Филиппо зашел в боттегу своего друга, столяра Манетто, на площади Сан-Джованни и весело болтал с ним до тех пор, пока расторопный мальчуган — как было условлено — не прибежал в мастерскую и не спросил, запыхавшись и торопясь, как будто дело было важное и спешное:

— Не в эту ли боттегу заходит иногда Филиппо сире ди Брунеллески, и не здесь ли он теперь?

Филиппо выступил, назвал себя и спросил посланного, чего он желает.

— Идите-ка скорее домой, мессере,— произнес мальчуган,— часа два тому назад с теткой вашей приключилось недоброе, и она при смерти. Вас всюду ищут. Бегите же; не медлите.

Филиппо притворился пораженным дурною вестью и воскликнул:

— Господи, помоги!.. Этого еще недоставало!..

И тотчас же попрощался с Верзилою, который, как человек добрый и услужливый, молвил с дружеским участием:

— Пойду-ка и я с тобою, Филиппо. Быть может, на что-нибудь пригожусь. Знаешь, в таких случаях всегда полезно иметь около себя друга.

Немного подумав, Филиппо ответил:

— Теперь ты мне не нужен. Но если что-либо понадобится, я сюда пришлю за тобою.

Филиппо пошел как будто по направлению к своему дому, но когда Манетто уже не мог его видеть, повернул

за угол и направился к дому Верзилы, находившемуся в узком переулке, как раз наискосок от церкви Санта-Рипарата. Он искусно отомкнул запертую дверь без ключа, тонким лезвием перочинного ножа, вошел в дом и крепко, железным болтом, запер дверь изнутри так, чтобы никто не мог войти. С Верзилою жила мать, которая на эти дни уехала в загородное местечко Полверозу, где у них было именьице,— на ежемесячную большую стирку, которую домовитые флорентинские хозяйки, для удобства и дешевизны, устраивают за городом.

Тем временем Верзила, заперев боттегу, прошелся, как это он обыкновенно делал, несколько раз взад и вперед по площади Сан-Джованни; из головы его не выходила мысль о Филиппо, и сердце было исполнено сочувствия к другу, перед великим гением и умом которого он преклонялся.

Спустя час после солнечного заката, когда наступили сумерки и площадь опустела, Верзила подумал:

«Филиппо так и не послал за мною: теперь уж я, должно быть, ему не нужен».

И он решил вернуться домой. Подошел к своей двери, поднялся на две ступеньки, которые к ней вели, и по обыкновению хотел отпереть, но как ни старался, это ему не удалось. Наконец он заметил, что дверь крепко-накрепко заперта изнутри железным болтом. Верзила подумал и позвал:

— Эй, кто там наверху? Отоприте!

Филиппо, подстерегавший его внутри дома, спустился с лестницы, подошел к двери и сказал:

— Кто там?

Он говорил голосом Верзилы, ибо весьма искусно умел подражать всевозможным голосам. Но тот закричал:

— Отопри же!

Филиппо притворился, что принимает стучавшегося в дверь за Маттео, в которого Верзила,— как они сговорились,— должен был превратиться, сам же Филиппо притворился Верзилою и молвил так:

— Эй, Маттео, ступай-ка с Богом. Я очень расстроен: у меня в мастерской только что был Филиппо сире ди Брунеллески, когда ему пришли сказать, что тетка его при смерти. Это меня опечалило на весь вечер: я просто не свой. Зайди, братец, как-нибудь в другой раз.

И потом, обернувшись к лестнице, как будто говорил с тем, кто внутри дома, прибавил:

— Мона Джованна,— ибо так звали мать Верзилы,— соберите скорее поужинать. Что это, право, за беспорядки? Вы обещали быть здесь два дня тому назад, а возвращаетесь только сегодня ночью.

И он еще немного поворчал, все время подражая голосу Верзилы.

Верзила, не только услышав свой собственный голос, но и видя во всем, что произносил этот голос, отражение своих затаенных мыслей и чувств, как в зеркале, не мог прийти в себя от изумления и думал:

«Это еще что такое? Не чудится ли мне, будто тот, кто там у двери,— я сам, и будто он мне же, моим собственным голосом, рассказывает, что Филиппо только что был у меня в мастерской, когда пришли сказать, что тетка его заболела?.. И кроме того, он разговаривает с моной Джованной. Экая пакость! Видно, со мной творится неладное. Голова совсем кругом пошла...»

Верзила спустился с двух ступенек крыльца и немного отошел, чтобы крикнуть в окна дома. В это же время приблизился к нему, как было условлено, знаменитый флорентинский скульптор Донателло, создатель бронзовой статуи Иоанна Крестителя, тоже искусный насмешник, участвовавший в заговоре, друг Верзилы. Как бы случайно проходя в сумерках, Донателло взглянул на него и сказал:

— Доброй ночи, Маттео!

— Не Маттео, а Манетто,— крикнул ему Верзила.

Но Донателло, не останавливаясь, быстро прошел и сказал, как будто не расслышал:

— Да, да, я зайду к тебе завтра поутру, Маттео,— и скрылся во мраке.

— Фу, ты, пропасть!— воскликнул Верзила,— сговорились они, что ли, называть меня Маттео! И померещится же человеку такая дрянь! Надо пройтись, освежиться, и главное — не думать об этом. Тогда все пройдет. А то, черт возьми, этак ведь и спятить немудрено...

И Верзила, понурив голову, медленными шагами удалился от своего дома. Стемнело. Улицы опустели. Ночь была безветренная, жаркая и душная. Как это нередко бывает в Тоскане летом, землю сжигала засуха. Перепадали капли скупого дождя, но прекращались, и бледное, изнеможенное небо не имело силы разразиться грозою. В эту ночь над холмами Фьезоле громоздились тяжелые тучи, и, как судорожные крылья подстреленной птицы, бледные зарницы трепетали беззвучно и безнадежно над черепичными кровлями домов. Черный мрак был жарок и душен, как черный мех, и от него веял такой же запах, как летом от меховой шубы. Слабый дальний гром напоминал глухие раскаты злого, сумасшедшего, тихого смеха. Кровь ударяла в виски, нечем было дышать.

Верзила остановился, чтобы отереть пот с лица. В это время из подворотни выскочила и шарахнулась ему в ноги

черная кошка. Он задрожал, побледнел, ибо был суеверен, и, перекрестившись, начал бормотать: «Ave Maria». А кошка или, может быть, ведьма, отвратительно мяукнув, скрылась.

Верзила слышал, как сердце у него в груди колотится тяжкими, мерными ударами, точно молот о наковальню. Вдруг в мертвой тишине донесся издали, должно быть, из предместья Сан Сеполькро, протяжный, зловещий вой собаки.

«Поскорей бы домой,— подумал Верзила,— да в постель, да головой под одеяло. А то эта ночь — не хорошая, не благословенная... В такую ночь всякая нечисть по земле шляется...»

На душе его было скверно. Ему хотелось не то плакать, не то кричать и бить кого-нибудь, а лучше всего зарыться в холодную, сырую землю, как слепые кроты зарываются, и там замереть так, чтобы никто его не видел и не слышал.

Он вернулся на площадь Сан Джованни, где находилась его боттега. Здесь было легче дышать. Верзила поднял голову и увидел меж туч, вверху, открытое небо и робкие звезды. Он обрадовался им. Оттуда сверху, как будто от звезд, веяло тихое, едва уловимое дуновение неземной свежести.

«Чего я так перепугался, дурак,— подумал он, ободрившись,— оборотень я, что ли? Какое мне дело до Маттео? Я Верзила — Манетто Амманнатини, столяр, вот и боттега моя. Мало ли что иной раз почудится? На это не надо обращать внимания... Само собою пронесет, как рукой снимет... Вот я похожу здесь немного, подышу чистым воздухом, а потом вернусь домой, отопру дверь ключом, который у меня здесь в кармане... Это еще что за новости, чтобы не пускать человека в его собственный дом?.. Что я — старый шут Каландрино? [1] Смеяться над собой позволю?.. Нет, шалишь, брат... Отопру и войду... И хотел бы я посмотреть на такого человека, который помешает мне сделать это сейчас же?..»

Он уже собирался вернуться домой, как услышал на площади шаги. Верзила обрадовался живым людям и подумал:

«Наверное, встречу знакомых, они назовут меня Верзилою, и все объяснится».

При свете смоляных факелов увидел он, что это были городские стражники флорентинского торгового суда. С ними был нотариус и кредитор того самого Маттео, в

---

[1] Простофиля (*итал.* — calandrino); вероятно, имеется в виду флорентинский художник XIV в. Джаноццо ди Перино, отличавшийся, судя по всему, недальним умом. Он фигурирует в 3-й и 6-й новеллах восьмого дня «Декамерона» Джованни Боккаччо.

которого бедный Верзила ни за что не хотел превратиться. Кредитор приступил к Верзиле и сказал нотариусу и стражникам, вооруженным аллебардами:

— Вот мой должник Маттео!.. Держите его!.. Ага, голубчик, наконец-таки попался мне в руки. Небось, теперь не убежишь!

Стражники суда и нотариус крепко схватили его за руки и собирались увести.

Тогда Верзила обернул свое бледное, растерянное лицо к тому, кто назвал его своим должником, и воскликнул:

— Я тебя не знаю и никогда не имел с тобою никаких дел. Скажи сейчас же, чтобы они меня отпустили!.. Ты принимаешь меня за другого... Слышишь?.. Ты ответишь перед судом за тяжкое оскорбление, наносимое незнакомому человеку... Я — столяр Верзила, и никакого Маттео знать не знаю, ведать не ведаю!

С этим словами он попробовал освободиться от стражников, ибо обладал большою силою. Но их было много, они держали его крепко за руки и не отпускали. Кредитор подошел к нему вплотную, заглянул прямо в глаза и молвил:

— Как? Тебе нет до меня никакого дела? Неужели я не знаю Маттео, должника моего, и не сумел бы его отличить от столяра Манетто Амманнатини, по прозвищу Верзила?.. Ну, нет, братец, дудки! Этим ты от меня не отвертишься. Долг твой записан в моей счетной книге, и вот уже целый год, как я имею по нашему делу решение торгового суда. Конечно, тебе выгодно отрекаться и говорить, что ты не Маттео, но теперь ты не выскользнешь, и я заставлю тебя заплатить весь долг до последнего сольдо, и не помогут никакие превращения. Ведите-ка этого оборотня,— мы сейчас увидим, тот ли он, за кого мы его считаем, или кто-нибудь другой!..

Верзила похолодел от ужаса: он вспомнил и черную кошку, и вой собаки, и старую косоглазую нищенку, похожую на ведьму, которая дня два тому назад посмотрела на него «дурным глазом», когда он отогнал ее от порога, не подав милостыни. Звон стоял у него в ушах, сердце билось, как будто твердило ему: «Быть худу, быть худу, ой, смотри, Верзила, быть худу!»

Крича и споря, стражники повели его в торговый суд, и так как время было позднее, то по дороге не встретили ни одного знакомого Манетто. Бедняга был так пристыжен и растерян, что не сообразил, что в такой час, когда добрые люди, поужинав, ложатся спать, в торговом суде не может быть никакого заседания, кроме шуточного. Теперь все казалось ему возможным. Мысли мешались в его голове,

и он встряхивался и щипал себя, чтобы проснуться. Но не так-то легко было проснуться: чары проклятой ночи тяготели над ним, мороз пробегал по коже и он думал:

«Чего только на свете не бывает?.. Что, если со мною случилось такое несчастье от дурного глаза, и я взял да и обернулся в Маттео?..»

В торговом суде нотариус написал мнимую бумагу о заключении Маттео в долговую тюрьму и сделал вид, что прикладывает к бумаге судебную печать. И его повели в тюрьму.

Верзила вступил в залу с высокими сводами и решетчатыми окнами и увидел многочисленных товарищей по заключению. Одни разговаривали, другие пели, третьи играли в шашки, в карты, в кости при свете оплывших сальных огарков. Иные просто лежали на постелях, наслаждаясь праздностью. Все это был веселый, разбитной народ, как будто стоило только попасть в общество несостоятельных должников, чтобы хлебнуть воды из Леты и сразу освободиться от всех человеческих забот и неприятностей. Один уморительный подвыпивший старикашка, по прозвищу Вислоухий, приплясывал и притоптывал под звуки самодельной скрипицы, ко всеобщему удовольствию, исполняя модную тогда испанскую пляску «pavana». Хотя час был поздний, но, по-видимому, спать еще никто не думал, так всем было весело, отрадно на душе.

Увидев входящего Верзилу, они загалдели с единодушным восторгом:

— Новичок, смотрите, братцы, новичок!

Верзиле казалось, что он умер, и душа его попала в ад. Заключенные спросили стражников, как зовут нового товарища, и когда узнали его имя, то загалдели еще громче:

— Доброго вечера, Маттео! Как ты себя чувствуешь, Маттео? За какие добродетели, Маттео, попал ты к нам в царствие Божие?

Так называли они свою тюрьму.

Верзила стоял растерянный, бледный, щурился на свет, беспомощно моргал глазами, улыбался из вежливости и не знал, как отвечать на приветствия. Ему казалось неприличным и даже зазорным отрекаться от имени Маттео, которое, по-видимому, крепче пристало к нему, чем колючий репейник к ослиному хвосту. Он решил покориться плачевной участи, разыгрывать роль ненавистного Маттео, и робко, запинаясь и путаясь, объяснил новым товарищам, что попал сюда потому, что не успел вовремя заплатить долга своему кредитору, но что он питает надежду завтра утром освободиться.

Тогда заключенные сказали:

— Ступай ужинать, Маттео. А потом, если у тебя есть

два-три сольди, мы испытаем, хорошо ли ты играешь в кости. Ночь проведешь с нами, а утром иди с Богом. Только мы можем сказать тебе по опыту, что утро вечера мудренее и что отсюда выйти не так легко, как оно кажется с первого взгляда.

Когда наступил час отходить ко сну, Вислоухий, который оказался человеком сердобольным, уступил Верзиле часть своей постели.

Потушили огни, все утихло, и раздался ровный, единодушный храп, ибо несостоятельные должники спали сном праведников. Но Верзила всю ночь не мог уснуть и лежал с открытыми глазами. Удушливый мрак июльской ночи опять навалился на него, как тяжелая, черная меховая шуба. Теперь он уже не видел собственного тела, и, обливаясь холодным потом от ужаса и отвращения, чувствовал ясно, как весь с головы до ног, и внутри и снаружи неудержимо превращается в проклятого Маттео. Верзила казался ему другим человеком, отличным от него как прежде Маттео.

— О, Господи, помоги!— стонал он в отчаянии.— Только бы мне узнать положительно и твердо, кто же я, наконец, Манетто или Маттео? Я не могу, не хочу быть в одно и то же время обоими. Ну, хорошо, положим, я не Верзила, а Маттео, как это ясно изо всего, что со мной происходит. Что же, однако, мне в таком случае предпринять? Ведь, если я пошлю домой к моей матери моне Джованне, и Верзила окажется там, у нее, то все надо мною будут смеяться и скажут, что я сошел с ума. А с другой стороны, мне все еще кажется, что я — Верзила.

Так бедный столяр — как говорится — заблудился между двумя соснами.

В темноте, где-то над его головой, муха в паутине однообразно бесконечно ныла и жужжала, все тоньше и жалобнее. И ему иногда казалось, что это не муха, а сердце его поет, бьется и замирает в паутине, из которой нет выхода.

Наконец стало светать. Верзила не без тайного опасения взглянул на свое тело и увидел с радостью, что оно нисколько не изменилось за ночь. Он смотрел внимательно на жилистые руки с веснушками, на каждый палец, на каждый волосок и убеждался, что это руки, несомненно, Верзилы, и ноги его и грудь. Он ощупал на щеке своей родинку, и родинка была Верзилина. Все это его несколько ободрило.

«Может быть,— подумал он,— вместе с окаянною ночью рассеялись и дьявольские чары. Только бы мне увидеть знакомого человека, который знает меня в лицо и скажет всем, что я — Манетто, а не Маттео. Тогда сейчас же все объяснится, и меня выпустят».

Между тем должники проснулись и опять заговорили весело, продолжая называть Верзилу — Маттео, что, впрочем, было не удивительно, так как среди них никто с ним раньше не был знаком.

Он вышел на двор, стал к небольшому окну, проделанному в тюремной двери, и начал смотреть, ожидая с нетерпеньем, не пройдет ли мимо кто-нибудь из знакомых. К зданию торгового суда, соединенного в те времена с долговою тюрьмою, подошел один знатный флорентинский юноша, по имени Джованни ди Мессер Франческо Ручеллаи, который участвовал в шуточном заговоре, составленном Филиппо сире ди Брунеллески. Джованни, хороший знакомый Верзилы, недавно заказал ему резной балдахин из дерева для Пречистой Девы Марии. Еще намедни заходил он в мастерскую столяра, просил поскорее кончить работу, и Верзила обещал, что дня через четыре балдахин будет готов. Проходя к торговому суду по узкому переулку мимо долговой тюрьмы, Джованни взглянул в окошко и увидел столяра лицом к лицу. Верзила тоже посмотрел и рассмеялся: тогда Джованни с удивлением, как будто прежде никогда его не видывал, произнес:

— Чего ты смеешься, любезный?

— Так себе смеюсь, ваша милость,— молвил добродушный Верзила, надеясь, что Джованни сейчас его узнает.— Скажите мне, пожалуйста, не знаете ли вы некоего столяра Верзилу: его мастерская на площади Сан-Джованни.

— О, да,— ответил Джованни,— я его знаю. Мы с ним друзья, и я сейчас отсюда иду в его боттегу, чтобы поговорить насчет одного заказа.

Когда Верзила услышал эти слова, увидел, что Джованни смотрит ему в лицо и не думает узнавать, то сердце у него так и екнуло, ибо он понял, что и при свете дня злые чары продолжают действовать и отнюдь не рассеиваются, как он сперва надеялся. Мало было ему радости в том, что самому себе казался он прежним Верзилою, если лучшие друзья все-таки принимали его за другого.

— Не окажете ли вы мне одной услуги, мессере? — продолжал Верзила вежливо, преодолев смущение.— Вы ведь сейчас идете в мастерскую Манетто: передайте же ему, что здесь, в долговой тюрьме, находится один из старых друзей его, что он просит Манетто забежать сюда на минутку, чтобы переговорить о важном деле.

Джованни еще раз пристально посмотрел в лицо Верзиле, едва удерживаясь от хохота.

— Хорошо, я с удовольствием исполню вашу просьбу,— молвил он и пошел по своим делам.

А Верзила остался у тюремного окна и, едва не плача, говорил себе так:

— Конечно, теперь не может быть никакого сомнения: я превратился в Маттео. О, да будет проклят день рождения моего! Ежели я открою то, что со мною произошло, люди назовут меня глупцом, уличные мальчишки будут указывать на меня пальцами. А если промолчу, то могут произойти еще тысячи недоразумений таких же, как вчера вечером, когда меня задержали... И в том и в другом случае будет мне плохо... Посмотрим, однако, придет ли сюда Верзила... Ежели придет, то я расскажу ему все, и увидим, что значит эта притча.

Он прождал у ворот еще некоторое время; но, убедившись, что надежда его тщетна, с тяжелым вздохом отошел, уступил окно другому заключенному и стал в унынии бродить взад и вперед по мощеному тюремному двору.

В числе несостоятельных должников в тюрьме находился старый, почтенный человек, по имени Паоло ди Санта Кроче, бывший судья, опытный легист, славившийся глубокою ученостью по многим отраслям человеческого знания, главным же образом — по церковному и гражданскому праву. Паоло раньше не был знаком с Верзилой, но, видя его мрачным, постоянно вздыхающим, погруженным в раздумье, вообразил, что бедняга сокрушается о долгах, и пожелал несколько утешить его:

— Ты так горюешь, Маттео,— молвил он,— как будто дело идет о твоей жизни, а между тем, судя по тому, что я слышал,— долг твой ничтожный. В несчастиях никогда не следует терять присутствие духа. Отчего ты не пошлешь за кем-нибудь из друзей своих или родственников и не попробуешь заплатить кредитору, или, по крайней мере, войти с ним в соглашение, чтобы тебя выпустили на волю, и чтобы тебе совсем не впасть в отчаяние?

Когда Верзила услышал, с какой добротою утешает его судья, то решился открыть ему свое горе. Он отвел ученого мужа в сторону, в дальний угол двора, где никто не мог их слышать, и здесь, то и дело боязливо оглядываясь, обратился к нему с таинственным видом.

— Хотя вы не знаете меня, досточтимый синьор, я, однако, слышал о вас и знаю, что вы — человек ученый и благородный. А потому я решил открыть вам причину моей горести. Не думайте, пожалуйста, что меня сокрушает забота о каком-нибудь пустячном долге, о, нет! Тут, видите ли, дело иного рода...

И, обливаясь слезами, как ребенок, рассказал он ему с начала до конца все, что с ним произошло со вчерашнего вечера, и заключил свою необыкновенную исповедь двумя

просьбами: во-первых, чтобы Паоло ни с кем не говорил о его признании, во-вторых, чтобы он дал ему какой-либо добрый совет или оказал помощь.

— Я знаю,— прибавил Верзила,— что вы целые годы изучали право в Болонском университете и прочли множество книг, в которых рассказывается о всяких чудесах и приключениях. Скажите же мне на милость, случалось ли вам читать во всех этих книгах о чем-либо подобном?

Бедный Верзила, ожидая ответа, смотрел на старого законоведа широко открытыми, недоумевающими глазами, полными слез и надежд. Паоло, услышав его признание и обдумав все про себя, пришел к тому заключению, что надо допустить одно из двух: или что он имеет дело с помешанным, или что все это (как оно и было на самом деле) злая флорентинская шутка. И в том и в другом случае судья считал благоразумным не противоречить Верзиле, а потому немедленно ответил, что неоднократно читал в старых книгах о подобных превращениях одного человека в другого, и что это случай обыкновенный.

— Собственными глазами,— прибавил он,— видел я однажды романьольского поселянина, с которым приключилась точь-в-точь такая же неприятная история, как с тобою.

Верзила побледнел и не находил, что ответить.

— Божественный Гомер,— продолжал ученый невозмутимо,— рассказывает о таком же превращении спутников Улисса[1] и многих других, которых очаровала колдунья Цирцея. По знаменитой поэме латинского поэта Овидия Назона о «Метаморфозах» видно, с какою необычайною легкостью люди превращаются не только в зверей и в растения, но и в неодушевленные предметы, как, например,— в скалы, планеты, реки и тому подобное.

Верзила слушал, выпучив глаза, открыв рот, затаив дыхание, и можно было подумать, что с ним начинается Овидиева метаморфоза, и он сейчас превратится в дерево или статую.

— Впрочем, ты не предавайся безмерному отчаянию,— успокаивал Паоло беднягу,— судя по тому, что я слышал и читал, если только память мне не изменяет, случается иногда, что потерпевший метаморфозу возвращается в прежний образ. Но, конечно, довольно редко, и тем меньше надежды, чем дольше пребывает он в своей новой оболочке.

— Скажите, пожалуйста,— полюбопытствовал Верзила,— ежели я превратился в Маттео, то что же случилось с ним, со старым Маттео?

---

[1] Улисс — латинская форма имени Одиссей.

— Несомненно,— ответил ученый,— Маттео превратился в Верзилу.

— Ну, хорошо,— молвил столяр,— мне, однако, было бы интересно увидеть, каков-то этот новый Верзила.

Среди таких разговоров наступило послеобеденное время. Двое братьев Маттео пришли в долговую тюрьму и спросили нотариуса-казначея, не находится ли в заключении их брат по имени Маттео, и как велик долг, за который его задержали, ибо они, мол, его братья и желают заплатить, чтобы Маттео выпустили на свободу. Нотариус, участвовавший в заговоре, так как он был закадычным другом Томмазо де Пекори, ответил, что, действительно, Маттео находится в тюрьме, сделал вид, что перелистывает тюремные книги, и сказал:

— Он посажен в долговую тюрьму за такую-то и такую-то сумму, по требованию такого-то и такого-то кредитора.

Все это Верзила слышал и видел со двора.

— Мы желали бы,— сказали братья,— поговорить с Маттео, а потом доставить деньги.

И, подойдя к тюрьме, попросили одного из заключенных, который смотрел в окошко:

— Будь добр, скажи Маттео, что пришли братья, чтобы освободить его из тюрьмы. Мы желали бы с ним переговорить.

И, взглянув в окошко, они узнали судью Паоло ди Санта Кроче, который беседовал с Верзилою. Услышав, что его спрашивают братья, он спросил законоведа, что случилось с его романьольским поселянином, и когда Паоло сказал, что превращенный уже никогда не возвращался к своему первоначальному виду, то Верзила еще более опечалился, подошел к решетке и поздоровался с гостями.

Старший из братьев молвил так:

— Ты помнишь, Маттео, как часто мы советовали тебе бросить дурную жизнь, которая несомненно приведет и тело и душу твою к погибели. Бывало, то и дело предостерегали мы тебя: «Ой, смотри, Маттео, что ни день, навязываешь ты себе на шею все новые и новые долги, сегодня с одним, завтра с другим, никому не платишь, и вследствие безумных трат, до коих доводит тебя игра и другие скверные пороки, у тебя нет в кармане ни одного сольдо». Видишь, любезный, то, что мы предсказывали, исполнилось. Кредиторы упрятали тебя в долговую тюрьму... Легко ли это нам, братьям... А? Какое пятно для честного нашего имени... Слушай, вот мы говорим в последний раз, Маттео, и ты хорошенько заруби себе это на носу: на гадкие прихоти ты уже расточил целое сокровище, а потому, если бы

не заботы о нашем добром имени и о твоей бедной матери, которая молит за тебя и не дает нам покоя, мы оставили бы тебя здесь покорпеть, чтобы ты несколько пришел в себя и опомнился. Но уже так и быть, еще на этот раз мы тебя освободим и уплатим долг: но смотри, ежели ты опять сюда попадешь, то придется посидеть здесь дольше, чем хочется. Пока об этом довольно. Мы придем за тобой сегодня вечером к Ave Maria, в сумерки, когда на улицах мало народу, для того чтобы какие-нибудь знакомые не увидели нас в тюрьме и чтобы не было лишних свидетелей нашего стыда, и нам не пришлось еще более краснеть за тебя.

Верзила сделал вид раскаявшегося грешника, ответил им благоразумными словами и торжественно обещал исправиться, изменить жизнь и отказаться от гадких расточительных привычек, чтобы более не причинять такого стыда их честному дому. Он умолял их ради Христа не покидать его в долговой тюрьме и прийти в условленный час. Они повторили обещание и удалились, а Верзила отошел в сторону и молвил так законоведу:

— Все более удивительные вещи происходят со мною, мессер Паоло: только что были здесь двое братьев того самого Маттео, за которого меня все принимают, говорили со мною, как с Маттео, и прочли мне целое нравоучение, пообещав сегодня в сумерки, к Ave Maria, прийти сюда и освободить меня. Но вот вопрос,— прибавил он в горьком недоумении,— если меня отсюда выпустят, куда же я денусь? В мой дом я уже не могу вернуться, ибо там живет Верзила, и начни я только с ним объясняться,— меня непременно сочтут за помешанного и подымут на смех, ибо я ведь знаю, какой бедовый народ флорентинцы. С ними надо держать ухо востро. А с другой стороны, мне теперь кажется несомненным, что Верзила живет в моем доме, у Санта Репарата, ибо если бы его там не было, то, конечно, моя матушка стала бы меня всюду искать и только потому, что видит Верзилу, не замечает она своей горестной ошибки.

Паоло с трудом удержался от смеха, и эта великолепная, истинно флорентинская шутка, в которой он узнавал руку большого мастера, каким и был на самом деле строитель Филиппо сире ди Брунеллески, доставила ему немалую утеху.

— Не ходи в свой дом,— посоветовал он Верзиле,— ступай за теми, которые считают себя твоими братьями. Слушайся их и делай, что они тебе скажут. Уж если, брат, на то пошло, то теперь главное — окончательно и, так сказать, чисто-начисто превратиться в Маттео, чтобы в тебе от Верзилы и духу не осталось.

Верзила покорно, но тяжело вздохнул: ему было жаль

себя; как-никак, а он все-таки любил Верзилу: ему казалось, что этот новый столяр Манетто ни за что не кончит как следует начатого херувима в раме из черного дерева и, пожалуй, перепортит всю работу. Он готов был плакать от грустной нежности к старому Верзиле.

Наступил вечер, пришли братья Маттео и сделали вид, что удовлетворяют кредитора, уплачивают тюремной кассе и получают расписку. Тогда нотариус встал, взял связку ключей, подошел к двери и спросил в окно:

— Кто из вас Маттео?

Верзила выступил вперед и произнес:

— С вашего позволения, мессере, я самый и есть Маттео...

Нотариус посмотрел на него пристально и сказал:

— Вот эти твои братья уплатили долг: ты свободен, Маттео.

И он открыл ворота тюрьмы, выпустил Верзилу и молвил:

— Ступай с Богом!

Так как было уже темно, то мнимые братья поскорее повели его в свой дом у Санта Феличита, в переулке, как раз там, где подъем в Сан Джоржо. Они вошли с ним в комнату нижнего этажа, вровень с землею, и сказали:

— Посиди-ка здесь до ужина, Маттео.

И притворились, что делают так, не желая пускать сына на глаза больной матери, чтобы не расстраивать ее на ночь.

Один из братьев остался посидеть с Верзилою, а другой тем временем пошел к приходскому священнику Санта-Феличита, их духовному отцу, который был немного простоват, но человек прекрасный. И брат сказал ему так:

— Я прихожу к вашей милости с полным доверием, как это водится между добрыми соседями. Надо вам сказать, что нас у матери трое братьев, из которых одного зовут Маттео. За некоторые неуплаченные долги посадили этого самого Маттео в тюрьму, и заключение, должно быть, так сильно подействовало на него, что мы боимся, не сошел ли он с ума. Впрочем, у него только одно больное место, а во всем остальном он еще прежний Маттео: он, видите ли, вообразил, что превратился в другого человека, и ни за что не хочет отказаться от этой нелепой мысли. Слыхали ли вы когда-нибудь о такой странной выдумке? Маттео утверждает, что он более не Маттео, а столяр Верзила, у которого боттега на площади с церковью Сан-Джованни, а дом недалеко от Санта-Мария дель Фьоре. И в этом мы не могли его разубедить никакими доводами, а потому поспешили взять из тюрьмы, привели домой, посадили в отдельную комнату, чтобы по городу не начали говорить о

сумасшествии. тем более что он еще, может быть, и придет в себя, ибо вы ведь знаете, кто раз по этой дорожке прошелся, на того потом всегда смотрят как-то косо, если даже к нему и вернется рассудок. Кроме того, мы не хотели бы, чтобы наша мать узнала о его помешательстве: из этого могут выйти неприятности. Женщины так легко пугаются, она же старая и больная. А потому и решили мы просить вашу милость — из сострадания к нам зайти в наш дом, чтобы поговорить с братом и попробовать, нельзя ли как-нибудь разубедить его в этой нелепой мысли. За услугу были бы мы вам по гроб благодарны.

Священник, как человек добрый, охотно согласился, ответил, что, поговорив с Маттео, сейчас увидит, в чем тут дело, и представит ему такие ясные доводы, что с Божией помощью надеется вытащить этот гвоздь, как бы крепко он ни засел в его голове. Тогда брат Маттео привел его к себе в дом и вошел с ним в ту комнату, где находился Верзила. Когда Верзила, погруженный в свои мрачные мысли, увидел входящих, то сейчас же встал, а священник молвил:

— Доброй ночи, Маттео!

— И вам также доброй ночи,— ответил Верзила.— Что скажете, отец?

— Я пришел, любезный Маттео, чтобы кое о чем поговорить с тобой.

Священник сел и сказал Верзиле:

— Сядь-ка вот здесь, рядом со мною, и я тебе скажу, какая у меня к тебе надобность.

Верзила, чтобы не противоречить, уселся рядом, и священник начал так свое увещание.

— Причина, по которой я сюда пришел, Маттео, есть одно дело, весьма меня огорчающее. Судя по тому, что я слышал, намедни тебя посадили в тюрьму за долги и, говорят, ты так принял это к сердцу, что легко можешь лишиться рассудка. Между прочими глупостями, которые ты делал или делаешь, ты утверждаешь, что ты уже более не Маттео, а другой человек, некий столярных дел мастер, по прозвищу Верзила. Не похвально, сын мой, весьма не похвально, что из-за ничтожной неприятности допустил ты в сердце свое такое безмерное отчаяние, которое сделает тебя, вследствие твоего упрямства и неразумия, жалким посмешищем людей. И все из-за каких-то шести дукатов... Ну, стоит ли, почтенный, так сокрушаться? Тем более, что они уже уплачены!

Священник ласково пожал ему руку и продолжал так:

— Любезный Маттео, злого я тебе не посоветую: оставь-ка ты эту прихоть, говорю тебе, как родному сыну:

обещай мне, что отныне ты уже не станешь возвращаться к своим глупостям и опять примешься за обычные дела, как подобает человеку здравомыслящему и как поступают прочие люди, чем ты доставишь великое утешение братьям своим, мне и каждому, кто только желает вам доброго. Разве этот Верзила такой удивительный мастер, что ли, или такой богач, что ты лучше хочешь быть им, чем собою? Ну, какая тебе в этом корысть? Допустив даже, что он — человек достойный и богаче твоего,— а ведь это не так, судя по тому, что я слышал от твоих братьев,— утверждая, что ты в него превратился, ты тем самым не приобретаешь ни его достоинств, ни его денег. А между тем, если в городе узнают, что ты сошел с ума, то уже, конечно, ты — человек погибший: хотя бы потом и выздоровел, и сделался мудрее царя Соломона, все-таки люди будут говорить, что ты помешанный. Короче сказать, опомнись, будь человеком, а не скотом, и брось все эти пустяки свои — убедительно прошу тебя об этом. Какой там Верзила или не Верзила? Послушайся меня, тебе же будет лучше!

И старик смотрел ему в глаза с отеческою добротою. Когда Верзила услышал совет, хорошенько взвесил в уме своем и обдумал каждое слово священника, то уже более не сомневался, что он — Маттео, и, не размышляя, ответил, что готов сделать все, чтобы быть приятным священнику, который, как это он ясно видит, заботится о его благе. Он обещал употребить все силы, чтобы более не допускать в свой ум мысли, что он — не он, то есть не Маттео, и чтобы окончательно выбить Верзилу так, как будто его никогда не существовало. Но вместе с тем он просит как о единственной милости, если это возможно, в последний раз поговорить с Верзилою, чтобы уж совсем убедиться.

— Это принесло бы тебе более вреда, чем пользы,— возразил священник.— Я вижу, что эта нелепая мысль все еще не вышла из твоей головы. Ну посуди сам, для чего тебе говорить с Верзилою? Какие такие у тебя с ним могут быть дела? Чем больше ты будешь говорить, чем больше будет свидетелей твоего безумия, тем больший позор ты навлечешь на своих братьев.

Так убеждал он Верзилу, пока, наконец, тот не согласился и не отказался от своего желания переговорить в последний раз с Верзилою. Тогда священник вышел и рассказал братьям, как он убедил Маттео и как тот обещал ему не настаивать более на своей нелепой мысли. Затем он попрощался с ним и пошел домой. Один из братьев, пожимая ему руку, вложил в нее серебряный гроссо для того, чтобы сделать все это еще более вероятным. Тем временем, пока священник убеждал Верзилу, в дом потихоньку

вошел Филиппо ди сире Брунеллески, и в отдаленной комнате среди бесконечного смеха и веселья братья рассказали ему, как привели Верзилу из тюрьмы, что говорили ему по дороге, и все прочее. Филиппо налил большой кубок вина, подсыпал в него снотворного порошка и сказал одному из братьев:

— Надо, чтобы Верзила во время ужина выпил это вино — напиток безвредный, от которого он уснет так крепко, что не почувствует в течение двух часов, если бы его стали сечь розгами. Часам к пяти я снова наведаюсь, и мы тогда устроим все.

Братья вернулись в комнату Верзилы и сели за ужин, когда уже прошел третий час по закате солнца. Во время ужина поднесли они ему усыпительного напитка так ловко, что он не заметил, как проглотил его. Скоро лекарство начало действовать, и Верзила с большим трудом держал глаза открытыми — так хотелось ему спать.

Тогда братья сказали ему:

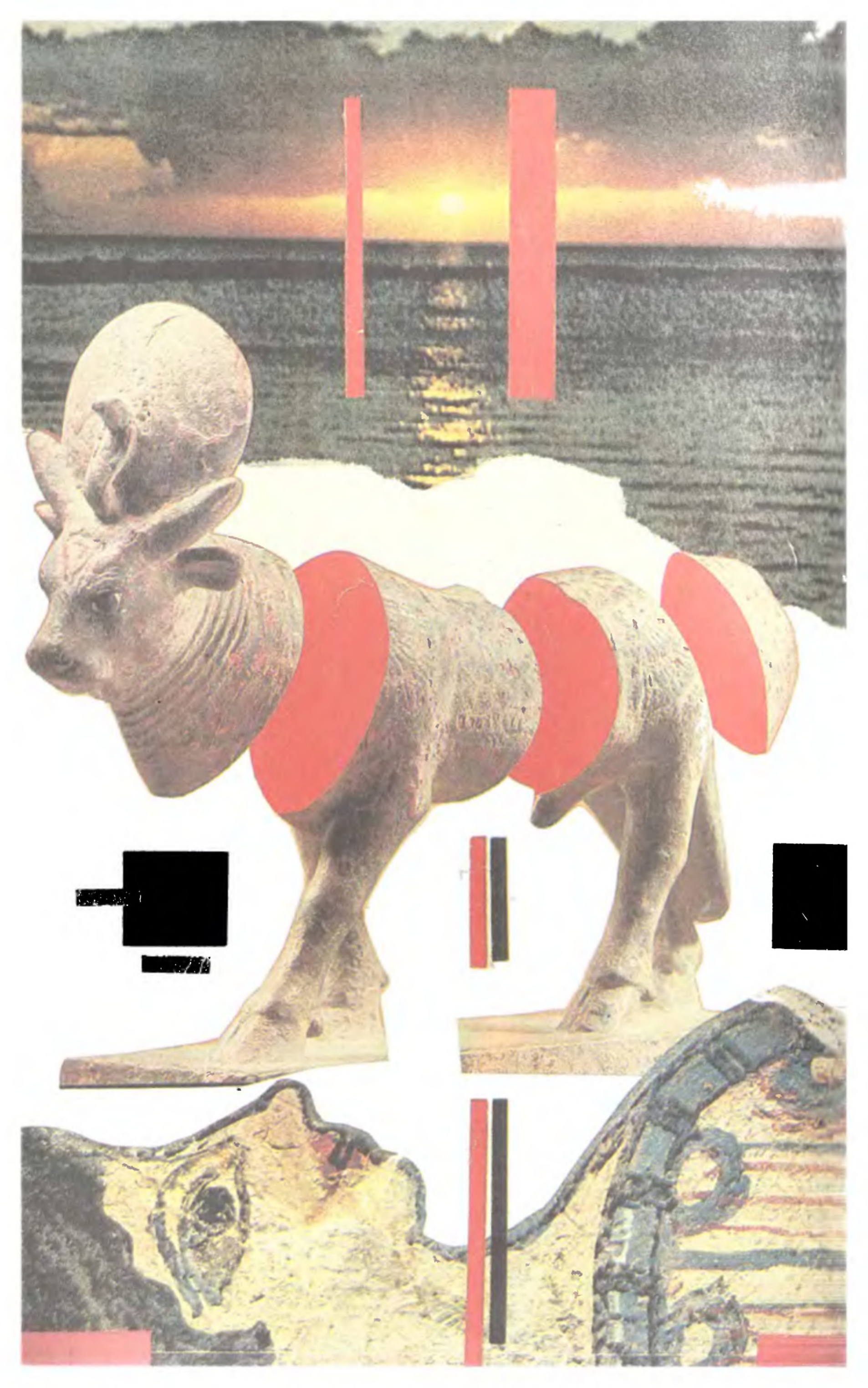
— Маттео, ты, кажется, падаешь от усталости. Должно быть, эту ночь ты плохо спал?

Они угадали верно.

— Признаюсь,— молвил Верзила,— мне никогда во всю мою жизнь не хотелось так спать. Кажется, как будто я целых два месяца не спал. Лягу-ка я в постель...

Он начал раздеваться, но едва имел силу снять обувь и броситься в постель, как тотчас же захрапел. В условленный час вернулся Филиппо ди сире Брунеллески с шестью товарищами и вошел в комнату, где спал Верзила. Они потихоньку взяли его, положили на носилки вместе со всеми одеждами и отнесли в дом его, который стоял совершенно пустым, так как мать еще не возвращалась из имения. Здесь уложили его в кровать, рядом бросили платье на то место, на которое он обыкновенно его клал, но самого Верзилу повернули головой туда, где должны были находиться его ноги. Потом взяли ключи от боттеги, которые висели на крючке в спальне, отперли лавку, вошли в нее, перемешали, перепутали все его столярные инструменты, повынимали из плотничьих стругов все железные языки, вложили их, повернув острыми концами вверх, а толстыми вниз. То же самое проделали они со всеми молотками и топорами и во всей мастерской произвели такой беспорядок, такую путаницу, как будто здесь перебывало сто тысяч дьяволов. Потом опять заперли лавку, отнесли ключи на прежнее место в спальню, заперли и там двери, вернулись домой и легли спать. Верзила, одурманенный снотворным зельем, проспал всю ночь, ни разу не просыпаясь. На следующее утро к часу Ave Maria в соборе Санта-Мария дель Фьоре кон-





чилось действие усыпляющего напитка: он проснулся, открыл глаза и при свете солнца, проникавшего в окна, узнал собственную спальню, мало-помалу стал припоминать все, что с ним приключилось, и когда понял, что он опять в своем доме, на своей постели, то великое изумление и радость овладели им. Припомнил он также священника и дом Маттео, где он вчера уснул, и вдруг на него напало сильное сомнение, тогда ли ему это снилось, или теперь. Правдою казалось ему то одно, то другое; сон сливался с действительностью, проникал в нее, смешивался, и невозможно было провести границы между тем, что было, и тем, что снилось.

За ночь прошла гроза. Воздух освежился. Голубое небо виднелось в окнах, такое нежное и радостное, что Верзила, несмотря на все свои сомнения, почувствовал веселье. Он соскочил с постели, оделся, взял ключи боттеги, побежал туда, отпер и увидел мастерскую в беспорядке, все железные инструменты перевернутыми и перепутанными, чему весьма подивился. Мало-помалу привел он все в порядок, поправил и положил на обычное место. В это время в боттегу вошли двое братьев Маттео, и один из них сказал Верзиле так, как будто раньше никогда его не видел:

— Доброго утра, маэстро.

Верзила обернулся, узнал их, покраснел, но тотчас же ответил:

— Доброго утра и доброго года. С чем приходите, господа?

Тогда один из братьев молвил:

— Я сейчас объясню тебе все. Есть у нас брат, по имени Маттео, намедни его посадили в долговую тюрьму, и от горя он едва не сошел с ума. Между прочим, утверждает, что он уже более не Маттео, а хозяин этой мастерской, которого зовут Верзилою. Мы его всячески уговаривали образумиться и вчера вечером привели к нему приходского священника, которому Маттео обещал отказаться от своей нелепой выдумки, так что, чувствуя себя недурно и поужинав, он при нас лег спать. Но сегодня утром он незаметно убежал, никто не знает куда. Вот почему мы и пришли в эту лавку, чтобы проведать, не заходил ли он сюда, или, по крайней мере, не может ли Верзила что-нибудь сообщить нам о нем.

При этих словах у бедного Верзилы в глазах потемнело, холодный пот выступил на теле.

— Я не понимаю, о чем вы говорите,— возразил он дрожащим голосом,— и чего вам от меня нужно. Никакого Маттео здесь не было, и ежели он, в самом деле, выдает себя за меня, то с его стороны это большая наглость. Кля-

нусь спасением души моей, если только когда-нибудь я с ним повстречаюсь, то спине его придется испробовать Верзилиных кулаков, и тогда мы увидим достоверно, я ли — он, или он — я. Что это еще за чертовщина происходит в последние дни, от которой нельзя никуда деваться?

С этими словами он схватил плащ, яростно захлопнул двери боттеги, повернул спину двум братьям, корчившимся от безмолвного хохота, и большими шагами, все время грозя и ворча себе под нос, направился в собор Санта-Мария дель Фьоре.

Здесь он начал ходить взад и вперед, как разъяренный лев, — так был озлоблен всем, что с ним происходило. Туда же в собор зашел случайно товарищ его, который вместе с Манетто учился столярному и токарному ремеслу у знаменитого маэстро Пеллегрино в Терма. Этот молодой человек несколько лет тому назад уехал из Флоренции, переселился в Венгрию и здесь стал получать много заказов благодаря покровительству другого флорентинца — Филиппо Сколари, который в то время был главным военачальником в армии Сигизмунда, сына чешского короля Карла. Этот Филиппо Сколари благосклонно принимал всех приезжих флорентинцев, которые отличались знаниями или искусством, и оказывал им всяческую помощь, так как был человеком великодушным, любил земляков своих и заслуживал их любовь, оказывая им многие благодеяния.

В то время приехал во Флоренцию столяр, товарищ Верзилы, поселившийся в Венгрии, рассчитывая найти и взять с собой какого-нибудь флорентинского мастера, который помогал бы ему в работе, так как он имел столько заказов в Венгрии, что уже не мог один справиться. Неоднократно приглашал он Верзилу, объясняя ему, как легко им было бы за несколько лет разбогатеть в этой стране.

Увидев его в соборе, Верзила сказал:

— Ты уже много раз приглашал меня поехать в Венгрию, но я отказывался. Теперь, вследствие одного странного приключения и некоторых несогласий с моею матерью, я окончательно решил принять твое предложение, если, впрочем, ты еще по-прежнему желаешь меня взять с собою. Мне хотелось бы уехать завтра же утром, ибо в случае замедления что-нибудь снова могло бы мне помешать.

Молодой человек ответил, что он весьма рад, но завтра утром не может выехать, так как у него есть еще некоторые дела во Флоренции, но ничто не мешает Верзиле завтра же отправиться в Болонью и подождать его там, куда и он по-

доспеет через несколько дней. Верзила согласился, и они ударили по рукам. Маннето вернулся в боттегу, взял свои инструменты, некоторые мелочи, которые удобно было увезти с собою, пошел в предместье — «борго» Сан-Лоренцо, нанял лошадь и на следующее утро направился в Болонью, оставив письмо своей матери, в котором заключалось, что она может взять себе в подарок все, что есть в его мастерской, и продать, чтобы выручить деньги, и что он, побуждаемый большою неминуемой опасностью, грозящею ему в родном городе, на некоторое время уезжает в Венгрию.

Так Верзила уехал из Флоренции, подождал в Болонье своего товарища и вместе с ним отправился в Венгрию, где их дела так хорошо устроились, что через три-четыре года, благодаря покровительству названного Филиппо Сколари, они разбогатели.

Впоследствии Верзила, женившись на красивой венгерке, достигнув славы и преуспеяния, вполне довольный своею судьбою, вернулся во Флоренцию, которую он все-таки любил с нежностью, как родную мать, и считал прекраснейшим городом в мире, и зажил здесь припеваючи. Он навсегда излечился от припадков черной меланхолии, и однажды, в беседе с Филиппо сире ди Брунеллески, когда тот расспрашивал его, по какой причине он переселился в Венгрию, Верзила откровенно и подробно рассказал ему о своем чудесном превращении.

МИКЕЛАНДЖЕЛО

Тебе навеки сердце благодарно,
С тех пор, как я, раздумием томим,
Бродил у волн мутно-зеленых Арно,
По галереям сумрачным твоим,
Флоренция! И статуи немые
За мной следили; подходил я к ним
Благоговейно. Стены вековые
Твоих дворцов объяты были сном,
А мраморные люди, как живые,
Стояли в нишах каменных кругом:
Здесь был Челлини, полный жаждой славы,
Бокаччио[1] с приветливым лицом,
Макиавелли, друг царей лукавый,
И нежная Петрарки голова,
И выходец из Ада величавый,
И тот, кого прославила молва,

[1] Правильно: Боккаччо.

Не разгадав,— да Винчи, дивной тайной
Исполненный, на древнего волхва
Похожий и во всем необычайный.
Как счастлив был, храня смущенный вид,
Я — гость меж ними робкий и случайный,
И, попирая пыль священных плит,
Как юноша, исполненный тревоги,
На мудрого наставника глядит,—
Так я глядел на них: и были строги
Их лица бледные, и предо мной
Великие, бесстрастные, как боги,
Они сияли вечной красотой.
Но больше всех меж древними мужами
Я возлюбил того, кто головой
Поник на грудь, подавленный мечтами,
И опытный в добре, как и во зле,
Взирал на мир усталыми очами;
Напечатлела дума на челе
Такую скорбь и отвращенье к жизни,
Каких с тех пор не видел на земле
Я никогда, и к собственной отчизне
Презренье было горькое в устах,
Подобное печальной укоризне.
И я заметил в жилистых руках,
В уродливых морщинах, в повороте
Широких плеч, в нахмуренных бровях —
Твое упорство вечное в работе,
Твой гнев, создатель Страшного Суда,
Твой беспощадный дух, Буонарроти.
И скукою бесцельного труда,
И глупостью людскою возмущенный,
Ты не вкушал покоя никогда.
Усильем тяжким воли напряженной
За миром мир ты создавал, как Бог,
Мучительными снами удрученный,
Нетерпелив, угрюм и одинок.
Но в исполинских глыбах изваяний,
Подобных бреду, ты всю жизнь не мог
Осуществить чудовищных мечтаний
И, красоту безмерную любя,
Порой не успевал кончать созданий.
Упорный камень молотом дробя,
Испытывал лишь ярость, утоленья
Не знал вовек,— и были у тебя
Отчаянью подобны вдохновенья:
Ты вечно невозможного хотел.
Являют нам могучие творенья
Страданий человеческих предел.
Одной судьбы ты понял неизбежность
Для злых и добрых: плод великих дел —
Ты чувствовал покой и безнадежность.
И проклял, падая к ногам Христа,
Земной любви обманчивую нежность,
Искусство проклял, но, пока уста
Без веры Бога в муках призывали,
Душа была угрюма и пуста.

И Бог не утолил твоей печали,
И от людей спасенья ты не ждал:
Уста навек с презреньем замолчали.
Ты больше не молился, не роптал,
Ожесточен в страданьи одиноком,
Ты, ни во что не веря, погибал.
И вот стоишь, не побежденный роком,
Ты предо мной, склоняя гордый лик,
В отчаяньи спокойном и глубоком,
Как демон — безобразен и велик.

I

Весною тысяча пятьсот шестого года в Риме половина площади перед древнею, еще не перестроенною, базиликою св. Петра была завалена громадными глыбами каррарского мрамора: они искрились на солнце, как белые груды только что выпавшего снега с голубыми тенями. Каждый день морем до Остии, потом по Тибру к выгрузной пристани Рима приходили все новые и новые барки с мрамором. Сваленные глыбы громоздились до церкви Санта-Катарина и между церковью и тем узким коридором, который ведет из дворцов Ватикана в крепость Св. Ангела. С утра до вечера скрипели колеса тяжелых повозок, запряженных быками и буйволами, раздавались крики погонщиков, стучали молотки каменщиков.

Римляне, которые с древности славятся жадностью к зрелищам, толпами собирались в Борго, чтобы любоваться на эти величественные приготовления. По городу ходили разные слухи, но достоверно было одно: новый папа Юлий II заказал флорентинскому ваятелю и зодчему Микеланджело Буонарроти гигантскую гробницу, какой не удостоивались ни императоры, ни великие полководцы древности. На высоте трехъярусного мавзолея, окруженного кариатидами, аллегориями всех искусств и наук, мраморными колоссами и титанами, среди которых должен был восседать подобный чудовищному двурогому демону длиннобородый гигант, разгневанный, готовый разбить скрижали Моисей, вознесутся два изваяния: исполинская Кибела, богиня Земли, плачущая о смерти папы, и ликующая о его переселении в лучший мир Урания — владычица Неба; они будут поддерживать гроб Юлия. Благочестивые люди находили кощунственным подобный замысел — две языческие богини, несущие на руках своих саркофаг наместника Христова, служителя того Бога, который пожелал родиться, как нищий, на соломе, в приюте пастухов, чтобы проповедовать людям любовь к бедности. Для новой гробницы старая базилика Петра, древняя святыня христианского мира,

оказывалась малой и тесной: Юлий, желая построить новую, более просторную и пышную, не задумался разрушить тысячелетние стены храма, основанного во времена Константина Равноапостольного. Он поручил это дело своему любимцу, человеку на все готовому, расторопному и угодливому — Браманте из Урбино, бывшему придворному архитектору герцога Лодовико Моро.

Когда однажды старый поселянин из Кампаньи, несколько лет не бывавший в Риме, зашел в церковь св. Петра помолиться и увидел, как низвергнута и опозорена древняя святыня, он не мог удержаться от слез. Пыль столбами подымалась между деревянными лесами. На груды извести, мусора и щебня навалены были обломки порфировых колонн; гробницы древних святителей церкви Христовой были разрыты, и прах костей их развеян по ветру; мозаики, над которыми работали поколения искусных мастеров, были разбиваемы молотками поденщиков, и жалко было смотреть, как их нежная, драгоценная чешуя осыпается под ударами каменщиков. Браманте ничего не жалел, ни перед чем не останавливался. Новые люди закладывали основание нового храма.

Угождая своеволию папы, архитектор заставлял рабочих приготовлять известь и кирпичи, обмазывать цементом куски травертина [1] ночью при свете факелов, чтобы днем, на глазах Юлия, как бы волшебством вырастали из-под земли новые стены: чудотворный строитель мало заботился о прочности, только бы обмануть нетерпение своего повелителя.

Папа торопил ваятеля не меньше, чем зодчего. Римляне указывали друг другу на подъемный мост за церковью Санта-Катарина, соединявший коридор Ватикана с домом и мастерскою Микеланджело: Юлий во всякое время дня и ночи, никем не замеченный, мог приходить к художнику, беседовать с ним наедине и следить за его работой. Прелаты и кардиналы завидовали пришельцу, флорентинскому «выскочке», каменотесу, которому первосвященник оказывал такие милости.

Надолго ли? У Микеланджело опасные враги: хитрый Браманте нашептывает папе злые речи и старается охладить его к мавзолею. Ему удалось оттеснить от постройки собора Джулиано ди Сан Галло, призвавшего Буонарроти к римскому двору; теперь очередь за Микеланджело.

---

[1] Травертин (известковый туф) — легкая пористая горная порода.

II

Однажды в начале апреля, в тихое солнечное утро, из тех, какие бывают в Риме, когда в городе пахнет свежестью окрестных полей и к небу возносится, как пение, звон колоколов, двое каменщиков вели беседу, сидя за работой среди белых обломков мрамора. Один был старый генуэзец, по имени Грилло, из небольшого местечка Лаванья, к северу от Каррары, где Микеланджело нанял лодочников и гребцов, чтобы перевозить камень в Рим, другой — юноша, по имени Чопполи, каменотес из флорентинского предместья Сентиньяно.

— Что, как вино у моны Пипы? — произнес Грилло, постукивая молотком и щуря от мраморной пыли и солнца воспаленные веки.

— Сказать правду — кислятина. Мона Пипа такая же пройдоха, как все эти трактирщицы. Но есть у нее просоленная рыбка — как ее наешься, то так захочется пить, что, кажется, вылакал бы целый монастырский погреб, и уж всякое вино тогда покажется вкусным... Ничего, мы вчера изрядно напились, еще сегодня голова трещит. Подлеца Амброджо за ноги вытащили из-под лавки. Весело было. Пойдем-ка сегодня, куманек, к моне Пипе. Будешь доволен.

— Куда мне, старику! — тяжело вздохнул Грилло. — Ты человек холостой, одинокий, у тебя мысли веселые, а у меня на сердце кошки скребут. Дома, в Лаваньи, жена да две дочери на выданьи. Может быть, они без меня уже с голоду померли или по миру пошли, если только, не дай Бог, чего-нибудь хуже не приключилось. Долго ли до греха с молодыми девками. Эх, поскорее бы домой, право. И чего нас держат? Получить бы деньги по расчету...

— Ну, нет, братец, деньги ты не так-то скоро получишь. Теперь у хозяина денег мало, и Бог знает, когда будут.

У Грилло вытянулось лицо, маленькое, загорелое и сморщенное, как печеное яблоко; он беспомощно заморгал красными веками.

— Что ты, что ты, Чопполи! Да избавит нас святой Георгий от такого несчастья. Мы люди бедные, нанимались по уговору. Мессер Микельаньоло господин добрый и честный, он нас не обманет...

— Он-то не обманет, да его самого обманули, а ты знаешь, Грилло, что на папу суда нет и жаловаться некому.

— Да ведь папа любит хозяина; я слышал, что он вперед дал тысячу скуди.

— Что дано — истрачено, а больше не дает...

— Объясни же мне, Чопполи, что случилось. Ты лучше меня знаешь здешние дела.

— Неладно, Грилло. Черная кошка пробежала между папою и Микельаньоло.

— Кто же их поссорил?

— Браманте, архитектор собора. Знаешь, такой важный господин, тучный и лысый, ездит на белом муле в шелковой упряжи, и щедрый, никогда меньше не дает на выпивку, как по сольдо...

— Знаю, он мне намедни серебряную монету бросил на улице Банки за то, что я ему низко поклонился.

— Ну, вот, вот. Это, видишь ли, ловкий пройдоха, в одно ухо влезет, в другое вылезет. Он-то и роет яму нашему хозяину.

— А за что он его невзлюбил?

Чопполи на минуту остановил молоток и с таинственным видом наклонился к уху товарища:

— За то и невзлюбил, что тут, братец ты мой, дело нечистое. У Браманте губа не дура. Синьор щедрый и великолепный. Такие пиры задает, что и герцогу впору. Деньги ему всегда нужны дозареза. У жидов кругом в долгу, а привык, чтобы куры у него червонцев не клевали. Папу обманывает и разоряет казну. Здания возводит непрочно: говорят, лет через десять стены трещины дадут. Папа на него не нарадуется, потому что скоро строит,— скоро, да неспоро, все на песке. А мессер Микельаньоло насквозь его видит, все шашни его знает. Микельаньоло человек правдивый и неподкупный. Браманте и боится, чтобы наш-то хозяин его не обличил, на чистую воду не вывел, и наушничает, и уверяет папу, что строить себе гробницу при жизни — дурная примета: значит, мол, смерть себе пророчит. Папа испугался, гробница ему опротивела, и денег больше не дает. Каменщиков, лодочников наняли, мрамору навезли гору, заварили кашу, а кто расхлебает — Бог весть.... Я так полагаю, что еще не скоро ты вернешься в Лаванью, Грилло...

— Тише, тише, Чопполи, хозяин.

И они усердно принялись за молотки.

III

Сопровождаемый толпою подрядчиков: плотников, барочников, каменотесов, которые спорили, кричали, приставали, лезли со счетами, ругались, божились и требовали денег, подходил человек с уродливым и угрюмым лицом, в старой и пыльной одежде из черного бархата.

— Как вам будет угодно, мессере,— говорил главный подрядчик,— а мы больше ждать не можем. Мы, как честные люди, нанимались. Пожалуйте расчет.

— Ежели его святейшество...— пробовал возразить человек, осаждаемый толпою.

— Мы не к его святейшеству, а к вам, мессере...

— Я обещаю вам...

— Обещаниями сыт не будешь. Не за обещаниями мы пришли, а за деньгами. С голоду нам помирать, что ли?

— Не обижайте нас, синьор,— молили жалобные голоса,— мы вам правдою служили. Пожалейте, отпустите душу на покаяние.

— Слушайте, вот вам мое последнее слово, и оно твердо. Подождите до завтра. Я в последний раз схожу к папе, и если он не заплатит, я вам из собственных денег отдам все до последнего сольдо. Не бойтесь — за мною не пропадет. Я вас нанимал, я и заплачу, если бы даже мне пришлось заложить дьяволу душу и тело.

Молвив так, он повернулся и пошел к своему дому между глыбами мрамора по узкой дорожке, усеянной белыми осколками, которые хрустели под ногами, как плотный снег в морозный день.

Это был человек лет за тридцать, роста ниже среднего, крепкого и костлявого телосложения. Голова казалась громадною, борода была жидкая, черная и жесткая, такие же волосы, нижняя губа выступала вперед с выражением угрюмой надменности; вокруг некрасивого рта были злые, страдальческие складки; под редкими бровями маленькие серые, холодные, как свинец, широко расставленные глаза отталкивали тех, кто с ним говорил, подозрительным и тяжелым взглядом. Но особенное безобразие придавал ему расплющенный нос. Во Флоренции, когда он был мальчиком, живописец Торриджани, человек грубого, зверского нрава, в драке, начавшейся из-за насмешек самого Буонарроти, кулаком раздавил ему носовой хрящ. Художник остался изуродованным на всю жизнь, сознавал это и мучился.

Подойдя к двери дома за церковью Санта-Катарина, Микеланджело постучался. Ему отперла старая служанка, стряпуха с засученными рукавами и подоткнутым платьем.

— Посланный от казначея был?— спросил он старуху.

— Не был. Погонщики мулов за деньгами приходили, кричали да ругались, я едва выпроводила.

В доме пахло чадом оливкового масла; приготовлялся обед для множества рабочих, плотников, мраморщиков, нанятых во Флоренции. Проходя в мастерскую, он с отвращением и скукою заглянул в большую комнату, наполнен-

ную постелями, скарбом, утварью, инструментами поденщиков, живших в доме. Теперь все эти люди остались у него на руках, и он не знал, что с ними делать.

В мастерской было тихо и светло. Он вздохнул с облегчением, почувствовал привычный приятный запах влажной глины и мраморной пыли. За деревянными подмостками белели грубые неясные глыбы, едва тронутые резцом, но глаз художника уже различал в них скрытые образы. Он взял резец, молот и сделал несколько ударов.

Работа не дала ему забвенья,— в сердце не было спокойствия. Он сошел с подмостков, приблизился к столу и начал пересматривать чертежи, планы злополучной гробницы, оказавшиеся теперь ненужными и бессмысленными. Среди них попался ему голубой тонкий лист бумаги: это был любовный мадригал единственной женщине, которая всю жизнь была верна другому, как он был верен ей. Наивная, чувствительная надпись, достойная влюбленного мальчика, гласила на полях: «Delle cose divine se ne parla in campo azzuro.— О небесных вещах следует писать на бумаге небесного цвета».

Милые жалкие рифмы, затерянные среди унылых счетов лодочников и плотников. Улыбка озарила на мгновение его суровое, безобразное лицо.

Он взглянул в окно и по знакомой тени соседнего дома в переулке увидел, что солнце перешло за полдень. Надо было идти во дворец немедля; в этот час папа кончал обед и его наверно можно было застать. Он посмотрел на свою одежду, запачканную во время работы, старую и пыльную, с истертыми локтями; на груди болталась пуговица, готовая оторваться, висевшая на тонкой нитке: служанка все забывала ее пришить. Люди считали его высокомерным и презрительным, но на самом деле ему достаточно было всякой мелочи, чтобы покраснеть и смутиться как школьнику. Он вспомнил с горечью, как недавно папа приходил к нему в мастерскую для простых дружеских бесед, тогда он не побрезгал бы его домашней одеждой. Ему стало досадно и противно вынимать из гардеробного шкапа свое единственное придворное платье голубого шелка с пышными разводами. Он поскорее собрал необходимые планы и счеты и, уже заранее сердитый и мрачный, пошел во дворец как был, в старом камзоле.

Недалеко от бельведера, на веселой широкой лестнице, недавно построенной папским любимцем Браманте великолепно и непрочно, ему попался навстречу сам строитель, окруженный толпою льстивых поклонников и друзей. Архитектор возвращался от папы довольный, обласканный,— должно быть, получил много денег. Паж, тонкий

и стройный, как молодая девушка, нес за ним большие свитки планов и чертежей. Браманте был одет и держал себя, как царедворец. Складки великолепной одежды, самоуверенная, почти юношеская осанка, умный взор живых глаз, мягкие седые волосы, обрамлявшие широкий голый череп, истинный лоб древнего мудреца Пифагора или Архимеда, придавали красивому старику выражение приятной и благосклонной важности. Он говорил с молодым епископом о своей новой кобыле, купленной у приезжего турка-барышника Мустафы, красавице, сводившей с ума всех наездников Рима. Потом обернулся он к собеседникам и стал приглашать их на ужин.

— Только что получены куропатки из Муджелло, и вы отведаете, друзья мои, нашего доброго ломбардского вина — Монтебриантино. Оно поспорит с лучшим корсиканским...

Браманте увидел всходившего по лестнице Буонарроти. Старик, сняв берет, с изысканной, несколько преувеличенной вежливостью поклонился молодому сопернику, который ответил холодным, сдержанным поклоном.

Микеланджело шел по бесконечным коридорам и галереям Ватиканского дворца: в то время они перестраивались; художник невольно любовался созданием соперника, легким, как светлый сон, изящным и непрочным: Буонарроти предвидел, что эти стены обрушатся лет через двадцать, если их не укрепить контрфорсами. Пахло сыростью новой штукатурки; всюду возвышались деревянные леса.

Он подошел к дверям, у которых стоял на карауле швейцарец с копьем и арбалетом. Внимательно посмотрел он в лицо Буонарроти, должно быть, не сразу узнав его, потом извинился и пропустил.

IV

Микеланджело вступил в обширную полутемную залу, служившую столовой папы; на сводах мерцали старинной позолотой фрески Джотто. Стены увешаны были драгоценными фландрскими коврами, аррацами с тусклыми, нежными, мягкими красками, с изображением языческих мифов — похищения Европы, смерти Адониса. Внизу по стенам шли скамьи с высокими точеными спинками из темного дерева.

Папа кончил обед и занимался делами. Секретарь читал депеши из Болоньи. Царствовала тишина. Кардиналы и немногие придворные, сидевшие за столом, переговаривались шепотом. В душном воздухе был тонкий запах обеденных пряностей. Слуги, приходя и уходя по знаку церемоний-

мейстера, скользили неслышно, как тени. Придворный лейб-медик держал пузырек лекарства и осторожно отсчитывал капли в стакан вина, приготовленный для папы. У самых ног его святейшества, на шелковой, вытканной золотом, подушке, сидел странный юноша необычайной красоты, не то шут, не то вельможа, в полудетской, полуженской одежде, с белокурыми, длинными локонами, с прелестными, лукавыми глазами, в которых сияла нега. Он небрежно и тихо, так, чтобы не мешать деловому чтению, перебирал струны лютни. То был всемогущий баловень грозного Юлия, семнадцатилетний Ганимед [1] ватиканского Юпитера, сиятельнейший спальничий, камерьер Аккорзио, который обладал ключами от сердца папы так же, как папа обладал ключами неба.

Луч солнца скользил по столу, дробился в хрустальной чаше с недопитым вином, играл на майоликовом блюде, задевал серебряную белую бороду Юлия, которая выделялась на пурпурном бархате широкого папского наплечника, и сверкал в большом рубине перстня на исхудалой, бледной руке старика. Он сидел немного сгорбившись, опираясь обоими локтями на ручки кресла, отодвинутого от стола. Голый череп покрывала надвинутая на лоб бархатная скуфья такого же темно-красного цвета, как наплечник. Пороки и болезни оставили следы свои на этом изнуренном лице с ввалившимися щеками. Но тонкие губы все еще были сжаты с выражением неодолимого упорства, закоренелой привычки к самовластию, и под насупленными бровями в глубоких впадинах глаз светился огонь воли, не побежденной ни пороками, ни болезнями. Взор этих глаз был страшен, когда они сверкали гневом.

Микеланджело входил в столовую. Секретарь кончил чтение болонских депеш. Юлий заметил Буонарроти, бросил на него исподлобья быстрый, недовольный и скучающий взгляд. Художник понял, что пришел не вовремя; ни с кем не заговаривая, одинокий и надменный, остановился он у окна, ожидая очереди, как проситель.

К папе приблизился юркий, жирный, круглый, как шар, с грязными руками, болтливый старик, придворный золотых дел мастер. Он говорил о покупке драгоценных камней для украшения недавно заказанного Юлием креста к алтарю Сикстинской капеллы.

Папа, не слушая, закрыл усталые веки. Ювелир прекратил болтовню, думая, что папа уснул. Тогда Юлий открыл глаза и молвил сердито:

---

[1] Ганимед — красавец юноша, похищенный орлом Юпитера и ставший его любимцем и виночерпием.

— Остались деньги?

— Нет, ваше святейшество, я истратил все, что было назначено. Осмеливаюсь просить ваше святейшество о прибавке: армянин Джем предлагает за дешевую цену два карбункула и смарагд, ежели ваше святейшество...

— Довольно,— с нетерпением махнул папа рукою,— говорю, довольно, отстань!

Ювелир переминался с ноги на ногу и хотел возразить, но папа крикнул:

— Убирайся к черту и помни, больше я не дам ни гроша, ни на малые, ни на большие камни...

Микеланджело понял, что значит это «большие камни», понял, что намек был обращен к нему.

Когда наступила очередь, он подошел к Юлию с чертежами, планами и счетами. Папа взглянул на них брезгливо:

— Некогда,— молвил он, зашевелившись на кресле,— приходи в понедельник.

— Святой отец,— возразил Микеланджело спокойным твердым голосом,— не угодно ли вам будет посмотреть эти счета? Рабочие требуют платы: по справедливости, нельзя им доле отказывать. Велите казначею выдать деньги, или я должен буду заплатить за мрамор для вашей гробницы из собственного имущества.

Юлий пристально, как будто удивленно, взглянул на Микеланджело. Художник, не потупившись, выдержал этот взгляд.

Все замерли в ожидании. Аккорзио, оставив мандолину, поднял голову с лукавым и веселым любопытством.

Юлий промолчал, только отстранил рукою положенные перед ним планы и счета, так что они упали на пол. Потом, не обращая на Буонарроти внимания, как будто забыв о нем, он поднялся с кресел; два молодых прелата подскочили и поддержали его под руки, третий подал ему палку и, опираясь на нее, быстрыми, еще бодрыми шагами папа направился к выходу из приемных зал во внутренние покои для краткого послеобеденного отдыха.

Буонарроти побледнел; судорога ярости исказила его губы. Чувствуя на себе насмешливые взоры пажей, лакеев и конюхов, он должен был наклониться, чтобы подобрать с полу упавшие бумаги.

V

Он вернулся домой и тотчас же написал своему старому флорентинскому другу, мессеру Бальдассаре Бальдуччи,

который заведовал делами в римском банке мессера Галли, и попросил у него взаймы двести золотых имперских дукатов. В тревоге стал он ожидать ответа, с горечью думая о возможности отказа и новых унижений. Но, даже если бы Бальдуччи согласился, Микеланджело был разорен: чтобы заплатить долг, ему надо продать дом во Флоренции, в котором жили старый отец его и братья. Он вспомнил долгие годы лишений, которые добровольно терпел, чтобы обеспечить семью, вспомнил восемь месяцев, только что проведенных им в каменоломнях Каррары. Лихорадки, изнурительная работа то под жгучим солнцем, то под ледяными дождями едва не сломили его крепкого здоровья. Имея двух слуг и одну лошадь, в продолжение всего этого времени он ничего не получал от папы, за исключением насущного хлеба. Он не был скуп, но расчетлив, деловит, как истинный флорентинец, знал цену деньгам и отказывал себе во многом, мечтая о будущей независимости и спокойствии. Так он был воспитан в доброй честной семье, где с молоком матери передавалась привычка свято чтить свое и чужое имущество.

Наконец пришел посланный с ответом из банка. Бальдассаре Бальдуччи в краткой и любезной деловой записке обещал прислать деньги на следующее утро.

Микеланджело, успокоившись, опять взошел на подмостки и взял резец. Мало-помалу работа увлекла его. Статуя была одним из «Связанных Невольников», олицетворений искусств, которые должны были стоять на четырехугольных выступах мавзолея. Этими изваяниями художник хотел сказать, что смерть, похитившая Юлия, заковала в цепи искусства и лишила их надежды когда-либо найти подобного ему покровителя. Теперь художник без горькой усмешки не мог вспомнить этой аллегории. Не все ли равно? Предчувствуя, что гробница не будет окончена, он работал для себя, бесцельно и бескорыстно, не думая о папе. Он забыл про все. Удары молота были так сильны, что казалось, вся статуя разлетится вздребезги. Осколки мрамора сыпались дождем.

Приходила служанка и звала его ужинать; он не пошел, только взял кусок хлеба, торопливо съел его, не сходя с подмостков, и опять принялся за работу. Твердый камень становился все мягче, таял, как воск. Ваятель освобождал .из-под каменной оболочки скрытый образ. Молодой невольник закинул голову с отчаяньем, все члены, все жилы и мускулы были напряжены в бесконечном усилии, чтобы порвать узы, которые врезывались в тело.

Художник оставил работу поневоле, когда наступили сумерки, засветил огонь и до поздней ночи просидел над

любимой книгой, «Божественной Комедией», с которою никогда не расставался, так же, как и с Библией. В эту ночь написал он гордые стихи, посвященные Данте:

Dal mondo scese ai ciechi abissi
. . . .
Per' foss'io tall'ch'a simil'sorte nato,
Per l'aspro esilio con la virtute,
Darei del mondo il più felice stato.
. . . .
Из мира сошел он в темные пропасти,
Людям открыл вечные тайны,
Но подвиг остался без награды;
Неблагодарный народ не понял и отверг его.
И все же пусть бы я был таким: за его судьбу,
За его суровое изгнание и добродетель
Я отдал бы самый счастливый удел на земле.

Ночь начинала бледнеть, когда Микеланджело лег на жесткую бедную постель для недолгого отдыха, как он это часто делал, почти не раздеваясь, не снимая обуви.

Утром Буонарроти призвал лодочников, плотников, каменотесов и заплатил все, что был должен, до последнего сольди.

VI

В назначенный Юлием день, то есть в понедельник, пошел он опять во дворец. Ему сказали, что папа едет на охоту в Альбанские горы. Двор был полон веселых звуков рогов, лаем собак, криками доезжачих, шумом и трепетом соколиных крыльев. Микеланджело увидел издали, как Юлий, в странном для духовного лица охотничьем наряде, в больших ботфортах, в шляпе с перьями и кожаном панцире, подобный старому полководцу, садился на великолепного коня. Аккорзио держал стремя. Папа казался оживленным и что-то на ухо говорил своему любимцу, который улыбался тонко и двусмысленно, что Буонарроти понял, что теперь Юлию не до мыслей о гробнице. Он пришел во вторник. Папа еще не возвращался с охоты. Пришел в среду и в галерее встретил знакомого секретаря, который предупредил его, что его святейшество в дурном расположении духа, так как из Болоньи нехорошие вести: он только что избил костылем епископа Анконского. Из приемной выходили придворные с растерянными лицами, и Микеланджело услышал, как французский посланник с улыбкой говорил своему собеседнику, упитанному, жирному и безмятежному капеллану:

— Mais il est terriblement cholérique, votre pape![1]

У Буонарроти была еще надежда, что если удастся напомнить папе о счетах, то он, скрепя сердце, заплатит. Во что бы то ни стало решил он добиться свидания на следующий день, в четверг.

Но когда подошел к двери приемной, его остановил «палефреньер», папский конюх.

— Извините, синьор. Мне не приказано пускать вашу милость...

Один из епископов Луккских, находившийся в передней, услышав эти слова конюха, прикрикнул на него и сказал:

— Как ты смеешь, грубиян! Ты верно не знаешь, с кем говоришь. Это мессер Буонарроти. У него пропуск во всякое время.

— Вы ошибаетесь, синьор,— отвечал палефреньер невозмутимо,— я очень хорошо знаю мессера Буонарроти, но мой долг не рассуждая исполнять приказания папы и моих начальников.

Микеланджело не верил ушам своим. Ему казалось, что все это он видит в дурном сне. Ничего не ответив, повернулся он, пошел домой и написал папе следующие строки:

«Блаженнейший отец. Сегодня, по вашему приказанию, я был выгнан из дворца, а потому объявляю вам, что с этого часа, если пожелаете меня видеть, то вам придется искать меня в другом месте, а не в Риме».

Он отправил это письмо камерьеру Агостино Скалько для передачи папе.

Призвав двух верных слуг, давно у него живших, старших надзирателей за рабочими, плотника Козимо и мраморщика Антонио, он сказал им:

— Ступайте, отыщите какого-нибудь жида, продайте все, что есть в этом доме, и приезжайте ко мне во Флоренцию.

Потом отправился в гостиницу «Трех Мавров», где останавливалась почта, взял место в неуклюжей и неудобной почтовой карете, запряженной четверкой заморенных кляч, и через два часа выезжал из Рима по дороге на север. Его спутниками были угрюмый и молчаливый аптекарь из Перуджи, старый еврей-ростовщик с лицом ветхозаветного патриарха, монах-чертозианец, веселый и вертлявый, все время убеждавший еврея креститься, и толстая, белолицая мызница с корзинкой яиц, множеством узелков, которая боялась нападения разбойников

[1] Да ведь ваш папа страшный холерик! (*франц.*)

или турок. Микеланджело был рад, что никто его не узнает, но все-таки опасался и успокоился окончательно только тогда, когда отъехали на несколько миль от Рима. Кругом на необозримое пространство до амфитеатра Сабинских гор с грозным обрывистым утесом Рокка ди Папа, как туманное море, мягкими, зелено-синими волнами холмов расстилалась Кампанья. Кое-где на ясном небе чернела сторожевая башня непокорных феодальных баронов Священной области — Колонна, Орсини, Савелли. Над тихими развалинами и сломанными пролетами акведуков, тянувшихся до самого Фраскати, реяли черные крикливые стаи галок и ворон.

Микеланджело, радуясь тишине и свободе, с наслаждением вдыхал крепкий как вино, сладкий, как мед, запах диких трав. Все, что с ним произошло на службе папы Юлия, казалось ему теперь далеким воспоминанием.

Дорога медленно поднималась в гору. Он любовался облаками, лежавшими на горизонте равнины. С детства любил он отыскивать в этих громадах образы, как бы статуи неведомого ваятеля, которые величием превосходят все, что может создать человек. И он вспомнил, как однажды, глядя на каменоломню Каррары с высокой горы над морем, задумал высечь в скале исполинскую статую, чтобы мореплаватели видели ее издалека. То была греза художника, такая же бесцельная, как эти мгновенные, чудовищные и пленительные очертания нагроможденных облаков.

VII

Наступила ночь, когда почтовая карета, дребезжа и звеня, въехала в плохо мощенные, тесные и узкие улицы маленького города, старой крепости Поджибонси, первого местечка, принадлежавшего Флоренции, в восемнадцати или двадцати милях от города. Микеланджело решил остановиться и отдохнуть до утра, считая себя в безопасности здесь, на земле, принадлежавшей флорентинцам. Правителем города, подеста, был его приятель Федериго Старно.

Буонарроти остановился в маленьком альберго[1] под вывеской «Оловянного Блюда», недалеко от ратуши. В громадной сводчатой кухне пылал очаг, играли в кости, распевали песни и пьянствовали доганьеры, чиновники таможни и наемные солдаты из Сан-Джеминьяно. Хозяин объявил, что все постели заняты лошадиными барыш-

[1] Гостиница, постоялый двор (*итал.* albergo).

никами, спешившими на сиенскую ярмарку, и отвел гостя в тесную душную горницу, где на необъятном ложе, подобии катафалка, заливались храпом трое спящих; он указал Микеланджело на оставшееся свободное место с края постели и обещал дать отдельную подушку, уверяя, что «ежели немного потесниться, то будет просторно». Гость предпочел устроить ночлег у окна на широкой деревянной скамье, завернувшись в дорожный плащ и подложив под голову вместо подушки кожаную сумку с чертежами и бумагами.

Давно уже не спалось ему так сладко, как в этой дрянной гостинице, первую ночь на свободе и в родной земле.

Петухи пропели, звезды начинали бледнеть, и в часовне св. Петрониллы прозвучал колокол, когда послышался громкий стук в ворота альберго, крики богохульства, топот лошадиных копыт. Микеланджело вскочил и долго не мог сообразить в темноте, что с ним и где он: он все забыл во сне, и ему казалось, что он еще в Риме, в своей спальной комнате рядом с мастерской. Затем вспомнил и подумал, что это внизу, в кухне, буйствуют пьяные доганьеры[1]. Но по лошадиному топоту в соседнем переулке скоро догадался, что дело неладно, должно быть, за ним приехали посланные от Юлия. Сердце его забилось чаще; он хорошо знал, что поступок его с папою может стоить ему жизни, или, по крайней мере, заключения в страшных подземных темницах Св. Ангела. В темноте, обшарив скамью, ощупал он кожаный пояс с прикрепленными к нему ножнами, вынул кинжал и положил рядом с собою на подоконник.

Дверь горницы отворилась, и в нее просунул голову хозяин гостиницы, заспанный и растрепанный, с фонарем в руке, от которого упал колеблющийся круг света на кирпичный пол.

— Не вы ли мессер Микеланджело Буонарроти из Рима? — спросил хозяин.

— Я Буонарроти из Флоренции и возвращаюсь в мой город из Рима. Чего вам нужно?

— Ах, помилуйте, ваша эчеленца[2], мог ли я предполагать что-либо подобное! — воскликнул хозяин с подобострастным поклоном. — О, зачем же ваша эчеленца давеча не изволили предупредить? Знаю, знаю, инкогнито... Но, поверьте, если бы я только имел счастье подозревать, что такой знатный и благородный господин делает

[1] Таможенники (*итал.* doganiere).

[2] Ваше превосходительство (*итал*, eccelenza).

честь моему скромному жилищу, я отвел бы покои внизу. Правда, мы ожидаем с часу на час посла яснейшей республики, мессера Джустиниани, но для вас, знаменитейший и сиятельнейший...

— Послушайте, что вам нужно?— повторил Микеланджело с нетерпением, слыша продолжавшиеся крики и стук.

— Курьеры, курьеры его святейшества, преблаженнейшего и преподобнейшего отца нашего папы Юлия,— объявил хозяин с таинственным видом, как неожиданно радостную весть.— Я велел им отпереть с вашего позволения. Пресердитые и преважные господа, осмелюсь доложить, едва ворот не выломали, всю крепость всполошили...

— Вы окажете мне большую услугу, добрый человек,— произнес Микеланджело,— если немедленно пошлете когонибудь или сами сходите к здешнему подеста́[1], моему другу мессеру Федериго Старно. Попросите от моего имени, чтоб он пришел со своими людьми: скажите, что мне скоро может понадобиться его помощь.

— Вашей милости нечего беспокоиться,— возразил хозяин,— я слышал голос мессера Федериго у моих ворот. А ночью он никогда не выходит без стражи. Вот и господа курьеры...

И он пропустил в комнату пять человек, с ног до головы вооруженных, в огромных ботфортах, забрызганных грязью. Трое спящих на громадной постели проснулись и вскочили: один из них, думая, что это разбойники, спрятался под кровать, другой, крестясь, шептал Ave Maria[2], третий ругался, протирая глаза.

В предводителе маленького отряда, в молодом человеке с красивым и хищным лицом, Микеланджело узнал кавалера папской гвардии. Юноша снял черный берет с алым пером и произнес, вежливо кланяясь:

— Имею честь быть, мессер Буонарроти, вашим покорным слугою — рыцарь Джисмондо Брандино. Я позволил себе явиться к вашей милости с поручением от папы. Не угодно ли будет вашей синьории последовать за нами.— лошади стоят у ворот. Не должно медлить, так как его святейшество ожидает вас с великим нетерпением.

— Папа, вероятно, уже получил мое письмо,— возразил Микеланджело,— я извещаю его, что навсегда уехал из Рима и не намерен возвращаться.

— Я имею письмо от его святейшества.

Джисмондо приблизился и подал конверт с привешен-

---

[1] Мэр города.

[2] Богородице, Дево, радуйся! (*лат.*)

ной на шнурке большою печатью зеленого воска, на которой изображена была тройная остроконечная митра и ключи римского первосвященника. Хозяин принес заплывшую сальную свечу в неуклюжем деревянном подсвечнике. Микеланждело прочел следующие слова, торопливо написанные рукою папы:

«По прочтении сего немедленно ехать в Рим или готовиться к нашему гневу.

Юлий»

— Это письмо,— спокойно произнес художник,— ни в чем не меняет дела. Вы можете передать его святейшеству, что я остаюсь при моем намерении никогда не возвращаться в Рим.

— Мессере,— молвил Джисмондо,— говорю вам теперь не как посланный его блаженства, а как человек, желающий добра великому художнику, славе и гордости нашего отечества: исполните волю папы. Святой отец разгневан, но готов простить и оказать вам новые, еще бо́льшие милости. Я знаю, что он велел заплатить двести дукатов, которые вы в прошлую субботу заняли в банке мессера Галли.

— Благодарю за добрый совет, рыцарь,— с усмешкой возразил Буонарроти,— но, к сожалению, вы имеете дело с человеком не менее своевольным и упрямым, чем его святейшество папа Юлий. Не тратьте же слов даром: воля моя столь же неизменна, как воля папы, и счеты мои с ним кончены.

— Мессер Буонарроти, как мне ни прискорбно, но я должен предупредить вашу милость, что в случае, если бы вы не пожелали добровольно вернуться, я имею полномочия употребить крайние средства. Надеюсь, что вы не заставите меня.

— Угроза?— перебил Микеланджело и быстро подошел к окну, открыл ставни, поднял подвижную раму с тусклыми стеклами и увидел у ворот альберго Федериго Старно с вооруженными людьми и толпою любопытных. Утреннее небо светлело, колокола св. Петрониллы заливались весело и тонко.

— Мессер Буонарроти, последнее слово: вы не желаете следовать за нами?— произнес Джисмондо.

— Оставьте меня в покое, уверяю вас, это лучше для нас обоих.

— В таком случае...

По знаку Джисмондо один из солдат приблизился к Микеланджело и взял его за руку. Он понял, что они

хотят связать его, и оттолкнул солдата с такою силою, что он ударился о стену и едва не упал. В то же мгновение Буонарроти схватил кинжал и, выглянув в окно, приветствовал своего друга подеста громким голосом:

— Доброго здоровья, мессер Федериго. Как поживаете?.. Нет, нет, благодарю вас, пока помощь ваша не нужна.

Потом, обернувшись к папскому курьеру, продолжал:

— Слушайте, мессере, если кто-нибудь из ваших людей тронет меня пальцем, я позову стражу подеста, и вам будет плохо. Мне довольно сделать знак, чтобы люди, стоящие у ворот, изрубили вас. Мы здесь на свободной земле. Я гражданин Флорентинской республики, и горе тому, кто посмеет наложить на меня руку. Я не хочу, чтобы проливалась кровь. Ступайте же с Богом, пока не случилось беды.

Джисмондо понял, что Микеланджело не шутит, переменил выражение лица и голоса и начал просить, чтобы он, по крайней мере, ответил на письмо папы.

Художник согласился, велел хозяину принести чернильницу и написал короткое письмо, в котором извещал, что посланные настигли его в флорентинских владениях, а потому не могли заставить ехать в Рим, объявил, что ни за что не вернется, что за верную службу не следовало оскорблять и выгонять его как негодяя и что так как папа не хотел дозволить ему окончить гробницу, то он считал сделанные условия уничтоженными и не желал делать новых.

Выставив число в письме, он запечатал и передал его Джисмондо. Рыцарь с церемонною испанскою вежливостью поклонился и молвил: «Надеюсь, до скорого свидания в Риме», и, так как делать было больше нечего, вышел со своими людьми. Через несколько времени Буонарроти услышал удалявшийся стук лошадиных копыт.

В тот же день среди милых нежных холмов, где извиваются серебряные кольца Арно, он увидел черепичный, подобный громадному нераспустившемуся цветку, красноватый купол Марии дель Фьоре и темно-серую высокую башню палаццо делла Синьория.

VIII

В это время правителем Флоренции, пожизненным гонфалоньером, был старый друг Микеланджело, Пьетро Содерини. Он принял художника под свою защиту.

Через три месяца пришла из Рима папская булла.

«Возлюбленные чада!— обращался Юлий к флорентинским синьорам,— прежде всего апостольское наше вам благословение во здравие и спасение души и тела. Микеланджело, ваятель, который легкомысленно и необдуманно уехал от нас, ныне, как мы слышали, не смеет возвратиться. Мы не гневаемся на него, зная нрав и природу людей, подобных ему. Но для того, чтобы он отложил всякое подозрение, напоминаем вам о долге сыновней почтительности и поручаем сказать ему, что ежели бы он пожелал вернуться, то мы не причиним ему никакого зла и примем с той же милостью, какую оказывали ему до отъезда. Из Рима дано 8 июля 1506, нашего правления третьего лета».

Микеланджело хорошо знал, что святой отец не задумается нарушить слово, что он не раз уже преступал клятвы в делах с людьми более сильными, и что милостивая булла — только хитрость, дипломатическая западня.

Содерини ответил Юлию почтительно и уклончиво, что Микеланджело так напуган (impaurito), что, несмотря на уверения, заключенные в булле, считает возвращение в Рим небезопасным. Он, Содерини, всячески убеждает и будет убеждать его возвратиться в Рим, но вместе с тем уверен, что если только он перестанет обращаться с Микеланджело ласково и осторожно, тот непременно убежит. Два раза он уже был близок к тому.

Гонфалоньер не обратил большого внимания на первую буллу, не очень торопил Микеланджело ехать и надеялся, что гнев Юлия скоро потухнет.

Через несколько дней пришла вторая, еще более милостивая и настоятельная булла.

Тогда Содерини, человек, безукоризненно честный, но слабый и нерешительный, призвав Микеланджело, молвил:

— Ты поступил с папою так, как не осмелился бы поступить с ним король Франции. Не при против рожна. Довольно упорствовать. Мы не хотим и не можем начинать из-за тебя войну с папою и подвергать город опасности, а потому просим тебя возвратиться к его святейшеству.

— Лучше я отправлюсь к великому турку, чем к его святейшеству,— воскликнул Буонарроти,— султан сумеет защитить меня от папы.

Содерини знал, что эти слова в устах Микеланджело — не простая угроза. Художник давно уже вел переговоры с Баязетом II через одного приехавшего из Константинополя францисканского монаха. Чувствуя себя, как зверь, затравленный в берлоге, Буонарроти готов был на все, чтобы избавиться от страшных когтей папы. Султан предлагал ему построить мост через один из рукавов Золотого

Рога, чтобы соединить Константинополь с Перою. Художнику нравилось величие этого замысла.

От Содерини пошел он к монаху францисканцу, с которым вел переговоры,— к фра Тимотео.

Тот принял его, как всегда, с радостью, стал угощать восточным розовым вареньем, показал новые письма из Константинополя и умолял поскорее решить дело, так как султан не хочет долее ждать и требует окончательного ответа.

— Фра Тимотео,— произнес Микеланджело,— заклинаю вас, скажите мне правду, как перед Богом, не потребует ли султан, чтобы я отрекся от Христа и поклонился нечестивому Магомету? Я лучше хотел бы умереть, чем не только сделать, но даже подумать что-либо подобное.

— О, будьте, покойны, мессер Буонарроти, клянусь вам Святою Пасхою, клянусь спасением души моей, что султан не потребует от вас ничего противного совести. Поверьте мне, суд Божий не то, что человеческий. Я жил в Константинополе, жил в Риме, и, право, мне трудно было бы решить, говорю вам по совести, где больше порочных людей — при дворе его святейшества или при дворе его величества. Мессер Буонарроти, все мы люди, все человеки. Я знавал язычников, которые были милосерднее и праведнее, чем те, кто называют себя христианами и повторяют мертвыми устами: «Господи, Господи», а в сердце их дьявол.

— Буду ли я свободен, фра Тимотео, свободен во всем? Позволит ли мне султан в искусстве делать то, чего я желаю?..

— Слушайте, сын мой, я прочел однажды, не помню в какой книге, что древний ваятель задумал вырубить из целой горы, стоявшей на берегу моря, статую Александра Великого, такую громадную, чтобы на ладони рук ее мог поместиться город с площадями, улицами, храмами, с десятками тысяч народа. Если бы вы задумали что-нибудь подобное, а я знаю, что великая душа ваша способна и к большему, то султан поймет вас и ни в чем не откажет — ни в деньгах, ни в людях. Этот всемогущий государь хочет, чтобы вы создали произведение, достойное вас и его, необычайное, о каком еще ни один человек на земле и подумать не смел. Султан сильнее папы, и в сравнении с тем, что он ожидает от вас, замыслы его святейшества ничтожны. У папы есть Браманте. Довольно с него. Лучшего не стоит. На вашем месте я бы показал флорентинцам-купчикам и римским папам, кто у них был и кого они лишились! О, я проучил бы их, уехал бы к султану уже для того, чтобы

долго они помнили, что значит оскорблять художника! У меня и теперь душа замирает от смеха, как подумаю, какое лицо сделает папа, узнав, что ваша милость уехала к султану. Святой отец будет себе руки кусать от злобы. Да поздно,— птичка улетела, не воротишь... Итак, мессер Буонарроти, по рукам, не правда ли? Я дурного не посоветую. Через два дня мы выезжаем отсюда, потом на корабле из Венеции. Скажите только «да»— и я сегодня же напишу его величеству.

IX

В глубоком раздумьи возвращался Микеланджело от фра Тимотео по тихим улицам Флоренции. В сотый раз взвешивал он на внутренних весах совести: папа или турок? Что лучше — папа или турок?

— Господи, неужели и вправду нет на земле свободы, неужели нет такого места, где бы я мог никому не служить — ни папе, ни турку, исполняя волю своего сердца и Бога?

С тяжелым вздохом поднял он глаза к небу. Недосягаемо высокие облака, круглые, мелкие, голубые как перламутр, освещались невидимой луной: там был вечный холод, покой и свобода.

— Папа или турок? — повторял он с горькой усмешкой.— Монах прав, они стоят друг друга. Не все ли равно! Нет свободы, надо быть рабом, надо терпеть и покоряться.

Он вспомнил себя, каким был в Поджибонси — бесстрашным и надменным. Трех месяцев мелких оскорблений, мелких счетов с жизнью довольно было, чтобы обезоружить его сердце, чтобы в душе его не осталось ни капли гордости. Он чувствовал себя беспомощным и слабым. Стоило возмущаться, стоило убегать из Рима, людей смешить!

Поскорее вернулся он домой, не зажигая свечи, разделся, лег в постель, с головою завернулся в одеяло так, чтобы ничего не видеть и не слышать, повторяя одно слово: «Скучно, скучно!» Холод отвращения к жизни, к людям, к себе пронизывал его до сердца, как холод смертельной тошноты. Обессиленный и уничтоженный, без мысли, без чувства, без воли, заснул он мертвым сном.

На следующий день пришла третья булла.

Гонфалоньеру донесли о новых переговорах Буонарроти с турками. Содерини опять призвал его к себе и стал уверять, что если он уедет к султану, Юлий наверное отлучит его от церкви. Лучше умереть от руки папы, чем жить при

дворе турка. Впрочем, художнику нечего опасаться; святой отец благосклонен и требует его к себе, потому что любит, а не потому, что желает причинить ему обиду. Но если он все-таки страшится, флорентинская синьория готова дать ему титул посланника — ambasciatore, делающий лицо неприкосновенным.

Микеланджело ответил, что согласен на все и готов ехать к папе.

В это время его святейшество, не как смиренный пастырь Христовых овец, а как римский военачальник, не снимая шлема и панциря, не сходя с боевого коня, опустошил замки, города и селения непокорных вассалов и баронов церкви, завоевал Перуджу и триумфатором при кликах народа вступил в Болонью.

С титулом ambasciatore — посланника Флорентинской республики — приехал туда Микеланджело 15 ноября 1506 года.

Гонфалоньер дал ему письмо к своему брату, кардиналу Содерини.

«Смеем вас уверить,— писал он, между прочим, брату,— что Микеланджело — человек необыкновенный, первый ваятель в Италии, если не в целом мире. Мы поручаем его вашему вниманию. Вежливостью и ласковостью можно с ним сделать все что угодно. Но следует дать ему заметить, что его любят и ценят. Помните, что Микеланджело возвращается к папе, доверившись нашему слову».

Несмотря на все дипломатические любезности, Буонарроти, по собственному выражению в одном из тогдашних писем, ехал к папе «с ремнем на шее», то есть как собака, которую тащат насильно.

Он передал письмо кардиналу Содерини, который был болен, извинился, что не может лично ходатайствовать, и поручил одному из своих епископов замолвить слово перед папою за художника.

Буонарроти приехал в Болонью утром и пошел слушать обедню в собор. По дороге встретили его папские конюхи. Они обрадовались и повели его во дворец.

X

В торжественной и мрачной зале, во Дворце шестнадцати (Palazzo de sedici), папа, окруженный рыцарями и военачальниками, сидел под триумфальным балдахином из темно-зеленого бархата, по которому были вышиты золотом дубовые листья и желуди — геральдический знак Юлиева дома — делла Ровере.

Епископ, приближенный кардинала Содерини, встретил Буонарроти в дверях, положил руку на его плечо и стал успокаивать:

— Как вы себя чувствуете, сын мой? Главное, не теряйте присутствия духа. Господь милостив, папа сегодня в хорошем настроении. Не бойтесь, уж мы за вас похлопочем.

Микеланджело взглянул на епископа: это был вертлявый человек с угодливым и приторным выражением лица.

— Главное, присутствие духа,— повторял он хлопотливо.— Сложите руки, смотрите его святейшеству в глаза; его святейшество любит, чтобы ему смотрели прямо в глаза. Изобразите кротость и смирение в лице...

Епископ подвел художника к престолу папы. Микеланджело стал на колени.

Юлий взглянул на него исподлобья и тотчас же отвел глаза. В старческих пальцах сжимал он костяную ручку своего страшного знаменитого посоха. Наконец Юлий проговорил тихо и угрюмо:

— In cambio di venire tu a trovare noi, tu hai aspettato che veniamo a trovare te? — Вместо того чтобы тебе явиться к нам, ты подождал, пока мы сами не пришли к тебе?

Его святейшество хотел этим сказать, что Болонья находится ближе к Флоренции, чем Рим, и таким образом он первый приехал к Микеланджело в Болонью.

Художник произнес заранее приготовленные слова — вежливо извинял свой поступок, уверяя, что не имел желания оскорбить его святейшество. Он позволил себе покинуть Рим, полагая, что более не нужен папе.

Юлий не отвечал и сидел, опустив голову. Лицо его было гневно, брови нахмурены, и судорожно подергивались углы плотно сжатого, старческого, ввалившегося рта. Наступило молчание.

Тогда угодливый епископ решил, что пора заступиться, что иначе дело может кончиться плохо для Буонарроти. Среди зловещего молчания он произнес жалобным и глупым голосом:

— Ваше святейшество, простите беднягу, не извольте на него гневаться. Такой уж народ все художники: с них и спрашивать нельзя, это люди невежественные, необразованные, ничего не разумеют, кроме своего ремесла...

— Дурак!— закричал папа таким голосом, что у епископа ноги подкосились от испуга,— ты говоришь ему дерзости, которых и мы не говорим. Невежда не он, а ты. В мизинце этого человека больше ума, чем в твоей голове. Убирайся к черту!

И он с яростью замахнулся костылем на епископа, который стоял ни жив ни мертв.

Тогда конюхи, лакеи, приспешники окружили, заперли, оттеснили его, сначала потихоньку, подталкивая под локти, потом уже не церемонясь, выпроваживая в двери, по выражению самого Микеланджело, который впоследствии нередко рассказывал об этом случае друзьям своим,— «лакейскими толчками».

Папа сорвал сердце на епископе. Все вздохнули свободнее. Юлий велел художнику приблизиться, поднял его и милостиво дал благословение:

— Чудак,— молвил папа, и улыбка заиграла на его губах.— Чего ты струсил? Думал, я тебя съем, что ли?

Потом лицо его сделалось серьезно, он наклонился и сказал ему на ухо быстро и тихо, так, чтобы окружающие не могли слышать:

— Не верь клеветникам, как я не верю, и знай, Буонарроти, сколько бы ты ни жил, не найдешь ты другого человека, кто бы так любил тебя, как я.

Он обнял, поцеловал Микеланджело в лоб, и оба почувствовали, что понимают друг друга.

XI

Вскоре после этого свидания папа, еще находясь в Болонье, приказал художнику вылепить с него громадную статую, отлить из меди и поставить в нише над главным входом в церковь св. Петрония. Для исполнения заказа положил он в банк мессера Антонио Мария Леньяно тысячу скуди. Буонарроти с жаром принялся за дело, и до отъезда Юлия в Рим глиняная модель статуи была готова.

Однажды папа пришел к нему в мастерскую взглянуть на работу. Святой отец был изображен благословляющим народ правою рукою, но художник не знал, что дать ему в левую.

— Не пожелаете ли книгу, ваше святейшество?— спросил он Юлия.

— Книгу!— воскликнул папа.— О, нет, я человек неученый. Не книгу, а меч. Mettimi una spada, che io non sono di lettere.

Потом, указывая на могучее и грозное движение поднятой правой руки, папа, улыбаясь, спросил его:

— Что это? Благословение или проклятие?

— Ваше святейшество,— отвечал Микеланджело,— вы говорите жителям Болоньи, что накажете их, если они будут непослушны.

Буонарроти провел шестнадцать месяцев в тяжелом труде, лишениях и заботах, отливая статую. Наконец она

была готова: над входом в церковь сидел медный папа, как живой, с грозно поднятою десницею, но в левой руке держал он не книгу и не меч, а ключи св. Петра.

Эта статуя погибла бесследно. Граждане Болоньи, которые некогда встречали восторженными криками Юлия-триумфатора, по возвращении изгнанных папою герцогов Бентиволио с яростью, бранью и хохотом стащили веревками статую на площадь и разбили ее вдребезги; герцог Альфонсо д'Эсте, большой любитель и знаток артиллерии, вылил из обломков громадную пушку, которая получила имя Юлия.

Микеланджело, окончив работу, вернулся в Рим и надеялся, что папа позволит ему продолжать гробницу.

Но враги готовили новые сети. Браманте не мог успокоиться, придумывая средства, чтобы поссорить папу с Буонарроти, и с этою целью пригласил из Урбино своего родственника, юного Рафаэля Санти. Он угадал, что Рафаэль будет единственным соперником, страшным для Буонарроти не в скульптуре, а в живописи. Браманте решил заманить Микеланджело в живопись и стал нашептывать папе, что следует покрыть фресками потолок недавно перестроенной капеллы Сикста и что во всем мире нет человека более способного к столь трудному делу, чем Микеланджело. Браманте надеялся, что если Буонарроти не примет заказа, то восстановит против себя папу, если же согласится, то славу его как живописца затмит Рафаэль.

Микеланджело понял намерение врагов и старался избавиться от заказа. Он убеждал папу, что следует поручить это дело Рафаэлю, что он, Буонарроти, отвык от живописи, не разумеет и не любит этого искусства. Но таков был нрав Юлия: чем больше Микеланджело упорствовал, тем непреклоннее становилась воля папы. Дело грозило окончиться новою ссорою. Браманте злорадствовал.

— Нашла коса на камень,— говорил он сообщникам своим, весело потирая руки.

Наконец Микеланджело понял, что сопротивление бесполезно, и скрепя сердце, с отчаянием в душе, начал подготовительные рисунки.

Сикстинская капелла — узкое, длинное здание с высокими окнами, с гладкими голыми стенами без всяких украшений. Продолговатый потолок с дугообразными отвесами хорошо освещен. Желая оставить свободное место для совершения служб церковных, папа не позволил загромождать нижней части часовни. Леса надо было строить так, чтобы без подпорок они держались на высоте, соединяясь с полом только узкими опасными лестницами.

Папа поручил Браманте постройку лесов. Он долго не

знал, как приступить к этому трудному делу. Наконец придумал способ: проделал в крыше и потолке небольшие дыры, в которые пропустил канаты: на них должны были держаться легкие висячие мостики. Эта сложная сеть веревочной паутины — хитрая воздушная постройка, была чудом искусства, но чудом бесполезным.

Микеланджело, увидев ее, рассмеялся в лицо Браманте:

— Что же мы будем делать с дырами, когда придется покрывать эти места живописью?

Браманте смутился, пожал плечами и ответил, что иначе сделать нельзя, если не строить подпорок снизу, чего папа не позволяет.

Тогда Буонарроти пошел к Юлию и объявил, что леса Браманте никуда не годятся.

— Ежели он не умеет,— возразил папа, бросая гневный взгляд на архитектора,— сделай сам.

Браманте почувствовал, что попал в яму, которую рыл другому.

Микеланджело разобрал веревочную паутину, заделал дыры, причем вынутых канатов оказалось такое множество, что бедный помощник его, плотник Козимо, которому он их подарил, на вырученные за них деньги выдал замуж двух дочерей.

Буонарроти построил леса без помощи веревок, искусно утвердив на карнизах выступы бревен и досок, соединяя их и переплетая так, что подмостки становились тем прочнее и надежнее, чем более накладывали на них тяжестей.

Эта постройка открыла глаза Браманте, научила его воздвигать леса, и он воспользовался уроком, когда строил подмостки для церкви св. Петра.

Боясь, что собственных сил не хватит для выполнения замысла, Буонарроти пригласил из Флоренции живописцев — Граначчо, Буджардино, Бастьяно ди Сангалло.

Но скоро увидел он, что помощники бесполезны; они раздражали его упрямством и неумелостью. Мало-помалу он начал их избегать, потом отпустил совершенно, и они уехали домой оскорбленные и негодующие.

Микеланджело принялся за работу один, никого не пуская на леса, кроме плотника — молчаливого Козимо. Лицом к лицу с почти непреодолимыми трудностями Буонарроти отказался от всякой помощи.

Окончив первые картины, он разобрал часть подмостков, чтобы взглянуть на работу снизу, и убедился, что размеры человеческих фигур слишком малы, не соответствуют высоте потолка. Он должен был уничтожить все сделанное и сызнова начать работу.

Картина потопа была готова, когда за ночь, при северном ветре «трамонтано», на стенах, покрытых новою непросохшею известью, выступила плесень. Микеланджело увидел белесоватые уродливые пятна, под которыми краски побледнели и кое-где совсем исчезли. Он побежал к папе.

— Говорил я вашему святейшеству, что живопись не мое дело. Все, что я написал, погибло. Если вы не верите, пошлите кого-нибудь.

Папа послал Джулиано ди Сангалло, который, осмотрев стены, понял, что Микеланджело накладывал слишком влажную известь: сырость при ночном холоде выступила плесенью; Сангалло утешил и научил приятеля снимать плесень так, чтобы она не причиняла вреда картине.

Это было последнею попыткою Буонарроти освободиться от ненавистного заказа, последнею надеждою, за которую он ухватился, как утопающий за соломинку. Случилось то, чего он более всего страшился: работа увлекала его. Она изнуряла, как тяжелая болезнь. Ему казалось, что он умрет, не окончив ее, сойдет с ума. Но он не мог остановиться. Невыполнимое притягивало, как бездна, как безумие. Таким он был создан. Душа его презирала возможное. И он работал поневоле, с отчаянною и бесповоротною решимостью, с неимоверною быстротою, с убийственным напряжением всех сил душевных и телесных.

Он писал лежа, закидывая голову, чтобы видеть потолок. Тело его так привыкло к мучительному положению, что, когда становился на ноги, держал голову прямо,— он почти ничего не видел. Зрение ослабевало; он боялся ослепнуть, страдал бессонницами и головокружениями. Чтобы читать письма и бумаги, должен был подымать их выше головы и обращать глаза кверху. По целым неделям не сходил он с лесов на землю.

Когда же сходил, то, понурив голову, угрюмый и одинокий, спешил по веселым улицам Рима и чувствовал с отвращением на своем изможденном лице любопытные взоры людей. Ему чудилось, что он должен казаться выходцем из могилы. Повседневные человеческие лица были ему противнее и ненавистнее, чем когда-либо. Завидев издали знакомого, он обходил его, чтобы не встретить. Его мучило вечное подозрение, что за ним подсматривают враги, подосланные Браманте. На вежливые поклоны друзей он не отвечал и отвертывался. Тогда в самом деле в городе стали говорить, и до папы дошли слухи, что Микеланджело не в своем уме, что он страдает черной меланхолией.

XII

Однажды, в жаркий день, когда у потолка на подмостках было нестерпимо душно, Микеланджело работал с утра, лежа на своей скамейке, передвижной, катавшейся на колесах, с небольшим деревянным изголовьем, покрытым войлоком, чтобы оно не терло шеи. Голова его была закинута: пот выступал на лбу и порою с потолка прямо ему на лицо падали капли невысохших красок, только что положенных кистью. К этому он давно привык и не обращал внимания. Лицо его в разноцветных пятнах казалось бы смешным, если бы не было таким уродливым и страшным.

Картина изображала создание первого человека. Бог Отец в порыве бури, окруженный ангелами, спускается с неба к телу Адама, лежащему на голой земле, и готов прикоснуться, но еще не прикоснулся рукой к его руке, чтобы дать ему жизнь. Микеланджело осторожно накладывал последние тонкие, почти неуловимые тени, доканчивая руку Адама, беспомощно протянутую к Создателю, с могучими, но неоживленными мускулами, поникшую, слабую, как у спящего ребенка, который должен и не хочет проснуться.

Внизу на лестнице послышался знакомый скрип ступеней. Буонарроти всегда боялся, чтобы его не застали врасплох. Он встал со скамейки и подошел к двери, нарочно устроенной так у входа с лестницы на подмостки, чтобы никто не мог взойти на леса, когда Микеланджело запирал ее изнутри. Надо было выломать дверь, чтобы проникнуть в эту воздушную крепость.

«Кого черт несет?»— подумал художник со злобою и спрятался за доски рядом с дверью, расположенные так, чтобы можно было, как из засады, видеть, кто идет по лестнице. Тревога оказалась напрасной. Микеланджело забыл, что послал Козимо к ближайшему пекарю, «fornaio», за хлебом и ветчиной на завтрак.

— Это ты? А я испугался, думал, опять лезут. Письмо?

— Почта из Флоренции,— отвечал угрюмый плотник, карабкаясь по лестнице.

— Давай, давай скорее!

Он взял письмо, но перед тем, чтобы распечатать, подумал: не лучше ли сперва кончить, наложить последние тени, потом он забудет их и не найдет; письмо опять расстроит его на целый день, лишит силы работать. Мысли о семье, письма от отца и братьев были для него единственным горьким рассеянием, единственным отзвуком далекой жизни. В последнее время он имел дурные вести из Флоренции: младший брат Джован-Симоне, необузданный,

легкомысленный юноша, вел порочную жизнь, не слушался отца, разорял семью, бросал деньги на женщин — эти проклятые, святые деньги, которые он, Микеланджело, зарабатывал с такими невыразимыми страданиями, его деньги, его кровь и пот.

Он нетерпеливо распечатал письмо, прочел, и лицо его потемнело, глаза вспыхнули. Он злобно оттолкнул ногою рабочую скамейку, которая далеко откатилась с жалобным визгом, и негодующими, большими шагами заходил взад и вперед по скрипучим шатким доскам.

Отец писал ему о брате Джоване-Симоне, который дошел до такой наглости, что недавно, вернувшись домой пьяный, грозил старику побоями.

— Подожди, я тебя проучу, негодяй! — восклицал Микеланджело, размахивая руками, не обращая внимания на сосредоточенного Козимо, который давно привык к этим яростным монологам своего господина. Кончив скудный завтрак, плотник равнодушно возился в углу над кадкою со свежей известью для потолка.

— Ты не человек, а зверь, — продолжал Буонарроти, обращаясь к невидимому собеседнику — anzi sei una bestia! — И я поступлю с тобою, как со зверем. Знаешь ли, несчастный, когда сын подымает руку на отца, — дело идет о жизни и смерти?

Он хватался за голову с отчаянием:

— О, Господи, да неужели не могут они оставить меня в покое? Я скитаюсь в Италии, не нахожу себе покоя, терплю лишения, обиды, подвергаю себя бесчисленным опасностям, изнуряю тело и душу — и все для них, все для отца и братьев. И вот, когда мне удалось немного устроить и поддержать их, этот полоумный хочет уничтожить все, что я приобрел такими усилиями. Клянусь плотью и кровью Христовой, не быть тому вовеки! Если бы десять тысяч братьев пришли ко мне, я сумел бы с ними расправиться как следует. Довольно на плечах моих тяжести, я больше не возьму на себя ни одного золотника.

Несколько раз он пытался преодолеть волнение и приняться за работу: ложился на скамью, привычным движением закидывал голову и упирал затылок в деревянную перекладину. Но каждый раз вскакивал, бросал кисти и опять начинал ходить взад и вперед. Он так привык к своим лесам, что, не думая и не замечая, в одном месте на ходу расставлял ноги шире, как и следовало, чтобы перешагнуть и не провалиться в дыру между досками. Злоба душила его. Теряя самообладание, он кричал и грозил кулаком.

— Покажу я тебе, молокосос, что значит бросать на ветер чужие деньги, поджигать свой дом и свое добро. Вот ужо приеду во Флоренцию, погоди, щенок, доберусь я до тебя. Не посмотрю я на вашу гордость, мессер Джован-Симоне, завоете вы у меня, как дети воют под розгами. На отца поднял руку!.. О, мерзавцы, все мерзавцы!..

Козимо, не отнимая рук от кадки, обернул к Микеланджело равнодушное лицо.

— Это вы правду изволили сказать, мессере, что все мерзавцы. Изгадились людишки. Смотреть тошно... Давеча Браманте опять подсылал: денег дает сколько хочу, только бы я позволил ему, когда вас не будет, взглянуть на потолок. Я ответил, что с лестницы спущу его и этого молодчика из Урбино, Брамантова прихвостня Рафаэля, если они осмелятся прийти сюда. Мерзавцы!

Козимо выражался кратко и невразумительно. Но слуга и хозяин понимали друг друга с полуслова, даже без слов.

— Козимо, есть у тебя чернильница и перо?

— Есть, как не быть. Все у нас есть, кроме птичьего молока.

Он гордился хозяйством своего воздушного жилища. Не торопясь пошел Козимо в угол, где стояли две постели, порылся среди домашнего скарба, старого платья, кухонной посуды, бутылок с вином, горшочков с жидкими красками, запаса кистей, плотничьих и столярных инструментов, ящиков с известью, нашел чернильницу, перо, бумагу, и подал их Микеланджело.

И тут же, присев на доски перед рабочею скамьею, художник решительно и быстро написал брату, которого, несмотря ни на что, любил больше других братьев, в буйных выходках Джован-Симоне находя душу, подобную собственной душе.

Но на этот раз он высказал все, что думал, не смягчая выражений: anzi sei una bestia! Он грозил брату жестокою расправою, если он не одумается. Микеланджело, отправив письмо, вздохнул свободнее.

На следующий день он опять принялся за картину. Когда художник взглянул на нее, он почувствовал радость. Он знал, что это ненадолго, что стоит кончить произведение, чтобы оно ему опротивело. Но мгновения этой обманчивой радости были единственной наградою, без которой он бы не принял и не вынес муки творчества.

Микеланджело радовался, думая, что в действительности все было так, как он изобразил, и не могло быть иначе.

Блаженные духи, первозданные херувимы, которые прячутся в бурных складках ризы Господней, с недоумением, любопытством и ужасом смотрят на человека, на сво-

его нового брата, а в лице Создателя — благость, которая есть совершенное знание. Но если Он благ и знает все, то зачем создает обреченного греху и смерти?

XIII

Наступали сумерки. Художник собирался оставить работу, когда снова услышал внизу ненавистный скрип ступеней и чужие голоса.

— Мессер Буонарроти! Эй, мессер Буонарроти,— звали его так, как будто ничуть не боялись помешать.

— Опять! О, черти!— проворчал художник и хотел крикнуть ругательство непрошеному гостю, но, выглянув из засады, увидел внизу у подножия лестницы папу Юлия в сопровождении двух конюхов.

— Поскорее, мессер Буонарроти. Разве вы не видите? Его святейшество ожидает вас.

«Отправил бы я ко всем дьяволам ваше святейшество»,— подумал Микеланджело и только тогда отпер дверь, когда убедился, что ни самого Браманте, ни Рафаэля Санти не было с Юлием.

Он сошел, поздоровался и попросил благословения у папы с таким злобным видом, что старик невольно улыбнулся: он был в хорошем настроении.

— Святой отец,— молвил Микеланджело,— я не советую ва́м подыматься. Одна ступенька сломана, плотник не успел починить. Не дай Бог свалиться, костей не соберешь. К тому же темнеет, и вы все равно ничего не увидите.

Но папа уже толкал его нетерпеливо на лестницу.

— Ну, ну, не упрямься же, полезай вперед и давай мне руку. Если свалимся, оба расшибемся, вместе умрем, как вместе жили.

Делать было нечего; папу не переспоришь. Микеланджело медленно и осторожно стал подниматься, помогая и держа за руку старика, который бесстрашно карабкался по узкой головокружительной лестнице без перил.

— Одичал ты, мессер Буонарроти,— подсмеивался Юлий над спутником,— совсем одичал на своих подмостках. Приступу к тебе нет, волком смотришь, того и гляди укусишь.

Микеланджело молчал и думал:

«Хорошо бы сбросить с лестницы этого болтуна».

Они лезли все выше и выше: те, кто смотрели снизу, должны были закидывать голову, и казалось, что художник уводит папу в недосягаемую бездну, в самое небо, где в сумраке исчезали их соединенные тени.

Наконец вышли они на подмостки, старик, запыхавшись от подъема, тяжело дышал и опирался на плечо Микеланджело.

Потом он стал молча обходить и рассматривать картины. Иногда с любопытством приподнимал куски грубой холстины, которыми были завешаны неоконченные фрески. Микеланджело страдал, но должен был водить его святейшество за руку, вежливо предупреждая, где надо поставить ногу и перешагнуть дыру между досками.

Папа нетерпеливо жевал старческими губами; художник видел, что он собирается что-то сказать.

«Ну, вот,— подумал Буонарроти с отвращением и скукою»,— начнутся советы.

Юлий приблизил лицо к Сивилле Кумской [1], чтобы рассмотреть страшные мышцы загорелой руки, которою старуха-исполинша поддерживала на коленях открытую книгу, читая в ней пророчество.

— Да, терпение, дьявольская анатомия!— произнес папа и обернул лицо к художнику.— Клянусь спасением души моей, я ничего подобного не видел. Но это невозможно,— слышишь?

— Что невозможно, ваше святейшество?

— Я говорю, Буонарроти, невозможно так работать. Ты хочешь того, что выше сил человека. Когда ты думаешь кончить потолок, если будешь выписывать каждый мускул, каждую жилку?...

— Я не могу иначе,— произнес Микеланджело.

— Да для кого, скажи на милость, для кого? Когда снимут леса, потолок будет на такой высоте, что всех этих твоих морщинок, мускулов и складочек все равно никто не увидит. Надо стоять здесь, на подмостках и смотреть в упор, чтобы оценить эти подробности. Зачем же тратить время и силы? Это сумасшествие.

— Я не могу иначе,— повторил Микеланджело, не скрывая досады.

— Затвердил, как попугай, не могу иначе, не могу иначе, а ты моги. Слушай, Буонарроти, я стар, смерть у меня за плечами. Я хочу, чтобы ты кончил работу прежде, чем я умру. Ты должен кончить. Скорее, слышишь? Не выписывать — я так хочу — скорее!

— В таком случае, ваше святейшество,— произнес Микеланджело тихо и злобно,— следовало поручить работу кому-нибудь другому, например, этому ловкому молодому человеку, Рафаэлю из Урбино, любимцу Браманте и вашему. Они бы живо расписали потолок и уж, конечно, не постес-

[1] Знаменитая древнеримская прорицательница из города Ку́мы (Кампанья).

нялись бы складочками и мускулами, которых, в самом деле, чернь, глазеющая снизу, не оценит. Я согласен уничтожить работу, но испортить ее никому не позволю...

Юлий застучал костылем о звонкие доски пола.

— Что, что ты сказал? Повтори. Не хочешь ли, чтобы я велел тебя сбросить с подмостков?

— Если вам угодно, я могу повторить,— произнес Микеланджело невозмутимо,— я сказал, что не двину пальцем скорее, чем нужно для моей работы, и кончу ее не ранее, чем буду в силах.

— Буду в силах! Буду в силах!— произнес папа, дрожа от злости и наступая на него,— подожди, негодный, научу я тебя, как должно говорить со своим отцом и благодетелем!..

Он два раза ударил его палкою.

Микеланджело молча посмотрел ему в глаза. Под этим взглядом Юлий притих. Через несколько мгновений он уже раскаивался. Когда они спустились с подмостков, старик обернулся к Микеланджело и хотел ему что-то сказать на прощание, но, увидев лицо художника, смешался, опять рассердился на себя и, как виноватый, поскорее ушел в сопровождении конюхов.

В тот же вечер к Буонарроти пришел папский любимец, молодой Аккорзио, и, объяснив, что он послан его святейшеством, с невинным бесстыдством передал кошелек, туго набитый золотом,— в нем оказалось пятьсот дукатов,— просил позабыть обиду и старался, как мог и умел, извинить своего господина. Аккорзио был так очарователен, говорил с такою вкрадчивою улыбкою и женственною грацией, что Микеланджело не пробовал возражать, не мог сердиться, взял подарок, поцеловал мальчика в лоб и отпустил с миром, сказав, что прощает обиду его святейшеству.

Микеланджело понял: Юлий готов был на все, только бы с ним помириться, боясь, чтобы Буонарроти снова не покинул его и не убежал во Флоренцию.

XIV

Наконец наступил день, которого Юлий ожидал нетерпеливо. Потолок был готов. Микеланджело велел сломать леса в 1512 году, в день Всех Святых. Облака пыли от сброшенных досок и бревен не успели улечься, когда пришел папа в сопровождении прелатов, епископов и кардиналов. Косые лучи солнца падали сквозь узкие окна часовни, пронизывая голубыми снопами клубившуюся пыль. И сквозь нее, как бы сквозь дымку, в недосягаемой высоте папа увидел создание Буонарроти. Юлию казалось, что

стены и потолок раздвинулись, и он созерцает лицом к лицу открывшуюся бездну.

Посредине было девять картин, изображавших творение неба и земли из хаоса, солнца и луны, вод и растений, первого человека, жены его, выходящей по слову Бога из ребра Адама, грехопадение, жертву Авеля и Каина, потоп, насмешку Сима и Хама над наготою спящего отца.

Вокруг девяти средних картин, не думая о тайнах, заключенных в них, вечно свободные и беспечные, играли юные боги первозданных стихий, сопровождая равнодушной пляской и хором трагедию вселенной.

Под ними — пророки и сивиллы, гиганты, отягченные скорбью и мудростью.

Еще ниже — предки Иисуса Назарянина, ряд поколений, покорно передававших друг другу бесцельное бремя жизни, томившихся в муках рождения, питания и смерти. Они не участвовали в мудрости пророков и сивилл, не слышали бури Господней, которая волновала веселые хороводы стихийных богов. В домашнем сумраке, в семейной тишине, они только любили, укрывали и грели детей своих, ожидая пришествия неведомого Искупителя.

Так Микеланджело изобразил три ступени бытия: веселие богов, мудрость пророков, любовь матерей к своим детям. Но трагедия Бога и человека, тайна бытия не разрешилась ни весельем, ни любовью, ни мудростью.

Осмотрев потолок, Юлий обнял Микеланджело.

— Слава тебе, Буонарроти,— произнес папа, и слезы блеснули на его глазах,— слава тебе и мне, ибо если бы не мое упорство, если бы я не стоял над тобою, не понукал тебя и не надоедал, ты никогда не кончил бы.

Кардинал, считавший себя знатоком живописи, указывая на потолок, произнес:

— Ваше святейшество, не находите ли вы, что следовало бы протрогать эту картину золотом и аквамарином. А то простому народу потолок покажется бедным. Золото в церкви никогда не мешает.

Папа с улыбкой обернулся к Буонарроти.

— Что ты скажешь?

— Скажу, блаженный отец, что более не прикоснусь к потолку: что я сделал, то сделал. Конечно, легко разукрасить живопись золотом и аквамарином по церковному обычаю. Но зачем? Люди, изображенные в моих картинах, были не из тех, которые украшаются золотом и пышными одеждами.

Толпами сходились римляне в часовню Сикста. Повсюду говорили о новых фресках; рыночные торговки болтали и спорили о живописи. Лаисы, Империи, Анджелики, даже

знаменитые своим легкомыслием «Мадремано-вуоле»,— все модные римские куртизанки рассуждали о том, кто из двух живописцев выше, Рафаэль или Микеланджело.

А сам Буонарроти ходил как потерянный. За двадцать месяцев он так успел привыкнуть к своей работе, что, лишившись ее, чувствовал себя более одиноким, чем когда-либо. Вместо заслуженной радости в душе его были холод, пустота и скука.

В часовню он почти не заходил, чтобы не слышать нелепых суждений о себе или еще более нелепых восторгов.

XV

Однажды понадобилась ему кожаная сумка с бумагами и письмами, забытая в ящике среди хлама и сброшенных лесов, которые не успели убрать из капеллы. К счастью, в этот день народу было мало: все пошли на большой праздник в церковь св. Петра.

Микеланджело рылся в ящике; никто его не видел. Нагроможденные доски и бревна сваленных подмостков закрывали его. Художник с тайным сожалением смотрел на пыльные развалины своей неприступной крепости, где он провел столько памятных дней.

Отыскивая нужную сумку и разбирая хлам, тщательно сложенный бережливым Козимо, он услышал вблизи спор двух посетителей. Судя по говору, один из них был чужеземец, приехавший в Италию с далекого севера, вероятно, фламандский художник. В другом Буонарроти узнал венецианца, ибо тосканское g он выговаривал по-детски смешно и мягко, как z. Мессера Джорджо, своего собеседника, он называл мессером Зорзо.

Буонарроти старался не обращать внимания на их разговор, но отдельные слова и выражения споривших поразили его, и он с любопытством прислушался к беседе.

— Как? И вы еще спорите, мессер Зорзо,— горячился венецианец,— нет, нет, всеми комментариями Аверроэса к Аристотелю вы не докажете, что когда-либо Рафаэль создаст что-нибудь подобное этому потолку.

— Почем вы знаете, мессер Федериго, что он создаст? Рафаэль молод,— возразил медлительный и хладнокровный фламандец.

— Да, молод годами, мессер Зорзо. Но он себя показал до конца. Он тут весь как на ладони. Рафаэль всегда подражает.

— Подражает природе, тем лучше!— возразил Джорджо.

— В том-то и дело, что не одной природе. Сперва он подражал своему учителю Перуджино, потом Леонардо

да Винчи, потом древней живописи, которую отыскал в римских подземных гротах. Теперь — увидите, как усердно начнет он подражать Микеланджело: Рафаэль берет у всех.

— Берет у всех и всем возвращает сторицею, — перебил Джорджо,— старое делает новым, чужое — своим.

— О, я не спорю, это — великий художник, самый великий и неподражаемый из подражателей... А кстати, слышали вы, мессер Зорзо, что, когда потолок еще не был окончен, он хлопотал через Браманте, чтобы его святейшество отнял работу у Буонарроти и поручил расписать другую половину потолка ему, Рафаэлю... Видите ли, он чувствует свою слабость и боится — иначе он не стал бы прибегать к таким средствам!

— Вы говорите о человеке, не о художнике. Какое мне дело до человека, мессер Федериго?

— Каков человек, таков художник. Рафаэль осквернил себя корыстью. Он любит искусство и славу, но еще больше любит жирные куски со стола кардиналов, свой роскошный палаццо, построенный для него Браманте, своих лощадей и наложниц. Он пишет Мадонн и живет как язычник из стада Эпикура. Обманывает простодушных, прикидывается неземным созданием, самым невинным из мечтателей, но это fortunato garzone [1], по выражению моего друга Франчиа, этот херувим, слетевший к нам с высот Урбино, удивительно ловко устраивает свои дела. Впрочем, он имеет то, чего хотел и чего заслуживает; да, у Рафаэля — «счастливого мальчика»— бессмертная слава. Чего же больше? Он останется навеки идолом людей, любящих в искусстве приятное, доступное и поверхностное, людей чувствительных и мало думающих, богом живописи для толпы.

— А кто же бог избранных? — спросил фламандец.

Мессер Федериго указал на потолок часовни.

— Тот, кто это создал, с кем счастливому мальчику я посоветовал бы никогда не соперничать.

— В словах ваших много правды, Федериго, но я хотел бы нечто сказать,— только не знаю, сумею ли выразить мою мысль: я плохо говорю по-итальянски, и у меня нет привычки говорить о таких предметах...

Микеланджело давно забыл о том, зачем туда пришел, и перестал рыться в ящике; с жадным вниманием приблизил он ухо к тонким доскам, чтобы не потерять ни слова, и, не понимая причины своего волнения, чувствовал, как сердце бьется все чаще. С трепетом боязни ожидал он, что возразит мессер Джорджо.

— Видите ли, Федериго,— начал фламандец медлитель-

[1] Счастливый мальчик (*итал.*).

но, путаясь в словах и запинаясь,— вы говорите, мысль... Конечно, я с этим спорить не могу: у Микеланджело — мысль. Он думает и знает, чего хочет. И потом — сила, это главное. Такой силы нет ни у кого. Когда смотришь, все время удивляешься и видишь, как он старается сделать хорошо, так хорошо, как до него никто не делал. Думаешь, как ему трудно и какая сила. Буонарроти ничего не получает даром, сколько заработает, столько возьмет. А у Рафаэля не так. Не видно, чтобы он работал, кажется само сделалось нечаянно, он не старается, чтоб вышло хорошо, а выходит лучше, чем когда стараются. Ему легко — у него все даром. Когда смотришь на греческие статуи, которые выкапывают из-под земли, тоже думаешь, нетрудно бы так сделать. А пусть кто-нибудь попробует! Это легкое — есть трудное, последнее в искусстве, то что без Бога невозможно, как чудо. И это важные мысли, потому что оттуда все мысли и туда идут. Я говорю неясно, мессер Федериго, но, может быть, вы поймете. Микеланджело — против Бога. А Рафаэль с Богом. Вот почему ему легко, и душа у него ясная, как зеркало. Вы говорите о деньгах, о лошадях, о женщинах. Это — маленькое, житейское. Зачем об этом говорить? Рафаэль может делать злое, жить как язычник, а все-таки душа у него ясная. Микеланджело делает доброе, живет как святой, а душа у него темная, страшная, и никогда в ней не будет света. Я знаю, что Микеланджело сильнее Рафаэля, но вспомните, мессере, слово Священного Писания: Бог не в бурях, а в тишине. . . .

. . . .

Через тридцать лет после этого разговора, 24 октября 1542 года, из Рима Буонарроти в заключение одного письма к монсиньору Синегельскому, епископу Марку Вигерию, писал следующее:

«Все несогласия, происшедшие между папою Юлием и мною, произошли от зависти Браманте и Рафаэля Урбинского. Вот причина, по которой папа не продолжал заниматься гробницею и разорил меня. Что касается до Рафаэля, то он имел причину завидовать мне, потому что все познания в искусстве он приобрел от меня».

Чувствуя, что эти слова несправедливы, Микеланджело все-таки написал их, потому что завидовал Рафаэлю, счастливому и ничтожному мальчику.

XVI

Много лет прошло с тех пор, как Буонарроти окончил потолок Сикстинской капеллы. Старость приближалась, но, несмотря на страдания и труды, здоровье его не ослабе-

вало, а как будто крепло. Он говаривал шутя, что люди, всю жизнь имеющие дело с камнями, под конец сами каменеют. Только лицо покрывалось морщинами, кожа темнела, сохла — он делался все уродливее. Когда маленьким детям случалось его встретить неожиданно в сумерках на пустынной улице, они убегали с плачем и рассказывали матерям, что видели черта.

Виттория Колонна, вдова маркиза Пескарского, дочь надменного Фабрицио Колонна, со смерти мужа жила вдали от света, как монахиня, но в благочестии сохраняла гордость древнего рода. Виттория чтила гений Микеланджело; позволяла ему любить себя, но он никогда не забывал, что она принадлежит другому, покойному мужу своему, единственному человеку, которого маркиза всю жизнь любила.

Так они оба состарились, и за долгие годы Микеланджело ни разу не сказал ей, что любит ее. Даже в стихах боготворил ее издалека, мадригалы и сонеты его были полны не страстью, а модною в то время платоническою риторикой.

«Ваятель,— писал он ей,— задумал статую, лепит ее сначала из глины, потом уже молотом высекает из мрамора. Так я был несовершенною глиняною формой, пока ваш резец, о, мадонна, не сделал из меня нового человека. Но какая мука ожидает мое непокорное сердце, если вы захотите до конца научить и наказать его?»

Однажды, ненастным вечером, в конце февраля 1546 года, Микеланджело направлялся из своего маленького дома у подножия Монте-Кавалло в монастырь Санта Анна дей Фунари, куда пригласила его только что приехавшая в Рим из Витербо маркиза Колонна.

Шел мелкий дождь; на улицах было холодно, грязно и темно. Он думал о предстоящем свидании. Одной из мук его любви было то, что он не мог вообразить себе ее лица, когда не видел: помнил каждую отдельную черту, но не умел соединить их.

Он слышал, что маркиза в последние годы постарела. Ее преследовали несчастья. Родственники погибли в смятениях. Надменный род Колонна был унижен и низвергнут папами Фарнезе. Виттория осталась одна, покинутая, окруженная врагами. Он знал, что недавно она перенесла тяжелую болезнь.

Подымаясь по монастырской лестнице и спрашивая сестер-бенедиктинок, в каком покое остановилась маркиза, он чувствовал, что колени его дрожат, и ему было стыдно, что, шестидесятилетний старик, он робеет перед свиданием, как влюбленный мальчик.

Его привели в большую келью с белыми стенами. Огней еще не зажигали. Сквозь стекла окон, серых, мутных от дождя, как будто заплаканных, падал свет зловещих сумерков. Angelus звучал, как похоронный колокол. Среди монахинь, на кресле, увидал он маркизу Витторию. Сердце его сжалось. Перед ним была старая женщина. В черном шелковом платье, не опираясь на высокую спинку кресла, держалась она прямо, и в ее осанке была гордость древнего рода вдовы маркиза Пескарского, дочери Фабрицио Колонна, которая одно время должна была сделаться неаполитанской королевой. Сквозь кисею вдовьего покрывала, спускавшегося низко на лоб, закрывавшего плечи, грудь и шею, он увидел седые волосы. Выражение спокойствия и печали было вокруг увядающего рта, в глазах, все еще прекрасных; но он заметил в них покорную доброту — признак старости.

Он подошел и приветствовал ее почтительно. Слабый румянец покрывал ее щеки. После первых незначительных слов, когда монахини отошли в другой конец комнаты, Виттория, наклонившись, произнесла тихим голосом, с робкою и стыдливою улыбкою:

— Вы удивились, мой друг, увидев меня такою, не правда ли? Я очень постарела...

Он хотел сказать, что для него она не может быть старою, что он любит, как всегда, еще больше, чем всегда, но не посмел и только взглянул на нее глазами, полными такой боязливой нежности, что она поняла все и ответила ему долгим, благодарным взглядом. В этот день, прощаясь, маркиза Колонна первый, единственный раз в жизни взяла его за руку, и Микеланджело несколько дней, вспоминая это прикосновение, ходил, как потерянный, от радости и удивления.

Он стал посещать монастырь святой Анны. В присутствии монахинь рассуждали они подолгу о текстах Священного Писания, о Боге, о смерти, о будущей жизни. Он чувствовал себя более близким к Виттории, чем когда-либо, писал ей, как тридцать лет тому назад, пламенные, благоговейные и риторические сонеты, в которых, сравнивая ее с Беатриче, с Лаурой, прославлял ее бессмертную молодость.

Она опять заболела. В Риме с еще большею силою возобновилась изнурительная лихорадка. На глазах его она ослабевала и таяла. Он думал о конце, но не верил в него: смерть Виттории казалась ему невозможной. По мере того, как приближалась вечная разлука, улыбка ее становилась все прекраснее и прекраснее.

«Она обещает мне так много,— писал он в своем днев-

нике,— что когда я смотрю на нее, мне кажется, я делаюсь прежним, молодым, хотя я очень стар, и уже поздно. Смерть между нами, и я могу любить ее прежнею любовью только в те краткие мгновения, когда забываю о смерти. Но мысль моя все чаще возвращается к ней, и жар любви остывает от смертельного холода — dal mortale ghiaccio é spento il dolce ardore».

Предчувствие Микеланджело исполнилось. В начале 1547 года Виттория умерла. Он не плакал, ни с кем не говорил и был похож на сумасшедшего. Лицо его выражало недоумение, усилие и невозможность понять то, что случилось.

Но он не умер и не сошел с ума, только внутри все в нем еще более окаменело.

Через десять лет после смерти Виттории Микеланджело рассказывал однажды события своей долгой и печальной жизни молодому художнику, одному из немногих своих учеников, Асканио Кондиви, который записывал их, чтобы передать потомству. Речь зашла о маркизе Пескарской. Микеланджело говорил о ней мало, но спокойно. Вдруг изменившимся тихим голосом он произнес:

— Асканио, я скажу тебе то, чего никому не говорил. Когда она лежала в гробу, и я пришел проститься, я поцеловал ее руку и не осмелился поцеловать в лоб. Вот уже десять лет, как это мучает меня, сын мой...

И, забыв о присутствии ученика, он долго сидел неподвижно, в забытьи. Медленные слезы струились из глаз его по старым щекам с глубокими, безобразными морщинами.

XVII

Папа Юлий II перед смертью завещал Микеланджело окончить гробницу и оставил для этого деньги душеприказчикам своим, кардиналам Санти-Кварто и Аджиненси. С особенною любовью возобновил Буонарроти работу своей молодости. Но преемник Юлия, Лев X, заставил бросить начатое дело, чтобы ехать во Флоренцию, где вздумалось папе украсить мрамором фасад церкви своего прихода — Сан-Лоренцо. Микеланджело умолял, чтобы его оставили в покое, напоминая условия, сделанные с душеприказчиками Юлия, но Лев не слушал и говорил:

— Предоставь мне окончить это дело: я берусь удовлетворить всех.

И, послав за обоими кардиналами, велел им освободить Микеланджело от исполнения условий. Со слезами на глазах покинул художник злополучную гробницу и отправился во Флоренцию исполнять прихоть нового господина.

По смерти Льва, враги Микеланджело распространили слух, что Буонарроти от папы Юлия за гробницу получил вперед шестнадцать тысяч скуди и, ничего не сделав, положил их в карман. Началась нескончаемая тяжба, которая с каждым годом запутывалась, не давала ему ни минуты покоя и, наконец, так опротивела, что он начал раскаиваться, что не перенес клеветы молча.

«В меня ежедневно бросают каменьями, как будто я распинал Христа,— писал он в 1542 году Синигальскому епископу, прося у него защиты,— этот гроб Юлия скоро сделается моим собственным гробом. Излишняя верность, которую не хотели оценить, погубила меня. Так угодно моей судьбе... Меня называют вором и ростовщиком, многие утверждают, что я отдал в рост деньги папы Юлия и обогатился ими. Если ваша милость найдет возможность сказать слово в мою защиту — скажите его, потому что я пишу вам правду. Не только перед Богом, но и перед людьми я считаю себя честным человеком, потому что никогда не обманывал и потому также, что, защищая себя от негодяев, иногда, как видите, мне можно «с ума сойти».

И несколько раз он повторял в письме с отчаянием: «Я пишу правду. Я был бы рад, если бы папа и весь свет прочли это письмо. Я не вор, не ростовщик, не разбойник, но флорентинский гражданин, благородный сын честного человека».

При жизни папы Климента Буонарроти начал расписывать хоры Сикстинской капеллы. Он приказал отштукатурить стену и закрыть лесами от пола до потолка. Климент хотел, чтобы Микеланджело написал Страшный суд, последнее действие трагедии, изображенной на потолке часовни. Но на многие годы художник был отвлечен от работы тяжбою. Папа Павел, приняв к себе на службу Буонарроти, требовал, чтобы он окончил Страшный суд.

Работа была готова на три четверти, когда Павел пожелал взглянуть на нее, увидел, что громадная стена, перед которой стоял алтарь и должно было совершаться богослужение, вся сверху донизу покрыта голыми телами. Ни ангелы, ни праведники, ни грешники не стыдились наготы своей: земные покровы упали, и люди должны были голыми, какими вышли из чрева матери, предстать перед лицом Божественной Справедливости. Испуганный и растерянный папа не знал, что сказать.

Наконец обратился он к своему церемониймейстеру мессеру Бьяджо ди Чезена, которого Вазари называет «persona scrupulosa» [1], и спросил, что он думает.

---

[1] Педантичнейшей личностью (*итал*).

Бьяджо ответил:

— Это бесстыднейшая из картин, какие я когда-либо видел, блаженный отец. Она достойна не папской капеллы, а общественной бани или остерии! Non opera di capella di papa ma da stufa e d'osteria!

Буонарроти, услышавший эти слова, продолжая работу, своему адскому судье Миносу, у которого туловище дважды обвито змеевидным холстом, придал сходство с Бьяджо.

Церемониймейстер пожаловался папе, но тот ответил ему с улыбкой:

— Видишь ли, друг мой, если бы он поместил тебя в чистилище, я мог бы что-нибудь сделать, но ты в аду, откуда уже никто не может извлечь тебя, ибо там, как тебе известно, нет помилования — «nulla est redemptio».

XVIII

В это время в Венеции жил знаменитый писатель Пьетро Аретино. Он был сыном продажной женщины в Ареццо, от которой мальчиком убежал, обокрав ее, попеременно делался переплетчиком, монахом, уличным бродягой, лакеем, терпел нужду, голод, побои, бесчисленные оскорбления, но, наконец, пером своим и, по собственному выражению, «по́том чернильницы» приобрел славу и богатство. Клеветой и лестью, угрозой пасквилей и обещанием панегириков выманивал он деньги и почести у сильных мира сего. Не только многие итальянские государи, но и сам император выплачивал Аретино ежегодную пенсию. Христианнейший король Франции подарил ему золотую цепь с изображением змеиных языков, эмблемою ядовитых сатирических жал. В честь его была выбита медаль с головой поэта, увенчанною лаврами, с латинскою надписью: «Divus Petrus Aretinus flagellum principum» — «Божественный Петр Аретин, бич королей», и на обратной стороне: «Veritas odium parit»—«Истина рождает ненависть». Под самыми злыми и наглыми из своих пасквилей, направленных против государей, медливших подарками, он подписывался: «Divina gratia homo libero» — «Божией милостью свободный человек». С легкостью и быстротой сочинял он по заказу все, что угодно. По поручению Виттории Колонны писал благочестивые размышления и жития святых, по просьбе ученика Рафаэля Марк-Антонио — сонеты к таким бесстыдным гравюрам, что папа, несмотря на заступничество многих кардиналов, посадил за них художника в тюрьму. В прекрасном палаццо

на Canale Grande [1], в знаменитой Casa Bolani [2], жил Аретино с царственным великолепием, окруженный постоянно сменявшимся гаремом красивых женщин и редкими произведениями искусства. Тициан ухаживал за ним, писал с него портреты, дарил ему свои произведения. Со всех концов Италии стекались к нему картины, рисунки, барельефы, медали, бронзы, античные мраморы, камни, майолики, резные камни, драгоценные вазы. Когда его дворец так переполнялся, что больше не было места, он делился художественною добычею с теми из вельмож и государей, которые заслужили его милость: по собственному выражению, поэт отдавал царям крохи со своего стола.

Из тщеславия столько же, как из враждебной любви к прекрасному, Аретино давно горевал, что в его музее нет ни одного произведения Микеланджело. Через клевретов своих Бенвенуто Челлини и Джорджо Вазари несколько раз намекал он Буонарроти, что очередь за ним; но тот не удостоивал его ответом.

Тогда писатель решил сам закинуть удочку.

В 1537 году обратился он к Буонарроти с одним из знаменитых посланий своих, которые распространялись по Италии в тысячах списков.

Сначала приветствовал художника, потом объяснял ему, какие свойства его таланта он, Аретино, более всего ценит. Главная часть письма начиналась обращением: «Итак, я, чьи похвалы и порицания имеют такую силу, что слава или позор людей в настоящее время создаются единственно мною, я, тем не менее, малый и, можно сказать, ничто, приветствую вашу милость, на что не дерзнул бы, если бы мое имя не достигло некоторого блеска, благодаря тому уважению, которое оно внушает величайшим государям нашего века. Но перед Микеланджело мне остается только благоговеть. Королей на свете много, Микеланджело один, и он затмил славою имена Фидия, Апеллеса и Витрувия»,— письмо продолжалось в этом духе, пока речь не заходила о «Страшном суде»: тут Аретино давал советы и учил художника, как следует писать картину. В заключение — новые предложения услуг и готовность прославлять его имя.

Буонарроти ответил краткой и вежливой запиской, в которой чувствовалась ирония сквозь преувеличенные похвалы.

Аретино предпочел не заметить иронии и в новом письме просил на память хотя бы самого маленького рисунка, од-

---

[1] Большой канал (*итал.*).

[2] Дом Болани (*итал.*).

ного из тех, которые художник бросает в печку. Микеланджело не ответил, и Аретино в течение пяти лет оставил его в покое.

В 1544 году он известил Буонарроти, что император Карл V только что оказал ему, Аретино, неслыханные почести — stupendi onori — позволил ехать на коне по правую руку от себя. Челлини пишет, что Буонарроти благоволит к Аретино. Это всего дороже поэту. Он любит и чтит Микеланджело. Он плакал от умиления, увидев снимок со «Страшного суда». Его друг Тициан также чтит Буонарроти и восторженно прославляет его.

Микеланджело продолжал безмолвствовать. Через два месяца поэт напомнил через римских друзей об ожидаемом рисунке. Никакого ответа. Аретино подождал год и напомнил снова. Наконец получил он из Рима жалкие отрепья, вместо рисунка — бумажные клочки, которые были скорее насмешкою, чем подарком. Он написал Микеланджело, что считает себя неудовлетворенным и ожидает большего. Опять молчание в продолжение нескольких месяцев. Тогда терпение Аретино истощилось. Он послал Челлини угрожающее письмо. Буонарроти должен стыдиться; пусть он ответит ему прямо, намерен ли исполнить свое обещание или нет; он требует объяснений, иначе любовь его превратится в ненависть.

Угроза подействовала так же мало, как лесть. В это время Тициан, бывший в Риме, воспользовался удобным случаем насплетничать покровителю своему Аретино на соперника своего Микеланджело и поссорить их окончательно.

XIX

В ноябре 1545 года Буонарроти получил следующее письмо из Венеции:

«Мессере, теперь, когда я увидел снимки «Страшного суда», я узнаю в нем, что касается до исполнения и замысла, знаменитую прелесть Рафаэля. Но как христианин, как человек, принявший святое крещение, я стыжусь необузданной свободы, с которой ваш дух посягнул на то, что должно быть последнею целью христианской добродетели и веры.

Итак, этот Микеланджело, столь могущественный в своей славе, этот Микеланджело, которому мы все удивляемся, показал людям, что он столь же далек от благочестия, сколь близок к совершенству в искусстве. Как могло случиться, что художник, сам себя уподобляющий Богу и потому прекративший почти всякие сношения с обыкно-

венными смертными, осмелился таким произведением осквернить храм Бога Всевышнего, первый из алтарей христианских, первую капеллу мира, где великие кардиналы, досточтимые пресвитеры, где сам наместник Христа в божественных и страшных таинствах приобщаются плоти и крови Господней?

Если бы не казалось почти преступным сравнивать такие вещи, то я позволил бы себе напомнить вам, как в моих легкомысленных диалогах из жизни куртизанок я сумел облечь бесстыдное содержание благородными и нежными словами. Тогда как вы, имея дело с такими возвышенными предметами, лишаете ангелов их небесной славы, праведников — их земной стыдливости. Но даже язычники облекали Диану в покровы, и когда изображали нагую Венеру, то заботились о том, чтобы целомудренное движение руки заменяло ей одежды. А вы, христианин, дошли до такого безбожия, что дерзаете оскорблять в часовне папы стыдливость мучеников и святых дев... Воистину, для вас было бы лучше вовсе отречься от Христа, чем, будучи верующим, глумиться над верою своих братьев. Но знайте, что Небо не потерпит, чтобы преступная смелость вашего необычайного искусства оставалась безнаказанной. Чем удивительнее эта картина, тем вернее будет она гробом вашей славы».

Потом Аретино переходил к своим собственным счетам: напоминал художнику, что он не исполнил обещания, не прислал рисунка.

«Впрочем, если горы золота, полученные вами от папы Юлия, не побудили вас исполнить вашего долга — построить обещанную гробницу, то на что может надеяться такой человек, как я?.. А все-таки, положив в карман чужие деньги и нарушив слово, вы сделали то, чего не следовало сделать, и это называется воровством».

В заключение он советовал папе уничтожить «Страшный суд», показав пример такой же благочестивой ревности, с какой некогда папа Григорий разрушал изображения языческих богов, как бы они ни были прекрасны.

«Если бы последовали моему совету,— обращался он к Буонарроти,— если бы вы исполнили указания, которые я вам дал в моем письме, ныне всему миру известном, где я подробно и научно объясняю устройство неба, ада и рая, то природе не пришлось бы стыдиться, что столь великим гением одарила она такого человека, как вы. Напротив, письмо мое оградило бы ваше произведение от всякой вражды и зависти до скончания веков.

Ваш слуга *Аретино*».

Послание было переписано чужой рукой для того, чтобы Микеланджело не мог сомневаться, что оно обнародовано и распространяется по всему миру, но в конце были следующие строки, написанные рукой самого Аретино:

«Теперь, когда я отчасти излил мою ярость, причиненную грубостью, с которою вы ответили на мою доброту, и когда, смею надеяться, вы имеете достаточное доказательство того, что если вы — божественный di vino [1] — из вина, то я, с своей стороны, не из воды (dell' aqua),— разорвите это письмо так же, как я готов его разорвать, и признайте, что, во всяком случае, я достоин получать ответы на свои письма даже от императоров и королей».

XX

Папа, прочтя одну из бесчисленных копий этого письма, испугался. Первою мыслью его было последовать совету Аретино и уничтожить «Страшный суд». Теперь ему было не до шуток. Святой отец сам боялся попасть в то место, где «nulla est redemptio». [2] Не могло быть никаких сомнений: письмо было доносом инквизиции.

Но, немного успокоившись, папа решил, что можно поправить дело так, чтобы волки были сыты и овцы целы: по совету кардинала Караффа, он призвал к себе Буонарроти и велел прикрыть одеждами нагие тела в «Страшном суде».

— Главное, ангелов,— говорил папа.— Чертей ты можешь оставить наполовину голыми. Но ангелов и праведников изволь одеть совершенно. Не то что там по бедрам какими-нибудь лоскутами, а в длинные пристойные одежды... Анатомии не жалей и крылья не забудь приделать кому следует...

Микеланджело отказался. Тогда папа поручил это дело ученику его, Даниэле да Вальтерра, который ревностно принялся за работу, и через несколько дней, к немалому утешению Павла, св. мученик Бьяджо со скребницей и св. Катерина с колесом были одеты. Вальтерра получил хорошие деньги за то, что согласился обезобразить создание учителя. Буонарроти молча покорился и даже с учеником своим не поссорился.

Тогда не только враги, но и лучшие друзья восстали на него, уверяя, что он выжил из ума от старости, так как иначе не мог бы вынести безропотно такого поругания своей картины.

---

[1] Игра слов: divino (божественный; *итал.*) и di vino (из вина; *итал.*)

[2] Нет искупления (*лат.*).

Буонарроти был равнодушен ко всему, потому что в это время умирал последний друг, старый верный слуга его, плотник Козимо Урбино. В одном письме к Джорджо Вазари Микеланджело рассказывал об этой смерти.

«Мне трудно писать, однако же в ответе на ваше письмо скажу кое-что. Вы знаете, как умер Урбино. Это событие было для меня великою божескою милостью, но оно причинило мне много вреда и горя. Милость заключается в том, что он, оживлявший меня в продолжение моей жизни, умирая, научил меня умирать бестрепетно, с любовью к смерти. Он прожил у меня двадцать шесть лет и всегда был редким, верным человеком. Теперь, когда я обогатил его и надеялся, что он будет костылем, успокоителем моей старости, он исчез, и мне осталась только надежда видеть его в раю. Эту надежду внушил мне Создатель его счастливою смертью — тем, что он, умирая, не столько жалел о том, что умирал, сколько о том, что оставлял меня одного в этом предательском мире, среди всевозможных горестей. Большую часть меня он унес с собой и мне оставил одни бесчисленные неприятности. Поручаю себя вашему вниманию».

Микеланджело пережил царствование шести пап — Юлия II, Льва X, Климента VII, Павла III, Юлия III, Павла IV. Все современники и товарищи его умерли. Он был окружен новыми, чуждыми поколениями. Весною в 1549 году он тяжело заболел. Доктора успокаивали, но не помогали. Он не спал ночей, стоная от боли. Ему было 75 лет. Все думали, что это конец, но он выздоровел.

С каждым днем душа его становилась мрачнее: он думал только о смерти.

— Я стар,— говорил он ученику своему Кондива,— смерть отняла у меня все юношеские мысли, а кто не знает, что такое старость, должен иметь терпение дожить до нее. Прежде этого ее нельзя узнать.

Он вспоминал свою любовь к Виттории, но надежда встретиться с нею в другом мире не утешала его.

И он писал в дневнике: «На утлой ладье через бурное море жизни я достиг того предела, где мы должны дать отчет во всем. И теперь я узнаю, каким обманом была моя прихоть к искусству, ибо всякое желание человека на земле — обман. И с любовными грезами, некогда такими суетными и веселыми, что сталось теперь, когда я приближаюсь к двум смертям, одной — телесной, неминуемой, другой — духовной, угрожающей? Ни живопись, ни ваяние более не утоляют моего сердца, обращенного к той Любви, которая на кресте, чтобы принять нас, открывает руки».

Он молился, но в душе его не было света Христова, и ему казалось, что он осужден Богом на вечную погибель.

«Горе мне, горе; вспоминая столько прошедших годов, я не нахожу среди них ни одного дня, который я мог бы назвать моим. Мне знакомы все человеческие страсти: я плакал, любил, горел, желал, не сделав ничего доброго в моей жизни. И вот я ухожу мало-помалу. Тени растут; солнце заходит, и я готов упасть, утомленный, изнемогающий».

Он продолжал работать, без цели, без радости, по привычке. Однажды, в конце августа 1561 года, он упал среди работы на пол и лишился сознания. Когда домашние сбежались и привели его в чувство, художник объяснил обморок тем, что встал рано утром, не одевая обуви и чулок, и три часа простоял за рабочим столом босыми ногами на голом полу. Через два дня он поправился, мог уже ездить верхом и опять принялся за работу, за архитектурные рисунки и планы для собора св. Петра. Ему было 86 лет. Казалось, что он никогда не умрет.

Но раннею весною 1564 года обнаружились признаки близкого конца. Силы покидали его медленно. Целые дни и ночи он чувствовал озноб, никакие одежды не могли его согреть от изнуряющего внутреннего холода. Им овладела смертная тоска. Он перестал работать. Молодой флорентинский врач Федериго Донати ухаживал за ним.

XXI

Однажды вечером, 14 февраля, Федериго подъезжал на муле к дому Буонарроти: в то время он жил на площади древнего форума Траяна, рядом с церковью Санта-Мария ди Лорето. Перед домом был маленький сад, окруженный стеною, где росли лавры. Дул холодный трамонтано; по небу ползли унылые, низкие тучи. Врач удивился, увидев, что Микеланджело прохаживается в саду под дождем. Мертвые прошлогодние листья лавров шуршали под его ногами. Ворона уныло каркала на мокрых черепицах соседней крыши.

— Мессере Буонарроти,— заметил Федериго,— вам не следует выходить из дома в такую погоду.

— Что же делать,— ответил Микеланджело,— мне дурно... Я не нахожу себе места. Дома хуже. Вот, вышел погулять. Скучно, мессер Федериго, я не могу вам сказать, как скучно...

И он продолжал торопливо ходить взад и вперед, от стены до стены, по крошечному саду, попадая ногами в грязные лужи, шурша гнилыми мокрыми листьями лавров. Он говорил бессвязно, с трудом находил слова.

Только пред самым концом он лег в постель; его причастили и, когда спросили о последней воле, он сказал:

— Душу мою — Богу, тело — земле, имущество — родным.

Потом попросил, чтобы его похоронили на родине во Флоренции. 18 февраля, в час Ave Maria, он скончался. Смерть была спокойной. Просьбы Микеланджело не исполнили: он был погребен в Риме, в церкви Св. апостолов.

Но флорентинский герцог Козимо Медичи пожелал, чтобы прах Буонарроти покоился во Флоренции. Посланные ночью тайно вырыли тело Микеланджело, зашили его в мешок, как зашивают товары, и отправили во Флоренцию.

Флорентинская академия рисования решила устроить торжественные похороны. Народу на улицах собралось так много, что академики не без труда внесли тело в церковь. Чтобы последний раз увидеть учителя, открыли гроб. Ожидали найти полуразвалившийся труп, так как со дня смерти прошло двадцать пять дней. Но, к всеобщему удивлению, тело было не тронуто тлением: он лежал в гробу маленький, почернелый, высохший, как мощи. Вокруг безобразного широкого рта были все те же надменные, злые морщины. Их не разгладила смерть.

* * *

Академики, желая почтить память художника, превратили церковь в музей, наполнили ее аллегорическими фигурами, статуями и картинами тогдашних художников, учеников и последователей Микеланджело. Эти произведения казались жалкими карикатурами на создания учителя. Достаточно было взглянуть на них, чтобы убедиться, что искусство погибает. Но печальные мысли не приходили в голову академиков. В особенности торжествовал, несмотря на свою любовь к покойному, знаменитый художник, почетный депутат академии Джорджо Вазари. Лицо его сияло самодовольством. В тот же вечер описывал он эти блестящие похороны своему покровителю, герцогу Козимо Медичи:

«Светлейший и превосходнейший государь мой!

Сего утра, то есть 14-го текущего месяца, было совершено погребение божественного Микеланджело Буонарроти, вполне удовлетворившее здешнюю публику, толпившуюся в церкви Сан-Лоренцо, которая была так наполнена важными лицами, благородными дамами и множеством иностранцев, что нельзя было не удивляться. Вице-президент сидел посредине церкви против кафедры, члены академии и общества рисования сидели в порядке на самом

видном месте. Ниже членов академии сидело до двадцати пяти юношей, изучающих рисунок. Некоторые из этих юношей имеют достоинства. Сегодня утром увидел в соборе восемьдесят человек живописцев и скульпторов, публика пришла в восторг. Кажется, никогда не было так много и таких отличных мастеров, как теперь.

Как удачно был исполнен катафалк, как он был пышен, великолепен, и какое впечатление производили стоящие на нем статуи,— передать невозможно! Каждый из молодых людей старался выказать свои достоинства, и все они так хорошо исполнили свое дело, что статуи, после того, как их выбелили и подделали под мрамор, кажется, выросли и сделались гораздо изящнее. Вся церковь была уставлена скелетами, которые обрезали стебли, увенчанные тремя лилиями, означавшими три искусства. Скелеты, казалось, выражали сожаление, что были обязаны обрезать цветы и не могли изменить порядок, установленный природою. Между скелетами была помещена Вечность, стоявшая над Смертью.

Поистине, государь мой, я с моими начальниками благословляю труды и время, употребленные на устройство похорон, потому что эти похороны были причиною того, что ваша светлость осчастливила академию своим посещением, за что академия приносит вам покорнейшую и чувствительную благодарность. Она видит, как ваша светлость ценит заслуги, и горит желанием служить вам. А я, с своей стороны, желаю, чтобы вы помогали художникам, и всячески буду стараться оживлять искусства».

. . . .

Таково было последнее оскорбление, последняя насмешка жизни над великим художником. Но он уже ничего не чувствовал, и маленькое, уродливое, окаменелое лицо его в гробу хранило печать спокойного презрения.

СВЯТОЙ САТИР

Флорентинская легенда

Из А. Франса

Consors paterni luminis,
Lux ipse lucis et dies,
Noctem canendo rumpimus,
Assiste postulantibus;
Aufer tenebras mentium;
Fuga catervas daemonium;
Expelle somnolentiam,
Ne pigritantes obruat.
(*Breviarium* romanum.
Feria tertia; ad matutinum)[1]

Фра Мино превосходил смирением своих братьев и, несмотря на молодость, мудро управлял обителью Санта Фьоре. Он был набожен, любил предаваться долгим созерцаниям и молитвам. Иногда бывали у него экстазы. Подобно святому Франциску, своему духовному отцу, сочинял он песни на языке простонародном о совершенной любви, которая есть любовь к Богу. И эти гимны не погрешали ни против размера, ни против смысла, потому что он учился семи «artes liberales»[2] в Болонском университете.

Однажды вечером, гуляя под аркадами монастыря, Мино вдруг почувствовал, как его сердце наполнилось смятением и печалью при воспоминании об одной флорентинской даме, которую он некогда любил, в цвете первой юности, когда одеяние св. Франциска еще не охраняло его плоти. Он обратился к Богу с молитвой, прося отогнать грешный образ. Но сердце его осталось печальным.

«Колокола,— подумал он,— поют, как ангелы: Ave Maria; но голос их умирает в вечернем тумане. На стене монастыря художник, которым прославился город Пе-

---

[1] Сопричастный Отцовскому свету,
Сам светоч света и дня,
Прогоняем ночь, воспевая Тебя,
Предстань перед просящими,
Унеси мрак лжи;
Изгони полчища бесов,
Прогони праздность,
Дабы не одолела она ленивых.
(*Римский молитвенник*. Праздник третий.
Утренняя молитва)

[2] Свободным искусствам (*лат.*).

руджа [1], изобразил искусно святых Жен Мироносиц [2], созерцающих с несказанною любовью гроб Спасителя. Но сумерки застилают их слезы, заглушают их плач, и я не могу рыдать вместе с ними. Этот колодец посреди двора только что был покрыт голубями, прилетевшими напиться, но они улетели, не найдя воды в углублениях каменной ограды. И моя душа, о Господи, безмолвствует, подобно колоколам, омрачается, подобно Женам Мироносицам, иссыхает, подобно колодцу. Зачем же, Иисусе сладчайший, сердце мое так сухо, мрачно и немо, когда Ты для него — и заря, и пение птиц, и ключ живой воды?»

Он убоялся вернуться в келью, и, думая, что молитва рассеет печаль и успокоит тревогу, вошел через дверь монастыря в общую церковь. Немой мрак наполнял здание, построенное великим Маргаритоном более ста пятидесяти лет тому назад на развалинах древнего римского капища. Фра Мино, пройдя церковь, стал на колени в часовне алтаря, посвященной Архангелу Михаилу, чье повествование изображено было на стене. Но тусклый свет лампады, подвешенной к своду, не позволял видеть Архангела, сражающегося с дьяволом и взвешивающего на весах души людей. Только луна, сияя в окно, озаряла бледным лучом гробницу св. Сатира, которая находилась под аркадой, справа от алтаря. Эта гробница, продолговатая и круглая, наподобие чана, была более древней, чем церковь, и во всем походила на языческие саркофаги, за исключением креста, который высечен был трижды на ее мраморных стенах.

Фра Мино долго лежал, простертый ниц перед алтарем, но не мог молиться и в середине ночи почувствовал, что им овладевает то оцепенение, которое удручало Христовых учеников в саду Гефсиманском. И между тем, как он лежал, недвижимый, лишенный всякого мужества и бдительности, он увидел как бы некое белое облако, подымавшееся над гробом св. Сатира, и скоро заметил, что это большое облако состояло из множества меньших, и каждое из них было женщиной. Они реяли в темном воздухе; сквозь легкие туники блистали легкие тела; среди них были козлоногие юноши, которые преследовали женщин. В наготе их видна была страшная необузданность желаний. Но нимфы убегали, и под их быстрыми шагами

[1] Имеется в виду Пьетро Перуджино (1445—1523).

[2] Мария Магдалина, Мария Иаковлева и Саломия, принесшие ко гробу Христа благовонное миро, чтобы умастить Его тело (Евангелие от Марка, XVI, 1).

рождались цветущие луга и ручьи. И каждый раз, как юноша с козлиными ногами протягивал руку, чтобы схватить одну из них, вдруг вырастала ива и скрывала нимфу в дупле, глубоком и черном, как пещера, и белокурая листва наполнялась легким шелестом и насмешливым хохотом.

Как все женщины спрятались в ивах, то козлоногие, усевшись на траве, стали играть на тростниковых дудках, извлекая такие звуки, которые могли бы повергнуть в смущение всякую тварь. Нимфы, очарованные музыкой, выставляли головы из ветвей и, мало-помалу покидая тенистые убежища, приблизились, привлекаемые непобедимою свирелью. Тогда люди-козлы бросились на них со священною яростью. В объятиях дерзких юношей нимфы еще одно мгновение пытались шутить и смеяться, потом смех умолк. Закинув голову, с глазами, мутными от блаженства и ужаса, они призывали своих матерей или кричали: «Я умираю!» или сохраняли грозное молчание.

Фра Мино хотел отвернуть лицо свое, но не мог, и против воли глаза его остались открытыми.

А нимфы, обвивая руками чресла козлоногих, кусали, ласкали, раздражали косматых любовников и, предаваясь им, облекали, обливали их своею плотью, более волнующейся и живою, чем вода ручья, который у ног их струился под ивами.

При таком зрелище фра Мино намерением и мыслями впал в грех. И пожелал он быть одним из демонов — полулюдей, полузверей, чтобы держать, подобно им, на своей груди флорентинскую даму, которую он некогда любил, в цвете своей юности, и которая умерла.

Но люди-козлы уже рассеялись в полях. Одни собирали мед в дуплистых дубах, другие делали из тростника свирели или, с разбега прыгая один на другого, стукались рогатыми лбами. И неподвижные тела нимф, нежные останки любви, покрывали весь луг. Фра Мино стонал, лежа на каменных плитах, потому что желание было в нем так сильно, что теперь он уже чувствовал весь стыд греха.

Вдруг одна из нимф, случайно обернувшись в его сторону, закричала:

— Человек! Человек!

И пальцем указала на него подругам.

— Посмотрите, сестры, ведь это — не пастух. У него нет тростниковой свирели. Он и не хозяин одного из окрестных владений, чьи крохотные сады, повисшие на склоне холмов над виноградниками, охраняются богом

Приапом [1], выточенным из букового дерева. Что же он делает среди нас, если он не пастух, не погонщик быков, не садовник? Он имеет вид мрачный и суровый, и я не замечаю в его взорах любви к богам и богиням, населяющим великое небо, и леса, и горы. На нем одежда варваров. Может быть, это — скиф. Приблизимся к чужестранцу и узнаем, не пришел ли он к нам, как враг, чтобы возмутить наши источники, срубить наши деревья, проникнуть в недра гор, открывая жестоким людям тайну наших блаженных обителей. Пойдем, Мнаис, пойдем, Эгле, Нэера и Мелибея!

— Пойдем,— отвечала Мнаис,— с оружием!

— Пойдем!— воскликнули все вместе.

И фра Мино увидел, что, поднявшись, они начали срывать и собирать розы пригоршнями и приблизились к нему, вооруженные розами и шипами. Но расстояние, отделявшее их и казавшееся ему сперва таким ничтожным, что, по-видимому, он мог прикоснуться к ним и чувствовать на своем теле их дыхание, вдруг стало увеличиваться, и ему показалось, что они идут как из далекого леса. И угрозы вылетали из их цветущих уст. И по мере того, как они подходили, перемена совершалась в них. И с каждым шагом теряли они частицу своей прелести и своего блеска, и цвет их юности увядал так же, как розы, которые они держали в руках. Сначала глаза впали, углы губ опустились. Шея, недавно чистая и белая, покрылась глубокими складками, и пряди седых волос упали на морщинистый лоб. Они подходили, и веки глаз краснели, и губы, втягиваясь, морщились на беззубых деснах. Они подходили, держа сухие розы в руках, почернелых и узловатых, как старые лозы, сжигаемые поселянами Кьянти в зимние ночи на кострах. Они подходили с трясущейся головой, прихрамывая на дряхлых ногах.

Достигнув того места, где фра Мино оцепенел от ужаса, они окончательно превратились в страшных ведьм, лысых и бородатых, с носом до подбородка, с пустыми и повисшими сосцами. Они столпились над ним:

— О, какой хорошенький!— молвила одна,— он бледен как полотно, и сердечко бьется у него, как у зайца, затравленного гончими. Эгле, сестрица, что же нам делать с ним?

— Милая Нэера,— отвечала Эгле,— следует разорвать ему грудь, вынуть сердце и вложить губку.

— Нет, нет!— сказала Мелибея,— это было бы слиш-

[1] Приап — сын Диониса и Венеры, бог полей и садов (*римск. миф.*).

ком жестокое наказание за любопытство и удовольствие подсматривать наши игры. На этот раз не будем так строги. Посечем его только розгами.

И тотчас, окружив монаха, сестры засучили ему одежду на голову и стали сечь связками колючих шипов, оставшихся у них в руках.

Нэера дала им знак остановиться, когда показалась кровь.

— Довольно!— сказала она,— это — мой милый! Я только что заметила, как он посмотрел на меня с нежностью.

Она улыбалась: такой длинный и черный зуб выставила изо рта, что он щекотал ей ноздри. Она шептала:

— Приди ко мне, Адонис!

Потом вдруг с бешенством:

— Что это? Не хочет? Он холоден? Какая обида! Он презирает меня. Сестры, отомстите! Мнаис, Эгле, Мелибея, отомстите за вашу подругу!

При этом воззвании все подняли колючие розги и стали сечь несчастного фра Мино так жестоко, что скоро тело его превратилось в сплошную язву. Они останавливались на мгновение, чтобы откашляться и плюнуть, и потом опять, с еще большим усердием, принимались бить его. Перестали, только совсем выбившись из сил.

Тогда Нэера сказала:

— Надеюсь, в следующий раз он не окажет мне незаслуженного презрения, от которого я до сих пор краснею. Пощадим ему жизнь. Но если он откроет тайну наших игр и наслаждений, мы умертвим его. До свидания, красавчик.

Молвив так, старуха присела над монахом и облила его зловонною жидкостью. Все подруги поочередно сделали то же, потом вернулись одна за другою к гробнице св. Сатира и проникли в нее сквозь узкую щель крышки, покинув жертву, распростертую в зловонной луже.

Когда исчезла последняя, петух пропел. Фра Мино очнулся и встал. Разбитый усталостью и болью, оцепенелый от холода, дрожа в лихорадке, полузадушенный отвратительным запахом он поправил одежду и доплелся до своей кельи на рассвете.

С этой ночи фра Мино не находил нигде покоя. Воспоминание о том, что ему довелось видеть в часовне Сан-Микеле, над гробом святого Сатира, смущало его среди служб церковных и благочестивых занятий. Объятый трепетом, сопутствовал он своим братьям, когда они вступали в храм. И между тем, как, по правилам,

он должен был целовать каменные плиты в часовне, губы его чувствовали с ужасом следы нимф, и он шептал: «Спаситель, или не слышишь Ты, что я говорю Тебе, как Ты Сам говорил Отцу Своему: Не введи нас во искушение!» Сначала думал он послать владыке-епископу отчет обо всем виденном. Но, по зрелом размышлении, счел за лучшее сперва самому на досуге рассудить о необычайных явлениях и поведать их миру, обследовав все в точности. К тому же случилось тогда, что владыка-епископ, вступив в союз с гвельфами Пизы против гибеллинов Флоренции, вел войну с таким жаром, что за целый месяц ни разу не развязал ремней своей железной брони. Вот почему, не говоря ни с кем, фра Мино произвел глубокие изыскания о гробе св. Сатира и о часовне, в которой этот гроб находился. Искушенный в премудрости книжной, перелистывал он страницы древних и новых писателей, но нигде не находил указаний.

Однажды утром, проведя, по своему обыкновению, всю ночь в работе, пожелал он утешить сердце свое прогулкою в полях, и пошел по горной тропинке, которая, извиваясь среди виноградных лоз, висевших гирляндами между вязами, вела к миртовой и оливковой роще, называемой римлянами в былые времена священною. Погружая ноги в мокрую траву, освежая чело каплями росы, падавшими с остролистых гордовин, фра Мино долгое время шел по лесу, как вдруг заметил источник, над которым тамарисы тихо колебали легкую листву и пух своих розовых кистей. Ниже, в том месте, где ручей расширялся, виднелись неподвижные цапли. Маленькие птицы пели в миртовых ветвях. Благоухание влажной мяты подымалось от земли, и в траве блистали те самые цветы, о которых Господь сказал, что царь Соломон, во славе своей, не одевался так, как каждый из них. Фра Мино сел на мшистый камень и, хваля Бога, начал размышлять о тайнах, заключенных в природе.

Так как воспоминание о том, что он видел в часовне, никогда его не покидало, то он сидел, сжимая лоб руками, и тысячный раз обдумывая, что означает этот сон: «Потому что такое видение,— говорил он себе,— должно иметь некоторый смысл, должно иметь даже несколько смыслов, которые следует открыть или внезапным наитием, или точным применением правил схоластики. И я полагаю, что в этом случае поэты, которых я изучал в Болонье, как например, Гораций-сатирик или Стаций[1],

[1] Стаций, Публий Папиний (ок. 40 — ок. 96 г.) — римский поэт

должны бы оказать мне также немалую помощь, так как многие истины примешаны к их басням».

В течение долгого времени взвешивая в уме своем такие мысли и другие, еще более утонченные, фра Мино поднял, наконец, глаза и заметил, что он — не один. Прислонившись спиною к дуплистому стволу древнего каменного дуба, некий старец смотрел в небо сквозь листву и усмехался. Над его седой головой возвышались два маленьких притупленных рога. Курносое лицо обрамляла белая борода, и сквозь нее виднелись мясистые наросты на шее. Жесткие волосы щетинились на груди, ляжки были покрыты косматою шерстью, и ноги кончались раздвоенным копытом. Приложив губы к тростниковой свирели, извлек он слабые звуки. Потом запел чуть слышным голосом:

Засмеялась, убежала,
Гроздья спелые кусая.
Но, обвив ее руками,
Поцелуем в алых губках
Раздавил я виноград!

Увидев и услышав это, фра Мино сотворил крестное знамение. Но оно ничуть не смутило старика, который остановил на монахе лукавый взор. Среди глубоких морщин лица его голубые и прозрачные глаза блестели, как вода источника между корнями старых дубов.

— Человек, или зверь,— воскликнул фра Мино,— повелеваю тебе именем Господа Иисуса Христа, скажи, кто ты!

— Сын мой,— ответил старик,— я — святой Сатир! Но говори тише, чтобы не спугнуть птиц.

Фра Мино продолжал менее громким голосом:

— Старик, так как ты не бежал от святого и страшного знамения крестного, то я не могу допустить, чтобы ты был демоном или духом нечистым, вышедшим из ада. Но, если ты, как утверждаешь, воистину человек, или, лучше сказать, душа человека, освященного трудами праведной жизни и благодатью Господа нашего Иисуса Христа, то объясни мне — прошу тебя — чудо твоих козлиных рогов и волосатых ног, которые кончаются черным и раздвоенным копытом.

При этом вопросе старик поднял руку свою к небу и сказал:

— Сын мой, природа людей, животных, растений и камней есть тайна бессмертных богов, и я не более, чем ты, знаю, почему мой лоб украшен рогами, вокруг которых нимфы обвивали некогда цветочные гирлянды. Я не знаю,

зачем на шее моей эти мясистые наросты и почему мне даны ноги отважного козла. Я могу тебе только поведать, сын мой, что в былые дни в этих лесах были и жены, которые имели так же, как я, рога на лбу и косматые икры. Но груди у них были белые и круглые. Их чрева, их бедра блистали гладкою кожей. Солнце, тогда еще молодое, любило сквозь листья осыпать их золотыми стрелами. Они были прекрасны, сын мой! Увы, с тех пор они исчезли из лесов — все до единой. И мои товарищи погибли так же, как они; вот и я — последний из моего племени... Я очень стар.

— Старик, скажи мне, сколько тебе лет, и кто твои родители, и где твоя родина?

— Сын мой, я родился из земли гораздо ранее, чем Юпитер низверг с престола Сатурна, и глаза мои видели цветущую молодость мира. Тогда род человеческий еще не создан был из глины. И со мною одни сатирессы в хороводных плясках ударяли о звонкую землю раздвоенным копытом. Они были большего роста, силы и красоты, чем нимфы и женщины; и чресла их, более широкие, обильно принимали семя первенцев земли.

«В царство Юпитера нимфы поселились в родниках, горах и лесах. Фавны соединялись с ними в легкие хороводы в глубине лесов. Между тем я жил, счастливый, услаждаясь вволю и кистями дикого винограда, и устами веселых подруг моих. Я вкушал от мирного сна в глубокой траве. Я пел на сельской флейте хвалу Юпитеру после Сатурна, потому что душе моей свойственно прославлять богов, властителей мира.

Но — увы!— и я состарился, ибо я — только бог, и века посеребрили волосы на голове и на груди моей, века потушили жар моих чресл. Я уже обременен был столетиями, когда умер Великий Пан, и Юпитер, испытывая ту же участь, на которую некогда обрек Сатурна, низвергнут был с престола Галилеянином [1]. С тех пор я влачил такие жалкие дни, что, наконец, умер и положен был во гроб. И, в самом деле, я теперь лишь собственная тень. Если я еще немного существую, то только потому, что ничто не исчезает и никому не дано умереть до конца. Смерть не более совершенна, чем жизнь. Существа, потерянные в океане мира, подобны волнам, которые, как ты можешь видеть, о, дитя мое, подымаются и опускаются в море Адрии. Нет у них ни конца, ни начала, они рождаются и погибают неуловимо. Неуловимо, как они, умирает и душа моя. Бледное воспоминание о сати-

[1] Христом, жившим в Галилее.

рессах золотого века еще оживляет глаза мои, и на устах витают древние гимны бесшумно.

Он сказал и умолк. Фра Мино взглянул на старика и увидел, что он — только призрак.

— Что ты рожден козлоногим,— ответил он ему,— не будучи, однако, демоном, я, пожалуй, могу допустить. Твари, созданные Богом и лишенные им участия в наследии Адама, не могут ни спастись, ни быть осужденными. Я не думаю, чтобы кентавр Хирон, который мудростью превосходил всех людей, обречен был на вечные муки в пасти Левиафана[1]. Некий старик, проникнувший в царство теней, утверждает, что он видел Хирона[2], сидящим на злачных лугах и беседующим с Рифеем, справедливейшим из троянцев. Другие же уверяют, что райские врата открылись Рифею Троянцу. И сомнение дозволено по этому предмету. Но, тем не менее, ты солгал, странник, утверждая, что ты — святой, ты, который не рожден человеком.

Козлоногий ответил:

— Сын мой, в юности моей я не более лгал, чем овцы, чье молоко я сосал, чем козлы, с которыми я бодался, радуясь своей силе и красоте. В те времена ничто не лгало, и тогда еще не умели красить лживыми красками шерсть овец. И душа моя с тех пор не изменилась. Видишь, я — наг, как в золотые дни Сатурна. И на уме моем нет никаких покровов так же, как и на теле. Нет, я не лгу. И почему же ты удивляешься, сын мой, что я сделался святым пред лицом Галилеянина, не будучи рожден от той матери, которую одни называют Евою, другие Пиррою[3] и которую должно чтить под обоими именами? Святой Михаил тоже родился не от женщины. Я его знаю, и мы иногда беседуем с ним. Он рассказывает мне о тех временах, когда был пастухом быков на горе Гарган...

Фра Мино прервал сатира:

— Я не могу позволить, чтобы святого Михаила называли пастухом быков за то, что он некоторое время охранял стада человека по имени Гарган на горе того же названия. Но расскажи мне, старик, как сделался ты святым?

---

[1] Левиафан — чудовище (возможно, крокодил), упоминаемое в библейской книге Иова.

[2] Хирон — кентавр, наставник Ахилла.

[3] Пирра — жена фессалийского царя Девкалиона, сына Прометея; вместе с мужем спаслась от потопа, которым Зевс хотел истребить людей.

— Слушай,— ответил козлоногий,— и любопытство твое будет удовлетворено.

«Люди, пришедшие с Востока, возвестив в сладостной долине Арно, что Галилеянин низверг с престола Юпитера, срубили дубы, на которых поселяне вешали маленьких богинь из глины и заповедные таблички из воску, и водрузили кресты над священными родниками, и запретили пастухам приносить в пещеры нимф дары из вина, молока и ячменных лепешек. Племя фавнов, панов и сильванов[1] почувствовало себя оскорбленным такою несправедливостью. В гневе своем восстали они на возвестителей нового бога. Ночью, когда проповедники спали на своих ложах из сухих листьев, нимфы, подкрадываясь, дергали их за бороду, и молодые фавны, проникая в стойла святых мужей, выщипывали волосы из хвоста их ослиц. Тщетно пытался я обезоружить злобу братьев и советовал им покориться. «Дети мои,— говаривал я,— время легких игр и лукавого смеха прошло».— Неосторожные не послушали меня. И беда постигла их.

Но я, видевший, как царство Сатурна кончилось, находил естественность и справедливость, чтобы и Юпитер погиб в свою очередь. Я с покорностью ждал падения великих богов. Я не противился вестникам Галилеянина и даже оказывал им маленькие услуги. Зная лучше их лесные тропинки, я собирал ежевику и ягоды терновника и клал на свежие листья у входа в пещеры, где обитали святые мужи. Я предлагал им также яйца ржанки. И если они строили хижину, таскал на плечах ветви и камни. В награду они окропили мою голову водою и благословили меня во имя Христа Иисуса.

Я жил с ними, подобно им. Тот, кто их любил, любил и меня. Я участвовал в почестях, воздаваемых им, и святость моя казалась равной их святости.

Я сказал тебе, сын мой, что в те времена я был уже очень стар. Солнце едва могло согреть мои оцепенелые члены. И я был подобен дряхлому дуплистому дереву, потерявшему свой певучий, зеленый венец. Каждая новая осень ускоряла мое разрушение. Однажды, в зимнее утро, нашли меня распростертым без движения на краю дороги.

Епископ, сопутствуемый иереями и народом, совершил надо мной похоронный обряд. Потом меня положили в большую гробницу из белого мрамора, отмеченную трижды

---

[1] Сильваны — боги лесов.

крестным знамением с именем *Святого Сатира*, начертанным на передней стене, в гирлянде виноградных кистей.

В те времена, сын мой, гробницы воздвигались вблизи дорог. Моя находилась в двух тысячах шагов от города, по дороге во Флоренцию. Молодая чинара выросла на могиле и покрыла ее тенью, пронизанной солнцем, полной пения птиц, ропота, свежести и радости. Вблизи журчал родник по дну, покрытому зеленою жерухой,— и туда приходили отроки и девушки, чтобы вместе купаться. Это очаровательное место было священным. Молодые матери приносили маленьких детей и заставляли прикоснуться к мрамору саркофага для того, чтобы они получили силу и красоту во всех членах. Таково было верование, распространенное в народе,— что новорожденные, которых приносили на мою могилу, должны были превзойти других людей здоровьем и мужеством. Вот почему ко мне приводили цвет благородного тосканского племени, приводили также и ослиц своих поселяне, в надежде, что я сделаю их плодовитыми. Память мою чтили. Каждый год, с возвращением весны, проходил епископ в сопровождении клира и совершал молебствие над моим телом, и я видел, как издалека, сквозь травы лугов, приближаясь, блестело шествие с крестами и свечами, с пунцовым балдахином, с пением псалмов. Все это происходило, сын мой, во времена доброго царя Берендея.

А между тем сатиры и сатирессы, фавны и нимфы влачили жизнь бездомную и жалкую. Больше не было для них ни алтарей из свежего дерна, ни цветочных гирлянд, ни жертвоприношений из молока, муки и меда. Разве только изредка козий пастух положит тайно маленький сыр на пороге священного грота, заросшего колючими шипами и терновником. Но и эту скудную пищу поедали белки и дикие кролики. Нимфы, обитательницы лесов и темных пещер, были изгнаны проповедниками, пришедшими с Востока. Бедные сельские боги уже не находили приюта в священных лесах своих. Хоровод косматых сатиров, некогда ударявших звонкою ногою о материнскую землю, превратился в облако бледных и безгласных теней, влачившихся по склонам холмов подобно утренней мгле, которую солнце рассеивает.

Пораженные гневом Божиим, как бы яростным ветром, призраки эти кружились днем в пыльных вихрях по дорогам. Ночь была для них немного менее враждебной. Ночь не всецело принадлежит Богу Галилейскому. Он разделяет власть над нею с демонами. Когда

тень спускалась с холмов, фавны и фавнессы, нимфы и паны садились на корточки, прижимаясь к саркофагам, обрамлявшим дороги, и здесь, под сладостными чарами темных сил, вкушали покой ненадолго. Прочим гробницам предпочитали они мою, как могилу почтенного прадеда. Скоро соединились они все под тою частью мраморного карниза, которая, восходя на юг, не была покрыта мхом и всегда оставалась сухою. Туда неизменно каждый вечер прилетало их легкое племя, как стая голубей в голубятню. В этом уголке им нетрудно было всем найти место, потому что они сделались маленькими и подобными пустому зерну, вылетающему из веялки. Я сам, выходя из моего тихого убежища, садился среди них под сенью мраморных черепиц и пел им слабым голосом о веке Юпитера и Сатурна, и воспоминались им прежние радости. Под взорами Дианы [1] изображали они друг перед другом свои древние игры, и запоздалому путнику казалось, что туман в долине под луною принимает формы, подобные телам соединяющихся любовников. И в самом деле, они были теперь легким туманом. Холод причинял им много вреда. Однажды ночью, когда снег покрыл поля, нимфы Эглея, Нэера, Мнаис и Мелибея проникли сквозь щели мрамора в темное, тесное убежище, в котором я обитал. Их подруги толпою последовали за ними, и фавны, кинувшись в погоню за нимфами, скоро настигли их. Мой дом сделался их домом. Мы никуда не выходили из него, только разве на прогулку в лес, когда ночь была тиха и ясна. Но с первым криком петухов спешили вернуться домой. Ибо ты должен знать, сын мой, что из всего рогатого племени мне одному позволено являться на этой земле при свете дня. Таково преимущество, дарованное моей святости.

Гробница моя более, чем когда-либо, внушала почтение жителям окрестных селений, и каждый день молодые матери приносили ко мне грудных детей, которых они подымали голых на руках своих. Когда сыновья святого Франциска [2] пришли в это место и построили монастырь на склоне холма, то они испросили разрешения у владыки-епископа перенести в монастырскую церковь мою гробницу, чтобы там хранить ее. Владыка соизволил, и вот с большою пышностью я был перенесен в часовню святого Михаила, где и доныне покоюсь. Мое семейство, выросшее в полях, последовало за мною. Мне оказали немалую честь. Но, признаюсь, я все-таки жалел о моем

---

[1] То есть под Луной (Диана — богиня Луны.)
[2] Монахи-францисканцы.

прежнем месте на большой дороге, где я видел ранним утром поселянок, которые несли на голове корзины с виноградом, фигами и демьянкой. Время не утешило меня, и мне все еще хотелось бы лежать под платанами на Священной Дороге.

Такова моя жизнь, — добавил старый Сатир,— она протекает смеющаяся, сладкая и тайная через все века. Если некоторая скорбь примешивается к радости, значит, на то воля богов. О, сын мой, воздадим хвалу богам, владыкам вселенной!»

Фра Мино в течение некоторого времени пребывал в раздумьи. Потом он сказал:

— Теперь я понимаю смысл того, что видел в ту греховную ночь в часовне святого Михаила. Тем не менее, одна подробность остается темною. Скажи мне, старик, почему нимфы, которые живут с тобою и предаются фавнам, превратились в отвратительных старух, приблизившись ко мне?

— Увы, сын мой,— ответил святой Сатир,— время не щадит ни людей, ни богов. Боги бессмертны только в воображении недолговечных людей. На самом же деле, они также чувствуют тяжесть времени и склоняются с течением столетий к неотвратимому упадку. Нимфы стареют, как и женщины. Нет розы, которая не превратилась бы в терн. Нет нимфы, которая не превратилась бы в ведьму. Любуясь забавами моего маленького семейства, ты должен был видеть, как воспоминание о прошедшей юности делает прекрасными фавнов и нимф в минуту страсти, как жар воскресшей любви воскрешает их увядшую прелесть. Но тотчас же опять обнаруживается разрушительное действие веков. Увы! Увы! Племя нимф отцвело и одряхлело.

Фра Мино задал еще вопрос:

— Старик, если это правда, что ты достиг блаженства неисповедимыми путями, если это правда, хотя оно и кажется нелепым, что ты — святой, то как же ты живешь в гробнице с этими тенями, которые не умеют хвалить Бога и которые оскверняют блудодейством дом Господень? Отвечай, старик!

Но святой козлоногий без ответа тихо рассеялся в воздухе.

Сидя на мшистом камне над источником, фра Мино обдумывал слышанные речи и находил в них, среди глубокого мрака, неожиданные проблески.

— Этого святого Сатира,— размышлял он,— можно сравнить с древнею сивиллой, которая во времена ложных богов возвещала народам Спасителя. Тина старинной

лжи еще прилипла к его козлиным копытам, но чело уже озаряется светом, и уста исповедуют истину.

Так как тень буков удлинялась на траве холмов, то монах встал с камня и спустился по узкой тропинке, которая вела в монастырь сыновей св. Франциска. Но он не смел глядеть на цветы, спавшие на водах, потому что они напоминали ему нимф. Он вернулся в келью в тот час, когда колокола звонили *Ave Maria*. Она была маленькая и белая: все убранство состояло из ложа, скамьи и одного из тех высоких аналоев, которые употреблялись для писания. На стене нищенствующий брат изобразил некогда во вкусе Джотто святых жен у подножия Креста. Под этою фрескою, на деревянной полке, темной и лоснившейся, как доски точил, стояли книги, из коих одни были священные, другие — светские, так как фра Мино изучал древних поэтов для того, чтобы воздавать хвалу Господу во всех делах человеческих, и благословлял Вергилия за то, что он предрек пришествие Спасителя в том знаменитом стихе, которым Мантуанец [1] возвещает народам: *Jam redit et Virgo* [2].

На подоконнике из фаянсовой вазы грубой работы подымалась лилия на тоненьком стебле. Фра Мино любил читать имя Марии Девы, начертанное на ее белых лепестках золотою пылью. Очень высокое открытое окно было узко, но из него виднелось небо над лиловыми холмами.

Затворившись в этой сладостной могиле своей жизни и своих желаний, Мино присел к узкому аналою с двумя наклонными дощечками, за которым он имел обыкновение писать. И здесь, обмакивая тростник в чернильницу, прикрепленную сбоку к ящику, в котором хранились пергаменты, кисти, трубочки с красками и золотой порошок, он попросил мух именем Господа Бога не досаждать ему и начал записывать точный рассказ обо всем виденном и слышанном в часовне св. Михаила, в нехорошую ночь, а также в этот самый день, в лесу, на берегу источника. Справа начертал он на пергаменте следующие строки:

«Вот повествование о том, что фра Мино, ордена нищенствующих братьев [3]*, видел и слышал, записанное для поучения верных. Во славу Иисуса Христа и блаженного, нищего угодника Господня святого Франциска. Аминь».*

---

[1] Вергилий был родом из Мантуи.

[2] Ныне явилась Дева (*лат.*).

[3] Францисканцев.

Потом изложил письменно и по порядку, ничего не пропуская, все, что видел: и то, как нимфы превратились в колдуний, и как старик с рогами беседовал с ним в лесу голосом, подобным последнему вздоху древней свирели и первым звукам священной арфы. Между тем, как он писал, птицы щебетали, ночь подкралась, и прелестные краски дня потухли. Монах зажег лампаду и продолжал писать. Рассказывая о чудесах, коих он был свидетелем, фра Мино в то же время изъяснял их значение прямое и духовное, по всем правилам схоластики. И, подобно тому, как башнями и стенами окружают города, чтобы их укрепить, так и он подтверждал свои доказательства изречениями, заимствованными из Священного Писания. И он вывел следующие заключения из этих необычайных явлений: во-первых, что Иисус Христос есть Господь и Владыка всякой твари земной и что Он есть Бог сатиров и фавнов так же, как людей. Вот почему св. Иероним видел в пустыне кентавров, которые исповедовали имя Христа, во-вторых, что Бог открыл язычникам некоторые проблески истины для того, чтобы они могли спастись. Вот почему сивиллы как, например, Кумская, Египетская и Дельфийская, предвозвещали во мраке неверия Ясли, Бичи, Тростниковый Скипетр, Терновый Венец и Крест. Вот почему также Августин сивиллу Эритрейскую допускает в Град Господень. Фра Мино возблагодарил Бога, открывшего ему эти тайны. Великая радость наполнила сердце при мысли, что и Вергилий также находится среди избранников Божиих. И он начертал с веселием в конце последнего листа:

«Вот апокалипсис брата Мино, нищего во Христе. Я видел светлое сияние на рогатом челе Сатира, как предзнаменование милосердия Господня, исторгшего из пламени ада мудрецов и поэтов древности».

Была уже поздняя ночь, и фра Мино прилег на постель, чтобы несколько отдохнуть. Когда он начинал уже дремать, в окно влетела старая женщина в лунном луче. Он узнал в ней самую страшную из ведьм, которых видел в часовне св. Михаила.

— Дружок мой, сказала она,— что ты наделал? Ведь мы предостерегали, я и мои милые сестры, чтобы ты не открывал наших тайн. Ибо, если ты предашь нас, мы задушим тебя. А мне тебя жаль, потому что я люблю тебя с нежностью!

Она обняла его, назвала своим небесным Адонисом, своим маленьким, белым осликом и ласкала его пламенными ласками.

Но, увидев, что он отталкивает ее с отвращением, сказала:

— Дитя мое, ты презираешь меня, потому что веки мои красны, ноздри мои изъедены острым, зловонным дыханием, и в деснах моих остался единственный зуб, черный и громадный. Правда, что такова ныне Нэера твоя. Но если ты только полюбишь меня, я сделаюсь тобою для тебя снова тем, чем была в золотые дни Сатурна, когда юность моя цвела в цветущей юности мира. О, мой отрок, мой бог, ведь это любовь делает прекрасным все. Чтобы возвратить мне красоту, тебе нужно только немного храбрости. Ну же, Мино, будь смелее!

При этих словах, сопровождаемых движениями, фра Мино, объятый ужасом и омерзением, ослабел и соскользнул с постели на каменный пол своей кельи. И между тем, как монах падал, ему показалось, что он видит сквозь веки, уже полураскрытые, нимфу совершенной прелести, голое тело которой обливало его, как пролитое молоко.

Мино проснулся при ярком свете дня, совершенно разбитый падением. Листья пергамента, которые он исписал ночью, покрывали аналой. Он перечел их, сложил, запечатал собственной печатью, спрятав под одежду, и, не заботясь об угрозах, дважды повторенных ведьмами, отнес эти разоблачения владыке-епископу, дворец которого высоко подымал зубцы свои посредине города. Он застал его в большом зале в то время, как владыка надевал шпоры, окруженные ландскнехтами. Ибо первосвященник вел войну с гибеллинами Флоренции. Епископ спросил монаха, за какою надобностью он пришел, и когда узнал, то пригласил тотчас же прочесть ему донесение. Фра Мино повиновался. Владыка-епископ выслушал чтение до конца. Что касается до призраков, то он не имел об этом предмете особенно точных сведений, но бы исполнен пламенною ревностью к величию церкви. Не медля ни одного дня, несмотря на военные заботы, поручил он двенадцати знаменитым докторам теологии и канонического права исследовать дело, чтобы они поскорее дали свое заключение. По зрелом размышлении, допросив неоднократно фра Мино, доктора пришли к тому выводу, что должно открыть гробницу св. Сатира в часовне св. Михаила и произнести над нею самые сильные очистительные заклятия. Относительно догматических вопросов, поднятых фра Мино, они не пришли к определенному заключению, склоняясь, однако, к тому, что доказательства францисканца слишком смелы, легкомысленны и необычайны.

Согласно с решением докторов и по изволению владыки-епископа, гробница св. Сатира была открыта. В ней нашли горсть пепла, которую священники обрызгали святою водою. И тогда из могилы поднялся белый пар, и в нем послышались тихие стоны.

Ночью, после совершения этого обряда, фра Мино приснилось, что ведьмы, наклонившись над его ложем, вырывают ему сердце. Он встал на рассвете, мучимый острою болью и пожираемый жаждой. Дотащился до монастырского колодца, в котором пили голуби. Но только что омочил губы в воде, наполнявшей углубление по краям колодца, как почувствовал, что сердце у него в груди распухло, подобно губке, и, прошептав: «Господи!», пал бездыханным.



СТИХОТВОРЕНИЯ

ЛИРИКА

БОГ

О, Боже мой, благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир, Твой вечный храм,
И ночь, и волны, и зарю...
Пускай мученья мне грозят,—
Благодарю за этот миг,
За все, что сердцем я постиг,
О чем мне звезды говорят...
Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь,— в ночной тиши,
И в отдаленнейшей звезде,
И в глубине моей души.
Я Бога жаждал — и не знал;
Еще не верил, но, любя,
Пока рассудком отрицал,—
Я сердцем чувствовал Тебя.
И Ты открылся мне: Ты — мир.
Ты — все. Ты — небо и вода,
Ты — голос бури, Ты — эфир,
Ты — мысль поэта, Ты — звезда...
Пока живу — Тебе молюсь.
Тебя люблю, дышу Тобой,
Когда умру — с Тобой сольюсь,
Как звезды с утренней зарей.
Хочу, чтоб жизнь моя была
Тебе немолчная хвала,
Тебя за полночь и зарю,
За жизнь и смерть — благодарю!..

MORITURI [1]

Мы бесконечно одиноки,
Богов покинутых жрецы.
Грядите, новые пророки!

---

[1] Идущие на смерть (*лат.*).

Грядите, вещие певцы,
Еще неведомые миру!
И отдадим мы нашу лиру
Тебе, божественный поэт...
На глас твой первые ответим,
Улыбкой первой твой рассвет,
О, Солнце, будущего, встретим,
И в блеске утреннем твоем,
Тебя приветствуя, умрем!

«Salutant, Caesar Imperator,
Te morituri» [1]. Весь наш род,
Как на арене гладиатор,
Пред новым веком смерти ждет.
Мы гибнем жертвой искупленья,
Придут иные поколенья.
Но в оный день, пред их судом,
Да не падут на нас проклятья:
Вы только вспомните о том,
Как много мы страдали, братья!
Грядущей веры новый свет,
Тебе от гибнущих привет!

ДЕТИ НОЧИ

Устремляя наши очи
На бледнеющий восток,
Дети скорби, дети ночи,
Ждем, придет ли наш пророк.

И, с надеждою в сердцах,
Умирая, мы тоскуем
О несозданных мирах.
Мы неведомое чуем.

Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.

Погребенных воскресенье
И, среди глубокой тьмы,
Петуха ночное пенье,
Холод утра — это мы.

---

[1] Идущие на смерть [гладиаторы] приветствуют тебя, император Цезарь (*лат.*).

Мы — над бездною ступени,
Дети мрака, солнца ждем,
Свет увидим и, как тени,
Мы в лучах его умрем.

ИЗГНАННИКИ

Есть радость в том, чтоб люди ненавидели,
Добро считали злом,
И мимо шли, и слез твоих не видели,
Назвав тебя врагом.

Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником,
И, как волна морей,
Как туча в небе, одиноким странником
И не иметь друзей.

Прекрасна только жертва неизвестная:
Как тень хочу пройти,
И сладостна да будет ноша крестная
Мне на земном пути.

ГОЛУБОЕ НЕБО

Я людям чужд и мало верю
Я добродетели земной:
Иною мерой жизнь я мерю,
Иной, бесцельной красотой.

Я верю только в голубую
Недосягаемую твердь.
Всегда единую, простую
И непонятную, как смерть.

О, небо, дай мне быть прекрасным,
К земле сходящим с высоты,
И лучезарным, и бесстрастным,
И всеобъемлющим, как ты.

ТЕМНЫЙ АНГЕЛ

О, темный ангел одиночества,
Ты веешь вновь,
И шепчешь вновь свои пророчества:
«Не верь в любовь.

Узнал ли голос мой таинственный?
О, милый мой,
Я — ангел детства, друг единственный,
Всегда — с тобой.

Мой взор глубок, хотя не радостен,
Но не горюй:
Он будет холоден и сладостен,
Мой поцелуй.

Он веет вечною разлукою,—
И в тишине
Тебя, как мать, я убаюкаю.
Ко мне, ко мне!»

И совершаются пророчества:
Темно вокруг.
О, страшный ангел одиночества,
Последний друг,

Полны могильной безмятежностью
Твои шаги.
Кого люблю с бессмертной нежностью,
И те — враги!

ОДИНОЧЕСТВО

Поверь мне: — люди не поймут
Твоей души до дна!..
Как полон влагою сосуд,—
Она тоской полна.

Когда ты с другом плачешь,— знай:
Сумеешь, может быть,
Лишь две-три капли через край
Той чаши перелить.

Но вечно дремлет в тишине
Вдали от всех друзей,—
Что там, на дне, на самом дне
Больной души твоей.

Чужое сердце — мир чужой,
И нет к нему пути!
В него и любящей душой
Не можем мы войти.

И что-то есть, что глубоко
Горит в твоих глазах,

И от меня — так далеко,
Как звезды в небесах...

В своей тюрьме,— в себе самом,
Ты, бедный человек,
В любви, и в дружбе, и во всем
Один, один навек!..

* * *

И хочу, но не в силах любить я людей:
Я чужой среди них; сердцу ближе друзей —
Звезды, небо, холодная, синяя даль
И лесов, и пустыни немая печаль...
Не наскучит мне шуму деревьев внимать,
В сумрак ночи могу я смотреть до утра
И о чем-то так сладко, безумно рыдать,
Словно ветер мне брат, и волна мне сестра,
И сырая земля мне родимая мать...
А меж тем не с волной и не с ветром мне жить
И мне страшно всю жизнь не любить никого.
Неужели навек мое сердце мертво?
Дай мне силы, Господь, моих братьев любить!

МОЛЧАНИЕ

Как часто выразить любовь мою хочу,
Но ничего сказать я не умею,
Я только радуюсь, страдаю и молчу:
Как будто стыдно мне — я говорить не смею.

И в близости ко мне живой души твоей
Так все таинственно, так все необычайно,—
Что слишком страшною божественною тайной
Мне кажется любовь, чтоб говорить о ней.

В нас чувства лучшие стыдливы и безмолвны,
И все священное объемлет тишина:
Пока шумят вверху сверкающие волны,
Безмолвствует морская глубина.

ПРИЗНАНИЕ

Не утешай, оставь мою печаль
Нетронутой, великой и безгласной.
Обоим нам порой свободы жаль,
Но цепь любви порвать хотим напрасно.

Я чувствую, что так любить нельзя,
Как я люблю, что так любить безумно,
И страшно мне, как будто смерть, грозя,
Над нами веет близко и бесшумно...

Но я еще сильней тебя люблю,
И бесконечно я тебя жалею,—
До ужаса сливаю жизнь мою,
Сливаю душу я с душой твоею.

И без тебя я не умею жить.
Мы отдали друг другу слишком много,
И я прошу, как милости, у Бога,
Чтоб научил Он сердце не любить.

Но как порой любовь ни проклинаю —
И жизнь, и смерть с тобой я разделю,
Не знаешь ты, как я тебя люблю,
Быть может, я и сам еще не знаю.

Но слов не надо: сердце так полно,
Что можем только тихими слезами
Мы выплакать, что людям не дано
Ни рассказать, ни облегчить словами.

ЛЮБОВЬ — ВРАЖДА

Мы любим и любви не ценим,
И жаждем оба новизны,
Но мы друг другу не изменим,
Мгновенной прихотью полны.

Порой, стремясь к свободе прежней,
Мы думаем, что цепь порвем,
Но каждый раз все безнадежней
Мы наше рабство сознаем.

И не хотим конца предвидеть,
И не умеем вместе жить,—
Ни всей душой возненавидеть,
Ни беспредельно полюбить.

О, эти вечные упреки!
О, эта хитрая вражда!
Тоскуя — оба одиноки,
Враждуя — близки навсегда.

В борьбе с тобой изнемогая
И все ж мучительно любя,
Я только чувствую, родная,
Что жизни нет, где нет тебя.

С каким коварством и обманом
Всю жизнь друг с другом спор ведем,
И каждый хочет быть тираном,
Никто не хочет быть рабом.

Меж тем, забыться не давая,
Она растет всегда, везде,
Как смерть, могучая, слепая
Любовь, подобная вражде.

Когда другой сойдет в могилу,
Тогда поймет один из нас
Любви безжалостную силу —
В тот страшный час, последний час!

ОДИНОЧЕСТВО В ЛЮБВИ

Темнеет. В городе чужом
Друг против друга мы сидим,
В холодном сумраке ночном,
Страдаем оба и молчим.

И оба поняли давно,
Как речь бессильна и мертва:
Чем сердце бедное полно,
Того не выразят слова.

Не виноват никто ни в чем:
Кто гордость победить не мог,
Тот будет вечно одинок,
Кто любит,— должен быть рабом.

Стремясь к блаженству и добру,
Влача томительные дни,
Мы все — одни, всегда — одни:
Я жил один, один умру.

На стеклах бледного окна
Потух вечерний полусвет.—
Любить научит смерть одна
Все то, к чему возврата нет.

ПРОКЛЯТИЕ ЛЮБВИ

С усильем тяжким и бесплодным,
Я цепь любви хочу разбить.
О, если б вновь мне быть свободным.
О, если б мог я не любить!

Душа полна стыда и страха,
Влачится в прахе и крови.
Очисти душу мне от праха,
Избавь, о, Боже, от любви!

Ужель непобедима жалость?
Напрасно Бога я молю:
Все безнадежнее усталость,
Все бесконечнее люблю.

И нет свободы, нет прощенья,
Мы все рабами рождены,
Мы все на смерть, и на мученья,
И на любовь обречены.

DE PROFUNDIS [1]

(*Из дневника*)

...В те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. (*Ев. Марка, гл. XIII*, 19, 20).

I

УСТАЛОСТЬ

Мне самого себя не жаль.
Я принимаю все дары Твои, о, Боже.
Но кажется порой, что радость и печаль,
И жизнь, и смерть — одно и то же.

Спокойно жить, спокойно умереть —
Моя последняя отрада.
Не стоит ни о чем жалеть,
И ни на что надеяться не надо.

---

[1] Из глубины [взываю к Тебе, Господи] (*лат.*)— Псалом 129, 1.

Ни мук, ни наслаждений нет.
Обман — свобода и любовь, и жалость.
В душе — бесцельной жизни след —
Одна тяжелая усталость.

II

DE PROFUNDIS

Из преисподней вопию
Я, жалом смерти уязвленный:
Росу небесную Твою
Пошли в мой дух ожесточенный.

Люблю я смрад земных утех,
Когда в устах к Тебе моленья —
Люблю я зло, люблю я грех,
Люблю я дерзость преступленья.

Мой Враг глумится надо мной:
«Нет Бога: жар молитв бесплоден».
Паду ли ниц перед Тобой,
Он молвит: «Встань и будь свободен».

Бегу ли вновь к Твоей любви,—
Он искушает, горд и злобен:
«Дерзай, познанья плод сорви,
Ты будешь силой мне подобен».

Спаси, спаси меня! Я жду,
Я верю, видишь, верю чуду,
Не замолчу, не отойду
И в дверь Твою стучаться буду.

Во мне горит желаньем кровь,
Во мне таится семя тленья.
О, дай мне чистую любовь,
О, дай мне слезы умиленья.

И окаянного прости,
Очисти душу мне страданьем —
И разум темный просвети
Ты немерцающим сияньем!

ПУСТАЯ ЧАША

Отцы и дети, в играх шумных
Все истощили вы до дна,

Не берегли в пирах безумных
Вы драгоценного вина.

Но хмель прошел, слепой отваги
Потух огонь, и кубок пуст.
И вашим детям каплей влаги
Не омочить горящих уст.

Последним ароматом чаши —
Лишь тенью тени мы живем,
И в страхе думаем о том,
Чем будут жить потомки наши.

ПАРКИ [1]

Будь, что будет — все равно.
Парки дряхлые, прядите
Жизни спутанные нити,
Ты шуми, веретено.

Все наскучило давно
Трем богиням, вещим пряхам:
Было прахом, будет прахом,—
Ты шуми, веретено.

Нити вечные судьбы
Тянут Парки из кудели,
Без начала и без цели,
Не склоняют их мольбы,

Не пленяет красота:
Головой они качают,
Правду горькую вещают
Их поблеклые уста.

Мы же лгать обречены:
Роковым узлом от века
В слабом сердце человека
Правда с ложью сплетены.

Лишь уста открою — лгу,
Я рассечь узлов не смею,
А распутать не умею,
Покориться не могу.

---

[1] Дочери Зевса и Фемиды, богини судьбы.

Лгу, чтоб верить, чтобы жить,
И во лжи моей тоскую.
Пусть же петлю роковую,
Жизни спутанную нить,

Цепи рабства и любви,
Все, пред чем я полон страхом,
Рассекут единым взмахом,
Парка, ножницы твои!

СКУКА

Страшней, чем горе, эта скука.
Где ты, последний терн венца,
Освобождающая мука
Давно желанного конца?

С ее бессмысленным мученьем,
С ее томительной игрой,
Невыносимым оскорбленьем
Вся жизнь мне кажется порой.

Хочу простить ее, но знаю,
Уродства жизни не прощу,
И горечь слез моих глотаю
И умираю, и молчу.

* * *

Что ты можешь? В безумной борьбе
Человек не достигнет свободы:
Покорись же, о, дух мой, судьбе
И неведомым силам природы!

Если надо,— смирись и живи!
Об одном только помни, страдая:
Ненадолго — страданья твои,
Ненадолго — и радость земная.

Если надо,— покорно вернись,
Умирая, к небесной отчизне,
И у смерти, у жизни учись —
Не бояться ни смерти, ни жизни!

СТАРОСТЬ

Чем больше я живу — тем глубже тайна жизни,
Тем призрачнее мир, страшней себе я сам,
Тем больше я стремлюсь к покинутой отчизне,
К моим безмолвным небесам.

Чем больше я живу — тем скорбь моя сильнее
И неотзывчивей на голос дольних бурь,
И смерть моей душе все ближе и яснее,
Как вечная лазурь.

Мне юности не жаль: прекрасней солнца мая,
Мой золотой сентябрь, твой блеск и тишина,
Я не боюсь тебя, приди ко мне, святая,
О, Старость, лучшая весна!

Тобой обвеянный, я снова буду молод
Под светлым инеем безгрешной седины,
Как только укротит во мне твой мудрый холод
И боль, и бред, и жар весны!

ВОЛНЫ

О если б жить, как вы живете, волны,
Свободные, бесстрастие храня,
И холодом, и вечным блеском полны!..
Не правда ль, вы — счастливее меня!

Не знаете, что счастье — ненадолго...
На вольную, холодную красу
Гляжу с тоской: всю жизнь любви и долга
Святую цепь покорно я несу.

Зачем ваш смех так радостен и молод?
Зачем я цепь тяжелую несу?
О, дайте мне невозмутимый холод
И вольный смех, и вечную красу!..

Смирение!.. Как трудно жить под игом,
Уйти бы к вам и с вами отдохнуть,
И лишь одним, одним упиться мигом,
Потом навек безропотно уснуть!..

Ни женщине, ни Богу, ни отчизне,
О, никому отчета не давать
И только жить для радости, для жизни
И в пене брызг на солнце умирать!..

Но нет во мне глубокого бесстрастья:
И родину, и Бога я люблю,
Люблю мою любовь, во имя счастья
Все горькое покорно я терплю.

Мне страшен долг, любовь моя тревожна.
Чтоб вольно жить — увы! я слишком слаб...
О, неужель свобода невозможна,
И человек до самой смерти — раб?

ДВЕ ПЕСНИ ШУТА

I

Если б капля водяная
Думала, как ты,
В час урочный упадая
С неба на цветы,
И она бы говорила:
«Не бессмысленная сила
Управляет мной.
По моей свободной воле
Я на жаждущее поле
Упаду росой!»
Но ничто во всей природе
Не мечтает о свободе,
И судьбе слепой
Все покорно — влага, пламень,
Птицы, звери, мертвый камень;
Только весь свой век
О неведомом тоскует
И на рабство негодует
Гордый человек.
Но, увы! лишь те блаженны,
Сердцем чисты те,
Кто беспечны и смиренны
В детской простоте.
Нас, глупцов, природа любит,
И ласкает, и голубит,
Мы без дум живем,
Без борьбы, послушны року,
Вниз по вечному потоку,
Как цветы, плывем.

II

То не в поле головки сбивает дитя
С одуванчиков белых, играя:
То короны и митры сметает, шутя,
Всемогущая Смерть, пролетая.
Смерть приходит к шуту: «Собирайся, Дурак,
Я возьму и тебя в мою ношу,
И к венцам и тиарам твой пестрый колпак
В мою общую сумку я брошу».
Но, как векша, горбун ей на плечи вскочил
И колотит он Смерть погремушкой,
По костлявому черепу бьет, что есть сил,
И смеется над бедной старушкой.
Стонет жалобно Смерть: «Ой, голубчик, постой!»
Но герой наш уняться не хочет;
Как солдат в барабан, бьет он в череп пустой,
И кричит, и безумно хохочет:
«Не хочу умирать, не боюсь я тебя!
Жизнь, и солнце, и смех всей душою любя,
Буду жить-поживать, припевая:
Гром побед отзвучит, красота отцветет,
Но Дурак никогда и нигде не умрет,—
Но бессмертна лишь глупость людская!»

ПРИРОДА

Ни злом, ни враждою кровавой
Доныне затмить не могли
Мы неба чертог величавый
И прелесть цветущей земли.

Нас прежнею лаской встречают
Долины, цветы и ручьи,
И звезды все так же сияют,
О том же поют соловьи.

Не ведает нашей кручины
Могучий, таинственный лес,
И нет ни единой морщины
На ясной лазури небес.

НИРВАНА

И вновь, как в первый день созданья,
Лазурь небесная тиха,

Как будто в мире нет страданья,
Как будто в сердце нет греха.
Не надо мне любви и славы:
В молчаньи утренних полей
Дышу, как дышат эти травы...
Ни прошлых, ни грядущих дней
Я не хочу пытать и числить.
Я только чувствую опять,
Какое счастие — не мыслить,
Какая нега — не желать!

* * *

Если розы тихо осыпаются,
Если звезды меркнут в небесах,
Об утесы волны разбиваются,
Гаснет луч зари на облаках,

Это смерть,— но без борьбы мучительной,
Это смерть, пленяя красотой,
Обещает отдых упоительный,—
Лучший дар природы всеблагой.

У нее, наставницы божественной,
Научитесь, люди, умирать,
Чтоб с улыбкой кроткой и торжественной
Свой конец безропотно встречать.

УСНИ

Уснуть бы мне навек, в траве, как в колыбели,
Как я ребенком спал в те солнечные дни,
Когда в лучах полуденных звенели
Веселых жаворонков трели
И пели мне они:
«Усни, усни!»

И крылья пестрых мух с причудливой окраской
На венчиках цветов дрожали, как огни.
И шум дерев казался чудной сказкой.
Мой сон лелея, с тихой лаской
Баюкали они:
«Усни, усни!»

И убегая вдаль, как волны золотые,
Давали мне приют в задумчивой тени,
Под кущей верб, поля мои родные,
Склонив колосья наливные,
Шептали мне они:
«Усни, усни!»

1884

ВЕЧЕР

Посвящ. С. Я. Надсону

Говорят и блещут с вышины
Зарей рассыпанные розы
На бледной зелени березы,
На темном бархате сосны.
По красной глине с тощим мохом
Бреду я скользкою тропой;
Струится вечер надо мной
Благоуханным, теплым вздохом.
Поникнув, дремлют тростники;
Сверкает пенистой пучиной,
Разбито вдребезги плотиной
Стекло прозрачное реки.
Колосья зреющего хлеба
Глядят с обрыва на меня;
Там колья ветхого плетня
Чернеют на лазури неба...
Уж пламень меркнувшего дня
Бледней, торжественней и тише...
Он подымается все выше...
. . . .
Погибший день, ты был ничтожен
И пуст, и мелочно-тревожен;
За что ж на тихий твой конец
Самой природою возложен
Такой блистательный венец?

1884

ВЕСЕННЕЕ ЧУВСТВО

С улыбкою бесстрастия
Ты жизнь благослови:
Не нужно нам для счастия
Ни славы, ни любви,

Но почки благовонные
Нужны,— и небеса,
И дымкой опушенные
Прозрачные леса.

И пусть все будет молодо,
И зыбь волны, порой,
Как трепетное золото,
Сверкает чешуей.

Как в детстве, все невиданным
Покажется тогда
И снова неожиданным —
И небо, и вода,

Над первыми цветочками
Жужжанье первых пчел,
И с клейкими листочками
Березы тонкий ствол.

С младенчества любезное,
Нам дорого — пойми —
Одно лишь бесполезное,
Забытое людьми.

Вся мудрость в том, чтоб радостно
Во славу Богу петь.
Равно да будет сладостно
И жить, и умереть.

МАРТ

Больной, усталый лед,
Больной и талый снег...
И все течет, течет...
Как весел вешний бег
Могучих мутных вод!
И плачет дряхлый снег,
И умирает лед.
А воздух полон нег,
И колокол поет.
От стрел весны падет
Тюрьма свободных рек,
Угрюмых зим оплот,—
Больной и темный лед,
Усталый, талый снег...
И колокол поет,
Что жив мой Бог вовек,
Что Смерть сама умрет!

НОЯБРЬ

Бледный месяц — на ущербе,
Воздух — звонок, мертв и чист,
И на голой, зябкой вербе
Шелестит увядший лист.

Замерзает, тяжелеет
В бездне тихого пруда,
И чернеет, и густеет
Неподвижная вода.

Бледный месяц на ущербе
Умирающий лежит,
И на голой черной вербе
Луч холодный не дрожит.

Блещет небо, догорая,
Как волшебная земля,
Как потерянного рая
Недоступные поля.

ОСЕНЬЮ В ЛЕТНЕМ САДУ

В аллее нежной и туманной,
Шурша осеннею листвой,
Дитя букет сбирает странный,
С улыбкой жизни молодой...

Все ближе тень октябрьской ночи,
Все ярче мертвенный букет,
Но радует живые очи
Увядших листьев пышный цвет...

Чем бледный вечер неутешней,
Тем смех ребенка веселей,
Подобен пенью птицы вешней
В холодном сумраке аллей.

Находит в увяданьи сладость
Его блаженная пора:
Ему паденье листьев — радость,
Ему и смерть еще — игра!..

УСПОКОЕННЫЕ

Успокоенные Тени,
Те, что любящими были,
Бродят жалобной толпой
Там, где волны полны лени,
Там, над урной мертвой пыли,
Там, над Летой гробовой.

Успокоенные Тучи,
Те, что днем, в дыханьи бури,
Были мраком и огнем,—
Там, вдали, где лес дремучий,
Спят в безжизненной лазури
В слабом отблеске ночном.

Успокоенные Думы,
Те, что прежде были страстью,
Возмущеньем и борьбой,—
Стали кротки и угрюмы,
Не стремятся больше к счастью,
Полны мертвой тишиной.

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ

Падайте, падайте, листья осенние,
Некогда в теплых лучах зеленевшие,
Легкие дети весенние,
Сладко шумевшие!..
В утреннем воздухе дым,—
Пахнет пожаром лесным,
Гарью осеннею.
Молча любуюсь на вашу красу,
Поздним лучом позлащенные!
Падайте, падайте, листья осенние...
Песни поет похоронные
Ветер в лесу.
Тихих небес побледневшая твердь
Дышит бессмертною радостью,
Сердце чарует мне смерть
Неизреченною сладостью.

МАТЬ

С еще бессильными крылами
Я видел птенчика во ржи,
Меж голубыми васильками,
У непротоптанной межи.

Над ним и надо мной витала,
Боялась мать — не за себя,
И от него не улетала,
Тоскуя, плача и любя.

Пред этим маленьким твореньем
Я понял благость Вышних Сил,
И в сердце, с тихим умиленьем,
Тебя, Любовь, благословил.

СТАЛЬ

Гляжу с улыбкой на обломок
Могучей стали,— и меня
Быть сильным учишь ты, потомок
Воды, железа и огня!

Твоя краса — необычайна,
О, темно-голубая сталь...
Твоя мерцающая тайна
Отрадна сердцу, как печаль.

А между тем твое сиянье
Нежней, чем в поле вешний цвет:
На нем и детских уст дыханье
Оставить может легкий след.

О, сердце! стали будь подобно —
Нежней цветов и тверже скал,—
Восстань на силу черни злобной,
Прими таинственный закал!

Не бойся ни врага, ни друга,
Ни мертвой скуки, ни борьбы,
Неуязвимо и упруго
Под страшным молотом Судьбы.

Дерзай же, полное отваги,
Живую двойственность храня:
Бесстрастный, мудрый холод влаги
И пыл мятежного огня.

НА ОЗЕРЕ КОМО

Кому страдание знакомо,
Того ты сладко усыпишь,
Тому понятна будет, Комо,
Твоя безветренная тишь.

И по воде, из церкви дальной,
В селеньи бедных рыбаков,
Ave Maria — стон печальный,
Вечерний звон колоколов...

Здесь горы в зелени пушистой
Уютно заслонили даль,
Чтобы волной своей тенистой
Ты убаюкало печаль.

И обещанье так прекрасно,
Так мил обманчивый привет,
Что вот опять я жду напрасно,
Чего, я знаю, в мире нет.

ПОМПЕЯ

Над городом века неслышно протекли,
И царства рушились; но пеплом сохраненный,
Доныне он лежит, как труп непогребенный,
Среди безрадостной и выжженной земли.
Кругом — последнего мгновенья ужас вечный,—
В низверженных богах с улыбкой их беспечной,
В остатках от одежд, от хлеба и плодов,
В безмолвных комнатах и опустелых лавках
И даже в ларчике с флаконом для духов,
В коробочке румян, в запястьях и булавках;
Как будто бы вчера прорыт глубокий след
Тяжелым колесом повозок нагруженных,
Как будто мрамор бань был только что согрет
Прикосновеньем тел, елеем умащенных.
Воздушнее мечты — картины на стене:
Тритон на водяном чешуйчатом коне,
И в ризах веющих божественные Музы.
Здесь все кругом полно могильной красоты,
Не мертвой, не живой, но вечной, как Медузы
Окаменелые от ужаса черты...
. . . .

А в голубых волнах белеют паруса,
И дым Везувия, красою безмятежной
Блистая на заре, восходит в небеса,
Подобно облаку, и розовый, и нежный...

1891 г.

СМЕХ БОГОВ

Легок, светел, как блаженный
Олимпийский смех богов,
Многошумный, неизменный
Смех бесчисленных валов!

Страшен был их гимн победный
В бурной тьме, когда по ним
Одиссей, скиталец бедный,
Мчался, ужасом томим.

И покрытый черной тиной,
Как обломок корабля,
Царь был выброшен пучиной,
Нелюдимая земля,—

На пески твоей пустыни,
И среди холодных скал
С благодарностью Афине
Он молитвы воссылал...

В Провиденье веры полный,
Ты не видишь, Одиссей,
Как смеются эти волны
Над молитвою твоей.

Многошумный, неизменный,
Смех бесчисленных валов —
Легок, светел, как блаженный
Олимпийский смех богов.

На Черном море
1889 г.

ПАРФЕНОН

Мне будет вечно дорог день,
Когда вступил я, Пропилеи,
Под вашу мраморную сень,

Что пены волн морских белее,
Когда, священный Парфенон,
Я увидал в лазури чистой
Впервые мрамор золотистый
Твоих божественных колонн,
Твой камень, солнцем весь облитый,
Прозрачный, теплый и живой,
Как тело юной Афродиты,
Рожденной пеною морской.
Здесь было все душе родное,
И Саламин, и Геликон,
И это море голубое
Меж белых, девственных колонн.
С тех пор душе моей святыня,
О, скудной Аттики земля,
Твоя печальная пустыня,
Твои сожженные поля!

ТИТАНЫ

(К мраморам Пергамского жертвенника)

Обида! Обида!
Мы — первые боги,
Мы — древние дети
Праматери-Геи,—
Великой Земли!
Изменою братьев,
Богов Олимпийцев,
Низринуты в Тартар,
Отвыкли от солнца,
Оглохли, ослепли
Во мраке подземном,
Но все еще помним
И любим лазурь.
Обуглены крылья,
И ног змеевидных
Раздавлены кольца,
Тройными цепями
Обвиты тела,—
Но все еще дышим,
И наше дыханье
Колеблет громаду
Дымящейся Этны,
И землю, и небо,
И храмы богов.
А боги смеются,
Высоко над нами,

И люди страдают,
И время летит.
Но здесь мы не дремлем:
Мы мщенье готовим,
И землю копаем,
И гложем, и роем
Когтями, зубами,
И нет нам покоя,
И смерти нам нет.
Источим, пророем
Глубокие корни
Хребтов неподвижных
И вырвемся к солнцу,—
И боги воскликнут,
Бледнея, как воры:
«Титаны! Титаны!»
И выронят кубки,
И будет ужасней
Громов Олимпийских,
И землю разрушит
И небо — наш смех.

РИМ

Кто тебя создал, о, Рим? Гений народной свободы!
Если бы смертный навек выю под игом склонив,
В сердце своем потушил вечный огонь Прометея,
Если бы в мире везде дух человеческий пал,—
Здесь возопили бы древнего Рима священные камни:
«Смертный, бессмертен твой дух; равен богам человек!»

ПАНТЕОН

Путник с печального Севера к вам, Олимпийские боги,
Сладостным страхом объят, в древний вхожу Пантеон.
Дух ваш, о, люди, лишь здесь спорит в величьи с богами:
Где же бессмертные, где — Рима всемирный Олимп?
Ныне кругом запустение, ныне царит в Пантеоне
Древнему сонму богов чуждый, неведомый Бог!
Вот Он, распятый, пронзенный гвоздями, в короне терновой.
Мука — в бескровном лице, в кротких очах Его — смерть.
Знаю, о, боги блаженные, мука для вас ненавистна.
Вы отвернулись, рукой очи в смятеньи закрыв.
Вы улетаете прочь, Олимпийские светлые тени!..
О, подождите, молю! Видите: это — мой Брат,

Это — мой Бог!.. Перед Ним я невольно склоняю колени...
Радостно муку и смерть принял Благой за меня...
Верю в Тебя, о, Господь, дай мне отречься от жизни,
Дай мне во имя любви вместе с Тобой умереть!..
Я оглянулся назад; солнце, открытое небо...
Льется из купола свет в древний языческий храм.
В тихой лазури небес — нет ни мученья, ни смерти:
Сладок нам солнечный свет, жизнь — драгоценнейший дар!..
Где же ты, истина?.. В смерти, в небесной любви и страданьях,
Или, о, тени богов, в вашей земной красоте?
Спорят в душе человека, как в этом божественном храме,—
Вечная радость и жизнь, вечная тайна и смерть.

Рим
1891 г.

БУДУЩИЙ РИМ

Рим — это мира единство: в республике древней — свободы
Строгий языческий дух объединял племена.
Пала свобода,— и мудрые Кесари вечному Риму
Мыслью о благе людей вновь покорили весь мир.
Пал императорский Рим, и во имя Всевышнего Бога
В храме великом Петра весь человеческий род
Церковь хотела собрать. Но, вослед за языческим Римом,
Рим христианский погиб: вера потухла в сердцах.
Ныне в развалинах древних мы, полные скорби, блуждаем.
О, неужель не найдем веры такой, чтобы вновь
Объединить на земле все племена и народы?
Где ты, неведомый Бог, где ты, о, будущий Рим?

1891 г.

* * *

Так жизнь ничтожеством страшна,
И даже не борьбой, не мукой,
А только бесконечной скукой
И тихим ужасом полна,
Что кажется — я не живу,
И сердце перестало биться,
И это только наяву
Мне все одно и то же снится.
И если там, где буду я,
Господь меня, как здесь, накажет,—
То будет смерть, как жизнь моя,
И смерть мне нового не скажет.

ДВОЙНАЯ БЕЗДНА

Не плачь о неземной отчизне,
И помни,— более того,
Что есть в твоей мгновенной жизни,
Не будет в смерти ничего.

И жизнь, как смерть необычайна...
Есть в мире здешнем — мир иной.
Есть ужас тот же, та же тайна —
И в свете дня, как в тьме ночной.

И смерть и жизнь — родные бездны;
Они подобны и равны,
Друг другу чужды и любезны,
Одна в другой отражены.

Одна другую углубляет,
Как зеркало, а человек
Их съединяет, разделяет
Своею волею навек.

И зло, и благо,— тайна гроба.
И тайна жизни — два пути —
Ведут к единой цели оба.
И все равно, куда идти.

Будь мудр,— иного нет исхода.
Кто цепь последнюю расторг,
Тот знает, что в цепях свобода
И что в мучении — восторг.

Ты сам — свой Бог, ты сам свой ближний.
О, будь же собственным Творцом,
Будь бездной верхней, бездной нижней,
Своим началом и концом.

* * *

О, если бы душа полна была любовью,
Как Бог мой на кресте — я умер бы любя.
Но ближних не люблю, как не люблю себя,
И все-таки порой исходит сердце кровью.

О, мой Отец, о, мой Господь,
Жалею всех живых в их слабости и силе,
В блаженстве и скорбях, в рожденьи и могиле.
Жалею всякую страдающую плоть.

И кажется порой — у всех одна душа,
Она зовет Тебя, зовет и умирает,

И бредит в шелесте ночного камыша,
В глазах больных детей, в огнях зарниц сияет.

Душа моя и Ты — с Тобою мы одни.
И смертною тоской и ужасом объятый,
Как некогда с креста Твой Первенец Распятый,
Мир вопиет: Ламá! Ламá! Савахфанѝ [1].

Душа моя и Ты — с Тобой одни мы оба,
Всегда лицом к лицу, о, мой последний Враг.
К Тебе мой каждый вздох, к Тебе мой каждый шаг
В мгновенном блеске дня и в вечной тайне гроба,

И в буйном ропоте Тебя за жизнь кляня,
Я все же знаю: Ты и Я — одно и то же,
И вопию к Тебе, как сын твой: Боже, Боже,
За что оставил Ты меня?

ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ

Я помню, как в детстве нежданную сладость
Я в горечи слез находил иногда,
И странную негу, и новую радость —
В мученьи последних обид и стыда.

В постели я плакал, припав к изголовью;
И было прощением сердце полно,
Но все ж не людей,— бесконечной любовью
Я Бога любил и себя, как одно.

И словно незримый слетал утешитель,
И с лаской тихой склонялся ко мне;
Не знал я, то мать или ангел-хранитель,
Ему я, как ей, улыбался во сне.

В последней обиде, в предсмертной пустыне,
Когда и в тебе изменяет мне все,
Не ту же ли сладость находит и ныне
Покорное, детское сердце мое?

Безумье иль мудрость,— не знаю, но чаще,
Все чаще той сладостью сердце полно,

---

[1] «Илѝ! Илѝ! ламá савахвани?» — «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты меня оставил?» (Евангелие от Матфея, XXVII, 46). Христос произносит эти слова на арамейском языке.

И так,— что чем сердцу больнее, тем слаще,
И Бога люблю и себя, как одно.

16 августа 1900 г.

ТРУБНЫЙ ГЛАС

Под землею слышен ропот,
Тихий шелест, шорох, шепот.
Слышен в небе трубный глас:
— Брат, вставай же, будят нас.
— Нет, темно еще повсюду,
Спать хочу и спать я буду,
Не мешай же мне, молчи,
В стену гроба не стучи.
— Не заснешь теперь, уж поздно.
Зов раздался слишком грозно,
И встают вблизи, вдали,
Из разверзшейся земли,
Как из матерней утробы,
Мертвецы, покинув гробы.
— Не могу и не хочу,
Я закрыл глаза, молчу,
Не поверю я обману,
Я не встану, я не встану.
Брат, мне стыдно — весь я пыль,
Пыль и тлен, и смрад, и гниль.
— Брат, мы Бога не обманем,
Все проснемся, все мы встанем,
Все пойдем на Страшный суд.
Вот, престол уже несут
Херувимы, серафимы.
Вот наш царь дориносимый[1].
О, вставай же,— рад не рад,
Все равно, ты встанешь, брат.

МОЛИТВА О КРЫЛЬЯХ

Ниц простертые, унылые,
Безнадежные, бескрылые,
В покаянии, в слезах,—
Мы лежим во прахе прах,
Мы не смеем, не желаем,
И не верим, и не знаем,
И не любим ничего.

---

[1] Д о р и н о с и м ы й — носимый на копьях. Образ заимствован из древнеримской истории: подобно тому, как дружина поднимала на копьях стоящего на щите царя, небесное воинство несет на копьях Господа Сил небесных.

Боже, дай нам избавленья,
Дай свободы и стремленья,
Дай веселья Твоего.
О, спаси нас от бессилья,
Дай нам крылья, дай нам крылья,
Крылья духа Твоего!

ВЕСЕЛЫЕ ДУМЫ

Без веры давно, без надежд, без любви,
О странно веселые думы мои!

Во мраке и сырости старых садов —
Унылая яркость последних цветов.

ЛЕГЕНДЫ И ПОЭМЫ

ЛЕДА

I

«Я — Леда, я — белая Леда, я — мать красоты.
Я сонные воды люблю и ночные цветы.
Каждый вечер, жена соблазненная,
Я ложусь у пруда, там, где пахнет водой,—
В душной тьме грозовой,
Вся преступная, вся обнаженная,—
Там, где сырость, и нега, и зной,
Там, где пахнет водой и купавами,
Влажными, бледными травами,
И таинственным илом в пруду,—
Там я жду.
Вся преступная, вся обнаженная,
Изнеможенная,
В сырость теплую, в мягкие травы ложусь
И горю, и томлюсь.
В душной тьме грозовой,
Там, где пахнет водой,
Жду — и в страстном бессилии,
Я бледнее, прозрачнее сломанной лилии.
Там я жду, а в пруду только звезды блестят,
И в тиши камыши шелестят, шелестят».

II

«Вот и крик, и шум пронзительный,
Словно плеск могучих рук:
Это — Лебедь ослепительный,
Белый Лебедь — мой супруг!
С грозной нежностью змеиною,
Он, обвив меня, ласкал
Тонкой шеей лебединою,—
Влажных губ моих искал...
Крылья воду бьют,
Грозен темный пруд,—

На спине его щетиною
Перья бледные встают,—
Так он горд своей победою.
Где я, что со мной — не ведаю:
Это — смерть, но не боюсь,
    Вся бледнея,
    Страстно млея,
Как в ночной грозе лилея,
Ласкам бога предаюсь.
Где я, что со мной,— не ведаю».
    Все покрыто тьмой,
    Только над водой —
Белый Лебедь с белой Ледою.

III

И вот рождается Елена,
С невинной прелестью лица,
Но вся — коварство, вся измена,
Белее, чем морская пена,—
Из лебединого яйца.
И слышен вопль Гекубы[1] в Трое
И Андромахи[2] вечный стон,
Сразились боги и герои,
И пал священный Илион[3].
А ты, Елена, клятвы мира
И долг нарушив,— ты чиста.
Тебя прославит песнь Омира[4],
Затем, что вся надежда мира
Дочь белой Леды — Красота.

МАРК АВРЕЛИЙ

Века, разрушившие Рим,
Тебя не тронув, пролетели
Над изваянием твоим,
    Бессмертный Марк Аврелий!

В благословенной тишине
Доныне ты, как триумфатор,
Сидишь на бронзовом коне,
    Философ-император.

---

[1] Гекуба — жена царя Трои Приама и мать Гектора, отважнейшего из троянских воинов, погибшего в поединке с Ахиллом.
[2] Андромаха — жена Гектора.
[3] Илион — Троя.
[4] Омир — Гомер.

И в складках падает с плеча
Простая риза, не порфира.
И нет в руке его меча,
Он — провозвестник мира.

Невозмутим его покой,
И все в нем просто и велико.
Но веет грустью неземной
От царственного лика.

В тяжелый век он жил, как мы,
Он жил во дни борьбы мятежной,
И надвигающейся тьмы,
И грусти безнадежной.

Он знал: погибнет Рим отцов.
Но пред толпой не лицемерил.
Чем меньше верил он в богов,
Тем больше в правду верил.

Владея миром, никого
Он даже словом не обидел,
За Рим, не веря в торжество,
Он умер и предвидел,

Что Риму не воскреснуть вновь,
Но отдал все, что было в жизни, —
Свою последнюю любовь,
Последний вздох отчизне.

В душе правдивой и простой,
Навеки чуждой ослепленья,
Была не вера, а покой
Великого смиренья.

Он, исполняя долг, страдал
Без вдохновенья, без отрады,
И за добро не ожидал
И не хотел награды.

Теперь стоит он, одинок,
Под голубыми небесами
На Капитолии, как бог,
И ясными очами

Глядит на будущее, в даль:
Он сбросил дольней жизни тягость.
В лице — спокойная печаль
И неземная благость.

БУДДА

I

Он лежит под навесом пурпурного ложа
В бледно-розовом свете вечерних огней;
Молодого чела золотистая кожа
Оттеняется мраком глубоких очей.
Смотрит Будда, как девы проносятся в пляске
И вино из кувшинов серебряных льют;
Вызывающий взор — полон огненной ласки;
Ударяя в тимпан, баядеры поют.
И зовут они к радостям неги беспечной
Тех, кто молод, прекрасен, могуч и богат.
Но, как звон погребальный, как стон бесконечный,
Переливы тимпанов для Будды звучат:

«Все стремится к разрушенью —
Все миры и все века,
Словно близится к паденью
Необъятная река.
Все живое смерть погубит,
Все, что мило,— смерть возьмет.
Кто любил тебя — разлюбит,
Радость призраком мелькнет.
Нет спасенья? Слава, счастье,
И любовь, и красота —
Исчезают, как в ненастье
Яркой радуги цвета.
Дух безумно к небу рвется,
Плоть прикована к земле:
Как пчела — в сосуде, бьется
Человек в глубокой мгле!»

II

Перед ложем царя баядеры плясали;
Но для Будды звучал тот же грустный напев
В этих гимнах, что жизнь и любовь прославляли,
В тихой музыке струн, в нежном голосе дев:

«В цвете жизни, в блеске счастья
Вкруг тебя — толпы друзей.
Сколько мнимого участья,
Сколько ласковых речей!
Но дохнет лишь старость злая,
Розы юности губя,
И друзья, как волчья стая,
К новой жертве убегая,
Отшатнутся от тебя.
Ты, отверженный богами,
Будешь нищ и одинок,

Как покинутый стадами
Солнцем выжженный поток.
Словно дерево в пустыне,
Опаленное грозой,
В поздней, старческой кручине
Ты поникнешь головой.
И погрязнешь ты в заботе,
В тине мелочных обид,
Словно дряхлый слон в болоте,
Всеми брошен и забыт.
Что нам делать? Страсти, горе
Губят тысячи людей,
Как пожар — траву степей,
И печаль растет, как море!
Что нам делать? Меркнет ум,
И толпимся мы без цели —
Так испуганных газелей
Гонит огненный самум!»

III

Баядеры поют про надежды и счастье,
Но напрасны тимпаны и лютни гремят;
Как рыдающий ветер в ночное ненастье,
Песни, полные жизни, для Будды звучат:

«Близок страшный день возмездья:
Задрожит земля и твердь,
И потушит все созвездья
Торжествующая смерть.
Мир исчезнет, как зарница
В полуночных небесах;
Все, что есть, нам только снится,
Вся природа — дым и прах!
Наши радости мгновенны,
Как обманчивые сны,
Как в пучине брызги пены,
Как над морем блеск луны.
Все желания, как сети,
Как свеча для мотыльков:
Мы кидаемся, как дети,
За виденьем лживых снов.
Страсти, нега, наслажденья —
Никому и никогда
Не приносят утоленья,
Как соленая вода...
Что нам делать? Где спаситель?
Как защитника найти?
Бодизатва—Утешитель!
Пробил час,— пора идти!

В этот пламень необъятный
Мук, желаний и страстей
Ты, как ливень благодатный,
Слезы жалости пролей!..»

. . . .

ИОВ

I

..И непорочного Иова струпьями лютой проказы
Бог поразил от подошвы ноги и по самое темя.
Иов сидел далеко за оградой селенья на пепле.
Острую взял он себе черепицу скоблить свои раны.
Молвит жена ему: «Все еще тверд ты в своем благочестьи?
Встань и Творца похули, чтоб тебе умереть». Но смиренно
Иов жене отвечает: «Я доброе принял от Бога.
Должно и злое принять: да исполнится воля Господня!»
Мудрый Софар, Елифаз из Темани, Валдат из Савхеи [1]
Вместе сошлись, чтобы сетовать с ним, утешая страдальца.
Очи подняв, издали не узнали несчастного друга.
Жалобный голос возвысили, ризы свои разодрали,
Стали рыдать, неутешные, пыль над главами бросая.
С Иовом рядом семь дней и ночей просидели в молчаньи:
Слова никто не сказал, оттого, что страдание было
Слишком велико. И первый открыл он уста и промолвил:

II

Иов

Да будет проклятым навек
Тот день, как я рожден для смерти и печали,
Да будет проклятой и ночь, когда сказали:
«Зачался человек».
Теперь я плачу и тоскую:
Зачем сосал я грудь родную,
Зачем не умер я: лежал бы в тишине,
Дремал — и было бы спокойно мне.
И почивал бы я с великими царями,
С могучими владыками земли,—
Победоносными вождями,
Что войны некогда вели,
Копили золото и строили чертоги...
Я был бы там, где нет тревоги,
Где больше нет вражды земной,
Где равен малому великий,
Вкушают узники покой,

[1] ...трое друзей Иова... Елифаз Феманитянин, Вилдад Савхеянин и Сафар Наамитянин... (Книга Иова, II, 11).

И раб свободен от владыки.
На что мне жизнь, на что мне свет?
Как знойным полднем изнуренный,
Тоскуя, тени ждет работник утомленный,
Я смерти жду,— а смерти нет.
О, если б на меня простер Ты, Боже, руку
И больше страхом не томил,—
Чтоб кончить сразу жизнь и муку,
Одним ударом поразил.

Елифаз

Ужель ты праведней Отца вселенной,
Ужель на суд Его зовешь?
Зачем же с речью дерзновенной
Ты против Бога восстаешь?
Безумец тот, кто не склоняет
Во прах главы перед Творцом.
Когда и небеса нечисты пред лицом
Всевышнего, когда не доверяет
Он даже ангелам Своим,—
То как же чистым быть пред Ним
Тому, кто рвется на свободу,
В темницу плоти заключен,
Тому, кто женщиной рожден
И беззаконье пьет, как воду?

Иов

О, да, над бездной Бог грядет,
Столпы земли передвигает,
Печать на звезды налагает,
Прикажет — солнце не взойдет.
Он пронесется,— не замечу.
Захочет взять,— кто запретит?
Он спросит,— как Ему отвечу?
Накажет,— кто меня простит?
Пред взором мудрости Господней
Открыты тайны преисподней,
И херувимы, падши ниц,
Не открывая в страхе лиц,
Трепещут у Его подножья,
И полон мир Его чудес,
И все величие небес —
От дуновенья Духа Божья.
Жив мой Создатель, жив Господь,
Мой Бог, суда меня лишивший,
Мне душу скорбью омрачивший;
Его нельзя мне побороть.

Но пусть страдаю, неутешный,—
Я вашей лжи не потерплю,
И правоты моей безгрешной,
Пока я жив, не уступлю.
Голодных я кормил, я утолял печали,
Я утешал больных, для сирот был отец,
И чресла бедняков меня благословляли,
Согретые руном моих овец.
За щедрость в дни былые славил
По всей земле меня народ.
В тени вечерней у ворот
Мое седалище я ставил.
И юноши ко мне, и старцы, приходя,
В благоговении молчали
И слов моих смиренно ждали
Как благодатного дождя.
За что же ныне я в позоре,
Людьми отвергнутый, живу,
Не знаю, где в слезах и горе
Склонить бездомную главу?
В пыли, со струпьями на почернелой коже,
Сижу и думаю: меня утешит ложе.
Но Бог виденьями пугает и во сне.
И ночью холодно в разодранных одеждах,
Во мне страдает дух, и плоть болит на мне,
Тень смерти — на усталых веждах.
И все-таки я прав, я чист перед Тобой,
Не ведаю, Господь, за что терплю мученье.
Земля, ты кровь мою невинную не скрой,—
Да вопиет она о мщеньи!

Валдат

Скажи, ты видел ли, чтоб Бог вознаграждал
Людей жестоких и лукавых,
Чтоб Он поддерживал неправых
И непорочных отвергал?
О, нет,— в шатре у беззаконных
Померкнет радостный очаг,
Он восстановит угнетенных,
И будет к праведному благ,
И суд рабам своим дарует.
Но кары Божьей не минует
Творящий темные дела:
Когда в броне он бесполезной
Уйдет от палицы железной,
Настигнет медная стрела!
За грех твой скорбь вошла в обитель,
И за вину твоих детей
Рукою любящей Своей

Тебя карает Вседержитель.
Терпи, смиряйся и молчи.

Иов

Все утешения напрасны,
О, бесполезные врачи!
Шатры злодеев — безопасны,
Дома грабителей полны
Благословенной тишины.
Я знаю: правды нет, и все ж о ней тоскую,
Без правды жить я не хочу,
Лишь только вспомню,— негодую
И содрогаюсь и ропщу.
Не буду я молчать, не буду покоряться,
Невинен я,— и пусть меня накажет Бог.
О, если б с Ним я только мог,
Как равный с равным состязаться!
Но нет возмездья, нет суда.
Ужель Он праведных не любит,
И злых, и добрых вместе губит?
Зачем, о, Господи, не ведает труда
И богатеет нечестивый?
Зачем обильный плод ему приносят нивы,
И множатся в полях его стада?
Зачем преступные живут среди веселий,
Пируют, смерти не боясь?
Их дети прыгают, смеясь,
Под звук тимпана и свирели?
Господь забыл Своих рабов,
Он не поможет угнетенным.
Он не утешит бедняков,—
Он землю отдал беззаконным.
И отторгают от сосцов
Младенцев плачущих, живут под кровом неба
Нагие без одежд, голодные без хлеба.
Меж тем, как должен быть злодей
Соломинкой, Господь, в живой руке Твоей,
Былинкой, ветром уносимой,—
Он жизнь кончает невредимый.
«Его потомству Бог возмездье бережет»,—
Так кто-нибудь из вас мне скажет.
Но пусть и сам злодей от мести Божьей пьет.
Пускай Господь самих грабителей накажет,
А до детей и до грядущих бед
Им после смерти — дела нет.
Скопилось в мире слишком много
Неотомщаемых обид,—
И это видят очи Бога,
Он это терпит и молчит!

Софар

Не говори, что Бог несправедлив,
Но люди Вечного постигнуть не умеют.
Лишь сердцем мудрые, гордыню укротив,
Пред Ним благоговеют,—
Затем, что свят Его закон,
И в сонме ангелов небесных
Он страшным для очей телесных
Великолепьем окружен.
И если б отнял Он на миг Свое дыханье
И сердце обратил к Себе Господь,
Погиб бы человек и всякое созданье,
И возвратилась бы во прах живая плоть.
Ты сам избрал свою дорогу:
На бремя жизни не ропщи.
Будь добрым для себя, не угождая Богу,
И за добро свое награды не ищи.
Мы по земле пройдем, как тени.
Учись у древних мудрецов,
Учись у прошлых поколений,
У наших дедов и отцов.
А мы — вчерашние и ничего не знаем,
Во всем ничтожные — во благе и во зле,
Мы, не достигнув на земле
Ни мудрости, ни счастья,— умираем.

Иов

О, если б мог судьбой я поменяться с вами,
Не так же ли, как вы, главой бы я кивал,
Старался бы помочь в страданиях словами,
Движеньем губ вас утешал.
Но тот, чье сердце в счастьи дремлет,
Понять чужую скорбь не может никогда.
Кричу: обида! Бог не внемлет,
Я вопию,— и нет суда.
И что мы — для Него? Зачем подстерегает,
Зачем испытывает нас
Он каждый день и каждый час,
И мстит, и горечью нам душу пресыщает?
Не Ты ль образовал, скрепил костями плоть,
И жизнь не Сам ли Ты вдохнул в меня, Господь.
Не Ты ли надо мной трудился, как ваятель?
За что невинного губить?
Ужели хочешь истребить
Ты дело рук Твоих, Создатель?
И в нескончаемой борьбе
Зачем меня врагом поставил ты Себе?
Кого преследуешь? Как ураган — пылинку,

Меня похитит смерть. Я слаб и одинок.
Не гонишь ли, Господь, Ты сорванный листок,
Не сокрушаешь ли увядшую былинку?
Кто знает, доживу ль до завтрашнего дня.
Вот скоро я умру,— поищешь,— нет меня.
Уйду,— и не вернусь — в страну могильной сени,
В страну безмолвия и ужаса, и тени.
Когда могучий ствол повалит дровосек,
Еще надежда есть, что вновь зазеленеет
Полуиссохший пень и даст живой побег,
Как только брызнет дождь и сыростью повеет;
А если человек с лица земли исчез,—
Он не вернется вновь, из гроба не воспрянет,
Во прахе ляжет и не встанет
Он до скончания небес.
О, если у Тебя — могущество и благость,
Господь, что значит грех людей,
Зачем бы не простить и осуждений тягость
Не снять с души моей?
Ответь же, выслушай, Владыка, оправданье,
Иль лучше — нет, оставь, оставь меня, забудь,
Чтоб мне опомниться, перевести дыханье,
Не мучай, отступи и дай мне отдохнуть!

III

Смертному Бог отвечал несказанным глаголом из бури.
Иов лежал пред лицом Иеговы во прахе и пепле:
«Вот я ничтожен, о, Господи! Мне ли с Тобою бороться?
Руку мою на уста полагаю, умолкнув навеки».
Но против воли, меж тем как лежал он во прахе и пепле —
Ненасыщенное правдою сердце его возмущалось.
Бог возвратил ему прежнее счастье, богатство умножил.
Новые дети на празднике светлом опять пировали.
Овцы, быки и верблюды во долинах паслись безмятежных.
Умер он в старости, долгими днями вполне насыщенный,
И до колена четвертого внуков и правнуков видел.
Только в морщинах лица его вечная дума таилась,
Только и в радости взор омрачен был неведомой скорбью.
Тщетно за всех угнетенных алкала душа его правды,—
Правды Господь никому никогда на земле не откроет.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

О, Винчи, ты во всем — единый:
Ты победил старинный плен.
Какою мудростью змеиной
Твой страшный лик запечатлен!

Уже, как мы, разнообразный,
Сомненьем дерзким ты велик,
Ты в глубочайшие соблазны
Всего, что двойственно, проник.

И у тебя во мгле иконы
С улыбкой Сфинкса смотрят вдаль
Полуязыческие жены,—
И не безгрешна их печаль.

Пророк, иль демон, иль кудесник,
Загадку вечную храня,
О, Леонардо, ты — предвестник
Еще неведомого дня.

Смотрите вы, больные дети
Больных и сумрачных веков,
Во мраке будущих столетий
Он, непонятен и суров,—

Ко всем земным страстям бесстрастный,
Таким останется навек —
Богов презревший, самовластный,
Богоподобный человек.

МИКЕЛАНДЖЕЛО

Тебе навеки сердце благодарно,
С тех пор, как я, раздумием томим,
Бродил у волн мутно-зеленых Арно,

По галереям сумрачным твоим,
Флоренция! И статуи немые
За мной следили: подходил я к ним

Благоговейно. Стены вековые
Твоих дворцов объяты были сном,
А мраморные люди, как живые,

Стояли в нишах каменных кругом:
Здесь был Челлини, полный жаждой славы,
Боккачио с приветливым лицом,

Макиавелли, друг царей лукавый,
И нежная Петрарки голова,
И выходец из Ада величавый,

И тот, кого прославила молва,
Не разгадав,— да Винчи, дивной тайной
Исполненный, на древнего волхва

Похожий и во всем необычайный.
Как счастлив был, храня смущенный вид,
Я — гость меж ними, робкий и случайный.

И, попирая пыль священных плит,
Как юноша, исполненный тревоги,
На мудрого наставника глядит,—

Так я глядел на них: и были строги
Их лица бледные, и предо мной,
Великие, бесстрастные, как боги,

Они сияли вечной красотой.
Но больше всех меж древними мужами
Я возлюбил того, кто головой

Поник на грудь, подавленный мечтами,
И опытный в добре, как и во зле,
Взирал на мир усталыми очами:

Напечатлела дума на челе
Такую скорбь и отвращенье к жизни,
Каких с тех пор не видел на земле

Я никогда, и к собственной отчизне
Презренье было горькое в устах,
Подобное печальной укоризне.

И я заметил в жилистых руках,
В уродливых морщинах, в повороте
Широких плеч, в нахмуренных бровях —

Твое упорство вечное в работе,
Твой гнев, создатель Страшного Суда,
Твой беспощадный дух, Буонарроти.

И скукою бесцельного труда,
И глупостью людскою возмущенный,
Ты не вкушал покоя никогда.

Усильем тяжким воли напряженной
За миром мир ты создавал, как Бог,
Мучительными снами удрученный,

Нетерпелив, угрюм и одинок,
Но в исполинских глыбах изваяний,
Подобных бреду, ты всю жизнь не мог

Осуществить чудовищных мечтаний
И, красоту безмерную любя,
Порой не успевал кончать созданий.

Упорный камень молотом дробя,
Испытывал лишь ярость, утоленья
Не знал вовек,— и были у тебя

Отчаянью подобны вдохновенья:
Ты вечно невозможного хотел.
Являют нам могучие творенья

Страданий человеческих предел.
Одной судьбы ты понял неизбежность
Для злых и добрых: плод великих дел —

Ты чувствовал покой и безнадежность.
И проклял, падая к ногам Христа,
Земной любви обманчивую нежность,

Искусство проклял, но пока уста,
Без веры, Бога в муках призывали,—
Душа была угрюма и пуста.

И Бог не утолил твоей печали,
И от людей спасенья ты не ждал:
Уста навек с презреньем замолчали.

Ты больше не молился, не роптал,
Ожесточен в страданьи одиноком,
Ты, ни во что не веря, погибал;

И вот стоишь, непобедимый роком,
Ты предо мной, склоняя гордый лик,
В отчаяньи спокойном и глубоком,

Как демон безобразен — и велик.

ФРАНЧЕСКА РИМИНИ

Порой чета голубок над полями
Меж черных туч мелькнет перед грозою,
Во мгле сияя белыми крылами;

Так в царстве вечной тьмы передо мною
Сверкнули две обнявшиеся тени,
Озарены печальной красотою.

И в их чертах был прежний след мучений,
И в их очах был прежний страх разлуки,
И в грации медлительных движений,

В том, как они друг другу жали руки,
Лицом к лицу поникнув с грустью нежной,
Былой любви высказывались муки.

И волновалась грудь моя мятежно,
И я спросил их, тронутый участьем,
О чем они тоскуют безнадежно.

И был ответ: «С жестоким самовластьем
Любовь, одна любовь нас погубила,
Не дав упиться мимолетным счастьем;

Но смерть — ничто, ничто для нас — могила,
И нам не жаль потерянного рая,
И муки в рай любовь преобразила.

Завидуют нам ангелы, взирая
С лазури в темный ад на наши слезы,
И плачут втайне, без любви скучая.

О, пусть Творец нам шлет свои угрозы,
Все эти муки — слаще поцелуя,
Все угли ада искрятся, как розы!»

«Но где и как,— страдальцам говорю я,—
Впервый меж вами пламень страстной жажды
Преграды сверг, на цепи негодуя?»

И был ответ: «Читали мы однажды
Наедине о страсти Ланчелотта[1],
Но о своей лишь страсти думал каждый.

Я помню книгу, бархат переплета,
Я даже помню, как в заре румяной
Заглавных букв мерцала позолота.

Открыты были окна, и туманный,
Нагретый воздух в комнату струился;
Ронял цветы жасмин благоуханный.

И мы прочли, как Ланчелотт склонился
И, поцелуем скрыв улыбку милой,
Уста к устам, в руках ее забылся.

---

[1] Ланселот Озерный — герой романа Кретьена де Труа (2-я пол. XII в.) «Ланселот или Рыцарь Телеги» — один из рыцарей Круглого Стола, влюбленный в королеву Геньевру, жену короля Артура.

Увы! нас это место погубило,
И в этот день мы больше не читали.
Но сколько счастья солнце озарило!..»

И тень умолкла, полная печали.

УГОЛИНО[1]

(Легенда из Данте)

В последнем круге ада перед нами
Во мгле поверхность озера блистала
Под ледяными твердыми слоями.

На эти льды безвредно бы упала,
Как пух, громада каменной вершины,
Не раздробив их вечного кристалла.

И как лягушки, вынырнув из тины,
Среди болот виднеются порою,—
Так в озере той сумрачной долины

Бесчисленные грешники толпою,
Согнувшиеся, голые сидели
Под ледяной, прозрачною корою.

От холода их губы посинели,
И слезы на ланитах замерзали,
И не было кровинки в бледном теле.

Их мутный взор поник в такой печали,
Что мысль моя от страха цепенеет,
Когда я вспомню, как они дрожали,—

И солнца луч с тех пор меня не греет.
И вот земная ось уж недалеко:
Скользит нога, в лицо мне стужей веет...

---

[1] Уголино делла Герардеска, граф Донаротико, вождь гвельфов (сторонников римских пап и защитников интересов народа) Пизы. В 1288 г. пизанские гвельфы потерпели поражение от гибеллинов (сторонников императоров и аристократии) во главе с архиепископом Пизы Руджери дельи Убальдини. Уголино убил его племянника и был заключен в башне, ключи от которого бросили в Арно. Эту историю Уголино рассказывает Данте в «Божественной комедии» («Ад», песнь тридцать третья).

Тогда увидел я во мгле глубоко
Двух грешников: безумьем пораженный,
Один схватил другого и жестоко

Впился зубами в череп раздробленный,
И грыз его, и вытекал струями
Из черной раны мозг окровавленный.

И я спросил дрожащими устами,
Кого он пожирает. Подымая
Свой обагренный лик и волосами

Несчастной жертвы губы вытирая,
Он отвечал: «Я призрак Уголино,
А эта тень — Руджьер; земля родная

Злодея прокляла... Он был причиной
Всех мук моих: он заточил в оковы
Меня с детьми, гонимого судьбиной.

Тюремный свод давил, как гроб свинцовый;
Сквозь щель его не раз на тверди ясной
Я видел, как рождался месяц новый —

Когда тот сон приснился мне ужасный:
Собаки волка старого травили;
Руджьер их плетью гнал, и зверь несчастный

С толпой волчат своих по серой пыли
Влачил кровавый след, и он свалился,
И гончие клыки в него вонзили.

Услышав плач детей, я пробудился:
Во сне, полны предчувственной тоскою,
Они молили хлеба, и теснился

Мне в грудь невольный ужас пред бедою.
Ужель в тебе нет искры сожаленья?
О, если ты не плачешь надо мною,

Над чем же плачешь ты!.. Среди томленья
Тот час, когда нам пищу приносили,
Давно прошел; ни звука, ни движенья...

В немых стенах — все тихо, как в могиле.
Вдруг тяжкий молот грянул за дверями...
Я понял все: то вход тюрьмы забили.

И пристально безумными очами
Взглянул я на детей, передо мною
Они рыдали тихими слезами.

Но я молчал, поникнув головою;
Мой Анзельмуччио мне с лаской милой
Шептал: «О, как ты смотришь, что с тобою?»

Но я молчал, и мне так тяжко было,
Что я не мог ни плакать, ни молиться,
Так первый день прошел, и наступило

Второе утро: кроткая денница
Блеснула вновь, и в трепетном мерцаньи
Узнав их бледные, худые лица,

Я руки грыз, чтоб заглушить страданье.
Но дети кинулись ко мне, рыдая,
И я затих. Мы провели в молчаньи

Еще два дня... Земля, земля немая,
О, для чего ты нас не поглотила!..
К ногам моим упал, ослабевая,

Мой бедный Гаддо, простонав уныло:
«Отец, о, где ты, сжалься надо мною!..»
И смерть его мученья прекратила.

Как сын за сыном падал чередою,
Я видел сам своими же очами,
И вот один, один под вечной мглою

Над мертвыми, холодными телами —
Я звал детей; потом в изнеможеньи
Я ощупью, бессильными руками,

Когда в глазах уже померкло зренье,
Искал их трупов, ужасом томимый,
Но голод, голод победил мученье!..»

И он умолк, и вновь, неутомимый,
Схватил зубами череп в дикой злости
И грыз его, палач неумолимый:

Так алчный пес грызет и гложет кости.

ДОН КИХОТ

Шлем — надтреснутое блюдо,
Щит — картонный, панцирь жалкий...
В стременах висят, качаясь,
Ноги тощие, как палки.

Для него хромая кляча —
Конь могучий Росинанта,
Эти мельничные крылья —
Руки мощного гиганта.

Видит он в таверне грязной
Роскошь царского чертога.
Слышит в дудке свинопаса
Звук серебряного рога.

Санхо Панца едет рядом;
Гордый вид его серьезен:
Как прилично копьеносцу,
Он величествен и грозен.

В красной юбке, в пятнах дегтя,
Там, над кучами навоза,—
Эта царственная дама —
Дульцинея де Тобозо...

Страстно, с юношеским жаром,
Он толпе крестьян голодных,
Вместо хлеба, рассыпает
Перлы мыслей благородных:

«Люди добрые, ликуйте,—
Наступает праздник вечный:
Мир не солнцем озарится,
А любовью бесконечной...

Будут все равны; друг друга
Перестанут ненавидеть;
Ни алькады, ни бароны
Не посмеют вас обидеть.

Пойте, братья, гимн победный!
Этот меч несет свободу,
Справедливость и возмездье
Угнетенному народу!»

Из приходской школы дети
Выбегают, бросив книжки,

И хохочут, и кидают
Грязью в рыцаря мальчишки.

Аплодируя, как зритель,
Жирный лавочник смеется;
На крыльце своем трактирщик
Весь от хохота трясется.

И почтенный патер смотрит,
Изумлением объятый,
И громит безумье века
Он латинскою цитатой.

Из окна глядит цирюльник,
Он прервал свою работу,
И с восторгом машет бритвой,
И кричит он Дон Кихоту:

«Благороднейший из смертных,
Я желаю вам успеха!..»
И не в силах кончить слова,
Задыхается от смеха.

Он не чувствует, не видит
Ни насмешек, ни презренья:
Кроткий лик его — так светел,
Очи — полны вдохновенья.

Он смешон; но столько детской
Доброты в улыбке нежной,
И в лице худом и бледном
Столько веры безмятежной.

И любовь, и вера святы,
Этой верою согреты
Все великие безумцы,
Все пророки и поэты.

РАССЛАБЛЕННЫЙ

(*Легенда*)

Схоластик некий, именем Евлогий,
Подвинутый любовью, мир презрел
И в монастырь ушел, раздав именье,
Но, ремесла не ведая, меж братий
В бездействии невольном пребывал.

Однажды он расслабленного встретил,
Лежавшего на улице, без рук,
Без ног: молил он гласом лишь и взором
О помощи. Евлогий же сказал:
«Возьму к себе расслабленного, буду
Любить его, покоить до конца,
И так спасусь. Терпенья дай, о, Боже,
Мне, грешному, чтоб брату послужить!»
Он, приступив к расслабленному, молвил:
«Не хочешь ли, возьму тебя к себе
И твой недуг и старость упокою?»—
«Ей, Господи!»— расслабленный в ответ.
Тогда Евлогий: «Приведу осла,
Чтоб отвезти тебя в мою обитель».
И с радостью великой ожидал
Его бедняк. Привел осла Евлогий,
Больного взял, отвез к себе домой
И стал о нем заботиться, и пробыл
Пятнадцать лет расслабленный в дому
Евлогия, и тот его покоил,
Служил ему, как дряхлому отцу,
Кормил его, как малого ребенка,
На собственных руках его носил.

Но дьявол стал завидовать обоим:
Хотел он мзды Евлогия лишить.
И, развратив расслабленного, ярость
Вдохнул в него, и начал тот во гневе
Евлогия хулить: «Ты — беглый раб,
Похитивший именье господина!
Ты чрез меня спасаешься, ты принял
Калеку в дом, чтоб назвали тебя
И праведным, и милосердным люди!..»
Но с кротостью ответствовал Евлогий:
«Не будь ко мне несправедливым, брат,
И лучше ты скажи, какое зло
Я сотворил тебе,— и я покаюсь».
Но возопил калека: «Не хочу
Любви твоей! Неси меня из дома,
На улице повергни! Не хочу
Ни ласк твоих, ни твоего покоя!»
Евлогий же: «Молю тебя, утешься!»
Но в ярости расслабленный кричал:
«Мне скучно здесь, противна эта жизнь!
И не терплю я твоего лукавства...
Дай мяса мне!.. Я мясо есть хочу!..»
Тогда принес ему Евлогий мяса.
«Один с тобою быть я не могу:
Хочу живых людей, хочу народа!»—
«Я много братий приведу тебе...»—

«О, горе мне,— больной ему в ответ,—
О, горе, окаянному! Противно
И на твое лицо смотреть: ужель
Еще толпу таких же праздноядцев
Ты приведешь ко мне?..» И разъярился,
И голосом он диким возопил:
«Нет, не хочу я, не хочу! Повергни
Опять меня туда, откуда взял:
На улицу хочу я, на распутье!
Там — пыль и солнце, пролетают птицы,
И по камням грохочут колесницы.
Там ветер пахнет морем, и вдали
Крылатые белеют корабли...
Мне скучно здесь, где лишь лампады, тлея,
Коптят немые лики образов,
Где — ладана лишь запах; да елея,
И душный мрак, и звон колоколов...
О, если б были руки,— удавился
Иль заколол бы я себя ножом!..»

В смятении пошел Евлогий к братьям.
«Что делать мне?»— он старцев вопросил.
Они его к Антонию послали.
И на корабль он посадил больного,
И выехал, и прибыл к той земле,
Где жил Антоний, схимник, и с калекой
Пришел к нему Евлогий и сказал:
«Пятнадцать лет больному я служил,—
Он за любовь меня возненавидел.
И я спросить пришел к твоей святыне,
Что сотворю я с ним?» Тогда в ответ
Проговорил Антоний гласом тяжким
И яростным: «Евлогий, если ты
Отвергнешь брата,— помни, что Спаситель
Бездомного вовеки не отвергнет:
Его в раю высоко над тобой
Он вознесет». Евлогий ужаснулся;
Антоний же — расслабленному: «Раб,
Земли и неба недостойный, ты ли
Дерзнул хулу на Господа изречь?..
Так помни же, что Сам тебе Спаситель
Во образе Евлогия служил!»
Потом он стал учить обоих: «Дети,
Не разлучайтесь друг от друга,— нет:
От сатаны пришло вам искушенье.
Идите с миром, отложив печаль.
Я ведаю, что при конце вы оба,
Что близко смерть: вы у Христа венцов
Заслужите, ты — им, и он — тобою.

Но если б Ангел Смерти прилетел
И на земле вас не нашел бы вместе,—
То лишены вы были бы венцов.
Так те, кто любят,— мученики оба,
Прикованы друг к другу навсегда:
И большего нет подвига пред Богом,
Нет в мире большей казни, чем любовь!»

ХРИСТОС, АНГЕЛЫ И ДУША

(Мистерия XIII века)

I

Ангелы

Как нищий с сумкой бедной,
Куда идешь, Христос,
Ты, горестный и бледный,
Один в юдоли слез?

Христос

Иду я в мир унылый
К возлюбленной моей,
Назвав невестой милой,
Я сердце отдал ей.
Она Меня любила,
Но, клятвы не храня,
Невеста изменила,
Покинула Меня.
И все о ней тоскую,
И все ее люблю,
Люблю Я дщерь земную
Избранницу Мою.
Я дал ей дух свободный,
Ее одну любя,
Я сделал благородной,
Похожей на Себя.
Я дал ей плоть в рабыни
И волю для борьбы,
Она же стала ныне
Рабой своей рабы.
Она — во власти тела
И, Господа забыв,
Дары Мои презрела,
Отвергла Мой призыв.

Ангелы

Но той, кто всех дороже,
Кого Ты так любил,
Сказать ли нам, о, Боже,
Что Ты ее простил?

Христос

Скорей несите вести
Возлюбленной Моей,
Что Я простил невесте,
Что Я грущу о ней!
Зачем же длить разлуку?
Скажите, чтоб пришла,
Чтоб милого на муку,
На смерть не обрекла.
И брачные одежды
Я возвращу ей вновь,
И все Мои надежды,
И всю Мою любовь!

II

Ангелы

Душа в оковах тела
И смерти, и греха,
Ты Господа презрела,
Отвергла Жениха.
Поднять не смеешь вежды,
Не можешь встать с земли.
Разорваны одежды,
Чело твое — в пыли.

Душа

Изгнанницею рая
Живу я во грехе,
Скорбя и вспоминая
О милом Женихе,
И тщетно, умирая
В пороке и во зле,
Покинутого рая
Ищу я на земле.

Ангелы

Омой слезами очи,
С надеждой подымись,

Скорей из мрака ночи
Ты к Господу вернись.
Тебя он примет снова,
Забудь печаль и страх,
Не скажет Он ни слова,
Не вспомнит о грехах.

Душа

О, где же Он?.. Далеко
От Бога моего,
Я плачу одиноко,
Умру я без Него...
Скажите мне, скажите,
Видал ли кто-нибудь,
Где Милый, укажите
К Возлюбленному путь!

Ангелы

Мы видели: распятый,
Один на высоте
Голгофы, тьмой объятой,
Страдал Он на кресте.
В тоске изнемогая,
Но все еще любя,
Спаситель, умирая,
Молился за тебя...

Душа

Я плакать буду вечно.
За мир Он пролил кровь,
Любил так бесконечно,
И умер за любовь!..
В любви — какая сила!..
Любовь, о, для чего,
Безумная, убила
Ты Бога моего?

ПРОТОПОП АВВАКУМ

I

Горе вам, Никониане! вы глумитесь над Христом,—
Утверждаете вы церковь пыткой, плахой да кнутом!

Но Господь за угнетенных в гневе праведном восстал,
И прольется над землею Божьей ярости фиал.

Нашу светлую Россию отдал дьяволу Господь:
Пусть же выкупят отчизну наши кости, кровь и плоть.

Укрепи меня, о, Боже, на великую борьбу,
И пошли мне мощь Самсона, недостойному рабу...

Как в пустыне вопиющий, я на торжищах взывал
И в палатах, и в лачугах сильных мира обличал.

Помню, помню дни гоненья: вот в цепях меня ведут
К нечестивому синклиту, как разбойника, на суд.

Сорок мудрых иереев издевались надо мной.
И разжегся дух мой гневом — поднял крест я над главой

И в лицо злодеям плюнул, и, как зайцы по кустам,
Все антихристово войско разбежалось по углам.

«Будьте прокляты! — я крикнул, — вам позор из рода в род:
Задушили правду Божью, погубили вы народ!»

Но стрельцов они позвали, ополчились на меня.
Речи полны дикой брани, очи — лютого огня.

И как волки обступили, кулаками мне грозят:
«Еретик нас обесчестил, на костер его!»— кричат.

То не бесы мчатся с криком чрез болото и пустырь,—
Чернецы везут расстригу Аввакума в монастырь.

Привезли меня в Андроньев,— тут и бросили в тюрьму,
Как скотину, без соломы — прямо в холод, смрад и тьму.

Там, глубоко под землею, в этой сумрачной норе
Думал с завистью я, грешный, о собачьей конуре.

II

Я три дня лежал без пищи,— наступал четвертый день...
Был то сон, или виденье,— я не ведаю... Сквозь тень —

Вижу, двери отворились, и волною хлынул свет,
Кто-то чудный мне явился, в ризы белые одет.

Он принес коврижку хлеба, он мне дал немного щец:
«На, Петрович, ешь, родимый!» и любовно, как отец,

Смотрит в очи, тихо пальцы он кладет мне на чело,
И руки прикосновенье братски-нежно и тепло.

И счастливый, и дрожащий, я припал к его ногам,
И края святой одежды прижимал к моим устам.

И шептал я, как безумный: «Дай мне муки претерпеть,
Свет-Христос, родной, желанный,— за Тебя бы умереть!..»

III

Это было на Устюге: раз — я помню — ввечеру
Старца божьего Кирилла привели мне в конуру.

С ним в тюрьме я прожил месяц; был он праведник душой,
Но безумным притворялся, полон ревности святой.

Все-то пляшет и смеется, все вполголоса поет,
И качаясь, вместо бубнов, кандалами мерно бьет;

День юродствует, а ночью на молитве он стоит,
И горячими слезами цепи мученик кропит.

Я любил его; он тяжким был недугом одержим
Бедный друг! Как за ребенком, я ухаживал за ним.

Он страдать умел так кротко: весь в жару изнемогал,
Но с пылающего тела власяницы не снимал.

Я печальный голос брата до сих пор забыть не мог:
«Дай мне пить!»— бывало скажет; взор — так нежен и глубок.

На руках моих он умер; безмятежно и светло,
Как у спящего младенца, было мертвое чело.

И покойника, прощаясь, я в уста поцеловал:
Спи, Кириллушка, сердечный, спи,— ты много пострадал.

Над твоей могилой тихой херувимы сторожат;
Спи же, друг, легко и сладко, отдохни, усталый брат!

IV

В конуре моей подземной я покинут был опять
Целым миром. Даже время перестал я различать.

Поглупел совсем от горя: день и ночь в углу сидишь,
Да замерзшими ногами в землю до крови стучишь.

Если ж солнце в щель заглянет и блеснет на кирпиче,
И закружатся пылинки в золотом его луче,—

Я смотрел, как паутина сеткой радужной горит,
И паук летунью-мошку терпеливо сторожит.

На заре я слушал часто, ухо к щели приложив,
Как в лазури крик касаток беззаботен и счастлив.

Сердцу воля вспоминалась, шум деревьев, небеса,
И далекая деревня, и родимые леса.

V

Из Москвы велят указом, чтоб на самый край земли
Аввакума протопопа в ссылку вечную везли.

Десять тысяч верст в Сибири, в тундрах, дебрях и лесах
Волочился я на дровнях, на телегах и плотах.

Помню — Пашков на Байкале раз призвал меня к себе;
Окруженный казаками, он сидел в своей избе.

Как у белого медведя, взор пылал; суровый лик,
Обрамлен седою гривой, налит кровью был и дик.

Грозно крикнул воевода: «Покорись мне, протопоп!
Брось ты дьявольскую веру, а не то — вгоню во гроб!»

«Человек, побойся Бога, Вседержителя-Творца!
Я страдал уже не мало — пострадаю до конца!»

«Эй, ребята, начинайте!»— закричал он гайдукам.
Повалили и связали по рукам и по ногам.

Свистнул кнут...— Окровавленный, полумертвый я твержу:
«Помоги, Господь!» — а Пашков: «Отрекайся — пощажу».

Нет, Исусе, Сыне Божий, лучше — думаю — не жить,
Чем злодея перед смертью о пощаде мне просить.

Все исчезло... и казалось, что я умер... чей-то вздох
Мне послышался, и кто-то молвил: «Кончено,— издох!»

VI

Я в дощанике очнулся... Тишь и мрак... Лежу на дне,
Хлещет мокрый снег да ливень по израненной спине.

Тянет жилы, кости ноют... Тяжко! страх меня объял;
Обезумев от страданий, я на Бога возроптал:

«Горько мне, Отец небесный, я молиться не могу:
Ты забыл меня, покинул, предал лютому врагу!

Где найти мне суд и правду? Чем Христа я прогневил,
И за что, за что я гибну?..»— Так я, грешный, говорил.

Вдруг на небе как-то чудно просветлело, и порой
Словно ангельское пенье проносилось над землей...

Веют крылья серафимов, и кадильницы звенят,
Сквозь холодный дождь и вьюгу дышит теплый аромат.

Ты, Исусе мой сладчайший, муки в счастье превратил,
Пристыдил меня любовью, окаянного простил!

И светло в душе, и тихо: темной ночью, под дождем,
Как дитя в спокойной люльке,— я в дощанике моем.

Хорошо мне, и не знаю — в небесах, или во мне —
Словно ангельское пенье раздается в тишине.

VII

По скалам — орел да кречет, в мраке девственных лесов —
Чернобурая лисица, стаи диких кабанов.

Там и стерлядь, и осетры ходят густо под водой,
Таймень жирная сверкает серебристой чешуей.

Все там есть, но все чужое,— люди, вера... И тоской
Ноет сердце, вспоминая об отчизне дорогой.

Повстречали мы однажды у Байкальских берегов
Соболиную станицу наших русских земляков.

Это край счастливый. Горы там уходят в небеса,
Их подножья осенили кедров темные леса.

Там, посеянные Богом, разрослись в тиши долин
Сладкий лук, чеснок и мята, и душистый розмарин.

Плачут миленькие, смотрят, не насмотрятся на нас,
Обнимают и жалеют, подхватили мой карбас,

И хлопочут, и смеются: каждый жизнь отдать готов;
Привезли мне на телеге сорок свежих осетров.

Вместе кашу заварили, пели песни за костром;
На чужбине Русь святую поминали мы добром.

В эту ночь, с улыбкой тихой, очи скорбные смежив,
Засыпали мы под шорох золотых, родимых нив.

VIII

Ты один, Владыка, знаешь, сколько мук я перенес:
Хлеб не сладок был от горя, и вода — горька от слез.

На Шаманских водопадах, на Тунгуске я тонул,
Замерзал в сугробах, лямку с бурлаками я тянул.

Без приюта, без одежды насыщался я порой
То поганою кониной, то сосновою корой.—

Пять недель мы шли по Нерчи, пять недель — все голый лед.
Деток с рухлядью в обозе лошаденка чуть везет.

Мы с женою вслед за ними, убиваючись, идем;
Скользко, ноги еле держат. Полумертвые бредем.

Протопопица, бывало, поскользнется, упадет.
На нее мужик усталый из обоза набредет,

Тоже валится, и оба на снегу они лежат,
И барахтаются в шубах, встать не могут и кричат.

«Задавил меня ты, батько!»—«Государыня, прости!»
Что тут делать,— смех и горе! я спешу к ним подойти,

И бранит меня с улыбкой, и бредет она опять:
«Протопоп ты горемычный, долго ль нам еще страдать?»

«Видно, Марковна, до смерти!» Тихо, с ласковым лицом:
«Что ж, Петрович,— отвечает,— с Богом дальше побредем!»

На санях у нас, в обозе, помню, курочка была;
Два яйца для наших деток каждый день она несла.

Чудо-птица! и за деньги нам такой бы не найти.
Жалко, бедную в обозе раздавили на пути.

До сих пор об ней я помню: я привык ее ласкать;
Мы крупу в котле семейном позволяли ей клевать:

Божья тварь! Создатель любит всех животных, как людей;
Он не брезгает, Пречистый, и последним из зверей,

Он из рук Своих питает все, что дышит и живет,
Он и птицу пожалеет, и былинку сбережет.

IX

Собрались мы плыть на лодках; кормчий парус подымал;
Из тайги в ту пору беглый к нам бродяга забежал.

Он, дрожа и задыхаясь, пал на землю предо мной
И глядел мне прямо в очи с боязливою мольбой:

«Я скитался диким зверем тридцать дней в глуши лесов,
Сжалься, батюшка, не выдай, скрой от лютых казаков!..»

Вижу — лоб с клеймом позорным, обруч сломанных цепей,
Но прощенья страшно молит взор испуганных очей.

Плачет, ноги мне целует, окровавленный, в пыли:
До чего созданье Божье, человека, довели!..

Я забыл, что он преступник, я хотел его поднять.
И как брату, кто б он ни был, слово доброе сказать.

Но жена меня торопит: «Спрячем бедного скорей!..»
И голубка отвернулась,— льются слезы из очей.

Скрыл я миленького в лодке, да подушек навалил;
Протопопицу и деток на постелю положил.

Казаки к нам скачут вихрем и с пищалями в руках,
Как затравленного зверя, ищут беглого в кустах.

И кричат нам: «Где бродяга?— уж не спрятан ли у вас?»—
«Никого мы не видали,— обыщите наш карбас!»

Ищут, роют, но с постели бедной Марковны моей
Не согнали: «Спи, родная, не тревожься!»— молвят ей,—

«Вдоволь мук ты натерпелась!»— Так его и не нашли.
Обманул я их, сердечных. Делать нечего — ушли.

Пусть же Бог меня накажет: как мне было не солгать?
Согрешил я против воли: я не мог его предать.

X

Вижу — меркнет Божья вера, тьма полночная растет,
Вижу — льется кровь невинных, брат на брата восстает.

Что же делать мне? Бороться и неправду обличать,
Иль, скрываясь от гонений, покориться и молчать?

Жаль мне Марковны и деток, жаль мне светиков моих:
Как их бросить без защиты; горько, страшно мне за них!

И сидел в немом раздумьи я, поникнув головой.
Но жена ко мне подходит, тихо молвит: «Что с тобой?

Отчего ты так кручинен?»—«Дорогая, жаль мне вас!
Чует сердце: я погибну, близок мой последний час.

На кого тебя оставлю?..» С нежной ласкою в очах —
«Что ты, Бог с тобой, Петрович,— молвит,— там, на небесах

Есть у нас Ходатай вечный, ты же — бренный человек.
Он — Заступник вдов и сирот, не покинет нас вовек.

Будь же весел и спокоен, нас в молитвах поминай
Еретическую блудню пред народом обличай.

Встань, родимый, что тут думать, встань, поди скорей во храм,
Проповедуй слово Божье!»...

XI

Смерть пришла... Сегодня утром пред народом поведут
На костер меня, расстригу, и с проклятьями сожгут.

Но звучит мне чей-то голос, и зовет он в тишине:
«Аввакумушка мой бедный, ты устал, приди ко Мне!»

Дай мне, Боже, хоть последний уголок в святом раю,
Только б видеть милых деток, видеть Марковну мою.

Потрудился я для правды, не берег последних сил:
Тридцать лет, Никониане, я жестоко вас бранил.

Если чем-нибудь обидел,— вы простите дураку:
Ведь и мне пришлось не мало натерпеться, старику...

Вы простите, не сердитесь,— все мы братья о Христе,
И за всех нас, злых и добрых, умирал Он на Кресте.

Так возлюбим же друг друга,— вот последний мой завет.
Все в любви,— закон и вера... Выше заповеди нет.

ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Это было в Средние Века.
На высотах Умбрии лесистой,
Где смолою пахнет воздух чистый,
И в затишьи сонном городка
Только ласточки поют в карнизе
Вековых бойниц, поросших мхом,—
Бернадоне Пьетро жил в Ассизи.
Торговал он шелком и сукном.
У него был сын. Веселый, нежный,
В темной лавке старого купца
Мальчик рос, мечтательный, небрежный
К деньгам, счетам строгого отца.
Он не мог понять его заботы
О товарах, ценах, и в тоске
Все следил, как Пьетро сводит счеты
С важным видом мелом на доске.
Скучно! Он глядит из-за прилавка,
Улыбаясь, в глубину небес...
Поскорей бы за город, и в лес,
На поля, где зеленеет травка!..
Иногда про сына своего
Думал Пьетро хитрый, скопидомный:
«Мой Франческо — мальчик добрый, скромный,
Но купца не выйдет из него:
Слишком нежен, слишком ручки белы;
Все б ему наряды и духи.
Все б ему романы да новеллы,
И стихи, проклятые стихи!
Ох, уж эти мне поэты — манят
Грезы славы. Признавался сам,
Что однажды, глупой рифмой занят,
Он едва не продал господам
Из Кремоны мне в убыток полку
Лучших свитков голубого шелку.
Надо меры строгие принять!»
И на сына Пьетро негодует.
А меж тем его, как прежде, мать,
Потихоньку от отца, балует.
Мальчик вырос; деньгам не узнал
Он цены: чтоб только видеть вечно
Радостные лица, он бросал
Золото пригоршнями беспечно.

Он любил веселье, жизнь, людей
И родную зелень сосен, воду,
Пиршеств шумную свободу.
За столом, когда в кругу гостей
Он смеялся и шутил бывало —
В шутках что-то детское звучало
И такое милое, что всех
Побеждал невольно этот смех.

II

По лугам, росистым, полным мира,
Шли друзья однажды утром с пира.
Вдруг они Франциска у Креста
В брошенной часовне увидали,
Бледного, поникшего в печали.
Он у ног распятого Христа
Горько плакал. В праздничной одежде
В дни веселья, роскоши и нег
Никогда таким он не был прежде;
Перед ними — новый человек.
«Что с тобой, о чем ты плачешь?» — «Братья,
Плачу я о Господе моем!..
Бедный!.. Посмотрите на Распятье,
Он страдает!.. Слез моих о Нем
Не стыжусь, пред целым миром всюду
О Христе я громко плакать буду!..»
И обняв подножие Креста,
Он припал к нему еще любовней:
В это утро, в брошенной часовне
Понял он страдания Христа.

III

Собиралось в лавке у Франциска
Много знатных рыцарей и дам.
Шляпу сняв, он кланялся им низко.
«Есть обновки, заходите к нам!»
И встречал их ласково у двери.
Подражая ловкому купцу,
Он развертывал куски материй,
Говорил: «Вот это вам к лицу!»
Своему усердью сам не верил,
Думал об итогах барыша,
Торговался, ткань аршином мерил,
И волною мягкою шурша,
Падал желтый шелк под блеском солнца.
Дамы деньги вынули. В луче
Заиграло золото червонца.

У одной был сокол на плече.
Пахло тонкими духами. Метки
Их остроты, легок разговор;
И ласкаются у ног синьор
С острой мордой белые левретки.
Но Франциск на улицу взглянул:
Там, под знойным солнцем, у порога
Робко нищий руку протянул
И сказал: «Подайте, ради Бога!» —
«Бог подаст»,— рукой он сделал знак,
Но как только отошел бедняк,
Сердце сжалось от стыда и боли.
«Что я сделал!» — бледный, он умолк,
И не в силах притворяться доле,
Он за полцены им отдал шелк.
И потом он днем и ночью видел
Бедняка молящий, кроткий взор,
И скорбел, и золото с тех пор
Он еще сильней возненавидел.

IV

Для отца он сделать все готов;
Взял из лавки сукон разноцветных
И товар навьючил на ослов.
Мимо бедных сел, долин приветных,
Сосен, виноградников и скал
Он ослов на ярмарку погнал.
Смотрит важно, говорит он с весом,
На базар торопится купец,
И тюки, как опытный делец,
Разложил на рынке под навесом.
Он в делах выказывает жар,
Сердится и спорит. Весь товар
Продан выгодно. Но от заботы
Он всю ночь в гостинице не спал.
В голове — итоги, цифры, счеты...
Утром возвращается домой.
Он ушел бы в лес дышать прохладой,
И смотреть, как блещет мох росой.
Но в лесу ограбить могут: надо
Торопиться. В страхе и тоске
Щупает он деньги в кошельке...
Он бы лег в траву под эти клены,
Чтоб над ним был листьев свод зеленый,—
Только страшно деньги потерять,
И едва лишь вспомнил их — опять
Все померкло...

Нищие толпою
За вожатаем идут. У них
Лица неподвижны, словно тьмою
Взор подернут. Он узнал слепых
И смутился, и скорбел душою,—
Совести почувствовав упрек:
«Нет ли медных денег?» — в кошелек
Руку опустил, червонец вынул,
Думал спрятать вновь — и нищим кинул.
Вот второй и третий, и дождем
Сыплются монеты золотые.
Он кидает с радостным лицом.
Спор и драку подняли слепые.
Отдал все Франциск, и у него
Вместе с деньгами с души усталой
Словно бремя тяжкое спадало,
И в улыбке доброй — торжество.
Едет дальше: каждая былинка,
Небо, птицы, резвый мотылек,
И смолы янтарная слезинка
На сосне, и трепетный цветок,
Полны радости великой, снова
Встретили Франциска, как родного.
Он с доверьем смотрит в небеса,
Господу поет хвалу простую.
И долины, горы и леса
Повторяют песнь его святую.

V

«Где червонцы? Где мои товары?..
Нищим роздал, нищим сто монет!..
Так не сын же ты мне больше, нет!..
Будь ты проклят!..» — Бернадоне старый
Палку в ярости схватил: «Ты вор,
Изверг, роду нашему позор!»
Истощив угрозы и упреки,
Подал в суд отец его жестокий.
Но Франциск, когда его зовут
К городским старейшинам на суд,
Отвечает, кроткий и спокойный:
«Я пред Богом грешник недостойный...
Вы простите мне, но признаю
Одного я в мире Судию.
Над людьми поставлен Он от века,
И во всем я дам Ему ответ:
Человек не судит человека,
Между мной и Богом судей нет!»

VI

И его к епископу призвали.
Долго с жаром говорил отец
И не мог утешиться в печали
О своих червонцах. Наконец
Он умолк; тогда Франциск смиренный,
Перстень сняв, пред стариком кладет:
«Это матери подарок. Вот —
Долг мой отдан: камень драгоценный
Стоит больше денег, взятых мной!»
Так Франциск, исполненный надежды,
Обручился с бедностью святой:
Снял с себя он обувь и одежды,
Положил на землю пред отцом
И воскликнул с радостным лицом:
«Все земное, все, что я имею,—
Даже ризу прежнюю мою
Я отцу земному отдаю.
Больше здесь ничем я не владею!
Одного хочу любить Христа,
Одному хочу служить я Богу:
Я избрал тернистую дорогу,—
И теперь душа моя чиста,
И мечты мои свободней ветра!
Я могу воскликнуть наконец:
Не отец мой — Бернадоне Пьетро,
А Господь — Небесный мой Отец!
Будьте же свидетелями, братья,
Я хочу быть бедным, и таким
Как родился — слабым и нагим —
Кинуться Спасителю в объятья!»

VII

У него ни палки, ни мешка.
Опоясанный веревкой, нищий,
Он в одежде грубой мужика
Просит именем Христовым пищи.
По глухим селеньям, городам,
По большим дорогам и полям
Ходит, проповедуя народу:
«Вы найдете в бедности свободу:
Прежде ваших просьб Создатель сам
Знает, братья, все, что нужно вам.
Для чего ж печетесь вы без меры
Об едином хлебе, маловеры?
Вы не лучше ль лилий полевых?
А меж тем не ткут они, не сеют,

Но цари одеться не умеют,
Как одета каждая из них [1].
В Божьем мире — людям места много.
Что ж вы спорите — «мое», «твое»?
Не тому учил Спаситель: все,
Что прекрасно, нам дано от Бога.
Не одна ли общая земля,
Как один небесный свод над нами?
Для чего ж вы делите межами
Го́спода цветущие поля?
Кто же в тени путнику откажет,
На чужую ниву не прикажет
Падать росам, кто про золотой
Солнца луч дерзнет сказать: «Он мой»?
У тебя Создатель твой на лозах
Наливные гроздья позлатил,
У тебя Он в благодатных грозах
Твой поникший колос напоил;
Он скорбит о бедном и богатом,
Воздает за зло тебе добром.
Отчего ж и ты не хочешь с братом
Поделиться хлебом и вином?
О, помиримся, окончим битву,
Пусть навеки общим будет все,
И сольем сердца в одну молитву:
Да приидет Царствие Твое!» [2]

VIII

Жил Сильвестр в горах, на дикой круче,
Словно зверь, в расщелине скалы.
Вкруг него ходили только тучи,
Да летали с клекотом орлы.
На полу пергаментные книги,
Бич железный, цепи и вериги.
Вдоль стены уступ гранитных скал
По ночам подушку заменял.
Не согнувшись, встать нельзя, так низко
В тесной келье... В бездне, глубоко
Лишь поток гремит и далеко
Все земное, только небо близко.

---

[1] «...полевые лилии... ни трудятся, ни прядут, но... и Соломон [царь] во всей славе своей не одевался так, как всякая из них...» (Евангелие от Матфея, VI, 28, 29).

[2] Евангелие от Матфея, VI, 10.

IX

И Франциск мечтает: «Не уйти ли
От людей, от шумных городов,
От тревоги, суеты и пыли
В свежесть и безмолвие лесов?
Там, в горах, где не было доныне
И следа людского,— в тишине
Жить и умереть наедине
С Господом, лицом к лицу в пустыне».
Говорил Сильвестр Франциску: «Плоть,
Плоть проклятую смири цепями
И бичом железным, и постами,
Чтоб простил грехи твои Господь.
У тебя, мой сын, в уме лишь радость,
Песенки веселенькие, смех?..
Словно пчелки на цветы — на грех
Мы летим и пьем мирскую сладость!..
Смехом люди бесов лишь зовут.
И внимая радостному кличу
Дьяволы на грешника бегут,
Как борзые в поле на добычу...
А потом, когда умрет он, — в ад
Крючьями да вилами влачат
Господом отринутую душу,
И коптят, и жарят над огнем,
Как на святках мы свиную тушу
На железном вертеле печем:
Вельзевул углей обложит грудой,
Уксусом и желчью обольет,
И на стол он лакомое блюдо
Самодержцу ада подает.
Люцифер на троне лучезарен
За роскошной трапезой сидит,
И, отведав грешника, кричит
Повару сердито: «Недожарен!»
Бесы вновь в огонь его влекут
И, крутя на вертеле, пекут.
Прежде радость ты любил земную,
Прежде песни пел ты на пирах,
Погоди ж — у дьявола в когтях
Запоешь ты песенку другую!»
И умолк отшельник. Замирал
На устах его зловещий хохот,
В тишине пустыни отвечал
Лишь потока дальний, вечный грохот...

X

От него Франциск в раздумьи шел:
Он жалел монаха всей душою.
Темный, свежий бор и ясный дол
Манят к счастью, миру и покою.
Понимал он все, о чем в листве
Радостные птицы щебетали,
Понимал, о чем в сырой траве
Мошки в солнечном луче жужжали,
Все, что ключ шептал на ложе мха;
Сердце чисто, дух его свободен,
Нет! не верит он во власть греха,
В смерть, и в ад, и вечный гнев Господень.
Ликованья больше в Небесах
Об едином грешнике спасенном,
Чем о многих праведных мужах [1].
Только в сердце, злобой омраченном —
Скорбь и ужас, только лица злых
Полны грустных дум в молчаньи строгом,
А в душе у добрых и простых —
Радость бесконечная пред Богом!

XI

Папа Иннокентий утвердил
Орден нищих братьев. Мало верил
Он во все, чему Франциск учил,
Но умом расчетливым измерил
Выгоду возможную для пап:
«Пусть,— он думал,— мысль невыполнима,
Жить нельзя без денег, но для Рима
Во Франциске будет верный раб!..»
Проповедовать по всей вселенной
Миноритам [2] папа разрешил.
Десять лет с тех пор Франциск смиренный,
Нищий, по Италии ходил
И когда родные Апеннины
Скрылись за далекий горизонт,
Обошел Испанию, Пьемонт,
Францию, Савойские долины.
Тот, кто видел раз его, не мог
Позабыть: идут к нему крестьяне,
Женщины, сеньоры, горожане
И разбойники с больших дорог.

---

[1] «Сказываю вам, что... на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии (Евангелие от Луки, XV, 7).

[2] Минориты — францисканцы (от лат. minor — меньший).

Все они в одно сливались братство
И в одну великую семью,
Покидали родину свою,
Дом, детей, и славу, и богатство.

XII

Было раз великое собранье
Нищих братьев. Сотнями пришли
Воины Христа на совещанье,
Босоногие, со всей земли.
В Умбрии, в благословенном крае,
Собрались толпы учеников
На равнине у Сполетто, в мае,
Меж зеленых сосен и цветов.
Там, в полях — не гнезда птиц небесных,
Это — кельи иноков святых,
Это — кущи из ветвей древесных
И зеленых листьев молодых.
Все кругом объято тишиною,—
Только гул божественных псалмов
Издали сливается порою
С пеньем птиц и шелестом дубров.
Там, под кровлей из ветвей душистых,
Пахнет влажной зеленью в тени,
Там в молитвах и беседах чистых
Протекают сладостные дни.
Ни о чем не споря, не жалея,
На земле свободны лишь они —
Меж царей и меж рабов — одни,
Ничего земного не имея.
И в волненьи весь окрестный край,
К ним народ собрался отовсюду,
Хвалят Бога и дивятся чуду,
Говорят: «Сошел на землю рай».
Там, в полях, за трапезой в смиреньи
Гордые бароны и князья
Служат нищим. Люди на мгновенье
Во Христе — единая семья.
В небе солнце греет и сияет,—
На земле Блаженный, прост и тих,
Ходит, смотрит на детей своих,
Любит всех и всех благословляет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Он скорбел и думал: «Льется кровь
Вот уж третий век за Гроб Господень.
Брат на брата восстает, любовь
Угасает, и раздор бесплоден.
Неужель не кончится вовек
Брань народов, стоны жертв и крики?
Не поймет безумный человек,
Что война — пред Богом грех великий?..»
Он садится на корабль, спешит
В лагерь крестоносцев, к Диаметте,
И мечтает, сердцем прост, как дети,
Что людей словами убедит
Кончить брань. А в лагере солдаты
И вожди веселием объяты:
Оттого у добрых христиан —
Праздник, что вчера, во славу Бога
И Святой Пречистой Девы,— много
Перебили пленных мусульман.
Со словами мира и с молитвой
Он идет к неверным в грозный стан.
Меж двумя войсками перед битвой
По дороге встретился отряд
Сарацин, и в плен святой был взят.
За шпиона приняли, схватили,
Безоружного, связав, избили,
К полководцу привели в шатер.
Пред вождем доверчивый, спокойный,
Он, подняв свой детски-ясный взор,
Говорил, что надо кончить войны,
Что у всех народов Бог один.
Этой речью доброй и простою
Тронут был суровый Меледин.
Он поник в раздумьи головою
И сказал: «Кто б ни был ты, монах,—
Я тебя обидеть не позволю:
Мудрость Господа — в твоих речах.
С миром отпущу тебя на волю!
Все, что хочешь, у меня возьми...
Ты гяур иль нет, но меж людьми
Больше всех ты истинного Бога
Сердцем чтишь!» Франциск не уходил.
Он владыку робко вопросил,
И мольба во взоре, и тревога:
«Кончит ли султан войну?» В ответ
Грозный вождь с улыбкой молвил: «Нет».

Но в подарок, пожалев о госте,
Предложил он из казны своей
Много золота, слоновой кости
И парчи, и дорогих камней.
На сокровища не бросив взгляда,
Нищий отвернулся и молчал,
Головой лишь грустно покачал
И шепнул: «Мне ничего не надо».
Но готовы слезы из очей
Хлынуть, губы у него дрожали,
Как порой у маленьких детей
От обиды жгучей и печали...
Он в последний раз с мольбой взглянул
И тихонько вышел от султана...
Трубный звук и топот, гром и гул,
Уж готовы к битве оба стана.
«Бог и Магомет его пророк!» —
Мусульмане с верой восклицали,
И с такой же верой: «С нами Бог!» —
Паладины грозно отвечали.
В жизни первый раз он одинок
Меж людьми. И скорбный, и безмолвный
Он уходит на морской песок,
Где шумят в пустыне только волны.
Пал на землю, волю дав слезам,
Поднял взор к далеким небесам:
«Господи, они не понимают!» —
Шепчет, жгучей жалостью объят,
Но ему лишь волны отвечают,
Только волны синие шумят...

II

Возвратясь из Африки далекой
К берегам Италии родной,
Шел Франциск в печали одинокой
Меж скалами горною тропой.
Там в лазури утренней сияя,
Ярче снега,— посреди камней
Обнаженных, ворковала стая
Белокрылых, нежных голубей.
И сказал он, подойдя к подножью
Этих гор, раздумием объят:
«Если люди слушать не хотят,
Пусть же внемлют птицы слову Божью!»
И меж них он радостный стоял:
Всех животных в простоте сердечной,
Как детей одной природы вечной,
Братьями и сестрами он звал.
«Сестры-птицы, мир да будет с вами!» —

Так он начал проповедь, и вдруг
Все затихло. На земле рядами,
Слушая, сидят они вокруг.
«Сестры-птицы, громкими хвалами
Вы должны с любовью без конца
Каждый день благодарить Творца,—
Потому что радостно живете,
Не сбирая в житницы плодов,
Вы в полях ни сеете, ни жнете,
А Господь под зеленью дубров
Вас укрыл, заботится о пище [1],
Он вам дал прекраснейший удел —
Светлый, чистый воздух, как жилище,
Перьями, как ризою, одел!
Вот за что весь день, лишь луч денницы
Заблестит сквозь утреннюю мглу —
И до звезд вечерних,— пойте, птицы,
Пойте Богу вечную хвалу!»
Он умолк,— и голуби ликуют,
И к нему головки протянув,
Крыльями трепещут и воркуют,
Смотрят в очи, открывая клюв,
И один в лазури необъятной
С этой стаей белых голубей,
Он меж ними ходит, благодатный,
Как отец — среди своих детей.
Ризою касается смиренной
Их головок ласковых. Потом,
Отпуская Божьих птиц, Блаженный
Осенил с любовью их крестом.
И взвилась ликующая стая,
И следил он с радостным лицом
Долго, долго, как она, блистая,
Словно белый снег, под солнцем тая,
Исчезала в небе голубом.

III

Так Франциск ни от кого на свете
С гордостью не отвращал лица:
Божьи твари — все равны, как дети
Одного Небесного Отца.
И они к нему приходят сами,
К людям позабыв вражду свою.
Сердцем чист, он в дружбе со зверями
Жил, как первый человек в раю.

---

[1] Птицы небесные «...ни сеют, ни жнут... и Отец ваш небесный питает их» (Евангелие от Матфея, VI, 26).

IV

Раз в пещере, в зимний холод, поздно
Ночью, с молодым учеником,
В Риво-Торто, над стремниной грозной
Он сидел за тлеющим огнем.
Все мертво. Над пеленою снежной
Только звезды бледные дрожат.
Отрока спросил учитель нежный:
«Отчего ты грустен, милый брат?»
— «О, прости мне, отче! Я горюю
О семье. Я вспомнил мать родную,
Братьев, маленьких сестер моих.
Скучно мне, душа болит о них...»
И Франциск с улыбкой состраданья,
Не сказав ни слова, но спеша,
Вышел поскорей из шалаша,
Стал лепить из снега изваянья.
Кончив, с торжествующим лицом,
Он, смеясь, их обошел кругом
И воскликнул: «Где же ты, Руффино,
Братец, люди снежные!.. взгляни,
Как блестят над белою равниной,
Как тебя приветствуют они!»
И Руффино вышел, грусти полный;
Искрятся при свете звезд ночных
Изваянья, бледны и безмолвны;
И Франциск указывал на них:
«Вот — отец твой, мать, вот — сестры, братья...
Что ж ты медлишь? Подойди скорей!
Видишь, как им холодно, согрей,
Поцелуй их, заключи в объятья!
Но когда к груди прижмешь — в тепле
Изваянья снежные растают
И умрут они, как умирают
Все, кого мы любим на земле.
Не помогут ласки и лобзанья!
И уйдут, уйдут они от нас,
Исчезая каждый день и час,
Словно снег от теплого дыханья!»

V

Сорок дней был пост в монастыре.
По обету братья не вкушали
Ни плодов, ни рыбы. На заре
Встал Франциск. Еще монахи спали.
Рядом с ним был в келье брат больной:
Долгими постами изнуренный,

Жаждою томясь, во сне порой
Он шептал, видением смущенный:
«Если б мог я жажду утолить,
Под зеленой, свежей тенью сада,
От янтарных гроздий винограда,
Соком переполненных, вкусить!..»
Бред его послушав, к изголовью
Подошел Франциск: «Проснись, мой брат».
И заботливей, чем мать, с любовью,
Он ведет его тихонько в сад,
Прямо к спелым гроздьям винограда.
Но больной поднять не смеет взгляда:
Ягоды под розовым лучом,
Налитые соком золотистым,
Под листом широким и росистым
Светятся прозрачным янтарем.
И Блаженный первый к ним склонился,
Немощь плоти с братом разделил,
Вместе с ним он от плода вкусил,
Чтоб монах нарушить не стыдился
Свой обет. «Не бойся прогневить
Господа,— сказал Франциск,— чтоб душу
Брата от страданий облегчить
Тысячи обетов я нарушу!
На себя беру твой грех. Готов
Дать ответ во всем: я знаю, Боже,
Милосердье — для Тебя дороже
Всех молитв, обрядов и постов!»

VI

От служенья в мрачном, душном храме
В сад порой Блаженный уходил.
Там, под голубыми небесами,
Целый день с улыбкой он следил,
Как из сердца розы темно-алой,
Из тюльпанов огненных — пчела
Сладкий, ароматный сок пила,
И как солнце в ульях озаряло
Восковые грани нежных сот,
Где струился теплый, светлый мед.
В их строеньи мудрости так много,
Что Франциск у пчелок золотых,
Умных, маленьких сестер своих,
Познавать учился благость Бога.
И когда в стыдливой красоте
Лилии порой пред ним блистали,
Дольние цветы напоминали
О Цветке Небесном, о Христе —

Этой бледной, сладостной Лилее,
Выросшей в долинах Галилеи
И цветущей ныне в небесах.
Тот цветок наполнил, умирая,
Мир таким благоуханьем рая,
Что проснулись мертвые в гробах.
Так вселенная душе святого
Кажется в гармонии своей
Символом Единого, Благого,
Вечного таящегося в ней.
И зовет, зовет он всю природу,
Бездны, горы, тучи, небеса,
Землю, воздух и огонь, и воду —
Слить в одну молитву голоса.
Чувствуя душой прикосновенье
Бесконечного, он весь горел
И любил, и, полный вдохновенья,
Свой великий гимн пред Богом пел:

VII

«Тебе — хвала, Тебе — благодаренье,
Тебя Единого мы будем прославлять,
И недостойно ни одно творенье
Тебя по имени назвать!

Хвалите Вечного за все Его созданья:
За брата моего, за Солнце, чье сиянье,
Рождающее день —
Одна лишь тень,
О, Солнце солнц, о, мой Владыка,
Одна лишь тень —
От Твоего невидимого лика!

Да хвалит Господа сестра моя Луна,—
И звезды, полные таинственной отрады,
Твои небесные лампады,
И благодатная ночная тишина!
Да хвалит Господа и брат мой Ветр летучий,
Не знающий оков, и грозовые тучи,
И каждое дыханье черных бурь,
И утренняя, нежная лазурь!

Да хвалит Господа сестра моя Вода:
Она — тиха, она — смиренна,
И целомудренно-чиста, и драгоценна.

Да хвалит Господа мой брат Огонь — всегда
Веселый, бодрый, ясный,

Товарищ мирного досуга и труда,
Непобедимый и прекрасный!

Да хвалит Господа и наша мать Земля:
В ее родную грудь, во влажные поля
Бразды глубокие железный плуг врезает,
А между тем она с любовью осыпает
Своих детей кошницами плодов,
Колосьев золотых и радужных цветов!

Да хвалит Господа и Смерть, моя родная,
Моя великая, могучая сестра!
Для тех, кто шел стезей добра,
Кто умер, радостно врагов своих прощая,
Для тех уж смерти больше нет;
И смерть — им жизнь, и тьма могилы — свет!

Да хвалит Господа вселенная в смиренье:
Тебе, о, Солнце солнц,— хвала и песнопенье!»

VIII

Над горами тихо пролетая,
В красоте торжественной своей
Вся дрожит и блещет ночь немая
Мириадами живых огней.
В полусне, недвижимый над бездной,
На горах Альверно он стоял,
Окруженный небом ночи звездной,
Одинокий на вершине скал,
И молился горячо. Светлело
Пред ним в полночной темноте,
Словно в блеске солнца на Кресте,
Бледное, страдальческое тело.
Каплями из ран сочилась кровь,
Алая, во мраке черной ночи.
Долу лик склонен, закрыты очи,
А в улыбке — все еще любовь.
Он покорно, тихо умирает.
И Блаженный к Богу своему
Поднял взор. От жалости к Нему,
От любви душа изнемогает:
«О, как мало я Тебя любил,
Как обидел! Это я, гвоздями
Члены жалкие пронзив, убил
Моего Спасителя грехами.
Господи, я не могу смотреть
На Твои мученья! Дай мне то же,
Дай страдать с Тобою вместе, Боже,

И с Тобою вместе умереть.
Лучше пусть Христос меня осудит,
Пусть отвергнет,— сердцу легче будет,
Только бы не умер Он, храня
Кроткий вид, исполненный смиренья...
Боже, я не вынесу прощенья,
Нет, не надо, не прощай меня!»
Но Спаситель открывает очи,
На Франциска Он взглянул: в тот миг
Взор такой любви из мрака ночи
В глубину души его проник,
Что как будто в первый раз Блаженный
Понял, как Господь его любил.
Понял, что, за все грехи вселенной
Умирая, Он людей простил.
И Христос к нему все ближе, ближе,
Он — казалось — обнимал его,
И Франциск шептал с мольбой: «Возьми же,
Господи, возьми меня всего!»
И почувствовал он те же муки,
Как Распятый, боль он ощутил,
Словно кто-нибудь гвоздями руки
И ступени ног ему пронзил.
Во Христа душой преобразившись,
Вместе с Ним был распят на Кресте,
Вместе с Ним страдал и, с Богом слившись,
За людей он умер во Христе.
К Небу громким голосом взывая,
Он упал: «Тебе я жизнь мою,
Отче, ныне в руки предаю!»
А над ним, по-прежнему блистая,
В непонятной красоте своей,
Вся дрожит и блещет ночь немая
Мириадами живых огней...
. . . .
Рано утром из окрестных келий
Братья иноки пришли за ним.
Он лежал на скалах недвижим,
И как будто от гвоздей алели
Язвы на ногах, ладонях рук,
На худом, прозрачно-бледном теле.
В ужасе стояли все вокруг...
. . . .
Но потом открыл он очи вновь.
Взор его был полон тайн небесных,
Несказанных, и сочилась кровь
Каплями из ран глубоких, крестных...

IX

С этих пор страданья начались
Тяжкого, смертельного недуга.
Раз от всенощной, полны испуга,
Бледные монахи собрались
И смотрели на его мученья.
И не в силах боли превозмочь,
Полумертвый, истощив терпенье,
Он метался и стонал всю ночь.
Юный брат в порыве сострađанья,
Слыша бесконечные стенанья,
Видя, что ничем нельзя помочь —
«Господи,— воскликнул,— неужели
Так несправедливо и без цели
Ты казнишь избранников Твоих?»
Услыхал больной и вдруг затих,
На монаха поглядел он строго,
И ответ раздался в тишине:
«Брат, как смеешь ты судить во мне
Милосердье праведного Бога?»
Встал Франциск от ложа, и с трудом
Опустившись, ниц упал челом,
Крепко всеми членами своими,
Трепетными, слабыми, нагими,
Он к земле припал и целовал
Землю, руки к персям прижимал,
Полный бесконечного смиренья:
«О, Создатель мой, благодарю
Я за все, за все мои мученья!
Об одном еще Тебя молю:
Боль сильнее сделай, если надо,
Я перенесу ее, любя,—
Потому что все, что от Тебя,
Даже муки — для меня отрада!
Разве не у Господа в руках —
Жизнь и смерть, и вся земная доля?
О, Твоя, Твоя да будет воля,
Отче, на земле и в небесах!»

X

Так великий дух в страданьях рос.
И огнем любви неутолимой
Сердце чистое зажег Христос.
Между тем, как дух неугасимо
Пред лицом Твоим горел, Господь,—
Как свеча пред образом,— сгорала
От болезни немощная плоть,
Таяла, как воск, и умирала.

XI

Перед смертью он ослеп. Мученье
Каждый день росло. Когда порой
Становилось легче, в сад больной
Выходил: одно лишь утешенье —
На крыльце у двери посидеть,
И на миг измученное тело,
Что теряя силы холодело,—
В теплых солнечных лучах согреть.
Раз, когда в вечернем, кротком свете
Он дремал, монахи принесли
Пару диких горлиц. Их нашли
В поле. Бедные попались в сети.
Чтоб вскормить могли они птенцов,
Гнездышко под кровлей, над дверями
Он слепил из глины и сучков
Слабыми, дрожащими руками.
И веселью не было конца,
Только что из первого яйца
Вылупился птенчик и неловкой
Обнаженной маленькой головкой
Скорлупу пробил... Раздался писк
Жалобный... Благословил Франциск
Господа за то, что, умирая,
Видел, как рождалась молодая
Жизнь, и свет еще сильней любя,
Окруженный мраком вечной ночи,
К солнцу поднял он слепые очи:
«Господи, благодарю Тебя!..»

XII

Только плоти слабою преградой
Дух его, как тонкою стеной,
Отделен от Бога. Он порой
Говорил: «Мне ничего не надо,
Хорошо и умереть, и жить!»
Так Блаженный, землю покидая,
Счастье высшее познал — любить,
На любовь в ответ любовь встречая.
Чтобы к Богу в мире отойти,
В темную часовню под землею
Он велел себя перенести.
Утешаясь бедностью святою,
Ризы снял и лег на голый пол,
И, как в юности, когда одежды
Сняв с себя, от мира он ушел,—

Так теперь, исполненный надежды,
Он с печатью смерти на челе
Все земное отдает земле
И свободе радуется: «Братья,
Я хочу быть бедным, и таким,
Как родился — слабым и нагим,—
Кинуться Спасителю в объятья!..»
Со свечами иноки стоят,
И один открыл на аналое
И читал Евангелье святое;
В тишине слова любви звучат.
«Дети, Я недолго с вами буду.
Ныне вам Я новую Мою
Заповедь великую даю,
И за то Я вечно в вас пребуду.
Мир вам, дети! Как Я вас люблю,
Так и вы друг друга возлюбите,
Чтоб узнали все по той любви,
Что вы заповедь Мою храните.
И что вы — ученики Мои.
Я приду к вам вновь и успокою.
Вы — во Мне, как Я — в Отце Моем,
И вы будете одно со Мною,
Как и Я — одно с Моим Отцом».
Он вздохнул — и кончилось мученье:
И, как будто задремав, поник
Головой на грудь в изнеможеньи,
И закрылись очи. Бледный лик —
Все светлей, спокойней и прелестней...
Как дитя — у матери в руках,
Убаюканное тихой песней,—
Он почил с улыбкой на устах.
Незакатный свет пред ним сияет,
В лоне Бога дух его исчез,—
Так в лазури утренних небес
Белокрылый лебедь утопает.

СТАРИННЫЕ ОКТАВЫ
(Octaves du passé)

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

I

Хотел бы я начать без предисловья,
Но критики на поле брани ждут,
Как вороны, добычи для злословья,
Слетаются на каждый новый труд
И каркают. Пошли им Бог здоровья.
Я их люблю, хотя в их толк и суд
Не верю: все им только брани повод...
Пусть вьется над Пегасом жадный овод.

II

Обол — Харону[1]: сразу дань плачу
Врагам моим.— В отваге безрассудной
Писать роман октавами хочу.
От стройности, от музыки их чудной
Я без ума; поэму заключу
В стесненные границы меры трудной.
Попробуем,— хоть вольный наш язык
К тройным цепям октавы не привык.

III

Чем цель трудней — тем больше нам отрады:
Коль женщина сама желает пасть,
Победе слишком легкой мы не рады.
Зато над сердцем непокорным власть,
Сопротивленье, холод и преграды
Рождают в нас мучительную страсть:
Так не для всех доступна, величава,
Подобно гордой женщине,— октава.

---

[1] Перевозчик теней умерших через Стикс — реку подземного царства (*греч. миф.*).

IV

Уж я давно мечтал о ней: резец
Ваятеля пленяет мрамор твердый.
Поборемся же с рифмой, наконец,
Чтоб победить язык простой и гордый.
Твою печаль баюкают, певец,
Тройных созвучий полные аккорды,
И мысль они, как волны вдаль несут,
Одна другой, звуча, передают.

V

Но чтоб труд был легок и приятен,
Я должен знать, что есть в толпе людей
Душа, которой близок и понятен
Я с Музою отвергнутой моей.
Да будет же союз наш благодатен,
Читатель мой, для двух иль трех друзей
Бесхитростный дневник пишу, не повесть.
Зову на суд я жизнь мою и совесть.

VI

И не боюсь оружье дать врагу:
Не все ли мы у смерти — у преддверья
Верховного Суда? — я не солгу,
В словах моих не будет лицемерья:
Что видел я, что знаю, как могу,
Без гордости, стыда иль недоверья,
Тому, кто хочет слышать, расскажу,—
Живым — живое сердце обнажу.

VII

Тревоги страстной, бурной и весенней
Я не люблю: душа моя полна
И ясностью, и тишиной осенней...
И, вечная, святая тишина:
Час от часу светлей и вдохновенней
Мне прошлой темной жизни глубина:
Там, в сумерках горит воспоминанье,
Как тихое, вечернее сиянье.

VIII

От шума дня, от клеветы людской,
От глупых ссор полемики журнальной

Я уношусь к младенчеству душой —
Туда, туда к заре первоначальной.
Уж кроткая Богиня надо мной
Поникла вновь с улыбкою печальной,
И я, как в небо, в очи ей смотрю,
О чистых днях, о детстве говорю.

IX

От Невского с его толпою чинной
Я ухожу к Неве, прозрачным льдом
Окованной: люблю гранит пустынный
И Летний сад в безмолвии ночном.
Мне памятен печальный и старинный,
Там, рядом с мостом двухэтажный дом:
Во дни Петра вельможею построен,
Он — неуклюж, и мрачен, и спокоен.

X

Свидетель грустный юных лет моих,
Вдали от жизни, суеты и грома
Столичного, по-прежнему он тих.
Там сердцу мелочь каждая знакома:
Узор обоев в комнатах больших,
Подъезд стеклянный, двор и окна дома.
Не радостный, но милый мне приют,
Где бледные видения встают.

XI

Забытые молитвы, сказки няни,
С улыбкою твержу я наизусть,
Родные лица вижу, как в тумане...
Там, в детстве счастья было мало,— пусть!
Как сумрак лунный, даль воспоминаний
В поэзию, в пленительную грусть
Все обращает — радость и мученье:
В душе моей — великое прощенье.

XII

Чиновником усердным был отец,
В делах, в бумагах канцелярских меру
Земных трудов свершил и наконец,
Чрез все ступени, трудную карьеру
Пройдя, упорной воли образец,
Был опытен, знал жизнь, людей и веру,

Ничем не сокрушимую, питал
В практический суровый идеал.

XIII

Любил семью,— для нас он жил на свете;
Был сердцем добр, но деловит и строг.
Когда порой к нему являлись дети,
Он с ними быть как с равными не мог.
Я помню дым сигары в кабинете,
Прикосновенье желтых бритых щек,
Холодный поцелуй,— вся нежность наша —
В словах «bonjour» иль «bonne nuit, папаша».

XIV

И скукою томительной царил
В семье казенный дух, порядок вечный.
Он все копил, он все для нас копил,
Но наших игр и болтовни беспечной,
И хохота, и шума не любил,
Подозревая в нежности сердечной
Лишь баловства избыток иль причуд,
Смотря на жизнь, как на печальный труд.

XV

Не тратилось на нас копейки лишней.
Коль дети мимо кабинета шли,
Как можно незаметней и неслышней
Старались проскользнуть; от всех вдали,
Хранимые лишь волею Всевышней,
Мы в куче десять человек росли,
Покинутые немке и природе,
Как овощи в забытом огороде.

XVI

Володя, Саша, Надя... без конца,—
И в этом мертвом доме мы друг друга
Любили мало; чтоб звонком отца
Не потревожить, так же как прислуга,
Мы приходили с черного крыльца.
А между тем, не ведая досуга,
Здоровья не щадя, отец служил
И все копил, он все для нас копил.

XVII

Под бременем запасов гнулись полки
В березовых шкапах — меха, фарфор,
Белье, игрушки, лакомства для Елки.
Зайдешь, бывало, в пыльный коридор,
Во внутренность шкапов глядишь сквозь щелки,
И то, чего не видишь, манит взор,
И чувствуешь в восторге молчаливом,
То миндалем пахнет, то черносливом.

XVIII

Я с ключницей всегда ходить был рад
В таинственный подвал, где кладовая.
Здесь тоже длинные шкапы стоят;
На мрачных сводах — плесень вековая,
Мешков с картофелем и банок ряд...
Трещит тихонько свечка, догорая,
И мышь из-под огромного куля
На нас глядит, усами шевеля.

XIX

И только раз в году на именинах
Вся роскошь вдруг являлась на столе.
Сидели дамы в пышных кринолинах
И старички — ряд лиц, как в полумгле
На старомодных, выцветших картинах...
И в мараскинном трепетном желе
Свеча, приятным пламенем краснея,
Мерцала — тонких поваров затея.

XX

Но важный вид гостей пугал меня...
Холодных блюд — остатков именинной
Трапезы нам хватало на три дня.
Все приходило вновь в порядок чинный:
Сестра сидела, скучный вид храня,
С учительницей музыки в гостиной,—
Навстречу ранним пасмурным лучам
Был слышен звук однообразных гамм.

XXI

Унылый знак привычек экономных,—
Торжественная мебель — вся в чехлах.

Но чудилась мне тайна в нишах темных,
В двух гипсовых амурах, в зеркалах,
В чуланах низких, в комнатах огромных,—
Все навевало непонятный страх;
И скучную казенную квартиру
Уподоблял я сказочному миру.

XXII

Мне жития угодников святых
Рассказывала няня, как с бесами
Они боролись в пу́стынях глухих.
Почтенная старушка в бедном хламе
Меж душегреек в сундуках своих
Хранила четки, ладонку с мощами
И крестика Афонского янтарь.
Я узнавал, как люди жили встарь;

XXIII

Как некое заклятие трикраты
Монах над черным камнем произнес
И в воздухе рассыпался проклятый,
Подобно стае воронов, утес:
Я слушал няню, трепетом объятый
И любопытством, полный чудных грёз,
От ужаса я «Отче наш» в кроватке
Твердил всю ночь в мерцании лампадки.

XXIV

Познал я негу безотчетных грез,
Познал я грусть,— чуть вышел из пеленок.
Рождало все мучительный вопрос
В душе моей; запуганный ребенок,
Всегда один, в холодном доме рос
Я без любви, угрюмый, как волчонок,
Боясь лица и голоса людей,
Дичился братьев, бегал от гостей.

XXV

И ждал чудес в тревоге непрестанной:
Порой не мог заснуть и весь дрожал,
Все кто-то длинный, длинный и туманный,
Чернее мрака в комнате стоял...
Мне ужас веял в душу несказанный,
И громко звал я няню и кричал,
И старшие, вокруг моей постели,
То на меня сердились, то жалели.

XXVI

И лакомств мне давала мать, отец
Шутил; его насмешливые речи
Я слушал молча, бледный, как мертвец.
И приносили в спальню лампы, свечи:
— «Вон там, в углу... смотрите!..» — Наконец
Он исчезал; но жду я новой встречи
С Неведомым и знаю, что опять
Его пред смертью должен увидать.

XXVII

С тех пор доныне в бурях и в покое,
Бегу ли я в толпу или под сень
Дубрав пустынных,— чую роковое
Всегда, везде,— и в самый светлый день.
То древнее, безумное, ночное
Присутствует в душе моей, как тень,
Как ужаса непобедимый трепет,
Как вещей Парки неотвязный лепет.

XXVIII

Но на прогулку с нянею спеша,
В знакомой лавке у Цепного моста
Я покупал себе на два гроша
Коврижки белой, твердой, как береста,
И утреннею свежестью дыша,
Опять на мир смотрел легко и просто
И для меня был счастия венец
Малиновый прозрачный леденец.

XXIX

В суровом доме, мрачном, как могила,
Во мне лишь ты, родимая, спасла
Живую душу, и святая сила
Твоей любви от холода и зла,
От гибели ребенка защитила;
Ты ангелом-хранителем была,
Многострадальной нежностью твоею
Мне все дано, что в жизни я имею.

XXX

Отец сердился, вредным баловством
Считал любовь; бывало, ты украдкой
Меня спешила осенить крестом,

Склонясь в лампадном свете над кроваткой,
И засыпал я безмятежным сном
При шепоте твоей молитвы сладкой,
Но чувствовал сквозь поцелуй любви
Я жалобы безмолвные твои.

XXXI

Однажды денег взяв Бог весть откуда,
Она тайком осмелилась купить
Игрушку мне, чудесного верблюда;
Отец увидел, стал ее бранить.
Внутри была бисквитов сладких груда:
И жадности не мог я победить,—
За мать страдая, молча,— как убитый,—
Я с горькими слезами ел бисквиты.

XXXII

Когда на службе был отец с утра,
Мать в кабинет за стол меня пускала,
Я помню дел казенных нумера,
Сургуч, портрет старинный генерала,
Из хризолита ручку для пера,
Из камня цвета млечного опала
Коробочку для марок, нож, бювар,
Карандаши и ящик для сигар:

XXXIII

Предметы жадных, робких наслаждений!..
Но как-то раз я рукавом свалил
Чернильницу с головкою оленьей:
Ни жив, ни мертв, смотрю, как потопил
(Что мне казалось верхом преступлений)
Зеленое сукно поток чернил.
Вдруг — голоса, шаги отца в передней;
Вот, думаю, пришел мой час последний.

XXXIV

Я убежал, чтоб грозного лица
Не увидать: и начались упреки,
Неумолимый гневный крик отца,
На трату денег вечные намеки,
И оправданья мамы без конца.
Я понимал, что грубы и жестоки
Его слова, и слышал я мольбы,
Усилия беспомощной борьбы...

XXXV

В них — долгих лет покорная усталость.—
Хотя бы мог я розог ожидать,—
Лишь простоял в углу за эту шалость:
Спасла меня заступничеством мать.
Я чувствовал мучительную жалость,
Семейных драм не в силах угадать,—
За маму, тихий и покорный с виду,
Я затаил в душе моей обиду.

XXXVI

И с нею вместе я жалел себя:
Под одеялом спрятавшись в кроватке,
Молился я, родная, за тебя,
Твой поцелуй в бреду и лихорадке,
Твое дыханье чувствовал, любя:
Так жгучие те слезы были сладки,
Что, все прощая, думал об отце
Я с радостной улыбкой на лице.

XXXVII

Он не чины, не ордена, не ленты
Наградою трудов своих считал:
В невидимо растущие проценты,
В незыблемый и вечный капитал,
В святыню денежных бумаг и ренты,
Как в добродетель, веру он питал,
Хотя и не был скуп, но слишком долго
Для денег портил жизнь из чувства долга.

XXXVIII

Чиновник с детства до седых волос,
Житейский ум, суровый и негибкий,
Не думая о счастьи, молча нес
Он бремя скучной жизни без улыбки,
Без малодушья, ропота и слез,
Не ведая ни страсти, ни ошибки.
И добродетельная жизнь была —
Как в серых мутных окнах — дождь и мгла.

XXXIX

Кругом в семье царила безмятежность:
Детей обилье — Божья благодать,—
Приличная супружеская нежность.
За нас отец готов был жизнь отдать...

Но вечных мук предвидя неизбежность,
Уже давно им покорилась мать:
В хозяйстве, в кухне, в детской мелочами
Ее он мучил целыми годами.

XL

Без горечи не проходило дня.
Но с мужеством отчаянья, ревниво,
Последний в жизни уголок храня,
То хитростью, то лаской боязливой,
Она с отцом боролась за меня.
Он уступал с враждою молчаливой,
Но дружба наша крепла, и вдвоем
Мы жили в тихом уголке своем.

XLI

С ним долгий путь она прошла недаром:
Я помню мамы вечную мигрень,
В лице уже больном, хотя не старом,
Унылую, страдальческую тень...
Я целовал ей руки с детским жаром,—
Духи я помню,— белую сирень...
И пальцы были тонким цветом кожи
На руки девственных Мадонн похожи...

XLII

О, только бы опять увидеть вас
И после долгих, долгих дней разлуки
Поцеловать еще единый раз,
Давно в могиле сложенные руки!
Когда придет и мой последний час,—
Ужели там, где нет ни зла, ни муки,—
Ужель напрасно я горюя жду,—
Что к вам опять устами припаду?

XLIII

Отец по службе ездил за границу,
На попеченье старой немки дом
С детьми покинув; и старушка в Ниццу
Писала аккуратно обо всем.
Порой от мамы нежную страницу
С отцовским кратким деловым письмом
И с ящиком конфет мы получали,
И забывал я о моей печали.

XLIV

Бывало, с горстью лакомых конфет,
С растрепанным Арабских сказок томом
Садился я туда, где ярче свет
Знакомой лампы на столе знакомом,
И большего, казалось, счастья нет,
Чем шоколад с благоуханным ромом.
Был сумерек уютный тихий час;
В стекле шумел голубоватый газ.

XLV

Я до сих пор люблю, Шехеразада,
Твоих султанов, евнухов и жен,
Скитаньями волшебными Синдбада
И лампой Алладиновой пленен.
Порой — увы! — среди чудес Багдада
Я, лакомством и книгой увлечен,
Мать забывал, как забывают дети,—
Как будто не было ее на свете,

XLVI

И только в горе вспоминал опять.—
Из Ревеля почтенная старушка
Умела так хозяйством управлять,
Чтоб лишняя не тратилась полушка:
Случится ль детям что-нибудь сломать,
В буфете ль чая пропадет осьмушка,—
Она весь дом бранила без конца,
Предвидя строгий выговор отца.

XLVII

Я помню туфли, темные капоты,
Седые букли, круглые очки,
Чепец, морщины, полные заботы,
И ночью трепет старческой руки,
Когда она записывала счеты
И все твердила: «Рубль за башмаки...
Картофель десять, масло три копейки»...
И цифру к цифре ставила в линейки.

XLVIII

Старушки тень я видел на стене
Огромную, поднять не смея взгляда:
И магией порой казались мне
Все эти банки, шпильки и помада,

Щипцы на свечке в трепетном огне,—
От них знакомый едкий запах чада:
Она седую жиденькую прядь
Привыкла на ночь в букли завивать.

XLIX

До старости была она кокеткой:
И сморщившись давно, и пожелтев,—
Хотя у нас бывали гости редко,—
С лукавством трогательным старых дев
Шиньон свой древний, с новой черной сеткой,
На голову дрожащую надев,
Еще пришпилить красненькую ленту,
И как бедняжка рада комплименту!

L

Душа моя печальна и светла,
И жалко мне моей старушки дряхлой.
Священна жизнь, хотя бы то была
Невидимая жизнь былинки чахлой.
Мы любим, славя громкие дела,
Чтоб от людей великих кровью пахло,—
Но подвиг есть и в серых скучных днях,
В невидимых презренных мелочах.

LI

Старушки взгляд всегда был жив и зорок:
К нам девушкой молоденькой вошла
И поседела, сгорбилась, лет сорок
С детьми возилась, жизнь им отдала.
Ей каждый грош чужой был свят и дорог...
Амалии Христьяновне — хвала:
Она свершила подвиг без награды.
Как мало в жизни было ей отрады!

LII

Как много скуки, горестных минут,
Людских обид, и холода, и злости!
И вот она забыта, и гниют
В неведомой могиле на погосте,
Найдя последний отдых и приют,
Измученные старческие кости...
Как по земле — теней людских тьмы тем,—
И ты пришла,— Бог весть куда, зачем..

LIII

Увы, что значит эта жизнь? Над нею,
Как над загадкой темною, стою,
Мучительный, чем над судьбой твоею,
Герой бессмертный,— душу предаю
Вопросам горьким, отвечать не смею...
Неведомых героев я пою.
Простых людей, о, Муза, помоги мне
Восславить миру в сладкозвучном гимне.

LIV

Да будут же стихи мои полны
Гармонией спокойной и унылой.
Ничтожество могильной тишины
Мгновенный шум великих дел покрыло:
Последний будет первым,— все равны.
Как то поют, что в древнем Риме было —
В торжественных октавах я пою
Амалию Христьяновну мою.

LV

Старушка Эмма у нее гостила
В очках и тоже в буклях, как сестра.
Я помню всех, кого взяла могила,
Как будто видел лица их вчера.
Амалия Христьяновна любила,
С ней наслаждаясь кофием с утра
И ревельскими кильками в жестянках,—
Посплетничать о кухне и служанках.

LVI

Был муж ее предобрый старичок
В ермолке с трубкой; кофту, вместо шубы,
Он надевал и длинный сюртучок,
С улыбкой детской морщил рот беззубый.
Пусть мелочи ненужных этих строк
Осудит век наш деловой и грубый,—
Но я люблю на прозе давних лет
Поэзии вечерний полусвет...

LVII

На Островах мы лето проводили:
Вокруг дворца я помню древний сад,

Куда гулять мы с нянею ходили,—
Оранжереи, клумбы и фасад
Дух флигелей в казенном важном стиле,
Дорических колонн высокий ряд,
Террасу, двор и палисадник тощий,
И жидкие Елагинские рощи.

LVIII

Там детскую почувствовал любовь
Я к нашей бедной северной природе.
Я с прошлогодней ласточкою вновь
Здоровался и бегал на свободе,
И с радостным волнением морковь
И огурцы сажал на огороде,
Ходил с тяжелой лейкою на пруд:
Блаженством новым мне казался труд.

LIX

В двух грядках все работы земледелья
Я находил, про целый мир забыв...
О, где же ты, безумного веселья
Давно уже неведомый порыв,
И суета, и хохот новоселья.
«Milch trinken, Kinder!» [1],— форточку открыв,
За шалость детям погрозив сначала,
Амалия Христьяновна кричала.

LX

И ласточек, летевших через двор,
Был вешний крик пронзителен и молод...
Я помню первый чай на даче, сор
Раскупоренных ящиков и холод
Сквозного ветра, длинный коридор,
И после игр счастливый, детский голод
И теплый хлеб с холодным молоком
В зеленых чашках с тонким ободком —

LXI

Позолоченным: их любили дети,—
Особенная прелесть в них была.
В сосновом, пахнущем смолой, буфете
Стоял сервиз для дачного стола.

---

[1] Дети, пить молоко! (*нем.*)

С тех пор забыл я многое на свете —
Любовь, обиды, важные дела,
Но, кажется, до смерти помнить буду
Ту милую зеленую посуду.

LXII

И связан с ней был чудный летний сон,
Всегда один и тот же, мимолетней,
Чем облачные тени, озарен
Таинственным лучом,— и беззаботней
Я ничего не знаю: дальний звон,
Как будто тихий благовест субботний...
Большая комната,— где солнца нет,
Но внутренний, прозрачно-мягкий свет...

LXIII

Гляжу на свет, не удивляясь чуду,
И не могу насытить жадный взор...
На длинных полках вижу я посуду,—
Пронизанный сиянием фарфор,
И золотой, и разноцветный, всюду —
На чашках белых, тоненьких — узор...
Я — как в раю,— такая в сердце сладость
И чистота, и неземная радость.

LXIV

Той радостью душа еще полна,
Когда проснусь, бывало: я беспечен
И тих весь день под обаяньем сна.
Хотя для сердца памятен и вечен,
Как молодость, как первая весна,—
О, милый сон, ты был недолговечен
И в темные порочные года
Уже не повторялся никогда.

LXV

Я полюбил Эмара, Жюля Верна,
И Робинзон в те дни был мой кумир.
Я темными колодцами — безмерна
Их глубина — сходил в подземный мир.
И быстрота была неимоверна,
Когда помчался в бомбе чрез эфир
Я на луну; мечтой любимой стали
Мне корабли подводные из стали.

LXVI

Я находил в Елагинских полях
Пустынные и дикие Пампасы;
Блуждал — в приюте воробьев — в кустах
Черемухи, как Немо, Гаттерасы
Иль Робинзоны в девственных лесах.
Я ждал порой меж тощих пальм террасы
Среди безумных и блаженных игр,
Что промелькнет гиппопотам иль тигр.

LXVII

Я не забуду в темном переплете
Разорванных библиотечных книг.
Фантазия в младенческом полете
Не ведала покоя ни на миг:
Я жил в волненьи вечном и заботе,—
Мне в каждой яме чудился тайник
И ход подземный в глубине сарая.
Как я мечтал, дрожа и замирая;

LXVIII

Как жаждал я открытья новых стран!
Готов принять был дачников семейных
За краснокожих, пруд — за океан,
И часто, полный грез благоговейных,
Заглядывал в таинственный чулан
С осколками горшков оранжерейных,
И на чердак зайдя иль сеновал,
Америку, казалось, открывал.

LXIX

Я с братьями ходить любил по крыше,
Чтоб сапогами не греметь,— в чулках.
Я в ужасе просил их: «Тише, тише,—
Амалия Христьяновна!..» В ушах
Был ветра свист, и мне хотелось выше.
У спутников на лицах видел страх,—
Но сам душою, страху недоступной,
Я наслаждался волею преступной.

LXX

За погребом был гладкий, как стекло,
И сонный пруд; на нем плескались утки;

Плакучей ивы старое дупло,
Где свесились корнями незабудки,
Потопленное, мохом обросло;
Играют в тине желтые малютки —
Семья утят, и чертит легкий круг
По влаге быстрый водяной паук.

LXXI

Я с книгой так садился меж ветвями,
Чтоб за спиной конюшни были, дом
И клумбы мне противные с цветами,
И видя только чащу ив кругом
И дремлющую воду под ногами,
Воображал себя в лесу глухом:
Так страстно мне хотелось, чтобы диким
Был Божий мир, пустынным и великим.

LXXII

И каждой смелой веткой дорожа,
Я возмущался, что по глупой моде
Акации стригут, или служа,
Казенному обычаю в природе,—
Метут в лесу тропинки сторожа.
Стремясь туда, где нет людей, к свободе,—
Прибив доску меж двух ветвей к сосне,
Я гнездышко устроил в вышине.

LXXIII

И каждый день взлезал к нему, как белка.
За длинною просекою вдали
Виднелася Елагинская Стрелка,
На бледном тихом взморье корабли;
Нева желтела там, где было мелко...
Как по дорожкам дачники ползли,
Я наблюдал с презреньем, горд и весел,
И голый сук казался мягче кресел.

LXXIV

Идет лакей придворный по пятам
Седой и чинной фрейлины-старушки...
Здесь модные духи приезжих дам —
И запах первых листьев на опушке,
И разговор французский — пополам
С таинственным пророчеством кукушки,
И смешанное с дымом папирос
Вечернее дыханье бледных роз...

LXXV

В оранжереи, к плотничьей артели
Я уходил: там острая пила
Визжала, стружки белые летели,
И с дерева янтарная смола,
Как будто кровь из раны в нежном теле,
Сияющими каплями текла;
Мне нравился их ярославский говор,
Когда шутил с работниками повар,

LXXVI

Спеша на ледник с блюдом через двор;
И брал от них рукою неискусной
Я долото, рубанок иль топор,
Из котелка любил я запах вкусный,
И щи, и ложек липовых узор;
При звуках песни их живой и грустной
Кого-то вдруг мне становилось жаль:
Я сердцем чуял русскую печаль...

LXXVII

Мы под дворцом Елагинским в подвале
Однажды дверь открытую нашли:
Мышей летучих тени ужасали,
Когда мы в темный коридор вошли;
Казалось нам, что лабиринт едва ли
Ведет не к сердцу матери-земли.
Затрепетав, упал от спички серной
На плесень влажных сводов луч неверный.

LXXVIII

Не долетает шум дневной сюда;
Столетним мохом кирпичи покрыты,
Сочится с низких потолков вода;
Сквозь щель, сияньем голубым облиты,
Роняя на пол слезы иногда,
Неровные белеют сталактиты
В могильном сне... Как солнцу я был рад,
Из глубины подземной выйдя в сад!

LXXIX

Вдыхая запах влажный и тяжелый
Медовых трав, через гнилой забор
Перескочив, отважный и веселый,

В кустах малины крадусь я, как вор;
Над парником с жужжаньем вьются пчелы,
И как рубин, висит, чаруя взор,
Под свежими пахучими листами
Смородина прозрачными кистями.

LXXX

С младенчества людей пленяет грех:
Я с жадностью незрелый ем крыжовник,
Затем, что плод запретный слаще всех
Плодов земных; царапает шиповник
Лицо мое, и, возбуждая смех,
Напрасно пугало твое, садовник,
Как символ добродетели, стоит,
Храня торжественный и глупый вид.

LXXXI

Елагин пуст,— вдали умолк коляски
Последний гул, и белой ночи свет
Там, над заливом полон тихой ласки,
Как неземной таинственный привет,—
Все мягкие болезненные краски...
Далекой тони черной силуэт,
Кой-где меж дач овес и тощий клевер...
Тебя я помню, бедный, милый Север!

LXXXII

Когда сквозь дым полуденных лучей
С утесов Капри вижу даль морскую,
О сумраке березовых аллей
Я с нежностью задумчивой тоскую:
Люблю унынье северных полей
И бледную природу городскую,
И сосен тень, и с милой кашкой луг,
Люблю тебя, Елагин, старый друг.

LXXXIII

Но скоро дни забот пришли на смену
Веселым дням, и в мрачный старый дом
Вернулся вновь я к духоте и плену.
И в комнате перед моим окном
Неумолимую глухую стену
Доныне помню: вид ее знаком

До самых мелких трещинок и пятен,
Казенный желтый цвет был неприятен.

LXXXIV

Разносчицы вдали я слышать мог
Певучий голос: «Ягода морошка».
Небес едва был виден уголок
Над крышами, где пробиралась кошка
И трубочист; со сливками горшок
Кухарка ставит в ящик за окошко;
И как воркует пара голубей,
Я слышу в тихой комнате моей.

LXXXV

Когда же Летний сад увидел снова,
Я оценил свободу летних дней.
С презрением, не говоря ни слова,
Со злобою смотрел я на детей,
Играющих у дедушки-Крылова,
И всем чужой, один в толпе людей
Старался няню, гордый и пугливый,
Я увести к аллее молчаливой.

LXXXVI

В сквозной тени трепещущих берез
На мраморную нимфу или фавна
Смотрел я, полный нелюдимых грез;
И статуя Тиберия[1] забавна,—
Меня смешил его отбитый нос,
Замазкою приклеенный недавно.
Сентябрь дубы и клены позлащал,
Крик ворона ненастье предвещал...

LXXXVII

Стучится дождь однообразно в стекла.
К экзаменам готовлюсь я давно,
Зевая, год рожденья Фемистокла[2]
Твержу уныло и смотрю в окно:
В грязи шагая, охтенка промокла...

---

[1] Тиберий, Клавдий-Нерон (42 до н. э.— 37 н. э.) — римский император.

[2] Фемистокл (ок. 525 — ок. 460 до н. э.) — афинский полководец.

И сердце скукой мертвою полно.
Решить не в силах трудную задачу,
Над грифельной доской едва не плачу.

LXXXVIII

Но вот пришел великий грозный час:
Вступая в храм классической науки,
Чтобы держать экзамен в первый класс,—
Я полон дикой робости и муки.
Смотрю в тетрадь, не подымая глаз,
Лицо в чернилах у меня и руки,
И под диктовку в слове «осенять»
Не знаю, что поставить — е иль ѣ.

LXXXIX

Я помню место на второй скамейке,
Под картою Австралии, для книг
Мой пыльный ящик, карандаш, линейки,
Казенной формы узкий воротник,
Мучительный для детской, тонкой шейки.
Спряжение глаголов я постиг
С большим трудом; и вот я — в новом мире,
Где божество — директор в вицмундире.

XC

От слез дрожал неверный голосок
Когда твердил я: lupus... conspicavit...
In rupe pascebatur [1]... и не мог
Припомнить дальше; единицу ставит
Мне золотушный немец педагог.
Томительная скука сердце давит:
Потратили мы чуть не целый год,
Чтобы понять отличье quid и quod; [2]

XCI

А говорить по-русски не умели.
И в сокровенный смысл частицы ut
Стараясь вникнуть, с каждым днем глупели.
Гимнастика ума — полезный труд,
Направленный к одной великой цели:
Нам выправку казенную дадут

---

[1] Волк... увидел... пасущихся на горе... (*лат.*).
[2] Зачем и почему (*лат.*).

Для русского, чиновничьего строя,
Бумаг, служебных дел и геморроя.

XCII

Так укрощали в молодых сердцах
Вольнолюбивых мыслей дух зловредный;
Теперь уже о девственных лесах,
О странствиях далеких мальчик бедный
Не помышлял: потухла жизнь в очах.
В мундир затянут, худенький и бледный,
По петербургской слякоти пешком
Я возвращался в наш холодный дом.

XCIII

Манить ребенка воля перестала:
Царил над нами дух военных рот.
Как в тонких стенках твоего кристалла,
Гомункул, умный маленький урод,
Душа без жизни в детях жить устала...
Болезненный и худосочный род —
К молчанию, к терпенью предназначен,
Чуть не с пеленок деловит и мрачен.

XCIV

В тот час, как темной грифельной доски
И словарей коснулся луч последний
Туманного заката, и тоски
Напев был полон в комнате соседней
Старухи няни, штопавшей чулки,—
Далекий шум послышался в передней...
Мне было скучно, и на груды книг
Я головой усталою поник...

XCV

Вдруг голос мамы, шорох платья милый,
Ее шагов знакомый легкий звук...
Я побледнел и алгебры постылой
Учебник на пол выронил из рук.
Не от любви с неудержимой силой
Забилось сердце,— это был испуг:
Я в классицизме, в мертвом книжном хламе
Так одичал, что позабыл о маме

XCVI

За год разлуки: как угрюмый зверь,
Со злобою смотрел на злые лица
Учителей; казалася теперь
Мне падежей неправильных таблица
Важней любви... От матери за дверь
Я спрятался; как пойманная птица,
Дрожал в углу, безмолвие храня,—
И вдруг она увидела меня...

XCVII

Но я уж сам к ней бросился в объятья,
Про все забыв,— сестер не слышал крик
И не видал, как прибежали братья,
Закрыв глаза, к ее груди приник,
Вдыхая тонкий, нежный запах платья...
То был блаженства незабвенный миг.
Она меня ласкала: «Мальчик бедный,
Какой ты худенький, какой ты бледный!»

XCVIII

Под взорами возлюбленных очей
Я воскресал от холода и скуки,
От этих долгих безнадежных дней;
Пугливый, все еще боясь разлуки,
Не веря счастью, прижимался к ней:
Она глаза мне целовала, руки
И волосы, и согревала вновь
Меня, как солнце, вечная любовь.

XCIX

И улыбаясь, плакали мы оба,
И все, в чем сердце бедное могло
Окаменеть — ожесточенье, злоба
И мертвенная скука — все прошло:
Так не боится зимнего сугроба,
Почуяв жизни первое тепло,
Когда ручей поет и блещет звонкий,—
На трепетном стебле подснежник тонкий.

C

Не мог расторгнуть наших вольных уз
Дух строгости, порядок жизни чинный,

И тайно креп наш дружеский союз:
Ловил я звук шагов ее в гостиной;
Бывало, рода женского на us
Она со мной твердила список длинный,
И находил поэзию при ней
Я в правилах кубических корней.

CI

Под сладостной защитой и покровом,
Когда ласкался к маме при отце,
Я видел ревность на его суровом
Завистливо нахмуренном лице...
Я был пленен улыбкой, каждым словом,
И бриллиантом на ее кольце,
И шелестом одежды, и духами,
И девственными, юными руками.

CII

На завтрак белый рябчика кусок,
Обсахаренный вкусный померанец,
Любимую конфету, пирожок
Она тихонько прятала мне в ранец;
Когда я в классе вынимал платок
С ее духами, вспыхивал румянец
Любви стыдливой на моих щеках,
Сияла гордость детская в очах.

CIII

Я чувствовал ее очарованье
Среди учебных книг и словарей,
Как робкое весны благоуханье
В холодной мгле осенних мрачных дней,—
И по ночам любимых уст дыханье
Над детскою кроваткою моей:
Так ласк ее недремлющая сила
Меня теплом и светом окружила.

CIV

Коль в сердце, полном горечи и зла,
Доныне есть поэзия живая,—
Твоя любовь во мне ее зажгла.
Ты слышишь ли меня, о, тень родная?
Пусть не нужна тебе моя хвала,
Но счастлив я, о прошлом вспоминая,—

И вот неведомую песнь мою
Тебе, как эти слезы, отдаю.

CV

Когда стремлюсь я к неземной отчизне,
Слабея, грешный, на земном пути,
Я внемлю тихой нежной укоризне...
Не отвергай меня, молю, прости,—
Как ты дитя свое хранила в жизни,
Так пред Судом Верховным защити,
Отчаяньем и долгою разлукой
Измученное сердце убаюкай.

CVI

Слетаешь ты, незримая, ко мне,
Как сладкого покоя дуновенье,
Как дальний звук в полночной тишине...
Я чувствую твое благословенье
И к моему лицу, как бы во сне,
Твоих бесплотных рук прикосновенье...
О, милая, над бездною храня,
Любовью вечною спаси меня!

CVII

У волка есть нора, у птиц жилища,—
Лишь у тебя, служитель красоты,
Нет на земле родного пепелища:
Один, среди холодной пустоты,
Я собираю с тихого кладбища
Воспоминаний бледные цветы,
И в душу веет запахом могилы
Сквозь аромат их девственный и милый...

CVIII

Давно привык я будущих скорбей
Угадывать нелживые приметы;
Жизнь с каждым днем становится мрачней...
Ни славою, ни дружбой не согреты,
Лишь памятью невозвратимых дней
Питаемся мы, жалкие поэты,
Как собственною лапою медведь,
Чтоб с голода зимой не умереть.

CIX

Пою, свирель на тихий лад настроя:
До подвигов нам с Музой дела нет.
Я говорю, увидев тень героя:
«Не заслоняй мне солнца вечный свет!»
От мировых скорбей ищу покоя
И ухожу я в прозу давних лет.
Как Диоген — в циническую бочку...
Но здесь для рифмы я поставлю точку.—

CX

Кто б ни был ты, о мой случайный друг,—
Студент ли в келье сумрачной и дымной,
Чиновник ли с бумагами вокруг,
Курсистка, барин ли гостеприимный,
Питомец ли классических наук,—
Не требую любви твоей взаимной,—
Но мне близка теперь душа твоя,
Но ты мне друг, ты человек, как я.

CXI

Ты также горьким опытом наказан...
Минутной благосклонности твоей
Я самой чистой радостью обязан:
Ты дальше всех, ты ближе всех друзей,
И я с тобой свободной дружбой связан.
Теперь, прощаясь с Музою моей,
Забудь вражду, прости, читатель, скуку:
Мы — люди, мы несчастны — дай мне руку!

CXII

Тебе на суд я отдаю себя:
Один ли ты иль в многолюдном свете,
Хлопочешь ли для славы жизнь губя,
Или для денег,— вспомни о завете
Того, Кто, детство милое любя,
Учил нас: «Будьте просты вы, как дети» [1].
Как ни был бы ты зол и мудр, и стар,—
Подумай, жизнь — прекрасный Божий дар;

---

[1] Слова Христа: «...если... не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Евангелие от Матфея, XVIII, 3).

CXIII

Смягчись на миг в борьбе ожесточенной,
На прошлое с улыбкою взгляни:
Не правда ли, там, солнцем озаренный,
Есть уголок родимый, есть они,
Мой брат, как я, познаньем отягченный,
Неведенья безоблачные дни!
От суеты и злобы на минуту
Вернись душою к тихому приюту,—

CXIV

И пусть морщины скуки и труда
Разгладятся!.. Как сон недолговечный,
Те дни прошли... Ты лучше был тогда,
Доверчивый, свободный и беспечный.
Ужели больше нет от них следа,
От этих дум, от простоты сердечной?..
О, только бы ты пожалел о них,—
И дела нет мне до врагов моих.

CXV

Пусть хмурит брови Аристарх [1] журнальный:
В печальном сердце — тихо и светло;
Въезжаю в гавань,— кончен путь мой дальний...
О, друг, утешься, подыми чело
С улыбкою спокойной и печальной,
Прощая Богу смерть и людям зло:
В сияньи солнца есть еще отрада...
Ты улыбнулся,— вот моя награда!

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

I

Уже никто не вденет ногу в стремя,—
Ты одряхлел, классический Пегас,
Тебе подсекло крылья злое Время;
Влачишься ты по улицам у нас,
Где давит сердце вечной скуки бремя,
Где в мутной снежной тьме чуть брезжит газ,

---

[1] Аристарх Самофракийский (1-я пол. II в. до н. э.) — греческий филолог; его имя стало нарицательным для обозначения доброжелательного критика и подлинного ученого.

Где нет ни воли, ни любви, ни солнца,—
Хромою клячей бедного чухонца...

II

От рифмы я отвык, и мне начать
Вторую песнь трудней, чем сдвинуть гору.
Но если час пришел — нельзя молчать:
Слетающих видений внемля хору,
Их голосам я должен отвечать;
И как цветник в полуденную пору —
Жужжаньем пчел, как берег — шумом волн,
Созвучьями недаром слух мой полн.

III

Их музыка подобна поцелую:
И рифма с рифмой — нежная чета —
Сливаются в гармонию живую;
Там ищут уст влюбленные уста.
Я близость бога сладостного чую:
Когда душа уныла и пуста,—
Поэзия — от всех скорбей лекарство.
Уйдем же к ней мы в призрачное царство!

IV

Там нет ни зла людского, ни добра,
Там даже смерти не страшна угроза.
Луна порой в немые вечера
На стеклах бледные цветы мороза
Вдруг оживит: что значит их игра
Бесцельная?.. Холодной жизни проза,
Гори, гори и ты в стихе моем,
Как этот лед, таинственным огнем!

V

О, юность бедная моя, как мало
Ты вольных игр и счастья мне дала:
Классической премудрости начало,
Словарь латинский, холод, скука, мгла...
Как часто я бранил тебя, бывало;
Но все прошло,— теперь не помню зла:
Не до конца сумели в пыльной груде
Нелепых книг тебя испортить люди.

VI

За сладостный, невинный жар в крови,
За первые неопытные грезы,
За детское предчувствие любви
Среди унынья, холода и прозы,
За маленькие радости твои,
За одинокие, немые слезы.
О, молодость, за красоту твою
Тебя люблю, тебе и гимн пою!

VII

Врата несуществующего рая,
Ненаступивших радостей залог,
Благословлю обман твой, умирая.
Я никогда проклясть тебя не мог,
О горькая, о жалкая, святая,
Тебя непобедимой создал Бог:
В тебе есть холод, девственная нега
И чистота нетронутого снега...

VIII

Однажды мы весною в первый раз
Открыли окна слишком рано, в марте:
Пахнул к нам свежий воздух в душный класс;
На стенах с пятнами чернил, на парте,
Изрезанной ножами в скучный час
Закона Божьего, на пестрой карте
Америки луч солнечный блестел,
В листах грамматик ветер шелестел.

IX

Я думаю, Армидин [1] сад, и ты бы
Нам более счастливых не дал грез,
Чем грязный двор, где льда седого глыбы
Кололи дворники; не запах роз,
А москательных лавок, мяса, рыбы —
Зефир весенний с рынка нам принес...
А воробьи на крышах стаей шумной
Чирикали от радости безумной.

---

[1] Волшебница Армида — персонаж из поэмы Торквато Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим». В свои сады заманивала рыцарей-крестоносцев.

X

Смотрели жадно мы на красный дом,
Влюбившись сразу в барышню-соседку.
К окну подходит — видно за стеклом,—
Чтобы крупы насыпать птице в клетку.
Тетради, книги наши под столом:
Как мотылек, попавший детям в сетку,
Трепещет сердце, и волнует кровь
Мне глупая и милая любовь.

XI

Пусть наглухо опять окно закрыли:
Проснувшись вдруг от мертвенного сна,
Сквозь мутное стекло под слоем пыли,
Глядим,— душа надеждою полна,
Мгновенно всю грамматику забыли.
Ты победила, вечная весна!
Так молодость в тюрьме находит радость
И горечь жизни превращает в сладость...

XII

Мне эта улица мила с тех пор:
В галантерейной маленькой лавчонке
Доныне все еще пленяют взор
И те же чувства будят, как в ребенке,—
Знакомых ситцев пестренький узор,
Духи, помада, зеркальца, гребенки
И волны подвенечной кисеи —
Соблазны юной прачки и швеи.

XIII

Душа волненьем сладким вновь объята,
Когда по тем местам я прохожу;
Как тихий свет унылого заката,
Я в улице безмолвной нахожу
Следы тех дней, которым нет возврата...
И сам не знаю, чем в них дорожу;
Но жизнь кругом — холодная пустыня,
Лишь в прошлом все — отрада и святыня.

XIV

Люблю я запах Елки в Рождество,
Когда она таинственно и жарко
Горит и все мы ждем Бог весть чего...

Пускай беду пророчит злая Парка,—
Я верю в Елку, верю в торжество.
По-прежнему от Бога жду подарка.
Как Елка, ты — в огнях ночная твердь.
Ужель подарок Бога — только смерть?

XV

Все мимолетно — радости и мука,
Но вечное проклятие богов —
Не смерть, не старость, не болезнь, а скука,
Немая скука долгих вечеров.
Скучать с приличным видом есть наука
Важнейшая для умных и глупцов:
Подруги наши — страсть, любовь иль злоба,
А Скука — вечная жена до гроба.

XVI

О, темная владычица людей,
Как рано я узнал твои морщины,
Недвижный взор твоих слепых очей,
Лицо мертвее серой паутины
И тихий лепет злых твоих речей!..
Но оживлять унылые картины
Не буду вновь: уж я сказал о том,
Чем был наш мрачный и холодный дом.

XVII

Все важно в нем и сонно, и прилично.
Отец любил детей, но издали:
Он каждую субботу педантично,
Просматривая баллы, за нули
Нотации читать умел отлично.
Без дружбы, вечно ссорясь, мы росли
Все вместе, кучей, как в тени древесной
Семья грибов: нам было слишком тесно...

XVIII

С Сергеем мы ходили в тот же класс.
Напоминая бойкую лисичку,
Зрачки зеленоватых быстрых глаз
Лукаво щурить он имел привычку;
Лицо в веснушках помню как сейчас,
Пронырливый и острый носик, кличку

Всему давал он метко: был актер
И дипломат, насмешлив и хитер.

XIX

А неуклюжий Саша, молчаливый,
С лицом румяным и тупым, в очках,—
Как медвежонок, дикий и ленивый;
В монахи собирался он, в делах
Земных не видя толку; горделивый
Тот замысел погиб и стал монах —
Немало в жизни всяких превращений —
Чиновником особых поручений.

XX

Благоразумен, важен, как старик,
Был Коля гимназистом идеальным;
Премудрость всех учебников постиг.
С лицом худым, бескровным и печальным,
Питая страсть, как первый ученик,
К пятеркам с плюсом и листам похвальным,
Смиряться он умел, терпеть и ждать
И всякому начальству угождать.

XXI

Но иногда, романтик добродушный,
Про все забыв, каких-то ведьм и фей,
И рыцарей, и замок их воздушный
Чертил пером в тиши воскресных дней,
Воображенью странному послушный,
Он на полях латинских словарей,
Влюбленный в этот мир необычайный:
Он верил в сны, пророчества и тайны...

XXII

У нас в крови — неугасимый жар
Мистического бреда; это — сходство
Семейное, опасный людям дар,
Наследственный недуг иль превосходство,
Под пеплом жизни тлеющий пожар,—
Не ведаю — талант или уродство...
Вольнолюбивый, непокорный дух,
Доныне в нас огонь твой не потух.

XXIII

Обычный в жизни путь ему неведом,
Противен будничный и тесный круг.
Был Костя старший брат мой правоведом;
Но поступил он, возмутившись вдруг,
И полный нигилизма модным бредом,
На факультет естественных наук:
Не следуя отцовскому примеру,
Он погубил блестящую карьеру.

XXIV

Самонадеян и умен, и горд,
Наш мертвый дом чиновничий и серый
Он презирал: настойчив, волей тверд,
В добре и зле без удержу, без меры,
От микроскопов ждал он и реторт
Неведомых чудес и новой веры.
Любила мать его; с отцом всегда
Была у Кости тайная вражда.

XXV

Мне помнится под колбою стеклянной
Спиртовой лампочки дрожащий блеск
И жидкости опаловой, туманной
В прозрачных стенах легкий звон и плеск,
Волшебной искры голубой и странной
На гальванической машине треск...
В густой тени большого кабинета
Желтели кости пыльного скелета.

XXVI

Мне объяснял фанатик молодой
Открытья, чудеса лабораторий,
Неясные мелькали предо мной
Отрывки дерзновеннейших теорий;
Показывал он в капле водяной
Друг друга пожиравших инфузорий,
И слушал я, потупив робкий взор,
Про Дарвинов естественный подбор.

XXVII

Я чувствовал, что он неправ во многом:
Краснея, запинался я, дрожал,

Ребяческим и неумелым слогом
На доводы науки возражал,
Когда, смеясь над чертом и над Богом,
Он все, во что я верил, разрушал...
Хотя и страшно было мне и больно,—
Запретный плод прельщал меня невольно.

XXVIII

И любопытство жадное влекло
К опасности на крайние ступени,
И в первый раз на детское чело
Уже недетских дум ложились тени:
Пленяет душу человека зло.
Как некогда Адаму в райской сени —
«Вкуси и будешь богом» — мудрый Змей,
Коварный дал совет душе моей.

XXIX

В столовой раз за чаем мы сидели;
Здесь маятник медлительных часов,
Влачившихся без отдыха, без цели,
Вкус тех же булок, звуки тех же слов
И тусклые обои надоели
Знакомым видом желтеньких цветов.
На ужин экономно разогреты
Унылые вчерашние котлеты.

XXX

Из всех углов ползет ночная тень,
Цедится струйка жиденького чая
Сквозь ситечко; смотреть и думать — лень,
Царить безмолвье, мысли удручая.
У матери — всегдашняя мигрень.
И лампа бледная горит, скучая,
И силы нет дремоты превозмочь,—
Скорей бы сон бесчувственный и ночь.

XXXI

Вдруг настежь дверь,— и дрогнул воздух сонный,
И старший брат с улыбкой на устах
Вошел, и нашей скукой изумленный,
Тотчас притих; румянец на щеках
Еще горит, морозом оживленный,
Пылинки снега тают в волосах:

Он с улицы принес душистый холод,
Глаза блестят,— он радостен и молод.

XXXII

Отец спросил: «Откуда?» — «Из суда,—
Присяжные Засулич оправдали!»
«Как? ту, что в Трепова стреляла?» — «Да».—
«Не может быть!..» — «Такой восторг был в зале,
Какого не бывало никогда:
Мы полную победу одержали!»
Отец сердито молвил: «Что за вздор!»
И вспыхнул вдруг ожесточенный спор.

XXXIII

И шепотом беспомощных молений
Напрасно мама хочет их унять:
То спор был вечный, распря поколений,—
Не уступают оба ни на пядь,
Не слушают друг друга: «Убеждений
Вы права не имеете стеснять!»
Кричит студент; они вскочили оба,—
В очах старинная слепая злоба.

XXXIV

«Наука доказала...» — «Чушь и гиль —
Твоя наука... Вечные основы
Религии...» — «Основы ваши — гниль!
Пред истиною все они готовы
Рассыпаться, как мертвый прах и пыль...
Нам Спенсер дал для жизни принцип новый!» —
«А Бог?..» — «Нет Бога!» — «Спенсер твой —
дурак!»
Дошли до Бога — это скверный знак.

XXXV

Теперь конец уж ясен бедной маме,—
Ей скажет муж: «Во всем — твоя вина.
Детей избаловала!» В этой драме
Немою жертвой быть обречена,
Печальными и кроткими глазами,
Беспомощного ужаса полна,
Глядит на них и вся мольбою дышит:
Никто ее не видит и не слышит.

XXXVI

«Прочь, негодяй, из дома моего!..» —
Кричит отец, бледнея. «Ради Бога,
Не будь к нему жесток, прости его,—
Ну, хоть меня ты пожалей немного!» —
«Нет, не просите, мама,— ничего —
Не надо! — Костя ей кричит с порога,—
Я рад уйти: мне воля дорога,—
Не будет больше здесь моя нога!

XXXVII

Вам оскорблять себя я не позволю...»
И он дверями хлопнул. Мать жалел,
Но думал я, что Костя выбрал долю
Завидную: как был он горд и смел!
И за героем я рвался на волю,
Я сам дрожал от злобы и горел:
Душа была смятением объята;
Я разделить хотел бы участь брата.

XXXVIII

И долго я в ту ночь не мог уснуть:
Все чудились мне тихие рыданья;
Предчувствием беды сжималась грудь.
Я встал; лишь уличных огней мерцанье
По комнате мне озаряло путь,
Когда среди глубокого молчанья,
Как вор, прокравшись в темный длинный зал,
Я разговор из спальни услыхал:

XXXIX

«Он может повредить моей карьере...
Каков щенок, мальчишка, нигилист!» —
«Ну, денег дай ему по крайней мере:
Он вспыльчив, сердцем же он добр и чист...»
Я ухо приложил к закрытой двери
И в темноте внимал, дрожа, как лист,
И страшно было мне, стучали зубы:
Слова отца безжалостны и грубы.

XL

С тех пор прошли года, но помню то,
Что слышал там: осталось в сердце жало.
«Он — сын твой, не губи его,— за что? ..» —

«Ведь я сказал: дам сорок в месяц».— «Мало».—
«А сколько ж?» — «Сто».— «Ну, пятьдесят...»
— «Нет, сто...»
Мольбою долгой, долгой и усталой
Упрямой силою любви своей
Она боролась с ним из-за грошей.

XLI

Я слов уже не слышал,— только звуки
Все тех же просьб: так падает вода
И точит твердый камень; лишь от скуки
Он делал ей уступку иногда.
Она ему в слезах целует руки,
Терпеньем побеждает, как всегда,
Смирением глубоким и притворством
И жертв незримых медленным упорством.

XLII

Мы грешны все: я не сужу отца.
Но ужаса я полн и отвращенья
К семейной пытке, к битве без конца,
Без отдыха, где нет врагу прощенья,
Где только бледность кроткого лица
Иль вздох невольный выдает мученья:
Внутри — убийство, а извне хранит
Законный брак благопристойный вид.

XLIII

Когда же утром мы при лампе встали
И за окном, сквозь мокрый снег и тень,
С предчувствием заботы и печали
Рождался вновь ненужный серый день,
За кофием от няни мы узнали,
Что мать больна, что у нее мигрень:
И вещая тоска мне сердце сжала.
Три дня она в постели пролежала.

XLIV

И может быть, то первый приступ был
Болезни тяжкой, длившейся годами,
Неисцелимой; все же гневный пыл
Отца смягчен был долгими мольбами.

Хотя он ссоры с Костей не забыл,
Но поневоле, уступая маме,
Не одобряя баловства детей,—
Не сорок дал ему, а сто рублей.

XLV

И жизнь пошла чредой однообразной;
Зазубрины и пятнышки чернил
Все те же на моей скамейке грязной,
Родной язык коверкая, долбил
Я тот же вздор латыни безобразной,
И года три под мышками теснил
Все в том же месте мне мундирчик узкий,
На завтрак тот же сыр и хлеб французский.

XLVI

Лимониус директор, глух и стар,
Софокла нам читал и *Одиссею*,
Нас усыплять имея редкий дар;
Но до сих пор пред ним благоговею,
Лишь вспомню, с крепким запахом сигар,
Я вицмундир перед скамьей моею
И тонкий пух седых его волос
И в голубых очках багровый нос.

XLVII

Урок по спрятанной в рукав бумажке,
Бывало, всякий бойко отвечал.
При нем играли в карты мы и в шашки:
Нам добродушный немец все прощал;
Но вдруг за белый воротник рубашки
Неформенной, за галстух он кричал
С нежданным пылом ярости безмерной
И тем внушал нам трепет суеверный.

XLVIII

Честнейший немец Кесслер — латинист,
Заросший волосами, бородатый,
На вид угрюм, но сердцем добр и чист,

Как древние Катоны [1], Цинциннаты [2]
И Сцеволы [3]; большой идеалист,
Из года в год, отчаяньем объятый,
Всем существом грамматику любя,
Он нас терзал и не жалел себя.

XLIX

Ответов ждал со страхом и томленьем,
Краснея сам, смущаясь и дрожа:
Ему казалась личным оскорбленьем
Неправильная форма падежа,
Ему глагол с неверным удареньем
Из наших уст был как удар ножа.
Земному чуждый, пламенный фанатик,
Писал он ряд ученейших грамматик.

L

Читал Платона Бюрик — не педант,
Напротив, весельчак, но злейший в мире,
Весь белый, бритый, выхоленный франт,
В обрызганном духами вицмундире;
К жестоким шуткам он имел талант.
Того, кто знал урок, оставив в мире,
Он робкого лентяя выбирал
И долго с ним как с мышью кот играл.

LI

Несчастный мальчик, с мнимою отвагой,
К доске уже бледнея подходил;
Тот ободрял его, шутил с беднягой
И понемногу в дебри заводил,
Не торопясь; но покрывались влагой
Глаза его, он медленно цедил
Слова сквозь зубы и в дремоте сладкой
Ласкал тихонько подбородок гладкий.

---

[1] По-видимому, имеется в виду Катон Старший (234—149 до н. э.) — римский государственный деятель и писатель, поборник общественных интересов и чистоты нравов.

[2] Цинциннат (V в. до н. э.) — римский патриций; по преданию, был олицетворением верности гражданскому долгу, доблести и скромности.

[3] Сцевола, Гай Муций — по преданию, римский юноша-герой, пробравшийся в лагерь этрусков, чтобы убить этрусского царя. Будучи схвачен, сам опустил правую руку в огонь, чтобы показать презрение к боли и смерти.

LII

Как выступал на лбу ученика
Холодный пот, с улыбкой сладострастной
Следил, и мухой в лапах паука
Тот бился все еще в борьбе напрасной:
Томила жертву смертная тоска;
«Скорей бы нуль!» — мечтал уже несчастный,
В схоластике блуждая без руля,
А смерти нет, и нет ему нуля!

LIII

Но в старших классах алгебры учитель
Был хуже немцев — русский буквоед,
Попов, родной казенщины блюститель;
Храня военной выправки завет,
Незлобивый старательный мучитель,
Он страшен был душе моей, как бред...
В лице — подобье бледной мертвой маски —
Мерцали хитрые свиные глазки.

LIV

В нем было все противно: глупый нос
И на челе торжественном и плоском
Начальственная важность, цвет волос
Прилизанных и редких с желтым лоском;
Он — неуклюж, горбат и хром, и кос,—
Казался жалким, странным недоноском.—
Всегда покорен и застенчив, раз
Я дерзким бунтом удивил наш класс.

LV

Мне от Попова слушать надоело —
«Ровней держитесь, выпрямите грудь!» —
Я на скамью — неслыханное дело —
Сел, опершись локтем, чтоб отдохнуть
И пуговиц, ему ответив смело,
На сюртуке дерзнул не застегнуть;
Он закричал, но я решил упрямо:
Умру, не застегну, не сяду прямо!

LVI

Лимониус с инспектором пришли,
И сторожа меня на новоселье
В сырой, холодный карцер повели

И заперли на ключ в позорной келье —
Жилище крыс, но там, во тьме, в пыли,
Я чувствовал нежданное веселье:
Подвижником себя воображал
И в лихорадке сладостной дрожал.

LVII

Как жаждал сердцем правды я и мщенья!
Не все ль равно, за что восстать — за мир
И все его обиды и мученья,
Или за право расстегнуть мундир?
Тебя познал я, демон возмущенья:
Утратив сердца прежний детский мир,
Я чувствовал,— хотя был бунт напрасен,
Что ты, Злой Дух, мой темный Бог — прекрасен!

LVIII

Тебе остался верен я с тех пор
И, соблазненный Ангелом суровым,
Не покорясь, всю жизнь веду я спор,
Из-за несчастных пуговиц с Поповым:
Душа безумно рвется на простор.
За то, что я к мирам стремился новым,
За то, что рабства я терпеть не мог,—
Меня казнил Лимониус и Бог.

LIX

В те дни уж я томился у преддверья
Сомнений горьких, и когда наш поп,
Находчивый и полный лицемерья,
Доказывал, наморщив умный лоб,
Чтоб истребить в нас плевелы неверья,
Научною теорией потоп,
Иль логикой — существованье Бога,—
Рождалась в сердце вещая тревога.

LX

И бес меня смущал: нас каждый день
Водили в церковь на Страстной неделе;
Напев дьячка внушал мне сон и лень:
Мы по казенным правилам говели;
И неуютною казалась тень,
Недружески огни лампад блестели;

Рука творила знаменье креста,
Но мертвая душа была пуста.

LXI

Кощунственная мысль была упряма;
И чистая святая белизна
Просвирки нежной, запах фимиама,
Вкус теплого церковного вина,
И голубь, Дух Святой, на своде храма,
За царскими вратами глубина,
Не веют в душу прежней сладкой тайной:
Рождает все лишь страх необычайный.

LXII

Но по привычке давней перед сном
Я начинал молитву, умиленный:
С подарком няни — сахарным яйцом
На алой ленте, с вербой запыленной,
Был образок так родствен и знаком...
Когда же вновь опомнюсь, пробужденный,—
Как будто вдруг в душе потухнет свет,
И ужасает мысль, что Бога нет.

LXIII

Скребется мышь, страшат ночные звуки,
На улице умолк последний шум.
А я сижу во тьме, ломая руки,
И отогнать не в силах грешных дум:
С мятежным духом, дьяволом науки,
Изнемогая борется мой ум,
И ангела хранителя напрасно
На помощь я зову с надеждой страстной.

LXIV

Что избавление должно прийти,
Я чувствую, не ведая, откуда.
Целуя образ, я молил: «Прости!
Не верю я и знаю — это худо,
Но ведь Тебе легко меня спасти:
О, дай мне знак, о, только сделай чудо,
Теперь, сейчас, до наступленья дня,—
Хоть маленькое чудо для меня!»

LXV

Миссионер для обращенья Кости,
Ученый поп, был приглашен отцом:
Он приходил к нам по субботам в гости;
В лиловой рясе с золотым крестом.
Пить чай умел, в беседах, чуждых злости,
Лоб вытирая шелковым платком,
С баранками и сливками так вкусно
И Дарвина опровергал искусно.

LXVI

И спорам их о Боге без конца
Я с жадностью внимал, дохнуть не смея:
Доказывал он Промысел Творца,
И, объясняя книги Моисея,
С приятной тихой важностью лица
Цитатами из книг ученых сея,
По поводу Адама говорил
Он о строеньи черепа горилл.

LXVII

Но дерзкого неверья злое семя
В душе моей росло: я помню, раз
Наш батюшка в гимназии, в то время
К принятью Тайн Святых готовя класс,
Моих сомнений увеличил бремя:
Смутил меня о грешнике рассказ,
Вкусившем недостойно от Причастья:
Я слушал, полон жадного участья.

LXVIII

Как Тайнами Христовыми сожжен,
Язык его лукавый был раздвоен
И в трепетное жало превращен...
Я был, как этот грешник, недостоин;
В кощунственные мысли погружен,
Я ждал беды, угрюм и бесспокоен,
И, веря, что меня накажет Бог,
Раскаяться хотел я и не мог.

LXIX

С непобедимым трепетом боязни
Об исповеди думал, и тоска

Мне грызла сердце, холод неприязни
Внушал один лишь вид духовника:
Я представлял весь ужас этой казни
И чувствовал, как вместо языка
Во рту моем шипело и дрожало
Змеиное раздвоенное жало.

LXX

Но вышло все так просто, без чудес,
Что я почти жалел о том, и с шумом
Весенних вод напев «Христос воскрес»
Теперь в молчаньи слушал я угрюмом:
Веселый праздник для меня исчез,—
Уже ни Пасха белая с изюмом,
Ни с розаном, нежны и горячи,
Не радовали сердца куличи.

LXXI

Я с нянею пошел на балаганы:
Здесь ныла флейта, и пищал фагот,
И с бубнами гудели барабаны.
До тошноты мне гадок был народ:
Фабричные с гармониками, пьяный
Их смех, яйцом пасхальным полный рот,
Самодовольство праздничного вида,—
Все для меня уродство и обида.

LXXII

А в тучках — нежен золотой апрель.
Царицын Луг уж пылен был и жарок;
Скрипя колеса вертят карусель,
И к облакам ликующих кухарок
Возносит в небо пестрая качель:
В лазури цвет платков их желтых ярок...
И безобразье вечное людей
Рождает скорбь и злость в душе моей.

LXXIII

И благовест колоколов победный,
Как приговор таинственный, гудел...
Я в эти дни, к прискорбью мамы бедной,
Как будто в злой болезни, похудел:
По комнатам, как тень, слонялся, бледный
И нелюдимый, плохо спал и ел,

И спрашивала мать меня порою
В отчаяньи: «Мой мальчик, что с тобою?..»

LXXIV

Но я молчал, стыдился дум моих,
Лишь изредка, не говоря ни слова,
К ней подходил, беспомощен и тих,
И маленьким, недумающим снова
Я делался от ласк ее простых,
Когда она, жалея, как больного,
И мудрое безмолвие храня,
С улыбкою баюкала меня.

LXXV

Спасителем моим Елагин милый
Был, как всегда: экзамены прошли,
И, как покойник, вставший из могилы,
Я свежестью дышал сырой земли,
От солнца щурился, больной и хилый,
Но радовали в море корабли,
Знакомый пруд, и ледник, и дорожка
Меж грядками душистого горошка.

LXXVI

Все трогало меня почти до слез —
С полупрозрачной зеленью опушка
И первый шелест молодых берез,
И вещая, унылая кукушка,
И дряхлая подруга детских грез —
Родная ива, милая старушка,
И дачный вкус парного молока,
И теплые живые облака.

LXXVII

Катались мы на лодке с братом Сашей:
Покинув весла, зонтик дождевой
Мы ставили, как парус, в лодке нашей;
Казался купол неба над водой
Лазурной опрокинутою чашей,
И на пустынной отмели порой
С гниющим остовом ладьи рыбачьей
Картофель мы пекли в золе горячей.

LXXVIII

Закусывая парой огурцов
И слушая великое молчанье
Зеркальных вод и медленных коров
Протяжное унылое мычанье
И в стеблях желтых водяных цветов
Ленивых струек слабое журчанье,—
Я все мои грамматики забыл,
Не думал, есть ли Бог, и счастлив был.

LXXIX

Скучать в домашней церкви за обедней
По праздникам в Елагинский дворец
Водили нас; я помню, в арке средней
Меж ангелами реял Бог Отец.
Но суетных мой ум был полон бредней,
Я думал: службе скоро ли конец?
Смотрел, как небо в перистых волокнах
Высоких туч блестит в открытых окнах.

LXXX

Крик ласточек сквозь пение псалмов,
Шумящие под свежим ветром клены,
Дыхание сиреневых кустов,
Все манит прочь из церкви в сад зеленый,
И кажется мне страшным лик Христов
Сквозь зарево свечей во мгле иконы:
Любовью, чуждой Богу, мир любя,
Язычником я чувствовал себя.

LXXXI

И в этой церкви раз в толпе воскресной,
Среди девиц уродливых и дам,
Увидел профиль девушки прелестной,
Смотрел я жадно, волю дав очам:
Мне было все в ней тайною чудесной,
Подобной райским непонятным снам,
И я в благоговеньи не заметил,
Цвет глаз ее был темен или светел.

LXXXII

Лишь смутно помню, что она была
Вся в белом кружеве; глубокой тенью
Ресниц и томной бледностью чела
Я изумлен и предан был смятенью;

Казалось мне, воздушна и бела,
Она принцессой Белою Сиренью,
Окутанною в сказочный туман.
Тайком невинный начался роман.

LXXXIII

И образ твой, Елагинская фея,
Доныне сердцу памятен и мил;
Там, где к пруду спускается аллея,
За белым платьем иногда следил
И прятался я, подойти не смея;
Ни разу в жизни с ней не говорил,
Любви неопытную душу предал,
Хоть имени возлюбленной не ведал.

LXXXIV

Когда в затишьи знойных вечеров
Гармоника кухарок собирала
В конюшню — царство важных кучеров,
И в облаках был нежный цвет коралла,
С толпою неуклюжих юнкеров
В крокет моя владычица играла
И бегала, смеялась громче всех:
Доныне в сердце — этот милый смех.

LXXXV

И, крадучись, как вор, к решетке сада
За дачей, где она жила, тайком
Я подходил, и было мне отрада
Смотреть на ветхий деревянный дом,
Хотя мешала пыльная ограда
Кустов колючих; к тем, кто с ней знаком,
Я завистью был жгучей пожираем,
И садик бедный мне казался раем.

LXXXVI

Но холод жизни ранний цвет убил,
И все, что было мне еще неясно,
Что я в душе лелеял и хранил,
Едва родившись, умерло безгласно,—
И никогда я больше не любил
Так пламенно, так нежно и напрасно,
Как в тех мечтах, погибших навсегда
Без имени, без звука, без следа...

LXXXVII

Мы в сердце вечную таим измену:
Уж привлекал внимание мое
Иной предмет: однажды прачку Лену
Я увидал, стиравшую белье;
Я помню мыла тающую пену,
Когда сквозь пар смотрел я на нее,
Румяную, с веснушками, с глазами
Почти без мысли, с голыми руками.

LXXXVIII

А в прачешной и в кухне был пожар
Сияния вечернего: блеснули
Ведро, кофейник, яркий самовар,
Зрачки кота, дремавшего на стуле,
И полымем объятые, как жар,
Кругом на полках медные кастрюли;
И Лена, вся здоровием дыша,
Была в огне заката хороша.

LXXXIX

И весело мне было рядом с нею:
Под нежным солнцем в тонких завитках
Коротеньких волос я видел шею
И ямочки на розовых локтях.
Хотя любил я сказочную фею,
Но эта баба с утюгом в руках,
Богиня синьки, мыла и крахмала,
Мое воображенье занимала.

XC

Зачем ты дал нам две души, Господь?
Друг друга ненавидя и страдая,
Напрасно в людях спорят дух и плоть,
Любовь небесная, любовь земная:
Одна другой не может побороть.
С Владыкой Тьмы враждует Ангел рая:
Кому из них я первенство отдам,
Кто победит меня,— не знаю сам.

XCI

Не смейся же, читатель благосклонный,
Что мы с тобой нежданно перешли

От прачки Лены с барышней Мадонной
К противоречьям неба и земли:
Один закон владеет непреклонный
Созвездьями, горящими вдали,
С их правильным восходом и закатом,
И силой, движущей незримый атом.

XCII

Так сразу я в двух женщин был влюблен:
Мне самому казалось это диким...
Уже тогда с младенческих времен
Лукавым духом, Янусом двуликим,
Неопытный мой ум был соблазнен,
И с этих пор я с ужасом великим
Всю жизнь внимал, как с Богом спорит бес,
Дух грешной плоти с ангелом небес.

XCIII

Тот узел Гордиев чей меч разрубит?
О, если бы решить я только мог.
Кого душа моя сильнее любит,
Кто сердцу ближе: Демон или Бог!
Их двойственный соблазн меня погубит:
Я все еще стою меж двух дорог,
И с прачкой Леной борется богиня —
С кощунством вечным — вечная святыня.

XCIV

Я осенью в тот год увидел Крым:
Казался край далекий сном волшебным.
Я не из тех, кому приятен дым
Отечества, и был всегда целебным
Мне путь далекий к небесам иным.
Отец мой ехал по делам служебным;
Его давно уже молила мать
Меня с собой на южный берег взять.

XCV

Из царства моха, кочек и рябины
Перелетел я в дремлющий аул
В уютной неге солнечной долины;
Мне яркий месяц в очи заглянул;
В тиши ночной таинственной пучины
Я полюбил многоголосый гул,

Смотрел, как в небе серебрится тополь
И при луне белеет Севастополь.

XCVI

Там, где шумят немолчные валы,
Где вознеслись над морем великаны —
Из черного базальта две скалы,
И стелются над пропастью туманы,
Где реют с хищным клекотом орлы,
Был некогда великий храм Дианы,—
Там ныне мрачный и глухой пустырь,
А рядом — крест и бедный монастырь.

XCVII

В обители Георгия Святого
Здесь иноки нашли себе приют,
Но по ночам на мысе диком снова
Колонны храма белого встают —
Языческие призраки былого,
И волны гимн торжественный поют...
Там я бродил, и сердце грустью ныло,
А колокол вдали звучал уныло.

XCVIII

О, боги древности, я чуял вас,
Когда в безмолвной и печальной тризне
Сюда ваш рой слетал в предзвездный час:
Казалось мне,— в иной далекой жизни
Я с вами здесь бывал уже не раз
И ныне вновь пришел к моей отчизне;
С виденьями богов наедине
И сладостно, и страшно было мне...

XCIX

Обвеян прелестью твоей, Эллада,
В какие был я думы погружен,
Чему душа была безумно рада,
Когда горел полдневный небосклон
И волн дышала вечная прохлада
На высоте меж греческих колонн
Той полукруглой маленькой веранды
Над рощами тенистой Ореанды.

C

Там я любил по целым дням мечтать:
В благоуханьи мяты и шафрана
И в яркости твоей, морская гладь,
И в бледной дымке знойного тумана —
Во всей природе южной — благодать
Великого языческого Пана.
О, древний бог, под сенью рощ твоих
Сложил я первый неумелый стих.

CI

Но долго я скрывал подруги тайной,
Стыдливой Музы, нежные грехи:
Хромой сонет о бледной розе чайной
Восторженной был полон чепухи.
Но музыкою рифм необычайной
Я упивался: глупые стихи
Казались мне пределом совершенства,
И я над ними плакал от блаженства.

CII

Я Пушкину бесстыдно подражал,
Но, ослеплен туманом романтизма,
В *Онегине* я только рифм искал:
Нужна была мне сказочная призма —
Луна и пурпур зорь, и груды скал;
Мятежный Пушкин, полный байронизма
И пышных грез, мне нравился тогда,
Каким он был в двадцатые года.

CIII

Я пел коварных дев, красы Эдема
И соловья над розой при луне,
И лучшую из тайных роз гарема,
Тебя, которой бредил я во сне
И наяву, о, милая Зарема.
Стихи журчали, и казалось мне,
Что мой напев был полон неги райской,
Как лепет твой, фонтан Бахчисарайский!

CIV

Я не люблю родных моих, друзья
Мне чужды, брак — тяжелая обуза.

В томительной пустыне бытия
Гонимая отверженная Муза —
Единственная спутница моя.
И более надежного союза
Нет на земле: с младенчества храня,
Она, как мать, лелеяла меня.

CV

Не ведали мы с нею шумной славы,
Но в дни унынья ты была со мной,
Богиня кроткая, в тени дубравы,
Или у вод, объятых тишиной,
Где сонные благоухают травы,
Ждала меня с улыбкой неземной,
Таинственною прелестью дышала
И лаской невинной утешала.

CVI

И был в чертах прекрасного лица
Глубокий след божественной печали.
Лавровой тенью гордого венца
Твоей главы друзья не увенчали.
Ты слышала и брань и суд глупца,
Сообщников немногих мы встречали.
Но, совершая долг своим путем,
Всегда мы шли и до конца пойдем.

CVII

С тобой не страшен ночи мрак беззвездный:
Направь мои неверные стопы.
Над пропастью цветы тебе любезны,
Растущие не на путях толпы,
И ты ведешь меня по краю бездны
На узкие необщие тропы,
Откуда виден отблеск на вершинах
Зари, еще неведомой в долинах.

CVIII

Пусть годы память обо мне сотрут,
Слезой умильной юноши и девы
Не осветят мой незаметный труд,
Пусть не дано взошедшие посевы
Очам моим увидеть, и замрут
Без отклика негромкие напевы:

Я сердцем чист, я делал все, что мог,—
Тебя, о, Муза, оправдает Бог.

CIX

Мы не нашли в сердцах людей ответа,
Но только бы он до конца горел,
Огонь, которым жизнь моя согрета,—
Недаром я любил, страдал и пел.
Благословен святой удел поэта,
Благословен изгнанников удел,
Мой угол бедный, тихая лампада
Моих ночей и тайных слез отрада.

CX

Когда я с Музой начинал мой путь
И ждал победы, дерзостен и молод,
Как страшно было в Лете потонуть,
Как мучил славы ненасытный голод!
Но в тридцать лет ровнее дышит грудь,
Сулит покой нам Леты вечный холод:
Отрада есть в ее ночной волне,—
В молчании, в забвеньи, в тишине...

CXI

А может быть и то: под слоем пыли
Меж тех, чьи книги только мышь грызет,
Кого давно на чердаке забыли,
Историк важный и меня найдет
И песнь мою о стародавней были
С улыбкою внимательной прочтет,
И гордую в изгнании суровом
Помянет Музу нашу добрым словом.

CXII

Теперь с тобой прощаясь, мы почтим,
Богиня, ту, что тихо спит во гробе,
Кто ангелом хранителем твоим
Была во мраке, холоде и злобе.
Возлюбленную тень благословим:
Вы были мне заступницами обе,
И верую, что в час последний вновь
Меня спасет великая любовь.

CXIII

Ты в горестный и страшный час, родная,
Придешь ко мне не с горестным лицом,
Не слабая, не жалкая, больная,
Такой, как ты была перед концом,
Но с девственной улыбкой, молодая,
С торжественно сияющим венцом,
Меня в преддверьи новой жизни встретишь
И радостно на мой призыв ответишь.

CXIV

Сотрешь с чела в предсмертной тишине
Холодный пот моей последней муки.
Чтоб слаще мне спалось в могильном сне,
Баюкая, на любящие руки
Возьмешь меня и тихо скажешь мне:
«Не бойся же,— нет смерти, нет разлуки.
Тебе я песню прежнюю спою,—
Усни, мой мальчик, баюшки-баю».

CXV

Великого обета не нарушу:
О, мама, скоро я к тебе приду!
Как погибающий пловец — на сушу,
Стремлюсь к тебе и радуюсь, и жду:
Душа обнимет родственную душу,
В твоих чертах любимых я найду,—
Как разрешишь ты все земные узы,—
Черты моей богини, вечной Музы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Глядим, глядим все в ту же сторону,
За мшистый дол, за топкий лес.
Вослед прокаркавшему ворону,
На край темнеющих небес.
Давно ли ты, громада косная,
В освобождающей войне,
Как Божья туча громоносная,
Вставала в буре и в огне?
О, Русь! И вот опять закована,
И безглаголъна, и пуста,
Какой ты чарой зачарована,
Каким проклятьем проклята?
И все ж тоска неодолимая
К тебе влечет: прими, прости.
Не ты ль одна у нас родимая?
Нам больше некуда идти.
Так, во грехе тобой зачатые,
Должны с тобою погибать
Мы, дети, матерью проклятые
И проклинающие мать.

ТРИЛОГИЯ «ЦАРСТВО ЗВЕРЯ»

Трилогия «Царство Зверя» представляет собой логическое художественное и философское продолжение и завершение трилогии «Христос и Антихрист».

Антихрист, согласно учению апостола Павла,— «человек греха, сын погибели», который «в храме Божием сядет... как Бог, выдавая себя за Бога» (Второе послание к Фессалоникийцам, II, 3, 4). Это и есть апокалиптический Зверь, лжехристос и враг Христа, которого, однако, Христос победит (Откровение [Апокалипсис] Иоанна Богослова, XVII, 14; Второе послание к Фессалоникийцам, II, 8, 9).

Если в романе «Петр и Алексей» в образе Петра Великого явственно проступают черты Антихриста (он носит личину глубоко верующего, но глумится над Церковью и губит ее), если Антихрист уже тогда появился в России, то в начале XIX столетия, по мнению писателя, Антихрист побеждает, и, хотя победа эта внешняя и временная, Россия, тем не менее, превращается в Царство Зверя. Но христианские страны имеют своих небесных покровителей. Например, покровитель Англии — св. Георгий Победоносец, Испании — апостол Иаков-младший, Франции — св. Денис и т. д. Россия же с древнейших времен называется Домом Богоматери, с Ее иконами шло на битву русское воинство: с Донской иконой — войско князя Дмитрия Донского, с Казанской — войско князя Дмитрия Пожарского, со Смоленской — армия М. И. Кутузова. И поэтому полное ужаса, крови и грязи повествование в романах Мережковского о России неожиданно завершается мажорным заключительным аккордом: «Россию спасет Мать».

Хронологические рамки русской истории в трилогии «Царство Зверя» очерчены предельно точно: первая четверть XIX века. Была ли Россия этой эпохи Царством Зверя?

Начнем с Павла I. Конечно, о любой исторической личности можно услышать разное. И все же не часто одному и тому же человеку давали столь противоречивые, а подчас и взаимоисключающие характеристики.

Так, президент Российской Академии наук кн. Е. Р. Дашкова писала: «Ссылки и аресты стали событиями... обыденными... Я была глубоко потрясена... ужасом, сковывавшим решительно всех, так как не было почти дворянской семьи, из которой хоть один член не томился бы или в Сибири или в крепости... Всюду царил страх и вызывал подозрительное отношение к окружающим, уничтожал доверие друг к другу, столь естественное при кровных родственных узах. Под влиянием страха

явилась и апатия, чувство губительное для первой гражданской добродетели — любви к родине».[1]

Герой 1812 года, поэт Денис Давыдов в «Воспоминаниях о цесаревиче Константине Павловиче» говорил, что Павлу «...нельзя было отказать в замечательных способностях и рыцарском благородстве...» [2].

А вот взгляд на Павла I из иной эпохи, из более поздних времен.

В. Ф. Ходасевич: «...мы решаемся утверждать, что до тех пор, пока позорное клеймо тирана и изверга не будет снято с императора Павла, все слова о нелицеприятном суде истории будут звучать кощунственною насмешкой. Он осужден своими убийцами. Осуждая его, они оправдывали себя.

Историческая наука согласилась с судом убийц. В борьбе личности с обществом (особенно когда этой личностью является самодержавный монарх) она считала для себя обязательным неизменно брать сторону общества. Всякая оппозиция могла безошибочно рассчитывать на сочувствие науки, так как она являлась носительницей «прогресса», этого кумира минувшего века.

Правда, стараясь быть беспристрастными, ученые-исследователи павловской эпохи особенно подчеркивали психическую ненормальность Павла Петровича и в условиях его личной жизни видели некоторые обстоятельства, как бы смягчающие его личную вину... Но взгляды, свойственные их времени, не позволили им признать, что кроме исторической правоты существует большая правота — моральная.

Допустим даже на миг, что в убийстве Павла общество было исторически право: Павел мешал ему жить так, как оно хотело. Все же высокая моральная правота была на стороне государя, и это вовсе не потому, что он был жертвой, а общество палачом: убийство было последним и сравнительно наиболее благородным приемом борьбы, разыгравшейся между подданными и их государем. Мы также не станем оправдывать убитого государя его сумасшествием, потому что в таком оправдании он не нуждается, да и не имеет оснований на него рассчитывать» [3].

Художник А. Н. Бенуа, глубоко изучивший эпоху Павла, признавался: «Как мне понятна ... любовь (вовсе не почтение и не страх, а именно нежное и любовное чувство), которое он умел внушить к себе...»[4].

«Император Павел по характеру не был тупым, кровожадным извергом, каким не раз его изображали историки русские и иностранные. От природы человек одаренный, он стал жертвой душевной болезни... Неограниченная власть самодержца превратила его личную драму в национальную трагедию»[5]. Это мнение человека, весьма осведомленного в русской истории,— писателя Марка Алданова.

Дело историков — беспристрастно и нелицеприятно воссоздать историческую ситуацию и образ императора Павла I. Можно сказать только, что кн. Дашкова не покривила душой, создавая столь мрачную

---

[1] Екатерина Дашкова. Записки 1743—1810. Л., «Наука», 1985, стр. 182, 184.

[2] Денис Давыдов. Воспоминания о цесаревиче Константине Павловиче.— В кн.: Денис Давыдов. Сочинения. М., Государственное издательство художественной литературы, 1962, стр. 459.

[3] В. Ходасевич. Павел I.— В кн.: В. Ходасевич. Державин. М., «Книга», 1988, стр. 291—292.

[4] А. Н. Бенуа. Мои воспоминания. М., «Наука», т. 1 стр. 256—257.

[5] М. А. Алданов. Заговор. Святая Елена, маленький остров. М., «Московский рабочий», 1989, стр. 7.

картину. Но также известно, что она питала антипатию к ненавистному сыну обожаемой ею Екатерины II и, будучи сослана Павлом, не могла быть к нему объективна. Она совсем не упоминает о его благих деяниях: он отменил тяжкий рекрутский набор, объявленный Екатериной, отменил разорительную для крестьян хлебную подать, запретил продажу крепостных и дворовых без земли, освободил Радищева и Новикова, освободил и щедро наградил бунтовщика Костюшко. Указ от 5 апреля 1797 г., подписанный в день коронации Павла, запретил работу на барщине по воскресным дням и содержал совет ограничиваться трехдневной барщиной. Похоже все это на деяния Антихриста?!.

А что можно сказать об отношении современников к Александру I?

Там — громкой славою,
Сильной державою
    Мир он покрыл.
Здесь безмятежно
Сенью надежною,
Благостью нежною
    Нас осенил.—

Это А. С. Пушкин («Боже! царя храни!»). Но у него Александр и «венчанный солдат» («На Стурдзу»), он же и «враг труда», и «Нечаянно пригретый славой,//Властитель слабый и лукавый» («Евгений Онегин», гл. X). И о нем же: «Покойный царь еще Россией//Со славой правил» («Медный всадник»), и еще:

Ура, наш царь! так! выпьем за царя!
Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей.
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал Лицей.

19 октября («Роняет лес багряный свой убор...»)

Александр отличался «тонким, просвещенным умом, мужеством, хладнокровием, очаровательным обращением»[1].

А вот как характеризует Александра выдающийся русский историк В. О. Ключевский: «...Александр вступил на престол с запасом возвышенных и доброжелательных стремлений, которые должны были водворять свободу и благоденствие в управляемом народе, но не давал себе отчета, как это сделать. Эта свобода и благоденствие, так ему казалось, должны были водвориться сразу, сами собой, без труда и препятствий, каким-то волшебным «вдруг». Разумеется, при первом же опыте встретились препятствия; не привыкнув одолевать затруднений, великий князь... приходил в уныние. Непривычка к труду и борьбе развила в нем наклонность преждевременно опускать руки, слишком скоро утомляться; едва начав дело, великий князь уже тяготился им... имея 18 лет от роду, он уже чувствовал себя усталым и признавался, что его мечта — со временем, отрекшись от престола, поселиться с женой на берегу Рейна и вести жизнь частного человека в обществе друзей и в изучении природы... После царя Алексея Михайловича император Александр [производил] наиболее приятное впечатление, вызывал к себе сочувствие своими личными качествами; это был роскошный, но только тепличный цветок, не успевший или не умевший акклиматизироваться на русской почве. Он рос и цвел роскошно, пока стояла

---

[1] Денис Давыдов. Сочинения. М., Государственное издательство художественной литературы, 1962, стр. 460.

хорошая погода, а как подули северные бури, как наступило наше русское осеннее ненастье, он завял и опустился.

Такие недостатки, вынесенные из воспитания, всего сильнее отразились на первоначальной преобразовательной программе»[1].

Перед нами самый обыкновенный человек, со своими достоинствами и недостатками, и уж меньше всего пригодный для роли Антихриста.

Николая I мы видим только в день восшествия на престол и в нескольких последующих эпизодах. Что ж, всякий человек имеет право защищать свою жизнь и уж тем более жизнь своих близких: войдем же и в его положение и не забудем, что Каховский, как бы ни относиться к нему, был убийцей. Не забудем и о том, что вдове Рылеева император назначил пенсию. А самое главное, невозможно говорить о «Царстве Зверя» применительно к человеку, только что принявшему бразды правления.

Но может быть Антихрист — Аракчеев? Это, пожалуй, фигура, наиболее подходящая, и тут уместно будет вспомнить, что существовал не только Аракчеев сам по себе — существовала и аракчеевщина. Так может быть, аракчеевщина и есть Царство Зверя?

Спору нет: в России первой четверти минувшего столетия было немало тяжелого и трагического. Крепостное право (существовавшее не только в России, но и в ряде других стран Центральной и Восточной Европы), аракчеевщина с ее военными поселениями, вызвавшими Чугуевский бунт, с непомерной жестокостью подавленный тем же Аракчеевым, а еще раньше — отправка Павлом войск в Индию, отправка им же целого полка в Сибирь, правда, возвращенного с дороги...

Все это так, но была ведь при этом и совсем другая Россия. Но похоже — героические, светлые времена русской истории не интересуют Мережковского.

Это была Россия-победительница — Россия, победившая великого полководца и сильнейшую армию (1812), Россия, не в первый и, как теперь нам известно, не в последний раз выполнившая свою высокую историческую миссию — миссию спасения других народов. Русский флот под командованием Д. Н. Сенявина разгромил турецкий флот в Дарданелльском и Афонском сражениях (1807). Успешно прошел поход русского флота под командованием Ф. Ф. Ушакова в войне с Францией (1798—1800).

В этой же России уже начался новый, невиданный расцвет великой русской культуры.

Не говоря о Пушкине, создавшем в эту пору многие свои шедевры, были Жуковский, которого Пушкин назвал «кормилицей нашей» в поэзии, Крылов и Грибоедов, Языков и Батюшков, Вяземский и Баратынский.

В 1804—1824 гг. Карамзин создает свой монументальный труд «История Государства Российского», которым не уставал восторгаться Пушкин, называвший «Историю» «бессмертной книгой», ее создателя — «великим нашим соотечественником».

Появились крупные художники — Тропинин, Брюллов, Кипренский, гравер Иордан, за гравюру «Преображение» Рафаэля впоследствии получивший звание не только профессора Императорской Академии художеств, но и члена Флорентийской, Берлинской и Урбинской (на родине Рафаэля) Академий.

Появились молодые композиторы Верстовский и Глинка.

---

[1] В. О. Ключевский. Сочинения. М., Издательство социально-экономической литературы, 1958, т. V, стр. 210—211.

Начался сказочный взлет русского театра — Щепкин, Семенова, Колосова, Каратыгин. Серьезных успехов достиг русский балет — Телешева, Глушковский, воспетая Пушкиным Истомина...

И кроме того, было общество одаренных, просвещенных людей, способных понять и оценить великие творения культуры и составляющих ту питательную среду, без которой культура немыслима.

Невозможно обойти молчанием и еще одну область русской жизни — область, самое существование которой вряд ли возможно в царстве Антихриста. Это русская церковь.

В 1812 г. Александр I утвердил проект создания Библейского Общества, ставившего своей целью изучение Библии, сравнение переводов библейских книг на разные языки и перевод ее на русский и на другие языки народов Российской Империи. Помимо образованнейших представителей духовенства, к работе Общества были привлечены и светские люди, например, министр народного просвещения граф А. К. Разумовский, граф М. А. Милорадович, знаменитый М. М. Сперанский. В Библейское Общество вошли не только представители православного духовенства, но и других церквей — католической, протестантской, армянской. Из духовных лиц, игравших первостепенную роль в работе Общества, необходимо выделить священника Герасима Петровича Павского — «умного и доброго священника», как называет его в Дневнике Пушкин, выдающегося филолога и гебраиста, составившего грамматику и Хрестоматию еврейского языка, Еврейско-русский словарь, написавшего исследование «О книге псалмов», где, между прочим, первый доказывал ныне общепринятую точку зрения, что Псалтирь составлена не одним царем Давидом, а разными авторами. Он же был ответственным редактором переводов Книг Ветхого завета, а сам перевел на русский Евангелие от Матфея. Впоследствии он написал четырехтомные «Филологические наблюдения над составом русского языка», по поводу которых Белинский заметил, что «Павский один стоит академии».

Деятельность Библейского Общества сыграла в просвещении народов Российской Империи роль, которую трудно переоценить.

Евангелие от Иоанна перевел на русский язык архимандрит Филарет (Дроздов), впоследствии митрополит Московский, выдающийся деятель Русской Церкви. К митрополиту Филарету обращено стихотворение Пушкина «В часы забав иль праздной скуки...».

Выдающимся ученым был митрополит Киевский Евгений (Болховитинов), крупный историк и археолог. Помимо целого ряда трудов по русской истории, ему принадлежит находка «Грамоты великого князя Мстислава Владимировича и сына его Всеволода Мстиславича» («Вестник Европы», 1818), а археологические раскопки, которые он вел в Киеве, обнаружили фундамент Десятинной церкви, Золотых ворот и другие бесценные находки. Крупным церковным писателем и знаменитым церковным оратором был митрополит Платон (Левшин).

И, наконец, в эпоху, о которой идет речь, жил один из величайших, один из наиболее чтимых русских святых — Серафим Саровский, к слову сказать, любимый русский святой Мережковского.

Отдавая должное Мережковскому-художнику, Мережковскому-мыслителю и Мережковскому-эрудиту, мы должны ясно представить себе, что писатель, как это почти всегда с ним бывало, упорно оставался в плену той или иной своей идеи или исторической концепции, мало считаясь или даже вовсе не считаясь с реальной исторической ситуацией.

Но и сам Мережковский твердо верил в грядущее спасение России: «Россию спасет Мать».

Е. Любимова

ВЕНОК МЕРЕЖКОВСКОМУ

«Все жены людей, более или менее замечательных, писали свои о них воспоминания, печатали письма. Последнего я бы не сделала, если бы имела фактическую возможность. Я ее не имею — почему — скажу потом. Трудно мне и писать воспоминания, делаю это из чувства долга. Трудно по двум причинам: во-первых — со дня смерти Дмитрия С. Мережковского прошло лишь около двух лет, а это для меня срок слишком короткий, тем более, что мне кажется, что это произошло вчера или даже сегодня утром. Вторая причина: мы прожили с Д. С. Мережковским 52 года, не разлучаясь, со дня нашей свадьбы в Тифлисе, ни разу, ни на один день. Поэтому, говоря о нем, нужно будет говорить и о себе,— о нас; говорить же о себе мне в высшей степени неприятно — было и есть...

Связанность наших жизней (и не одна внешняя) и останавливала меня. Но потом я поняла, что, отказавшись от задачи написать то, что от меня ждут, я поступлю эгоистично. И, наконец, если я буду писать свободно, не думая о препятствиях,— кто и что мне может помешать выкинуть из рукописи все, что будет для меня звучать неприятно. На случай внезапной смерти моей — оставлю указания и отметы. Но эта книга пускай будет написана с полной свободой, и ее точное название — ОН и МЫ».

Такое вступление предпослала жена и самый близкий друг Мережковского, поэт, прозаик, критик Зинаида Николаевна Гиппиус, создавшая своего рода *венок Мережковскому* своей книгой о нем [1].

Книга эта, написанная на свободном дыхании, воссоздает живой облик Мережковского — человека и писателя, религиозного мыслителя и философа — и добавляет существенные штрихи к тому портрету, который сложился у читателя после прочтения этого собрания сочинений.

Вот, к примеру, характеристика религиозного начала у молодого Мережковского:

«Живой интерес ко всем религиям, к буддизму, пантеизму, к их истории, ко всем церквам, христианским и не христианским равно. Полное равнодушие ко всякой обрядности (отсутствие известных традиций в семье сказалось). Когда я в первую нашу Пасху захотела идти к заутрене, он удивился: «Зачем? Интереснее поездить по городу, в эту ночь он красив». В следующие годы, мы, однако, у заутрени неизменно бывали. Но, конечно, не моя детская, условная и слабая вера могла на него как-нибудь повлиять. Его, в этот же год молодости, ждало испытание, которое не сразу, но медленно и верно повлекло на путь, который и стал путем всей его деятельности».

---

[1] З. Гиппиус-Мережковская. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951.

Гиппиус подробно реставрирует ту обстановку, тот фон, на котором формировался «жизненный состав» Мережковского, выкристаллизовывалась генеральная идея его исканий, его творчества. Она рассказывает о близких ему людях (отмечая при этом, что у него никогда не было близкого друга) — поэте Н. Минском, петербургском адвокате и поэте С. Андреевском, заведующем литературным отделом журнала «Мир Божий» «старике» А. Плещееве, уже давно создавшем себе в литературе имя. Но самым близким человеком, больше, чем другом, для Мережковского оставалась его мать. И кончина матери в 1889 году стала подлинным испытанием, поворотным пунктом в его дальнейшей жизни. «Он, в сущности, был совершенно одинок, — замечает Гиппиус,— и вся сила любви его сосредоточилась с детства в одной точке: мать. В «Старинных Октавах» он сам рассказывает об этом лучше, чем я могу сделать. Он и со мной мало говорил о своей любви к матери,— очень редко,— так целомудренно хранил эту любовь в душе до последнего дня».

После потери матери Мережковский, по словам Гиппиус, очень изменился, ушел в себя, «хотя перемена извне, для других, не была заметна». «Вспоминая потом часто о смерти матери Д[митрия] С[ергеевича],— продолжает Гиппиус,— странная мысль о какой-то уже нездешней о нем заботе приходила ко мне: как бы он это пережил, вдруг оставшись совершенно один, т. е., если бы, благодаря фантастическому сцеплению случайностей, не встретил ни меня, ни кого другого, кого мог бы любить и кто любил бы его. Я не могла заменить ему матери (никто не может, мать у каждого только одна), но все же он не остался один». Отец, вышедший в отставку крупный чиновник, был всю жизнь далек Мережковскому; в последние годы он погрузился в спиритизм.

Весной 1891 года Мережковский и Гиппиус отправились в первую поездку за границу — в Италию. В эту пору шла усиленная работа над романом «Юлиан Отступник». В Венеции супруги встретились с известным издателем, редактором газеты «Новое время» А. С. Сувориным и А. П. Чеховым. В либеральных кругах Суворин считался «пугалом интеллигенции», однако свою книгу стихов «Символы» Мережковский опубликовал именно в суворинском издательстве, как бы подчеркивая этим свое равнодушие к групповой борьбе.

Однако, как вспоминает Гиппиус, само время несло новые веяния, примером чему могли служить и «Символы» Мережковского, и его «Юлиан Отступник» («Я думаю,— пишет она,— что уже с «Юлиана» у Д[митрия] С[ергеевича] был поворот к христианству, начало углубления в него»), и публичная лекция «О причинах упадка и о новых течениях русской литературы», ставшая манифестом целого направления — символизма. В эту пору Мережковский знакомится со знаменитым уже философом В. Соловьевым, поэтами К. Бальмонтом, А. Добролюбовым (вскоре ушедшим «в народ»), наконец с самобытным русским мыслителем В. В. Розановым, долгие годы остававшимся в роли союзника-оппонента. В напряженных исканиях завершался духовный перелом, духовное переустройство Мережковского.

«Наши путешествия, Италия, все работы Д[митрия] С[ергеевича], отчасти эстетическое возрождение культурного слоя России, новые люди, которые входили в наш круг, а с другой стороны — плоский материализм старой «интеллигенции»,— писала Гиппиус,— все это, вместе взятое, да, конечно, с тем зерном, которое лежало в самой природе Д[митрия] С[ергеевича],— не могло не привести его к религии и к христианству. Даже, вернее не к «христианству» прежде всего, а ко Христу, к Иисусу из Назарета, образ которого мог и должен пленять, думаю, всякого, кто пожелал бы, или сумел, взглянуть на него присталь-

нее. Вот это «пленение», а вовсе не убеждение в подлинности христианской морали или что-нибудь в таком роде, оно одно и есть настоящая отправная точка по пути к христианству. Последние годы века мы жили в постоянных разговорах с Д[митрием] С[ергеевичем] о Евангелии, о тех или других словах Иисуса, о том, как они были поняты, как понимаются сейчас и где или совсем не понимаются или забыты».

На творчество Мережковского не могла не влиять предгрозовая, трагическая атмосфера России, вступавшей в новый, XX век: «Что-то в России ломалось, что-то оставалось позади, что-то, народившись или воскреснув, стремилось вперед... Куда? Это никому не было известно, но уже тогда, на рубеже веков, в воздухе чувствовалась трагедия. О, не всеми. Но очень многими, в очень многих». В этой предгрозовой атмосфере продолжались религиозно-философские искания Мережковского — в кружке Дягилева, образовавшемся вокруг журнала «Мир искусства», в «Религиозно-философских собраниях», открывшихся в Петербурге в 1901 году и собравших значительные силы интеллигенции и церкви, а после их запрещения Синодом в 1903 году, в журнале «Новый путь», где был опубликован заключительный роман трилогии «Петр и Алексей».

Весной 1904 года Мережковские перед очередной поездкой за границу посетили Льва Толстого в Ясной Поляне. «Утром в день нашего отъезда...— вспоминает Гиппиус,— Л. Толстой, поднимаясь по внутренней лесенке в столовую к чаю вместе с Дм[итрием] С[ергееви]чем, сказал ему:

— Как я рад, что вы ко мне приехали. А то мне казалось, что вы против меня что-то имеете.

«И он удивительно хорошо,— рассказывал мне потом Д[митрий] С[ергеевич],— посмотрел на меня своими серыми, уже с голубизной, как у стариков и маленьких детей, глазами».

Л. Толстой, оказывается, читал все,— не только о себе, но вообще все, что тогда писалось и печаталось. Даже и наш «Новый путь» читал. Наверно, знал он и дебаты в Собраниях по поводу его «отлучения», знал и книгу Д[митрия] С[ергееви]ча «Л. Толстой и Достоевский».

Скажу по поводу этой книги: конечно, Достоевский должен был быть и был ближе ему (т. е. Мережковскому — *О. М.*), нежели Толстой. Поэтому, вероятно, он и перегнул немного в его сторону и сказал кое-что несправедливое насчет Толстого. Это было давно, и с тех пор, не меняя своего мнения о «религии» Толстого, Д[митрий] С[ергеевич] немножко иначе стал видеть его, как человека с его трагедией. Он много писал о нем отдельных статей после его смерти, одна, помнится, была о нем и о его тетке-матери и называлась «Святой Лев».

В эту пору в жизнь и творческое содружество Мережковских входит, образовав некий «триумвират», двоюродный брат Дягилева литератор Д. Философов. Бурные события первой русской революции, споры о самодержавии и православной церкви, расставание с журналом «Новый путь» — все это предопределило новые планы. «Еще летом (1905 года.— *О. М.*),— рассказывает Гиппиус,— Д[митрий] С[ергеевич] высказал мысль, что хорошо бы нам троим поехать на год или даже два-три за границу, где мы могли бы сжиться совместно и кое-что узнать новое, годное потом и для дела в России. Д[митрия] Сер[геевича] интересовало католичество, и не только оно, а еще и движение «модернизма», о котором мы что-то слышали глухо, потому что из-за цензуры определенные вести до нас не доходили... Нас всех интересовали и наши русские «революционеры», находящиеся в эмиграции... Отсюда начинается особый период нашей жизни, втроем в Париже. Он длился, с краткими отлучками из Парижа — в Бретань, в Нормандию, на

Ривьеру или в Германию.— около двух с половиной лет, до нашего возвращения в Петербург в июле 1908 года».

Гиппиус вспоминает, как само собой образовались «субботы», на которые к ним в парижскую квартиру приходили и старые друзья, и новые эмигранты, выплеснутые революцией из России, и среди них — видный член партии эсеров Бунаков. В этой атмосфере споров и поисков складывался коллективный сборник статей «триумвирата» «Царь и революция», в котором Мережковскому принадлежит очерк «Революция и религия». Оглядываясь назад, уже с «другого» берега, Гиппиус размышляет об этой книге, где авторы, исходя из религиозно-метафизических начал, пытались предсказать будущее:

«Нельзя себе вообразить революции более не подходящей, более несвойственной России, нежели революция марксистская. Достаточно самого поверхностного взгляда на Россию, не говоря уже о ее знании внутреннем, знании духа ее народа, чтобы не сомневаться, что такая революция не могла в ней даже произойти. Она и не произошла. Не все европейцы забыли, что большевики революции и не сделали, они явились на «готовенькое», когда революция уже совершилась, и были только ее «захватчиками». Вот всякие захваты — это, к сожалению, России свойственно; а уж в том положении, в каком она (при войне!) находилась в 1917 году,— с захватчиками, да еще подобного сорта, бороться ей было не по силам.

Есть еще одно свойство у русского человека, у русского народа, у России: будучи кем-нибудь, чем-нибудь захвачена, она идет в этом до конца, не зная и не умея себя ограничить и найти предел. Вот об этом свойстве беспредельности и говорит Мережковский в «Le Tzar et la Révolution» («Царь и Революция». — *О. М.*): автор как будто предчувствовал безмерность русского пожара, предупреждая, что от него может сгореть и Европа».

Гиппиус не раз в своей книге повторяет мысль о некоей мессианской, пророческой черте, свойственной личности Мережковского: по сути своей все его художественное творчество было лишь формой некоей внутренней проповеди. Как раз в эмиграции он постепенно отходил от беллетризованного изложения излюбленных мыслей и постулатов. После двух романов «Рождение Богов. Тутанкамон на Крите» (1924) и «Мессия» (1925) Мережковский окончательно обращается к художественно-философской прозе, где как бы пытается разгадать в прошлом тайну будущего: «Наполеон», «Атлантида — Европа», «Иисус Неизвестный», книги о Данте, Франциске Ассизском, Жанне д'Арк, святом Августине и апостоле Павле. Но одновременно он почти с маниакальной настойчивостью повторял свой тезис о кризисе культуры и тотальном безбожии, которое объединяет большевизм с буржуазной Европой.

В коллективном сборнике 1922 года «Царство Антихриста» Мережковский писал: «Должно учесть как следует безмерность того, что сейчас происходит в России. В судьбах ее поставлена на карту судьба всего культурного человечества. Во всяком случае безумно надеяться, что зазиявшую под Россией бездну можно окружить загородкою и что бездна эта не втянет в себя и другие народы. Мы — первые, но не последние.

Большевизм, дитя мировой войны, так же, как эта война — только следствие глубочайшего духовного кризиса всей европейской культуры. Наша русская беда — только часть беды всемирной».

Комментируя это и другие высказывания, критик Г. Струве через три с лишним десятка лет подытоживал: «Следует признать, что у Мережковского были некоторые основания смотреть на себя, как на

пророка, которого просто не услышали». И в другом месте: «Последнее слово о Мережковском еще не сказано»[1].

Тем паче таким «последним словом», при всей ее ценности, не может служить и книга Гиппиус, хотя сама она не без оснований рассматривала себя как второе «я» Мережковского. Рассказывая о своей долгой жизни с ним, жизни как бы слитной («ОН и МЫ»), она во многом преодолевает устоявшееся представление о Мережковском, писателе-космополите, легко перешагивающем из одной отдаленной эпохи в другую, кабинетном ученом и библиофаге. Все это было, но было и иное, часто непосвященному недоступное.

Гиппиус говорит: «Я пишу о Д. С. Мережковском не для того, чтобы дать библиографический перечень его работ. Я пишу о нем самом, о его жизни во времени, в котором он жил, о воздухе, которым дышал,— о воздухе тогдашней России.

Нельзя взять человека вне его времени и вне его окружения: он будет непонятен. И меньше всего можно отделить Дм[итрия] С[ергееви]ча от России. Да, он многим казался, и был действительно, с известных сторон,— европеец; он был и до такой степени русский, что сам являлся как бы одним из знаков и доказательств, что русский человек и Россия не Азия, а Европа». Мысль эта не раз повторяется: Мережковский, по ее словам, «был русский человек прежде всего и русский писатель прежде всего — это я могу и буду утверждать всегда; могу — потому что знаю, как любил он Россию,— настоящую Россию — до последнего вздоха своего, и как страдал за нее... Но он любил и мир, часть которого была его Россия...»

«Венок Мережковскому» — книга о нем Гиппиус осталась недописанной, очевидно, из-за невозможности отделить «я» от «мы».

Олег Михайлов

БИБЛИОГРАФИЯ

Драма «Павел I» впервые была напечатана в журнале «Русская мысль» в 1908 г., № 2. Отдельное издание (М. В. Пирожкова) появилось в 1908 г. Драма вошла в собрание сочинений Д. С. Мережковского, изданное Товариществом И. Д. Сытина (1914).

Отрывки из романа «Александр I» впервые появились в газете «Русское слово» за 1911 г. Полностью роман был напечатан в журнале «Русская мысль» за 1911 г., №№ V, VI, XI, XII, и за 1912 г., №№ I, III, IV, X, XI, XII. Отдельным изданием роман вышел в 1913 г., вошел в собрания сочинений Д. С. Мережковского, изданные Товариществом М. О. Вольф (1912) и Товариществом И. Д. Сытина (1914).

Роман «14 декабря» был напечатан отдельным изданием в книгоиздательстве «Огни», СПб., 1918.

«Рождение богов» (Тутанкамон на Крите) был напечатан отдельным изданием в издательстве «Пламя», Прага, 1925.

[1] Глеб Струве. Русская литература в изгнании. Изд. 2-е. Париж, 1984, стр. 91, 256.

Итальянские новеллы

«Любовь сильнее смерти». Впервые была напечатана в журнале «Северный вестник» в 1896 г., № 8. Вошла в сборник новелл издательства «Скорпион» (1902), М. Второе издание (М. В. Пирожкова) появилось в 1904 г. Вошла в собрания сочинений Д. С. Мережковского, изданные Товариществом М. О. Вольф (1912) и Товариществом И. Д. Сытина (1914).

«Наука любви». Впервые была напечатана в журнале «Северный вестник» в 1896 г., № 8. Вошла в сборник новелл книгоиздательства «Скорпион» (1902), в собрания сочинений Д. С. Мережковского, изданные Товариществом М. О. Вольф (1912) и Товариществом И. Д. Сытина (1914).

«Железное кольцо». Впервые была напечатана в журнале «Всемирная иллюстрация» в 1897 г., №№ 1—3. Вошла в собрание сочинений Д. С. Мережковского, изданное Товариществом И. Д. Сытина (1914).

«Рыцарь за прялкой». Впервые была напечатана в журнале «Нива» в 1895 г., № 52. Вошла в собрание сочинений Д. С. Мережковского, изданное Товариществом И. Д. Сытина (1914).

«Превращение». Впервые была напечатана в журнале «Нива» в 1897 г., №№ 7, 8. Вошла в собрание сочинений Д. С. Мережковского, изданное Товариществом И. Д. Сытина (1914).

«Микеланджело». Впервые вошла в сборник новелл книгоиздательства «Скорпион» (1902), М. Вошла в собрания сочинений Д. С. Мережковского, выпущенные Товариществом М. О. Вольф (1912) и Товариществом И. Д. Сытина (1914).

«Святой Сатир». Впервые была напечатана в журнале «Северный вестник» в 1895 г., № 11. Вошла в сборник новелл книгоиздательства «Скорпион» (1902), в собрания сочинений Д. С. Мережковского, изданные Товариществом М. О. Вольф (1912) и Товариществом И. Д. Сытина (1914).

Стихотворения

Стихотворения, вошедшие в настоящий раздел, публиковались в периодике в 1881—1901 гг. («Северный вестник», «Труд», «Нива», «Русская мысль», «Мир искусства» и др.) и в сборниках стихов Д. С. Мережковского: «Символы», СПб., издательство А. Суворина, 1892; Собрание стихов. 1883—1903, М., книгоиздательство «Скорпион», 1904.

Стихотворения включались в собрания сочинений Д. С. Мережковского, изданные Товариществом М. О. Вольф (1912) и Товариществом И. Д. Сытина (1914).

Состав раздела «Стихотворения» дается в настоящем издании по собранию сочинений Д. С. Мережковского издания Товарищества М. О. Вольф (1912).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
произведений Д. С. Мережковского, включенных в 1—4 тт.
Собрания сочинений

СОДЕРЖАНИЕ

Дмитрий Сергеевич МЕРЕЖКОВСКИЙ

Собрание сочинений в четырех томах

Том IV

Редактор тома Е. Н. Любимова

Оформление художника А. И. Неровного

Технический редактор В. Н. Веселовская

ИБ 2237

Сдано в набор 20.09.89. Подписано к печати 03.01.90. Формат 84×108[1]/32. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Академическая». Печать офсетная. Усл. печ. л. 35,70. Усл. кр.-отт. 36,96. Уч.-изд. л. 38,89. Тираж 1 700 000 экз.

(7-й завод: 1 100 001 — 1 300 000). Заказ № 57. Цена 3 р. 80 к.

Типография изд-ва «Уральский рабочий»,
620151, г. Свердловск, проспект Ленина, 49.

Индекс 70655